

ВИЛИСЛАЦИС

Annotation

После восстановления Советской власти в Латвии Вилис Лацис создал роман-эпопею «Буря» — выдающееся произведение многонациональной советской литературы, в котором с эпическим размахом изображена жизнь латышского народа начиная с 1939 года, его борьба за Советскую власть.

- [Вилис Лацис](#)
 - [КНИГА ТРЕТЬЯ](#)
 - [Глава первая](#)
 - [Глава вторая](#)
 - [Глава третья](#)
 - [Глава четвертая](#)
 - [Глава пятая](#)
 - [Глава шестая](#)
 - [Глава седьмая](#)
 - [Глава восьмая](#)
 - [Глава девятая](#)
 - [Глава десятая](#)
 - [Глава одиннадцатая](#)
 - [Глава двенадцатая](#)
 - [Глава тринадцатая](#)
 - [Глава четырнадцатая](#)
 - [Глава пятнадцатая](#)
 - [Глава шестнадцатая](#)
 - [Глава семнадцатая](#)
 - [КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ](#)
 - [Глава первая](#)
 - [Глава вторая](#)
 - [Глава третья](#)
 - [Глава четвертая](#)
 - [Глава пятая](#)
 - [Глава шестая](#)
 - [Глава седьмая](#)
 - [Глава восьмая](#)
 - [Глава девятая](#)
 - [Глава десятая](#)

- [Глава одиннадцатая](#)
- [Глава двенадцатая](#)
- [Глава тринадцатая](#)
- [Глава четырнадцатая](#)
- [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
 - [8](#)
 - [9](#)
 - [10](#)
 - [11](#)
 - [12](#)
 - [13](#)
 - [14](#)
 - [15](#)
 - [16](#)
 - [17](#)
 - [18](#)
 - [19](#)
 - [20](#)
 - [21](#)
 - [22](#)
 - [23](#)
 - [24](#)
 - [25](#)

Спасибо, что скачали книгу в [бесплатной электронной библиотеке Royallib.com](#)

[Все книги автора](#)

[Эта же книга в других форматах](#)

Приятного чтения!

Вилис Лацис

Буря

Роман в трех частях

Часть вторая

КНИГА ТРЕТЬЯ

Глава первая

1

Слегка накрапывало. Сквозь дымку дождя все сильнее, однако, проступало сияние восходящего солнца. То здесь, то там мельчайшие радуги вспыхивали в мокрой листве кустарника.

Где-то справа в воздухе ревели моторы самолетов. Аустра Закис остановилась у поворота, напряженно вслушиваясь в этот рев, но, когда он стал удаляться, успокоилась и зашагала дальше. Большак проходил здесь сосновым лесом. За последние три километра она не заметила ни одного хутора, не случилось ни одной попутной, ни одной встречной машины.

Ночь Аустра провела в сенном сарае вместе с группой беженцев. Утром они заспорили о том, что делать дальше: некоторые предлагали дожидаться первой грузовой машины, с которой можно доехать до уездного города; у одного поблизости жили родственники, и он ушел своей дорогой, другие были обеспокоены слухами о бандитах, засевших в ближайшем лесу, и не знали, как быть. Не дождавшись конца споров, Аустра решительно застегнула свое серое пальтишко, вскинула на плечи зеленый брезентовый мешок и пошла дальше.

Лицо девушки уже успело потемнеть от загара. Гладкие, с милыми ямками щеки стали почти такого же цвета, что и каштановые волосы. В каждом ее движении сказывались сила и ловкость, выработанные с самого детства. Ей не в диковинку было прошагать пятнадцать — шестнадцать часов подряд с ношей за плечами. Давно ли помогала она отцу и брату на лесных работах и в сенокос? И все-таки туго набитый мешок оттягивал плечи, а сердце не переставало болеть за родителей, за братишек и сестренку, которых ей так и не удалось навестить, за Аугуста, который на третий или четвертый день войны ушел со своим училищем на помощь защитникам Лиенау. Где они теперь? Когда, в каких краях удастся им встретиться? И не предстоит ли им потерять друг друга в бурном водовороте событий? Занятая этими мыслями, она забывала о своем одиночестве, об опасностях, которыми грозил ей каждый куст, каждый поворот дороги, каждый настороженный взгляд встречного человека. Перед

Аустрой все еще полыхало пламя над крышами покинутой Риги, в ушах ее все еще раздавалось завывание снарядов и звучали стоны умирающих.

Дождик мало-помалу стихал, и сотни птиц подняли в кустах шумную возню, радуясь новому утру.

Отходившие войска и поток беженцев направлялись по Псковскому шоссе, а этот большак вел прямо на север, и на нем редко появлялись машины.

Дорога круто свернула направо, мимо купы старых темных елей, и теперь сбегала по отлогому скату, поросшему березками и елочками. Внизу, в самой ложбине, расположилась, не то на отдых, не то охраняя что-то, довольно большая группа людей — человек с двадцать. Некоторые сидели на краю придорожной канавы, другие лежали враспяжку на траве, двое-трое стоя оглядывали окрестность. Все они были вооружены винтовками, автоматами, пистолетами или ручными гранатами. Ауэстра еще издали заметила среди них несколько женщин.

«Бандиты или наши?» — подумала она, и ей даже жарко стало. До людей оставалось еще шагов сорок, но избежать встречи Ауэстра не могла — ее уже заметили. Несколько человек смотрели в ее сторону, ожидая, что она будет делать. Ауэстра неспешным шагом приближалась к ним, но взгляд ее тревожно и пытливо искал признаков, по которым можно было бы определить, свои это или враги. Ага, трое одеты в темносинюю форму рабочегвардейцев. Свои! Сердце ее сразу забилося ровнее.

Когда Ауэстра подошла ближе, ей показалось, что одного из них она где-то видела: что-то знакомое было в его лице. Молодой рослый человек в штатском, изрядно помятом костюме; одна рука забинтована и висит на белой перевязи. Почувствовав на себе взгляд Ауэстры, он тоже пристально посмотрел на девушку, но, вероятно, не узнал, так как напряженное внимание, блеснувшее в его глазах, тут же погасло.

Где-то она видела это лицо. Такое же июльское утро, радужные капли росы в траве... и двое молодых людей на берегу реки. Это было перед свадьбой Эллы Лиепинь. Ну, теперь ясно, кто это, — и Ауэстра окончательно успокоилась. Она остановилась, тихо поздоровалась и опять посмотрела на человека с перевязанной рукой.

— Вы не зять Лиепиней?.. Товарищ Спаре?

Петер Спаре круто повернулся к девушке и удивленно уставился на нее.

— Да, верно. А откуда вы меня знаете?

Улыбка обнажила два ряда белых крепких зубов; белизна их еще разительнее выделялась на загорелом лице девушки.

— Вы знаете моего отца, — ответила она, — я дочь Закиса, хибарочника. Мы получили землю рядом с Лиепинями.

Петер подошел к ней и пожал руку.

— Вы не побывали дома перед уходом? Не знаете, как там, у Лиепиней? Жена уехала туда неделю назад, а мне так и не пришлось съездить.

— Мне тоже не удалось. Я вышла из Риги в ночь под первое. Сначала ехала на грузовике, вдруг — авария, и пришлось идти пешком. Ну, ничего, можно и пешком.

— Это-то ничего, — задумчиво повторил Петер. — Скверно вот, что мы не знаем, как там, дома. А еще хуже, что они ничего не знают про нас.

— Да, правда, — тихо сказала Аустра. — Такое время...

Оба замолчали. Петер, выпрямившись во весь рост, рассеянно глядел мимо Аустры, на юг, точно дожидаясь кого-то оттуда. Молодая женщина, стоявшая немного в стороне, подошла к Петеру. Он кивком головы показал ей на Аустру.

— Вот знакомая нашлась. Соседка Эллы, — объяснил он. — Тоже не успела попасть домой и ничего не знает. Поговори с ней, Айя, и подумаем, как быть дальше. Может быть, возьмем ее с собой?

— Как же иначе! — не раздумывая, ответила Айя и, обернувшись к Аустре, спросила: — Эвакуируетесь?

— Да, выходит так...

— Отчаянная же вы. Идти одной через этот лес. Вы и представить не можете, какая музыка поднялась здесь прошлой ночью. Бандиты напали на отставшую машину с нашими активистами. Хорошо, что мы подоспели. Шестерых бандитов уложили на месте, остальные удрали. Где-нибудь поблизости, в чаще, засели. Ну, дальше мы вас одну не пустим. Вы с оружием обращаться умеете?

— Конечно, умею, — быстро ответила Аустра. — Я кончила курсы Осоавиахима, у меня брат в военном училище...

— Вот и оставайтесь с нами.

— Я бы с удовольствием... А другие ничего, согласятся?

Петер подозвал Силениека, тем временем Айя разговорилась с девушкой. Но, кажется, достаточно было и пяти минут, чтобы разглядеть Аустру, — она вся была как на ладони.

Когда Силениек и Жубур подняли отдыхающую группу истребителей, с ними вместе пошла по направлению к северу и дочь видземского крестьянина-бедняка Аустра Закис, мечтавшая стать с осени студенткой университета. Да и у кого из них не было своих планов, — только совсем

иное принес разбушевавшийся ураган войны.

Июльское солнце, поднимаясь все выше, быстро осушало мокрую от дождя листву. Уже запылила дорога под ногами бойцов. Темная чаща сумрачно и торжественно отзывалась на их голоса.

Ярко светило солнце над улицами маленького уездного городка. Вряд ли когда-нибудь здесь наблюдалось такое оживление, такой наплыв людей, как в эти дни. Магазины продолжали торговать, и многие беженцы, пустившиеся в путь прямо с работы, смогли запастись парой носков или рубашкой. Удивленно, с тревожным интересом, смотрели жители Валки на рабочегвардейцев, сновавших по улицам; их появление сообщило жизни города новый ритм; гул войны докатился и сюда. А людям, потерявшим родной кров, уже казалось странным, что здешние жители продолжают жить обычной жизнью, делают свое обыденное дело, что они еще не почувствовали, как неуместны сегодня вчерашние заботы.

О положении на фронте здесь узнавали от проезжих и от прибывавших беженцев. Но это была плохая информация. Носились самые разноречивые и подчас нелепые слухи. Одни говорили, что бои идут у Даугавпилса и Крустпилса, другие — что немецкие танковые колонны прорвались за Абрене и бои идут на подступах к Пскову. Казалось, известия о событиях отставали от самих событий, которые развивались с непостижимой быстротой. Люди, застигнутые этими слухами где-нибудь на лесном привале или в крестьянской усадьбе, могли только тревожно обсуждать собственные предположения.

Все прояснилось, едва только в Валке обосновалось руководство республики, державшее постоянную связь с командованием фронта. Верно, главный удар гитлеровской армии был направлен на северо-восток от Даугавпилса — по направлению к Пскову, причем она стремилась отрезать части Красной Армии, находившиеся на территории Латвии. Но еще более верно было то, что гитлеровским полчищам, понадеявшимся на «молниеносный» марш, приходилось вступать в кровопролитные бои на каждом пригодном для обороны рубеже. Даугавпилс несколько раз переходил из рук в руки. Вдоль реки Великой образовалась мощная линия обороны, и по всем дорогам от Пскова и Острова навстречу неприятелю двигались свежие силы Красной Армии. В эти дни каждое орудие, каждая войсковая часть, направлявшиеся на запад и юго-запад, оказывали на

беженцев огромное моральное воздействие.

Это совсем не походило на картину светопредставления, которая рисовалась воспаленному воображению некоторых обывателей.

Суровые, серьезные лица бойцов, мерное движение артиллерии и пехоты навстречу лавине гитлеровских войск свидетельствовали о том, что борьба не кончена, что она только входит в силу. Из Валки каждый день уходил на восток эшелон собранных поодиночке беженцев. Это значило, что дорога через Псков свободна. Несколько раз в день по направлению к Риге выезжали грузовые машины и подбирали уставших людей. В Валке их кормили; женщин, детей, стариков и больных сажали в поезда и отправляли в тыл. Большинство мужчин оставалось, чтобы принять участие в борьбе с врагом.

На небольшой площади, где стояло здание уездного военкомата, и на примыкающей к ней улице все время толпился народ. Здесь разместились правительственные учреждения республики; здесь круглые сутки поддерживалась телефонная связь со всеми уездами и волостями, еще не оккупированными немцами, укомы и исполкомы получали отсюда указания об организации сопротивления, об эвакуации людей и материальных ценностей. Нередко случалось так, что в одном конце города или местечка раздавался грохот немецких танков, а в другом конце все еще продолжался разговор по телефону с руководством республики — продолжался до тех пор, пока его не заглушал гул приблизившегося боя.

Силениек и Жубур со своим отрядом входили в Валку в тот самый час, когда над просторами Советской страны зазвучали бессмертные слова Сталина. Усталые люди останавливались на улице, вытирали с запыленных лиц пот, и все взгляды обращались к репродуктору.

*«Товарищи! Граждане!
Братья и сестры!
Бойцы нашей армии и флота!
К вам обращаюсь я, друзья мои!»*

Затаив дыхание, они стояли на мостовой. У каждого было такое чувство, что в эту минуту Сталин говорит именно с ним, что его взгляд устремлен на него. Эта непосредственность, это ощущение близости росли с каждым словом.

«Над нашей Родиной нависла серьезная опасность».

Не страх, не уныние вызвали в сердцах людей эти беспощадно откровенные слова, но глубокую серьезность, мужественное чувство ответственности, сознание тяжести ноши, возложенной историей на плечи народа. Надо было взять эту ношу и во что бы то ни стало донести до цели. А цель есть и может быть только одна — победа.

«Что требуется для того, чтобы ликвидировать опасность, нависшую над нашей Родиной, и какие меры нужно принять для того, чтобы разгромить врага?»

К двухсотмиллионной громаде советских людей, слушающих эти слова, присоединились — пусть незримые в неоглядной дали, но осязаемо близкие — сотни миллионов угнетенных во всех концах мира. Слушало все униженное человечество, чья единственная надежда на свободу и достойную человека жизнь была связана с исходом битвы, разгоревшейся на широких пространствах Русской земли.

«Прежде всего необходимо, чтобы наши люди, советские люди поняли всю глубину опасности, которая угрожает нашей стране, и отрешились от благодушия, от беспечности, от настроений мирного строительства, вполне понятных в довоенное время, но пагубных в настоящее время, когда война коренным образом изменила положение. Враг жесток и неумолим. Он ставит своей целью захват наших земель, политых нашим потом, захват нашего хлеба и нашей нефти, добытых нашим трудом. Он ставит своей целью восстановление власти помещиков, восстановление царизма, разрушение национальной культуры и национальной государственности русских, украинцев, белоруссов, литовцев, латышей, эстонцев, узбеков, татар, молдаван, грузин, армян, азербайджанцев и других свободных народов Советского Союза, их онемечение, их превращение в рабов немецких князей и баронов. Дело идёт, таким образом, о жизни и смерти Советского государства, о жизни и смерти народов СССР, о том — быть народам Советского Союза свободными, или впасть в порабощение».

С потемневшими глазами, с плотно сжатыми губами слушали люди речь Сталина. Каждый услышал свое прямое задание — и на сегодня и на будущее. И у того, кто правильно угадал его еще вчера, выше поднималась

голова, гордостью загорался взгляд.

«При вынужденном отходе частей Красной Армии нужно угонять весь подвижной железнодорожный состав, не оставлять врагу ни одного паровоза, ни одного вагона, не оставлять противнику ни килограмма хлеба, ни литра горючего. Колхозники должны угонять весь скот, хлеб сдавать под сохранность государственным органам для вывозки его в тыловые районы. Всё ценное имущество, в том числе цветные металлы, хлеб и горючее, которое не может быть вывезено, должно безусловно уничтожаться.

В занятых врагом районах нужно создавать партизанские отряды, конные и пешие, создавать диверсионные группы для борьбы с частями вражеской армии, для разжигания партизанской войны всюду и везде, для взрыва мостов, дорог, порчи телефонной и телеграфной связи, поджога лесов, складов, обозов. В захваченных районах создавать невыносимые условия для врага и всех его пособников, преследовать и уничтожать их на каждом шагу, срывать все их мероприятия».

Когда прозвучали слова Сталина: «Вперёд, за нашу победу!» — несколько мгновений еще стояла полная тишина. У каждого рождались в мозгу тысячи мыслей и представлений, тысячи образов. Но если бы можно было охватить глазом мысли и представления всех людей, они составили бы единую, цельную картину: то была высочайшего напряжения воля к борьбе, то была вера миллионов сердец. «Я верю в победу, я хочу победить» — так говорил себе каждый человек, так сказал весь народ.

Внешне все происходило гораздо проще и обыденнее.

Юрис Рубенис пошевелился; под ногами заскрипел песок. Не обращая ни к кому в отдельности, он сказал:

— Ясно. Теперь все ясно. Теперь мы знаем, что делать.

— Да, все ясно, — ответил Силениек.

И сейчас же все задвигались, заговорили.

Рабочегвардейцы окружили Жубура.

— Товарищ ротный командир, не пора ли нам получить боевое задание? У нас и винтовки заржавеют, если долго пробудем без дела.

Трое молодых людей из отряда вошли в здание военкомата. Несколько лет тому назад они воевали в рядах бойцов республиканской Испании; им доводилось ходить против вражеских танков с бутылкой горючей смеси.

Аустра Закис с тревогой наблюдала это оживление. «Аугуст, братик, почему тебя нет здесь? — думала она. — Ты бы устроил так, чтобы я навсегда осталась с вами. Ты бы не стал говорить, что мне здесь не место». При одной мысли, что товарищи из отряда предложат ей и другим девушкам уехать в безопасный тыл, ей стало больно.

На крыльцо военкомата вышел человек и стал кого-то искать глазами в толпе. Заметив Андрея Силениека, он подошел к нему.

— Вас приглашают на совещание.

Силениек вошел в дом.

3

— Шофер без машины, что моряк без корабля, — сказал Эвальд Капейка, обращаясь к Аустре.

В ожидании Силениека они сели на траву в садике военкомата. Капейка все время поглядывал за ворота; там прогуливалось несколько человек из их отряда; значит, Силениек еще не вышел. Кепку Эвальд бросил рядом, и густейшие светлые волосы падали ему на глаза. Покусывая травинку, он что-то сосредоточенно обдумывал. Костюм Капейки был весь в масляных пятнах, и от него все еще пахло бензином, хотя в последний раз он сидел за рулем три дня назад.

— Ну, скажите, — заговорил он, обращаясь скорее к самому себе, чем к девушке, — на что я такой гожусь? Товарищ Силениек не знает, куда меня девать. С тех пор как этот «юнкерс» испортил мою машину, я стал вроде пятого колеса в телеге. Сию бы минуту перешел на грузовую машину или автобус, но ведь тогда придется с товарищем Силениеком расставаться. Как же это можно? Целый год прожили вместе, сколько дорог исколесили... Разве я его брошу в такое время? Вот проклятый — опять загудел!..

Капейка погрозил кулаком небу. На большой высоте пролетели над городом немецкие самолеты, — трудно было сказать, разведчики или бомбардировщики.

— Один такой вот и изгадил мою машину. Эх, посмотрели бы вы на нее! Мотор работал, как часы. Удобная, аккуратненькая, экономная. Когда я теперь обзаведусь такой!

— Обзаведетесь еще, — и Аустра невольно засмеялась, глядя на его свирепо-несчастное лицо. Капейка еще раз погрозил кулаком самолетам, потом схватил свою кепку, помял ее и снова бросил наземь.

— Без техники мне жизнь не в жизнь. Старик мой, тот даже хотел из

меня инженера сделать. Два года помогал, да карман не выдержал. Так вот недоучкой и мыкаюсь. Хорошо бы теперь на танке поработать, гитлеровцев поутюжить, или пострелять из зенитного пулемета. Из автомата тоже ничего. Из обыкновенной винтовки стрелять неинтересно.

— А я бы и обыкновенной обрадовалась, — завистливо сказала Аустра. — Я ведь на курсах Осоавиахима была, три раза десятку выбивала. Как по-вашему — в гитлеровца труднее попасть?

— Смотря по обстановке, — вежливо ответил Капейка. — В бою, конечно, не так ловко, как на стрельбище.

— Вы, наверное, думаете, что я бы испугалась, — Аустра вызывающе посмотрела на него. — Будьте покойны, рука у меня не дрогнет, когда буду брать на мушку...

— Зачем мы будем спорить... — уклончиво ответил Капейка. Вдруг он оглянулся и быстро вскочил на ноги. Аустра тоже оглянулась и увидела Силениека. Тот шел по двору, видимо кого-то разыскивая, потом повернул в их сторону. Аустра быстро встала, выжидательно глядя на Силениека. У обоих — и у девушки и у Капейки — на лице было написано такое нетерпение и любопытство, что Силениек улыбнулся.

— Томитесь, а? Ну, ничего, сейчас перестанете томиться. Начинаем воевать по-настоящему.

— Вот это здорово! — обрадовался Капейка. — Я готов хоть сейчас...

— Так оно и будет, Эвальд, — сказал Силениек. — Если не ошибаюсь, ты родом из северо-восточной части Видземе.

— Точно, товарищ Силениек. Я из-под Алуксне.

— Местность эту хорошо знаешь? Дороги, болота, леса... ну и людей?

— А как же иначе? Вырос ведь там.

— Найдется у тебя здесь среди рабочегвардейцев или среди эвакуируемых кто-нибудь из знакомых? Не просто знакомый даже, а настоящий, испытанный друг, на которого можно положиться при любых обстоятельствах?

— Много так сразу не найдется, а одного-двух отыщу.

— Вот и разыщи таких, а попозже зайдешь с ними ко мне.

— Можно еще узнать? — начал было Капейка и остановился. — Нет, ничего. Потом вы сами расскажете.

— После, когда приведешь ко мне своих друзей.

— Значит, можно идти искать?

— Конечно, иди, Эвальд.

Капейка ушел.

— Товарищ Силениек, — робко заговорила Аустра, — вот вы даете

задания... И для меня, может быть, найдется что-нибудь?

— Для вас? — Силениек медлил с ответом. Потом улыбнулся. — А как же, что-нибудь и для вас найдется. Поговорите с Айей, относительно девушек она у нас решает. Мы создаем свои батальоны, а в таком большом хозяйстве каждый может пригодиться. Вот так. — Он одобрительно кивнул ей и вышел за ворота к группе рабочегвардейцев. Там были Жубур, Юрис Рубенис, Айя, старый Мауринь — рабочий лесопильного завода. Там же Аустра увидела задумчивого, как всегда, Петера Спаре. Она пробралась к нему сквозь толпу.

— Товарищ Спаре, вы ведь меня поддержите, правда?

Петер удивленно посмотрел на нее.

— Поддержать? А что с вами случилось?

— Знаете, я боюсь, как бы меня не отослали в тыл... Ну, там с детьми, со стариками. А мне воевать хочется. Ну, вот вы скажите, почему я не могу воевать вместе с мужчинами? Я уверена, что могу стрелять лучше многих рабочегвардейцев.

— Разве кто-нибудь сказал, что вам нужно уезжать?

— Правда, этого еще никто не сказал. Но когда начнут формировать батальоны... вдруг для меня не найдется места? Вы, пожалуйста, замолвите за меня словечко. Я вас очень, очень прошу.

Она так выразительно произнесла это «очень, очень» и такое у нее было жалобное выражение лица, что Петер не удержался от улыбки. Он невольно погладил ее по плечу здоровой рукой.

— Попытаемся что-нибудь придумать общими силами. Я поговорю с Жубуром...

— А Силениек сказал, что насчет девушек решает Айя.

— Еще лучше. Грош мне цена, если я родную сестру не уговорю. К тому же такую славную сестренку.

— Я вам очень, очень благодарна, товарищ Спаре.

— Да пока не за что. Я ведь ничего еще не сделал.

— Как — не за что? Главное, я теперь знаю, что вы хотите мне помочь.

И раскаиваться вам в этом не придется, — никогда!

Не одну Аустру мучила в тот день тревога. Те же самые чувства отражались на лицах всех девушек. Слух об организации боевых частей уже успел облететь город. У штабов толпились добровольцы, — среди них можно было увидеть и стариков и почти подростков. Здесь был партийный и советский актив, комсомольцы, работники милиции, горожане и крестьяне. Только что назначенные начальники штабов — большинство из них еще в штатском — регистрировали принятых и распределяли по ротам

и взводам.

Карл Жубур сформировал свою роту из рижан; среди них было много комсомольцев. Роте отвели школьное здание. Под вечер, когда бойцы нового подразделения выстроились во дворе, получилась довольно пестрая картина. В одной шеренге стояли люди и в шляпах, и в кепках, и вовсе без головных уборов. Кое-кто был босиком, у иных, кто не успел ничего взять с собой, рубашки были до того заношены, что приходилось поднимать воротники пиджаков. Юрис Рубенис уже вел переговоры с интендантом регулярного войскового соединения и надеялся на следующее утро одеть свою роту в красноармейское обмундирование. Тяжелее обстояло дело с женщинами. Как ни «просеивала» их приемная комиссия, все-таки Айе удалось включить в роту с десяток своих комсомолок. Как их одеть и обуть? Красноармейские сапоги были для них слишком велики, да и брюки не впору, и девушки выглядели в них довольно неуклюжими.

Ауэстра заметила в роте Жубура много знакомых лиц. Петер Спаре был назначен политруком. Сам Силенек стал комиссаром батальона. Не видно было только Капейки. Вместе с двумя своими товарищами — такими же шустрými парнями — он сидел в канцелярии военкомата и разговаривал с одним из секретарей Центрального Комитета. В этой большой, меблированной простыми канцелярскими столами и стульями комнате размещался главный штаб руководства республики, — здесь была ставка высших ее органов. И днем и ночью работал телефон, и днем и ночью приходили и уходили новые люди. Так же, как и в Риге, с первого дня войны каждый руководящий работник заведовал определенным, наиболее важным в данный момент участком работы. Один организовывал эвакуацию и отправку в тыл ценностей, другой держал связь с уездами и волостями, — давал указания о разрушении мостов, электростанций и промышленных предприятий на территории, занимаемой врагом; третий руководил пропагандой и печатью, четвертый — организацией войсковых формирований, а пятый — начинавшимся партизанским движением. Он-то и вел сейчас серьезный разговор с Капейкой и его товарищами. В комнате, кроме них, не было никого.

— Вы слышали речь товарища Сталина? — спросил моложавый мужчина с шапкой густых белокурых волос, с худощавым лицом. Говорил он тихо, неторопливо, а глаза его внимательно смотрели на собеседника. Эвальд Капейка чувствовал, что этот человек видит его насквозь. «Перед ним не пофорсишь».

— Слышал от начала до конца, — ответил он.

— Теперь вы знаете, что должны делать наши люди на занятой врагом

территории?

— Да, знаю.

— Хотите вы пойти в тыл врага и начать партизанскую борьбу с немецкими захватчиками? Борьба будет тяжелая и опасная, — это вы должны знать заранее.

— Да ведь это же почетное задание! — живо заговорил товарищ Капейки, невысокий человек с черными усиками. — В такое время для советского человека не может быть большей чести. Я согласен.

— Я тоже. И я, конечно, — в один голос сказали Капейка и третий товарищ, плечистый, румяный молодой человек в милицейской форме.

— Хорошо, — сказал секретарь ЦК, — мы вам поручаем это задание. — Он поднялся и пожал всем троим руки. Потом подвел к висевшей на стене карте Латвии и показал на ней один пункт. Это был большой железнодорожный узел.

— Вот центр района вашей деятельности. Мы не можем дать вам людей, их надо будет найти на месте. Подымайте народ на борьбу с врагом, вырастайте из маленькой группы в большую силу. Если вы сумеете всегда и при любых условиях найти общий язык с местными жителями, если вы будете действовать так, что народ увидит в вас своих защитников и друзей, — вы никогда не будете одинокими. Только вместе с народом и никогда против него — вот основной закон нашей борьбы. Пусть все угнетенные, преследуемые увидят в вас своих избавителей и защитников. Враг будет делать все, чтобы запугать народ, вытравить из его сознания самую мысль о сопротивлении. А вы должны доказать, что сопротивление немецким захватчикам все-таки возможно, вы должны собственным примером побуждать к борьбе всех бесстрашных людей. В ответ на жестокий террор вы будете смело, больно бить по спесивым фашистским мордам. Поддерживайте мужество в народе!.. Самое же главное, — и, я думаю, вы это понимаете, — оказывайте своей работой непосредственную помощь Красной Армии.

Потом они договорились о связи и снабжении. Эвальд Капейка получил новый автомат и несколько сот патронов; товарищам его пришлось ограничиться пистолетами «вальтер» и несколькими ручными гранатами. Ничего — придет время, и они обзаведутся за счет врага оружием посерьезнее. Каждый положил в свой походный мешок пачки взрывчатки, пару чистого белья, немного продовольствия — и все.

Чуть только стемнело, и маленькая группа партизан уже отправилась в путь. Ушли, ни с кем не попрощавшись. Никто не знал, куда девались Эвальд Капейка и его товарищи. Так было нужно.

После них в военкомат зашло еще несколько человек и целый час беседовали с молодежавым худощавым человеком. Всю ночь одна за другой приходили сюда небольшими группами люди. А на карте Латвии, близ важных железнодорожных узлов, близ населенных пунктов, куда уходили в ту ночь молчаливые люди, появлялись красные кружочки. Незримый сеятель бросал семена борьбы в землю Латвии, занятую врагом.

Новым батальонам пришлось пройти обучение в несколько дней — надо было немедленно выступить в поход. Один батальон направился в район Смилтене для борьбы с диверсантами и айзсарговскими бандами, которые зашевелились в окрестностях. Другой батальон должен был очищать от немецких приспешников леса и дороги у северной границы Латвии. Остальные заняли линию обороны на подступах к Валке. Теперь можно было в полном порядке продолжать эвакуацию. Удалось вывезти в тыл все ценности из видземских банков и продукцию самых важных предприятий. Правда, айзсарги несколько раз пробовали открыть форменные военные действия, но нарвались на организованную боевую силу и снова попрятались в лесах, побросав убитых и раненых. Засев в глуши темных видземских лесов, они нетерпеливо дожидались немцев, когда им можно будет безнаказанно выполнять свою роль предателей. А пока единственное, что они могли себе позволить, — это прервать телефонную связь, предательски пустить пулю вслед небольшому войсковому подразделению или расстреливать идущих через лес беженцев — женщин и детей. Таковы были «подвиги», которыми потом хвастались на страницах позорной «Тевии»^[1] несколько анонимных бандитов.

Когда линия фронта вплотную придвинулась к северной границе Советской Латвии, защитники Валки получили приказ отойти на территорию Эстонии. Следующей линией обороны должна была послужить удобная по природным условиям полоса между Чудским озером и озером Выртс, далее эта линия поворачивала к заливу Пярну. Часть добровольческих боевых подразделений отошла прямо на север, другая — на северо-восток, к Чудскому озеру. Вместе с последними на территорию Эстонии перешли и руководящие учреждения Советской Латвии. Когда уже большинство республиканских учреждений было на пути к городу Выру, немецкая авиация начала ожесточенно бомбить Валку. На улицах города погибло множество мирных жителей. Начались пожары.

Лес у станции Орава... Кустарники у Петсери... Ночью — орудийная канонада, с юго-востока небо озаряют вспышки выстрелов... Долгий марш по направлению к северу по узким просекам вдоль озера. Утром — мост у Метры, близ Тарту. Потом маленький тихий городок Мустве на самом берегу Чудского озера. Каждую ночь на Гдов идет пароход. Обнаглевшие немецкие воздушные разведчики шныряют так низко, что рижским рабочим становится невтерпёж и они метким залпом сбивают один самолет. Он падает в чащу леса, и весь следующий день «мессеры» растерянно разыскивают его, но так и не могут найти. Бойцы пекут хлеб в домах эстонских крестьян, варят на маленьких кострах молодую картошку. Озеро, гладкое, как зеркало, так и манит искупаться, а на берегу рыбак предлагает в дар бойцам рыбу из своего улова. Жарко, душно... Солнце, цветы, пламенеющее огнем войны небо — и люди на земле, отважные, ни перед чем не теряющиеся советские люди, бестрепетно глядят на огненный вал, который приближается с юга. Много можно рассказать про эти тревожные и полные сурового величия дни, многое расскажут и напишут о них те, кто пережил их.

...В тот день, когда Петер Спаре впервые снял повязку со своей раненой руки, рота Жубура получила боевое задание. На дороге, пролегающей вдоль Чудского озера к северу, появилась довольно крупная банда диверсантов. Пытаясь отрезать путь отходящим войсковым частям и колоннам беженцев, которые продвигались в сторону Нарвы, бандиты взорвали один из мостов и не давали восстановить его. Они обстреливали мелкие подразделения и нападали на местных советских активистов. Рота Жубура должна была окружить и уничтожить эту банду.

В укромном месте на берегу озера Жубур провел совещание участников предстоящей операции. По сведениям, полученным от местных советских органов, диверсанты укрывались в довольно большом лесу, один край которого упирался в озеро, а другой, по ту сторону большака, граничил с малонаселенной болотистой местностью. Начиная операцию, надо было отрезать бандитам пути отступления, блокировать лесные дороги и тропы, ведущие от озера. Для этой цели был выделен один взвод. В разведку выступили три небольшие группы бойцов, а всех остальных разбили на три боевых подразделения, — они-то и должны были приблизиться к расположению бандитов и прижать их к озеру. Одним из этих отрядов командовал Юрис Рубенис; он немедленно и выступил, чтобы обходным маневром выйти на северный участок окружения. Командиром второго отряда назначили Петера Спаре, — его бойцы должны были наступать по направлению к берегу; третьим отрядом, который получил

задание двигаться по большаку к центру района действий банды, руководил Жубур.

— Всем женщинам оставаться на базе, — приказал он.

Участники совещания разошлись по своим подразделениям для подготовки бойцов к выполнению боевого задания. Чтобы ввести в заблуждение возможных разведчиков врага, посланные на операцию бойцы выходили из расположения роты мелкими группками; место сбора было назначено в лесу. Подразделение Рубениса уже пошло обходным путем, не дожидаясь вечера. Жубур со своими бойцами оставался на базе, пока возвратившиеся разведчики не донесли, что остальные подразделения заняли исходные позиции и все пути отхода блокированы. Тогда выступил и он.

Наступила короткая июльская ночь. После дневного зноя приятно освежал и бодрил прохладный воздух. Прозрачный туман стлался по поемным лугам. Издалека доносился лай собаки, да пофыркивала где-то одинокая автомашина. Из придорожного кустарника поднялась туча комаров и сопровождала колонну до взорванного моста, где отряд Жубура должен был ждать, когда начнет боевые действия Петер Спаре. Атаку назначили на три часа утра — лишь только начнет светать. Бойцы засели в кустах по обе стороны дороги. Никто не курил, все говорили шепотом и старались поменьше шевелиться, чтобы не выдать своего присутствия случайному прохожему.

Со стороны моста к расположению группы стали приближаться три человека с винтовками. Они прошли мимо, а через полчаса вернулись обратно, громко разговаривая.

— Добычи ждут, — шепотом сказал милиционер эстонец, участвовавший в операции. — Говорят, сегодня здесь должен пройти взвод связи.

— Пусть ждут, — тоже шепотом ответил Жубур, — чего-нибудь дождутся.

В это время в другом месте Петер Спаре пробирал одного недисциплинированного бойца. Он так рассердился, что готов был дать полную волю своему голосу, не требуя боевая обстановка абсолютной тишины. А ругаться шепотом было как-то смешно. Да тут еще эта темнота — не видно даже, какое у тебя суровое выражение лица.

— Ну скажите, где же она, ваша благодарность? — шептал он. — Так вы оплатили мне за мою помощь?.. Да если бы я знал, пальцем бы не пошевелил, пускай бы вас отправили в тыл.

— Товарищ политрук, вы же понимаете, что это не от

недисциплинированности, — оправдывалась Аустра. — Когда-нибудь мне ведь все равно придется участвовать в бою. С какой же стати я должна сидеть сложа руки на базе, когда другие идут на операцию? Из них многие вчера только научились заряжать винтовку, а я десятку выбивала...

— Военная служба требует строжайшей дисциплины, — повторял Петер. — Приказ ротного слышали? Всем женщинам оставаться на базе! Кто вам разрешил не выполнять приказ командира?

— Ну что же мне теперь делать, — совсем тихо прошептала Аустра, — одной вернуться на базу? Я ведь тогда заплутаюсь.

В том-то и беда, — сердито шептал Петер. — Если бы я вас раньше заметил, вам бы этот номер не удался. Завтра мне Айя прочтет целую проповедь. Сам рекомендовал вас в роту и, выходит, сам способствую подрыву дисциплины.

— А по-моему, Айя ничего не скажет... — В темноте глаза девушки заблестели. Она, кажется, улыбалась.

— Нет, вы еще не узнали Айю. Она человек принципиальный, она вам этого не простит. Она, наверное, сейчас подняла на ноги весь поселок и разыскивает пропавшую. Ей и в голову не придет, что боец Закис тайком ушла в лес. Возмутительно!..

— Даю честное слово, что Айя и не думает искать меня.

— Почему вы так уверены? — озадаченно спросил Петер.

— Так она же сама ушла с группой Рубениса... — Аустра зажала рот, чтобы не рассмеяться.

Петер только сплюнул и махнул рукой.

— Так нельзя воевать, — сказал он, наконец, — надо будет утром поговорить с Силениеком. Думаю, еще не поздно переправить вас всех через озеро. Какое это войско, если каждый делает, что ему вздумается!

Но эта угроза так и не была приведена в исполнение. Ни на следующий день, ни позже Петер не поговорил с Силениеком на эту тему, потому что, когда в тихой лесной чаще разгорелся бой, взгляд его на участие Аустры в таких делах круто переменялся.

Бой длился каких-нибудь полчаса. В самом начале, когда отряд Петера Спаре появился в тылу у бандитов, те сделали грубую ошибку: оставив человека три прикрывать отступление, остальные выбежали на дорогу и очутились между берегом озера и устьем небольшой речки. Тогда на них с двух сторон — с севера и с юга — посыпался град пуль: в бой вступили отряды Жубура и Рубениса. В первые же минуты было убито около пятнадцати бандитов. Растерявшиеся кайцели^[2] и немецкие парашютисты бросились к придорожным канавам и стали отстреливаться, но

перекрестный огонь атакующих не позволял им поднять головы.

Их главари сообразили, что единственное спасение в лесу, и несколько кайцелей уж попытались выскочить из канав и скрыться в чаще, но отряд Спаре уже покончил с бандитским заслоном и достиг опушки леса. Петер сам видел, как пуля Аустры настигла здорового, толстомордого парня. Было не до разговоров, и Петер только кивнул девушке. Его бойцы уже спешили к большаку, где завязалась нешуточная перестрелка.

То, что произошло затем у опушки, окончательно заставило Петера отказаться от намерения поговорить с Силениеком относительно недисциплинированных девушек. Когда он, наблюдая за обстановкой, на какой-то момент выпрямился во весь рост, внезапно почти рядом с ним из-за поваленного дерева выскочил огромный детина с винтовкой наперевес. Он уже готов был всадить штык в спину Петера, а тот стоял, ничего не замечая и не думая защищаться.

В ту же секунду позади Петера раздался выстрел, и бандит повалился навзничь; на месте одного глаза у него была кровавая дыра. Петер оглянулся на убитого, потом в ту сторону, откуда послышался выстрел, и увидел Аустру.

— Опять десятку выбила! — крикнул он. Но только позже, когда кончился бой, Петер подумал о случившемся. Он отыскал глазами прятавшуюся за спинами бойцов девушку и подошел пожать ей руку.

— Благодарю. Ты мне сегодня жизнь спасла, — отрывистым шепотом сказал он, хотя можно было говорить громко: все сорок кайцелей и парашютистов были уничтожены, а троих раненых взяли в плен.

Первые лучи солнца уже упали на тихие воды озера, и оно казалось огромной чашей, полной расплавленного золота. Подобрав трофеи, бойцы направились к базе. По дороге Петер несколько раз оглядывался на Аустру, которая шагала позади. Почувствовав его взгляд, она подняла глаза. Петер улыбнулся, а девушка покраснела и отвернулась.

Продолжались суровые военные будни. Из батальонов латышских рабочих, активистов и работников милиции были составлены два отдельных латышских стрелковых полка; они вошли в состав действующей армии и к середине июля заняли свое место на эстонском участке фронта. Латышские полки вскоре получили боевое крещение; об их высоких боевых качествах стало известно командованию фронта.

Рота Жубура влилась во 2-й стрелковый полк. 16 июля был получен приказ выступить на передовую. Согласно этому приказу, полк должен был за несколько часов передвинуться километров на семьдесят на автомашинах, а затем пройти тридцать километров по лесам и болотам, причем его путь в двух местах пересекала река Педья. Полк раньше времени достиг назначенного пункта и занял исходные позиции. За этот стремительный переход стрелки успели уничтожить в одном лесничестве штаб диверсантской банды.

Утром 17 июля полк вошел в соприкосновение с противником. Не подозревая, что в этой местности, вчера еще совершенно пустынной, могут находиться части Красной Армии, десантная колонна немцев въехала на танкетках в расположение полка и внезапно нарвалась на засаду. Много немцев полегло на дороге, остальные сломя голову бросились обратно, доказав тем самым, вопреки хвalebным заявлениям геббельсовской пропаганды, что искусство драпать не так уж им незнакомо. Первый успех окрылил стрелков. Они рвались на самые опасные участки, а так как командир полка Улпе — бывший проректор Латвийской сельскохозяйственной академии — и сам был из отчаянных, то некому было умерить их горячность.

— Фрица можно бить! — передавалось из уст в уста. — Фриц убегает, если против него выходят настоящие люди. Это тебе не Голландия!

Молодые бойцы напрашивались на самые рискованные задания. Переодевшись в форму кайцелей, несколько человек, хорошо знающих немецкий язык, остановили на дороге немецкую машину, и фельдфебель подробно рассказал им, как быстрее добраться до штаба ближайшей войсковой части. Через час от штаба ничего не осталось, и на соответствующем участке среди гитлеровцев началась паника.

Не имея ни артиллерии, ни минометов, латышские стрелки завязывали наступательные бои в районе Одисте, Латси, Лейя и Латкале и, достигнув северного берега озера Выртс, оседлали три важные дороги между Тарту, Вильянди и Колгу. Таким образом, вильяндская — тартуская группа немецкой армии была рассечена пополам, что весьма улучшило положение наших частей обороны.

Но бои с каждым днем становились все более напряженными. Враг подтянул резервы, перегруппировался и при поддержке моторизованных частей стал спасать свою пошатнувшуюся репутацию.

Снова форсированный марш — пятьдесят километров по болотам и лесам, и затем семичасовой бой с немецкими моторизованными частями близ мызы Пурмани. На следующую ночь 2-й латышский полк получил

новое боевое задание: переправиться на автомашинах к городу Паламусе и прикрыть с тыла Тарту, а прорвавшиеся мотомехчасти противника отбросить к станции Йыгева. И снова, несмотря на трудный переход и тяжелые условия боя, полк оказывался именно там, где он больше всего был нужен и где противник меньше всего ожидал его. Не удивительно, что гитлеровцы ругались на чем свет стоит:

— Проклятые латыши!

— Не нравится, фриц? — кричали в ответ рижские парни. — Понюхай, чем это пахнет! Можно и еще поддать!

24 июля пал в бою командир полка Карл Улпе. Тяжело ранило комиссара полка Циелава. Новые люди встали на их места, и снова продолжалась овеянная дыханием смерти и героизма военная страда. Только на мызе Эриствере осталась незабвенная могила, где стрелки похоронили своего командира.

Фашисты из кожи вон лезут: близится к концу срок обещанной «молниеносной» победы; весь мир облетели широковещательные заявления о точных датах взятия Москвы и Ленинграда, а до Москвы еще далеко; сгоревшие и разбитые танки со свастикой валяются вдоль дорог Псковщины и Смоленщины. Подбитые гвоздями сапоги вязнут в гдовских болотах, а о золотом шпигеле Адмиралтейства не могут толком рассказать даже разведчики-летчики, потому что защитники Ленинграда не подпускают их к своему городу. Плечом к плечу бьют фашистов русский и украинец, латыш и эстонец, грузин и узбек — сыны всех советских народов. Красная Армия! Она не дрогнула, несмотря на начальный перевес сил противника. Она верит в мудрость Коммунистической партии, в непобедимость своего государства! «За Родину! За Сталина!» — звучит стоязычный боевой призыв патриотов, раздаваясь во всех уголках необъятной Советской страны, подымая на борьбу миллионы и миллионы людей.

В приказах Гитлера прорывается раздражение и нетерпение; разговаривая со своими генералами и фельдмаршалами, он уже хрипит и стучит кулаком по столу. Все сроки летят в трубу. Если до осенних ливней не будет достигнуто решающих успехов, потом уже танкам ничего не удастся сделать, и тогда конец «молниеносной» войне. У Геббельса уже заготовлены передовицы ко дню победы, а информационный отдел генерального штаба придумывает новые термины, чтобы замаскировать неуспех германской армии.

Вот и этот неподатливый эстонский участок огромного фронта был как бельмо на глазу у немцев. Вместо приятной прогулки и ловких,

планомерных операций — тяжелая кровавая битва, не предусмотренная никакими планами. Генералы и полковники нервничают, фельдфебели и солдаты ругаются, как базарные торговки. А леса и болота Эстонии плюют огнем — попробуй, подойди тут. Где же покорные бургомистры с хлебом-солью и ключами от своих городов? Где охапки цветов, устилающие дорогу победителям?

Дни идут, а «жизненное пространство» не бежит навстречу, — в него надо вгрызаться зубами, как в гранитную скалу, а у фашистского волка одни клыки выбиты, другие начинают шататься. Непокойно становится, когда подумаешь: а что, как придется прогрызаться так до Волги, до Урала?

И чтобы люди-автоматы не начали думать, Геббельс еще усерднее накручивает свою шарманку.

...Вскоре после первых боев заболела Айя: возможно, это было отравление, возможно, занесенная немцами эпидемия, но температура у нее поднялась до 39, и она ничего не могла есть. До сих пор Айя не расставалась с мужем. С середины июля, когда Жубура назначили командиром батальона, Юрис Рубенис стал командиром роты. Вместе они участвовали в отчаянных, смелых переходах через леса и болота, вместе были в боях, и никогда им не приходилось подбадривать друг друга.

И вот настал день, когда Айя должна была уехать в тыл. Она простилась со своими комсомолками, крепко пожала руки Петеру и Жубуру, и Юрис повел ее на эвакуационный пункт. Ее посадили вместе с несколькими ранеными бойцами в санитарный автобус, который шел в Нарву. Юрис примолк и задумался, сжимая на прощанье горячую руку жены, а глаза Айи затуманились.

— До свидания, дружок... — шептала она потрескавшимися губами, торопливо поглаживая руку Юриса. — Не надо беспокоиться обо мне. Ничего плохого со мной не случится, ведь я не неженка, ты сам знаешь... И я все время буду думать в тебе... Ты будешь это чувствовать.

— До свидания, Айечка. — Юрис попробовал улыбнуться, но какая уж тут улыбка, — только брови еще крепче стянулись у переносья. — Не слишком бойся за меня. Я буду драться не хуже других. Немцы еще почувствуют, с кем они воюют, ох и почувствуют... Тебе не придется за меня краснеть...

Уже темнело, когда зеленый автобус, освещенный красноватым заревом дальнего боя, тронулся и вскоре исчез за соснами. Южный край неба озаряли вспышки разрывов, даже здесь чувствовалось, как сотрясается от них воздух.

Юрис Рубенис возвращался в свою роту. Мысль: «Увижу ли я ее?»,

которая все время тлела в глубине его сознания, сейчас внезапно вспыхнула, как пламя из-под пепла. Конечно, об этом же думала в это время и Айя: «Когда и где мы увидимся?»

Прощаясь, они даже не условились, как подать весть друг другу. Да и какое это имело значение? Могли ли они думать о завтрашнем дне, о полных неизвестности будущих днях, когда никто не мог сказать, сколько их ему осталось, когда сегодня требовало целиком всего человека.

Здесь почти все напоминало оставленную ими близкую родину. Такие же разбросанные среди полей крестьянские дворы с фруктовыми садами, с кустами сирени вдоль изгородей и закопченные баньки на берегу озера или речки. На пашнях там и сям виднеются серые валуны; по целине, испещренной кустами можжевельника, пасется скотина под присмотром мальчика пастушка. И люди как будто те же, хоть и говорят они на незнакомом языке, да и характером более замкнутые, молчаливые, чем латыши.

На лугах с каждым днем появляется все больше стогов сена; словно витязи солнечной рати, правильными рядами встают на полях золотые крестцы, — в преддверии боев все еще продолжают работать крестьяне. С любовью смотрят на бойцов Красной Армии простые люди; только кулак угрюмым, нетерпеливым взглядом встречает их на пороге. Если случится красноармейцу попросить у него напиток, он лишь молча покажет на колодец.

Ни днем, ни ночью не затихали бои на холмах и в лесах Эстонии. Все яростнее становился натиск бронированных полчищ. У Пярну высадился фашистский морской десант. Угроза окружения нависла над полками Красной Армии, державшими оборону между Чудским озером и побережьем. Трудно маневрировать в таких условиях, а десантные группы, которые неприятель высаживает по ночам на побережье Финского залива, вот-вот перережут последние пути отхода на Нарву и Кингисепп. Но те, кто дерется на подступах к Таллину и берегах большого озера, не думают об отходе. Тяжелая рука рижского рабочего и крестьянина с пшеничных полей Земгалии наносит врагу сокрушительные удары. Бойцы хоронят павших товарищей, все меньше становится полк, но живые еще теснее сплываются в боевом строю. Через линию фронта из Латвии прорываются вести о кровавом разгule гитлеровцев. Напор стальной

лавины слишком силен, — еще не пришло время погнать ее назад. Гусеницы танков лязгают по всем дорогам. С рассвета до темноты в воздухе гудят моторы «юнкерсов» и «мессершмиттов»; лица бойцов становятся черными — так густо рвутся вокруг мины... Они не отступают. Гитлеровские войска, как расплавленный металл, огненными потоками обтекают их — и круг замыкается; сейчас полк стоит, как остров среди моря, как гранитная скала, которую стремится уничтожить вражеская стихия.

Потерявшие связь со своими, латышские стрелки подсчитывают последние патроны и ручные гранаты и разбиваются на небольшие ударные группы. Один батальон, расположенный севернее, остался в стороне, два батальона ведут смертельные бои в окружении. Геройской смертью пал командир второго батальона Годкали, сложил голову на поле боя командир третьего батальона Долбе. Командир полка Скрастынь, недавно заменивший убитого Улпе, пропал без вести. В неравной борьбе с превосходящими силами противника полк несет тяжелые потери, и оставшиеся в живых еще крепче сжимают в руках винтовки, еще теснее смыкаются вокруг ротного командира Паневича, который принял на себя командование обоими батальонами. Паневич — бывалый солдат, но в его распоряжении только номинально два батальона, на самом деле это лишь остатки истекающих кровью рот. Однако у них еще хватило сил и мужества перейти в наступление, прорвать кольцо окружения и по пути разгромить штаб немецкой дивизии. Земля усеяна трупами, горят серые штабные машины. Стрелок снова может дышать полной грудью: больше не сжимает его кольцо смерти. Но среди героев не видно начальника штаба второго батальона Розенберга. Многого испытал он — сидел в тюрьмах фашистской Латвии, дрался в войсках республиканской Испании — и вот сложил свою непокорную голову на эстонской земле.

В начале августа все батальоны полка соединились в районе города Йыхви, и 10 августа командование полком принял командир первого батальона Фрицис Пуце. Боевой путь полка шел на восток — к Кингисеппу, к преддверью Ленинграда, где начиналась титаническая борьба за колыбель великой революции. Волей истории дано было участвовать в ней и латышскому стрелку.

В трех местах прострелена фуражка у Карла Жубура, у Силениека осколком мины оторвало полу кителя. Все смертельно устали, думают о том, как бы хорошо было выпасться на душистом сене, — да что на сене! — хотя бы на голой земле. Но до отдыха еще далеко-далеко, — они еще дышат раскаленным воздухом боя.

Постоянное душевное напряжение и готовность к борьбе проложили на их лицах новые черты. Все они стали старше, суровее, чем несколько недель тому назад. Только на лице Аустры Закис не угасала улыбка. Еще темнее стал загар на ее щеках, еще ослепительнее блеск зубов, когда она отвечает смехом на чью-нибудь шутку. А если при воспоминании об оставленных родных ей становится грустно, в эти минуты она оказывается рядом с Петером Спаре и заводит разговор о доме. Петер задумчиво слушает девушку. В памяти снова встают картины былого — летнее утро на реке, щебет птиц в прибрежных кустах, подернутые дымкой поля Латвии. Больно сжимается сердце от этих воспоминаний, и, чтобы заглушить боль, Петер начинает говорить сам. Аустра жадно глотает каждое его слово, как ребенок, которому мать рассказывает волшебную сказку, и они больше не замечают, что рядом грохочут колеса орудий и поднятая ими пыль ест глаза.

Петеру радостно смотреть на эту девушку, — радостно, что она всегда свежа и ясна, как солнечное утро, что она мужественно шагает по трудным дорогам войны в тяжелых сапогах, словно настоящий красноармеец. Да так оно и есть. Редкая из ее пуль не попадает в цель, и больших трудов стоило приучить ее прижиматься к земле во время боя. Ее рука не дрожит, нажимая спуск, но, когда рота хоронила в тихой роще вместе с другими товарищами двух комсомолок, Аустра не стыдилась своих слез и потом весь день ходила с заплаканными глазами. За каждую убитую подругу она заставила поплатиться жизнью двух гитлеровцев, но это только начало.

— Дай понесу немного твою винтовку, — предлагает Петер.

Аустра энергично трясет головой, и снова виден блеск ее зубов.

— Какой же это солдат отдает свое оружие другому? Товарищ политрук, что об этом говорится в уставе?

— Устав требует безоговорочного выполнения приказа.

— Значит, я должна понимать слова товарища политрука как приказ? — допытывается Аустра, глядя сбоку на Петера.

— Понимай, как знаешь.

— Ну, если так... — Аустра краснеет, потом медленно снимает через голову ремень винтовки и передает ее Петеру. Да, так легче дышится, оружие не оттягивает плечо.

Так они идут день и всю следующую ночь, пока не выходят из полуокружения, чтобы соединиться с войсками Ленинградского фронта.

Глава вторая

Когда раздались первые выстрелы, людской поток, двигавшийся по лесу, не отклонился от своего пути.

За последнюю неделю столько было пережито, что все свыклись и с выстрелами, и с гулом неприятельских самолетов, и с пожарами, и с трупами, лежащими вдоль дорог. Бульжник шоссе во многих местах был разворочен бомбами, везде зияли ямы в метр шириной и глубиной, в иных местах они попадались так часто, что подводам трудно было лавировать между ними. Вдоль обочин чернели громадные кратеры, метров в десять диаметром, извивались оборванные телефонные провода, лежали трупы убитых лошадей с вывалившимися внутренностями. Бывалые люди уверяли, что здесь, мол, упала бомба в двести пятьдесят килограммов, а то и в полтонны.

Словно у костров, стояли крестьяне возле горящих домов и с каким-то странным безразличием глядели, как огонь пожирает их кров и добро. Женщины с детьми держались поодаль, боязливо дожидаясь, когда пламя утолит свой голод. Время от времени мужчины начинали двигаться, тяжелой поступью ходили вокруг гигантского костра и вытаскивали баграми что-нибудь из утвари. Им уже было все равно, что творится кругом; они даже не поднимали голов, когда слышался знакомый воющий гул «юнкерсов». Казалось, ничто уже не могло усилить людское горе.

И днем и ночью нескончаемый поток пешеходов и повозок лился по шоссе. Над ним стояла буроватая мгла, и в самой гуще этой мглы двигались живые существа, грохотали колеса, пронзительно скрежетали гусеницы тягачей, людские голоса сливались с мычанием скотины. Рядом со взрослыми шагали уставшие дети, и их серые личики походили на иссушенную летним зноем землю.

Изредка на шоссе появлялась какая-нибудь войсковая часть, артиллерия, обоз, — и за ними снова лился пестрый поток беженцев со всех концов Латвии — из Курземе и Земгалии, из Риги и Видземе. Отдельными группами шли литовцы; перед их глазами все еще стояли ужасные картины, виденные ими в Шауляй и Тельшай. Выбывавшие из строя машины беженцы тут же сбрасывали в канавы, чтобы не мешали движению. Рядом с разбитой повозкой и убитой лошадью лежал ездовой, — казалось, прилег отдохнуть в полуденный зной, прикрыв лицо полкой шинели. Увидев трупы, люди быстро отворачивались, глядели в сторону.

Больше всего вражеская авиация свирепствовала в том месте, где военная дорога скрещивалась с грунтовой, вырывавшейся из густого леса на открытое поле. Здесь сливались два потока беженцев, до сих пор текшие раздельно через всю Видземе и принимавшие в свое русло на каждом перекрестке все новые людские ручьи и ручейки. Немецкая авиация держала под наблюдением этот большой дорожный узел, и чуть только образовывалось скопление людей, черные хищники были тут как тут. Словно хвастаясь своей безнаказанностью, они летали низко-низко, почти касаясь верхушек деревьев. Струя пулеметного огня то скашивала в поле одинокого пахаря, то обрушивалась на кучу детишек, игравших на дворе придорожного хутора, то гналась за старичком пастухом, сторожившим на выгоне скотину. Всюду бушевали огонь и смерть.

В трех километрах от скрещения обеих дорог, в глубине леса, вершила свои гнусные дела банда фашистских наемников. Обитатели «зеленой гостиницы» уже не сидели на островке среди болота. Припрятанные в июне 1940 года оружие и боеприпасы были вытащены на свет вместе с зелеными айзсарговскими мундирами. Палачи стосковались по крови, но не осмеливались нападать на войсковые части. Храбрыми они становились только, если на дороге появлялись безоружные люди. Натешившись в одном месте, бандиты уходили к югу. Когда-то они прятали свои окровавленные руки за щитом «патриотизма», но теперь весь народ увидел, что этот щит был отмечен знаком свастики.

...Ян Пургайлис сразу догадался, откуда эти внезапные выстрелы. Тотчас поняли это и остальные, когда один за другим стали падать наземь раненые и убитые. Стоны, крики ужаса, детский плач, треск винтовочных выстрелов...

В первый момент Пургайлис импульсивно схватился за карман, где лежала подобранная на дороге ручная граната. Но сразу одумался — что тут сделаешь одной гранатой? Бандиты прячутся за деревьями, не поймешь даже, откуда именно стреляют, а толпа на дороге вся как на ладони.

— Марта, скорее с дороги! — крикнул он жене и, схватив ее за руку, перетащил через канаву. Они бежали по лесу, пока не вышли на опушку, — дальше начиналось большое болото, поросшее кое-где мелкими березками и чахлыми сосенками. Пургайлис осторожно наступил на замшелую кочку — она подалась под ногой, и все вокруг заколыхалось, из-под мха в нескольких местах выступила вода.

Ян покачал головой. Здесь не очень-то проберешься. Но и мешкать не приходится. Кто его знает, сколько их тут, этих гадов.

— Пойдем, Марта, может лесом удастся обойти.

— Скорее только, Ян, — ответила Марта. Она все еще не могла отдышаться и от волнения и от быстрого бега. Она очень испугалась, но, не в пример другим женщинам, мешка своего не бросила.

Со стороны дороги все еще доносилась частая стрельба. Низко нагибаясь, прячась меж кустами, Ян и Марта пробирались вдоль болота к северу. Ноги поминутно задевали за корни деревьев, еловые сучья больно царапали лицо и руки. Ян шел впереди с гранатой наготове. Через несколько десятков метров они очутились у небольшого пригорка — здесь можно было выпрямиться, так как он служил хорошим прикрытием. Стрельба уже стихла, слышались только отдаленные голоса. Пройдя еще километр, Пургайлис с женой вышли, наконец, из чащи на дорогу. И здесь перед ними открылось ужасающее зрелище: придорожная канава была полна человеческих трупов. Женщины и мужчины, дети и старики лежали в лужах крови. И среди убитых осталось одно живое существо: маленький мальчик сидел возле мертвой матери; он то теребил ее за руку, стараясь разбудить, то гладил по щеке.

— Мама... Хлебца хочу... Не надо бай-бай... — лепетал он.

Марта была не в силах шагнуть дальше, глаза у нее были полны слез.

— Ах ты, воробышек бедный! Не встанет больше твоя мама. Ян, скажи ты мне, да что это за люди, что они делают?

Ян, стиснув зубы, глядел на убитых.

— Они, Марта, не люди, — медленно сказал он. — Видишь теперь, что нас ожидало, если бы мы остались на хуторе Вилде?

Марта покачала головой.

— Изверги, — повторила она, не спуская глаз с окровавленных трупов. — Да, старик Вилде с Германом горло бы тебе перегрызли. Слушай, Ян, а ведь мальчика нельзя здесь оставлять, пропадет он. Года два ему, не больше. Возьмем его с собой, вырастим...

— Если тебе хочется, мне и подавно, — просто ответил муж.

Они подошли к ребенку.

— Как тебя зовут, детка? — нежно спросила Марта, нагибаясь к нему.

Мальчик исподлобья посмотрел на незнакомых людей и замолчал. Марта терпеливо и ласково заговаривала с ним, потом достала из мешка кусочек хлеба и протянула ребенку. Он сразу осмелел, взял хлеб и даже улыбнулся.

— Петерит, — наконец, проговорил он и застенчиво уткнулся запыленным личиком в плечо матери.

— Пойдем, Петерит, пойдем; встань, маленький. Опа! — сказала

Марта, приподымая мальчика. — Дядя тебя возьмет на ручки, понесет тебя. Дядя хороший, добрый, он как твой папа.

— Папа бай-бай, — ответил мальчик. — И мама бай-бай.

— А где твой папа? Вот этот? — Марта прикоснулась к плечу убитого мужчины, который лежал на дне канавы рядом с матерью Петерита. Мальчик замотал головой и показал на другой труп. Это был мужчина лет тридцати пяти, одетый почти в новый городского покроя костюм.

— Марта, — сказал Пургайлис, оглядываясь по сторонам. — Долго оставаться здесь нельзя. Надо бы еще родителей Петерита похоронить, все-таки они нам теперь не совсем чужие. Ты отойди с мальчиком в сторонку, позабавь его, покорми, а я тем временем управлюсь.

— Хорошо, что ты подумал об этом, Ян.

Марта взяла Петерита на руки и отошла за деревья.

— Сейчас умоем Петерита, покормим, нарвем цветочков. А потом опять к маме вернемся, — уговаривала она ребенка, который опять начал озираться, ища глазами своих мертвых родителей. Марте пришлось пустить в ход всю свою изобретательность, чтобы отвлечь его внимание.

Ян вынес обоих убитых из канавы и положил шагах в десяти от дороги, под двумя густыми елями, почти сросшимися корнями. Потом покрыл их мхом и сверху положил несколько больших еловых веток. У мужчины он нашел во внутреннем кармане пиджака карточку кандидата партии. «Юлий Пацеплит», — прочел Ян имя владельца. Остальные документы он решил просмотреть после.

Подошла Марта с Петеритом. Они еще несколько минут молча постояли над мшистым могильным холмиком.

— Пора, пойдем, — сказал Ян.

— Пойдем, — шепотом оказала Марта. Потом обратилась к мальчику. — Пойдем, Петерит, пусть мама с папой отдохнут, бай-бай.

Ян взял у Марты вещевой мешок и взвалил его себе на спину.

— Когда устанешь нести малыша, сменимся, — сказал он жене. — Вдвоем справимся как-нибудь.

— Ты ведь не сердисься, что я взяла ребенка? — спросила Марта.

— Правильно сделала, Марта, — коротко ответил муж и стал гладить мальчика по головке. — Не горюй, Петерит, вырастим.

Оставшуюся часть леса они шли по дороге, останавливаясь по временам, чтобы осмотреться. Через час они достигли скрещения дорог. На душе у них сразу стало веселее, народу было много, и все свои. Они вошли в общий поток, который направлялся к северо-востоку. Для Петерита кругом было столько нового и необычного, что он забыл даже про своих

родителей и поминутно показывал то на колеса орудия, то на тарахтевший тягач, то на большой грузовик с военным имуществом и удивленно восклицал:

— Во, какой большой! А это что?
Марта, как умела, объясняла ему.

2

На дороге образовался затор. Стала большая грузовая машина, и ее нельзя было объехать, так как в этом месте шоссе разворотило с одного края бомбой. Достаточно было этой помехи, как в несколько минут возникла «пробка» длиной в километр. Когда Пургайлисы подошли к шоссе, в хвосте колонны еще не знали, что случилось впереди. Усталые шоферы вылезали из кабин, проверяли покрышки, добавляли в баки бензин. Один нетерпеливый водитель свернул с дороги, кое-как перебрался через неглубокую с пологими краями канаву, пытаясь объехать колонну полев. Не пройдя и двухсот метров, машина завязла в болотистом грунте и не могла двинуться ни взад ни вперед. По другую сторону шоссе тянулась вырубка, через нее можно было идти только пешеходам.

— Стоять тут нечего, Марта, — сказал Пургайлис. — Если пробка не рассосется, через полчаса налетит немец, и такая музыка начнется... Дай-ка мне Петерита.

Ян взял мальчика и, не снимая мешков, перескочил через канаву. Дождавшись жены, он быстро зашагал по вырубке, все время петляя меж пеньков. Марта старалась не отставать от него.

Не успели они дойти до головы колонны, как в воздухе послышался знакомый противный вой. Люди тревожно вглядывались в небо, стараясь различить черные силуэты, несущие гибель. Они увидели три «мессершмитта» почти в тот момент, когда те очутились над дорогой. Пролетев над колонной, один из них сбросил три небольшие бомбы, которые упали поодаль, никому не причинив вреда. Остальные повернули влево и стали удаляться.

— Уходят! — раздалось несколько радостных голосов. — Дальше летят!

Но тревога тут же усилилась: оба «мессершмитта», сделав круг, пустились на высоту в тридцать — сорок метров. Один пронесся прямо над колонной, другой летел параллельно шоссе. Затрещали пулеметы, град пуль врезался в плотную, объятую ужасом толпу, и почти каждая попадала

— в человека, в лошадь, в машину.

Когда кончился первый налет, Пургайлис увидел недалеко от себя молодую, хрупкого сложения женщину; голова ее была повязана пестрым шелковым платочком, из-под него выбивались пряди посеревших от пыли волос. Женщина сидела на пеньке и с выражением полного безучастия перебирала пальцами ляжку спущенного с плеч мешка. Она будто и не видела и не слышала, что происходило вокруг.

Пургайлис посмотрел на нее, покачал головой и негромко крикнул:

— Что же вы сидите? Дождаетесь, когда убьют? Они ведь, проклятые, сейчас вернутся.

Женщина, словно разбуженная от сна, повернула голову, посмотрела на Пургайлиса, потом на Марту. В глазах ее промелькнуло какое-то новое выражение.

— Я две ночи не спала, — медленно ответила она. — Ноги больше не слушаются.

— Все равно отдыхать не время, — строго, точно ребенку, сказала Марта. — Вот доберемся до Пскова, тогда и выспаться можно. Вставайте, товарищ, здесь нельзя оставаться, надо уходить подальше от дороги, а то эти изверги всех нас перебьют.

Женщина встала, накинула на плечи ляжки мешка; эти сильные, простые люди заставили ее подчиниться своей воле. Когда Пургайлис сказал, что надо поторопиться, она покорно кивнула ему и зашагала быстрее. А когда, спускаясь с пригорка, она пошатнулась, — Марта взяла ее под руку свободной рукой.

— Ничего, ничего, — успокоительно приговаривала она, — вот чуточку подальше отойдем, там и передохнуть можно. Потерпите еще немножко.

— Спасибо, — прошептала женщина. — Я понимаю, что надо выдержать...

Когда над шоссе вновь появилась тройка «мессершмиттов» и снова застрочили пулеметы, Ян Пургайлис и его спутницы успели добежать до пересохшей канавы, разделявшей два поля. Плотнo прижавшись к ее дну, они пролежали там минут десять. После третьего захода, растратив весь боезапас, самолеты скрылись в южном направлении. Прошло еще несколько минут, прежде чем оставшиеся в живых поверили наступившей тишине. Они поднимались из полевых канав, из ям, оставшихся на месте выкорчеванных пней, выползали из-под машин и бросались искать своих родных и спутников. Общими усилиями трупы были убраны с дороги, а те, кого пулеметная очередь застигла на вырубке, остались лежать там. Горело

несколько машин. Водители опрокинули их в канавы. Одну нагруженную доверху машину взял на буксир тягач, и пробка быстро рассосалась. Люди работали быстро, молча, стиснув зубы.

По вырубке долго ходила пожилая женщина и созывала своих детей — она вела на восток группу пионеров. Дети понемногу собирались в кучку, но многие так и не откликнулись. С окровавленными личиками, сохранившими и в смерти невинное выражение, лежали в разных концах вырубки дети Советской Латвии. Живые с горестным изумлением смотрели на застывшие лица товарищей, и в их глазах стоял вопрос: «Почему? За что?» Жалостью к погибшим, впервые зародившимся чувством ненависти к врагу полнились сердца детей. Навсегда запечатлеются в их памяти эти страшные картины, навсегда осветят их будущий путь, определяют его направление.

Пионеры нарвали мяты, синих, белых и желтых полевых цветов и осыпали ими своих товарищей. Потом маленький отряд двинулся дальше.

Пургайлис расправил плечи, взвалил на спину свой и женин мешок и взглядом дал понять Марте, что пора идти. Марта взяла на руки Петерита и слегка трянула плечо незнакомки.

— Идти надо, — сказала Марта, когда женщина подняла голову. — Может, доберемся к вечеру до какого-нибудь тихого местечка. Третью ночь без сна вы не выдержите. Наверно, издалека, товарищ?

Женщина продолжала сидеть на краю канавы, глубоко задумавшись, смотря отсутствующим взглядом через поле, в сторону дороги, где снова клубилась пыль и непрерывным потоком двигались люди. Потом, словно спохватившись, вскочила на ноги и тревожно поглядела на Марту.

— Вы что-то сказали?

— Издалека, спрашиваю?

— Из Риги. Меня зовут Мара Павулан. Я артистка, из театра. А вы тоже из Риги?

— Мы деревенские, — ответил за Марту Пургайлис. — Да, так вот и выходит, что у всех у нас одна дорога. И у городских и у деревенских. Ну, ничего. Когда-нибудь вернемся назад — вместе ли, порознь, там видно будет. Дайте мне ваш мешочек, понесу немного.

— У вас своих два...

— Достанет сил и на третий.

Пургайлис навьючился, как мул, и сам же улыбнулся по поводу своего смешного вида. Пройдя немного, он обернулся к жене.

— Дай-ка сюда малыша. Ты что-то, я вижу, стала раскисать.

Марта улыбнулась.

— Покрасоваться любишь, не хуже петуха. Я раскисла! Погляжу еще, что ты к вечеру запоешь. Ну, уж если так хочется похвастаться — на, бери, покажи свою силу.

Ей ли было не знать своего мужа: ведь он без посторонней помощи выворачивал самые тяжелые валуны, подымал на тачку и отвозил на край поля. Отдав мужу мальчика, Марта немного отстала и завела разговор с Марой.

Мара рассказала, что из Риги она выехала на грузовике, что на другой день машина попала в затор и у нее сломалась ось, пришлось идти через всю Видземе пешком. Один раз группу беженцев, в которой она шла, обстреляли бандиты, но их разогнал подоспевший отряд милиции. В этот раз Мара растеряла своих спутников, они, видимо, ушли вперед.

— Куда вы думаете ехать?

— Если бы я сама знала... — Марта грустно улыбнулась. — А вы в определенное место эвакуируетесь?

— Куда-нибудь поближе к Латвии. Очень далеко от дома уезжать не хочется.

— А если фашисты пойдут дальше? Если не удастся остановить их сразу?

— Тогда придется ехать дальше. В руки им ни за что не дадимся.

— Ни за что! — повторила Мара. — В глаза я их еще не видела, но на дела их насмотрелась. Это не люди!

— Мы с Яном тоже много чего повидали дорогой. Ян говорит, они запугать нас хотят. Все равно ни за что не победить им Красную Армию. Эх, если бы меня взяли, сейчас бы пошла на фронт, вместе с мужчинами...

— А ребенок?

Марта осеклась, словно от смущения, потом сконфуженно улыбнулась.

— Да, правда, надо кому-то с ребенком остаться. Он, правда, вчера еще был не наш... Но мы будем воспитывать как родного.

— Неужели подобрали на дороге? — Мара с удвоенным интересом посмотрела на Марту. Та молча кивнула головой.

...Поздним вечером они дошли до пригорода Пскова. Заночевали в поле под открытым небом, вместе с сотнями таких же беженцев. На следующий день им дали место в эшелоне, с которым доехали до станции Торошино. Потом долгие часы ожидания... матери, разыскивающие своих, детей... воздушные тревоги... земля вздрагивает от взрывов, горит соседний эшелон, опять умирают люди... Опять стоны, кровь, смерть. Словно в кошмаре, тянется день, ночь, еще один день и еще одна ночь. Наконец, эшелон тронулся, и вот они вне опасности. Через несколько суток

доехали до большого областного города на берегу Волги. Там уже знали о прибытии эвакуированных и быстро распределили их по районам, где они должны были получить работу на предприятиях и в колхозах. Яна Пургайлиса с женой и приемным сыном направили в один из окрестных колхозов. Мара осталась в городе.

Большинство знакомых считало ее женщиной хрупкой, избалованной, — да она и в самом деле не была закалена жизнью, и теперешние условия могли ей показаться слишком трудными. Но Мара не сломилась. Да, это было тяжело — внезапно оказаться выбитой из привычной обстановки, оторваться от театра, от друзей и родных. Но Мара поняла, что это не навсегда, что скоро и она найдет себе дело, почувствует себя полноценным человеком. А когда она пробовала представить себе тот невообразимый позор, которого она избежала, уйдя в далекий неведомый путь, — все лишения и трудности казались ничтожными.

Когда уже все опасности были позади и Мара, сидя в вагоне, могла связно перебирать в памяти события последних дней, она много думала о своей встрече с бывшими батраками Яном и Мартой Пургайлисами. Их мужество, пренебрежение к материальным лишениям, спокойная уверенность в победе и то, что они даже в моменты крайней опасности старались помочь более слабым спутникам, потрясли Мару. «Вот он какой, народ, — думала она. — Разве можно запугать его, разве можно сломить? Нет, никогда!»

Дорогой она с жадным любопытством глядела на русские города и села, на русских людей, и всюду она видела спокойные серьезные лица, твердость металла звучала в голосах. И всюду люди сосредоточенно делали свое дело. Во всем чувствовалась мощь огромного, непобедимого народа, и Маре казалось, что она сама становится сильнее, увереннее, мужественнее.

Когда эшелон прибыл к месту назначения, Мара тепло, как с родными, простилась с Яном и Мартой и пошла в город. Еще дорогой она решила пойти работать на оборонный завод, — до того ей хотелось сделать что-нибудь для победы своими руками, в прямом смысле слова. Она так и сказала, когда ее регистрировали. Мару направили на текстильную фабрику, там ее приняли на подсобную работу. На следующий день, когда она пришла с фабрики в общежитие, на душе у нее было легко, несмотря на усталость. «Ну что ж, пусть это несложное, незначительное дело, но я все-таки помогаю народу, государству. И потом — всему можно научиться...» Мара с особенной силой почувствовала, что она дочь Екаба Павулана, дочь рабочего, а не изнеженное растение, требующее непрестанного ухода.

О прибытии первого эшелона эвакуированных латышей Эрнест Чунда узнал в тот же день. Сам он уже с неделю жил в этом большом, живописно раскинувшемся по высокому берегу Волги городе. Узнал он об этом от заведующего горторгом Арбузова, который принял его на работу.

— Эрнест Иванович, вам, наверное, захочется повидаться с земляками? — участливо сказал он. — Вы не стесняйтесь, поезжайте на вокзал, возможно, увидите там кого-нибудь из друзей, знакомых. К тому же и советом можете помочь людям, вы уже с городом освоились. Считайте себя свободным до вечера.

— Вот спасибо, Никифор Андреевич. Обязательно надо поехать. Я думаю, что мне придется основательно заняться устройством эвакуированных. Многие не знают русского языка, у некоторых с документами не все в порядке, — вы ведь представляете, в каких условиях приходилось эвакуироваться.

Арбузов, плотный, плечистый мужчина лет под сорок, задумчиво покачал головой.

— Да, условия, прямо сказать, невыносимые. Где уж человеку думать о документах, когда жизнь на волоске висит. Но я вот, Эрнест Иванович, одного не могу понять — как это вы все-таки не могли сберечь свой партийный билет? Вот смотрите, что теперь получается. Нам дозарезу нужны опытные работники, организаторы, а у вас и опыта и знаний достаточно. И все-таки, пока ваши партийные дела не будут приведены в порядок, я не могу использовать вас в полную меру.

На лице Чунды появилось скорбное выражение.

— Никифор Андреевич, я вам говорю, для меня это целая трагедия. Но кто мог предвидеть?.. Я ведь уже вам объяснял, как дело было. Перед самым налетом закапризничала у меня машина, надо было помочь шоферу. Ну, снимаю френч и кладу его на бугорок, где посуше — так шагов за пятнадцать от дороги, причем место было абсолютно безлюдное. И вот, как назло, угораздило эту проклятую бомбу свалиться возле того бугорка. Я до сих пор не понимаю, как мы сами живы остались, — кругом осколки падают, всего землей засыпало. Когда опомнился, побежал за френчем, — но где там — ни френча, ни партбилета. Хорошо еще, паспорт и кое-какие справки в планшете были, а планшет в машине остался, иначе бы я всех документов лишился. Я и то говорю, лучше бы она мне в голову угодила, эта бомба. Да, это мне наука на всю жизнь.

— Век живи, век учись, — сказал Арбузов. — Да, партийное дело вам нужно как можно скорее привести в ясность. Ну, сейчас можете идти, скоро прибудет эшелон. До свидания, Эрнест Иванович.

Выйдя из кабинета Арбузова, Чунда забежал в отдел снабжения, где он работал заместителем заведующего, и сказал сотрудникам, что получил задание от начальства, так что не вернется до самого вечера. Выйдя на улицу, он задумался. Сообщение Арбузова вызвало в его душе чувства скорее тревожные, чем радостные. Конечно, с земляками веселей, но ведь неизвестно еще, откуда, из каких углов Латвии эти земляки. А вдруг попадется кто-нибудь из Риги, из своего района или даже из райкома! Начнутся расспросы, почему так рано выехал из Риги, почему так скоро очутился здесь, где обещанная тыловая база? Ах, нехорошо.

Вывернуться, конечно, можно; придумал какую-нибудь басню, успокоил любопытных — и дело с концом. Но Рута, — что делать с нею? Втереть очки ей можно, но заставить ее соврать или даже что-нибудь преувеличить... Нет, это дело безнадежное. Она и скандала не побоится.

Выехав из Риги, они только до Новгорода добрались на маленьком «мерседес-бенце». В Новгороде машину пришлось сдать автоинспекции: испортилось сцепление, а ждать, когда отремонтируют, Чунда не пожелал. Но с партийным билетом дело обстояло не совсем так, как он рассказывал. Никакая бомба не уничтожала его френча. Просто недалеко от Апе какой-то паникер, а может быть и провокатор, сказал, что километрах в тридцати к востоку сброшен немецкий парашютный десант. Этого было достаточно, чтобы Чунда у первой лесной опушки велел остановить машину и зарыл свой билет под высокой, заметно выделявшейся елью. Он рассуждал так: если придется попасть к немцам в лапы, они по крайней мере не узнают, что он коммунист, и, может быть, отпустят. Зарывая билет, Чунда тут же придумал оправдание своему поступку: он выполняет некий священный долг, — ведь немцы могут использовать в своих целях важный партийный документ.

Однако жене он ничего не сказал.

Когда они приехали сюда, Рута в первый же день встала на учет в горком комсомола и вечером спросила Чунду, почему он не был в горкоме партии.

Тогда он сказал, что в Новгороде на вокзале у него вытащили документы, в том числе партийный билет.

— До того глупо получилось, Рута, что мне не хотелось даже говорить тебе, — боялся расстроить. Ведь понимаешь, если к этому отнесутся формально, — могут дать строгий выговор. Ходи тогда всю жизнь с

замаранными документами, да еще каждый будет в нос тыкать этим выговором. Знаешь, что я думаю: нам надо придать несколько иное освещение этому случаю. Скажем, отход с боем, налет авиации, прямое попадание и так далее.

— Как ты изоврался, — перебила его Рута. — Что это за коммунист, который обманывает партию? Да это и не поможет тебе; знаешь, что пословица говорит: у лжи — тараканьи ножки... Во всяком случае, когда дело дойдет до разбирательства, я тебя выгораживать не стану.

— С формальной точки зрения, конечно, это может показаться ложью, — изворачивался Чунда, — а на самом деле с нами сто раз могла произойти подобная история. Главное, начнутся кривотолки: скажут, растерялся, не сумел сохранить билет, и черт знает что. И в такое время, когда я мог бы принести столько пользы, вдруг самое неприятное осложнение. Мне-то что, я готов пострадать, но ведь это прямой ущерб общему делу.

Но никакие уговоры на Руту не подействовали. «Хорошо, обойдемся без тебя», — решил про себя Чунда и перевел разговор на другое: надо еще выяснить, куда эвакуировались товарищи по райкому, где находится архив, чтобы получить соответствующие справки. Словом, придется ждать. Тут даже Рута ничего не могла возразить мужу.

Ее самое так измучило это путешествие вдвоем, больше похожее на бегство (на дезертирство, — говорила Рута Чунде), она так истосковалась по людям, по делу, что, придя в горком комсомола, сразу стала просить, чтобы ее послали на какую угодно работу. Комсомольцы встретили Руту очень сердечно, а так как только на днях много комсомольцев ушло на фронт, то для Руты легко нашлась работа в аппарате горкома.

Рута с жаром взялась за дело, а ее живой, общительный характер помог ей быстро сблизиться с новыми товарищами. В свободные минутки она выходила на берег Волги, гуляла по улицам — вслушивалась в русскую речь (Рута решила скорее научиться бегло говорить по-русски); домой возвращалась она поздно вечером, с мужем разговаривала мало, почти через силу. Но тот и не замечал этого, так он был занят устройством своих дел.

Чунда заранее выбрал для себя такое поле деятельности, которое, рассуждал он, даже в суровое военное время должно обеспечить приличные условия существования. Поэтому он направился прямо в горторг. Представившись заведующему, Чунда рассказал о своей работе в Риге, о своем участии в организации торгового аппарата. Затем он поведал ему об ужасной бомбежке, во время которой лишился партбилета. Теперь,

как только узнает, куда эвакуировали райкомовские дела, и получит соответствующие справки, немедленно начнет хлопотать о новом билете. Кроме паспорта, у него сохранилось в планшете несколько старых командировочных удостоверений и еще какая-то справка (Чунда забыл о них, когда зарывал партбилет), из которых явствовало, что он действительно работал инструктором райкома партии. Арбузов подумал-подумал и решил взять его заместителем заведующего отделом снабжения. Чунда был вполне доволен. Главное — месяца полтора можно жить спокойно: никто не удивится, если он за это время не получит нужных справок. А дальше — видно будет... На самом деле он никуда не писал, да и не собирался писать, «пока не выяснится общая обстановка...»

Вот почему Чунда не поехал на вокзал встречать своих земляков, а прохаживался по бульвару, на высоком берегу Волги, и с удовольствием наблюдал энергичную, бодрую жизнь пристани. По реке вверх и вниз шли нарядные белые пассажирские пароходы, буксиры тащили тяжелые баржи с хлебом, солью и другим добром. Чунда успевал полюбоваться и видом на Волгу и встречавшимися ему хорошенькими черноглазыми девушками.

Убив самым приятным образом часа два, Чунда пошел домой. При содействии Арбузова он уже получил хорошую большую комнату в центре города — рукой подать и до театра, и до рынка, и до главных учреждений; даже необходимой мебелью обзавелся. При иных обстоятельствах живи здесь хоть десять лет — и не надоест, но сейчас, когда немецкая армия занимала все новые города, Чунда не собирался обосновываться на долгое время. А вдруг победят немцы? Чунда был почти убежден в этом. Тайком от Руты он уже несколько вечеров занимался изучением карты Советского Союза, заблаговременно обдумывая, где будет всего безопаснее и удобнее. Средняя Азия... Дальний Восток... В случае нужды и через границу можно перебраться в какую-нибудь соседнюю страну. Однажды Рута застала его за этими размышлениями над картой и спросила, что он разыскивает.

— В наше время каждому человеку необходимо хоть немного разбираться в стратегии, — деловито ответил Чунда.

Айя Рубенис пролежала с неделю в ленинградском госпитале и после выписки стала хлопотать о возвращении на фронт, но в это время получила от ЦК Коммунистической партии Латвии направление в один из приволжских городов: ее послали в качестве уполномоченного по делам

эвакуированных из Латвии.

Сильнее всего Айю тянуло на фронт, к Юрису, Петеру, Силениеку, к старым товарищам, к своим комсомольцам.

«Может быть, через некоторое время — конечно, когда я организую в области работу и найду себе хорошего заместителя, — мне позволят все-таки вернуться на фронт», — мечтала Айя, глядя из окна вагона на меняющиеся картины летних полей. Кое-где колхозники еще убрали сено, всюду шла уборка хлебов, всюду стояли копны ржи. «Да неужели может случиться, что труд этот окажется напрасным и весь урожай попадет в руки врага? Не будет этого. Если мы все будем работать и воевать так, как требует партия, никогда этого не случится...»

Опять ей подумалось о том, как хорошо бы сейчас быть там, на фронте, вместе с Юрисом и Петером. Или стать партизанкой. Чем труднее и опаснее задание, тем оно заманчивее, тем дороже твой труд Отчизне.

«Нет, неверно, — возразила она сама себе. — Дорога всякая работа, которую человек выполняет на том месте, куда его поставила партия, правительство. Что же получится, если мы все начнем подыскивать работу только по своим вкусам и склонностям?»

Айе не терпелось взяться за дело. Она привыкла работать в большом коллективе, он был ей нужен, как самое насущное, как воздух, как пища. Она считала оставшиеся часы пути, а чтобы не сидеть сложа руки, понемногу набрасывала план будущей работы.

Из Риги Айя ушла почти без вещей, и с тех пор багаж ее почти не увеличился. Прямо с вокзала она направилась в обком партии, где ее сразу принял первый секретарь. Он рассказал ей, в каких условиях она будет работать, дал несколько ценных советов и предложил в затруднительных случаях обращаться прямо к нему.

От него Айя пошла в отдел эвакуации и стала знакомиться со списками. Оказалось, что до ее приезда через отдел прошло около четырех тысяч эвакуированных из Латвии; но известно было, что часть людей еще не зарегистрировалась. В городе осело несколько сот человек, остальные разъехались по районам и по большей части работали в колхозах.

В горисполкоме Айе отвели для работы отдельную комнату, а на другой день на вокзале, на пристани и в других местах появились объявления, приглашавшие эвакуированных из Латвии граждан к уполномоченному для регистрации и консультации по всем вопросам, касающимся устройства на работу, подыскания квартиры и т. д. Такое же объявление было помещено и в областной газете. В отделе эвакуации Айя получила на первое время несколько тысяч рублей для выдачи пособий

самым нуждающимся.

Первые дни посетителей было мало, но как только по городу и районам распространилась весть о приезде уполномоченной, к ней валом повалил народ. Приходили мужья и жены, потерявшие дорогой друг друга, родители искали детей, некоторые хотели разузнать что-нибудь о судьбе друзей и рассказывали, что знали сами о других. Прежде всего надо было всех эвакуированных устроить на работу. Квалифицированных рабочих, ремесленников и специалистов требовали на всех городских предприятиях, остальных размещали по колхозам. Детей, потерявших своих родителей, Айя посылала в детский дом.

Больше всего эвакуированных интересовали события на фронте. Многие не знали русского языка, не читали газет и всё спрашивали: что в Латвии? Айя рассказывала об общем положении на фронтах, о героической борьбе латышских стрелков, о партизанском движении, разгоравшемся в тылу у немцев. Тех, кто направлялся в районы, она снабжала последними номерами газет. Ясно было, что ей нельзя ограничиться только регистрацией и материальной помощью. Посоветовавшись в обкоме партии, Айя нашла себе помощника, молодого учителя Зариня, который недавно был принят в кандидаты партии, а сама поехала по тем районам, где осела большая часть эвакуированных. Она устраивала в колхозах собрания и в каждом районном центре назначала ответственных организаторов, которые должны были поддерживать с ней регулярную связь. Среди них были партийцы, депутаты Верховного Совета Латвийской ССР, опытные организаторы. Сразу заглохли распускаемые обывателями или вражескими элементами слухи, люди постоянно были в курсе всех событий, осознавали свое место и обязанности в борьбе, которую вел весь советский народ.

Айя брала на учет коммунистов и комсомольцев, составляла списки работников искусства и культуры и различных специалистов, чтобы использовать их по назначению. Так, с помощью областных организаций одного инженера направили на большой завод; крупного врача, начавшего было работать делопроизводителем райисполкома, назначили директором туберкулезного диспансера. Нашлись места и для других специалистов — агрономов, учителей, железнодорожных машинистов, квалифицированных токарей. Сейчас уже руководители отделов кадров приходили к Айе и спрашивали, нет ли у нее хороших механиков, бухгалтеров, шоферов.

Айя могла быть довольна своей работой: почти все эвакуированные были устроены, люди приободрились, подавленное настроение первых дней, вызванное потерей домашнего очага, стало рассеиваться. Но ей все

казалось, что сделано очень мало. С приближением осени надо было подумать о школах для детей, об организации молодежи и главное — о непосредственной помощи фронту. Она написала подробный доклад для ЦК Коммунистической партии и правительства Латвии и попросила указаний, как работать дальше.

Однажды вечером, когда Айя засиделась в горисполкоме, к ней зашла молодая женщина с красивым, удивительно милым лицом. Прием посетителей давно кончился, и в комнате никого не было.

— Я Мара Павулан, артистка Рижского театра драмы, — сказала посетительница. — Приехала сюда с первым эшелонном, сейчас работаю на текстильной фабрике.

Айя всплеснула руками и с упреком посмотрела на нее.

— Господи, да почему вы не пришли ко мне раньше? Я бы давным-давно устроила вас на подходящую работу. Знаете, у меня просто нет возможности разыскивать всех эвакуированных.

— Я понимаю, товарищ Рубенис, — Мара улыбнулась. — Работы у вас и без того достаточно. Но я не для того пришла, чтобы жаловаться. Мне живется совсем неплохо, я ведь сама попросилась на фабрику. Видите ли... — Мара немного замялась, точно ей трудно было высказать свою просьбу. — Я только хотела спросить, не знаете ли вы что-нибудь о судьбе одного моего знакомого, нет ли его среди эвакуированных? И потом, не могу ли я как-нибудь помочь в работе? По вечерам я свободна, и иногда просто досадно становится, что столько времени пропадает даром.

Айя много раз видела Мару на сцене и любила ее игру. Но сейчас она думала не об этом. Сейчас она радовалась тому, что эта женщина так хорошо все понимает. Айе хотелось обнять, расцеловать Мару, но она постеснялась.

— Спасибо, товарищ Павулан, большое спасибо. Конечно, я с удовольствием приму ваше предложение, вы можете оказать нам просто неоценимую помощь. Но это все-таки неправильно — то, что вы пошли на фабрику. Я не хочу сказать, что эта работа не нужна или не заслуживает уважения. Но вы можете давать обществу гораздо больше. Руки у нас у всех имеются, а талант не у всех, и Мара Павулан у нас только одна. Я завтра же поговорю о вас в областном отделе искусств. Вы где живете?

— В общежитии при фабрике.

— Знаете что, я одна занимаю целую комнату. Поставим еще одну кровать, и переходите ко мне.

— Да вы меня совсем не знаете. Неизвестно еще, какой у меня характер.

— Тем интереснее — будем узнавать друг друга. Скажите ваш адрес, а я вам дам свой. И завтра обязательно приходите, иначе сама разыщу вас в общежитии.

— Позвольте мне подумать до утра.

Но Айя видела, что только излишняя деликатность не позволяет ей сразу согласиться на это предложение. Вдруг она вспомнила, что Мара не досказала свой вопрос.

Так как фамилия вашего знакомого, которого вы разыскиваете?

— Карл Жубур. Он член партии и в начале войны командовал в Риге ротой рабочей гвардии.

— Знаю, знаю, — почти перебила ее Айя. — Неужели вы знакомы с Жубуром? Мне это особенно приятно, — он же один из лучших моих друзей еще со времен подполья. Мы вместе уходили из Риги первого июля, вместе были и на фронте, в Эстонии. Там он последнее время командовал батальоном. Из него, кажется, хороший офицер получится. Мне так жалко, что из-за этой глупой болезни пришлось отправиться в госпиталь, иначе я сейчас была бы на фронте. Там ведь и мой муж и брат — Петер Спаре. Когда я уезжала с фронта, они все были живы и здоровы. Ну, а сейчас я тоже ничего о них не знаю.

Жадно слушала Мара каждое слово Айи. А та, чувствуя, как дорога ей каждая подробность, рассказывала все, что знала, начиная с боев у рижских мостов, об отходе на север, о борьбе с диверсантами в Эстонии.

— Трудно им сейчас приходится, — немцы рвутся к Финскому заливу, к Ленинграду. Может быть, многих уже нет в живых. А все-таки не надо думать о таких вещах, давайте вместе надеяться на лучшее.

Было уже совсем поздно, когда они обе вышли на улицу. На другой день Айя договорилась об устройстве Мары в театр драмы, а вечером зашла за ней в общежитие и привела ее к себе. Многие месяцы прожили молодые женщины в этой комнатке с окном на Волгу.

Чунда, конечно, узнал о приезде Айи. Это послужило сигналом к еще более прилежному изучению карты Советского Союза и незамедлительному решению вопроса о переезде в далекое тихое местечко, куда бы не могли проникнуть любознательные взгляды земляков. Да, если уж ехать, то сейчас же, пока не наступили холода и пока Айя не узнала, что он здесь. Но как быть с работой? Под каким предлогом смяться?

Айя вскоре после возвращения из поездки по районам сама узнала о том, что Чунда в городе: Рута, не спросив его, зарегистрировалась у Зариня. Оказалось, что она несколько раз заходила узнать, не вернулась ли Айя, и просила позвонить, когда та приедет.

В этот день Айе пришлось зайти по делам в горторг, надо было получить кое-что из промышленных товаров для эвакуированных. Виза горисполкома у нее уже имелась, поэтому Арбузов без долгих проволочек написал резолюцию: «Товарищу Чунде к исполнению».

— Зайдите к Эрнесту Ивановичу, — дружески улыбнулся он, — ему приятно будет помочь землякам.

Секретарша показала Айе комнату Чунды. Когда она вошла, он с озабоченным лицом перебирал одной рукой лежавшие на столе счета и накладные, а другой прижимал к уху телефонную трубку. Густая шевелюра почти падала ему на глаза. Не взглянув на посетительницу, он буркнул в пространство: «Присядьте» — и продолжал разговаривать по телефону. Айя усмехнулась: на ней была красноармейская гимнастерка, голова повязана платочком, и Чунда, конечно, не узнал ее. Он разговаривал с директором фабрики о каких-то текстильных товарах. На подоконник с заносчивым чириканьем уселся воробышек, посмотрел, что делается в комнате, попрыгал немного и улетел. Высоко над городом гудел учебный самолет — должно быть, молодой пилот осваивал новую фигуру: мотор то совсем замирал, то снова раздражался воинственным яростным гулом. С соседней улицы донеслись песня вышедших на ученье красноармейцев нового призыва и тяжелый стройный шаг роты. Айя повторяла про себя слова песни, которая прозвучала впервые давно-давно, на фронтах гражданской войны. Может быть, это сыновья тогдашних певцов шагают сейчас по улице и своими сильными голосами подтверждают вечно юное, бессмертное мужество трудового народа и веру его в победу. Отцы их с честью выполнили свой исторический долг. Выполнят и они.

— Вы с каким делом, гражданка? — спросил Чунда по-русски, медленно поворачиваясь всем корпусом к Айе. Вдруг что-то дрогнуло в его лице, он заморгал глазами.

— Айя — ты? — Чунда пытался придать голосу радостную интонацию и заулыбался... — Как это ты сразу не сказала?.. Я бы прекратил разговор... Да вот... Какими судьбами ты сюда попала? Ну, здорово, здорово, дай пожать твою уважаемую руку. Слышал мельком, будто ты воевала... Много немцев убила? А как Юрис, Петер, Силениек? Тоже приехали?

Айя протянула ему через стол руку и, не ответив ни на один вопрос,

сказала самым будничным тоном:

— У меня к тебе дело, товарищ Чунда. Вот распоряжение с резолюцией товарища Арбузова. Оформить надо как можно скорее.

— Ну, что там у тебя? — Чунда схватил бумажку и быстро пробежал ее глазами. — Только и всего?

— Пока все.

— Это мы провернем в два счета. Сейчас звякну заведующему складом, чтобы подобрал самый лучший ассортимент. Скажи, куда доставить, счет мы оформим после.

Айя сказала адрес, после чего Чунда продемонстрировал ей чудеса оперативности. Заведующий складом, заведующий транспортным отделом, бухгалтер — все получили самые категорические указания сделать все в кратчайший срок и на «отлично».

— Вот так и мечешься, — сказал он, положив телефонную трубку и устало откидываясь в кресло. — С утра до вечера на части разрываюсь и кричу, пока горло не пересохнет. Одному — то, другому — это... Все просят, всем что-нибудь нужно, и никто не хочет ждать. А у меня всего одна голова и две руки. Ну, ничего — справляюсь, никто пока не жалуется. Арбузов и слышать ничего не хочет о моем переходе на другую работу. Вам, говорит, Эрнест Иванович, только и быть хозяйственником. Кто его знает, насколько он прав. Ну, а ты как живешь, Айя? С эвакуированными возишься?

— Да, с эвакуированными. Тебе бы тоже следовало в свое время заняться ими. Ты ведь приехал раньше всех.

Открыв портсигар, Чунда старательно выбирал папиросу. Пока он закуривал, прошло достаточно времени, чтобы приготовить ответ.

— Да, я приехал раньше всех. У меня было задание от Силениека организовать тыловую базу для наших учреждений. Так разве здесь ничего не подготовлено? Разве учреждения не помогают эвакуированным? Не думай, что это сделалось само собой.

— Меньше всего я так думаю. Здесь все стараются помочь нам, но при чем тут ты? Насколько мне известно, ты пальцем не пошевелил для этого. Вместо того чтобы помочь разместить людей, ты шархался от эвакуированных, как от прокаженных. Вот каковы они, твои заслуги перед партией. Когда я приехала, мне пришлось все начинать сначала.

— Я целый день занят на основной работе. И потом меня никто не утверждал уполномоченным. Мы договорились с Силениеком на словах — и все. А попробуй я начать работу без специальных полномочий, еще самозванцем бы сочли.

— Ты сейчас спросил, где Юрис, Петер, Силениек. Могу сказать. Они на фронте. Они там, где в настоящее время должен быть каждый человек, способный держать в руках оружие. Там, где, по всем данным, должен быть и ты. В Риге ты ходил с таким видом, будто готов совершить бог знает какие подвиги. И вот они, твои подвиги. Знаешь, ты кто?

— погоди, погоди, — перебил ее Чунда. — Вот так сразу, с налету берешься судить о человеке. Ты на мою внешность не гляди. По виду я кажусь здоровым, а спроси у врачей, они тебе скажут, что сердце у меня ни к черту не годится. Мне, по совести говоря, совсем другой климат нужен, только я на это не обращаю внимания... Беда моя, что я не привык жаловаться. Работаю, как лошадь, и буду работать, пока с ног не свалюсь. Вот тогда, может быть, поймешь. Эх, даже говорить об этом не хочется... — Он махнул рукой.

— Я и сейчас отлично понимаю. В русском языке есть очень выразительное слово: шкурник. Ты, конечно, слышал его. Вспоминай почаще это слово, тебе это полезно. И смотри, как бы оно не прилипло к твоей репутации. У тебя есть еще возможность вернуть уважение товарищей. Подумай и поверь, что я хочу тебе только добра. До свидания, товарищ Чунда, — и, не подавая руки, Айя вышла.

Уткнувшись лицом в ладони, сидел Чунда за столом. «Шкурник... твое место не здесь... Почему ее так возмущает, что я останусь в живых? Разве после войны не нужны будут здоровые люди? Кто будет восстанавливать разрушенное, кто будет двигать вперед жизнь? Женщины и старики, что ли? Почему у нас никто не думает об этом, не хочет понять? Айя, Рута помешались на одном — самопожертвование, самопожертвование!.. А это не самопожертвование, когда человек сознательно отказывается от славы, от орденов и ограничивается скромной будничной ролью? Всем нельзя быть героями, по крайней мере все не могут жертвовать собой одним и тем же способом. Кажется, каждому нормальному человеку ясно. Им хочется, чтобы я непременно попал в самое пекло. Почему? И неужели Рута тоже, считает меня шкурником?»

С час он испытывал довольно неприятное ощущение, а потом ничего, прошло.

«Разрешите мне самому знать, что хорошо, что плохо», — мысленно сказал он, спрятал в стол бумаги и пошел домой. Солнце уже садилось. Деревья на бульваре стояли будто вызолоченные, прощаясь с уходящим днем.

Рута дождалась не могла встречи с Айей. Трудно человеку, очутившемуся на перепутье, решить, куда идти дальше; тянет поделиться своими сомнениями с близким другом, которому можно довериться до конца. Казалось, с кем еще говорить о самом главном, как не с Эрнестом, кто ей ближе его? Но Рута уже много месяцев как перестала говорить с ним даже о вещах менее существенных. А теперь и подавно не хотела, потому что он и был причиной ее сомнений. Уж если Эрнест вставал на дыбы, когда ему говорили, что он неправильно поступает в частном случае, то что будет, если оказать ему в глаза всю правду — сказать, что он мелкий, ничтожный себялюбец? «Главное, и не хочет подняться выше собственных интересов, — думала Рута. — Зачем же пытаться переделать его?»

И Рута молчала. Бывали моменты, когда достаточно было малейшего повода, и она бы высказала ему все, что о нем думала. Но Рута, точно боясь, что вслед за этим придется сделать решительный шаг, избегала разговоров с мужем. «А может быть, я все преувеличиваю и не так уж все непоправимо, — принималась иногда рассуждать она сама с собой. — Может быть, я и сама не знаю, чего хочу от Эрнеста, от нашей жизни, и становлюсь несправедливой?»

В разгар одолевших ее сомнений Рута узнала о приезде Айи. Вот кто даст ей ответ на все наболевшие вопросы, вот кто скажет, что делать. Как Айя решит, так и будет. И Рута несколько раз прибежала в горисполком узнать, не вернулась ли товарищ Рубенис. С нетерпением и тревогой ждала она этой встречи.

Заринь в день приезда Айи позвонил Руте на работу, но она только к вечеру выбралась в горисполком. Там Рута просидела часа полтора, дожидаясь подруги, которая ушла по делам. За это время здесь перебивало человек двадцать эвакуированных. Какая-то женщина просила устроить своего годовалого ребенка в детский дом или ясли, иначе ей нельзя работать. Заринь направил ее на работу в тот же детский дом, куда дал направление и для ребенка. Мальчика-подростка, которому хотелось получить какую-нибудь специальность, он послал в ремесленное училище речного транспорта. Потом забежал за газетами приехавший из колхоза тракторист. Муж разыскивал жену. Заринь порылся в своей картотеке, и оказалось, что она живет в соседнем районе. Затем в приемной появились два друга — два рослых парня: им потребовались для военкомата справки о том, что они действительно эвакуировались из Латвии. Молоденькая

девушка показала удостоверение об окончании курсов медсестер и спросила, куда ей обратиться, чтобы попасть на фронт.

— Ведь я хирургическая сестра, мне нужно быть ближе к фронту, оказывать раненым первую помощь, — твердила она.

Среди посетителей были и такие, что потеряли в дороге немного взятое с собой имущество и теперь босые и голодные стояли перед Заринем. Этим надо было немедленно оказать помощь. Заринь дал им немного денег, талоны в столовую и велел зайти на другой день — получить кое-что из платья и обуви.

На скамье, возле самой двери, сидел пожилой, седоусый мужчина. Обращали на себя внимание его руки — большие, натруженные, с искалеченными пальцами. На нем не было ни пальто, ни пиджака — только прожженная в нескольких местах красноармейская гимнастерка. Он, как и Рута, дожидался прихода Айи. Кроме них, в комнате уже не осталось посетителей. Заринь, близорукий, болезненного вида молодой человек, пополнял свою картотеку новыми материалами. Он еще не обедал и потому тоже с нетерпением ждал Айю.

Но вот появилась сама Айя, неся в каждой руке по большой связке ботинок.

— Товарищ Заринь, помогите перетащить! — крикнула она с порога. — Там на подводе. Вот счета, надо проверить, всё ли налицо.

Она сложила обувь в угол, помахала затекшими руками и с улыбкой повернулась к посетителям. Увидев их, она не знала, кому больше обрадоваться, — Руте ли, которую собиралась сегодня навестить сама, или Мауриню: старика она вовсе не ожидала видеть здесь, думала, что он где-нибудь возле Нарвы или Ленинграда.

— Рута! Дядя Мауринь! Какой счастливый день! — Расцеловавшись с подружкой, она долго трясла руку Мауриню и вдруг спохватилась: — Ох, да ведь там меня возчик ждет, идемте помогите мне, а тогда вволю наговоримся.

Быстрая, деловитая, она сновала, как челнок, а сама нетерпеливо поглядывала на Мауриня: с какими известиями приехал?

Вчетвером они за один раз перенесли все вещи, полученные на базе. Заринь проверил их по счетам и спросил, не надо ли что сделать.

— Нет уж, идите, товарищ Заринь, я и так вас замучила. Но ничего не поделаешь, эти вещи надо было получить сегодня. Зато сколько будет радости — люди, наконец, оденутся по-человечески. Идите, идите, я тут управлюсь одна.

— Ты еще можешь подождать? — спросила Айя Руту после ухода

Зариня. — Я хочу немного порасспросить дядю Мауриня. Да и тебе интересно будет послушать. Дядя Мауринь, вы, наверно, устали и есть хотите? Тогда мы поподробнее поговорим завтра, а сейчас расскажите только самое главное. Давно ли вы оттуда? Где они сейчас?

— Трое суток, как выехал, — неторопливо начал Мауринь. — Везли, словно важного барина, — на самолете. Летчика одного, латыша, послали в Рыбинск с заданием, он как раз услышал, что меня не оставляют в армии, — старым признали, — и взялся довести по воздуху. Мне еще не доводилось на таком кораблике ездить. Сперва забоялся, думал — мутить будет. Но ничего — обошлось, долетели как следует до самого Рыбинска. А там мне сказали, что здесь много латышей, и посадили на поезд. Таким порядком сегодня к вам и заявился.

— А меня как нашли? — спросила Айя.

— Дело нетрудное. На станции объявление висит на стене, и адрес указан. Я прямо сюда и направился. Да мне ничего такого и не требуется. Я думаю, работа на каком-нибудь лесопильном заводе всегда найдется.

— Ну, за это я ручаюсь. С такими знаниями и опытом, да вас сразу мастером возьмут. Только вы с недельку отдохните, за это время мы все и устроим. Дядя Мауринь... а где они сейчас стоят?

— Наши-то? Никак не держатся в голове эти названия, ну, словом, около Ленинграда. Из Эстонии вышли в начале августа, прошли мимо Нарвы и Кингисеппа. Первый полк у Таллина остался; неизвестно, как там они. Наши тоже попали в окружение вскоре после того, как ты уехала. Многие тогда погибли. Ну, вырвались все-таки, теперь у них новый командир полка — Пуце, он раньше батальоном командовал. Ты, дочка, не волнуйся, твои все живы-здоровы. Петер с Юрисом просили привет передать, если увижу.

— А Жубур как? Силениек?

— Жубур опять ротой командует, а Силениек по-прежнему комиссаром батальона.

Рута тоже стала спрашивать о своих друзьях, Мауринь еле успевал отвечать. Но Айя вспомнила, что уже поздно, хотя сама готова была слушать старика всю ночь.

— Спасибо, дядя Мауринь, за хорошие известия, — сказала она. — Завтра вы нам еще порасскажете, а сейчас подумаем о вашем устройстве.

Она позвонила в горком партии и сговорилась о том, чтобы Мауриня послали в госпиталь, где он должен был пройти санобработку и получить чистое белье. Поселить его на первое время решили в гостинице вместе с одним инженером, латышом. Через несколько минут зашел инструктор —

он сам вызвался проводить Мауриня, благо ему было по дороге.

— Вот беспамятный, — спохватился Мауринь уже у самого порога. — У меня ведь, Айя, письмо для тебя. Так бы и продержал до утра.

Он долго рылся по карманам, пока разыскал серый помятый конвертик. Айя схватила его и взглянула на адрес: от Юриса.

— И жестокий же вы человек, дядя Мауринь, сколько времени мучил. Ну, все равно, большое спасибо за дорогой гостинец.

Мауринь добродушно подмигнул ей и вышел вслед за спутником. Впервые за много недель его ждали горячий душ, чистое белье и теплая мягкая постель. «Во время войны-то и видишь, сколько хороших вещей есть на свете», — думал он.

Айя, не читая, спрятала письмо и, все еще улыбаясь своим мыслям, подошла к Руте. Та сидела на подоконнике, опустив голову.

— Рута, милая, что ты? — спросила Айя. — Почему ты такая грустная?

Рута вздохнула.

— Знаешь, я вот сейчас смотрела на тебя и думала... Ведь тебе все время приходится тревожиться, болеть душой за своих близких. Ты можешь стать очень, очень несчастной, но даже и горе будет для тебя источником гордости... Ты радуешься сейчас, и это не просто твоя личная радость, — ты рада, что твои близкие отстаивают народ, родину. А я? Мне не за кого ни радоваться, ни тревожиться... Торгаш! — выкрикнула она и, вскочив с подоконника, стала ходить по комнате. — Он знать ничего не хочет, кроме себя... он притворяется, что ничего не слышит и не видит. Ему важно одно — нажраться доотвала, выспаться в теплой постели и все в этом роде. Айя, Айя, скажи, что мне делать? Мне все время стыдно, но этим делу не поможешь. У меня рассеялись последние иллюзии. Раньше он мне казался таким цельным, мужественным человеком. Когда началась война, я думала: вот теперь увидят, какой он, все забудут о его мелких недостатках. Но я уже убедилась — нет в нем ничего такого, что покрыло бы все мелкие минусы. Он весь — сплошной минус. Ну скажи, как бы ты поступила на моем месте? Лучше разойтись, да?

Айя обняла Руту за плечи, подвела к скамейке, усадила. Некоторое время обе они молчали, потом заговорила Айя:

— Я все понимаю, Рута. Сама уж об этом думала. Ведь я сегодня была у него и поговорила с ним начистоту. Показала ему, каков он есть, без прикрас. Он вынужден был выслушать, кажется кое-что понял и, может быть, еще одумается. Если ты еще в состоянии остаться с ним хотя бы ненадолго, попробайся. Но только не молчи. Скажи ему прямо, откровенно,

чего ты от него ждешь, каким он должен быть. И если он любит тебя, ты сможешь ему стать человеком. Ну, а если все останется по-старому — тогда уходи, и чем скорее, тем лучше. Ты еще любишь его?

— Теперь я и сама не знаю.

— Это уже плохо. Надо знать.

Они поговорили еще с полчаса. Из отрывочных слов подруги Айя поняла то, чего еще не сознавала сама Рута. Чунда ей чужой, она его не любит. Год тому назад он казался ей воплощением мужества, благородства, силы. Но достаточно было первого сурового испытания — и с него слетело все напускное, остался мелкий, дрянной человечек.

«Ах, почему ты не вышла за Ояра?.. И где он сейчас — милый, умный и добрый Ояр?..»

Но Руте Айя сказала другое:

— Итак, попробуй поступить по моему совету. А не выйдет — не стоит и раздумывать.

Проводив Руту, Айя почти бегом направилась домой. Мара еще не вернулась. И как ни хотелось обрадовать ее известиями о Жубуре, сегодня лучше было побыть немного одной: она не могла бы распечатать серый замусоленный конверт даже в присутствии лучшего друга.

— Любимый, — шептала она, прижимая к губам лоскуток бумаги, который донес до нее близость самого дорогого существа, биение его сердца и посвященные ей одной мысли.

«Дорогая моя, любимая...»

Она перенеслась через огромные разделяющие их пространства, всем существом чувствуя его близость. Вокруг бушевала буря, деревья гнулись, взрывами подымало в воздух огромные глыбы земли. Все дрожало, грохотало, но ничто не могло поколебать их любви. Они снова были вместе.

Глава третья

1

В начале августа Центральный Комитет КП(б) Латвии и Совет Народных Комиссаров назначили уполномоченных в области и республики, где обосновалась большая часть эвакуированных латышей, чтобы взять их на учет и организовать на месте материальную и общественную помощь.

Большинство эвакуированных осело в Ярославской, Ивановской, Горьковской и Кировской областях, много народу было на Урале и в Башкирии. Несколько позднее поступили сведения о латышах, которые в самом начале войны перебрались в среднеазиатские республики и в Сибирь, и тогда туда тоже были посланы представители партии и правительства. Одиночки находились почти во всех уголках Советского Союза — на Кавказе, на Дальнем Востоке, на нижней Волге, в Караганде и в районе Северо-Печорской железной дороги. Латышские моряки были разбросаны по всем морям: многие участвовали в обороне Ленинграда, некоторые очутились на Каспии, а несколько человек даже плавало на судах Балхашского озера.

После отхода из Эстонии центральные учреждения республики расположились сначала в Новгороде, а затем разделились на две группы. Одна из них всю войну работала в Кирове, другая — в Москве.

22 июля, во время первого налета немецкой авиации на Москву, одна из бомб попала в дом Латвийского постпредства в Машковом переулке. Погибло несколько человек и среди них — второй секретарь Центрального Комитета КП (б) Латвии Роберт Нейланд. Некоторые руководящие работники республики уцелели лишь потому, что отлучились в ту ночь по делам. Это был тяжелый удар, но он не мог нарушить ритма работы. Республиканские учреждения переехали в Армянский переулок и продолжали свою деятельность.

Партийное руководство и правительство республики каждый день получали множество писем, в которых эвакуированные просили помочь им вступить в ряды Красной Армии. Вести о боях латышских стрелковых полков в Эстонии дошли и до них. Из уст в уста передавались рассказы о том, как сражается Латвийский территориальный корпус на берегах, реки Великой. В сводках Совинформбюро стали появляться сообщения о действиях латышских партизан. Геройский подвиг латышской девушки Тамары Калнынь уже увенчала высокая награда — орден Ленина.

Голос широких масс не мог остаться без ответа. Было принято решение об организации Латышской стрелковой дивизии, в состав которой должны были влиться ранее созданные латышские войсковые части и группы милиции. В истории латышского народа открылась новая, овеянная славой глава.

ЦК Коммунистической партии Латвии и Совет Народных Комиссаров отправили во все области своих уполномоченных поднимать сынов латышского народа на великую битву.

На другой день после встречи Айи с Маурином приехал представитель из Москвы. В городе он пробыл всего несколько часов, так как вечерним поездом уезжал дальше, в соседнюю область. Вместе с Айей он направился к секретарю обкома и председателю облисполкома. Тут же созвали совещание, на которое вызвали и военного комиссара. Когда представитель уехал, Айя собрала свой актив.

— Партия и правительство разрешили латышам организовать свою стрелковую дивизию, — сказала она. — Это то, о чем мечтает каждый настоящий патриот Советской Латвии. Перед нами стоит очень серьезная задача. Мы должны в кратчайший срок собрать добровольцев со всей области и отправить их на место формирования. Поэтому мы сейчас же распределим между собой районы и поедем с мандатами обкома партии в колхозы, совхозы, рабочие поселки, — словом, надо побывать везде, где есть эвакуированные латыши. Везде надо будет провести собрания, сообщить о решении правительства и потом вместе с добровольцами вернуться в город. Я сегодня же вечером поеду в заволжские районы, а дня через три рассчитываю быть здесь. К этому времени надо вернуться и вам с первыми группами добровольцев. Товарищ Заринь останется здесь, в помощь военкомату, который обеспечит прием всех людей, их снабжение и отправку на место формирования. Если что не ясно, прошу задавать вопросы.

Но какие тут могли быть вопросы, — ясно было, что главное сейчас — немедленно начать действовать.

В районы направились двенадцать человек. Очень хотел поехать и Мауринь, хотя он уже подыскал себе место на большом лесопильном заводе и собирался на днях приступить к работе. Но теперь он твердо решил идти в дивизию.

— Быть того не может, чтобы в таком важном деле не пригодился лишний человек, — твердил он, провожая Айю на вокзал. — Когда дрались в Риге у мостов, была же от меня польза... А в Эстонии?.. Да в таком хозяйстве, как дивизия, для всякого найдется подходящая работа. Чем я хуже других?

— Дядя Мауринь, да ведь вам за шестьдесят, — возражала Айя.

— Ну и что из этого? — обиделся Мауринь. — Ты меня поставь рядом с двадцатилетними, и дай бог, чтобы они угнались за мной. Я любому молодому покажу, как надо воевать.

— В этом никто и не сомневается, дядя Мауринь. Но закон остается законом. Мы не можем менять его для каждого человека.

— И дернуло меня показать им паспорт, — не слушая ее, ворчал Мауринь. — Не надо было и вынимать его. Вот тогда бы попробовали доказать, что мне больше сорока пяти. Сбрил бы усы, остригся покороче. Кабы не эта седая пакля, никто бы слова не сказал... Вот, ей-богу, не ожидал, что у Петера Спаре такая сестра. Сам Петер парень порядочный, а сестра ни то ни се. Нет, видно, мне одно остается — ехать куда-нибудь в другие места. Там уж меня, шалишь, никто не забракует.

— Вы не сердитесь, дядя Мауринь, — улыбнулась Айя. — Я вам только хорошего желаю.

— Где тебе разбираться в хорошем, когда ты так действуешь.

— Подождите, еще как будете помогать фронту и в тылу!

— Тыл тылом и останется, а фронт — это фронт. Никто небось не окажет, что Мауринь воевал, если он всю войну проторчит здесь.

Глядя из окна вагона на Мауриня, который все еще стоял на перроне, с унылым видом теребя усы, Айя искренне пожалела его. Она чувствовала, что старик на этом не успокоится, что он замышляет что-то. «Нужно с ним хорошенько поговорить, а то еще наделает глупостей...»

Но и с другими повторялось то же самое. Айе приходилось вести такие же споры на каждом собрании. И старики, и подростки, и женщины настойчиво убеждали ее, что, начиная с нынешнего дня, их место только в латышской дивизии.

— Почему это мы не можем воевать? Чем мы хуже других? Мы ничего не пожалеем, мы хотим отдать жизнь за Родину, и вы не имеете права отказывать нам.

Айе приходилось подолгу уговаривать людей, доказывать, что старикам и подросткам надо остаться дома. Степенные мужчины, записавшись в добровольцы, кидали в воздух шапки, пели, танцевали от радости. Не скорбь, не жалость, а гордость и даже зависть были написаны на лицах провожающих, — каждому хотелось быть на месте будущих бойцов или с ними. Это не значило, что люди не задумывались по своей наивности о тяготах войны. Они знали, какая суровая жизнь ждет их, но разве что-нибудь могло показаться им слишком дорогим или трудным, когда дело шло о свободе и счастье народа? Будто животворная весенняя гроза бушевала в их душах, будто старинная героическая легенда ожила в их сердцах, и всем своим существом, всеми помыслами и стремлениями отдавались они солнечному вихрю, не сознавая даже собственного величия.

Ян Пургайлис с женой уже несколько недель проработали в колхозе,

когда до них дошли слухи об организации латышской дивизии. За это время они успели освоиться и с новыми местами и с людьми. По правде говоря, произошло это так легко и естественно, что они и сами не заметили, как привыкли. Когда в село приехали эвакуированные, колхозники наперебой приглашали их к себе; женщины приносили детям молоко, а председатель колхоза Анисимов выдал каждой семье на первое время по пуду зерна и еще кое-чего на приварок. Пургайлисам и еще одной семье отвели на краю села свободную избу. Но там они в сущности проводили только ночи, потому что с восходом солнца и Ян и Марта торопились на колхозное поле убирать хлеб.

По вечерам Пургайлис вместе с другими колхозниками приходил в правление к Анисимову потолковать относительно предстоящих работ. И удивительно было Пургайлису: как это не походило на привычные ему разговоры хозяина с батраками! Здесь все были хозяева, все чувствовали одинаковую ответственность за общее дело.

Острым, наблюдательным взглядом схватывал Ян все новое, с первых же дней принялся расспрашивать, как учитываются трудодни, какой приусадебный участок остается в пользовании у каждого колхозника, как работает молочная и птицеводческая ферма. За работой он часто делился с Мартой своими впечатлениями.

— Это все надо крепко намотать на ус, — говорил он. — Когда-нибудь и нам пригодится. Кончится война, мы и в Латвии устроим что-нибудь такое.

В колхозе многие мужчины были призваны в армию, и, однако, оставшиеся успевали справляться с очередными полевыми работами.

— Подумай только, Марта, каково бы им пришлось, если бы вместо колхоза было сто единоличных хозяйств. Хлеб наполовину остался бы на полях, осенью редкая семья справилась бы с пахотой, а это уж знай — на будущий год придется голодать. Иначе как сообщать таких трудностей не одолеешь. И думаю я, Марта, нам на старом фундаменте ничего хорошего не построить, — так, вроде заплаты получится. Надо фундамент новый поставить, вот как здесь, в колхозе. А этот фундамент правильный, надежный.

Пургайлиса вскоре выдвинули в бригадиры. Они с Мартой работали с таким самозабвением, как будто убирали первый урожай с собственного поля. Да... Пахали и сеяли на другом месте, и кто его знает, чья коса звенит сейчас на той ниве, чьи закрома скроют выращенный на ней хлеб. При этой мысли еще милее становились колхозные поля, и они готовы были работать на них и поздней ночью, при свете звезд.

«Погоди, Вилде, полетишь еще вверх тормашками со всеми своими Германами и Каупинями... — думал Пургайлис, складывая туго связанные снопы в золотые копны. — Придет время — отчитаешься ты передо мной. Хозяин вернется домой и наведет порядок».

Обычно, пока они с Мартой работали, где-нибудь поодаль Петерит возился на зеленой меже со своими игрушками, а игрушками ему могли служить любой цветочек, любой камешек или дубовый желудь.

— Мамочка, ту-ту! Папа, гляди, что у меня!.. — поминутно звал он. Образы матери и отца, лежавших в луже крови, уже исчезли из его памяти. Сиротство прошло для него незамеченным, он вновь обрел родителей. А люди были уверены, что Петерит родной сын Пургайлисов.

В тот день, когда в село приехал присланный Айей уполномоченный, Ян Пургайлис с Мартой кончили работу ранее обычного. Они пошли на собрание и выслушали сообщение об организации дивизии. Когда представитель кончил говорить, Пургайлис вопросительно посмотрел на жену. Марта дотронулась до его руки и улыбнулась.

— Уж знаю, знаю, что подумал... — тихо сказала она. — Иди. Мы с Петеритом выдержим.

Ян сильно сжал ее руку, потом поднялся и подошел к уполномоченному.

— Запишите меня. Ян Мартынович Пургайлис, рождения тысяча девятьсот десятого года. В старой латвийской армии служил в седьмом пехотном полку. Демобилизован в звании капрала.

После него один за другим поднимались остальные, и у маленького столика, за которым записывали добровольцев, образовалась очередь.

А потом начался праздник, и до поздней ночи по селу раздавались песни. Заиграла гармошка, молодежь пошла танцевать на току.

Ян Пургайлис сходил на речку, выкупался, надел чистое белье, побрился при свете маленькой керосиновой лампочки. Когда Петерит уснул, они с Мартой вышли во двор и долго сидели на сложенных в углу бревнах. Вспомнили пережитое и в последний раз вместе помечтали о том, как после войны снова вернутся домой. Будет много всего в их жизни, будет домик на пригорке, яблоневый садик и пасека. К тому времени подрастет и Петерит, начнет ходить в школу, человеком станет. И всех, весь народ ждет что-то большое, светлое, солнечное.

Как теплое дыхание живого существа, обвевал их ночной ветерок. На августовском небе мерцали частые крупные звезды. Наговорившись обо всем, оба молчали; пальцы Марты доверчиво лежали в руке Яна.

Утром Ян закинул за спину мешок и последний раз погладил по

головке Петерита.

— Расти большой, сынок. А теперь скажи папе — до свидания...

Мальчик, улыбаясь, махал ручкой, стоя на крыльце. Марта пошла проводить мужа до конца села.

— За меня не тревожься, — говорила она, прощаясь, — мы с Петеритом не пропадем. Думай только о том, что у тебя впереди. Только бы у тебя все хорошо шло, милый ты мой...

В эти дни тысячи жен произносили эти слова, провожая мужей в дальний путь войны. Любящие и взволнованные, с улыбкой смотрели они вслед уходящим, пока их можно было разглядеть, и еще долго махали рукой на прощание. Набежавшие на глаза слезы они вытирали украдкой, — пусть никто их не видит... Потом начинался новый рабочий день. Меньше стало работников на колхозных полях, но жизнь шла вперед, и ничто не могло остановить ее вечного течения.

3

В субботу Чунда попросил Арбузова принять его минут на пять — нужно поговорить наедине. У него была серьезная причина не откладывать этого разговора до понедельника: все латыши, жившие в городе, знали, что из районов вот-вот должны прибыть первые партии добровольцев. Вполне естественно, что тогда множество глаз вопросительно уставятся на молодевающую фигуру Чунды, и даже Арбузов может самым бестактным образом справиться относительно его планов. Надо поторапливаться, пока еще события не зашли слишком далеко.

Отпустив нескольких посетителей, Арбузов вызвал к себе Чунду.

— Что случилось, Эрнест Иванович? — спросил он. — Личные дела или в отделе что-нибудь? Садитесь.

Чунда сел и стал печально рассматривать пол. Вид у него был усталый и удрученный.

— Да уж не больны ли вы, Эрнест Иванович? — допытывался Арбузов.

Чунде того только и надо было. Он сделал еще более печальное лицо.

— Никифор Андреевич, я должен прежде всего поблагодарить вас за вашу отзывчивость, за исключительно чуткое отношение... Я так уважаю вас, что обращаюсь как к близкому человеку... — он вдруг махнул рукой. — У меня беда, Никифор Андреевич. Мне и в голову не приходило, что это может начаться так незаметно. До сих пор думал, что здоровее меня

и человека не сыщешь, и потому не обращал внимания ни на пот, ни на отсутствие аппетита, ни на кашель. Выгляжу я здоровым, но это, оказывается, одна видимость. У нас в роду все такие были. Последние дни только почувствовал себя совсем скверно. Обратился в поликлинику, и вот, после всяких исследований, можете представить, что мне сказали врачи? Туберкулез легких, вторая стадия...

Арбузов почти с недоверием взглянул на Чунду.

— Гм... это очень серьезно, Эрнест Иванович. Кто бы мог подумать...

— Скоротечная чахотка... У меня ведь отец умер от этой болезни. И до самой смерти выглядел здоровым. Очень коварная болезнь, любого может подвести.

— Печально, печально, — сказал Арбузов, — но вы не отчаивайтесь, Эрнест Иванович. Это очень хорошо, что вы обратились к врачам, современная медицина творит чудеса.

— Чудеса творит, Никифор Андреевич, — согласился Чунда. — Врачи то же самое сказали. Если взяться за систематическое лечение, я могу выздороветь и прожить еще пятьдесят лет. И поэтому мне категорически приказано уехать отсюда. Здешний климат вреден для моих легких. Мне нужно солнце, чистый горный воздух. Велят ехать на юг.

— Гм-да... — Арбузов побарабанил пальцами по столу. — Ну что ж, надо уезжать, пока не поздно, Охотно бы задержал вас, но не решаюсь.

— Я и сам ни за что не расстался бы с вами, Никифор Андреевич. Даже так думал: черт с ними, с легкими — работай, пока можешь двигаться и пока твоя работа идет на пользу Родине. Да что там? До осени, может, продержался бы, ну а потом?

— Не выдумывайте, Эрнест Иванович, — сказал Арбузов вставая. — Здоровьем не шутят. Я сегодня же распорядюсь, чтобы отдел кадров подготовил приказ об освобождении согласно личной просьбе. В понедельник оформим расчет. До свиданья, Эрнест Иванович. Будьте здоровы.

— Благодарю за все, Никифор Андреевич, — растроганно повторял Чунда, трясая ему руку. — Никогда этого не забуду.

Еле волоча ноги, вышел он из кабинета Арбузова. Глядя на него, можно было подумать, что он получил нагоняй, но сейчас Чунде было безразлично, что о нем думают другие. Он ничего не сказал сотрудникам, но когда в комнате никого не осталось, позвонил на вокзал одному своему знакомому:

— Степан Кириллович? Говорит Чунда. У меня к вам большая просьба, выручайте, дорогой. Надо устроить два места в мягком вагоне на

понедельник. На Ташкент. Очень нужно. Всю жизнь буду обязан. Можно надеяться? Хорошо. Спасибо, спасибо. Всего доброго, Степан Кириллович.

С час еще он поработал в отделе, подготовил дела к сдаче, разорвал кое-какие бумажки и ушел домой.

Руту в этот вечер он ждал с нетерпением.

— Наверное, опять просидит до полуночи, — ворчал Чунда. Сегодня он собирался посвятить ее во все свои планы.

Но он напрасно нервничал. Рута тоже решила поговорить с ним и пришла домой вовремя. Пообедав на скорую руку и убрав со стола, она села у окна. За деревьями бульвара виднелась Волга. На пристани еще не затихла дневная суэта. На противоположном луговом берегу дымились покосы, и из мглы, как мелкие островки, поднимались стога сена.

— Правда, чудный вечер? — начал Чунда, подсаживаясь к Руте. Он хотел обнять ее, но она отодвинулась.

— Пусти, Эрнест, мне так неудобно...

— Почему неудобно? Нервная стала?

Рута отодвинулась еще дальше и обернулась к Чунде.

— Я хочу поговорить с тобой об одной вещи.

— Поговорить? Очень хорошо. Я тоже хочу. Может быть, о том же, о чем и ты.

— Тогда говори сначала ты.

— Нет, ты же первая хотела.

— Нет, нет. Может быть, тогда мне и не придется начинать разговор.

— Ну, как хочешь.

Чунда повернул стул поудобнее, чтобы облокотиться на подоконник. Достал папироску, закурил, откашлялся.

— Нам с тобой пора подумать о том, как мы будем жить зимой... Зимы здесь страшно холодные, а насчет дров пока ничего неизвестно. Теплых вещей у нас тоже нет.

— Как другие обходятся, так и мы, — сказала Рута. — Если еще об этом беспокоиться, то как же быть тем, кто на фронте? Им и в мороз и в метель придется спать под открытым небом...

— Это совсем из другой оперы, Рута. Никто и не говорит, что фронтовые условия нужно считать нормальными. Но когда есть возможность устроиться лучше, почему ею не воспользоваться? Я не могу понять, для чего нам оставаться на зиму именно здесь. Местные жители — другое дело, но ведь мы приезжие, у нас нет ни своей обстановки, ни своего угла, за который стоило бы держаться. Поэтому мы не проиграем, если переедем в другие места, где потеплее. Осенью многие задумаются

над этим, но тогда будет поздно. Если ехать, то ехать сейчас, пока тепло. И пока меньше народу едет.

— А куда ты собираешься?

— Хорошо бы в Ташкент или Алма-Ату.

— Ты это серьезно?

— Что за вопрос? В нашем положении это самое разумное.

«Никаких сомнений. Полная уверенность в своей правоте».

— Так. А других планов у тебя нет?

— Нет... Какие еще могут быть планы? Главное, чтобы тебе было хорошо.

— О том, что для меня хорошо, разреши знать мне самой, — почти грубо ответила Рута. — Ты лучше подумай о себе. Тебе известно, что сейчас происходит в области?

— А что?

— Ты не слышал об организации латышской дивизии?

— А, дивизия? Да, конечно, это само собой. Здоровым людям тут и рассуждать нечего. Но только я не думаю, что в дивизию будут брать туберкулезных. Я ведь на днях был у врача. Понимаешь, оказывается, у меня в легких процесс. Теперь, если я даже буду просить, меня все равно не возьмут. Им и здоровых хватает.

— Покажи заключение врача.

— Справку он еще не написал.

— Зачем ты врешь, Эрнест?

— Вот те на, опять «врешь». — Он пожал плечами. — Какой мне смысл тебя обманывать? С тобой я всегда...

— Не сваливай, пожалуйста, на здоровье. Его у тебя хоть отбавляй. Ты просто притворяешься, ты дрожишь за свою шкуру и готов спрятаться в щель, лишь бы не идти на фронт.

— Послушай, Рута... — торопливо заговорил Чунда. — Я тебя все-таки не понимаю. Скажи лучше прямо: ты гонишь меня на фронт, чтобы меня там убили, чтобы избавиться от меня? Я тебе надоел?

— Да, надоел! Такой, какой ты сейчас, надоел. Такого я больше не желаю видеть ни единого дня, даже часа.

— Веселенькое дело... Ну, этого я от тебя не ожидал.

— Ответь мне на один вопрос, больше мне от тебя ничего не нужно. Пойдешь ты в дивизию или будешь разыгрывать больного?

— Я уезжаю и думаю, что ты сделаешь то же самое.

— Я-то непременно уеду, но только в другую сторону.

— Интересно, куда это? — Чунда попробовал улыбнуться, хотя ему

было не до улыбок. — Может, будем попутчиками?

Рута встала.

— Я еду в дивизию. Это единственное место, куда я согласна ехать вместе с тобой.

— Перестань шутить, Рута... Что ты будешь делать в дивизии? Я еще не слыхал об организации женских батальонов.

— Если в семье есть два молодых, здоровых человека, нельзя обоим сидеть в тылу. Одному надо идти на фронт. И если муж не желает, почему тогда не пойти жене?

Как пощечины хлестали ее слова, но Чунда и не поморщился, он только теребил на коленях брюки.

...Утром Чунда возобновил было вчерашний разговор, но Рута даже не отвечала ему. Тогда он бросил уговоры и начал энергично укладывать чемоданы. Рута тоже собрала свои вещи и ушла к Айе.

В понедельник вечером, не простившись ни с женой, ни со знакомыми, которых он успел завести в городе, Эрнест Чунда сел на поезд и уехал в Среднюю Азию... Степан Кириллович сдержал слово и приготовил два билета в мягком вагоне. Один можно было уступить кому-нибудь на вокзале.

Уход Руты от Чунды был логическим завершением их недолгого брака, и Айя не удивилась этому. Вообще о разрыве они почти не говорили. Это была лишь одна сторона дела. Уходя от Чунды, Рута твердо решила начать другую жизнь, но когда она открыла Айе свой план, та призадумалась. Рута сказала, что едет со всеми добровольцами в дивизию, и именно эта поспешность заставила Айю встревожиться. Она подумала, что подруга действует под влиянием минуты, а в таких случаях люди всегда впадают в крайности, ищут самых трудных испытаний, не рассчитывая своих сил.

— Боюсь тебе и советовать что-нибудь, — сказала Лия. — Отговаривать я не имею права, а в то же время сомневаюсь, надо ли тебя поддерживать. Главное, сама-то ты уверена, что не пожалеешь об этом? Физически ты не бог весть какая сильная, а фронтовая жизнь требует очень многого...

— Никогда не буду раскаиваться, — перебила ее Рута. — И не думай, что мне это только сегодня пришло в голову. Еще когда сюда ехала в поезде, — я ведь все ночи сидела без сна, — сто раз все взвесила. Хоть ты-

то не отговаривай меня, Айя, — да это и не поможет. А если попробуешь мне помешать, я найду другой путь и все равно попаду на фронт. Сначала зачислят в какую-нибудь другую войсковую часть, после можно перевестись в латышскую дивизию. Почему ты могла, а я нет? Почему другие наши комсомолки воевали в Эстонии с твоего ведома, а я не могу?

— Ты меня не так поняла, — улыбнулась Айя. — А если у тебя давно все продумано, тогда иди. Только помни, что на одних восторгах не продержишься. Надо быть настолько крепкой, чтобы и в самые пасмурные дни не вешать голову. В грязь и дождь, в мороз и метель, на солнцепеке и в болотной трясине — везде надо держаться стойко...

— Справлюсь. Стыдиться за меня не будешь.

— Ну, верю, верю.

Когда пришла Мара, они рассказали и ей о решении Руты, и Мара ничуть не удивилась.

— Только примут ли?

— У меня есть специальность. Кончила санитарные курсы, — быстро ответила Рута.

— О том, что примут или нет, еще разговора не было, — предупредила Айя. — Это будет видно на месте.

— Все равно обратно не приеду, — упрямо повторяла Рута. — Если другого дела не найдется, буду мыть посуду, чинить белье стрелкам.

Лучше всего было оставить ее в покое.

Через два дня первая партия добровольцев — более ста человек — села в поезд и поехала в лагерь дивизии. Вместе с ними была и Рута. Айя тоже поехала как уполномоченная.

В лагерь они прибыли утром. Им показалось, что они попали в Латвию. Сосновый лес, пески и листовенные рощицы за полигоном напоминали родину. Через лагерь тянулось шоссе, и по обеим сторонам его выглядывали из-за деревьев зеленые и желтые деревянные домики. На каждом шагу слышалась латышская речь, но латышей можно было узнать не только по разговору. Ранее прибывшие добровольцы еще не успели получить обмундирование и ходили кто в чем был. Некоторые — в костюмах из серого домотканного сукна, иные щеголяли в шляпах и плащах, часто можно было встретить и милицейскую форму. Были тут и горожане и крестьяне, и рабочие и интеллигенты. У здания штаба дивизии стояла кучка женщин. Часовой не впускал их в калитку, и теперь они ждали, когда выйдет кто-нибудь из работников штаба и поговорит с ними. Но редкой из них удавалось убедить командование дивизии, что ее место в рядах стрелков или в медсанбате. Многие, получив отказ, через некоторое

время снова возвращались сюда в надежде добиться своего. Те, у кого здесь были мужья или родные, не хотели расставаться с ними и упрямо доказывали свою правоту. Среди женщин сновали подростки и совсем пожилые мужчины — словом, все непринятые. С завистью смотрели они на счастливцев, которые уже маршировали в строю, и такая горечь была в глазах отвергнутых, что у командиров язык еле поворачивался, когда надо было объявить отказ.

Вновь прибывших добровольцев выстроили в две шеренги против здания штаба. В конце шеренги за спиной плечистого стрелка заняла свое место Рута. С трепетом ждала она поверки, которая должна была решить ее судьбу. Многочисленная толпа женщин по ту сторону дороги не предвещала ничего хорошего. Может быть, эта толпа увеличится еще на одну? Рута встала на цыпочки, чтобы казаться выше.

Командир дивизии — полковник Вейкин — был вызван на совещание к начальнику гарнизона, и вместо него поверку проводили работники штаба. Айя вручила им списки и в двух словах познакомила с составом своей группы. Началась поверка.

— Все, кто ранее служил в армии, — пять шагов вперед! — скомандовал молодой худощавый капитан чуть впалыми щеками.

Шеренги задвигались, смешались, больше половины построившихся вышли вперед.

— Все, кто служил в артиллерии, — два шага вперед!

Вперед вышло несколько мужчин. Их выстроили и передали в распоряжение сержанта:

— В артиллерийский полк.

Отбор продолжался. Постепенно вызвали всех специалистов: саперов, минометчиков, связистов, — и тотчас какой-нибудь сержант или старшина выстраивал их и сопровождал в соответствующую часть, где их регистрировали, подвергали медицинскому осмотру и распределяли по ротам. Самой большой оказалась группа пехотинцев, но их и требовалось больше.

Потом начали отбирать тех, кто еще не служил в армии, — по возрасту, образованию, росту. Не было ни одного, кто бы на вопрос: «Как здоровье?» — не ответил: «Здоров. Ни на что не жалуюсь».

Наконец, на краю дороги осталось человек пять-шесть. Среди них была и Рута. Иначе и не могло случиться: в армии она не служила, никакой военной специальности у нее не было, а санинструкторов и медсестер было зачислено столько, что хватило бы на два медсанбата. Наверное, поэтому молодой капитан и не интересовался этими специальностями.

В кучке людей, споривших сейчас с капитаном, ни у кого не было надежды попасть в дивизию. Двое были слишком стары, один чересчур молод, двое — с явными физическими недостатками. Руте капитан коротко объявил:

— Нам некуда вас девать. Все штатные места для женщин заполнены.

— Тогда дайте мне мужское дело! — крикнула Рута. — Разрешите стать снайпером или разведчиком. Я знаю немецкий язык. Ведь на фронте понадобятся переводчики.

— У нас таких сотни, — улыбнулся капитан, — как видите, особенная дивизия.

— Одним человеком больше — какое это имеет значение, когда здесь несколько тысяч, — не сдавалась Рута. — Прошу вас, не отсылайте меня обратно. Назад мне нет пути.

Было ясно, что слезы, улыбки и тому подобное женское оружие не поможет, поэтому Рута старалась сдерживать свое волнение, но это ей не удалось. Огорченная, с убитым видом стояла она перед капитаном, а взгляд ее искал Айю, просил помощи.

Заметив, что без ее вмешательства не обойдется, Айя подошла к капитану и отвела его в сторону.

— Из нашей области дивизия получит по крайней мере восемьсот хороших строевиков, — начала она тихо. — Обещаю, что за неделю они все будут здесь. Даю честное слово, что больше не пришлю ни одной женщины, но эту вы, пожалуйста, примите. Очень прошу — сделайте исключение.

Капитан недоверчиво посмотрел на Айю и задумался.

— Ну хорошо, только не забывайте уговора.

— Больше ни одной... пока сами не запросите, — обещала Айя.

— Это другое дело... — улыбнулся капитан. Потом обратился к младшему лейтенанту:

— Отведите товарища в медсанбат. Зачислить в штат. Скажете, что по моему распоряжению.

— Слушаю, товарищ капитан!

Рута схватила свой вещевой мешок и чуть не бегом побежала за ним.

— Я потом зайду посмотреть, как ты устроилась, — бросила Айя вслед Руте. Но та ничего не слышала от радости, в душе у нее точно серебряный колокольчик звенел: «Добилась! Добилась! Принята!»

Рута даже не скрыла улыбки превосходства, проходя мимо кучки удрученных женщин, которым было отказано в приеме. Они простоят здесь до вечера, пока не подъедет грузовик, чтобы отвезти их обратно на

станцию. Еще бы немного — и Рута очутилась среди них. Но теперь все эти волнения были позади.

Нелегко было охватить массу эвакуированных, рассеянных по многим областям и республикам. Пока прибывали сведения, что в такой-то области осели латыши, пока известие об организации дивизии доходило туда — шла неделя за неделей. Нетерпеливым казалось, что процесс организации слишком затянулся, но люди, знающие обстановку, понимали, что быстрее тут ничего не сделать.

Сначала в лагерь приезжало только по несколько десятков человек в день и нельзя было приступить к формированию батальонов и полков. Потом стали прибывать по одной-полторы сотни в день, а вскоре приток людей достиг полной силы, и штаб дивизии еле справлялся с приемом. Мелкие стрелковые подразделения — первоначальные ячейки будущих батальонов и полков — расширялись и превращались в полноценные войсковые части. Постепенно прибывал и командный состав: во главе полков, дивизионов, рот и батарей становились опытные командиры. Приходили поезда и автоколонны с вооружением и снаряжением. Артиллерийский полк получил новые прекрасные орудия и лошадей; зенитчики и минометчики радовались новому оружию и очень гордились им. Гражданская одежда стала исчезать, пестрая толпа постепенно превращалась в подтянутый воинский коллектив. Затруднение получилось только с обувью, и не потому, что не хватало сапог, а потому, что спрос на большие размеры был так велик, что превзошел все расчеты статистики. Кое-кому пришлось некоторое время ходить в чем попало, пока на базе не появились сапоги сорок шестого и больших размеров.

Тот день, когда стрелки получили винтовки, стал для них настоящим праздником. Это событие уже приближало их к фронту. С довольными, гордыми лицами принимали оружие тяжеловатые крестьянские парни и подвижные рижане и, усевшись на солнышке, долго чистили его, пока не была снята излишняя смазка.

Вскоре на стрельбище зазвучали выстрелы. На вересковой поляне взрывались мины, с маленьких холмиков пулеметчики стреляли в цель, артиллеристы уходили на большой полигон. С рассвета до позднего вечера в лагере шли учения. На весь лес раздавались старинные народные песни, песни латышских стрелков времен первой мировой войны, и многие

прохожие и проезжие останавливались на дороге, чтобы послушать их. Вечером в лесу загорались костры, стрелки кипятили чай и разговаривали о событиях прошедшего дня. Опять запевали песню, а в мечтах уносились далеко через леса и реки в Латвию. Здесь собрались уроженцы всех ее краев. Видземе перекликалась с Курземе, Земгалия с Латгалией, и у всех звучал в сердцах гул старой седой Риги. Как братья, сидели вокруг костра разговорчивый курземец и сдержанный видземец, еврей беседовал с латгальцем, в одной песне сливались голоса латыша и русского.

Если вообще возможно такое ботаническое сравнение, то в дивизии сосредоточился весь цвет Советской Латвии. Вместе с рабочими, крестьянами, работниками советских и партийных организаций здесь собрались учителя и врачи, инженеры и агрономы, известные писатели, поэты и журналисты. Поэты писали стихи и пьесы, композиторы — музыку, был здесь и художественный ансамбль и оркестр, выпускалась газета, лучшие художники занимались внешним оформлением лагеря.

С наступлением холодов саперы начали строить землянки, потому что имеющиеся летние помещения не могли вместить всю дивизию. Начали прибывать большими группами, во главе с командирами, бойцы Латвийского территориального корпуса, которые уже показали себя в ожесточенных боях у реки Великой и на болотах Старой Руссы. В одиночку или мелкими отрядами приходили участники боев в Эстонии и защитники Ленинграда, дравшиеся у Стрельни и у Волосово. Рабочегвардейцы, милиционеры, бойцы истребительных батальонов становились вместе с участниками боев в Испании. Юноши шагали рядом с солдатами первой мировой войны — героями Острова смерти и Пулеметной горы^[3]. У некоторых грудь уже украшали ордена, имена других были вписаны в книгу истории гражданской войны. Широка и прекрасна была душа дивизии.

Айя три раза приезжала в лагерь с новыми партиями добровольцев; в последний раз, в начале сентября, с ней приехали шестьсот человек. Рута уже встретила ее в сапогах, пилотке и серой красноармейской шинели.

Походка ее стала мерной, все движения — четкими. Высоко держала она светлую кудрявую голову, а разговаривая с начальством, умела так молодцевато щелкнуть каблуками и поднести руку к пилотке, что смотреть на нее было приятно.

Айя каждый раз навещала в медсанбате подругу и слушала ее неистощимые рассказы о занятиях, о разных эпизодах из лагерной жизни. Друзей у Руты было много, работа — интересная; куда девалась недавно еще не дававшая ей покоя тоска. Рута, между прочим, рассказала Айе про

одну девушку, которую зачислили в группу снайперов, потому что в Эстонии и на Ленинградском фронте она за короткое время уничтожила два десятка немцев. В лагере она недавно, приехала с группой стрелков второго латышского полка. Понятно, что Айе захотелось немедленно увидеть и девушку и всех, кто прибыл с ней.

Так она встретилась с Аустрой Закис, а через час — в комнатке командира пехотной роты лейтенанта Жубура собрались почти все старые друзья — Айя, Жубур, Петер Спаре и Аустра. Только Силениека не было — его вызвали в Москву, да Юрис Рубенис по заданию командира полка уехал на станцию принимать снаряжение.

Какой это был вечер!.. Они торопливо расспрашивали друг друга, отвечали, рассказывали о боях, о погибших друзьях, о новых героях. Незаметно наступила ночь. А тут вернулся со станции Юрис, и опять пришлось все начать сначала. Тогда Жубур не утерпел — достал из чемодана бутылку вина, и ее распили в честь встречи.

Не хотелось Айе в этот раз уезжать обратно в свою область, но ее ждала работа. Прожив здесь три чудесных солнечных дня, она села на поезд и уехала домой. Она знала, что скоро опять будет здесь, в любимом лагере, где сосредоточились надежды, гордость и любовь латышского народа.

В начале сентября в лагерь явились младший лейтенант Аугуст Закис и сержант Лидия Аугстроze. Стройные, ловкие, подтянутые, они, сами того не желая, привлекали всеобщее внимание. Пожалуй, их можно было принять за брата и сестру. Темные волнистые волосы девушки выбивались из-под маленькой пилотки — где уж ей было укротить их буйную прелесть. С откровенным любопытством смотрела она на марширующие колонны стрелков, на длинные навесы для конской сбруи, на строящиеся землянки, на ряды палаток, на красивые ворота лагеря, увенчанные пятиконечной звездой. Ее радовали и своеобразная суровая красота местности, и это прохладное утро, и бодрый согласованный ритм лагерной жизни.

— Слышишь, Аугуст, — сказала она остановившись. — По-латышски поют.

— Да, Лидия. Старая песня латышских стрелков.

Они остановились у обочины дороги, с волнением вслушиваясь в мужественный напев. Какая-то рота направлялась к стрельбищу. Земля

звенела под ее шагами.

Где скалы в прах дробятся,
Готовы мы подняться.
На крыльях юность смелая стремится в бой
За честь, за свободу Отчизны дорогой.

Эту песню пел еще старый Закис в 1915 году, уходя с третьим Курземским полком на Остров смерти. Через десятилетия в этой песне слились голоса двух поколений: нередко отец и сын маршировали в одной шеренге, и трудно было сказать, в ком из них больше боевого пыла.

— Как хорошо, что нас сюда послали, — заговорила Лидия, когда рота стрелков скрылась в сосновом лесу и песня стихла вдали. — Скоро и мы будем петь вместе с ними.

Радость сияла в ее глазах — голубых, ясных, мечтательных. Аугуст взял ее за руку, и они пошли дальше, не обращая внимания на незнакомых людей, которые с доброжелательной улыбкой провожали их взглядами. Аугуст за последние месяцы отпустил небольшие усики, и никто бы не сказал, что ему недавно исполнилось двадцать лет. Лидия была на год моложе.

Их свел случай где-то в Курземе в самые первые дни войны. Аугуст Закис и его товарищи — курсанты военного училища — только что приняли боевое крещение и добились первого успеха — отстояли свой участок. Гул танков, в воздухе стаи неприятельских самолетов, грохот взрывающихся мин и бомб — и сильнее всего упорная решимость держаться до последнего человека... Так они начали. Так продолжали, пока не отошли по приказу командования на новый рубеж.

Однажды в ночном бою с Аугустом случилась неприятность — он вывихнул ногу и отстал от товарищей. Неприятельские мотоциклисты отрезали ему путь к своим, а с юга уже приближались новые части гитлеровцев. Если бы Аугуст остался на месте до утра, он неизбежно попал бы в плен, — поврежденная нога не позволяла уйти далеко.

Там, на высохшем болоте, среди чащи ольшаника, он встретился с Лидией. Время еще не было упущено. Опираясь на плечо девушки, Аугуст к утру добрался до реки, а затем и до моста, который был в наших руках. Командир полка пограничников переправил его в полевой госпиталь. Врачи вправили ногу, но Аугусту пришлось отдохнуть несколько часов, пока не спала опухоль.

На следующий день они встретились с бойцами Латвийского территориального корпуса и явились в ближайший штаб. Аугусту поручили командовать отделением, а в районе реки Великой и Пушкинских гор он уже командовал взводом. Их путь шел через болота и леса на Старую Руссу.

В середине августа командиру взвода Аугусту Закису присвоили звание младшего лейтенанта и наградили орденом Красной Звезды. Многие его товарищи уже уехали в дивизию, но Аугуст и Лидия еще некоторое время оставались на Северо-Западном фронте.

Рука об руку прошли они длинный, тяжелый путь, рука об руку появились в лагере. И когда несколько дней спустя Ауэстра разыскала в соседнем полку брата, где он уже командовал взводом, а затем увидела и эту стройную темноволосую девушку, ей без слов стало ясно, что Аугуста связывает с ней не одна дружба. Об этом свидетельствовали необъяснимая неловкость Аугуста, когда он знакомил девушек, и особенные, многозначительные взгляды, которыми он обменивался с Лидией, думая, что Ауэстра не замечает этого. «Чего они стыдятся?» — подумала Ауэстра. Лидия ей понравилась с первого взгляда, а узнав, что она избавила брата от плена, Ауэстра была готова полюбить ее, как сестру. Жизнь продолжалась во всем своем полнозвучии, наперекор суровым временам: под грохот артиллерии и взрывы мин, в мрачной тени войны люди радовались и грустили, мечтали о великом и малом, росли, страдали и любили.

Вдали от дома Ауэстра и Аугуст еще сильнее привязались друг к другу. Много оттенков было в этой привязанности: и обостренная нежность воспоминаний о семье, и общность детских надежд, и общность выбранного на всю жизнь пути. Лидия? Да, и она нашла свое прочное место в их сердцах, они не отгораживали от нее отдельного уголка.

Многие находили в лагере своих близких. Только Рута Залите безуспешно справлялась у всех приезжающих про Ояра Сникера. Нет, никто его не видел. А когда вернувшиеся из Москвы товарищи привезли первые известия о событиях в Латвии и рассказали о легендарной липайской битве, — Руте стало ясно, что напрасно она спрашивает и ждет. Он остался там, далеко на родине, и, быть может, песок братской могилы давно укрывает его остывшее тело.

— Спи вечным сном, милый друг Ояр... — шептала Рута, стискивая зубы. — Я заняла твое место в строю.

Глава четвертая

Первого июля Екаб Павулан проснулся, как обычно, около пяти часов утра. Никакие события не могли нарушить устоявшейся привычки: старый токарь ложился вместе с курами и вставал на заре, хотя завод начинал работать в восемь часов. Екаб Павулан повернулся на другой бок и некоторое время пролежал с открытыми глазами. Заснуть он больше не пытался, — хотелось только немного подумать в тишине о жизни. Но из этого ничего не вышло — жена слышала, как он ворочается: старая железная кровать скрипела от малейшего движения.

— Екаб, ты еще спишь? — спросила Анна и, присев на своей кровати, начала расчесывать волосы.

— Какое там сплю, — ворчливо ответил Павулан. — Надо вставать. Пойти дров наколоть.

Скользя вдоль стены дома, луч солнца задел оконное стекло, и через комнату протянулась косая золотистая полоса, в которой заиграли миллионы мельчайших пылинок. На подвешенной к потолку ленте-мухоловке, жужжа, билась муха. Она всеми лапками завязла в липкой массе, но крылья были еще на свободе. Немножко отдохнув, муха снова и снова пыталась взлететь, пока крылья не прилипли к бумаге. Муха умолкла. Наступила такая тишина, что Екаб Павулан слышал дыхание жены в другом углу комнаты и тиканье часов на комод. Чего-то все-таки не хватало; чего-то привычного и ранее не замечаемого, но сейчас о нем напоминало ощущение пустоты.

— Трамвай еще не проходил... — заговорила Анна, — навряд ли и пойдет.

— Кто его знает, — ответил Екаб. Только теперь он понял, чего ему не хватало, когда он проснулся. Он-то проснулся, но город не будил его к новому дню. С улицы не доносилось ни шагов пешеходов, ни велосипедных звонков, ни стука подков о мостовую. Уснув или замерев, молчала седая Рига. «Неужели в городе не осталось ни одного человека? — подумал Павулан. — Неужели все ушли? Как же быть нам с Анной — в целом городе одни?» Будто в ответ на его мысли, где-то далеко в Старом городе прозвучало несколько выстрелов и напротив хлопнула створка окна. Потом снова наступила глубокая, неестественная тишина.

Екаб Павулан встал и подошел к окну. Улица была мертва. На утреннем солнце горели оконные стекла, ослепительно сверкали латунные и никелированные ручки дверей. Ветерок донес запах гари; тонкие черные

и серые пленки медленно кружились в воздухе.

— Где-то еще горит... — сказал Павулан и сам испугался своего голоса, так далеко прозвучал он по безлюдной улице.

— Одному господу богу ведомо, что теперь с Марой, — заохала жена. — Есть ли куда голову-то приклонить? Может, сидит в лесу, как бездомная собачонка, в сырости, в холоде.

Екаб закашлялся, стараясь отвлечь жену от горьких дум.

— У тебя хватит еще дров, чтобы чай вскипятить? Если мало, я схожу в сарайчик, наколю.

Он надел темносинюю рабочую блузу и вышел. С полчаса пилил ручной пилой еловые сучья, наколот щепок. Анна за это время вскипятила чай и собрала на стол. Молча съели они незамысловатый завтрак, молча Анна завязала в узелок обед для мужа. Но на работу идти было рано, Павулан успел еще выкурить трубочку.

Вдруг с конца улицы слышались отдаленные голоса, загудела машина. Старики подошли к окну. По улице медленно ехал переполненный людьми грузовик. Одни сидели, другие стояли. Двое были в айзсарговских мундирах, несколько женщин — в национальных костюмах; на подножке, у кабины шофера, стоял долговязый мужчина в цветной корпорантской шапочке, он держал прикрепленный к длинному шесту красно-бело-красный флаг и вызывающе оглядывал окна домов. Вся эта пестрая компания распевала во все горло песенку:

Ты куда бежишь так рано, петушок мой,
Ты куда бежишь так рано, петушок мой.
Поутру, на зореньке.
Поутру, на зореньке?

Напев был взят слишком высоко, и на верхних нотах перепившиеся «единоплеменники»^[4] с покрасневшими от натуги лицами верещали непотребными голосами.

— Ишь ты, как радуются, — протянул Павулан, когда машина с певцами проехала мимо. — Чему же это они так, и надолго ли хватит их веселья?

— Значит, наши ушли, — убитым голосом заговорила Анна. — Да, иначе разве бы они посмели разезжать по улицам с ульманисовским флагом. Ах ты, господи, и подумать страшно, что теперь будет.

Она всхлипнула — тихо, несмело, но быстро оправилась и вытерла

передником глаза.

— Придется все-таки выдержать, куда же теперь деваться. Надо, отец, взять сердце в руки и научиться молчать. Теперь опять будет, как при Ульманисе, или того хуже...

— Пожалуй, еще похуже, мать... Вспомни восемнадцатый год. Немецкие господа умеют кровь сосать.

— Не дай бог еще раз пережить такое.

— Думаешь, они станут спрашивать разрешения у твоего бога, — угрюмо усмехнулся Павулан. — У господ вместо бога собственное брюхо.

— Зачем так говорить, отец. Мне и без того тяжело...

— Ну, не буду, не буду. Однако мне пора.

Захватив узелок, Павулан вышел. На улице попадались лишь редкие прохожие. Дворники поливали из шлангов тротуары. Встретилось несколько рабочих; нехотя, медленно шагали они на работу. До завода Павулан обычно доходил в десять минут, а сегодня плелся чуть не полчаса. И чем меньше оставалось ему идти, тем медленнее становились его шаги. Не хотелось думать ни о работе, ни о том, к кому все-таки обращаться за всеми указаниями. Ян Лиетынь, выдвинутый в директора самими рабочими, ушел вчера вместе с рабочегвардейцами. Прежний, времен Ульманиса, директор прошлой зимой репатриировался в Германию. Может, завод некоторое время останется без директора? Что это будет за работа? Странно, до чего безразлично ему, будет ли теперь завод работать, выполнять план, или совсем станет.

Кое-где уже виднелись красно-бело-красные флаги, вяло свисавшие с древков. Кто-то поднял такой флаг и над заводскими воротами, но тут же рядом можно было прочесть еще не снятый первомайский лозунг. Старик сторож сидел на скамеечке у проходной будки. Ворота были закрыты. Перед ними стояли двое старых рабочих, товарищей Екаба Павулана.

— Из начальства никого еще нет, — сказал сторож. — Не знаю, как и быть. В цеха вы не попадете.

— Подождем, пока придет кто-нибудь, — сказал Павулан. — Надо бы узнать, как и что теперь будет. Может, завод совсем прикроют? Тогда будем искать работу в другом месте.

— Я считаю, сейчас надо подаваться в деревню, — заметил один рабочий. — В восемнадцатом году при немцах в Риге можно было с голоду помереть. Теперь и не то еще будет.

— Ты бы потише, Сакнит... Еще услышат... — предупредил сторож. — Прошли уж те времена, когда можно было громко разговаривать.

И все сразу опасно оглянулись; после этого разговор не клеился.

Они протомились здесь до половины десятого, но из администрации никто не появлялся. Прибежал было бухгалтер Булинь, но и тот ничего не знал; повертевшись немного у ворот, он ушел. В городе еще продолжалась полная смятения и неизвестности пауза. Во многих местах тучами клубился дым пожаров; хлопья пепла все еще носились в воздухе. Изредка со стороны центра доносились хлопки одиночных выстрелов.

— У Центрального рынка... — сказал Сакнит. — Там еще наши держатся.

— Тебе говорят, потише, — снова оборвал его сторож. — Ты своей болтовней только бед наживешь. Сам-то ты знаешь, кого придется теперь величать своими? Если бы тот же Булинь услышал, как ты здесь фырчишь, он бы тебе показал.

— Положим, это верно, — согласился Сакнит. — Булинь довольно ехидный тип, хорошо, что ушел.

— Я думаю, нам здесь нечего стоять, — сказал Павулан. — Когда будем нужны — найдут.

— Надо бы дойти до центра, — предложил Сакнит. — Может быть, там узнаем что-нибудь. Такая неизвестность хуже смерти.

— Давай сходим, — согласится Павулан.

Медленным шагом шли они по городу и наблюдали пустынные улицы. Редко кто отваживался выйти из дому. Какая-то дамочка, заметив в окно знакомую, быстро выбежала в парадное и громко поздравила подругу с наступлением новых порядков:

— Ну, теперь большевики получают! Как я боялась, что меня увезут с собой... Три ночи не спала, из дому никуда не выходила.

— Точь-в-точь, как и я, точь-в-точь, — по-сорочьи трещала знакомая. А когда старый Павулан прошел мимо них, они брезгливо отпрянули в сторону.

— Какой нахальный старик! Чуть было не запачкал мне блузку своим грязным отречьем. Наверно, из красных... Ну, скоро они перестанут разгуливать. Мой сын служил раньше в уголовной полиции, ему все эти типы известны.

Перестрелка у Центрального рынка кончилась. Затаив дыхание, онемевший город прислушивался к близившемуся рокоту моторов и топоту подкованных каблуков. Со стороны Московского района направлялась к центру колонна немецких войск. Впереди ехало, точно обнюхивая дорогу, несколько танкеток, за ними показались мотоциклисты — с застывшими лицами, в касках, с засученными до локтей рукавами. Такие же были пехотинцы — в серо-зеленых мундирах с расстегнутыми воротниками и

закатанными рукавами. Потные и запыленные, с висящими на шеях автоматами, они шагали тяжелой, гулкой поступью, глаза их рыскали по сторонам, выглядывая прохожих. Жидкая кучка любопытных стояла на краю тротуара, и у тех был нерешительный, испуганный вид. Немцы подбадривали их улыбками и махали руками.

— Ни дать ни взять мясники, — пробормотал Сакнит. — Рукава засучены, будто свиней колоть собрались.

— Глядеть тошно, — согласился Павулан. — Так и ждешь, что сейчас вцепятся в горло. Пойдем скорее, Сакнит, вон фотографии идут. Еще снимут, а потом пустят по всем газетам... Люди подумают, что бежали встречать немцев. На всю жизнь сраму не оберешься.

— Да, видно, надо удирать, — сказал Сакнит, ускоряя шаг. — Не хватало, чтобы меня кто-нибудь увидел на одном снимке с ними.

Но было уже поздно. Фотокорреспонденты и кинооператоры из роты пропаганды Геббельса оказались тут как тут, а вместе с ними и кое-кто из их местных друзей.

— Станьте потесней! — кричали они, размахивая руками. — Смейтесь! Улыбайтесь! Машите руками! Сделайте веселые лица, сейчас будем фотографировать.

Истерически взвизгнув, какая-то проститутка с Мариинской бросилась на шею немецкому солдату.

— Милые, как я вас заждалась!

Размахивая букетом цветов, она шагала рядом с колонной, хохоча и что-то выкрикивая, а фотографии приседали, щелкали, забегали вперед, снова приседали и снова щелкали; кинооператор лихорадочно вертел ручку аппарата, спеша увековечить восторженную встречу, пока подвыпившая уличная девка еще не отстала от солдат. Позднее этот эпизод был воспроизведен во всех газетах и кинохрониках.

К Павулану и Сакниту подошли два немецких солдата эсэсовца, достали из карманов портсигары и до тех пор не отстали, пока те не взяли по сигарете. И снова только того и ждавший фотограф обессмертил эту сцену. Эсэсовцы подходили и к другим мужчинам, навязывали сигареты, а кинооператор работал до седьмого пота, мастера фальшивку: «Восторженная встреча рижанами немецких войск».

— Пойдем домой, Сакнит, — растерянно сказал Павулан. — Доходились. Не знаю, как я старухе в глаза буду глядеть, если эта картинка появится в газете.

Понуро шагали старики, спеша уйти подальше от центра. Теперь мимо них уже бежали раскормленные дамы с накрашенными дочками,

корпоранты, молодчики — перконкрустовцы Густава Целминя^[5], айзсарги, — словом, здесь был самый махровый букет реакции. Выползали заплечных дел мастера с улицы Альберта^[6], которые с фальшивыми паспортами прятались от советской власти по темным закоулкам. Все это ревело, орало, размахивало руками, не зная, как выказать свою радость.

Но это был не народ, а только грязная накипь, которую водоворот событий на мгновение выбросил на поверхность.

2

— Только, пожалуйста, ни о чем не думай. Тебе сейчас ни до чего нет дела. Помни, что тебе предстоит, и заботься только о нашем будущем ребенке. Сейчас это важнее всех политических событий. О политике, о средствах к существованию, о том, как мы уживемся с немцами, предоставь заботиться мне. Неужели, по-твоему, я не сумею устоять на ногах?

Эдгар Прамниек расхаживал по гостиной и говорил-говорил, не давая Ольге произнести ни одного слова. Она сидела в углу комнаты, кутая в клетчатый платок свое располневшее, преображенное материнством тело.

Как она могла ни о чем не думать, когда там, под сердцем, новая жизнь стремительными толчками все чаще напоминала о себе. Раньше, когда их было двое, у них хватило бы закалки, стоицизма на любые испытания. Но ребенок, маленькое слабое существо, — что ожидает его в мире, где все переворачивается до самого основания?

— С нами ничего особенного случиться не может, — продолжал Прамниек. Погасшая трубка дрожала в его руке. Все его жесты были слишком порывисты, он слишком много двигался. — Мы честные интеллигенты и политикой никогда не занимались. Я буду спокойно работать в своей мастерской, писать портреты, натюрморты, солнечные пейзажи... как и до сих пор. А если они никому не будут нужны, — поступлю в школу учителем рисования — на хлеб во всяком случае заработаю. Разумеется, мы уже не сможем говорить с прежней откровенностью о многих вещах. Придется несколько изменить отношение к некоторым друзьям и знакомым — с одними видаться реже, с другими, наоборот, чаще — вот и все.

— Ты серьезно думаешь, что это все? — Ольга насмешливо-грустно посмотрела на Эдгара. — Неужели ты воображаешь, что прошлое можно так легко вычеркнуть из памяти людей?

— Вычеркивать ничего и не требуется, — возразил Прамниек. — У нас в прошлом и не было ничего такого, о чем нельзя теперь вспомнить. Моя жизнь — это мои картины. Пожалуйста, пусть смотрят и скажут, что в них предосудительного.

— Ты — двоюродный брат Силениека... — напомнила Ольга.

— За его деятельность я не отвечаю. К тому же в последнее время мы почти не встречались. Если бы я вступил в партию, тогда другое дело. А с беспартийного взятки гладки.

Чтобы отвлечь Ольгу от невеселых мыслей, он включил радио. Часы на камине показывали начало десятого. Раздался обычный треск. Эдгар настроил приемник на волну Риги. Интересно, будет какая-нибудь передача? Или радиостанция бездействует?

Потрескивание... иголка заскользила по патефонной пластинке, заиграла музыка. Прамниек от неожиданности широко раскрыл глаза.

«Боже, благослови Латвию...»

— Слышишь, Олюк? — закричал он. — Старый латвийский гимн! Тебе понятно, что это значит? Перемены будут происходить под национальным флагом. Это не простая случайность, что передачу начинают гимном.

— В сороковом году, накануне своего падения, ульманисовцы тоже забавлялись этой музыкой, — ответила Ольга. — Надо же было напоследок одурачить народ. Не верь ты этой музыке, Эдгар. Слишком часто нас обманывали.

— В чем же здесь обман? Вчера еще можно было задавать вопрос: будет ли новый режим чисто немецким, или он допустит существование национального элемента? И вот тебе ответ.

— А чего ты все-таки ждешь от такого «национального» элемента? Уже забыл диктатуру Ульманиса?

Почему сейчас все должно быть, как при Ульманисе? Сомневаюсь, чтобы они пытались обновлять этот непопулярный, обанкротившийся режим.

— Не ломай себе голову, Эдгар, не фантазируй. Не опережай догадками событий. Пусть выскажутся другие.

— Ладно, Олюк, не буду гадать. Но начало, право, не такое уж плохое.

За гимном последовало приветствие. Тот же голое, который много раз возвещал по радио кустарную мудрость Ульманиса, тот самый, сто раз слышанный, до малейших интонаций знакомый голос сегодня утром по заданию гитлеровцев успокаивал и увещевал попавший под ярмо оккупации народ, чтобы он не волновался, чтобы все оставались на своих

местах и работали на Гитлера, на скорую победу «Великогермании».

Не обошлось, конечно, без угроз по адресу евреев и коммунистов. Уже в первое воззвание было вставлено кое-что из Розенберга и Геббельса.

Когда передача окончилась, Прамниек выключил приемник.

— Я думаю, что...

— Лучше ничего не думай, — нервно перебила его Ольга. — Живи и наблюдай, события сами покажут, что надо думать. Так ты хоть меньше будешь ошибаться.

— Хорошо, Олюк, молчу, молчу. Но нельзя же ни о чем не думать. Ведь я, как-никак, человек, мыслящее существо.

Вдруг он что-то вспомнил и засуетился.

— Пойду в мастерскую, надо еще кое-что доделать. А ты, дружок, не нервничай, возьми какую-нибудь книгу, почитай.

Поцеловав Ольгу в лоб, он вышел в мастерскую. На большой картине, в которую он вложил столько труда и которую так хорошо знали все, кому случалось бывать в мастерской, в самом центре ее, развевалось по ветру могучее знамя... пламенно-красное знамя. Да-а... Как же теперь быть? Прамниек посмотрел на него, потом махнул рукой и, быстро смешав на палитре краски, стал замазывать знамя. И когда в центре картины появилось какое-то бело-серо-грязное пятно, она сразу вся потускнела, краски пожухли, застыли человеческие фигуры. Больно стало Прамниеку, но — на улице раздавались шаги гитлеровских солдат.

После обеда забежал Саусум. Он обошел полгорода и уже знал все, что сегодня произошло.

— Не понимаю, как ты можешь в такое время спокойно малевать свои холсты, — сказал он, усаживаясь ка свое обычное место, за маленький столик посреди мастерской.

— Я художник и живу в мире своих образов, — ответил Прамниек. — А что там происходит на улице — это не мое дело, пусть этим занимаются политики.

— Мы все должны быть в какой-то мере политиками. Не думай, что тебе удастся увильнуть от высказывания своих политических взглядов. Не те времена. Наш век не терпит пассивности.

— Сам-то что недавно говорил?

— Могу и сейчас это повторить. Наперекор всем и вся, в любых условиях, но мы должны уцелеть.

— Вот и я хочу того же самого, — ответил Прамниек. — Думаю, что немцы будут обращаться с нами довольно корректно и мы сможем пережить это смутное время. Мы не выступаем ни за, ни против. Но

большого пусть с нас не требуют.

— А если потребуют?

— Тогда надо будет как-то изворачиваться. Чтобы и овцы были целы и волки сыты.

— И чтобы не слишком запятнать себя в глазах народа, — добавил Саусум. — Пропуск на будущие времена надо сохранить чистеньким. Что это у тебя, Эдгар, с большой картиной? Что-то она того...

Прамниек покраснел.

— Кое-что изменил. Иначе нельзя.

Саусум встал и подошел к картине. У него хватило такта не дать волю своей склонности к зубоскальству.

— Перекрасил? Ничего, так будет хорошо. Только в последний ли это раз? Выдержит ли эта краска разрушительное действие истории?

Но Прамниек угрюмо молчал, и Саусум заговорил о другом:

— Я давеча встретил Зандарта. Ну, брат, этот сейчас бьет во все барабаны! Не знает, как честить большевиков. А фашистов как восхваляет! Я и не представлял, что он такой их почитатель. Я ему напомнил, что раньше он довольно нелестно отзывался о гитлеровцах и что будет не совсем удобно, если он вздумает зарабатывать хлеб у Геббельса. Тогда Гуго не удержался и ляпнул, что перед немцами у него такие заслуги, какие нам и не снились.

— Агент? — встревожился Прамниек.

— По-видимому, да. Впрочем, от Зандарта можно было ждать.

— Вот гадина. Тогда, значит, им известно все, что я когда-то говорил.

— Это всегда надо иметь в виду и держать язык за зубами. Да и твоя приятельница Эдит Ланка...

— Разве Эдит еще здесь? Ведь они с мужем расстались заклятыми врагами. Когда Освальд Ланка вернется в Ригу, — а этого долго ждать не придется, — ей не поздоровится. Он сам выдаст ее гестапо.

— Она нас, Эдгар, вокруг пальца обвела, — вздохнул Саусум. — Эдит над нами смеялась. А мы поверили в эту комедию. Развод был фиктивный, ей надо было остаться в Латвии, чтобы сослужить службу своему фатерланду. Сейчас она с нетерпением ждет возвращения мужа.

— Что все это значит, Саусум? — Прамниек схватился за голову. — Что это значит?

— Это значит, что есть на свете люди похитрее нас с тобой, — ответил Саусум. — Век живи, век учись.

— И что теперь будет? — спросил Прамниек. Лицо его стало землисто-серым.

— Откуда я знаю? — Саусум пожал плечами.

Художник подошел к окну и долго смотрел поверх крыш вдаль, как будто дожидался оттуда ответа на свои беспокойные мысли. Но ответа не было. Внизу угрожающе рычали моторы автомобилей; гулко отдавался топот рот и батальонов, марширующих по улицам поруганного города. «Странно, — думал Прамниек, значит, мне надо бояться этого серо-зеленого вооруженного человека... По той единственной причине, что когда-то я, может быть, выразился о нем недостаточно лестно. Кто им дал право требовать, чтобы я их восхвалял? Во имя какой правды смеют они мне угрожать? Грубая, дикая сила, самодурство насильника... Нет, я больше ничего не понимаю».

Через час в дверь его квартиры постучали четыре немецких солдата. Художник впустил их и каждый раз, когда они задавали ему вопросы или он сам отвечал им, предупредительно кланялся.

— Жидов и коммунистов нет? — спросил старший.

— Нет, господа, мы с женой латышские интеллигенты, — ответил Прамниек. — Я художник и зарабатываю хлеб тем, что пишу картины.

— А в остальных квартирах кто живет?

— Разные люди, главным образом интеллигенты. Господа, об этом вас лучше проинформирует дворник.

— Вы знаете адрес какого-нибудь жида или коммуниста?

— В Риге, вероятно, кто-нибудь и остался, но среди моих друзей и знакомых евреев и коммунистов нет.

Солдаты осмотрели все комнаты, гоготнули при виде беременной Ольги и ушли. После этого Прамниек не мог найти серебряную коробку для табака, а у Ольги пропали с подзеркальника серьги. Прамниеку стало не по себе, когда он подумал, что не смеет даже заявить об этом. Он больше не властен ни над своим имуществом, ни над своими мыслями.

В Риге начались аресты. Каждый день по улицам прогоняли под конвоем большие партии людей. То ли для устрашения жителей, то ли в издевку над ними немцы водили арестованных по самым многолюдным улицам. Черную работу выполняла вспомогательная служба — молодчики из бывших айзсаргов, полицейских и тому подобная публика. Они врываются в квартиры и днем и среди ночи, отводили свои жертвы в полицейский участок, где происходил первый допрос. После этого

арестованных перегоняли в префектуру. Там все было так переполнено, что люди не могли ни прилечь, ни присесть. В префектуре заключенных просеивали в зависимости от характера обвинения. Большинство женщин отправляли в пересыльную тюрьму, мужчин — в центральную, где их обрабатывали по всем правилам гестаповской науки. Здесь решалась судьба несчастных людей. Заключенных морили голодом, и только позже, когда у немцев возникла мысль использовать их для каторжных работ, тюремная администрация разрешила передачи.

Большинство арестов производили силами вспомогательной службы, но когда дело доходило до рабочегвардейцев, которые по тем или иным причинам не успели уйти из Риги, на операцию отправлялись сами немцы — значительными, хорошо вооруженными группами.

Весь город знал об этих повальных расправах. Люди угрюмо молчали. Никто не был гарантирован, что его не бросят в тюрьму, а оттуда редко кто возвращался. Достаточно было одного доноса, что человек работал в советском учреждении или был знаком с коммунистом, и его немедленно арестовывали. Эдгар Прамниек старался по мере возможности скрывать эти факты от Ольги, чтобы не волновать ее, — ведь кто мог поручиться, что какая-нибудь услужливая сволочь не донесет немецким властям о его родстве с видным коммунистом Силениеком.

Вечером, в середине июля, у Ольги начались родовые схватки. Прамниек отвез ее на извозчике в одно из тех второразрядных лечебных учреждений, которые немцы еще оставили для обслуживания латышского населения. Знакомый врач взял на себя заботу о роженице.

В ту ночь Прамниек совсем не ложился. Все у него валилось из рук, и, чтобы как-нибудь убить время, он всю ночь провозился в своей библиотеке. Доставал с полок книги советских авторов, политическую литературу, советские журналы и газеты. Всю ночь топился камин, а Прамниек разбивал щипцами обуглившиеся переплеты и листы, пока они не превращались в мелкий пепел. Не успокоившись на этом, он выгреб в ведро весь пепел до последней щепотки, облил его водой и среди ночи снес во двор и высыпал в мусорный ящик. Потом вымыл руки, сполоснул покрытое копотью лицо и в первый раз за всю ночь задымил трубкой.

В девять часов утра ему позвонили из больницы.

— Поздравляю с сыном, — сказал врач. — Все сошло благополучно. Мать чувствует себя сравнительно хорошо, малыш здоров. К вашему сведению, весит он три тысячи восемьсот граммов. Короче говоря, молодец-парень.

— Можно мне прийти в больницу? — жалобно попросил Прамниек.

Решительно, он больше не мог вытерпеть ни одной минуты, не повидав Ольги и своего первенца. — Ну, на несколько минут хотя бы, господин врач. Я только взгляну на них.

— Нельзя, господин Прамниек. Надо дать матери отдохнуть несколько часов. Позвоните мне часа в два, тогда договоримся. Ручаюсь, что вы и сами не спали, — знаю я вас, молодых отцов. Поспите часок, а потом запасайтесь букетом и, если есть под рукой, захватите бутылку хорошего вина.

Прамниек хотел было спросить, какой марки вино требуется в таких случаях, но врач уже повесил трубку.

Сын... Аугуст Прамниек! (Относительно имени они уже давно уговорились с Ольгой.) Он уже есть, он требует забот, любви. Но как можно не любить его, своего первенца, своего потомка, исполнение самой большой своей мечты! «Мы будем большими, большими друзьями, мой маленький мальчуган... — мысленно разговаривал Прамниек с сыном. — Ты будешь прибегать ко мне в мастерскую, пачкать в красках свои крохотные пальчики. У тебя у самого будет маленький мольберт и кисти, но разве тебе этого достаточно? Ха-ха... Иногда ты положишь такое неожиданное пятно на мою картину, что мне придется целый час ликвидировать результат твоей помощи, но я не особенно сильно буду бранить тебя».

Он немного опьянел и поглупел от радости в это утро. В идиллических мечтах его фантазия забежала лет на десять — пятнадцать в будущее, открывая в нем все новые и новые перспективы. Он был счастлив, он совсем обезумел от счастья.

В таком настроении и застал его молодой человек, который явился к нему в десять часов утра.

Молодой человек не назвал ни своей фамилии, ни должности, спросил только, имеет ли он честь разговаривать с художником Прамниekom, и, получив утвердительный ответ, сказал:

— Шеф пропаганды приглашает вас явиться сегодня к нему в бюро, к двенадцати часам дня.

— Смею узнать, по какому делу? — спросил Прамниек.

— Это вам сообщит сам шеф пропаганды, — ответил молодой человек. Прамниеку показалось, что этого юношу он не раз уже видел разгуливающим в корпорантской шапочке. — Прошу явиться точно без пяти двенадцать. Я вас встречу в бюро. До свидания, господин Прамниек.

Без пяти минут двенадцать Прамниек явился в бюро руководителя гитлеровской пропаганды. В приемной его встретил давешний молодой

человек.

— Присядьте, пожалуйста. Вам придется немного подождать. Шеф занят с другими посетителями.

Прамниек присел и от нечего делать стал разглядывать роскошную мебель и картины на стенах. Раньше здесь находилось какое-то культурно-просветительное учреждение, а картины, вероятно, были взяты из частных коллекций. Прамниеку показалось несколько странным, что портрет Гитлера был повешен между каким-то средней руки этюдом обнаженного тела и натюрмортом старого голландского мастера. На противоположной стене, против Гитлера, висела в коричневой раме эмблема нацистской Германии — черная свастика на красном фоне.

Приотворилась тяжелая дубовая дверь в глубине комнаты. Оттуда вышел известный литератор — полубеллетрист, полупублицист, а за его спиной показался романист Алкснис. Заметив Прамниека, он в первый момент смутился, но затем лучезарная улыбка заставила его лицо собраться в жирные складки, а глаза добродушно прищурились сквозь очки.

— Привет, привет, господин Прамниек. — Алкснис потряс руку художника. — Это хорошо, что и вы впрягаетесь в работу. Тут особенно раздумывать нечего. Все, кого бог не обидел талантом, должны приложить руку к большому делу. Только так мы и построим новую Европу.

Раздался звонок. Молодой человек ринулся в дубовую дверь и тотчас же вернулся. Слегка поклонился Прамниеку:

— Шеф просит вас в кабинет.

Этот кабинет был рассчитан на парадные приемы: роскошная стильная мебель, всюду фарфоровые и серебряные безделушки, замысловатые люстры, тяжелые письменные приборы и пепельницы, две большие картины в массивных рамах, еще недавно висевшие в городском музее. Портрет Гитлера был еще огромнее того, что Прамниек видел в приемной; и здесь тоже против главаря фашистов висела черная свастика.

Шеф пропаганды — нестарый, небольшого роста человек, с темными, точно приклеенными к черепу волосами, в коричневом мундире чиновника партии «национал-социалистов» — был очень занят. С казенной улыбкой, в которой не было ни веселости, ни любезности, он небрежно протянул руку Прамниеку и пригласил сесть. Разговор велся на немецком языке.

— Вы художник Эдгар Прамниек?

— Да, я занимаюсь живописью, — ответил Прамниек. — Брался и за графику, но моя излюбленная область — портрет.

— Знаю, господин Прамниек, — уже совершенно деловитым тоном сказал шеф пропаганды, — мне о вас говорили. Нам как раз нужен

художник вашего жанра. У меня мало времени, поэтому разрешите сразу приступить к делу.

— Я понимаю, господин шеф, пожалуйста, пожалуйста... — Прамниек сделал глубокий поклон, насколько это было возможно сидя. — Я к вашим услугам.

— Мы хотим издать сборник о периоде большевистского правления в Латвии. Впоследствии будем делать и фильм. В сборнике будут представлены документальные материалы, фотографии, рисунки художников, которые покажут методы большевистского правления, наиболее характерные типы, ужасы чека. У нас много хорошего материала, но его надо сделать более наглядным, более броским. Вам, художнику, нетрудно преподнести любой незначительный факт так, чтобы у зрителя мурашки по телу бегали. Пустите в ход всю вашу творческую фантазию. Рисуйте изуродованные тела, перекошенные в предсмертных судорогах лица. Чем ужаснее будут нарисованные вами картины смерти и агонии, тем лучше. Сборник должен быть готов через месяц. Заплатят вам хорошо. Жду вашего ответа, господин Прамниек.

Прамниек испугался. У него даже пот на лбу выступил. Он сразу понял, чего от него хотят, но внутри все у него дрожало от какого-то тоскливого возмущения. Нет, нет, ведь он хотел быть лояльным, без политики, а это политика, и какая подлая политика...

— Господин шеф... ваше предложение делает мне честь, но это так неожиданно... — не помня, что говорит, пробормотал он. — В этом жанре я еще не работал. Я далеко не уверен, удастся ли мне это. Буду весьма признателен, если вы разрешите мне подумать один день...

— Хорошо. Мы можем дать вам один день на размышления. Завтра в двенадцать придете ко мне с готовым ответом. Надеюсь, что он будет положительным. Учтите, что мы своих сотрудников хорошо оплачиваем. Но мы не забываем и тех, кто не желает с нами сотрудничать. До свиданья.

Шеф пропаганды пожал Прамниеку руку еще сдержаннее, чем при встрече. Холодно посмотрел ему вслед, когда тот, растерявшись, неловко толкал дверь не в ту сторону; потом нажал кнопку звонка.

Очутившись на улице, Прамниек некоторое время ходил, как ошарашенный, по городу. «Что предпринять? Как отделаться от предложения шефа пропаганды? Почему они выбрали именно меня, а не другого? Ведь столько в Риге художников».

— Пойду к Эдит. Вот кто даст мне хороший совет. А она сейчас в чести.

Прамниек сразу ожил и чуть не бегом помчался к Эдит.

В квартире Эдит было столько всякого добра, что негде было повернуться. Началось это с вечера первого июля, тут же после прихода в Ригу немцев. Всю ночь работал дворник не переводя духа, пока не перетащил к ней обстановку соседней квартиры, хозяин которой эвакуировался в тыл. Но это еще не все. Эдит хотелось обставить свое гнездышко с такой роскошью и комфортом, чтобы Освальд Ланка — когда он вернется — от удивления и восторга рот разинул. Кто-кто, а она это заработала своей отчаянно смелой работой в пользу «Великогермании». Могла, того и гляди, свернуть шею! Зато как приятно пожинать плоды своих трудов! А возможности-то какие — голова кружится. Эдит как пять пальцев знала в своем районе все брошенные квартиры. Как усердный муравей, тащила она к себе все ценное — старинную мебель, ковры и гобелены, картины и хрусталь. Ее шкафы ломились от добра, квартира стала походить на лавку антиквара.

Первого июля ее навестило высокое начальство из гестапо, и она передала ему несколько важных списков с адресами, которые весьма облегчили ему работу. По материалам Эдит тридцать самых важных арестов произвели в следующую же ночь. Гестапо получило подробную информацию о настроениях многих известных общественных деятелей, о том, кого из них можно привлечь к работе. Казалось, теперь бы только и пожить в свое удовольствие, но Эдит об этом и думать не хотела.

«В самый разгар охоты сидеть дома, стать простым зрителем! Это мы успеем еще в старости».

Эдгар Прамниек столкнулся с ней на лестнице. Эдит собралась куда-то уходить.

— Ты ко мне, Эдгар?

— Эдит, мне нужен твой совет, — умоляюще сказал художник. — Я ненадолго, не задержу тебя.

— Зайдем в квартиру. На лестнице неудобно.

Она отворила дверь и пригласила Прамниек в кабинет. На стене уже появился портрет Гитлера, а фотография Освальда Ланки стояла посреди письменного стола.

— Итак — счастливый отец? — Эдит улыбнулась. — Можно поздравить с сыном?

— Разве ты уже знаешь? — удивился Прамниек.

— Я и не то еще знаю. Расскажи, Эдгар, для чего тебя вызывал шеф

пропаганды? Вышло там что-нибудь?

Она села в огромное кресло, положила ногу на ногу. Прамниек от волнения стал хрустеть пальцами.

— Вот об этом я и собирался поговорить. Они хотят, чтобы я дал рисунки для какого-то сборника... Против большевиков... Но я этого не могу... Ведь это же подлог. У художника тоже есть совесть... Искусство должно быть правдивым. Как мне работать, когда я сам буду презирать эту работу? Эдит, если ты мне друг, помоги увильнуть от нее.

— Так, так. Боишься скомпрометироваться! Совершенно напрасно. Большевики никогда сюда не вернутся. Мы останемся здесь навсегда. И тебе ни перед кем не придется оправдываться в том, что ты помогал нам. Не бойся, Эдгар, рисуй все, что тебе велят.

— Я не в состоянии. У меня ничего не выйдет.

— То есть как это не выйдет? Когда есть желание, всегда выходит.

— В том-то все и дело, что я не желаю. Как можно творить против своего желания?

— Надо желать. Через несколько недель, когда в наших руках будут Москва и Ленинград, найдется очень много желающих послужить нам. Как ты думаешь, дорого мы их оценим? Нам надо, чтобы они сейчас приходили. Вот поэтому не будь дураком, Эдгар, перестань упрямитесь.

— Ты... не хочешь мне помочь? Пойми, Эдит, ведь я не политик.

— А сейчас надо стать политиком. Подумай о своей жене и ребенке. Они хотят жить, и от тебя теперь зависит, какой будет их жизнь.

— Эдит, почему они не закажут эти рисунки кому-нибудь другому? Художников ведь достаточно, и я не самый лучший.

— Это дело вкуса. Шефа пропаганды, очевидно, заинтересовала твоя манера. По правде говоря, я с ним согласна.

Напрасно старался Прамниек доказать свою непригодность и уговорить Эдит, чтобы она за него заступилась. Эдит только качала головой.

— Я не в силах помочь тебе. Разговаривай сам с шефом пропаганды. Впрочем, от этого дело не изменится. Лучше привыкай к мысли, что рано или поздно придется выполнить этот заказ. Ах, господи, я ужасно запаздываю. Извини, пожалуйста.

Прамниек поднялся и попрощался.

Под вечер его минут на пять впустили к Ольге. Ольга спала, и врач не разрешил будить ее. Няня поставила цветы на ночной столик, а бутылку вина спрятала в шкафчик.

— Когда проснется, скажу, что вы приходили. А теперь покажу вам

сына. Только не дышите на него. Славный мальчик у вас, господин Прамниек. Смотрите, как спокойно спит.

Прамниек с умилением рассматривал крохотное существо, лежавшее в кровати. Так вот он какой, его сын... Нельзя даже сказать, на кого он походит — на мать или на отца. Но это не так важно. Важно, что он есть, что он существует в мире. Прамниек чувствовал, что уже любит его и готов отдать все, чтобы только ему было хорошо. «Бай-бай, мой сыночек... — шептал он. — В другой раз поговорим, а сейчас спи, бай-бай, и расти большим».

Из больницы Прамниек пошел домой, собрал что было из еды и немного закусил. Потом сел за письменный стол и, больше не раздумывая, написал ответ шефу пропаганды.

«Основательно и всесторонне обдумав ваше предложение, я пришел к выводу, что не в состоянии выполнить такое важное поручение. Моя предшествующая художественная деятельность протекала совсем в иной области, для того же, чтобы достойным образом выполнить Ваш заказ, требуется мастер, который на протяжении многих лет развивал свой талант именно в этом направлении. Надеюсь, что Вы, высокочтимый шеф, найдете возможным извинить меня.

Глубоко уважающий Вас

Эдгар Прамниек».

На следующее утро он отнес письмо в бюро пропаганды и сдал тому самому молодому человеку, который приходил к нему на квартиру. Молодой человек не стал расспрашивать о содержании письма, а Прамниек и подавно не считал нужным разговаривать с ним. Выйдя из бюро, Эдгар сразу почувствовал себя легко.

«Теперь меня оставят в покое... Другой раз не будут привязываться».

После обеда, когда Эдгар Прамниек собрался навестить Ольгу, его арестовали и отвели в префектуру.

В конце июля Ольга вышла из больницы. Эдгар больше так и не навестил ее. Один раз приходила Эдит и скороговоркой объяснила, что

Эдгар неожиданно получил командировку в Германию, что-то там по части музеев. Он так торопился, что не успел даже написать письмо, только очень просил передать поздравление. Ольгу это удивило и встревожило, но она была так слаба, что побоялась расспрашивать о подробностях.

В тот день, когда Ольга должна была выписаться из больницы, Эдит приехала во второй раз. Она привезла стеганое одеяльце, подушку для ребенка и ключи от квартиры Прамниеков. У больничных ворот их уже ждал извозчик. Ребенок был беспокоен всю дорогу, и Ольге было не до разговоров. У дома Прамниеков Эдит отпустила извозчика и поднялась с ней наверх.

Ольга дала ребенку грудь и, когда он заснул, уложила его в колясочку, которую Эдгар купил еще накануне войны, задернула на окнах занавески и вышла на цыпочках из спальни. После ухода Эдгара одно окно осталось отворенным — в квартире было полно мух. Ольга медленно обошла все комнаты, заглянула в мастерскую и только в кабинете задержалась на несколько минут. Ящики письменного стола были выдвинуты, на полу валялись разные бумаги, счета за квартиру и электричество. Посреди комнаты лежал рисунок углем, на нем отпечатался грязный след сапога. Больно сжалось сердце Ольги.

Она вошла в гостиную, села на диван и вопросительно посмотрела на Эдит. Та не выдержала взгляда Ольги и опустила глаза.

— Так что же произошло, Эдит? — строго спросила Ольга. — Зачем ты скрываешь от меня правду? Где Эдгар?

Эдит громко вздохнула, пересела на диван к Ольге и обняла ее за плечи.

— Не огорчайся, Олюк, не так все страшно. Пока ты лежала в больнице, не хотелось тебя волновать.

— Я знаю, он арестован... — сурово прозвучал голос Ольги. — За что? Что он сделал дурного?

— Насколько мне известно, он отказался сотрудничать. Ему предложили выполнить один важный заказ — несколько рисунков. Эдгар заупрямился, хотя это были обыкновенные иллюстрации и он бы легко с ними справился. Он приходил ко мне советоваться. Я сказала — пусть соглашается без разговоров, долго его уговаривала, но на него мои доводы не подействовали. Жаль, что тебя не было дома. Тебя бы он послушался.

— Чего они от него требовали?

— Я же говорю, ничего особенного. Иллюстрации для какого-то сборника о зверствах большевиков в Латвии. Обещали хорошо заплатить. Ну почему он не мог это сделать? Ведь он же не большевик. Капризы

артистической природы, а теперь придется за это дорого расплачиваться.

— И за это его держат в тюрьме?

— По-твоему, это недостаточно серьезная причина? Эдгар открыто выразил неуважительное отношение к немецким учреждениям. Сейчас время военное, и мы не можем позволять своим противникам делать, что им вздумается. А у Эдгара была возможность выбирать, тюрьму ему никто не навязывал. В конце концов получил то, что выбрал.

— Я теперь понимаю. Значит, от него требовали невозможного. Вы хотели, чтобы он рукой художника подписался под вашей политической декларацией. Зачем вам понадобился именно он? Разве в Риге мало политических хорьков, которые за деньги готовы на все?

— Хорьки никуда не денутся, они сами придут предлагать свои услуги. К твоему сведению — они уже делают это. Другое дело, если с нами солидаризируется человек, за которым прочно установилась репутация честного и прогрессивного деятеля.

— Вот он для чего понадобился...

— Конечно, для этого. И потом, я хотела, чтобы твой муж сделал карьеру в новом обществе. Вам бы очень неплохо жилось, Ольга.

— Что же теперь будет? Долго вы продержите его в тюрьме?

— Странный вопрос... Как будто я его арестовала. Если бы это зависело от меня, я бы его хоть сейчас освободила и вернула тебе мужа, а твоему ребенку — отца. Нет, Ольга, теперь все зависит от вас самих.

— От нас? — Ольга горько усмехнулась. — Выходит, что мы сильнее твоих всесильных покровителей.

— Парадоксально, но факт.

— И что, по-твоему, мы должны сделать?

— Пусть Эдгар немедленно соглашается выполнить заказ. Если ты его любишь, если тебе дорог твой ребенок, ты сейчас же напишешь письмо мужу и дашь ему этот совет. Тебя он послушается. Я, с своей стороны, позабочусь, чтобы твое письмо сегодня же попало к нему в руки. Будь умницей, Олюк, плюнь на все эти глупые предрассудки и не порть себе жизнь... Ну, что же ты молчишь? Будешь писать или нет? Я могу пока подождать.

Ольга так посмотрела на нее, как будто видела в первый раз.

— Не стоит беспокоиться. Письма не будет.

— Это окончательно?

— Оставь меня, я устала.

— Завтра я тебе позвоню. Ты отдохнешь, успокоишься и, надеюсь, передумаешь...

У двери Эдит остановилась и еще раз обернулась к Ольге.

— Тебе не надо достать чего-нибудь из продовольствия?

Не дожидаясь ответа, Эдит вышла и тихо прикрыла за собой дверь. И сразу пустота квартиры ледяной глыбой навалилась на Ольгу. Она порывисто встала и вышла в спальню. Долго стояла перед колясочкой, с невыразимой нежностью и мукой глядела на своего ребенка, — а он спокойно дышал во сне, равнодушный ко всему происходящему в мире. Маленький, беленький, беспомощный и такой любимый... «В тяжелую пору ты появился, мой мальчик... Трудное будет у тебя детство...»

Ольга соскользнула на колени и уткнулась лицом в подушку. Подушка намочила от слез, а Ольга все плакала — тихо, неслышно, боясь разбудить ребенка. Скоро он сам проснется, проголодается, начнет искать грудь. Хватит ли ему молока?

Часа через два у двери позвонили. Ребенок давно проснулся и плакал от голода, — слишком мало молока было у матери. Ольга убаюкивала, а он все не мог успокоиться, требовал своего. Ольга застегнула блузку и с ребенком на руках вышла в переднюю.

— Кто там?

— Это я, Зандарт. Нужно кое-что передать вам.

Ольга открыла дверь. В руках у Зандарта был небольшой чемодан.

— Душевно рад поздравить вас с прибавлением семейства, — заторопился он. — У-у, какой геройский парень! А голосище-то! Надо думать, будет певцом или офицером. Вы не скажете, куда выложить из чемодана? Госпожа Эдит прислала кое-какие продукты. Где вам выстаивать в таких длинных очередях! В случае, когда что понадобится, вы только мне скажите, я...

— Передайте госпоже Эдит, что мне ничего не нужно, — сухо сказала Ольга. — Может не беспокоиться. Мы... обойдемся.

— Как так обойдетесь? — растерялся Зандарт. — Вы, может, думаете, мне трудно? Ради дружбы можно и потрудиться немного.

— Пока Эдгар в тюрьме, я прошу не заговаривать со мной о дружбе. У меня больше нет друзей. И вообще прошу ко мне не ходить. Мне это неприятно.

— Вы бы успокоились, госпожа Ольга. В вашем положении очень вредно волноваться, я вам говорю. Со временем все устроится.

— Идите, господин Зандарт, мне трудно говорить. Дайте мне немного отдохнуть. Идите. Ну, почему вы меня не слушаете?

— Понимаю, госпожа Ольга, понимаю, понимаю... Но мне вы, как истинному другу, можете поверить — я вам желаю одного добра. Вы все-

таки послушайте моего совета: напишите-ка это письмо Эдгару, тогда его сразу выпустят, и вы опять заживете по-прежнему. Иду, иду, госпожа Ольга. А чемоданчик пусть останется пока здесь. До свиданья, госпожа Прамниек. Если что понадобится, позвоните мне в кафе.

Ушел. Ребенок опять расплакался. Ольга долго ходила по квартире, нежно убаюкивая его.

6

— Джеки, поди посмотри, кто там ломится в дверь, — сказала Фания, когда звонок настойчиво затрещал второй раз. — Не немцы ли?

Час был поздний. Мадам Атауга уже улеглась; угомонилась и Дзидра — годовалая дочка четы Бунте.

Бунте сунул ноги в домашние, верблюжьей шерсти туфли — подарок жены ко дню рождения — и вышел в переднюю. Звонок затрещал в третий раз. «Вот ведь не терпится, наверное не привык ждать. А нам наплевать, могут и подождать, если кому надо. Здесь приличная семья живет... Не кто попало».

Он был уверен, что пришли из полиции, и несколько опешил, когда увидел в полумраке лестничной площадки обтрепанного, небритого человека в каком-то разномастном наряде. Тот с выжидательной улыбкой глядел на Бунте, выказывая явное намерение немедленно переступить порог.

— Вам чего? — спросил Бунте, придерживая дверь.

— Да ну тебя, Джек, отворяй скорее. Что, у тебя куриная слепота? Родственников перестал узнавать?

— Ну и дела! — закричал Джек. — Индулис? Заходи, старик. Ей-богу, не узнал.

Индулис Атауга вошел в переднюю, сам включил свет и предстал перед зятем во всем своем жутком великолепии. Сапоги у него были в пыли, широкие броджи стали пестрыми от обильно покрывающих их пятен, серая жокейка разорвана по шву. Лицо Индулиса сильно загорело; он несколько дней не брился и казался старше.

— Что, все уже улеглись? — спросил Индулис. — Ну и сонное царство.

— Нельзя сказать, что все, — поправил его Джек, — и Фания не ложилась, и я. Проходи в комнаты, Индулис, зачем нам здесь стоять.

Фания узнала брата по голосу и, накинув халат, вышла в столовую.

— Добрый вечер, сестренка.

Они пожали друг другу руки, и все трое замолчали.

— Ужинать хочешь? — спросила, наконец, Фания.

— Если дадут, поужинаю. Следовало бы сначала принять ванну, да вряд ли есть горячая вода.

— Возможно, еще осталась, — сказала Фания. — Мы недавно ребенка купали.

Гость показался ей похожим на дикаря с картинки, и Фания несколько раз внимательно всмотрелась ему в лицо, желая окончательно удостовериться, что перед ней родной брат Индулис Атауга, олдермен корпорации, денди, задававший тон золотой молодежи. Не говоря уж о костюме, что-то новое, непривычное появилось в его лице — лихорадочно бегущий, беспокойный взгляд, судорожное подергивание щеки.

Пока Фания приготавливала ванну и доставала чистое белье, мужчины разговаривали в столовой, стараясь не шуметь, чтобы никого не разбудить. Однако мадам Атауга уже проснулась и поспешила прижать к сердцу пропадавшего столько времени сына.

— Индулит, сыночек мой... похудел ты как... — охала она, приглаживая ему растрепанные волосы. — У вас там, в лесу, наверно, есть нечего было. Почему ты раньше не приезжал? Как тебе живется, сыночек?

— Об этом, мать, после поговорим... — ответил Индулис. — Голодать мне не приходилось. Но зато работы хватало.

Его позвали в ванную, и в распоряжении женщин осталось целых полчаса, чтобы накрыть на стол. Прошли те времена, когда все можно было купить. Краюшка довольно черствого хлеба, рыбные консервы, купленный у спекулянтов сахар и кусочек высохшего сыра — вот и все, что нашлось в доме в этот торжественный вечер. Зато Джек не осрамился, достал из буфета бутылку коньяку.

Вымывшись, побрившись и переодевшись в чистый костюм, Индулис уже перестал казаться таким странным. Пока он утолял голод, к нему не приставали с расспросами, а Фания, по старой привычке, уселась в уголок дивана и держалась так, будто ей ни до чего нет дела. Мать следила за каждым движением сына и все время пододвигала ему то одно, то другое, чтобы не пришлось тянуться, а Джек подливал в рюмочку коньяку, не забывая и себя. Скоро в бутылке не осталось ни капли. В глазах Индулиса появился стеклянный блеск; охмелев, он заговорил про свои «подвиги», упиваясь собственными словами:

— Я со своими ребятами взялся за работу на третий же день войны. Район удобный — кругом леса. Мы что делали — стреляли в спину

красноармейцам, охотились на дорогах за советскими активистами. Нельзя сказать, что с голыми руками их брали, — у них было оружие, мы поэтому старались иметь дело с мелкими группками... Выследим ее в лесу или где-нибудь в безлюдном месте, окружим, в два счета уничтожим, и — на новое место. Однажды нам удалось поймать двух комсомолок. Сначала ребята с ними пошалили, — девчонки довольно хорошенькие были, — и повесили тут же возле дороги. Мы потом часто повторяли этот номер, если был под рукой подходящий сук и веревка.

— А ты тоже вешал? — оживилась вдруг Фания.

— Иногда приходилось. Знаешь, это довольно интересное ощущение.

— И женщин?

— Почему же нельзя женщин? Раз мы целую семью повесили. Какой-то сапожник с женой и детьми.

— И детей повесили?

— Детей пристрелили, веревок не хватило.

— Ты расстреливал детей? — Фания, как на привидение, посмотрела на своего брата. Когда Индулис повернулся в ее сторону, она отпрянула от него. Куда делась ее всегдашняя флегма: руки у ней дрожали, губы побелели и подергивались.

— Да, — продолжал Индулис, — когда повесили родителей, надо было куда-то девать малышей. Ты что вздрагиваешь, Фания, ведь это были жиденята.

— Это им за то, что отца выслали, — поддакнула мадам Атауга. — Как же с ними иначе! Они моего старичка не пожалели — посадили в вагон и увезли неизвестно куда.

— Правильно, мамочка... С этой публикой нечего нянчиться. Ну-с, когда эвакуация кончилась, мы стали работать легально. Немецкое командование облекло нас широкими полномочиями. Мы стали единственной реальной силой в округе и сразу принялись за работу по чистке. У нас были списки, потом нам помогали местные айзсарги и землевладельцы. Советских работников покрупнее мы передавали гестапо, а с мелкотой особенно много не возились, патронов у нас всегда хватало. Джек, разве у тебя больше ничего нет? — он повертел в руке пустую бутылку. — Не мешало бы еще.

Бунте стал шарить в буфете.

— Одна водка.

— А еще хозяин называется! Ну, ничего, сойдет и водка. Тоже неплохая вещь. — Он налил полный стакан и выпил его залпом. Затем продолжал рассказ:

— И потеха была с этими жидами. Я до сих пор не могу понять, почему многие из них остались на месте? Наверно, жалко было бросать имущество... Или надеялись приспособиться? В одном городке их было триста человек, считая стариков и детей. Нам поручили ликвидировать их в один день. Выгнали, приказали рыть в лесу ров. Сказали, что там будет боевая позиция. Пока взрослые рыли, дети играли в песке. А когда ров был готов, мои ребята за два часа обстряпали это дело так, что ничего больше не осталось.

— И ты руку приложил? — робея, спросил Джек.

— Как же иначе, — засмеялся Индулис. — Начальник должен показывать пример своим подчиненным. Сам военный комендант смотрел это представление до конца. Остался доволен, обещал доложить по начальству. Что ты все кривишься, Фания? Если мы распустим слюни, ни одна собака не станет нас бояться. Новую Европу построят те, у кого не дрожат руки. Лучше пусть один раз как следует прольется кровь, зато оздоровится организм нации.

— Дети... женщины... старики... — тихо сказала Фания. — За что вы их-то?

— Это не наши дети! — выкрикнул Индулис. Снова наполнил стакан и выпил. Глаза у него стали совсем стеклянными, в углах рта показалась пена. Он вдруг задумался, весь лоб у него покрылся уродливыми морщинами. — Это не наши дети, Фания! — крикнул он снова. — Зато нашим детям останется больше места.

Фания встала с дивана и, ничего не сказав, ушла в спальню. Маленькая Дзидра спала глубоким сном. Одна ручонка была закинута за голову, другая прижимала к груди куклу. Глядя на ребенка, Фания представила себе других детей, которые доверчиво возились в песке у ног Индулиса. Мурашки пробежали у нее по спине.

— Куда его теперь положить? Ведь он постель опоганит. Ах, пускай куда хотят, туда и кладут. Не буду я ухаживать за убийцей.

Но мадам Атауга сама позаботилась о своем сыночке. Там же, в столовой, она накрыла чистой простыней диван, принесла с отцовской кровати одеяло и подушки, взбила их, огладила заботливой рукой и пожелала покойной ночи.

— И чего ты, Джек, киснешь здесь?.. — сказал Индулис, когда мать вышла из комнаты. — Я тебе подыщу приличное дело. Управляющий домом, ха-ха... в нынешние времена этим семью не прокормишь. Поступай ко мне в группу. Поедем в Латгалию стрелять жидов. Имущество будем делить поровну. Обеспечишь семью на много лет.

— Я не умею стрелять, Индул, — испугался Бунте. — И неизвестно, как еще Фания на это посмотрит.

— Эх ты! Сидишь под башмаком у жены и пикнуть не смеешь. А твоя Фания — гусыня. Не стоит с вами тратить слов. Мне нужны крепкие ребята... такие, у которых рука не дрогнет... которые не морщатся от каждого пустяка. Думаешь, таких не хватает? Сколько угодно, Джеки, и все парни на эф-эф^[7]. Пошел вон, ты мне надоел. Ни на что ты не годишься!..

Глава пятая

1

В конце июня на хуторе Лиепини начался сенокос. Старый Лиепинь сам сел на сенокосилку и объехал крупные участки. Приречные луга и мелкие клочки они вдвоем со старичком рабочим выкосили по утрам — пока трава еще в росе — косами.

Как ни велика была нужда в рабочих руках, мамаша Лиепинь не пускала работать Эллу.

— Надо беречься, Элла, — то и дело напоминала она. — Какой-нибудь пустяк — и беда случится. Тебе ни тяжелого поднимать нельзя, ни нагибаться. Посиди лучше дома, хватит с тебя, если обед нам стоговишь.

С акушеркой уговорились на всякий случай, что та не будет пока отлучаться далеко от дома.

— Неужели Петер так и не приедет на это время? — рассуждала мамаша Лиепинь. — Вместе как-то спокойнее. И чего ему сидеть в этой Риге? Бросал бы все и ехал в деревню помогать тестю. Зимой как еще пригодится каждый кусочек масла. Будто мы не знаем, каково в военное время с продовольствием.

Старый Лиепинь тоже считал, что зять мог бы догадаться приехать в такую горячую пору. Неужели в Риге без него не обойдутся? Говорят, там сейчас и работы настоящей нет. Один проезжий передавал, что у рижских мостов идут бои: рабочегвардейцы с красноармейцами заняли позиции на набережной Даугавы и не дают немцам перейти реку. Сколько времени они продержатся? Все равно ведь придется отступить, а многим это будет стоить жизни.

Однажды у Лиепиней заночевал один рижанин. Он сам дрался у мостов, был ранен осколком мины в плечо, и товарищи услали его в тыл.

Петера Спаре он своими глазами видел среди рабочегвардейцев.

— Они будут держаться до последнего.

— Ах, безрассудный какой! Ах, беда-беда! — разохалась мамаша Лиепинь. — Доиграется когда-нибудь, доиграется он... Совсем забыл про жену. Семейный человек, а что делает.

Утром рижанин отправился дальше, а через два дня до Лиепиней докатились слухи, что Рига занята немцами. Теперь в любой момент можно было ждать, что они заявятся и сюда.

— Если Петер и теперь не приедет, значит — нет его и в живых, — повторила мамаша Лиепинь. — Иначе все бы заехал проститься.

Петер не появлялся. Вскоре через волость прошла немецкая войсковая часть. Старики Лиепини рассудили, что пора подумать и о будущем. Как хорошо, что они при большевиках не испортили отношений с Лиепниеками и прочими волостными богатеями.

— Надо бы почаще видеться с соседями, — сказала мамаша Лиепинь. — Ты бы, отец, зашел вечерком к Лиепниекам. Потолкуй, разузнай, как они дальше жить думают. Кто его знает, может и Зиемель вернулся из лесу. Надо показаться людям, пускай видят, что мы с ними заодно. Зять этот наш был, да сплыл. Отняли же мы у него дочь, как только увидели, что Петер собирается воевать с немцами. Считай, что они разведенные с первых же дней войны. Нам за него отвечать не придется.

— Мы что, — согласился Лиепинь. — Не мы его растили, не мы от него пользу видели.

— Только Элле жизнь исковеркал. Что ему теперь! Сам пропал, а мы — воспитывай его ребенка. И придется.

В конце концов решили, что все устраивается как нельзя лучше: все равно семейная жизнь у Эллы вкривь и вкось шла. Теперь, когда Петера больше нет, можно подумать о будущем. Женихов еще хватает. К примеру, сын Лиепниека, — он ведь когда-то всерьез заглядывался на Эллу. Не забреди этот коммунист, какая бы пара вышла! Но, как говорится, старая любовь не ржавеет, ничего еще не потеряно. Вот только ребенок... Конечно, без него бы лучше, но разве мало молодых женщин получают и при куче детей хорошего мужа, если они лицом недурны и за душой кое-что имеют!

— Сходи, сходи, старик, к Лиепниекам.

Умудренные жизнью, они старались попроще глядеть на вещи и никогда не сокрушались сверх меры. С Эллой пока рановато говорить о будущем, ей не до того сейчас. Однако старый Лиепинь на всякий случай сходил к Лиепниекам, побеседовал и вернулся довольный.

— Ничего, на нас не обижаются. Если бы все соседи такие были! Закиса, того, правда, съесть готовы. Еще неизвестно, что с ним будет. Оно и верно, с чего этот голодранец вклинился между двух усадеб?

— Это я давно говорила, — отозвалась Лиепиниене. — А Макс ничего не сказал? Привета не передал?

— Его дома не было.

— Сходи еще раз, когда дома будет.

Четвертого июля у Эллы родилась девочка. Акушерка ежедневно навещала молодую мать и новорожденную, но все шло без осложнений. Лиепиниене уже побывала у пастора. Уговорились, что в следующее воскресенье после богослужения он приедет на хутор окрестить девочку. Ей уже заранее выбрали имя — Расма.

По старинному обычаю, после родов к Элле пришли с поздравлениями соседки и школьные подруги. Принесли подарки, вино собственного приготовления, домашнее печенье. В комнате Эллы повеяло свежими слухами и пересудами. Мир ее детства и девичества, от которого Элла отошла на недолгое время, снова обступил свою неверную дочь, и ей было так приятно опять очутиться в своей прежней комнатке, опять стать прежней Эллой. Здесь не то что в Риге, среди друзей и знакомых Петера Спаре, — здесь не обсуждали высоких материй, круг здешних интересов ограничивался семьей, событиями своего двора и судьбами своей волости. Такой-то сошелся с такой-то, там-то будет свадьба, а там надо ждать развода... Коровы, поросята... племенной бык Зиемеля забодал пастушка, а у волостного писаря немецкие солдаты потаскали всех кур. Правда, время вносило в обычный порядок жизни новые элементы, и Элле трудно было определить, что существеннее: то ли, что оставалось неизменным от поколения к поколению, или то, что, подобно порыву бури, властно врывалось в жизнь, переворачивало ее до основания. Гости рассказывали о тех, кто бросил насиженные гнезда и ушел вместе с Красной Армией, и о тех, кто пришел с запада, вместе с танками и бронемашинами, и хозяйничал теперь во всех углах страны.

Когда подруги ушли, Элла, возбужденная и уставшая от впечатлений, закрыла глаза и стала думать. Ее увлекла эта бесконечно знакомая стрекотня и милые мелочи жизни. О серьезных вещах она боялась думать. Судьбы народов, борьба двух миров — все это было для нее как незваная, неотвратимая и пугающая своей мощью гроза. И так же как при ударе грома она прятала голову под толстое одеяло, так и теперь избегала взглянуть в суровое лицо действительности. Так легче — по крайней мере голова кругом не идет. Человек может жить и мелочами. С недоумением

перелистывала она принесенные из волостного правления газеты. Вот номер «Тевии» от четвертого июля. В этот день Расма родилась... И в тот же день в газете было напечатано воззвание:

«Все национально-мыслящие латыши — перконкрустовцы, студенты, офицеры, айзсарги и другие, желающие участвовать в очистке своей земли от вредных элементов, — могут стать на учет у руководства команды безопасности».

«...в очистке своей земли...» Кто они такие, почему они называют эту землю своей? Разве она только их земля? Разве землю, родину можно присвоить, отнять у других?

«...от вредных элементов...» Кто же вредные и кто безвредные? Для кого вредные и почему вредные?

Нет, ей не ответить на эти вопросы. Слишком это трудно. Петер, наверно, знает верный ответ... он всегда все знает. Но теперь его нет. В Риге немцы. Он не может вернуться. Возможно, никогда и не вернется.

Жаль Петера, хочется, чтобы он был здесь, поглядел на свою дочурку. Но жалостью не поможешь... он сам себя довел до этого. Как околдованный, только и знал, что борьба, борьба, не думал ни о себе, ни о семье, — все только для других. Разве это жизнь?

Там, за фруктовым садом, течет маленькая речушка, течет весь человеческий век, много веков подряд. Никто не знает, когда она начала течь, и никто не скажет, когда она иссякнет. А если бы и знали, разве от этого что изменится, разве легче станет жить? Нет уж, надо жить и не задавать вопросов.

Когда эвакуировались работники уездных учреждений, заместитель предисполкома Кристап Вевер взялся доставить в надежное место архив исполкома. Маловажные бумаги сожгли, а то, что надо было сохранить, — уложили в брезентовые мешки и запечатали. В светлую теплую июньскую ночь Кристап Вевер сел в грузовик и сказал:

— До свиданья, городок, скоро вернусь обратно!

После этого никто его больше не видел. Товарищи двое суток прождали его в Валке, посылали наведаться и в сторону Смилтене и в Апе, но безуспешно. Решили, что он без остановки проехал до Пскова и ждет там остальных. Но так как остальные отходили через Эстонию на Мустве и Нарву, то прошло несколько месяцев, пока товарищи убедились, что Вевер

со всеми документами остался в Латвии. Тогда его исчезновение стали объяснять по-другому: он, наверное, попал в лапы диверсантской банды и погиб. Таким образом возникла легенда о мученической гибели Кристапа Вевера, и долго еще вспоминали его вместе с теми, кто сложил свои головы за свободу и независимость советской Родины.

В начале июля в лесах северной Латвии начала орудовать новая диверсантская банда Кристапа Понте, а когда линия фронта переместилась на территорию Эстонии, бывший зампред уездного исполкома вернулся в уезд с широкими полномочиями. Сначала, по недоразумению, его арестовали, но через несколько часов освободили с тысячами извинений. Товарищ Вевер снова превратился в господина Понте и по заданию немецких властей стал проводить в уезде «чистку». Пространные списки советских активистов, которые он приготовил еще до войны, теперь весьма емугодились. В распоряжении Понте было около ста вооруженных людей — айзсаргов, перконкрустовцев и бывших полицейских. Главарем одной бандитской группы был Зиемель, другой — Герман Вилде, а Понте взял в свои руки главную группу и общее руководство. Уезд разделили на три зоны. С красно-бело-красными повязками на рукавах, кто в форме айзсарга, кто в военном мундире времен буржуазной Латвии, рыскали они по уезду. Кровь лилась рекой, стоны и проклятья сопровождали каждый их шаг. Подручные Понте расстреливали без суда и следствия сотни людей. Достаточно было того, что человек попал в списки Понте или кто-нибудь из новых волостных старшин указал на него: «Это большевик». Проверять и допрашивать не было времени, в тюрьмах не хватало мест.

— Нечего рассуждать, расстреливайте! — гласил приказ Понте.

Относительно евреев не требовалось даже доноса. Ни пол, ни возраст, ни общественное положение здесь во внимание не принимались. Немецкая полевая жандармерия настаивала, чтобы «чистку» не затягивали. Имущество замученных советских людей бандиты делили между собой. Чтобы расправа шла веселей, не жалели ни водки, ни коньяку.

Так продолжалось до середины июля, когда Понте получил напечатанный в газете «Тевия» от 11 июля приказ военно-полевого коменданта полковника Петерсона.

«По указанию главнокомандующего запрещаю носить какое бы то ни было форменное обмундирование любого воинского звания бывшей латвийской армии и организации айзсаргов. Запрет распространяется также на сотрудников латвийской вспомогательной полицейской службы и частей безопасности. Приказ вступает в силу немедленно».

Подчиненные Понте с кислыми минами спарывали со своих мундиров

дубовые листья и звездочки. Пришлось снять с рукавов красно-бело-красные повязки. И хотя все как будто осталось по-старому, не было уже прежнего блеска.

— Вот вам и немцы... — ворчал командир роты айзсаргов Зиемель, пряча в карман знаки различия. — Ведь эти мелочи никому не мешали, а народ на нас другими глазами глядел. Сразу было видно, где начальство. Теперь нас всех сравняли.

— Это чтобы не было государства в государстве, — объяснял Понте. — Ты что думал — вернулась ульманисовская Латвия? Ничего подобного. Есть только одна власть — немецкая. А мы — ее верные помощники. Если хорошо будем помогать, нас не забудут. Другие будут кости грызть, а нам мясо достанется. Стоящее ведь дело?

Они проглотили обиду. Носы «единоплеменников» после этого щелчка перестали задираться так высоко, но усердия не убавилось.

...Понте решил, что он слишком долго отказывал себе в некоторых удобствах, и написал письмо Сильвии:

«Приезжай, цыпленочек, не пожалеешь. У меня много хорошеньких вещичек. Я опять всплыл и могу сделать для друзей много хорошего. Приезжай скорей, буду ждать тебя в субботу вечером.

Твой старый верный

Кристан».

Письмо отвез на мотоцикле его неофициальный адъютант. К субботе Понте велел прибрать квартиру одного врача-еврея, в которой он сейчас обосновался. Встречу было решено отметить небольшой вечеринкой в кругу двух-трех ближайших сотрудников, в том числе и Германа. Понте ужасно хотелось показать своим друзьям какая у него шикарная любовница, а то они уже начинали болтать, будто Кристан не пользуется успехом у женщин. Вот дураки! Если на прошлой неделе он велел привести к себе на квартиру дочь врача — молодую красивую девушку, которую потом расстреляли, — это вовсе не значит, что он только таким способом добивается победы. Пусть теперь посмотрят, с какими красотками имеет дело Понте!

Вечеринка удалась на славу. Полуслепой скрипач играл до тех пор, пока не напился. Сильвия была в ударе. Понте уже успел показать ей кое-что из вещей, которые вскоре должны были перейти в ее руки. Зиемель и

Вилде даже не подозревали, кто эта кругленькая блондинка. Когда нужно было, она умела держаться, как важная дама, и даже высокомерно подымать брови по поводу неуместных двусмысленностей.

— Молодец, Сильвия, — одобрительно шептал Понте. — Так их. Бей по пальцам, если начинают забываться.

Сам он получил взбучку раньше всех — забыл, что не в кабаке.

К утру Сильвии пришла в голову хорошая мысль.

— Не устроить ли нам поездку за город? Вы ведь по воскресеньям не работаете?

— Иногда приходится, — ответил Понте. — Но сегодня ради тебя можем поспрашивать.

— Правильно, Кристап! — поддакнул Зиемель. — Едем к Микситу, в «зеленую гостиницу».

— Что там делать? — возразил Герман Вилде. — Там сейчас пусто, уж лучше съездим к моим старикам в усадьбу Вилде. Отец на радостях велит петуха зарезать.

— А далеко это, господин Вилде? — заинтересовалась Сильвия.

— Километров тридцать. Но дорога хорошая, на машине за полчаса доедем.

Ладно, тогда едем к Вилде, — решил Понте. — Только все мы в машине не поместимся.

— Остальные пусть едут на мотоцикле, — сказал Зиемель.

— Больше шика будет. В сопровождении охраны, так сказать.

— О-кей! — вырвалось у Сильвии привычное словечко, но никто этого не заметил. — Кристап, возьмем с собой что-нибудь из выпивки?

— Конечно. Целую корзину.

Полчаса спустя по главной улице городка промчалась пятиместная машина. Следом за ней шел мотоцикл с коляской. У моста их задержал полицейский патруль, но когда Понте показал свои документы, полицейский так проворно отскочил в сторону и взял под козырек, что Сильвия невольно захохотала. Ужасно смешно, что здесь все так боятся Кристапа. А ей ни капельки не страшно.

Больше всего старого Вилде грызла мысль, что Пургайлис с женой ушли незаметно, не сказав ему ни слова. Конечно, можно было и заранее сказать, что при немцах Пургайлис не останется — очень уж много врагов

было у него среди крупных землевладельцев. Не умел держать язык за зубами, вечно толковал про какие-то несправедливости. Недаром ему пришлось просидеть два месяца в тюрьме. А в 1940 году, после установления советской власти, Пургайлис и красный Эллер всякий стыд потеряли, только о том и думали, как бы доставить неприятности хозяевам. Хорошо хоть, что Каупинь зацепился в исполкоме. Право, славный человек. Но Пургайлис старался насолить и Каупиню. Ох, получил бы он сейчас, сполна получил, вместе со всеми большевиками, которые не успели эвакуироваться. И разговор уже об этом велся и с Германом и с соседями, которые ждали перемены власти. Чтобы никто не заподозрил здесь личных счетов, решили подстеречь Пургайлиса с женой на дороге, когда они будут уходить, и там прикончить. С этой целью Герман заранее подговорил трех бывших айзсаргов. Папаше Вилде оставалось только предупредить их, когда Пургайлис начнет собираться, но этот разбойник, наверно, пронюхал, что его ждет, и ушел ночью, да так, что и собака вслед не залаяла. Еще и записку на столе оставил: пусть Вилде не забывает, что он еще вернется и потребует с него отчета. Мало того, он до такого нахальства дошел, составил опись оставленного имущества, чтобы Вилде не вздумал его присвоить или разбазарить.

А сам ничего стоящего не оставил — так, разную мелочь, кое-что из одежды и инвентаря. Корову в первые дни войны передал Красной Армии, а лошадь пала от сапа еще весной, вскоре после сева.

Приятели Германа зря прокараулили его на дороге. Папаша Вилде прибрал оставленное добро, — что похуже отдал Бумбиеру в счет жалованья, что поценнее — убрал в свою клеть. Но досадовал он долго. Даже вроде как прихворнул — лишился сна и аппетита.

Зато ему достался урожай с полей Пургайлиса. Вот и вышло, что напрасно тот трудился над своим участком, напрасно корчевал пни на лугу.

Конечно, радовался Вилде и тому, что снова можно было, не понижая голоса, командовать над Бумбиером и покрикивать на батрачек. Этот поганец Бумбиер и не пикнул по поводу происшедших перемен. Наоборот: как только ушли большевики, сам явился к хозяину.

— Теперь вся земля опять, значит, к вам вернется. Худа от меня ей не было, а если будет на то ваша воля, я по-прежнему за батрака останусь.

Против Бумбиера Вилде ничего возразить не мог: старая рабочая коняга привыкла, чтобы ею управляла твердая рука. И Вилде позаботился, чтобы Бумбиер всегда чувствовал вожжи, всегда помнил старую истину: в поте лица должен человек есть хлеб свой.

От Германа и Каупиня Вилде узнал о проводимой в уезде «чистке».

Из-за этого у него даже стычка с женой вышла: Вилдиене начала плакаться, что теперь некому даже ведро запаять, а в случае болезни придется обходиться без лекарства, потому что во время этой «чистки» убили аптекаря и жестянщика.

— Лопочешь сама не знаешь что, как гусыня... — рассердился Вилде. — Из-за твоих ведерок и зубной боли никто не станет менять политики. Гитлеру лучше знать, что делать. А ты возьми теста и замажь свое ведро. Вот сапожника Бермана, того действительно можно было оставить. Бесподобно сапоги шил. А если начнут оставлять одного да другого, тогда какая это будет чистка? Пусть уж берут всех подряд. Больше места будет.

— Места тебе не хватает, — покачала головой Вилдиене. — Раньше хватало, а тут вдруг нет. У самого сто пятьдесят пурвиет — и все мало. С собой в могилу все равно не возьмешь.

— Не вмешивайся в политику! — прикрикнул на нее Вилде. — Это мужское дело, мужчины больше понимают. Разве у Германа нет диплома? Разве он глупее тебя? А погляди, что он с этими жидами делает? Почему? Да потому, что надо. А остальные, по-твоему, тоже дураки? Гитлер, Геринг? В школах они не учились? Еще сколько! И уж в твоих советах не нуждаются. А про жестянщиков и аптекарей — перестань, хватит.

— Что они тебе сделали плохого?

— Хорошего я тоже от них не видел. И потом, скажу, не наше это дело. А польза кое-какая от этой чистки все же получается. У Германа, слышать, полна квартира разного добра, может и тебе еще кое-что перепадет. Что же тут плохого? Если не Германи достанется, другие присвоят. Разве наше семейство не заслужило?

— Непутевые деньги впрок не пойдут.

— Стара ты стала, Эмма, а тебе еще в школу надо. Жизнь тебя не научила.

— Гляди, как бы она тебя самого еще не научила.

Так они и не достигли согласия.

Когда Каупинь шепнул Вилде, что в соседнем местечке немцы открыли распродажу конфискованного еврейского имущества, он велел Бумбиеру немедленно запрячь в роспуски самую шуструю лошадку и сам поехал туда, ничего не сказав жене. Но Вилде несколько запоздал. Лучшие вещи немцы отправили в Германию, а то, что осталось, успели расхватать перекупщики из соседних волостей. Изъеденная жучком старая мебель и разное тряпье не соблазняли Вилде. Однако, чтобы не возвращаться домой порожняком, он завернул на еврейское кладбище, где немцы распродавали

памятники и надгробные камни. За несколько оккупационных марок он купил два искусно отполированных камня с могилы родителей местного домовладельца и торговца Аронсона.

Поздним вечером приехал домой Вилде. Роспуски он поставил в каретном сарае, а камни прикрыл брезентом, чтобы никто не видел их до утра.

Утром, как только батрачки подоили коров, Екаб Вилде пригласил жену в каретник.

— Погляди, Эмма, какой я тебе подарок привез. Выбирай, который больше нравится. Один тебе, другой мне. Что, красивые? Не каждому достанется такой памятник.

Проникшие вглубь каретника солнечные лучи играли на отполированных гранях; казалось, памятники сейчас только вышли из мастерской.

— Суцая находка, — хвалился Вилде. — Считаю, мать, что даром достались.

— Где ты... где ты их взял?

— На жидовском кладбище. Немцы сровняли могилы с землей, а памятники распродают. Купил за несколько марок с аронсоновских могил. Ничего, обойдутся и без памятников. Когда нет могилы, не нужны и памятники, а нам на старости это все равно, что слепой курице зернышко. Ну, старушка, какой берешь?

Он улыбнулся от удовольствия, как будто преподносил своей старой подруге пальто или юбку. Но Вилдиене не улыбалась.

— У тебя, видать, ум за разум зашел, — вздохнула она. — На что мне аронсоновский камень? Если тебе самому нравится, бери оба. Один в изголовье поставь, другой в ногах, а мне не навязывай.

— А, ты так! Тебе не нужно? Как же ты будешь в могиле лежать без памятника? Думаешь, может быть, Герман купит за большие деньги?

— Хочет — покупает, хочет — не покупает, а камня с чужой могилы мне не надо.

— Так ведь надпись мы соскоблим. В мастерской за один день сделают. А когда на них будет написано «Эмма Вилде» или, например, «Екаб Вилде», тогда уж никто не посмеет сказать, что они не наши.

— А гробов на кладбище не продавали? — ехидно спросила Вилдиене. — Заодно присмотрел бы себе подходящий. Опять же Герману не придется разоряться.

Не слушая больше мужа, она вышла из каретника.

«Бабья дурость, — подумал хозяин. — Никогда им не угодишь.

Ничего, это у нее пройдет, привыкнет еще. Пускай поупрямится немного... Завтра будет говорить другое».

Вилде позвал Бумбиера, вдвоем они сняли камни с роспусков и поставили в дальнем углу.

— Что и говорить, камни знаменитые, — сказал Бумбиер, вытирая со лба пот. — Сразу видать, что с важной могилы.

— Верно, хороши, Бумбиер? — повеселел хозяин. — Не всякому такой достанется.

Они потоптались еще изрядное время в каретнике, любуясь камнями. Там их застало прибытие шумной компании, которая въехала во двор усадьбы Вилде на машине и мотоцикле.

4

По дороге они завернули в волостное правление и захватили Каупиня. В автомобиле для такого толстяка места не нашлось, и его посадили на мотоцикл позади водителя. Чтобы посмешить Сильвию, мотоцикл пустили вперед, и до самой усадьбы Вилде компания заливалась хохотом, глядя, как Каупинь судорожно хватался за водителя, когда мотоцикл подскакивал на ухабах, как ветром сорвало с его головы и унесло в канаву светлую соломенную шляпу и как он отбрыкивался от собаки, которая возымела намерение вцепиться в его мясистые икры.

Машина въехала на просторный, с лужайкой посередине, двор усадьбы. Первое, что увидели гости, была грузная живописная фигура Екаба Вилде, стоявшего в раскрытых воротах каретника. Огромное брюхо перевисало через пояс, расстегнутый ворот рубахи открывал белую волосатую грудь. Подозрительно всматривался он в приезжих, пока не заметил среди них Германа. Догадавшись, что это друзья сына, Вилде сразу повеселел. Герман живо всех перезнакомил и объявил, что завтракать они решили в усадьбе.

— Так что не вздумай отвертеться от приема.

— Ишь, усердствует, — благодушно ухмылялся старый Вилде, — да я и сам не отпущу вас без завтрака. Чего это вы сорвались в такую рань? Не из города?

— Из самого города, господин Вилде, — сказал Понте. — Помните еще меня? Ну, как же, Вевер, из уездного исполкома...

— Герман, чего же ты глядишь, забирай скорее этого большевика! — загоготал Вилде. — Ах ты, прокуда, как ведь притворялся. Я бы так не сумел.

Гости хохотали, а Понте больше всех.

— Господин Вилде, я как будто вас где-то видела, — сказала вдруг Сильвия, всматриваясь в лицо старого Вилде.

Тогда и Вилде пристальней посмотрел на Сильвию, и ему тоже показалось, что он где-то видел эту живую девицу. Не в рижском ли кабаке, где он кутнул после того, как удачно продал партию льна? Хорошо погуляли! И вино, и музыка, кругом официанты в долгополых фраках... и девки, много красивых девок с голыми ляжками... Эмме, конечно, об этом ни гу-гу...

— Все возможно, — неопределенно ответил Вилде. — А теперь проходите в комнату. Завтракать будем на веранде.

В усадьбе все были подняты на ноги. Герман оказался не совсем прав: не петух, а почтенный индюк лишился головы. Хозяйка с батрачками таскали из кладовой сметану и варенье, яйца, окорок и домашнее вино. После ночной попойки гости еще не почувствовали голода, только Каупинь поводит носом, когда ветерок доносил из кухни аппетитные запахи. Хорошо сделал, что приехал, здесь можно плотно покушать. Жалко только, дома успел закусить, места мало осталось. По правде говоря, с него довольно и чести посидеть часика два среди важных уездных чинов... Но каков старый Вилде, видать, тоже имел дело с этой красоткой.

Пока в кухне шла стряпня, на веранде заговорили о политике. Екаб Вилде лишний раз посетовал по поводу того, что Пургайлис выскользнул из рук:

— Эх, погонял бы я его сейчас! Запряг бы в плуг вместо лошади. Он бы у меня узнал, сладка ли чужая земля.

— Не запряг бы, — сказал Герман. — Если бы Пургайлис не убрался вовремя, с ним бы то же самое сделали, что с красным Эллером.

— Что, разве поймали? А говорили, удрал.

— За это надо господина Понте благодарить, — ответил Герман.

— Было дело, — подмигнул Понте. — Эллер перед отъездом прибежал в исполком, чтобы сдать печати и документы. А эвакуировать архив поручили как раз мне. Я зачислил Эллера в группу сотрудников, которые должны были сопровождать меня до Валки. Посадили его вместе с другими в грузовик и поехали. В двенадцати километрах от — города нас ждал со своими ребятами Зиемель. Ну и шофер был свой человек, устроил так, что в том самом месте испортился мотор и машину остановили. Сотрудничков моих поймали, как в мышеловку. Кто сопротивлялся, того на месте прикончили, а красного Эллера взяли живьем. Завели его в лес и повесили на елке. Кажется, до сих пор там висит. Кому угодно, может полюбоваться.

— Вот это я понимаю, господин Понте! — выкрикнул Каупинь. — Получил! Знали бы вы, как я с ним помучился! Везде-то нос совал, все-то боялся, как бы я не сделал чего хорошего для наших землевладельцев.

— Его не в лесу надо было вешать, — сказал Екаб Вилде, — а привезти бы в волостное правление да согнать всех новоселов, которых он наделил землей; пускай бы поглядели, что за такие дела бывает. Сначала с живого шкуру содрать, а потом можно и повесить — вон у Каупиня под окном. Эллера первого, за ним и всех новоселов. Вот как я бы действовал, будь у меня власть.

Вилдиене, накрывавшая в это время на стол, остановилась и укоризненно посмотрела на мужа.

— Зачем же так люто мстить? Лучше оставить в живых, пускай бы на нас работали. Если всех вешать, кто же будет черную работу делать?

— Хозяйка права, — согласился Зиемель. — Кое-кого надо оставить работать.

Сильвию эти разговоры мало интересовали. Помучить разве хозяина? Она, наконец, вспомнила, где и при каких обстоятельствах встретила старого Вилде, да и он, как видно, не совсем забыл, сидит как на углях, не знает, куда деваться. Кутеж обошелся ему тогда в двести шестьдесят латов, но зато для него играл аккордеонист и две дамы из бара помогали коротать время в отдельном кабинете. Ужасно смешной старик... Если бы знала жена... Сейчас ему, наверно, стыдно, что она у него такая старая.

Она незаметно подмигивала Вилде, давая понять, что не забыла давние проказы, а он покрывался испариной, встречая смеющийся взгляд Сильвии, и еще громче разливался насчет большевиков, надеясь таким образом отвлечь ее мысли в другую сторону. Но вино и привезенные из города напитки настолько подогрели гостей, что никто его не хотел слушать, каждый старался перекричать других.

К счастью для Вилде, когда индюк был съеден и запас вина стал подходить к концу, приезжие вспомнили, что пора и честь знать. Первым заговорил об отъезде Зиемель.

— А теперь куда поедем? — еле ворочая языком, спросил Понте. — Дома сегодня делать нечего. А что, если устроить охоту? Здесь, в волости, никого не надо арестовать?

— А верно, ты мне поддал хорошую мысль, — обрадовался Зиемель. — Поедем в мою волость, есть там один новосел по фамилии Закис. Сомневаюсь, чтобы наши разини догадались взять его. Проверим, как он там живет, и арестуем.

— Дельное предложение, — сказал Понте. — Сначала завезем в город

Сильвию, а потом поедem устроим охоту на Закиса^[8]. И он замурлыкал:

Вдруг охотник выбегает,
Прямо в зайчика стреляет,
Пиф-паф, ой-ой-ой.
Умирает зайчик мой!

Остальные подхватили.

Прощаясь с хозяином, Сильвия незаметно ущипнула ему ладонь, но он сделал вид, что ничего не заметил. Герман остался у родителей, уговорившись, что в понедельник за ним приедут. Когда машина исчезла за углом дома, отец и сын пошли прилечь, а хозяйка с батрачками стали убирать со стола. Перед ними Вилдиене виду не подавала, хотя готова была рвать и метать: опять несколько самых лучших тарелок разбили.

5

После обеда Закис кончил сметывать стог. Когда последняя навилина была подана наверх, верхушку стога прикрыли сухими березовыми ветками и очесали бока. Теперь с первым покосом покончено, пора подумать об уборке ржи. Ждать больше нельзя: под тяжелыми колосьями ломится стебель, местами рожь уже полегла.

— Погодил бы до утра, отец, — заговорила Закиене, увидев, что муж достает косу. — Из соседей еще никто не начинал. Обязательно надо первому.

— Лучше, когда дело сделано, — ответил Закис. — Толочан в этом году не дождемся, одним придется убирать. Эх, жалко, Аугусту не удалось хоть с недельку дома побыть. Тогда мы скорее бы начали ставить сруб. А теперь кто его знает, когда до него руки дойдут.

Большая часть бревен для сруба была уже распилена. Фундамент Закис успел сложить сам, работая по вечерам. В углу хибарки подсыхала дранка для кровли, а в сарайчике хранился ящик оконного стекла. Вся полученная от государства ссуда пошла в дело, теперь бы дней на десять позвать мастеров, чтобы поставить сруб. Остальное можно потихоньку да полегоньку сделать самим.

— Видно, еще одну зиму придется прожить в этой старой хибарке, — вздохнула Закиене, — кто теперь станет помогать?

— Если надо будет, проживем и в хибарке, — сказал муж. — Мне чего хотелось — мне хотелось, чтобы больше не мозолила глаза эта развалина, когда вернутся Аугуст и Аустра. Как только новый дом будет готов, тут же ее и снесем.

— Только бы вернулись, — снова тяжело вздохнула жена. Положив руки на колени, она сидела в кухне на скамеечке и печально глядела в оконце. За последние дни она места себе не находила от тоски. Лучше было не поминать в ее присутствии старших детей. — Бог знает, когда это будет... доведется ли еще когда свидеться.

— Ты вечно так — только плохого ждешь. Оба взрослые, у обоих головы на плечах. Никакой работы не боятся. Они-то нигде не пропадут. Выдержать бы только нам.

— Война, отец. Если бы знать, что Аугуст и Аустра на той стороне, мне бы и горя мало. А если не успели? Разве их пощадят?

— Должны были уйти. Иначе кто-нибудь из них заглянул бы домой. С нами вот хуже получилось. Не надо было столько времени мудрить и ждать неизвестно чего. Давно бы успели уехать.

— Да кто же из нас больше мудрил?

— Мне ведь приходится за всех вас думать, — ответил Закис. — Оставить все добро и уехать бог знает в какую даль — конечно, полбеды. Да ведь сомнение брало — а вдруг бы напрасно убежали... Вдруг бы немца задержали и погнали обратно? Кто мог сказать, что он прискочит так скоро?

При желании они успели бы уйти и в начале июля, но в это время прошел слух, что немцев отогнали за Даугаву, и Закис не решился покинуть насиженное гнездо, пока еще оставалась надежда удержаться. А там нагрянули немцы, и об уходе больше нечего было думать. Черная тень легла на их жизнь. Вставая поутру, они никогда не знали, что принесет им вечер. С каждым днем все наглее становился старый Лиепниек. Когда началась уборка сена, батрак Лиепниека завернул однажды на покосы Закиса и будто ненароком выкосил самый лучший луг.

— Не сердись, зайчик, — издевался потом Макс Лиепниек. — Тебе же меньше возни. Достаточно того, что накопишь в кустах да по кочкам.

А когда сено было высушено и сложено в копны, сам Макс приехал на лошадях и наложил два воза. И все с шутками, со смешком:

— Даже и спасибо не скажешь! Тебе его и сложить некуда: ни сеного сарая, ни сеновала. Грех же оставлять под открытым небом такое добро. В нашем сарае оно сохранней будет.

Закис только зубами скрипнул, глядя вслед возам с сеном, которые,

покачиваясь, двигались по косогору к усадьбе Лиепниеков. Теперь негде искать правды.

Это пока только с сеном, а что дальше будет, когда дело дойдет до уборки хлеба, картофеля? В волости уже арестовали нескольких новоселов. Двоих казнили здесь же, на глазах у людей. Удивительно еще, что кулаки до сих пор не приходили за ним, — не иначе, хотят даровую рабочую силу оставить. Тогда Закис начал тайком рыть в лесу погреб.

— Спрячем там часть хлеба и картофеля, — сказал он жене. — Если эти изверги придут грабить, хоть что-нибудь самим останется.

При детях он ни разу не обмолвился о погребе, чтобы они по своей наивности соседям не проболтались. Ах, дети, дети, только и радости в жизни, что они. Как ни устанешь за день, как ни тяжело на душе от всяких мыслей, а как затеют возню, все будто легче становится. Слушаешь их щебетанье — и не хочешь, а усмехаешься.

Какие только игры они не придумывали — в войну и любое происшествие, о котором говорили взрослые. А иногда Мирдза принималась рассказывать сказки, и тогда даже двухлетний Валдынь слушал с разинутым ртом, а четырехлетняя Майя все время перебивала ее вопросами: а как заяц мог влезть на дерево? А где лиса взяла винтовку? Все ли лисы умеют стрелять?

— Все — нет, но эта лиса была умная-умная... — объясняла, не задумываясь, Мирдза. — Она и сено косить умела. У нее была такая маленькая коса, но настоящая, как у тяти. Она вставала на задние ноги и ходила по лугу.

— А у лисы тоже были штаны? — спрашивала Майя.

— Да, такие, как у Валдыня.

— Как у меня? — маленький Валдынь запрыгал от радости. — Мне мама штанишки сшила.

— У лисы тоже была мама, — продолжала Мирдза —. Она умела стрелять. А отец у них был сердитый старик. Он курил трубку. Он был, как старый Лиепниеков. Маленьких лисичек он заставлял пасти коров.

— А он их тоже бил прутом? Как старый Лиепниеков пастушка Петю? — интересовалась Майя.

— Ну да, бил. А лисята взяли и убежали в лес и залезли на дерево. А отец не мог забраться на дерево, он рассердился, сел под дерево и стал реветь. Но тут пришли коровы и забрались в рожь. Он побежал за коровами и стал бросать в них камнями.

— Как Лиепниеков, да? — не удержался Янцис.

В их головах все хорошее связывалось с родной хибаркой, с отцом и

матерью. Все дурное приходило от Лиепниека, и они ежеминутно вспоминали его.

Снаружи послышался топот многих ног. Дети сразу притихли и вопросительно поглядели на родителей. Переглянулись и Закис с женой.

— Ступай посмотри, отец, кто там, — сказала Закиене.

Закис поднялся, но не успел дойти до двери, как она без стука распахнулась и в кухню ввалилось несколько мужчин. Все были незнакомые, кроме Макса Лиепниека. Понте с Зиемелем привезли с собой нескольких вооруженных айзсаргов.

— Кто здесь Закис? — громким, резким голосом спросил Понте. — Ты, что ли?

— Это моя фамилия, — ответил Закис. — Вы ко мне?

— К тебе, к тебе, господин хибарочник, — продолжал Понте. — Нам надо немного поговорить. А это кто? Твои дети? Сколько их у тебя?

— Вы же сами видите.

Поразительно плодовитая порода, — захохотал Зиемель. — Настоящие зайцы.

— Что вам надо, господа? — спросил Закис.

Дети попрятались по углам и с интересом наблюдали чужих. Валдынь прижался к матери и до тех пор теребил ее за юбку, пока Закиене не взяла его на руки. Теперь он мог все рассмотреть.

— Расскажи, что тебе известно про сына и дочь, — спросил Зиемель. — Куда ты их спрятал? Когда они в последний раз были у тебя?

— Ровно за неделю до войны.

— А потом? Какое оружие ты получил от них? В каком месте спрятал? Говори же, черт тебя возьми!

— Я не знаю, про какое оружие вы говорите. У меня никогда никакого оружия не было. Нет и сейчас.

— Значит, нет? — злобно засмеялся Макс Лиепниека. Подойдя вплотную к Закису, он ткнул пальцем ему в лицо. — А что это у тебя во рту? Мало ты крови моему отцу испортил? Такого змеинового языка, как у этого большевика, во всей волости не сыскать. Детей коммунистами вырастил, а у моего отца землю отнял! На, получай теперь!

Кулак его с силой ударил по лицу Закиса. Дети громко заплакали. Закиене только крепче прижимала к груди Валдыня. Но отец даже не пошатнулся, не охнул.

— Обыскать все углы, — приказал Понте. — Чердак, погреб, все обшарить. Не может быть, чтобы так ничего и не нашлось.

— Руки ему надо связать, — сказал Макс Лиепниека.

— Да, конечно, свяжите. — Понте кивнул айзсаргам.

И тут же два кулацких сынка крепко скрутили Закису руки. После этого они с полчаса рылись во всех углах, перевернули вверх дном всю хибарку, но ничего не нашли, кроме нескольких изданных в советское время книг, которые привезли из города Аугуст и Аустра.

— Посмотрим, что здесь. Ага, «Краткий курс», — смеялся Зиемель. — Да он, оказывается, ученый муж. Ну, теперь, братец, тебе преподадут другую науку. Пошли, друзья. Нечего здесь больше делать. Идем, идем, Закис. Нам без тебя скучно будет.

Окружив Закиса, они вышли во двор. Айзсарги сняли с плеч винтовки и, держа их на весу, встали позади Закиса. Закиене с детьми вышла следом за ними. Попрощаться им не позволили. Сухими потемневшими глазами глядела жена хибарочника на чужаков, которые подгоняли ее мужа. Макс Лиепниек обернулся раз и крикнул издали:

— Завтра чтобы выходила со своими щенятами нашу рожь жать!

Янцис с Мирдзой, прильнув к матери, смотрели на пригорок, за которым скрылся в вечерних сумерках их отец. Чужие люди толкали его, руки у него были связаны, и их большой, сильный отец позволял обижать себя. Почему он не вырвался?

— Мама, что они с ним сделают? — шепотом спросил Янцис. — Куда они ведут его?

Закиене провела рукой по его головенке и вздохнула.

Глава шестая

1

— Ты не замерзла, Ингрида? — спросил Имант Селис сестру.

— Нет, ничего, — ответила та, хотя у нее зуб на зуб не попадал и руки посинели. Они сидели в лесу, от большака их отделяло только большое ржаное поле. Всю ночь гудели моторы автомашин и лязгали гусеницы. Моторизованная колонна немецких войск двигалась совершенно открыто, без всякой маскировки. Сначала Имант все считал танки, броневики и орудия, но скоро сбился со счета. Тогда он решил, что достаточно общего вывода: по направлению к Риге движутся значительные силы противника. Они, наверное, уже начали бой у берегов Даугавы — иначе, как объяснить сильную канонаду, которая была слышна весь вчерашний день? Теперь

наступила тишина. Лишь отдельные грузовики появлялись на дороге да небольшими группами проходили пехотинцы.

Уже четверо суток брат с сестрой брели по лесам и болотам. Взморье они миновали ночью, пробираясь по узким боковым улочкам. Следующий день просидели в лесу около Слоки, а ночью двинулись в путь вдоль берега Лиелупе. В конце концов им удалось найти небольшую лодку и переправиться через реку. 30 июня они в первый раз увидели немецких солдат. Теперь уж больше нельзя было идти по большакам. Где проселками, где лесными тропинками, но на другой день к вечеру они вышли на шоссе Рига — Бауска и остановились на отдых в этом лесу, откуда хорошо была видна дорога. Все бы ничего, если бы не мучил голод и не холод по ночам. Есть они просили у местных жителей — иного выхода не оставалось. Ингрида выбирала домики победнее, похуже, где с готовностью давали кусок хлеба и кружку молока. Там же разузнавали о том, что творится на свете. В общем, немцы стояли под Ригой, весь левый берег Даугавы был в их руках.

«Отрезаны от своих... — с ужасом — повторяла про себя Ингрида. — Неужели нам не пробраться? Что теперь думает Айя о моем исчезновении?»

Ее огорчало, что Имант как будто вовсе не желает понимать серьезности положения. «Ему все это кажется хоть и опасным, но увлекательным приключением. Какой он еще ребенок».

— Ингрида, что ты скажешь, если я убью двух немцев? — заговорил он, глядя на дорогу. — Мы бы тогда переоделись и преспокойно пошли по дороге. А там только переправиться через Даугаву, и мы за два дня доберемся до своих.

— Немцы живо догадаются, кто мы такие. Да и не бывает таких молодых солдат.

— А если приклеить маленькие усики?

— Где ты их достанешь? — Ингрида не могла удержаться от улыбки.

— В том-то все и дело, что негде достать. Эх, был бы я чуть повыше ростом...

Как только стемнело, Иманта нельзя было удержать в лесу.

— Ты посиди здесь, никуда не уходи, я только на полчаса, разведать дорогу. На, бери мою куртку, теплее будет, а мне без нее удобнее... — и исчез.

Ни через полчаса, ни через час он не вернулся. Ингрида уже решила выйти на дорогу разыскивать брата. Одно ее останавливало: а что, если он вернется и не застанет ее? Так можно потерять друг друга...

Стало почти светло, когда измученная ожиданиями девушка услышала шорох. Имант! Она так и бросилась к нему — и остановилась: в руках брата был немецкий автомат и солдатская сумка.

— Ну, теперь давай поедим... — сказал он деловито, доставая из сумки две банки мясных консервов и хлеб. — А это видала? — и он показал Ингриде несколько плиток шоколада.

— Где ты все это взял?

— Отнял у фрица.

— Как — отнял?

— Обыкновенно. Он отстал от своих и присел на краю дороги отдохнуть. Отдыхал, отдыхал и уснул. Я потому так и задержался... Взял, что мне нужно, и — драла. Жалко, что уже рассвело, иначе я бы его живым не оставил. А сейчас стрелять опасно, светло, могут поймать...

Имант старался сделать вид, что ничего особенного в этом приключении не находит. Но он больше ни о чем другом не мог ни думать, ни говорить, только о новой охоте за фрицами.

— Нам еще надо обязательно снять с кого-нибудь из них шинель. Тогда ты не будешь мерзнуть по ночам; мне-то не холодно.

— Оставь это, — сказала Ингрида. Ее удивляла и пугала предприимчивость брата. — Подумаем лучше, как нам выбраться отсюда. Не можем мы все время сидеть в этом лесу.

— А где же нам жить, как не в лесу? Я ничего лучшего не могу придумать. Достанем шинель, а когда поспеет картофель и брюква, нам совсем неплохо будет.

— А мама?

— Да, верно. Ну так что же, она тоже будет жить с нами. Я сделаю шалаш...

— И она сама узнает, что ты ждешь ее в своем шалаше? Нет, Иммант, все-таки ты еще ребенок. Маме и невдомек, что мы сидим здесь и фантазируем.

— Ты права, Ингрида... — печально сказал Иммант. — Мама этого знать не может. Тогда остается разыскать ее и привести сюда. А там мы вместе будем пробираться к своим.

— Я об этом и думаю. Я уверена, что она в Риге, ждет нас с тобой. Без нас она не могла уехать.

— Тогда надо идти за ней в Ригу. Я так и сделаю. А ты будешь ждать нас здесь.

— А если немцы уже в Риге?

— Ну и что? Разве я Ригу не знаю?

— Нет, за мамой пойду я, — твердо сказала Ингрида. — Я лучше тебя знаю немецкий, а это сейчас имеет большое значение. Потом я старше тебя.

— А я должен сидеть в лесу и беспокоиться за тебя? — возмутился Имант. — Нет, на это я не согласен. Я — я мужчина.

Они долго спорили. Наконец, Ингриде пришла хорошая мысль.

— Бросим жребий. Кто вытащит палочку подлиннее, тому оставаться в лесу.

Имант согласился. Ингрида взяла две сухие веточки, обломала их, чтобы можно было спрятать в горсти, и дала тянуть Иманту.

Длинная веточка оказалась у него. Он бросил ее наземь и пожал плечами.

— Жребий есть жребий, но все равно это неправильно.

Уговорились, что Имант будет ждать Ингриду три дня. Если до того времени она не вернется, он должен действовать по своему усмотрению.

Ингрида отчистила жакет и юбку от приставших к ним травинок и хвои, тщательно причесалась и отдала Иманту свой комсомольский билет.

— Хорошенько береги, чтобы немцам ни в коем случае не попался. Если иначе нельзя будет, зарой в землю или уничтожь. То же сделай со своим билетом. Автомат пока спрячь где-нибудь в кустах, иначе плохо будет, если кто увидит. На дорогу не выходи. Имант, я тебя очень прошу, будь осторожен. Ну ради мамы хотя бы!..

— Не беспокойся, я знаю, как действовать.

Когда пришло время расставаться, они как-то растерялись. Оба были взволнованы и старались не показывать этого друг другу. Ингриде хотелось поцеловать брата, но она только крепко пожала ему руку.

— До свиданья, Имант.

— До свиданья, Ингрида. Скорее приводи маму.

Как только фигура сестры исчезла за деревьями, Имант тут же начал высчитывать, сколько ей понадобится времени, чтобы дойти до Риги и вернуться обратно. Если все обернется хорошо, то завтра к вечеру они будут здесь.

«Эх, что я буду делать до завтрашнего вечера? — подумал Имант. — В конце концов могли вдвоем пойти, вдвоем легче».

Уже вечерело, когда Ингрида вошла в Ригу. В Задвинье ее остановил наряд вспомогательной службы полиции, чтобы проверить паспорт.

Убедившись, что она прописана в Риге, полицейские ее отпустили.

Ингрида не узнала Старого города. Не было больше горделивого шпиля церкви Петра, в развалинах лежал дом Черноголовых и многие здания по набережной Даугавы. Обезображенный бульвар, многочисленные воронки и ямы на мостовой, израненные осколками закопченные стены, выбитые окна... Страшно стало Ингриде при виде этих разрушений.

По улицам расхаживали немцы, никому не уступая дороги, а рижане жались к стенкам домов, чтобы не мешать завоевателям. Кое-кто услужливо срывал с головы шапку перед немецким офицером. На бульваре Райниса Ингрида увидела толпу арестованных, которых гнали в сторону вокзала. У бакалейного магазина растянулась длинная очередь, вдоль нее ходили два немецких солдата и заглядывали каждому в лицо.

Один из них увидел молодую еврейку, которая держала за руку девочку лет пяти.

— Heraus! ^[9] — закричал солдат и, схватив ее за плечи, грубо вытолкнул из очереди. Толчок был так силен, что женщина упала на мостовую; девочка расплакалась и судорожно вцепилась в мать. Солдат затопал ногами: — Молчать, дрянь! Брысь отсюда!

Из той же очереди солдаты пинками выгнали двух еврейских подростков. Остальные люди отворачивались и опускали глаза.

Ингрида подошла к женщине и помогла ей подняться. Испуганно посмотрела та на Ингриду и быстро зашептала:

— Благодарю вас, барышня... какая вы добрая. Вам надо скорее скрыться. Они видели, что вы мне помогли. Наблюдают за вами.

Ингрида тут только подумала, что ей нельзя обращать на себя внимание. Она свернула в первый же переулок и кружила несколько кварталов, пока не убедилась, что за ней никто не следит; потом вышла на улицу Кришьяна Барона и направилась прямо домой. Каждый раз, когда ей встречался немец или полицейский, у нее немели ноги.

«Если бы они знали, что я комсомолка... — подумала Ингрида. — Нет, лучше об этом не думать, надо держаться, как остальные, чтобы ничем не отличаться от них. Спокойнее, Ингрида, не оглядывайся, не делай такое сердитое лицо, когда видишь немца. Их надо обмануть — ведь ты хочешь бороться».

Как ни трудно давалось ей это, Ингрида вовремя уступала дорогу немецким солдатам, а когда кто-нибудь из них улыбался хорошенькой девушке, скромно опускала глаза.

Тревожно забилося у нее сердце, когда она увидела знакомый дом на улице Пярну. «Хорошо бы не встретить никого из соседей». Но Селисы

жили здесь всего несколько месяцев, знали их еще мало, а если и знал кто, то такие же простые рабочие люди, как и они сами. Своих бояться нечего.

Ингриде повезло. Не заметив ни одного знакомого лица на улице, она не спеша вошла во двор и юркнула в подъезд. Поднялась по лестнице, немного перевела дух возле своей двери, затем позвонила. Немного подождала и позвонила еще раз. Два длинных, один короткий — как было условлено, когда кто-нибудь поздно возвращался домой. Мать должна догадаться по звонку. «Ну почему она не идет отворять? Скорей, скорей, мама, пока меня никто не видел у двери... Это не немцы, это я — Ингрида...»

Но дверь не отворилась. Ингрида позвонила в третий раз и долго прислушивалась, сдерживая дыхание, не раздадутся ли в передней торопливые шаги матери. Глубокая тишина. Только этажом выше жалобно заплакал ребенок, затем раздался звонкий шлепок.

— Замолчишь ты, наконец? Кричит, как оглашенный! Поори, поори у меня, сейчас ремень достану!

«Мамы нет дома, — подумала Ингрида. — Но где она? На работе, в очереди у магазина? Когда она придет? А вдруг я напрасно жду? Может быть, она ушла из города с рабочими или ее арестовали...»

Если бы дворник был свой человек, можно было бы спросить у него. Но Ингрида плохо знала его и не хотела рисковать. Ждать у дверей тоже было неразумно. Могли заметить соседи.

Надо пойти в прачечную. Если она не закрыта, мать должна быть там.

Прачечная, которой заведовала Анна Селис, была тут же, за углом. Уже начало смеркаться, и в подвальном этаже горело электричество. Чтобы лучше разглядеть внутренность низкого помещения, Ингрида отошла на мостовую и на секунду остановилась перед освещенными окнами. За длинным столом несколько женщин гладили белье. Они не поднимали наклоненных голов, но Ингрида сразу узнала сгорбившуюся фигуру матери в сером рабочем халате. Ловкими, привычными движениями Анна Селис гладила мужскую сорочку; горячий утюг двигался взад-вперед по шву.

«Мамочка, посмотри, взгляни же сюда... — мысленно обращалась к ней Ингрида. — Я здесь, рядом». Но мать перевернула сорочку на другую сторону, смочила палец, дотронулась до утюга, проверяя, достаточно ли он горяч, и снова нагнулась над столом, смахнув рукавом халата выступивший на лбу пот.

Ингрида не могла долго оставаться возле прачечной. Но она уже немного успокоилась: главное — мать здесь, через несколько часов придет домой, а завтра, как только можно будет показаться на улице, они уйдут из

города.

Пока разрешалось движение по улицам, Ингрида побродила по окраине, немного посидела на скамейке в Парке имени 1905 года, потом вернулась к своему дому. Еще раз ей удалось незаметно пройти в ворота. Еще раз Ингрида безуспешно позвонила у двери — мать не вернулась. «Работает в ночную смену и вернется только утром. Вернется усталая, измученная после душной прачечной. Значит, придется задержаться в Риге еще на полдня, пока она немного отдохнет. А Имант там будет нервничать и еще натворит каких-нибудь глупостей».

Ингрида вдруг почувствовала страшную усталость — она не спала прошлую ночь, потом прошла тридцать с лишним километров, не говоря уже о всех треволнениях прошедшего дня. Ингрида присела на подоконник, прижалась щекой к холодному косяку и... уснула. Она не слышала, как полчаса спустя по лестнице тихо поднялся какой-то человек в резиновых тапках. Она не проснулась, когда тот на мгновение остановился перед ней, стараясь рассмотреть ее лицо. Он так же тихо сошел по ступенькам и поспешил в ближайший полицейский участок. На улице уже совсем стемнело. Еще через полчаса Ингриду разбудило грубое прикосновение чьей-то руки. Она соскочила с подоконника и в первое мгновение не могла ничего разглядеть. Ослепительный свет карманного фонарика назойливо бил в глаза. Полицейские оглядывали ее с ног до головы.

— Она самая, — сказал кто-то из темноты.

— Вы что здесь делаете? — спросил один полицейский.

— Не могу попасть... в свою квартиру... — ответила немного придя в себя Ингрида. — Мать еще не пришла с работы, а ключ у нее.

— В какой квартире вы живете?

— В шестой.

— Как вас зовут?

— Ингрида Селис.

— Вы ее знаете? — спросил полицейский у человека, который стоял позади, на лестнице. Свет электрического фонарика упал на его лицо, и Ингрида узнала дворника.

— Она самая, господин надзиратель.

Полицейский обернулся к Ингриде:

— Пойдемте.

Ингрида больше ничего не сказала, а оба полицейских взяли ее за локти и повели вниз по лестнице. Позади них, неслышно ступая резиновыми тапками, как тень, скользил дворник. Когда Ингриду вывели на улицу, он запер ворота, постоял немного во дворе, прислушался, посмотрел

на затемненные окна: «Не видел ли кто?» Но все было тихо, ни одного лица не показалось в окнах. Тогда дворник спокойно пошел спать — время было позднее.

Трудно было Иманту высидеть в лесу. На следующее утро, едва солнце поднялось над деревьями, он уже наблюдал за дорогой и выслеживал каждого прохожего. Он был уверен, что Ингрида с матерью вышли в путь с самого утра. Значит, часа в два должны быть здесь. Поток войск иссяк, и дорога почти все время оставалась пустынной. Изредка проедет крестьянин с возом сена, медленно пройдет пешеход. Тишину нарушало только мычание пасущихся на лугу коров, которых донимали оводы. Окрестные жители, видимо, убирали сено по ту сторону леса, лишь в стороне кто-то косил полегшую рожь.

После полудня Имант незаметно пробрался к самой дороге — на случай если Ингрида забудет, где свернуть. Но даже ночью нельзя было не заметить межевого столба рядом с густо разросшейся ивой. Дальше — дорога одна: по меже до самой опушки.

Очень хотелось есть. Оставшуюся коробку консервов и шоколад Имант не трогал — решил приберечь к приходу матери. Когда слишком сильно урчало в животе, он растирал между ладонями ржаные колосья и утолял голод зернами. Идя по меже, Имант заметил невдалеке небольшую полоску гороха. Зеленые горошины были еще слишком мелки, но удивительно вкусные; он ел стручки целиком и за полчаса почти наелся.

«Ничего — жить в общем можно...» Имант опять подошел к дороге, прилег за группой кустов и стал думать. Если бы не война, осенью можно бы поступить в мореходное училище. Через четыре года получил бы звание штурмана дальнего плавания и попал на большой пароход помощником капитана. Проплавал бы несколько лет, а там можно поступить в высшее морское училище, окончить его и получить права на вождение самых больших океанских пароходов. Вот это жизнь! Ингрида, наверно, к этому времени уже выйдет замуж, и матери он работать больше не позволит. Пусть живет дома, пусть читает и отдыхает — довольно она погнула спину. Но теперь все эти мечты побоку, надо воевать! Как только они втроем доберутся до своих, он, Имант Селис, вступит в Красную Армию и провоюет до того дня, когда будет уничтожен последний фашист.

Солнце уже давно закатилось, а Имант все еще следил за дорогой. Так

он протомился до середины ночи, слушая однообразный крик дергачей. Мимо него проехали на велосипедах трое айзсаргов. У всех за спинами были винтовки.

«Эх, подлые... Если бы не мама и Ингрида, я бы вас так не пропустил. Дал бы хорошую очередь, а потом всех троих — в канаву».

В результатах Имант не сомневался ни минуты. Обращаться с автоматом он уже умел: зимой один раз показывали в стрелковом кружке, а он, как и многие мальчишки, мгновенно усваивал такого рода сведения. Немецкий автомат, правда, несколько отличался от нашего, но Имант уже успел разобраться и в нем. Вернувшись в лес, он несколько часов продремал чутким, беспокойным полусном. С восходом солнца опять залег на своем наблюдательном пункте у дороги.

Прошел еще один долгий день. Что же это такое? Как бы тихо ни шли мать с Ингридой, сегодня они должны быть здесь. Может, мать заболела? Но тогда Ингрида вернулась бы сюда, чтобы вместе придумать, как быть дальше. Об этом был уговор. С Ингридой что-нибудь случилось?

Так прошли три дня.

«Надо подождать еще день, — решил Имант. — Если до утра не придут, тогда все ясно».

Прошел и четвертый день. Надо было что-то предпринимать. Идти в Ригу по следам Ингриды? Но если они арестованы, его тоже ждет ловушка. Остаться здесь не было смысла.

Надо хоть одному пробираться к своим, идти через леса и болота на восток. Там Красная Армия, там будет видно, как быть дальше. Может, найдутся друзья, помогут пробраться в Ригу.

На следующую ночь Имант тронулся в путь. Тяжело было оставлять этот лесок, где они с сестрой в последний раз были вместе. Ему казалось, что он бросает Ингриду на произвол судьбы, беспомощную и беззащитную. Но надо было идти.

В ту же ночь Имант переправился через Даугаву в полусгнившей лодочке, которая лежала на берегу в кустах, а к утру уже углубился в чащу. Через лес шла дорога, но он шел вдоль нее на некотором расстоянии. Изредка на ней появлялись прохожие, два раза Имант видел немецких мотоциклистов. Тогда он припадал к земле и наблюдал из-за деревьев, пока они не исчезали. Около полудня, когда июльское солнце проникло даже в чащу леса, он решил немного отдохнуть в тени ветвистой ели и, незаметно для себя, уснул. Он не знал, сколько времени проспал, но разбудили его негромкие голоса. Имант порывисто вскочил, хотел схватиться за автомат, но его уже не было рядом. Шагах в трех стояли двое бородатых мужчин и

глядели на Иманта. Один из них кивнул головой, точно в знак приветствия.

— Вставай, сынок, как бы тебя не обворовали.

Голос звучал сочувственно, а светлые глаза блеснули из-под белокурых волос насмешливо и в то же время добродушно.

Но Имант уже был обворован: его автомат осматривал другой мужчина. И странно, Имант почему-то не испытывал страха перед этими людьми. Он отряхнул куртку и исподлобья посмотрел на них.

— Уснул, — угрюмо сказал он. — Иначе бы так легко не подпустил вас.

— Да, друг, видать, дома у тебя и поспать негде, — снова заговорил светловолосый. — Давно ты живешь в лесу?

— С двадцать седьмого июня.

— Молодцом. Мы и то позже начали. Откуда ты?

— Из Риги.

— А как тебя звать?

— Имант Селис. Но вас я, между прочим, не знаю.

— Это верно. Да ты и не можешь знать, — мы из Лиепаи.

— А-а, — протянул Имант, как будто эти слова объяснили ему многое. — Из Лиепаи... тогда вы издалека.

— Да, Имант. Вот скажи, где ты достал автомат?

— Где достал? — сразу приободрился Имант. — Отнял у немца.

Он рассказал, как обработал уснувшего немецкого солдата. Оба мужчины весело переглянулись.

— Скажи, пожалуйста, ты уже готовый партизан! Как ты сюда попал?

Имант рассказал про свою семью, про события последних дней, про то, как Ингрида ушла в Ригу. Голос его стал тише к концу рассказа, он опустил голову и замолчал.

— Да, не надо было идти, — сказал светловолосый. — Гитлеровцы не щадят комсомольцев. Мы многое перевидали и узнали по дороге из Курземе... Ты говоришь, она работала в райкоме комсомола. В каком районе?..

Имант сказал. Светловолосый подошел к нему и положил руку на плечо.

— А ты из ее подруг никого не знаешь? Кто еще с ней работал?

— Конечно, знаю. Ну, во-первых, секретарь района — Айя Рубенис. Потом Рута Залите. Потом...

— Ты знаешь Руту Залите?

— Да. Видел ее на одном вечере. С ней еще муж был — такой высокий, боевой. Вы его тоже знаете?

— Да... знаю, — ответил незнакомец, обнимая Иманта. — Хорошо знаю. Но как это ловко получилось, что ты встретился с нами. Акментынь, я думаю, дальше мы пойдем втроем. А?

— Ясно, Ояр! — ответил боцман землечерпалки Акментынь, не подымая глаз от автомата, который он исследовал с видимым удовольствием. — Наши силы растут, мы не пропадем. Теперь у нас даже автомат имеется. Пусть фрицы и близко не подходят.

— Скоро они от нас получат, — подхватил Ояр Сникер. — Много кое-чего получают! Значит, решено, Имант, — ты идешь с нами.

— Я сам хотел попросить, чтобы вы меня взяли, — признался обрадованный Имант.

В тот день взгляд Ояра часто обращался на этого нечаянно попавшегося на пути мальчика, который, сам того не зная, принес ему привет от потерянной Руты.

Разное испытали Ояр с Акментынем на пути из Курземе. Около Ренды их заметили немецкие жандармы и устроили облаву. Спаслись от нее, переплыв реку, и таким образом запутали следы. Раз их выручил лесник — предупредил, что в таком-то месте на лесной тропе их ждет засада; они обошли это место и потом километров двадцать шли без опаски.

Боцман Акментынь был человек поразительной выносливости — никогда он не заговаривал первым об отдыхе и ночлеге. Когда кончалось продовольствие, он таинственным образом безошибочно определял, в какой усадьбе имеет смысл попросить поесть, а в какую не стоит и носа совать. Только один раз чуть не попался: завернув во двор приглянувшейся ему небольшой усадьбы, он налетел на немецких солдат хозяйственной команды, которые расположились там на ночлег. Солдаты сразу уставились на Акментыня, бежать было поздно. Хозяин, не старый, крепкий мужчина, как-то странно посмотрел на него и вдруг раскричался:

— Где ты пропадал столько времени? Полдня тебя ждем... С утра же было сказано, что надо отнести лесничему старый долг! Еще подумает, забыли, начнутся разговоры по всей волости. Маде, ты все уложила в мешочек? — обернулся он к жене, которая переводила удивленный взгляд с мужа на незнакомца. — И каравай и кусок окорока? Я ведь не дам этому лентяю долго прохлаждаться, вот кончит чистить хлев — и к лесничему.

Немцы с интересом наблюдали сцену между строгим хозяином и

нерадивым батраком. Крестьянин объяснил им что-то по-немецки, и они заржали. Акментынь, понявший свою роль с первых же его слов, переминался с ноги на ногу и виновато моргал. Под смех солдат он взял грязные навозные вилы, повертел их с унылой гримасой, потом нехотя поплелся за хозяином в хлев.

— Головы, что ли, у вас нет, — сердито зашептал хозяин, — не осмотревшись, лезть прямо к черту на рога. Еще бы немного и потребовали документы. Чем бы я вам тогда помог?

— Это мне наука на всю жизнь. Наперед всегда буду проверять.

— Издалека, что ли?

— Из Лиепаи.

— Все понятно. Куда направляетесь?

— Туда, где нет немцев.

— Тогда долгонько вам идти. Эти дьяволы уже далеко зашли.

— Не все же им в одну сторону бежать. Когда-нибудь побегут и обратно. Тогда и решим, у кого ноги проворнее.

— Поживем — увидим, — вздохнул хозяин. — А теперь опять будем комедию ломать, чтобы не подумали чего — и он закричал с раздражением: — Как ты вилы держишь, неладный! Не видишь, что там никакого навозу нет? Ты вычисти вон тот угол, а то, смотри, люк запакощен как. Иначе самого заставлю пролезать в него.

Он не перестал ворчать и тогда, когда жена принесла мешочек с едой, и еще долгое время после того, как Акментынь пролез через люк в задней стене хлева и под прикрытием надворных построек кратчайшим путем ушел в лес. Все кончилось благополучно.

Сначала Ояр Сникер намеревался пробраться в Ригу, но у Смарды они узнали, что там уже немцы. С тяжелым сердцем решили они изменить маршрут — в обход Риги, через Калнцием и Огре. На этом пути, недалеко от Огре, Сникер с Акментынем наткнулись в лесу на Иманта. Теперь уже втроем они шли по направлению к Малиене.

— Ну скажите на милость, где тут логика, — заводил разговор шутливо-серьезным тоном Ояр. — Все люди живут как люди, а нам приходится скрываться по лесам. Что мы, преступники? Ограбили кого? Это те, кто принуждают нас к такому образу существования, ограбили народ, отняли у него свободу и все права. Вот видите, что происходит, если преступник на время дорвется до власти. Спрашивается, что в таком случае делать?

— Бить по зубам, — лаконично ответил Акментынь.

— Имант, ты как думаешь?

— Фашистов надо колотить и истреблять, пока они не побегут обратно.

— Правильно, Имант. Надо разжечь такой огонь, чтобы фашистам жарко стало. Пусть тогда бегут с опалёнными пятками обратно в свою Пруссию. Тогда мы им покажем, во что обходится экскурсия по советской земле.

В окрестностях Эргли им выпала большая удача. Немецкий связист остановил свой мотоцикл близ небольшого леса и, растянувшись на траве, сосал сигарету. Не то он поджидал здесь своих товарищей, не то решил полодырничать вдали от начальства, — факт тот, что растянулся на траве и глядел на облака, которые медленно скользили в небе. Акментынь первый заметил его и сразу превратился в охотника, преследующего дикого зверя. Сделав знак товарищам, чтобы не двигались, он, как уж, пополз меж кустов к немцу. На счастье, фриц подавился дымом и закашлялся. Акментынь последние десять шагов пробежал бегом, всей тяжестью обрушился на него и камнем величиною с кулак усыпил его навсегда.

— Понежься еще, фрицик... — тяжело дыша, бормотал он. — Здесь тебе не пансион для проезжающих. Наверно, немало напакостил — успел уже крест подцепить. Теперь ты получишь и другой крестик, но тот деревянный будет. Ребята, куда мы его денем?

— Спрячем в кусты, — сказал Ояр. — И мотоцикл надо убрать с дороги.

— Жалко такую роскошь оставлять, — вздохнул Акментынь. — У меня у самого был мотоцикл, я знаю цену этой машине... Лучше сядем на него втроем и катнем по дороге.

— До первого поста, — ответил Ояр. — Там нас, как цыплят, сцапают вместе с твоим мотоциклом.

— Неужели бросим ржаветь на дороге? Мое спортсменское сердце кровью обливается.

— Ну, спрячем получше, чтобы никто не нашел. Может, когда-нибудь самим пригодится.

— Вот это другой разговор.

Убитого солдата затащили в кусты, а мотоцикл увели поглубже в лес и тщательно укрыли ветвями и мхом. Акментынь хорошо заметил это место. Самым ценным приобретением, однако, был автомат и к нему двести патронов. Он достался Акментыню, так как автоматом Иманта завладел Ояр, а чтобы Имант не остался в обиде, ему отдали цейсовский бинокль и планшет с подробными картами района.

— Наши силы растут, мы не пропадем, — повторял Акментынь свою

излюбленную фразу. — Теперь получит фрицик, что полагается.

От радости он так разошелся, что замурлыкал старинную латышскую песенку:

Как терпел я сам от немца,
Так натерпится и немец,—
Танцевать заставлю немца
На горячих кирпичах!

Акментыню, как говорится, медведь на ухо наступил: он так отчаянно фальшивил, что его нельзя было слушать без смеха, но это его ничуть не обижало.

— В детстве, после скарлатины наверно, болел ушами, вот с тех пор голос и не ладит со слухом. Но в общем, по-моему, ничего получается.

5

Сейчас у них была одна мысль: скорее перейти линию фронта и соединиться со своими. Решили пускать в ход оружие только в самых крайних случаях и вообще большого шума не поднимать. Встретив прохожего, они круто меняли направление. Если бы нарисовать на карте их маршрут, получилась бы зигзагообразная линия. То они шли на юго-восток, то прямо на север, после этого опять делали резкий поворот направо и целые сутки шли на восток. Уже недалеко была граница Видземе. Латгалию они надеялись пройти в несколько дней, а там начнется Калининская область.

Видземцы народ неплохой, но их так запугали, что они уже перестали доверять друг другу. Крестьянин, к которому Ояр с товарищами рискнул зайти поздним вечером, жаловался, что теперь сосед соседа боится.

— Мы бы и рады помочь вам, да ведь этот проклятый десятник все передает немцам. Чуть заметит, что во двор зашел чужой человек, через полчаса тут как тут, и начинается допрос: кто, да зачем, да куда делся. Достаточно, чтобы собака ночью погромче залаяла, — и то сразу бежит проверять, а на дорогах выставляет посты. В одной усадьбе приютили на ночь сбежавшего пленного красноармейца. И что же — на другой день пришли жандармы и арестовали хозяина. Говорят, будто расстреляли. Вы не обессудьте, что так неприветливо встречаем.

Теперь они стали придерживаться такого правила: если заходить в усадьбу, то более чем одному человеку на глаза не попадаться, тогда помощь обеспечена. Стоило только застать в усадьбе нескольких человек, как уже ни один из них не вступал в разговоры с прохожими, — боялись, как бы кто из своих не проговорился соседям. Особенно приходилось опасаться детей. Уходя со двора, Ояр и его товарищи сначала направлялись в одну сторону и меняли направление лишь тогда, когда их никто не мог видеть. Нельзя было даже сердиться на людей.

— Мы не можем подвергать их риску, — говорил Ояр. — Нельзя требовать от людей, чтобы они лезли в петлю.

— Ничего не поделаешь, — соглашался Акментынь. — Главное, люди уйти никуда не могут. Хочешь — не хочешь, оставайся на месте и терпи.

Они не узнавали больше свою Латвию. Всюду гнетущая тишина, точно весь народ вымер.

В одном месте они увидели повешенных — у самого перекрестка, на телеграфных столбах. Рядом — развалины сожженной усадьбы. В глаза бросилась надпись на белой доске:

«Казнены за помощь большевикам!»

В другом месте дорога была завалена трупами зверски замученных людей. Молодые женщины и мужчины лежали вперемежку с детьми и стариками.

Все трое остановились, сняли шапки.

— Запомни это, Имант, на всю жизнь, — сказал Ояр. — На веки вечные запомни и не старайся позабыть. Тогда никакая ложь тебя не обманет.

Имант с побледневшим лицом, с дрожащими губами смотрел и думал о матери и сестре: может быть, и они так же лежат...

Стая ворон дралась над трупами. Одичавшие собаки, заметив приближающихся людей, с поджатыми хвостами убежали в кусты. Сладковатый трупный запах захватывал дыхание. После этого маленький отряд долго шел молча.

Перед вечером увидели впереди какую-то речушку, к самому берегу которой подступал молодой ельничек. Имант прежде всех заметил несколько темных фигур, появившихся меж деревьев.

— Ояр, гляди, что они там делают? — зашептал он. — Не немцы ли?

Они легли на землю и стали наблюдать. Цейсовский бинокль помог им

установить, что перед ельничком расположились около двадцати немецких солдат и полицейских. Они старались окружить поросль, оставив открытым только тот ее край, который подходил к речке.

Скоро раздались выстрелы. Из ельничка ответило несколько автоматов. Немцы и полицейские не оставались в долгу.

— О, да это за нашими охотятся, — тихо свистнул Акментынь. — Надо им помочь.

— Обязательно, — тихо ответил Ояр. — Только надо место лучше выбрать.

Они подготовили автоматы и стали наблюдать за расположением отряда. Солдаты и полицейские сосредоточили все внимание на ельнике, оставив тыл без всякого прикрытия.

С левого фланга нападающих находился небольшой бугорок. Вторая выгодная огневая позиция была ближе к берегу, почти у самой дороги. Если бы в этих пунктах разместить по автоматчику, то нападающие сами очутились бы под перекрестным огнем: их позиция находилась значительно ниже и была видна как на ладони.

— Так начнем, Ояр, — шепнул Акментынь. — Должно хорошо получиться. Вы с Имантом идите на тот бугор, а я засяду у речки.

— Идет. Только огонь открываю я. Тогда они бросятся к придорожной канаве и на открытом месте попадут под твой автомат. Так, смотри, жди, когда начнут отходить.

— Договорились, — согласился Акментынь. Он пробрался по канаве к своей позиции и удобно устроился за двумя валунами. В это время Ояр с Имантом тихо переползли на бугор. Ояр сделал опору для автомата, выбрал сектор обстрела и стал наблюдать.

Командир сидел на корточках в нескольких шагах позади цепи и тихим голосом подавал команду. Судя по всему, немцы приготовились к атаке. В тот самый момент, когда они начали приподниматься, чтобы сделать перебежку, Ояр нажал гашетку автомата. Длинная очередь, как острая пила, врезалась в цепь нападающих и перепилила ее надвое. Командир упал навзничь, справа и слева рухнуло несколько солдат. Среди немцев началась паника. Какой-то полицейский вопил что есть мочи:

— Не стреляй, идиот, здесь свои! Гляди, куда стреляешь!

Но его тут же уняла пуля Ояра. Тогда вся цепь поднялась и побежала назад по открытому полю к придорожной канаве. С нетерпением ждал этого момента Акментынь. «Получайте, дьяволы», — прохрипел он и нажал гашетку. Некоторые падали как подкошенные и больше не шевелились, другие побросали оружие и метались во все стороны. Но мало

кому удалось достичь укрытия, — с другой стороны не переставая стрелял Ояр.

Весь бой продолжался несколько минут, но шестнадцать солдат и полицейских остались на месте, а те пять-шесть человек, которым посчастливилось выскочить, без оглядки неслись через кусты и болотце к лесу.

— Эй, друзья, выходите! — крикнул Ояр. — Путь свободен!

Тогда из ельничка вышли трое мужчин. Впрочем, вышли они не сразу, а сперва оглядели поле боя. Увидев трупы немцев, они поняли, в чем дело. Теперь можно было опустить автоматы, выйти навстречу неожиданным помощникам и от всего сердца пожать им руки. Все были взволнованы в этот момент, у всех блестели глаза.

— Ну, братцы, мы было в такое пекло попали! — забасил один из них — плечистый парень с белыми, выгоревшими от солнца волосами. — Вот что значит правильная стратегия. А то бы мы совсем пропали. Ни вперед, ни назад.

— Давайте скорее соберем трофеи и — подальше отсюда, — сказал Ояр. — Поговорить успеем после. Эта музыка даром нам не пройдет.

Они сняли с убитых автоматы и патроны. Каждому досталось по два автомата, а Ояру, Акментыню и одному из новых товарищей — по хорошему пистолету. Остальное оружие спрятали в густом кустарнике: когда-нибудь пригодится. Изрядно пополнив запас патронов и даже продовольствия, удвоив свою живую силу, бойцы оставили поле боя. Акментынь мог еще раз сказать: «Наши силы растут, мы не пропадем».

Ясно, что он так и сказал.

Когда Акментынь узнал, что у одного из новых товарищей есть бритва, он решительно заявил:

— Пока еще светло, надо привести себя в человеческий вид. Скоро меня будут называть дедушкой, а я еще в женихах себя числю. А если ты, Ояр, думаешь, будто тебя украшает эта мочалка, то весьма ошибаешься. Ни одна девушка не захочет взглянуть на такого.

Они действительно стали походить на дикарей. У Акментыня на щеках местами уже начал завиваться волос. Ояр казался лет на десять старше, то же можно было сказать и о новых спутниках.

— Не понимаю, как вам самим не противно, — сердился

Акментынь. — Молодые люди, бритва в кармане, а похожи на Мафусаилов.

Часа четыре прошагали они без остановки по лесным тропкам, прежде чем решились сделать привал на берегу ручья. Акментынь скинул пиджак и рубаху и облюбовал пенек под парикмахерское кресло.

— Друг, дай-ка сюда бритву, — обратился он к плотному, краснощекому парню, владельцу вожделенного инструмента. — Сначала я побрею тебя, потом ты будешь обрабатывать меня. Остальные становись в очередь.

Акментынь оказался неплохим парикмахером. Бритва шла легко, снимая густую, трещавшую под ней щетину. За неимением помазка Акментынь намыливал щеки при помощи собственной пятерни.

— В Англии только так и намыливают, — объяснял он. — В каждой парикмахерской есть мальчик, ученик брадобрея. Когда я в Кардифе зашел в первый раз побриться, меня усадили в кресло, опрокинули навзничь, после этого на меня набросился мальчишка и несколько минут мылил пальцами щеки. Друг, немного повыше подбородок... дай подступиться к шее. Почему у тебя такая колючая борода? Нельзя так. Теперь поди умойся. В ручье удивительно мягкая вода.

Когда всех побрили, они едва узнали друг друга. Оказалось, что старшему из «дедушек» было не больше тридцати лет, а остальные и того моложе — лет двадцати пяти — двадцати восьми.

Тот, который первым вышел из ельника, долго смотрел на Ояра, а Ояр, в свою очередь, силился припомнить, где он видел это лицо.

— А ты случаем не был в Риге у Силениека за несколько дней до войны? — спросил парень.

— Правильно! Шофер Силениека? Так?

— Он самый, Эвальд Капейка.

— Как это ты расстался с Андреем?

— Мы расстались в Валке. Он должен был отправиться на фронт, а мы... — Капейка кивнул на своих товарищей, — мы получили задание вернуться обратно и организовать партизанское движение в тылу немецкой армии. Уже несколько дней как идем к назначенному месту. А теперь скажите, какой добрый дух послал вас к нам на выручку?

— Немцев заметил Имант. Позиция у нас была выгодная — вот и ввязались.

— Им это понравилось, как собаке палка! — засмеялся Акментынь. — Ну, вы посмотрите, что за прекрасное оружие! Можно свободно отправить на небеса несколько сот отборных гитлеровцев.

У него все карманы оттягивали патроны, да и остальные были не

беднее. Имант все время ощупывал свой автомат, он сам не верил, что, наконец, и у него есть оружие.

— А получилось это вот как, — продолжал Капейка. — Напоролись мы на группу немцев. Ну, не хотелось оставлять их без подарка, всыпали из автоматов и нескольких убили, а остальные разбежались. А немного погодя они за нами и погнались — но уже с подкреплением. Мы и так и сяк — петляли то влево, то вправо, но они, как собаки, — дуют прямо по нашим следам, да и только. Наконец, загнали нас в этот проклятый ельничек и обложили со всех сторон. Ну, думаем, пришел наш конец, — и приготовили ручные гранаты. Живыми не дали бы. А теперь по фрицам зауспокойную читают. Мы, конечно, тут ни при чем.

— Там, видно, были не только фрицы, но и местные, — сказал Акментынь.

— Не важно, на каком языке они говорили, — сказал Ояр. — Кто заодно с Гитлером, тот такой же фашист, и мы их по полочкам раскладывать не будем. Всех в один мешок.

Он узнал, что румяного владельца бритвы зовут Ян Аустринь, а третьего парня — Саша Смирнов. Аустринь служил в милиции, детство провел в здешних краях и хорошо знал местность. Саша Смирнов раньше работал на фарфоровом заводе Кузнецова в Риге, а в первые дни войны вступил в рабочую гвардию и вместе с активом своего района отошел до Валки. В Абренском уезде у него и сейчас живут родственники.

— В случае чего можно у них приютиться. Они не выдадут.

Немного передохнув, пошли дальше и около полуночи очутились у огромного болота. Аустринь пошел вперед и вывел отряд на маленький остров, густо поросший кустарником и сосенками. Именно к этому месту он целую неделю и вел своих товарищей. Остров был прямо как нарочно приспособлен для партизанской базы. В двух-трех часах пути было несколько шоссейных дорог и два железнодорожных узла. Болото окружал большой лес, но самым важным преимуществом было то, что здесь сходились границы трех уездов: в случае преследования можно было перейти из одного уезда в другой. А пока власти одного уезда договаривались бы с властями другого, партизаны могли перебраться на территорию третьего уезда.

— Здесь и остановимся, — сказал Эвальд Капейка.

Ояр весь последний переход был очень задумчив.

Дело в том, что на привале Капейка дал ему номер газеты «Циня», где была напечатана речь Сталина от 3 июля. В этой речи как будто прямо ему, Ояру Сникеру, было сказано, что должен делать человек, оставшийся в

тылу врага. Очень возможно, что здесь он и принесет больше пользы. А как же Рута, Силениек, товарищи? Отказаться от надежды увидиться с ними? Но какое это имело теперь значение?

Придя на остров, Ояр отозвал в сторону Акментыня и Иманта.

— Каковы теперь ваши планы? — спросил он. — Переходить фронт или оставаться здесь?

— Как ты решишь, так и сделаю, — коротко ответил Имант.

— А я тоже не расстанусь с вами, — сказал Акментынь. — Где вы, там и я. Ну, а если бы мне пришлось решать одному, я бы остался здесь. Право, мы уже можем считать себя старыми партизанами. Обстановка знакомая, да и руку, я считаю, набили. Ведь мы сегодня экзамен сдали. А главное — наши силы выросли. Кто теперь с нами справится?

— Значит, договорились. Мы остаемся здесь.

Ояр подозвал Капейку и объявил ему о решении группы.

— Так у нас уже сколотился солидный партизанский отряд, — обрадовался Капейка. — Я, признаться, пока шли, все думал: неужели оставят нас одних? Теперь остается выбрать главного командира и заняться оборудованием базы. Эй, товарищи, подойдите сюда, — позвал он Аустриня и Смирнова. — Есть серьезный разговор. Предлагаю выбрать командиром нашего партизанского отряда товарища Сникера. Ояра Сникера я не раз видел у Силениека. Знаю, что он старый партиец, работал в подполье. В эту войну он уже успел повоевать у Лиепай. Ну, а сегодня Ояр нам всем показал, как надо бить немцев.

Выслушав его доводы, Аустринь и Смирнов согласились, что это будет самая подходящая кандидатура.

— Не стану отказываться, друзья, — сказал Ояр. — Благодарю за доверие, постараюсь его оправдать. Но теперь нам надо будет осознать одну вещь. Наш отряд с этого момента становится войсковой частью в тылу врага, а в войсковой части должна быть воинская дисциплина. Один за всех, все за одного! Умереть, но не подвести товарищей. Когда задание получено — не разговаривать, выполнять во что бы то ни стало, даже если придется пожертвовать жизнью. Уметь хранить тайну, не болтать лишнего! И всегда помнить, что надеяться надо только на свои силы.

Среди ночи на освещенной луной крохотной полянке они в знак взаимной верности пожали друг другу руки. Так был основан партизанский отряд «Мститель».

...Весь следующий день ушел на устройство. На первое время сделали из веток и камыша два шалаша, чтобы не спать под открытым небом. Решили до наступления холодов построить и землянку. Акментынь рыл

яму для очага, а Капейка с Аустринем пошли разведывать местность. Недалеко протекал ручей с вкусной водой, везде росли черника и брусника, а грибов было столько, что впору на рынок возить.

— Ничего, друзья, заживем мы с вами, — повторял Капейка.

А Ояр уже обдумывал над картой первую операцию.

— Если ничего не случится, через несколько дней надо будет вернуться на место боя и перенести на базу все спрятанное оружие, — сказал он товарищам. — Будет оружие, найдутся и новые бойцы. А когда нашего полку прибудет, кому-нибудь из нас придется пробраться за линию фронта и установить связь с Красной Армией. Если воевать, то воевать по всем правилам стратегии.

Через несколько дней им стало известно, что в пятнадцати километрах от их базы расположилась немецкая полевая жандармерия и военно-полевой суд. Следующей же ночью партизанский отряд отправился на первую операцию.

Глава седьмая

1

Ингрида Селис сидела на нарах в углу камеры. Закрыв глаза и стиснув голову руками, она старалась вызвать в памяти картины прежней жизни. За две недели ей пришлось видеть и слышать столько ужасного и трагического, что разум отказался воспринимать окружающее. Она видела огромный подъем человеческой души перед небытием и презрение к смерти; перед ней проходили и такие люди, которые топтали свою гордость, свое достоинство, в подлом смирении склоняли голову перед палачами. Каждый день в камеру вталкивали новых арестованных, которые еще не подозревали, что их ждет; вместе с ними врывалась в тюрьму свежесть огромной, беспокойной, никогда не останавливающейся жизни, которая шла там, за этими серыми стенами, за решетками. Каждый день из камеры выводили нескольких человек — еще живых, полных надежд и отчаяния, а потом где-то за стеной включали радио или заводили патефон, чтобы заглушить крики и стоны жертв, и вечером в камеру возвращались окровавленные калеки, которые от боли не могли ни лежать, ни сидеть.

Серое, темное помещение было полно женщин и детей. Были здесь литовские еврейки со своими малышами, которых гитлеровские войска

догнали у Даугавы. Были седые старушки, матери и жены рабочих и служащих советских учреждений. В светлых летних платьях, с голыми ногами, сидели на каменном полу молодые девушки-комсомолки, работницы, которых арест застиг во дворе дома, на улице, в длинных очередях у лавок, на рынке. На нарах сидели дети, и в глазах у них застыло удивленное выражение. Плакали грудные, дети постарше незаметно теребили за рукава матерей и, стесняясь незнакомых людей, тихо шептали: «Мне есть хочется». И матери отдавали им последний крохотный кусочек липкой замазки, которую здесь называли хлебом, а когда уже нечего было давать, прижимали к груди и нежно ласкали их, как будто ласка могла заставить забыть муки голода. Только недолгий сон возвращал этим людям свободу и покой.

Каждый вечер открывались двери камеры и надзиратели называли несколько имен. С бледными лицами, блестящими от волнения глазами выходили из темных углов обреченные на смерть, и в камере все замирало; казалось, все переставало дышать и, оцепенев от мучительного ожидания, прислушивались к голосу надзирателя: кого еще вызовут? Обычно вызывали тех, которых днем водили на допрос и сильнее избивали; медленно, будто нарочно мешкая, выходили они в коридор, а надзиратели отпирали двери соседней камеры. То была камера смертников. Всю ночь доносились из-за стены крики. В четыре часа утра в коридоре раздавался топот сапог и звон ключей. Шаркающие шаги уходящих напоминали шум крыльев большой усталой птицы. Потом со двора доносился гул автомобильного мотора, визжали петли наружных ворот и в предутренних сумерках замирал последний отзвук существования людей, которым не суждено было вернуться. Но оставшиеся не могли больше уснуть. Они дожидались утра. Когда женщин гнали умываться, они проходили мимо камеры смертников. Дверь в этот час оставалась отворенной, и можно было видеть внутренность камеры. Каждая замеченная там мелочь приобретала яркий трагический смысл. Забытый гребень блестел в солнечном луче, как кусок янтаря. Недоеденный кусочек хлеба, на котором остались еще следы зубов, лежал на скамейке, и горло Ингриды сжимала спазма: в тот момент даже голодный не мог есть.

Напрасно закрывала она глаза и затыкала уши. Сознание нельзя было обмануть; не считаясь с волей, оно разворачивало клубок мыслей.

Рядом с Ингридой сидела изможденная женщина. Она появилась в тюрьме неделю назад, босая, в одном бумажном платишке, и ждала, каждое утро ждала, что вот господа судьи вспомнят о ней и велют выпустить, потому что держат ее здесь по ошибке. Поздно вечером пришли

к ее мужу, дворнику жилого дома на улице Валдемара, несколько человек из вспомогательной полиции и увели в участок. «Ничего с собой не берите, — сказали, — в участке вас только допросят о некоторых жильцах, и вы вернетесь домой». Дворник поставил метлу в угол и пошел, а жена сама пошла вслед за ними. В участке дворника арестовали безо всяких разговоров, а заодно и жену, раз она была здесь. Два дня их продержали в префектуре, а когда арестованных стали распределять по группам — дворника отправили в центральную тюрьму, а жену привели сюда.

— Никак я не пойму, почему они столько времени держат меня, — упрямо повторяла женщина.

Ингрида слышала ее рассказ по крайней мере раз десять, но она знала, что придется выслушивать его опять. Чтобы не огорчать дворничиху, Ингрида смотрела ей в лицо и кивала головой.

— Ну, за что им держать меня в тюрьме? Мы люди маленькие, политикой в жизни не занимались. Сперва ведь и не думали меня забирать. Это все потому, что я пошла за мужем. Почему они не поговорили со мной, не спросили? В бумагах все должно быть прописано. Главное, перед уходом заперла комнату, а там кот остался. Теперь и не знаю, что с ним, бедняжкой, делается. Ни еды у него, ни питья. И выбраться не может: и окна и двери — все заперто. Право, пропадет с голоду. Если бы я знала, что будет, разве бы я оставила его в комнате? Неизвестно, долго ли такое животное проживает без еды? Хоть бы мышь поймал... Да нет, он их всех давно переловил. Так мне жалко этого кота — очень умный котик. Если бы вы видели, барышня, как он охотился за голубями, за воробьями! Бывало, подкрадется — и не заметишь. А за мной как ходил! Я улицу поливаю, а он усядется у ворот и глядит — и такие умные у него глаза, прямо как человек. Жалко, если погибнет. Я уж и с надзирателем говорила, нельзя ли кого послать, чтобы выпустили. Да где там, он только смеется.

«Бедный большой ребенок...» — думала Ингрида. Чтобы успокоить дворничиху, она стала рассказывать ей о живучести кошек и уверяла, что ее любимец может выдержать без еды еще неделю.

Наконец, дворничиху вызвали на допрос. Она вернулась сравнительно быстро и очень довольная: следователи ничего особенного у нее не выспрашивали.

— Я им рассказала, как дело было, а они говорят, что больше меня здесь держать не будут.

Вечером надзиратель вызвал ее вместе с несколькими другими женщинами, и их увели. Радостно попрощалась она с товарками по камере, погладила по головкам детей соседки, а уходя, все еще говорила о своем

котике.

Она так и не поняла, что означает переселение в соседнюю камеру.

В четыре часа утра в коридоре послышались шаги, зазвенела связка ключей. Вместе с другими смертницами дворничиха, что-то рассказывая, вышла из камеры и села в черную машину.

— Увезли, — тихо сказала лежащая рядом с Ингридой пожилая женщина. — Больше не вернутся.

— Нет, не вернутся, — повторила Ингрида. — Когда-нибудь вот так же и нас увезут.

Соседка в темноте нашла ее руку и погладила несколько раз.

— Доченька, не надо бояться, милая. Страх не поможет, страх только силы отнимает. Нам всегда надо быть сильными — до самой могилы.

— Нет, я не боюсь, я ко всему готова, — зашептала Ингрида. — Они меня не испугают, пусть хоть что хотят делают. Но как жалко, как обидно, что нам приходится погибать сейчас. Ведь я ничего еще не сделала в жизни... А как хотелось помочь народу, пойти на фронт... Даже погибнуть — но так, чтобы враги дорого заплатили за твою смерть...

— Ты лучше думай, доченька, про то, что наши товарищи останутся. Они сейчас там, они бьются и за нас, они за все отплатят. Не забывай этого.

В камере было душно. На цементном полу, на голых нарах лежали и полулежали вповалку человеческие тела. Окно было забито досками, но утро пробивалось сквозь щели, и в тусклом свете лица спящих казались серыми, как зола.

2

Заключенные только что получили обед — пол-литра вонючего варева, состоявшего из воды, листьев капусты, свекольной ботвы и крохотных кусочков протухших говяжьих легких. Даже голодный пес не притронулся бы к этой бурде, которую приходилось есть людям. Но долгие недели голода научили их преодолевать отвращение. Ингрида взяла свой хлебный паек — сто пятьдесят граммов тяжелой полусырой массы, в которой вязли зубы. Чувствуя, с какой завистью смотрят на нее голодные дети соседки, она отломала себе микроскопический кусочек, а остальное молча протянула матери.

В коридоре раздались шаги. Обитательницы камеры испуганно оглянулись на дверь: что нужно надзирателям в этот неурочный час? Наверно, опять ведут новую жертву. Шаги стихли. Щелкнул замок. В

камеру вошел франтоватый офицер СС и два надзирателя. Заключенные встали и тревожно глядели на офицера. Одна из матерей пыталась успокоить плачущего ребенка, но ему хотелось есть, он закатился и не мог остановиться.

— Заткните ему глотку — ну хотя бы тряпкой! — крикнул офицер по-латышски. — Иначе я уйму его по-своему!

Освальд Ланка почти не изменился с осени 1939 года, когда он сел на пароход и уехал в свою «Великогерманию». Недавно, сразу же после образования рейхскомиссариата «Остланда», он появился в Риге и занял важный пост в гестапо. По делам службы ему приходилось часто бывать в рижских тюрьмах. Эта работа ему нравилась. Но сегодня Ланка несколько часов допрашивал в центральной тюрьме большевиков, и настроение у него было препаршивое. Это была утомительная и сложная работа, так как из этих кремней нельзя было вытянуть ни единого слова. Некоторые молчали, другие вели себя вызывающе и своими ответами приводили в бешенство допрашивающих, многие держались простачками и болтали явную чушь.

Правда, что бы они ни говорили, приговор был известен заранее — в гестапо с формальностями не считались.

После этой черной, утомительной работы Освальд Ланка в сопровождении нескольких ассистентов уехал в пересыльную тюрьму и велел показать заключенных там женщин. С женщинами легче, во всяком случае интереснее.

Ланка долго глядел на Ингриду, потом его взгляд остановился на высокой красивой Эстер Каган. «Похожа на Эдит, только брюнетка». Но больше всего его заинтересовала Илга Заринь — тоненькая золотоволосая девушка с доверчивым детским взглядом.

Освальд Ланка повернулся к надзирателям.

— Вот этой я пока и займусь, — и он показал на Илгу Заринь.

В тот же вечер ее вызвали на допрос. Довольно скоро вернувшись, она села рядом с Ингридой и под строжайшим секретом рассказала, что давешний офицер предложил ей стать его любовницей и работать на немцев.

— Я сказала, чтобы дали день подумать. Он разрешил. Наверно, поэтому меня и не били. Думает, что соглашусь.

— А ты сама?

— Я? Завтра я ему плюну в глаза. Как еще можно отвечать им?

На следующий день Илгу Заринь снова вызвали на допрос. Уходя, она поцеловала в лоб Ингриду.

— Не бойся, сестричка, я предательницей не стану.

В специальной камере включили радио. Через два часа Илгу привели обратно. Она еле держалась на ногах. Руки были в сплошных синяках, правая щека покрыта коркой запекшейся крови, блузка разорвана. Ей разрешили взять все свои вещи — сумочку с носовым платком и ломтик хлеба, который она не успела съесть в обед. После этого ее перевели в соседнюю камеру.

В четыре утра Илгу увезли из тюрьмы. На стене камеры осталась еле заметная, выцарапанная заколкой Для волос надпись:

«Здесь провела свою последнюю ночь студентка 3-го курса Латвийского государственного университета — Илга Заринь. Дорогие друзья, завтра меня расстреляют. Да здравствует Советская Латвия!»

Тюремщики ее не заметили.

В этот день допросы начались сразу после утренней уборки. В камеру вошло несколько гестаповцев.

— Кто здесь коммунистки и комсомолки, выходите! Встать у дверей!

Из толпы вышли две девушки, вернее девочки, и встали у двери.

— Так мало? — удивился один. — А остальные что? Ну, не стесняйтесь, нам ведь все известно. Кто признается сам, тому будет смягчено наказание. — Взгляд его остановился на Эстер Каган. — Ты что стоишь, жидовская барышня? Тоже из коммунисток? Выходи и ты. Двух нам сегодня маловато.

Он показал еще на двух пожилых женщин — работниц текстильной фабрики. Затем всех увели.

«Опять будет играть радио», — подумала Ингрида.

Так и случилось.

После обеда их привели обратно, но только четверых. Одна работница умерла под пытками. Эстер Каган забилась в угол камеры и несколько часов лежала, не проронив ни слова, ни на кого не глядя. Припав лицом к нарам, беспрерывно вздыхала маленькая комсомолка, а подруга нежно поглаживала ее по голове и шептала:

— Не плачь, Анныня, теперь уже все хорошо. Я же тебе говорила... Больше нас мучить не будут.

Их оставили на ночь в камере, а на допрос увели четырех новых. Когда гестаповец выкрикнул фамилию Ингриды, она даже не испугалась и сразу собралась. Сумочку она оставила Эстер Каган. Молодая, сильная девушка

за ночь немного ожила и, хотя все тело у нее болело от вчерашних побоев, сегодня снова была в состоянии улыбнуться и сказать подруге несколько ободряющих слов.

— Выше голову, Ингрида. Мы сильнее их.

— Я ведь и не боюсь, Эстер.

Сначала допрашивали других. По одной вызывали в камеру, и сквозь толстые каменные стены слышны были стоны истязаемых и выкрики следователей.

— Теперь вы! — Гестаповец кивнул Ингриде. У нее в ушах зазвенело. «Что бы с тобой ни делали, ни на минуту не забывай, что ты комсомолка, — мысленно повторяла она себе, входя в камеру. — Комсомольцы никогда не просят пощады».

Окно довольно большой продолговатой камеры было завешено толстым войлоком. У стены стояла длинная, обитая клеенкой скамья, как в общественных банях. В углу у окна — стол с письменными принадлежностями. За столом сидели Освальд Ланка и писарь в эсэсовской форме. У двери стоял солдат в куртке с засученными рукавами и жадно сосал сигарету — начальник разрешил ему курить во время перерыва. На полу, на скамье, на стенах — повсюду виднелись темные брызги крови.

— Комсомолка? — спросил Ланка.

— Нет, я не комсомолка.

— Нам известно, что вы комсомолка!

— У комсомольца должен быть членский билет, у меня его нет.

— Расскажите, сколько человек вы выдали чека? Где находятся ваши сообщники и как их имена? С какими заданиями оставили вас большевики в Риге? Где находится руководство вашей подпольной организации?

Ингрида пожала плечами.

— Как я могу сказать то, чего не знаю...

— Значит, не хотите признаваться?

— Мне не в чем признаваться.

Ланка кивнул солдату. Тот подошел к Ингриде и, схватив за локоть, потащил к скамье, хотя она и не думала сопротивляться.

Все время, пока ее истязали, Ингрида думала о доме. Она старалась вызвать в памяти самые ранние воспоминания детства. Поездка на Взморье, когда она в первый раз увидела море и не знала, что делать — испугаться или обрадоваться... Потом школа... Маленькая Ингрида облила чернилами тетрадку и платье и горько рыдает... Она мысленно разговаривала с матерью, с Имантом, с покойной сестрой. «А помните? Помните?» А где-то далеко что-то происходило с ее телом. Ее били, ломали

ей руки, и, когда Ингрида уже не могла не думать об этой нестерпимой боли, она потеряла сознание.

Ее облили водой, поднесли к носу пузырек с нашатырным спиртом. Едва она открыла глаза и обвела камеру осмысленным взглядом, как Освальд Ланка возобновил допрос. Ингрида больше не слушала его, прощалась с Айей, с подругами. «Будь покойна, Айя, тебе не придется краснеть за свою воспитанницу. Я очень мало сделала в жизни, и не моя это вина. Но я умираю честно...»

Долго еще пытали Ингриду. Она несколько раз теряла сознание. Наконец, Ланке надоело.

— Оденьте ее и уведите, — сказал он своим ассистентам. — Бесплезно продолжать допрос. Давайте следующую.

Не переставая играла музыка. Когда замолкал репродуктор, начинал трещать патефон. После окончания допросов в специальную камеру пришли двое солдат с метлами и ведрами и долго терли и отмывали забрызганный кровью пол.

В тот вечер Ингриду, Эстер Каган и еще шесть женщин перевели в соседнюю камеру.

Ни одна из них не уснула в ту ночь. На нарах всем места не хватило, поэтому те, кто был посильнее, расположились на полу. Обе маленькие комсомолки, сдвинув головы, тихо-тихо перешептывались. Эстер Каган сидела рядом с Ингридой и рассказывала о своем брате, который в 1937 году был в Испании — сражался в Интернациональной бригаде за республику.

— Когда он уходил с рабочегвардейцами из Риги, я дежурила на работе... Я не могла уйти... надо было остаться с матерью. Она уже второй год не встает — у нее острый ревматизм. Четвертого июля меня арестовали, когда я стояла в очереди за продуктами. Бедняжка мама думает, наверно, что я ее бросила. Умрет и не узнает, что со мной случилось.

«Я тоже умру, и никто не узнает, где моя могила, — думала Ингрида, — никто не положит на нее цветов. Только будет осыпаться хвоя, потом песок покроется мхом. Но почему это так? Ах, что я спрашиваю?.. Потому, что мы верим в правду и любим ее и хотим счастья для всех людей. А они думают, что если убьют нас, то и правды больше не будет. Они глупые и трусливые, — разве можно убить нас всех? За нас жизнь стоит...

Но как бы я хотела увидеть, как будет на земле, когда мы победим и весь мир станет свободным!.. Как это будет? Наверно, все будет петь, везде будут цветы, и солнце... В тот день ни одно облачко не посмеет заслонить солнце.

Мамочка, бедная моя, теряешь нас одну за другой, тогда Арию, сейчас меня. Неужели у тебя не останется и Иманта? Будь сильной, мамочка, скоро у меня ничего не будет болеть... никогда больше не будет болеть... Я знаю, ты часто будешь обо мне думать. Не плачь, милая, погляди на меня: вот я улыбаюсь.

Увижу ли я еще звезды? Может быть, тогда они уже погаснут и небо будет серое, облачное? Легче бы умереть в звездную ночь, глядя в глаза вселенной... она вечная, ее никто не в силах уничтожить. Если бы это произошло на берегу моря, чтобы шумели волны и летели белые чайки — свободные белые птицы...

Смогу ли я тогда думать вот так, как сейчас? И очень это трудно?»

Медленно текли часы. Тихий шепот и дыхание спящих убаюкивали Ингриду. Живое тепло струилось от мягкого плеча Эстер. «Какая она красивая, сильная... Любила ли она кого-нибудь? И что это — любовь? Может быть, и я полюбила бы, нашла среди миллионов людей единственного, самого лучшего друга?»

— Эстер, мы ведь не будем спать?

— Да, Ингрида... мы отдохнем потом. Тебе очень больно?

— Я сама не знаю, Эстер.

— Обопрись на меня, удобнее будет.

В углу шептала маленькая комсомолка:

— Ты молодец, Анныня, что не плачешь. Теперь не надо больше плакать. Пусть они не узнают, что тебе жалко умирать.

В стороне сидела пожилая работница. Она так глубоко задумалась, что сама не замечала, как ее губы шептали: «Придет время, когда вернутся наши. Они потребуют с них ответа. Сталин думает о нас...»

Каждый звук в утихшем корпусе превращался в раскатистый гул. Издалека, от станции Брасла, доносился свист паровоза и стук вагонных буферов. Где-то пищали мыши. Где-то гремел замок. Скрипя открывались двери. Коридор наполнялся людскими голосами и топотом сапог.

Эстер нащупала локоть Ингриды и сжала его.

— Вставай, Ингрида. Теперь уже недолго.

Серый корпус затаил дыхание. Молчали погруженные в темноту камеры, пока смертницы проходили коридором и спускались по лестнице во двор. Но когда заскрипели ворота и черная автомашина, подсакивая на

бульжной мостовой, выехала на улицу, — тихий шепот пронесся по тюрьме:

— Опять увезли... Куда их повезли? Скоро и наша очередь...

Черная машина быстро катилась по замершим улицам. Все еще спали. Только ночные сторожа и постовые полицейские глядели вслед «черной Берте». Машина свернула в переулок, к железнодорожному переезду. От асфальтированного шоссе налево, к сосновому лесу, вела проселочная дорога. Машина сбавила скорость, ее поминутно подбрасывало на корнях деревьев. Минут через пять она остановилась. Высокие старые сосны шумели на утреннем ветру. Солнце еще не взошло, и лесные птицы молчали. Машину окружили солдаты с автоматами, они приехали раньше и ежились от холода.

Выйдя из машины, Ингрида глубоко вдохнула прохладный утренний воздух. Она посмотрела на небо и разыскала меж вершинами сосен две звездочки. Все остальные потухли, но эти две еще светились, как маленькие золотые зернышки. И до тех пор, пока их можно было видеть сквозь ветви сосен, Ингрида глядела на них и думала о бесконечных пространствах, которые лежали между ней и теми таинственными мирами. Потом грубый голос скомандовал идти.

На голом песчаном склоне дюны была вырыта яма. Все восемь женщин стали с краю, лицом к могиле. За их спинами раздавались шаги, позвякивал металл, когда солдаты взводили затвор автомата. С правой стороны ямы были воткнуты в песок две лопаты.

Вставай, проклятьем заклейменный,
Весь мир голодных и рабов...—

раздался вдруг уверенный голос пожилой работницы. К нему сразу присоединились семь других голосов, и все смелее лились над могилой звуки благородного гимна борьбы. Это уже были не обреченные на гибель существа, чье бессилие веселило сердца палачей, — отряд бойцов, малый по своей численности, но великий и несокрушимый в своей вере и стойкости, утверждал непреложность своей победы.

Треск выстрелов прервал гордую песню. Восемь окровавленных тел упали на дно ямы, и палачи торопились скорее засыпать могилу, пока еще не взошло солнце. Солдаты утоптали рыхлый песок и сверху набросали сосновых веток и шишек, чтобы это место ничем не выделялось.

Потом черная машина уехала обратно в город. В спешке солдаты

забыли на месте казни одну лопату, и она лежала там несколько дней, пока ее не нашли люди, собиравшие в лесу грибы. Так узнали об одинокой могиле, которая появилась за городом в ночь с шестого на седьмое сентября 1941 года.

Солдаты ушли. Взошло солнце, проснулись и запели птицы. Пестрый дятел стучал по дереву, отыскивая под корой древесных жучков. Рыженькая белочка пересекла дорогу и обежала братскую могилу. Присев на хвост, она взяла в лапки шишку и стала лущить ее острыми зубками, потом молниеносно взвилась на старую сосну. Там она долго умывалась, нежась в ярких лучах утреннего солнца.

Об аресте Ингриды Анна Селис узнала от дворника. Отчаяние сделало ее настойчивой, упрямой — все свободное от работы время она разыскивала следы дочери. Ее не могли запугать ни грубые ответы, ни издевательские вопросы немецких чиновников, она по несколько раз приходила в одно и то же учреждение, она расспрашивала знакомых, у которых были арестованы близкие, и постепенно выяснила все. Несколько суток Ингриду держали в ужасных подвалах на улице Реймера, после этого перевели в префектуру, а в середине июля вместе с большой группой женщин погнали в пересыльную тюрьму. Анна Селис теперь каждый свободный день направлялась к станции Брасла и узнавала адреса тех редких счастливых, которым удавалось выйти из тюрьмы. Шепотом они рассказывали про голод, который царил в тюрьме, про пытки и унижения, которым подвергались заключенные женщины, про жестокости обернадзирателя, кровавого пса Лаукса, про заведующего хозяйством Лиепиня, про молодчиков из «зондеркоманды».

Около середины сентября Анна Селис получила последние сведения о дочери: только что выпущенная из тюрьмы женщина сказала, что в общей камере ее уже нет, — больше она ничего не знала. В это время прошел слух, что тюремная администрация разрешила родственникам заключенных приносить передачи. Анна уложила в корзинку весь свой недельный паек и в серый, дождливый день пошла к тюрьме. У ворот уже было двое: мужчина в очках и сгорбленная старушка с костылем. У обоих были корзиночки в руках. Понурившись, они стояли молча. — Возле ворот уже появился шпик и приставал с расспросами: чего они ждут? По какому делу арестованы их родственники? Анна Селис делала вид, что не слышит.

Прижавшись к каменной стене, она думала одну и ту же думу. Корзиночку Анна держала под шалью, чтобы не размок от дождя хлеб. Сама она успела промокнуть до нитки.

Наконец, ворота растворились и подвыпивший надзиратель спросил, чего они ждут.

— Нам сказали, что есть разрешение приносить продукты, — сказала Анна.

— Кто вы такая? Кому вы принесли?

Анна Селис рассказала. Подошел и мужчина. Он учитель, фамилия его Заринь, принес продукты своей дочери Илге. Старушка хотела передать своей дочери, работнице-текстильщице, большую репу — это все, что она могла достать.

Надзиратель захохотал.

— Никакие передачи не разрешаются. Кто вам рассказывает такие сказки? Да и напрасно вы разыскиваете здесь своих дочерей. Они... их надо совсем в другом месте искать. У нас, как в гостинице: свое время прожил, и дальше — или домой, или еще куда... кто что заработал.

— Скажите, где моя дочь? — спросил учитель. — Илга Заринь... Она совсем еще девочка, светловолосая такая. Вы, наверное, знаете.

— Знаю, знаю, как не знать... — Надзиратель вдруг испугался, что наболтал лишнего, и начал ругаться. — Убирайтесь-ка вы подальше. Здесь вам не базар и не справочное бюро. Не обязан я знать про каждого коммуниста, куда он девался. Ступайте у префекта спрашивайте. Ну, живей, живей уходите!

Он захлопнул ворота.

— Пропала моя доченька... пропала... — заплакала Анна Селис. — Замучили. За что? Как они смели?

Дождь продолжал лить. Три одиноких человека, опустив головы, шли по дороге, у каждого в руках была корзиночка. И хоть невелика была тяжесть в этих корзиночках, но им казалось, что они наполнены свинцом, что в них заключено бремя всего земного горя.

— Да как же это так? Убить мою доченьку? — повторяла Анна Селис. Встречные издали давали ей дорогу, принимая ее за помешанную. Придя домой, она обошла все углы и перебрала каждую вещичку Ингриды. Она перелистывала ее школьные тетрадки, долго-долго вглядываясь в почерк своей девочки. Она гладила старую железную кровать, на которой Ингрида спала последние четыре года, — на матрасе так и осталась впадина. Отражение Ингриды глядело на мать из каждой вещи.

Анна Селис никак не могла постичь того, что Ингриды нет и никогда

больше не будет. Вот-вот, кажется, распахнется дверь и на пороге появится ее светлая милая фигурка:

«Мамуся, я опять дома».

Упала на кровать и все плакала, пока не обессилела от рыданий. А когда стрелка часов стала приближаться к пяти, она поднялась, вытерла слезы и надела рабочий халат. Пора собираться в ночную смену.

Корзиночка так и осталась нетронутой на кухонном столе.

В прачечной Анна никому не сказала ни слова, но и без того все видели, что у нее большое горе. Никто не приставал к ней с вопросами, все замолкали, глядя на ее лицо. Только к утру, когда смена кончила работу, одна женщина подошла и спросила, не надо ли ей чем помочь.

Анна Селис покачала головой.

— Нет, милая... никто мне больше не поможет. Нет моей Ингриды...

Женщины переглянулись и тихо разошлись. Только та, которая заговорила с Анной, погладила ей руку и сказала:

— Мы все понимаем. Не надо прятать от нас свое горе. Ты не одна, тебя никогда не оставят одну.

Днем к Анне зашел контролер снять показания счетчика. Он не спеша выписал счет, отдал Анне и попросил разрешения выкурить папиросу.

— У вас большое горе, товарищ Селис, — вдруг заговорил он. — Гитлеровцы убили вашу дочь.

Анна посмотрела на него недоверчивым строгим взглядом.

— Так что же? Какое вам дело до этого?

Контролер взял ее за руку и крепко пожал.

— Не бойтесь, я не шпион, я ваш друг и товарищ. Можете не доверять мне, я на это не обижусь. Вы не рассказывайте мне ничего, только выслушайте и не удивляйтесь моей откровенности. Человек, у которого гитлеровцы отняли и убили ребенка, не может быть их другом. Я это знаю и потому так разговариваю с вами. Да, большое горе. Но слезами не победить несправедливости. Надо бороться, отплатить врагам. Пусть они не чувствуют себя здесь хозяевами. Пусть они дрожат перед нашей ненавистью. Пусть видят, что ни одно преступление не останется безнаказанным. Раньше или позже — мы их победим, но победа не придет сама собой. За победу надо драться. А драться может каждый — там, где он находится, и так, как он может. И вы это можете. Я знаю, что вы будете это делать хотя бы в память погибшей дочери. Не сейчас... Теперь еще не время. Вам надо выждать несколько месяцев, пока улягутся их подозрения и они перестанут следить за каждым вашим шагом. Тогда я опять приду, а если не смогу, придет еще кто-нибудь. Если он скажет, что его прислал

«Дядя», — значит, от меня. Не падайте духом, товарищ Селис, надо выдержать. А если вам будет нужна помощь, приложите к стеклу, вон в том окне, сложенную газету. Тогда мы будем знать. До свиданья, товарищ Селис.

Он пожал ей руку и ушел. Анна села к окну и долго глядела вдаль.

«Слезам не победить несправедливости. Верно, как он верно сказал. Пусть они дрожат перед нашей ненавистью. Пусть дрожат... Только зачем я буду ждать столько времени? Почему не сейчас? Не могу я ждать... Нет, наверно, он лучше знает, что делать».

Выйдя из квартиры Анны, Роберт Кирсис пошел проверять счетчики по другим квартирам. В эти дни у него было много работы, всюду множился счет обид и горя народного.

Екаб Павулан опять работал на заводе, но теперь уж он не руководил цехом. Он становился у своего станка и работал как раз столько, сколько было нужно, чтобы не прогнали с завода. Никаких норм он больше не перевыполнял, а изобретенные им приспособления были незаметно убраны и валялись где-то среди лома.

Управляющим на заводе стал инженер Лоренц. Тот, конечно, знал кое-что об изобретениях Павулана, но, по-видимому, не особенно заботился об увеличении продукции: во всяком случае он никогда не упоминал о пропавших приспособлениях. Когда Екаба Павулана вызвали на допрос, Лоренцу удалось доказать, что завод не сможет нормально работать без лучшего токаря: если Павулана арестуют, то некому будет обрабатывать самые сложные детали. После этого «фюрер» по хозяйственным делам позвонил в полицию и добился того, что старого токаря отпустили под поручительство инженера Лоренца. Два раза в месяц Павулан должен был отмечаться в полицейском участке, а однажды ночью у него сделали обыск. Ничего подозрительного не нашли и ограничились допросом стариков. Где находится дочь Мара Павулан? Когда она последний раз была у родителей? Не знают ли они, куда делось ее имущество? С кем дружила Мара при большевиках и где сейчас ее друзья?

Старики знать ничего не знали. Дочь они видели только в первые дни войны, жила она отдельно, у родителей бывала редко и про своих друзей не рассказывала.

Однажды вечером к Павуланам зашел контролер снять показания

счетчика. Разговорились. Контролер знал многое, о чем немцы в своих газетах не писали. Фронт продвинулся совсем не так далеко, как объявлялось в информациях гитлеровского генерального штаба. В Смоленской области, у Ельни, Красная Армия только что нанесла немцам такой удар, что им пришлось перекраивать все свои планы. Здесь, в Латвии, спокойные дни для гитлеровцев тоже кончаются: в лесах действуют партизаны, поезда с военным снаряжением летят под откосы, целый караван барж на Даугаве пошел ко дну со всем грузом, в Риге на улицах находят трупы немецких офицеров и солдат. На некоторых фабриках все время ломаются машины и станки, возникают пожары, производится брак, а до причин никто не может докопаться. Латышский рабочий понимает, что, трудясь на немцев, он кует кандалы себе и своему народу, поэтому и производит брак, поэтому выходят из строя машины, возникают пожары...

Уходя, контролер сказал:

— Без борьбы нельзя победить. И нам надо бороться. Каждый час, который мы отрываем от рабочего дня, идет на пользу Красной Армии. Не думайте, что ваша дочь не борется по ту сторону фронта. Она помогает Красной Армии и уверена, что то же самое делает и ее отец. Разве иначе может быть, товарищ Павулан?

— Вы знаете что-нибудь про Мару?

— Я знаю про всех, кто ушел вместе с Красной Армией. Они шлют через фронт привет своим близким и говорят: «Не поддавайтесь немцу, не падайте духом, не теряйте веры в наше дело — мы придем обратно и принесем народу свободу».

— Мы духом не падаем. Только ведь сами знаете, как нам нелегко.

— Будет еще труднее, и все равно надо выдержать. Но если вам станет слишком уж тяжело или понадобится совет, то прислоните к оконному стеклу сложенную газету. После этого к вам придет человек и скажет, что его прислал «Дядя». Это значит от меня. До свиданья, друзья.

Так работал в те времена Роберт Кирсис. Он появлялся всюду, где были оскорбленные, угнетенные, везде, где нужен был совет и помощь друга. Как факелоносец, шел он сквозь темную ночь, указывая людям путь борьбы за освобождение. Как мудрый сеятель, шел он по полю, повсюду разбрасывая семена борьбы; и там, где падало зернышко правды, через некоторое время появлялся росток, вначале слабый и беспомощный, будто испугавшийся своего появления, но из таких ростков постепенно поднималась могучая нива.

Роберт Кирсис заходил к людям только тогда, когда знал, что они свои или могут стать своими. Но там, где он побывал хоть один раз, там люди

начинали думать о многом и ждали его возвращения. Так это было с Анной Селис, так произошло со старыми Павуланами и учителем Зариным.

«Дядя» всегда находил общий язык со своими собеседниками. В Чиекуркальне он отыскал стариков Спаре, а в Задвинье навестил Рубенисов. Никто не знал, как его зовут, где он живет и когда вернется. Но когда люди находили в своих почтовых ящиках листовку или номер нелегальной газеты, они знали, что «Дядя» не забыл их. Листовки и газеты они прочитывали и сжигали или незаметно оставляли где-нибудь на видном месте, а о прочитанном передавали товарищам и знакомым.

Так над ложью и ужасами начинал звучать голос правды. Смертельная опасность по-прежнему угрожала смельчакам, тела мучеников раскачивались на виселицах, поставленных вдоль дорог и на рыночных площадях; но еще никогда, ни в какие времена не удавалось насилью задушить веру в победу справедливости. Как живучая, неугасимая искра, она тлеет под развалинами, пока не разгорится мощный пожар, который сжигает все злое и несправедливое. Роберт Кирсис был подобен горновому, который раздувает кузнечные мехи, чтобы доставить затаенному пламени свежую струю воздуха.

Глава восьмая

1

Кузнец Жан Звиргзда уже целый месяц жил у сестры Лавизы Биргель в Айзпутском уезде. Ансис Биргель с женой хозяйничали на сорока пурвиетах недалеко от большака Айзпуте — Кулдига; участок был отрезан пятнадцать лет тому назад от помещичьих земель. Посаженный новохозяевами фруктовый сад уже приносил урожай, а строения еще не успели замшеть от сырых ветров, которые прорывались сюда с моря. Землю Биргели всегда обрабатывали сами и лишь во время молотьбы объединялись с соседями и устраивали толоку.

У них было двое детей: четырнадцатилетний Жан, крестник Звиргзды, который весной кончил школу и теперь думал поступить в липайский техникум, и двенадцатилетняя Рита.

Жан Звиргзда жил в доме зятя открыто, на правах родственника, и участвовал во всех работах. Он помогал в сенокос, чинил инвентарь и работал на жнейке, когда созрели озимые. Зятю даже удалось прописать его

в домовую книгу как сезонного рабочего.

Хуже обстояло с Натансоном, которого Звиргзда привел с собой в Биргели. Ему никуда нельзя было показываться. Местные евреи были все до одного арестованы и уведены неизвестно куда, а их имущество растащили молодчики из вспомогательной полицейской службы и айзсарги. Натансона Биргели прятали на повети. На всякий случай сделали лаз, через который можно было опуститься за хлев и уйти в ближний лес.

Два раза в день — утром, когда дети еще не вставали, и вечером, когда они уже спали, — Лавиза Биргель или Звиргзда приносили Натансону поесть и рассказывали новости. Больше всего его удручало вынужденное безделье и невозможность хоть чем-нибудь отблагодарить хозяев.

— Дайте мне какую-нибудь работу, — каждый день просил он. — Неужели в усадьбе не найдется для меня дела?

Биргель хорошо знал, чем рискует, пряча незнакомого, преследуемого немецкими властями человека. Он ставил на карту свою жизнь и благополучие семьи. У дороги, на телеграфном столбе, давно висело объявление уездной полиции, в котором предлагалось местным жителям немедленно сообщать о всех незнакомых лицах; там же были перечислены все виды строгих наказаний за укрывательство этих лиц. «Еще можно понять, почему Биргели приютили Звиргзду, — думал Натансон, — все-таки близкий родственник, свой человек. А что им за дело до какого-то еврея, которого они и видят-то в первый раз?» Однако хозяева и слушать не захотели, когда Звиргзда сказал, что Натансон хочет уйти в лес.

— Человек остается человеком, — сказал Биргель. — За кем немцы гоняются, те, значит, наши друзья. А лишний едок нас не разорит. Когда минуют эти проклятые времена, будет опять делать полезное дело, а пока пусть живет и отдыхает.

Так думала и его жена, так рассуждали и многие соседи Биргеля, которые прятали в клетях и сенных сараях раненых красноармейцев или попавших в окружение советских активистов. Звиргзда слышал, что в одной усадьбе скрывается командир Красной Армии, а в другой хозяйские дочери ухаживают за двумя ранеными моряками.

Разные люди были эти крестьяне, но все они ненавидели немецких захватчиков — вековечных угнетателей латышского народа.

Медленно, однообразно тянулись дни на повети. В щели крыши видна одна и та же картина — луга, пашни, опушка леса. Оставалось одно — думать, вспоминать боевые ночи под Лиепайей, пожары, грохот орудий, убитых товарищей и то могучее вдохновение, которое воодушевляло горстку защитников города. И еще другое — то, что не давало ему покоя ни

днем, ни ночью. В маленькой квартирке на улице Улиха, в которую Натансон переселился только в мае, — там, как птица в клетке, томится Хана, его жена. И месяца не прожили вместе, даже проститься как следует не удалось, — в тот день Натансона не собирались никуда посылать. Раз Хана пришла навестить его — товарищи встретили ее в роще Аспазии, — а он в это время был на переднем крае вместе с тосмарцами и отбивал очередную атаку немцев.

«Если бы мы в последнюю ночь были вместе — вместе ушли бы и из города. Вырыли бы в лесу землянку, запасли бы ягод и грибов и жили бы, никого не обременяя... Я умею плести корзины, Хана хорошо шьет, брала бы через Биргелей заказы у местных крестьянок».

Жива ли она? Что с ней? Могла погибнуть во время бомбежки; могла уехать, когда еще была возможность. Нет, едва ли... Наверно, попала в лапы гитлеровцам и некому даже защитить ее. А он тут прячется в сене и не знает, как убить время. Конечно, здесь можно прожить и год и больше, до самого конца войны. Но на что ему жизнь, если Ханы не станет? И кому будет нужен такой трус? От него тогда все товарищи отвернутся.

Однажды вечером, когда Звиргзда принес ему ужин, Натансон сказал:

— Знаешь, я здесь больше не останусь.

— Почему так? Разве тебя гонят?

— Нет, Жан, относятся ко мне, как к родному, ты сам знаешь. Но я больше не могу, я с ума схожу от неизвестности... Может быть, там жена погибает.

— Ты ей все равно помочь не можешь.

— А если смогу? Если попытаться вывезти ее из Лиепай? Думаю, теперь немцы не так строго охраняют дороги. Понимаешь, Жан? Тогда мы вернемся сюда оба.

Звиргзда не отвечал.

— Какую-нибудь работу себе найдем, на чужой шее сидеть не будем. Уйдем в лес, выроем землянку. Знать будешь об этом один ты, может быть иногда наведишь, посмотришь, как мы живем.

Звиргзда покачал головой.

— Что тут сказать? Удерживать тебя я не имею права. Но на твоём месте я бы еще подождал немного. Через несколько недель зять поедет в Лиепаяу разузнать относительно техникума, хочет отдать туда своего парня. Попросим его сходить к тебе на квартиру, а тогда будет видно, что предпринять.

— Нет, больше ждать я не могу, и так сколько времени прошло. Буду соблюдать осторожность, без нужды на рожон не полезу, а Лиепаяу я знаю

как свои пять пальцев. Вот о чем попрошу тебя — обрей мне голову, чтобы гитлеровцам в глаза не бросался. Не беспокойся, Жан, дней через пять мы с Ханой будем здесь, вот увидишь.

Уговаривать его было бесполезно. Звиргзда принес бритву, мыло, горячую воду и при свете свечи сбрил Натансону бороду и волосы. Лавиза приготовила на дорогу хлеба и масла, дала пару новых носков и чистый носовой платок, а Биргель подробно объяснил, в каких усадьбах можно без опаски наводить справки относительно обстановки.

В полночь Рубен Натансон распротился с Биргелями и Звиргздой. Ночью можно было идти по шоссе, а днем он решил укрываться где-нибудь в лесу.

«Безумие, чистое безумие», — повторял про себя Звиргзда.

2

Двое суток пробыл Натансон в пути. Шел он больше ночью, а днем на несколько часов забирался отдохнуть в лесную чащу или в кустарник, не слишком далеко от дороги. Ночи были холодные, с заморозками, как водится в начале сентября. Птицы собирались в стаи и готовились к отлету, листва на деревьях пожелтела и начала опадать.

На третий день утром крестьянин, везущий в Лиепаяу молоко, посадил Натансона на подводу и довез до самого города. Непривычное чувство страха овладело Натансоном, когда он встретил первого немецкого солдата. В городе их было полным-полно, на каждом шагу попадались серо-зеленые фигуры, слышалась чужая речь. Проходя по мосту, Натансон увидел у причалов несколько пароходов. Был ранний час, люди шли на работу. Изредка встречались евреи с нашитыми на одежду желтыми звездами, с надписью на рукаве «Jude»^[10]. Они ходили посередине мостовой, опустив голову, и не смели перейти на тротуар, даже когда им угрожала машина или повозка. Каждый серо-зеленый завоеватель мог плюнуть им в лицо, мог ударить.

Узкими малолюдными переулочками шел Натансон к своему дому. Коричневый пиджак домотканного сукна, который дал ему Ансис Биргель, сослужил службу — Натансона все принимали за крестьянина и не обращали на него внимания. Вот и дом. Он без колебания вошел в ворота, пересек тесный темный двор и поднялся на третий этаж. Ключ от квартиры у него сохранился — так с 23 июня и пролежал в кармане.

Рука у него дрожала, ключ никак не попадал в скважину. Наконец, он

вошел в душную переднюю. На вешалке висело его поношенное летнее пальто и жокейка. Пальто Ханы не было. Натансон запер за собой дверь, неслышными шагами обошел квартиру. Больших перемен за это время не произошло. В кухонном окне не хватало одного стекла, вместо него был вставлен кусок черного картона. «Наверное, вылетело от воздушной волны». В комнате на тахте, как и раньше, лежали аккуратно свернутое ватное одеяло и несколько подушек. Только на этажерке не хватало многих книг да со стены исчезли портреты.

Квартира была пуста, но пыли не было ни на полу, ни на мебели. «Подожду до вечера. Наверно, Хана на работе или в очереди у лавки».

Натансон развернул одеяло и растянулся на тахте. За эти двое суток он так устал и продрог, что тут же крепко уснул.

Его разбудило прикосновение теплой руки. Он открыл глаза, — над ним склонилось милое, похудевшее лицо Ханы. Она сидела рядом, смотрела на него, а по ее лицу бежали слезы.

— Рубен, милый... Ты живой, ты пришел... Как хорошо, что мы опять вместе. Теперь я ничего не боюсь. Милый, а они не знают, что ты пришел? Никто не видел, как входил? Здесь так страшно, Рубен, я не знаю, выдержу ли...

Он поднялся, обнял Хану и стал успокаивать ее. Быстро, бессвязно рассказывал о последних боях, о том, как они с товарищами скрывались в лесах, о жизни у Биргелей, о том, как он тосковал по ней. Хана всхлипывала и дрожащими пальцами гладила его по лицу.

— Рубен, милый... если бы ты знал, какие они звери... Сразу, как вошли, начали убивать. Все советские работники и активисты перебиты... тысячи людей. В парке Райниса — помнишь траншею, которую мы рыли? — они в нее убитых бросали. Каждое утро расстреливали, пока доверху не наполнили. Когда трупы начали разлагаться, немцы согнали евреев и заставили выкапывать тела и перевозить на дюны. Потом, когда они кончили работу, — их всех расстреляли. В конце июля каждый день расстреливали мужчин евреев. Велят утром собраться на Пожарной площади, будто бы на работу. А когда соберутся, гонят в тюрьму и всех расстреливают. На дюнах, у маяка — везде полно трупов. Скажи, Рубен, неужели они не насытятся? И почему они так ненавидят евреев?

— Одних ли евреев? Фашисты — человеконенавистники...

— Что это такое — ловить людей на улице, как бешеных собак? Даже в квартирах не оставляют в покое: врываются, избивают, грабят, выгоняют вместе с детьми. Дирижера театрального оркестра Вальтера убили во дворе возле мусорной ямы, на глазах у соседей. И там же во дворе зарыли. Меня

несколько раз гоняли на работу. Если бы ты знал, что мне приходилось делать! Несколько дней вытаскивала трупы из развалин на площади Роз. И продовольствия не дают — говорят, живите старыми запасами. А какие запасы, — я ведь ничего не запасла. Видишь, у меня на пальто нашиты звезды? Без них нельзя показываться на улице, иначе арестуют и расстреляют. Господи, как хорошо, что ты со мною. Уйдем скорее из города, не то нас убьют. Я не могу больше смотреть на них. Когда-нибудь не выдержу и плюну в лицо какому-нибудь немцу. Ох, Рубен, я должна сказать тебе...

— Успокойся, моя бедная, измучили тебя как... Теперь опять все будет хорошо. Мы уйдем из Лиенау и будем жить в лесу. Там до нас ни один немец не доберется. У нас будут хорошие друзья, они нам помогут, а мы будем жить охотой и рыбной ловлей, как Робинзоны.

Но Хана не улыбалась.

— Нет, все-таки расскажу... Лучше бы в другой раз, тебе и так тяжело. Но я не могу иначе. Слушай. Однажды мы работали на дюнах... там было много евреев — женщин, подростков, стариков. Немцы все время смотрели на меня, как волки. Я никуда не могла уйти, мне надо было рыть ров. Потом они позвали меня... сказали, что дадут другую работу. За дюной, только в нескольких шагах от остальных рабочих... я слышала, как звенели лопаты... Рубен, их было много, что я могла поделаться! Они схватили меня, зажали рот... Все четверо... Так они поступают почти с каждой молодой еврейкой. Ох, Рубен, я боюсь, что ты теперь будешь презирать меня...

Натансон слушал ее, низко опустив голову. Когда она замолчала, он обнял ее, прижался щекой к ее пылающему лицу.

— Почему ты ничего не говоришь, Рубен? О чем ты думаешь?

— Надо мстить им, Хана.

...Уйти они решили в тот же вечер. Хана надела поверх легкого летнего платья темную шерстяную юбку и осеннее пальто, споров с него желтые звезды. Они ничего не взяли из вещей, чтобы не возбудить подозрений. До моста шли врозь, по разным сторонам улицы. Хана перешла мост и подождала Рубена в том месте, где трамвайная линия поворачивает от набережной в липовую аллею. Здесь их и заметил агент полиции, который слонялся около остановки, будто бы дожидаясь трамвая. Он видел, как два человека, мужчина и женщина, которые до того шагали по разным сторонам улицы, сошлись и, не поздоровавшись, продолжили путь вместе. Это могла быть парочка, условившаяся о свидании, но могли быть и подпольщики, которым темная аллея показалась подходящим местом для явки. Рубен и Хана сумели бы еще ускользнуть от

преследователя, если бы они свернули в первый переулок и постарались замести следы, петляя меж домиками пригорода. Но они ничего не заметили и продолжали идти в сторону Гробиньского шоссе. Они не разговаривали и не оглядывались. Они думали об одном: не обращать на себя внимания, не выдать своей тревоги, держаться так, как будто им ничто не угрожает, — но именно это их и погубило. Когда на перекрестке им загородил дорогу вызванный по телефону полицейский патруль, бежать было поздно.

— Предъявите документы!

Натансон оглянулся назад, на свой город, где он родился и теперь должен был умереть. Солнце только что село. Пурпурово-красным был западный край небосвода, и в этом отсвете человеческие лица тоже казались красными.

Полицейские потащили их в участок. Натансон сказал надзирателю, что им не хватило дров и они пошли собирать шишки.

— Хорошо, хорошо, шишек вы получите достаточно, — сказал надзиратель и, довольный своей остротой, оглянулся на помощников. — Отведите их к прочим жидам. Весьма кстати подошло это пополнение, а? Шишек им захотелось! Куда же это вы дели желтые звезды? Нельзя быть такими стеснительными.

Натансон не стал отвечать.

Ночь они провели в сыром подвале, переполненном людьми. Вповалку лежали на холодном земляном полу взрослые и дети. Были здесь целые семьи и одиночки, ремесленники и интеллигенты. Днем они работали в мастерских, а те, кто не знал ремесла, рыли на дюнах большой глубокий ров.

Многих из тех, кого привели сюда в самом начале, уже не было в живых. На их место привели других, а когда не станет и этих, гитлеровцы соберут остальных, которые, пока им не хватает места в тюрьме, покорно ходят по улицам с желтой звездой на спине и груди. Напрасно думали врачи и инженеры, что немцы пощадят их, захотят воспользоваться их знаниями. Напрасно рассчитывали квалифицированные рабочие на то, что немцам понадобятся их искусные руки. Всех их ждал один конец.

Всю ночь Хана и Натансон просидели без сна, забившись в угол подвала. Их спрашивали, что произошло за последние дни, не слышно ли чего о событиях на фронте.

Натансон ничего не мог ответить, да и Хана знала не больше его.

— Долго они намереваются нас здесь держать? — нервно заговорил какой-то пожилой врач. — Тех, которых увели позавчера, обещали

перевезти в Литву. Говорят, там будет отведен целый район для евреев. Может быть, и нас поселят там до конца войны.

Многие обсуждали неизвестно откуда взявшийся слух, будто Международный Красный крест послал Гитлеру предложение — поселить в одной области, в Польше или еще где-нибудь, евреев всех оккупированных стран Европы и обеспечить международный контроль.

— Тогда немцам придется обращаться с нами по-человечески, — горячился врач. — Ведь существуют же международные конвенции, законы...

— Гитлер плюет на все конвенции и законы. Не для фашистов они писаны, — подняв голову, сказал Натансон.

— Но нельзя держать в заключении невинных людей без следствия и приговора дольше определенного срока. Это незаконно.

Натансон закрыл глаза и притворился уснувшим, чтобы не слышать наивных рассуждений врача. Чудак, сидит в подвале и рассуждает о законности, о правах, когда жизнь на глазах разбивает всякие иллюзии и мудрствования философов. Справедливость есть, это она перемалывает на востоке гитлеровские полчища. Это единственная самая крепкая надежда человечества — великое советское государство. Выдержит оно, победит — тогда цивилизация будет спасена. Не выдержит — рабство и истребление ждут человечество.

Страстно хотелось быть там, на фронте. Как легко умереть свободным, с мыслью, что ты выполнил свой долг перед будущими поколениями. Это не то, что плесневеть в темном подвале, отсчитывать часы, которые тебе разрешают дожить.

Он гладил руку Ханы и все спрашивал, не холодно ли ей. Трудно было дышать в спертom, затхлом воздухе подвала.

Подняли их рано.

— Собирайтесь! На работу! — кричали надзиратели.

В холодное после ночного мороза утро их выгнали во двор. Там уже стояли грузовые машины. Женщинам приказали взять с собой детей, вместе с молодыми сажали и больных и стариков. С шумом и лязгом побросав в кузова машин лопаты, солдаты влезли в них сами и приказали всем сесть и не переговариваться. Холодный сентябрьский ветер резкими порывами несея навстречу. Матери крепче прижимали к себе детей, чтобы не замерзли.

Накануне здесь вырыли глубокий и широкий, метров в семьдесят длиною, ров. В сущности говоря, его почти не пришлось рыть в глубину, просто воспользовались для этой цели ложбиной между двумя валами дюн. Землекопы только выровняли скаты, чтобы они стали круче, и очистили дно ложбины. Внешний, обращенный к морю вал был выше внутреннего. По его скату вдоль всего рва шла узкая, не шире двух футов, терраса. Если взрослый человек становился на эту террасу лицом к морю, он мог через гребень дюны увидеть пляж и набегающие на него волны моря.

Машины остановились в пустынном месте, метрах в тридцати от берега. В конце ложбины, где дно образовало маленькую площадку, заросшую осокой и оленьим мхом, горел небольшой костер. Несколько шуцманов и матросов германского военного флота грелись вокруг него. Везде валялись пустые коньячные бутылки.

Солдаты велели всем сойти с машин и подождать, пока установят сторожевую цепь. Врач сразу узнал это место.

— Мы вчера рыли здесь оборонительный ров, — сказал он Натансону. — Сегодня, наверно, будем продолжать.

Шуцманы взяли лопаты и отнесли их ко рву. Распоряжался какой-то штурмбанфюрер. Матросы, эсэсовцы и шуцманы с подчеркнутым рвением выполняли каждое его приказание. Они спешили. Штурмбанфюрер был недоволен и ворчал, что не все подготовлено и теперь приходится терять время на всякие пустяки.

— Кажется, это сам начальник гестапо — Киглер, — сказал врач. — Тот самый Киглер, который сказал, что лучше расстрелять десять невинных, только бы не оставить в живых одного красного.

С моря дул холодней северо-западный ветер. Заключением разрешили погреться у костра. Они сели на мох; подростки таскали хворост, старики стоя протягивали к огню окоченевшие руки. Натансон с Ханой сидели поодаль и наблюдали за загадочной суетой на дюнах. Несколько солдат-автоматчиков ушли к морю и расположились у вырытого вчера рва. И в кустах чернотала и на каждом пригорке стояли вооруженные посты. Метрах в тридцати от костра штурмбанфюрер с матросами и шуцманами осматривали довольно большую ровную площадку. Потом эсэсовцы и матросы оцепили ее полукругом, встав на расстоянии десяти шагов один от другого.

— Рубен, — шепнула Хана, — мне страшно. Почему они так смотрят на нас? Ничего не говорят, точно подстерегают...

— Наблюдает... — Натансон погладил ее посиневшую от холода руку. — Слышишь, как шумит море? Посмотри на чаек — совсем не боятся

людей.

— Они не знают, что это немцы. Тогда бы они улетели на необитаемый остров. Если бы я была чайкой, так бы и улетела отсюда. Жаль, Рубен, что у нас нет крыльев.

— Да, Хана, жаль...

Мрачное, серое утро. Низко-низко над морем громоздились глыбы облаков, и волны, бурля, набегали на берег.

Натансон вспомнил детство. Сколько раз, бывало, он бродил здесь со своими друзьями мальчишками, с каким азартом разыскивали они красивые ракушки и кусочки янтаря. Особенно после бури — всегда найдешь что-нибудь любопытное. Иногда море выбрасывало обломки судна: сломанную мачту или спасательный круг, а однажды осенью у самой кромки берега они увидели труп финского моряка... На поясе у него висела финка, красивая, в ножнах, но никто из мальчишек не решился взять ее; так, наверно, его и похоронили с финкой.

Сюда Рубен с Ханой ходили на свидания. Какая ни была погода — ветер, дождь, — им все казалось, что сияет солнышко. Он поцеловал ее в первый раз тоже на берегу моря. Хана хотела убежать, он ее догнал, и потом они до поздней ночи гуляли по пляжу, мечтая о будущем. Море осталось прежним, те же и дюны и чайки, только в них самих ничего не осталось от радости тех дней.

— Хана, чувствуешь ты, как я тебя люблю? Кажется, еще никогда так не любил, как сегодня.

— Мне так хорошо с тобой, Рубен.

— Мне тоже, Хана. Теперь мы всегда будем вместе. Никто не разлучит нас.

И вдруг резкий, хриплый голос, сияющийся перекричать шум ветра и моря:

— Встать! Перейти на площадку у кустов!

Со стоном поднимались женщины, брали на руки детей и шли к оцепленному месту. Устало плелись мужчины и старики. Только бесстрашные подростки с любопытством оглядывались по сторонам, — им все было интересно. Когда толпа перешла на площадку, тот же эсэсовец крикнул по-латышски:

— Раздеться!

Люди в недоумении смотрели друг на друга. Кто-то несмело возразил:

— В такое холодное время можно и одетыми работать...

— Прикрой хайло, обезьяна! — крикнул эсэсовец и, подбежав к говорившему, ударил его по лицу рукояткой револьвера. Человек

покачнулся, по лицу, по груди потекла кровь. — Нам твоя работа не нужна, а одежду брать в могилу не дадим. Ну, чего? Просить вас надо? Живей раздеваться! Догола!

Оглядываясь друг на друга, люди начали раздеваться. Сняв верхнюю одежду, женщины остановились в нерешительности. Матросы и эсэсовцы гоготали над их стыдливостью и заставляли снимать белье. Хана пыталась спрятаться за Натансона и кутала плечи в головной платок, но ее заметили, вытащили за руку вперед.

— Не стоит стыдиться, — зубоскалил матрос. — Теперь это ни к чему.

От толпы отделили восемь человек, и два эсэсовца увели их к внешнему валу могилы. Дрожа от холода, остальные прижимались друг к другу и молча слушали бесстыдные замечания. Штурмбанфюрер медленно обошел кругом толпу и, выбрав наиболее интересные на его взгляд группы, велел их сфотографировать. Вся земля была покрыта мужской и женской одеждой, — заключенных отвели немного в сторону, чтобы шуцманы могли рассортировать ее по качеству.

На дюнах прозвучала длинная, трескучая очередь. Несколько вскриков, стонов... И опять все стихло, не утихали только ветер да море.

— Следующая восьмерка! — кивнул штурмбанфюрер.

Шуцманы отделили от толпы новую группу и приказали идти на дюны. Натансона с Ханой поставили в третью очередь. Вместе с ними погнали целую семью: мужа, жену, двух детей — младшего мать несла на руках — и двух стариков. Когда жена выбилась из сил, муж взял у нее сынишку и, прижав его к груди, побрел по вязкому песку. Хана и Рубен, все время держась за руки, первыми достигли террасы по ту сторону рва. Шестнадцать окровавленных тел уже лежали на дне. Восемь живых людей через гребень дюны глядели на море. Взрослые не оглядывались — это было запрещено. Только шестилетняя девочка, державшаяся за руку матери, не утерпела и через плечо заглянула в ров, на лежащие в странных позах тела, на матросов, которые стояли по другую сторону и что-то делали со своими автоматами.

Натансон все глядел, глядел на море. Прижавшись к его плечу, Хана возбужденно шептала:

— Зачем нас убивают? Ведь это им так не пройдет, скажи, нет?

— Они ответят, Хана. Наши друзья вернутся, все узнают. Крепись, милая, это совсем не страшно.

— Я не...

За спиной грянули выстрелы. В глазах Натансона море померкло, и все закачалось под ногами. Он еще сделал какое-то движение в сторону Ханы,

но черная, непроницаемая тьма охватила его со всех сторон. На дно рва, на мертвые тела упали семь новых трупов. На террасе осталась только маленькая девочка. Пули, не задевая, пролетели над ее головой. Испуганно смотрела она в ров на своих родителей, на маленького братика, который больше не плакал. Тогда один из гестаповцев с лопатой в руке перебежал на террасу. Расширенными глазами смотрела девочка на чужого страшного человека, ее личико стало кривиться от плача. Гестаповец наморщил лоб, поднял лопату и рассек голову ребенка, потом лопатой же сбросил маленький трупик в ров.

По вязкому песку на дюны подымались следующие восемь человек. Вдали гудели моторы грузовиков — из города прибывала новая партия обреченных. Ров наполнялся быстро.

4

Во второй половине сентября Биргель поехал в Лиепаяю. Поездка была неудачная. Определить сына в техникум не удалось, а в доме на улице Улиха, где Биргель справлялся о Натансоне, ему рассказали про события на дюнах.

Когда Звиргзда узнал об этом, он несколько дней ходил как потерянный. Теперь понятно, почему не вернулся Натансон. Не надо было его пускать, и без него слишком много жертв.

Биргель разузнал и о других друзьях Звиргзды. Все, кто не погиб при обороне Лиепайи, уже в июле были расстреляны в парке Райниса. Может быть, редкие из них, вроде него, скрывались где-нибудь по курземским лесам или работали у крестьян под чужими фамилиями.

Но ведь борьба продолжается. Война идет. Только он ничего не делает, как будто она для него кончилась.

Звиргзда не стал делиться своими мыслями с родственниками. Однажды вечером он вышел из дому и лесом направился к дальней усадьбе. В сенном сарае, в стороне от жилья, он нашел человека, скрывавшегося здесь уже несколько недель. Звиргзда знал о нем от зятя, который водил знакомство с хозяином этой усадьбы; знал, что он из Лиепайи. Это был капитан артиллерии Савельев. Они даже узнали друг друга: виделись в лиепайском военном порту, перед тем как оставить город. Правда, теперь Савельев был в крестьянской одежде, а за время скитаний он отпустил бороду. Звиргзда рассказал ему, какие вести привез из Лиепайи зять. Окончив рассказ, он посмотрел на Савельева и угрюмо спросил:

— Как ты думаешь? Не пора нам начать действовать?

— Ты прав, товарищ Звиргзда, я сам об этом думаю. Слишком долго мы сидели сложа руки. Немцы считают, что здесь некому дать им отпор. Я уже узнал, что в окрестных усадьбах скрываются человек десять наших... вместе с моряками. Из местных людей тоже, думаю, кое-кто не откажется.

— Во всяком случае нас будут поддерживать. Мой зять, например. Я не думаю, что он сегодня же возьмет в руки винтовку и уйдет в лес, но помогать будет.

— И это большое дело. Без связных и знающих местную обстановку нам не обойтись. Конечно, надо научить их конспирации, иначе немцы нас скоро выловят, как мышей.

Они совещались несколько часов. Согласились на том, что тайную базу и узел связи устроят у Биргелей, а операции будут производить подальше от здешних мест. На первое время главной задачей было достать оружие и боеприпасы. С этого и должна была начаться деятельность их партизанского отряда.

Около полуночи они расстались, и Звиргзда вернулся в усадьбу Биргели. Хотя путь, избранный ими этой ночью, сулил несказанные трудности и опасности, может быть даже гибель, однако молодой кузнец почувствовал, что с плеч у него гора свалилась.

Глава девятая

1

Ольга Прамниек со своим ребенком жила по-прежнему на улице Блаумана. Не раз она думала о том, чтобы уехать в деревню к родственникам, но это значило бы отказаться от квартиры — немцы бы немедленно отдали ее какому-нибудь «фюреру». А главное, Ольга все еще надеялась, что ей удастся узнать что-нибудь о муже. Тяжелее всего было то, что нельзя было выйти из дому, весь день приходилось сидеть возле ребенка. Чтобы не умереть с голоду, Ольга продавала вещи, а дворничиха покупала для нее по спекулятивным ценам продукты у приезжих крестьян. В довершение всех несчастий у Ольги совсем пропало молоко. С большим трудом удавалось купить раза два в неделю коровьего молока, но оно часто скисало. Мальчик таял на глазах и своим непрерывным плачем надрывал сердце матери.

12 августа генерал-комиссар Дрехслер издал распоряжение о регистрации всех трудоспособных. Зарегистрировали и Ольгу, но из-за ребенка разрешили некоторое время не работать.

К ней стали захаживать разного рода посредники и скупщики, пронюхавшие о ее бедственном положении. Один спекулянт купил прекрасный фарфоровый сервиз, которым она так гордилась; из мастерской Прамниека стали одна за другой исчезать картины; продано было кое-что из столового серебра. В это время Ольгу постиг новый удар: заболел воспалением легких маленький Аугуст и через несколько дней умер.

Целую ночь сидела Ольга у колясочки и, глядя на маленькое прозрачное личико, думала о том, как Эдгар выйдет из тюрьмы и спросит ее о сыне. Что она ему ответит? Может быть, сама виновата — не сберегла, не хватило настойчивости бороться за жизнь своего мальчика... Вот судьба и наказала ее. Но она так устала, что не было сил даже по-настоящему страдать, чувствовать боль.

Дворник привез гробик, жена его помогла убрать маленького покойника, а Ольга целый день ходила по учреждениям, потом съездила на Лесное кладбище и выбрала место для могилы на солнечном пригорке. На другой день старик извозчик отвез гробик на кладбище. Сторож помог похоронить маленького Аугуста.

День был ветреный, часто принимался идти дождь. Ольга посидела немного около свежего холмика, несколько раз принималась перекладывать осенние цветы и еловые ветки, чтобы могилка не казалась такой оголенной, потом пешком пошла домой.

На другой день она получила извещение. Ей предлагали освободить в двухдневный срок квартиру и переселиться в Задвинье, в маленькую рабочую квартирку, владелец которой был недавно расстрелян. Ольге разрешили взять с собой только те вещи, которые бесспорно принадлежали ей: платье, белье, альбомы с фотографиями и самую необходимую посуду. Все остальное как имущество арестованного Эдгара Прамниека должно было остаться на месте и перейти в собственность переезжавшего на квартиру полицейского чина. Ольга хотела взять кое-что из оборудования мастерской, этюды начатых картин — но и в этом ей отказали.

— Теперь вы свободный человек, — сказал чиновник, приехавший по поручению своего начальника выселять Ольгу. — Поступите на работу и будете зарабатывать на жизнь.

Вероятно, из желания скорее от нее отделаться чиновник прислал грузовик, и Ольгу с ее вещами перевезли в Задвинье.

Теперь она занимала в деревянном двухэтажном домике небольшую

комнатку и кухню, окнами во двор. «Надолго ли? — думала. — Что еще меня ждет?»

Она так отупела от навалившихся на нее бед, что ей все стало безразлично.

2

Несколько дней спустя после переезда к ней пришла Эдит. Окинула взглядом комнатку, очень чистенькую и очень скудно обставленную, — поморщилась.

— Неправильно это, Ольга.

— Что неправильно?

При появлении Эдит Ольга не выразила ни радости, ни недовольства.

— Ты опускаешься. Если ты будешь продолжать в том же духе, от твоей интеллигентности и следа не останется. Это начало деклассирования, милая. Я знаю, к чему это приводит.

— Вы же сами проповедуете, что латышам не нужна интеллигенция, что мы пригодны только к физическому труду. Чего ты так расстраиваешься?

— Ты все перепутала. Руководство партии национал-социалистов вообще-то не настроено против интеллигенции. Мы только не хотим перепроизводства интеллигенции. Должно существовать равновесие между различными слоями общества.

— Вот я вам и помогаю установить это равновесие.

— Мы его и без этого установим — точно так же, как регулируют рождаемость. В семье, где не хотят лишнего ребенка, прибегают к абортam. А когда ребенок родился, его надо растить. Нерационально уничтожать оформившуюся личность.

— Скажи правду — ты ведь не затем пришла сюда, чтобы вести диспуты?

— Нет, конечно... Я пришла побранить тебя за то, что ты забыла старых друзей и при первом же осложнении закусилa удила. Ах, Ольга, почему ты не позвонила, когда заболел ребенок? Ведь я могла устроить его в хорошую клинику... Он бы остался жив.

Ольга отвернулась, стала смотреть в окно.

— Отказалась от нашей помощи, а потом будешь говорить, что виноваты в его смерти мы. Я ведь знаю, что ты думаешь. Но это не так. Твой ребенок никому не мешал, из него мог вырасти достойный гражданин

Великогермании...

— Дстойный раб... Раб, для которого самое большое счастье в жизни — угождать своим господам. Ведь он был латыш!

— Но ты пойми, что немецкий народ согласен вобрать в себя лучший, полноценный слой латышского общества. Слой, к которому принадлежите вы с Эдгаром.

— То-то вы и бросили Эдгара в тюрьму.

— Потому что он отказался присоединиться к нам. Но мы от него еще не отказались. Как только Эдгар подтвердит свою готовность сотрудничать с нами, его освободят.

— А он все не хочет? — зло засмеялась Ольга. — Хочет оставаться Эдгаром Прамниеком — художником латышского народа?

— Его ни к чему не принуждают. Пусть сам решает.

— Он уже решил. Чего вы еще ждете?

Эдит старалась быть терпеливой.

— В конце концов сейчас самое главное — добиться освобождения Эдгара. Тебе хочется, чтобы его освободили?

— Я не хочу уговаривать Эдгара. Он умнее меня. Зачем я буду навязывать ему свою волю?

— Я другое тебе предлагаю. Напиши прошение начальнику политической полиции. От своего имени. Эдгар даже не узнает об этом. Я уверена, что достаточно будет твоего прошения, а начальник очень славный человек. Я с ним даже немного знакома.

Ольга задумалась. «Может быть, в этом нет ничего дурного? Я буду писать — не Эдгар, это его не унизит...»

— Я никогда не писала таких прошений, — неуверенно сказала Ольга.

— Я помогу, — засуетилась Эдит. — Где у тебя бумага, чернила?

Ольга не спеша достала письменные принадлежности, села за столик. Эдит придвинулась к ней и стала диктовать. Несколько раз, когда дело доходило до изъявления верноподданнических чувств правительству «Великогермании» и его представителям в Латвии, — Ольга бросала перо, но Эдит уверила ее, что иначе нельзя.

— Надо писать по форме. Без этого твое прошение даже не дойдет до начальника. Не бойся, это тебя ни к чему не обязывает.

И Ольга поддалась. Когда прошение было написано, Эдит достала из сумочки конверт и сама написала адрес.

— Завтра Освальд сам передаст его. Думаю, что результат будет известен на днях. Начальник полиции невероятно оперативен.

Она посидела с полчаса и рассказала про свои семейные дела.

— Освальд сейчас страшно занят, домой приходит поздно ночью... Почему ты никогда не зайдешь ко мне? Не стоит избегать людей, Ольга, ты еще молодая женщина. Насидеться с вязаньем еще успеем, когда состаримся. Сейчас надо жить.

Ольга таки не поняла, что она этим хотела сказать. «Жить... маленький Аугуст тоже хотел жить».

Прошла неделя. Ольга не получила ответа на прошение, зато полицейский принес повестку: явиться в управление труда. Когда она пришла туда, чиновник сказал: «Вы одинокая, бездетная женщина. Мы все обязаны участвовать в строительстве новой Европы. Вы пойдете работать судомойкой в офицерскую столовую. Когда приобретете профессиональные навыки, будете обслуживать столики. Желаю успеха».

Ольга не протестовала, не стала просить другой работы. Не позвонила она и Эдит. Одним унижением меньше, одним больше...

3

Однажды вечером, возвращаясь с работы, Ольга встретила на улице Эриха Гартмана, того самого «прогрессивного» немецкого писателя, который за несколько месяцев до войны, оплакиваемый своими латышскими друзьями, вернулся в Германию, где его якобы должны были бросить в один из больших концентрационных лагерей, устроенных Гиммлером для изоляции лучших умов Европы. Когда Гартман, здороваясь с ней, галантно приподнял шляпу, Ольга не поверила своим глазам, но тут же вспомнила чудо, происшедшее с Эдит, и все поняла.

— Госпожа Прамниек, разве вы меня не помните? — заговорил Гартман, останавливаясь перед Ольгой. — Неужели я настолько изменился? И года не прошло, а мне, видимо, придется заново представляться своим старым друзьям.

Ольге ничего больше не оставалось, как остановиться и подать ему руку.

— Я помню вас, господин Гартман, но не знаю, так ли приятно считать меня знакомой. Я уже не та, кем была раньше.

— В каком смысле?

— Мой муж в тюрьме, а я судомойка в офицерской столовой.

— Да, я слышал от госпожи Ланки... Печальное, печальное недоразумение. Эти формалисты не дают себе труда углубиться в суть дела, строят выводы на случайных фактах. Уверю вас, это ненадолго.

Учреждения сейчас заняты серьезной работой. Пройдет немного времени, и выяснятся все недоразумения.

— Не знаю, может быть, — сухо сказала Ольга. — Но не все можно исправить.

— Разрешите немного проводить вас? — спросил Гартман и подхватил Ольгу под руку.

Он проводил ее до Задвинья и по дороге продолжал говорить на затронутую тему:

— Вот, например, я. Если рассуждать формально, то меня, бывшего социал-демократа, они должны были уничтожить. Между тем ничего подобного не случилось. Я могу писать, мои работы печатают, в своей общественной деятельности я не ощущаю никаких ограничений. Каждый режим проявляет известную осмотрительность по отношению к своим бывшим противникам. Но не бывает таких крайностей, между которыми невозможен компромисс. Я не говорю, разумеется, о национал-социализме и коммунизме, — потому и происходит эта грандиозная борьба, в которой национал-социализм достигнет окончательной победы. А затем? А затем все умные люди солидаризируются с победителями. Эдгара я всегда считал человеком умным. И если вы разрешите мне воспользоваться своим писательским авторитетом, я могу облегчить положение вашего мужа.

Причина этой горячей благожелательности стала ясна Ольге на следующий же вечер, когда к ней пришел Гартман. С ним был туго набитый портфель, а в портфеле сыр, французские сардины, фрукты и бутылка хорошей мадеры.

— Госпожа Прамниек, сегодня у вас есть основания радоваться, — сказал он, снимая серое осеннее пальто. — Через два дня дело вашего мужа будет рассмотрено специальной комиссией, и председатель ее дал мне честное слово старого коллеги, что они будут руководствоваться принципом наибольшей терпимости. Говоря обыкновенным языком, это равносильно обещанию освободить Эдгара.

— Как я вам благодарна! Но вы не боитесь себя скомпрометировать?

— Писателю свойственны гуманные чувства, и нам многое извиняют. Кстати, госпожа Ольга, я полагаю, что мое сообщение заслуживает того, чтобы его отпраздновать. В прежние времена мы бы созвали всех друзей Эдгара и немного покутили, а сейчас удивимся тем, что выпьем бутылку хорошего вина за скорое освобождение вашего мужа и за его будущие успехи в живописи. Первую картину, которую он напишет после возвращения, я заранее беру себе. Не в подарок, разумеется...

Они закусывали, пили кофе, вино и разговаривали о каких-то пустяках.

Не от вина, — от надежды на скорое возвращение Эдгара Ольге вдруг показалось, будто все тяжелое, мрачное позади и жизнь продолжается по-старому — без угроз, без унижений и обид. Щеки у нее порозовели, она улыбалась.

Гартман поднялся со стула и стал расхаживать взад и вперед по комнате. Проходя в третий или четвертый раз мимо Ольги, он задел ее плечо. Она отодвинулась. Гартман стал извиняться, схватил руку Ольги и поцеловал. Она не отдернула руки, и Гартман принял это за знак поощрения. Он внезапно обнял Ольгу и поцеловал — в щеку, потому что Ольга успела отвернуться.

Она вскрикнула:

— Что это значит? Отпустите меня!

Но он не пускал. «Нельзя давать ей опомниться... Сейчас же начнет придумывать разные отговорки, и вместо любовной игры получится грубая борьба...»

— Не надо так... — шептал он. — Никто не узнает... Не будьте такой злой, Ольга, маленькая волшебница...

Маленькая волшебница изо всех сил уперлась в грудь Гартману, вырвалась и встала по другую сторону стола.

— Не подходите! Я закричу. Это низко, господин Гартман!

— Я не лицемер, Ольга, — спокойно возразил он. — Я не желаю лицемерить с вами. Мы оба молоды.

— Идите домой. Идите и ложитесь спать. Завтра вам самому будет стыдно.

— Я понимаю: вы не можете обойтись без старомодного трафарета, — сказал он, глядя через стол на Ольгу. — Хотите, чтобы я ухаживал, завоевывал ваше сердце. Это бессмысленно... Только пустая трата времени, а результат будет один и тот же.

— Не будет никакого результата.

— Ах, так? Значит, пусть Эдгар остается в тюрьме?.

— Какой же вы подлец!

— Сразу и подлец? Ну, а почему я должен самоотверженно помогать Эдгару Прамниеку? Вы об этом не подумали? Даром никто ничего не делает. Почему я должен быть исключением? Да и не поверит никто, что Эрих Гартман ничего не получил за свою помощь. Все равно будут думать. Так пусть уж недаром. Во всяком случае я подожду, пока вы передумаете. А до того времени Эдгар Прамниек посидит в тюрьме. Когда передумаете, позвоните по телефону. До свиданья, маленькая волшебница.

Он положил на стол свою визитную карточку с номером телефона,

надел пальто и вышел, помахав Ольге рукой.

Ольга заперла дверь, села у окна и стала всматриваться в темноту. Ничего не было видно, только блестяли на стеклах капли дождя.

А несколько дней спустя зашел Зандарт; он, как всегда, был в беспардонно-жизнерадостном настроении. Едва поздоровавшись, стал расспрашивать о картинах Эдгара: нельзя ли чего купить? Узнав, что картины остались на старой квартире, Зандарт обругал полицейских чинов, а про себя сообразил, что живется Ольге туговато. Сообразил он и нечто другое. А так как красноречием Зандарт не обладал и полагался больше на вещественные доводы, то сразу без вступлений и выложил:

— Вот и получается у вас, госпожа Ольга, что жить надо, — а на что, спрашивается? Свободно можете и на улице очутиться, если не подвернется культурный, порядочный человек. Я этого не могу допустить. Средства позволяют... Каждый месяц, точно, по числам, все равно что жалование... Там, как полагается, буду приезжать на неделю, когда вам удобно. Знать никто не будет, за это я вам ручаюсь...

Ольга, не говоря ему ни слова, показала на дверь, потом начала громко хохотать, потом расплакалась.

Раньше думала: интересный, остроумный человек Гартман. Зандарт казался смешным, немного вульгарным, но — добряком. И вдруг человеческие лица оборачиваются звериными мордами. Может быть, жизнь такая и есть, только она раньше не видела этого?

С одним Саусумом она еще чувствовала себя прежней Ольгой. Он заглядывал иногда — рассеянный, не очень внимательный. Но он не стал хуже, чем прежде, и из-за одного этого с ним было легче.

Генерал-комиссар, бригаденфюрер и штатсрат Дрехслер в этот день не принимал посетителей. Послеобеденные часы он отвел для важного совещания, на которое были приглашены комиссар-старшина рижского округа Витрок, референт по еврейским делам Альтмейер и префект полиции Штиглиц. Накануне Дрехслер лег поздно. В голове шумело — никакие порошки не помогали.

«Нельзя мешать напитки, — думал он, прохаживаясь по просторному кабинету. — Старая истина, а мы ее всегда забываем. Екельну — тому можно, он и после двадцатой рюмки не покраснеет. Сидит, как аршин проглотил, и на других смотрит так высокомерно, будто он один здесь

величина, а все остальные — ничтожества. Странно, что он такой женоненавистник, в Риге порядочный выбор... У Лозе, кажется, что-то завязалось с черноглазой балериной. Лозе... рейхскомиссариат...»

Тут Дрехслер остановился и нервно забарабанил пальцами по столу. Откровенно говоря, он не может пожаловаться на недостаток почета. Кем он был до назначения на пост генерал-комиссара Латвии? Средним чиновником, рядовым слугой Гитлера и членом партии национал-социалистов, имевшим, правда, некоторые заслуги по ликвидации реммовского путча^[11]. В Германии о нем никто не говорил, таких чиновников там тысячи. Теперь он генерал-комиссар, государственный советник, доктор и мог бы стать первым лицом в Латвии, если бы рейхскомиссар Остланда не выбрал своей резиденцией Ригу. «Пока Лозе здесь, придется оставаться на вторых ролях. Почему бы ему не обосноваться в Минске или Каунасе? Екельн, по всей вероятности, тоже переедет в Ригу, иначе зачем он появился здесь? Не исключено, что притащится сам Розенберг со всем штабом. Слишком много начальства соберется, трудно дышать. Впрочем, возможно, что этих тузов тянет поближе к Ленинграду и Москве, а они, наверно, скоро будут взяты. Ржев и Гжатск уже заняты. Еще бросок — и фюрер устроит на Красной площади парад. Бал в Кремле! — говорят, там великолепные залы. В Риге тоже устроим бал. Может быть, к тому времени Лозе перекочет в Москву. Я буду хозяином и представителем Великогермании. Блондинку можно будет сплавить кому-нибудь — генерал полиции давно на нее заглядывается. Черноглазая балерина достанется мне. А к тому времени приготовим фюреру подарочек по случаю победы... Подарок, который затмит все предыдущие подношения».

Дрехслер выпрямился и улыбнулся. Нос с горбинкой, молодцеватая выправка, форменный мундир чиновника партии национал-социалистов придают ему довольно представительный вид. Ему есть чем похвалиться. По установлению нового порядка Рига не на последнем месте. Об этом позаботились и доктор Ланге, и маленький Краузе, и Штиглиц, а отчасти и полицейский крючок Вольдемар Арай, которого они произвели в хауптштурмфюреры. Тюрьмы переполнены, и это отнюдь не первый по счету состав. А там еще Спилвенские луга, Бикерниекский лес, еврейские кладбища... Трудно даже сказать, сколько тысяч человек там похоронено, но во всяком случае цифра получается четырехзначная. Это в одной только Риге, а сколько расстрелянных в Лиенае, Даугавпилсе, Резекне и других местах! Начиная с первых чисел июля, крови выпущено достаточно. До сих пор расстреливают каждую ночь, каждое утро приходят донесения и

отчеты. Не зря стараются. Сам Гитлер доволен.

«Но теперь мы превзойдем себя. Новые масштабы, совсем иной размах. Екельн прав: такие дела нельзя делать по-любительски. Радикальные меры. Сначала ураган, потоп, землетрясение, а потом — спокойствие. Пусть трепещут, пусть знают, что у нас рука не дрогнет. После этого можно повысить голос и заговорить с латышами другим тоном. Довольно шептаться и дискуссировать. Мы требуем, а вам надо выполнять. Точка».

Эти мысли придали ему энергии. Была забыта даже головная боль. Быстрыми шагами генерал-комиссар подошел к столу и нажал кнопку звонка. Вошел адъютант.

— Все в сборе?

— Так точно, господин генерал-комиссар!

— Пусть заходят. Я жду.

У дверей произошло замешательство: увалень Витрок, из прибалтийских немцев, в последний момент вспомнил, что оставил портфель, и поспешил за ним обратно, а референт по еврейским делам Альтмейер ни за что не хотел пропустить вперед Штиглица. Себя он считал деятелем в масштабе «Остланда», а Штиглиц всего-навсего префект Риги. Они готовы были обменяться обидными замечаниями, если бы на них не посмотрел Дрехслер.

— Хайль Гитлер!

Дрехслер предоставил слово Витроку.

— Говорите коротко и конкретно. В общих чертах я с делом знаком. Будет ли гетто готово к двадцать шестому октября, или не будет? Вы знаете, что это окончательный срок?

— Ваши указания выполнены, и мы можем доложить, что первые партии жидов уже размещены в гетто. Считаю своим долгом отметить, что ваше предложение об учреждении жидовского комитета оказалось весьма плодотворным. Поистине, господин генерал-комиссар, это гениальная идея — учредить комитет из них самих; другое дело, что это за люди, но это никого не касается — достаточно, что такой комитет существует и сам просит учредить для них особый район. Выполняя ваше указание, я удовлетворил просьбу комитета и, как вам известно, издал распоряжение об организации гетто в Московском предместье. Стараниями господина Штиглица район между концом улицы Лачплесиса, Латгальской улицей, кладбищем и железнодорожными путями, проходящими напротив центральной тюрьмы, уже очищен от прочего населения, и можно начинать перемещение в гетто всех рижских жидов. Тысяч тридцать можно будет

разместить без всякого труда, исходя из нормы — полтора квадратных метра на человека.

— Больше им и не надо, — заметил рыжий Штиглиц. — С собой разрешаем брать только то, что могут унести за один раз. Все остальное имущество остается в старых квартирах, и мы его учитываем.

— А много хороших вещей? — не удержался Дрехслер.

— Об этом мы подумали, господин генерал-комиссар, — улыбнулся Альтмейер. — Уже работает специальная комиссия. Лучшие вещи мы отбираем особо. Полагаю, вы нам дадите указания относительно распределения.

— Инцидентов много? — обратился Дрехслер к Штиглицу.

— Не особенно. Все предписания выполняются довольно точно, а если кто упрямится, мои ребята убеждают без долгих разговоров. Кое-кого пристрелили. Некоторых пришлось избить. Парни не упускают случая пошалить — среди жидовок есть хорошенькие. Мы на это смотрим сквозь пальцы.

— Если им хочется получить вознаграждение в такой форме, то пожалуйста. Ха-ха-ха.

— Хо-хо-хо! — заливался Витрок. Альтмейер вежливо усмехался. Только Штиглиц оставался серьезным. Он развернул на столе план Риги и показал Дрехслеру границы гетто.

— Расположение выгодное. Влево от Латгальской улицы, за этими вот домами, — большие дворы. Туда можно согнать порядочное количество жидов. А здесь, от кладбища в сторону центра, между гетто и железнодорожными путями, тянется большой пустырь. Мы уже огородили гетто колючей проволокой. Единственный вход с улицы Лачплесиса. Для расстрела удобны кладбище и улица Садовникова. Если ограничить движение близ гетто, никто и знать не будет, что там происходит. Каковы будут ваши указания, господин генерал-комиссар?

Дрехслер встал и начал прохаживаться по кабинету.

— Указания? Господа, нам нельзя запоздать ни на один день. Двадцать шестого октября все должны быть переведены в гетто. На свободе можно оставить лишь немногих специалистов — врачей, инженеров... Позже мы примемся и за них. Наши ученые ждут материала для опытов. Мы будем снабжать их обитателями гетто. Окончательный срок всеобщей ликвидации еще не назначен, но я думаю, что затягивать ее не станут. Надо быть готовыми к проведению массовой экзекуции. Смотрите, господин Витрок, как бы Алнор в Лиепае не обогнал нас. В некоторых городах мы уже вывесили плакаты с надписями: «Judenfrei» [\[12\]](#). Риге до этого еще далеко.

Затем они долго обсуждали техническую сторону новой операции, говорили о распорядителях, о роли прессы. В «Тевии» надо будет поместить несколько статей, — ответственному редактору Ковалевскому уже поручено подыскать авторов. И снова вернулись к разговору о распределении еврейского имущества, — Дрехслер не хотел, чтобы вопрос этот решали без его участия. Кое-что можно отправить в Германию. Вот если бы удалось найти несколько редких ковров и гобеленов, чтобы послать фюреру, — он от них без ума!

Витрока и Штиглица отпустили пораньше. С Альтмейером Дрехслер побеседовал еще полчаса. Референт по еврейским делам записал частные указания генерал-комиссара и обещал незамедлительно сообщить, как только найдется что-нибудь подходящее.

Когда Альтмейер ушел, Дрехслер взял очередную оперативную сводку о положении на фронтах и долго стоял у карты, отыскивая занятые вчера населенные пункты. Сначала он ничего не мог найти, — искал слишком близко от Москвы и Ленинграда. Дрехслер повернулся и подошел к окну. Вид не веселил его: слишком узкая улица, тесно домам. Нет того простора, что у Дворца юстиции, но там засел Лозе; попробуй выкурить его оттуда. Право, было бы чудесно, если бы рейхскомиссариат перебрался в другой город. В присутствии Лозе Дрехслеру не хватало воздуха.

Убегая в 1940 году в Германию, Штиглиц захватил с собой списки сотрудников и агентов латвийской охраны. Сейчас, когда он стал во главе рижской полиции, эти спискигодились. Рыжий собрал своих прежних дружков и каждого пожаловал должностью — соответственно способностям и сноровке. В начале войны выдвинулось несколько новых талантов, их тоже надо было пристроить. Самых усердных определили в группу хауптштурмфюрера Арая; кто был в состоянии вести дело самостоятельно, тем доверили особые задания. В конце октября рижское гетто стало центром, вокруг которого собирались самые отъявленные садисты и подлецы.

С ведома своего начальства Освальд Ланка перенес свою деятельность из тюрем в гетто. Индулис Атауга стал одним из помощников начальника охраны. Штиглиц вызвал в Ригу и Кристапа Понте, который уже успел так «очистить» свой уезд от всех «подозрительных элементов», что ему грозила перспектива остаться без работы.

Однажды Ланка позвонил Понте.

— Приезжай сейчас же в гетто. Будет дело.

Работоспособных мужчин, как обычно, в шесть часов утра угнали на работу. По квартирам сновали эсэсовцы и охранники и выгоняли женщин, детей и стариков. На улице Садовникова стреляли из автоматов и пистолетов; в воздухе стоял сплошной предсмертный стон. Под вечер всех, кто еще оставался в домах, выгнали на улицу, выстроили в колонны и приказали стоять так всю ночь. Несколько раз принимался идти мокрый снег с дождем. Промокшие, окоченевшие на ветру люди жались друг к другу. И везде из темноты слышался детский плач. В ту ночь ни один человек в гетто не сомкнул глаз.

Пока обергруппенфюрер Екельн совещался в своем кабинете с генералом полиции Едике и генерал-комиссаром Дрехслером, мелкие «фюреры» — Араи, Ланка и Понте — подкреплялись французским коньяком в ожидании работы. То пешими, то конными группами, то на мотоциклах двигались в сторону гетто вооруженные эсэсовцы.

Едва забрезжило, на улицах гетто началось движение. В ворота въехало несколько легковых машин с офицерами СС.

Это были подручные обергруппенфюрера Екельна и генерала полиции Едике. С автоматами и пистолетами в руках они выскакивали из машин и стреляли в толпу. Референт по еврейским делам Альтмейер со своим помощником Шульцем тем временем проверял, как организована охрана. Толпу разделили на отдельные колонны, по две-три тысячи в каждой.

— Куда нас поведут? — спрашивали друг друга стоявшие в колоннах. Обращаться к охранникам было запрещено. Но с ведома коменданта гетто эсэсовцы и шуцманы сами рассказывали им, что часть людей пошлют на работы, а других переведут в Юмправмуйжский концентрационный лагерь.

Было еще темно, когда первая партия тронулась в путь. Впереди и в хвосте колонны шли шуцманы. По обе стороны ее сопровождали вооруженные эсэсовцы на мотоциклах и конные патрули. Была оттепель. Люди скользили на обледенелых камнях мостовой, падали, конники наезжали на упавших, лошади топтали копытами женщин и стариков под хохот пьяной охраны. На улицах Московской и Садовникова валялись трупы. Колонна двигалась мимо фарфорового завода Кузнецова по направлению к резиновой фабрике «Квадрат». Жители окраин украдкой наблюдали в окна этот нескончаемый поток людей, который не прерывался весь день, эту скорбную процессию, конец которой еще извивался по узким улочкам гетто, а голова уже приближалась к соснам Румбульского леса. В поле дул пронзительный, леденящий ветер. Старики не поспевали за

молодыми, бежали, падали, вновь подымались, спеша догнать ушедших вперед родных. Пройдя несколько шагов, они снова падали, и тогда подбегал эсэсовец с автоматом и приканчивал их.

Освальд Ланка и Понте носились на мотоцикле взад-вперед. Ланка нервничал — колонна двигалась слишком медленно.

— Так они раньше трех часов не дойдут до Румбулы, — сердился он. — Придется нам мерзнуть вместе с ними.

Многие, конечно, понимали, что их ждет, и с гордо поднятыми головами шагали навстречу своей мученической судьбе. Но большинство верило, что их гонят на работу или переселяют в другой лагерь; шли, прижимая к себе окоченевшими руками узелки или чемоданчики.

Когда колонна стала приближаться к Румбульскому лесу, мимо нее пронеслось несколько легковых машин с высшим начальством. Приехал Екельн, чтобы удостовериться, все ли идет надлежащим порядком. Не довольствуясь донесениями распорядителей, он обошел лес, где были вырыты между сосен длинные глубокие рвы. Придраться, впрочем, было не к чему. Немного поворчав для вида на младших офицеров и пошутив над своим адъютантом, который нахохлился от холода, обергруппенфюрер вернулся в машину, велел подать себе коньяку и стал ждать, когда голова колонны появится между сосен.

Лес был окружен цепью охранников; если бы кто и попытался бежать, деться ему было некуда. Предвкушая предстоящее развлечение, везде вертелись «фюреры» разных рангов, которых Екельн пригласил посмотреть на экзекуцию. Они старались протиснуться ближе к заснеженной поляне, на которой евреям приказывали оставлять свои вещи и снимать с себя все, кроме белья. У кого белье было получше, тому велели раздеваться догола. Как волки, толпились на краю поляны офицеры СС и чиновники нацистской партии, алчными глазами разглядывая свои жертвы. Индулис Атауга со своими подручными уже ждал у рва и проверял оружие.

И тогда началось. Раздетых людей группами подгоняли ко рву. Приказывали спуститься в него и лечь на дно ничком. Эсэсовцы стояли у края рва и стреляли из автоматов в спины лежащим. Когда все были убиты, к яме подгоняли новую группу и приказывали лечь на мертвых.

Так продолжалось до тех пор, пока ров не наполнился до краев мертвыми телами. Тогда стали наполнять следующий ров.

Бесперебойно работала машина смерти. Живой человеческий поток, текущий к Румбульскому лесу, вливался в рвы и исчезал в них навсегда. Стоны, плач детей, крики ужаса — все заглушал несмолкаемый треск

автоматов. Когда стволы их накалялись, эсэсовцы сменялись и охлаждали оружие. Высокие господа время от времени подходили к краю рва и разряжали обоймы револьверов. Эсэсовцы старались позабавить их: одним выстрелом приканчивали и мать и ребенка, разрывали пополам грудных детей или разбивали им головы о стволы сосен.

Все птицы улетели из лесу. Заяц, с перепугу выскочивший из чащи на толпу смертников, был застрелен вместе с людьми. Екельн не позволил бросить его в ров: зайца можно было изжарить и съесть.

— Мы его попробуем завтра, когда будем праздновать наши сегодняшние успехи, — пошутил обергруппенфюрер и приказал адъютанту отнести зайца в машину. Остальные господа посмеивались над практичностью высокого чина.

К вечеру палачи изрядно устали, а ко рвам подгоняли все новые и новые толпы. Убить за один день десять тысяч человек было нелегким делом.

Уже смеркалось, когда в Румбульском лесу замолкли последние выстрелы. На поляне эсэсовцы делили добычу. Раскапывали вороха одежды и, если случалось найти что-нибудь стоящее, быстро прятали под шинели. Понте еще днем снял с руки молодой женщины кольцо с драгоценным камнем, а в кармане у Ланки позвякивали платиновые серьги и золотые зубные протезы. Не с пустыми руками ушел и Индулис Атауга. Каждый хватал, что мог. Когда мелкота поднимала спор из-за какого-нибудь меха или пары новой обуви, офицеры водворяли порядок — просто откладывали предмет спора для себя. Наступила ночь, а на поляне, как гиены, копошились в груде тряпья темные фигуры. Когда добыча была поделена, откуда-то взялись бутылки, и тут же, на огромном кладбище, где вся земля пропиталась человеческой кровью, началась пьяная гульба.

В ту ночь Понте принес Сильвии хороший подарок. Кольцо с камнем пришлось ей впору. Индулис Атауга порадовал поэтессу Айну Перле. В благодарность за подарок Айна предложила в следующее воскресенье съездить куда-нибудь за город. Эдит Ланка, даже ложась в постель, не сняла серег, которые муж привез из Румбульского леса.

— Завтра мы устраиваем небольшой ужин с танцами, — сказал Ланка. — Я пригласил несколько коллег: Понте, Атаугу и свое начальство — штурмбанфюрера Винтера с дамой. После этой сумасшедшей работы хочется немного рассеяться.

Вся Рига знала об этом. В прачечной, где работала Анна Селис, одна работница жила на Московской улице и видела, как гитлеровцы гнали евреев из гетто. У окна ее квартирки целый день лежало трое убитых. Одного она знала: он жил в соседнем доме и до войны работал браковщиком на лесопильном заводе. А те двое, наверное, были брат и сестра. Эсэсовцы напали на молодую девушку и начали ее бить. Брат бросился на помощь и ударил эсэсовца в лицо. Обоих тут же и пристрелили.

— Что же это на свете творится, — плача, говорила женщина. — Они и на людей-то непохожи, это бешеные волки, а не люди. Сколько народу загубили... Господи, если ты есть, зачем ты допускаешь это? Вот говорят, без его воли и волос не упадет с головы. Как же это понять, если тут убивают тысячи невинных людей? Почему он не вступится, когда немцы уничтожают малых детей вместе с матерями? Долго ли нам придется это терпеть? Неужели на свете не осталось правды?

— Правда в другом месте, — тихо сказала Анна. — Ее не надо искать у немцев. Правда и здесь есть, у честных людей. Но они не могут громко говорить.

По совету «Дяди» Анна некоторое время жила смирно, чтобы не привлечь внимания полицейских органов. Она исправно стирала и гладила белье немецких офицеров и молча слушала рассказы других прачек.

— Ты все-таки не спеши, товарищ Селис, — уговаривал ее «Дядя», когда Анна, не вынеся бездействия, однажды выставила в окне сложенную газету. — Твое время еще придет. Сегодня пусть действуют другие, на кого не падало подозрений. Мы не можем безрассудно растрачивать свои силы.

А незримая армия продолжала свою работу. Казалось бы, что могли значить еле заметные на первый взгляд уколы — все эти листовки, лозунги на заборах, выбывшие из строя машины и трупы солдат, которые по утрам находили в темных подворотнях? Но немцы очень болезненно реагировали на них. Больше всего их приводило в ярость то, что о каждом таком событии мгновенно узнавало все население. Каждый пример находил последователей. Если акты саботажа возникали на одном-двух предприятиях, то вскоре они охватывали почти все фабрики и заводы. По городу распространялись дерзкие анекдоты, в которых высмеивались самые помпезные мероприятия гитлеровцев. Читая листовки с воззваниями, в которых звучал смелый голос подполья — голос совести народной, — человек, запуганный и одурманенный гитлеровским террором и пропагандой, начинал видеть неизбежность грядущей победы, обретал силы выдержать испытание. И еле заметные уколы оборачивались ударами

меча.

Гитлеровские власти отвечали новыми зверствами, терроризирующими приказами и арестами. Но в Латвии уже разгорались костры партизанской войны.

Анна Селис не могла больше бездействовать. Она еще раз вложила меж оконных рам сложенную газету и стала ждать. Через два дня к ней пришел Роберт Кирсис.

— Дайте мне, наконец, какую-нибудь работу, — сказала Анна.

— Работу мы тебе дадим, но ты должна действовать очень осторожно. Ты будешь распространять в своем районе литературу. Только не доверяйся непроверенным людям.

Две недели Анна распространяла листовки и сообщения Совинформбюро. Оставляла их у фабричных ворот, опускала в почтовые ящики частных квартир, наклеивала на заборы, рядом с немецкими приказами. Когда в районе появлялись подозрительные, незнакомые лица, Анна уходила в другой район, дальше от своей квартиры и места работы. Несколько недель она проработала в соседнем районе, и ей казалось, что никто ничего не замечает. По утрам она выходила на работу на полчаса раньше обычного и успевала обойти несколько соседних улиц. В прачечной Анна не говорила лишнего, а когда к ним поступили две новые работницы, вообще старалась больше молчать. Два раза Кирсис посылал ее с заданиями на дальние окраины Риги — в Мильгравис и Болдераю, к рабочим фабрики авиационной фанеры. Оба раза все обошлось хорошо, и скоро рижане заговорили о новых актах саботажа, в результате которых Геринг целую неделю не получал ни листа фанеры.

Три дня Анна прятала у себя в квартире одного подпольщика, пока товарищи доставали для него документы. Он уехал на работу в Лиепаю, а через два дня в квартиру Анны среди ночи ворвалась полиция и сделала обыск. Ничего, конечно, не нашли, на все вопросы Анна давала ясные и убедительные ответы. Полицейские велели подписать протокол допроса и ушли, а утром, когда Анна шла на работу, ее арестовали на улице. У нее ничего не было, но гитлеровцам достаточно было одних подозрений.

Роберт Кирсис узнал об аресте Анны на другой день. Он дал знать товарищам, которые держали связь с Анной, и они перестроили сеть районного подполья, чтобы с арестом Анны даже на время не прервалась работа организации. Это было необходимо и для спасения Анны. Если бы теперь на фабриках и в домах перестали находить листовки и сообщения Совинформбюро — гестапо уверилось бы, что их распространяла Анна Селис. Один из лучших подпольщиков без промедления стал на ее место, и

работа в районе продолжалась по-старому.

Четыре дня спустя в районе Гризынькална был убит полицейский чиновник. Так подполье ответило гитлеровцам на арест своего товарища.

Глава десятая

1

12 сентября 1941 года Латышской стрелковой дивизии вручали боевые знамена, а стрелки давали воинскую присягу. Полки выстроились на огромном поле. День был прохладный, ветреный, несколько раз принимался моросить дождь.

Вот они вьются на осеннем ветру — красные боевые знамена. С гордостью и любовью глядели на них стрелки. Рейте, милые! Ведите полки в далекий путь к Латвии. Не все увидят Балтийское море, но те, кто дойдут до него, расскажут Родине о великой любви ее сынов и дочерей. Ничто им не будет казаться трудным в этой священной войне, которая решает судьбы будущих поколений. Рейте гордо, алые героические знамена!

Сомкнутыми рядами стояли полки и батальоны, все в новых, только что выданных шинелях и стальных касках. Уже произнесены слова присяги. Друг за другом подходят стрелки к столику, подписываются под ее текстом и снова возвращаются в строй. С этого момента они становятся полноправными воинами Красной Армии, непобедимой армии советского народа, и мысль об этом поднимает в собственных глазах каждого бойца.

Пламенные слова звучат на торжественном митинге. Бойцы вспоминают своих старших братьев, старых латышских стрелков, и дают обещание продолжать их славные боевые традиции.

— Доложите товарищу Сталину, что мы готовы и с нетерпением ждем первого боевого приказа, — говорили они представителям Центрального Комитета Коммунистической партии и правительства Латвии, которые вручали дивизии знамена.

В эти дни, когда гитлеровские полчища рвались к сердцу Советской страны, они хотели быть там, в первых рядах ее защитников. Им казалось, что каждый лишний день, проведенный в лагере, украден у Родины. Высказывали разные предположения об отправке на фронт, называли разные числа, но точно никто ничего не говорил.

— Товарищ Сталин скажет, когда мы понадобится фронту, —

говорили командиры. — Нас не забудут.

Когда заиграл оркестр и роты развернулись для торжественного марша — тогда все присутствующие впервые получили представление о дивизии как о боевой единице. Это была действительно внушительная сила. Полковые колонны растянулись на километры. Головные части дивизии с песнями подходили к лагерю, который отстоял на несколько километров от поля парада, и на нем все еще стоял гул от чеканного шага батальонов и рот, все еще маршировали мимо командования дивизии и гостей стройные шеренги.

Как река из ручейков, собиралась эта большая сила. С заводов и колхозных полей, со всех концов советской земли стекались сюда патриоты Советской Латвии, ставшие сегодня под боевые знамена 201-й Латышской стрелковой дивизии.

2

Надежда на то, что дивизию пошлют на фронт сразу после вручения знамен, не сбывалась. Шли неделя за неделей, а по всем признакам в лагере оставалось пробыть еще немало времени. Каждый день происходили занятия. Артиллеристы и минометчики выезжали на большой полигон. Роты и полки проводили тактические учения, которые иногда походили на настоящие маневры. Снайперы совершенствовались на стрельбищах в своем искусстве, а разведчики упражнялись в разрешении сложных задач и в дневных и в ночных условиях.

Приближалась зима. Саперы и специальные рабочие группы продолжали спешно строить землянки, и, глядя на это, стрелки только головами качали.

— Неужели нам и зиму придется здесь провести? Похоже, мы здесь устраиваемся на постоянное жительство. Что же это такое? Немец рвется к Москве, а мы плесневеем в тылу.

Но у главного командования, очевидно, были свои планы, о которых еще рано было говорить. Не одна латышская дивизия ждала с нетерпением боевого приказа. Люди рассуждали между собой, что это, конечно, не случайно. Товарищ Сталин знает, когда они понадобятся фронту. Выходит, надо подождать. Потерпеть. Но это терпение давалось не легко — жизнь в лагере всем осточертела.

Так подошел канун годовщины Октябрьской революции. На праздник в дивизию приехали гости — и из Москвы и из областей. Вместе с Айей

приехала небольшая бригада артистов; среди них была и Мара Павулан.

Мара всю дорогу не спала — так ей хотелось попасть скорее в дивизию. И когда она очутилась на территории лагеря, у нее чуть слезы на глазах не выступили — ей вдруг показалось, что она снова в Латвии.

На каждом шагу звучала латышская речь, и даже в незнакомых лицах угадывались давно знакомые, привычные черты. Ее трогали и заснеженные сосны, и серые фигуры стрелков в зимних шапках, и даже ряды землянок с железными трубами, из которых вились струйки синеватого дыма. Иногда навстречу попадались, девушки в длинных шинелях и ушанках, улыбающиеся, розовые от холода.

Картины лагерной жизни вызывали в ней одно общее ощущение чего-то свежего, как этот чистый морозный воздух.

Под вечер на площадке под открытым небом началось торжественное собрание. Батальонный комиссар Андрей Силениек говорил о значении Великой Октябрьской революции, о величии и мощи социалистического государства, о Великой Отечественной войне. Когда Силениек, заканчивая речь, сказал о боевом приказе, которого вся дивизия ждала с таким нетерпением и которого, очевидно, долго ждать не придется, — далеко по лесу прокатилось единодушное «ура».

С радостным волнением слушала Мара уверенный голос Силениека, а взгляд ее все время бродил по лицам стрелков. «Какие спокойные — ни страха, ни сомнения... Таких людей нельзя победить. А сколько их, — подумала она, с новой силой ощутив все величие советского народа, его армии. — Миллионы...»

Как только кончилось собрание, Мара подошла к Силениеку. Он уже слышал о приезде артистов, но про Мару ему не говорили. И вдруг она стоит перед ним — в сапожках, ладно подогнанной шинели и белом шелковом платке на голове.

— Вот так чудеса! Ведь знал, что вы успели эвакуироваться, а все-таки неожиданно. Знаете, я так радуюсь каждому знакомому, так доволен, что вы не остались там. Жалко, что не смогли эвакуироваться всем театральным коллективом, тогда бы вы не были одиночкой.

— Разве я одиночка? — улыбнулась Мара. — У нас целая бригада артистов. Мечтаем постепенно собрать всех латышских актеров, певцов и музыкантов и сколотить настоящий художественный ансамбль. Публики ведь хватает. А там когда-нибудь вы разрешите навестить стрелков, если у них будет время.

— Не только разрешим — просить об этом будем. Вы сегодня где-нибудь выступаете?

— В вашем полку. Кажется, через час начало. А далеко до полкового клуба?

— Пять минут ходу, но одна вы не найдете. Разве вам не дали провожатого?

— Меня будут ждать в политотделе. Признаться, я нарочно отстала от своих товарищей. Хотелось побродить по лагерю одной — ведь так больше увидишь.

— Это верно, но на сегодня я вам все-таки дам провожатого. Иначе заблудитесь и опоздаете к началу концерта. Мне через полчаса надо быть у дивизионного комиссара, а то бы взял на себя эту роль, хотите вы там или не хотите. Идемте, товарищ Павулан.

Силениек повел Мару по дорожке, между двумя рядами землянок.

— Смотрите, ведь все здесь устраивали сами стрелки. Кто ни приезжает к нам из военного округа или из наркомата, нахвалиться не могут.

Навстречу им молодцевато шагал статный сержант. Когда он поздоровался с Силениеком, тот остановился и спросил:

— Товарищ сержант, что, командир второй роты уже вернулся с собрания?

— Так точно, товарищ батальонный комиссар. Сейчас только в землянку вошел.

Мара взглянула на сержанта, и в памяти ее сразу всплыл путь из Латвии, налеты немецких самолетов, смертельная усталость тех дней...

— Товарищ Пургайлис, вы меня не забыли? — спросила она и протянула сержанту руку. — Помните, как вы мне помогли?

Разглядев Мару, Пургайлис заулыбался, но чувство дисциплины одержало верх: он вопросительно оглянулся на Силениека и, лишь заметив, что батальонный комиссар с удовольствием наблюдает сцену встречи, успокоился.

— Как же не помнить, товарищ Павулан. А вы с тех пор поправились!

— Что вы здесь делаете?

— То же, что и другие. Сам учусь и других учу. Пока меня назначили командиром взвода.

— Хвалить их нельзя — сейчас же загордятся, — сказал Силениек, — но Пургайлис, надо сказать, один из лучших комвзводов во всем полку, он, разбойник, и сам это понимает.

— Пишите Марте письмо, я завтра зайду за ним, — сказала Мара, — или, когда уезжать буду, приходите проводить.

— Если начальство разрешит, — усмехнулся Пургайлис.

— Придется поговорить с командиром роты, — сказал Силениек.

Они пошли дальше, захватив с собой и Пургайлуса. Поровнявшись с одной из землянок, Силениек остановился, помог Маре спуститься вниз и постучался. Изнутри послышалось: «Войдите». Приоткрыв дверь, Силениек, не заходя, просунул в нее голову, для чего ему пришлось изрядно согнуться, и сказал:

— Я тут тебе гостя привел. Через полчаса надо будет отвести его в полковой клуб. Ты уж, пожалуйста, сделай это, а к концу художественной части я тоже подойду.

Он повернулся к Маре:

— Заходите смелей.

Пропустив мимо себя озадаченную Мару, Силениек закрыл за ней дверь.

— Пургайлус, придется сегодня тебе быть за хозяина, ничего не поделаешь. Надо приготовить настоящий праздничный ужин... Поговори со старшиной и в военторг зайди. Вина бы не мешало.

— Понятно, товарищ батальонный комиссар. Вы не беспокойтесь, лицом в грязь не ударим. У нас кое-что найдется. А много гостей?

— Да так человек десять.

— Будет выполнено, товарищ комиссар.

Как всякий настоящий хозяин, Пургайлус немедленно взялся за дело, и Силениек отправился к дивизионному комиссару в полной уверенности, что все будет сделано как следует.

Войдя в землянку, такую низкую, что там нельзя было выпрямиться, Мара прищурилась от яркого света электрической лампочки. Освоившись, она увидела так же согнувшегося и так же растерявшегося, как и она сама, человека. Это был командир второй роты — лейтенант Жубур. Он только что повесил шинель на стенку и торопливо затягивал ремень поверх защитной гимнастерки.

— Чего только не бывает на белом свете, — шутливо вздохнул он, сильно пожимая руку Мары. — Все-таки выбралась в дивизию! Великолепно, Мара. Страшно рад, что ты здесь... Да... Присаживайся, пожалуйста. Вот сюда, на топчан. Ты ведь знаешь, мне никогда не удавалось предоставить своим гостям даже элементарные удобства. Что поделаешь, раз человек жить не умеет.

Мара смотрела на Жубура и улыбалась.

— Не умеешь жить? Я всегда завидовала тебе — какая у тебя полная жизнь... как ты находишь в ней настоящее место. А удобства... бог с ними, с удобствами.

Жубур выдвинул из-под топчана круглый чурбачок и сел на него. Он не мог опомниться от радости и не знал, как ее выразить. Они сидели в маленькой землянке, в которой двоим негде было повернуться, глядели друг на друга и улыбались.

— Я очень часто думаю о тебе, Жубур, но когда Силениек повел меня сюда, мне и в голову не пришло, что это к тебе. Ведь вот какой — ни полсловом не обмолвился. Я почему-то была уверена, что не застаю тебя.

— Наверно, хотел сделать нам обоим сюрприз. И это ему удалось. Так это неожиданно, что не знаю, с чего начать.

— А я... то же самое и со мной. Вот что значит несколько месяцев не видеть друг друга.

— И каких месяцев! Сколько событий, как все изменилось с тех пор. Мы и сами не те, какими были до войны.

— И уже не будем такими. Но об этом как-то и жалеть не хочется. Правда? Назло войне, а может быть, это из-за нее живешь такой напряженной, полной жизнью, о которой раньше и понятия не имел. Придешь вечером домой и прямо валишься на кровать от усталости, зато совесть спокойна — делаешь, что можешь, и кажется — твоя работа нужна людям. Ты не подумай, что я себя чувствую жертвой какой-то, совсем нет... Я никогда не получала столько от жизни, как сейчас. Каждый день как-то зорче видишь, лучше понимаешь события. Ближе к людям стала — вот в чем дело. Раньше у меня весь мир театром ограничивался, если по-настоящему-то говорить. Ну, пусть шире — искусством. А теперь? Вот мы сейчас шли с сержантом Пургайлисом, ты его, наверно, знаешь. Когда мы из Латвии уходили, ну, был такой тяжелый момент, и они с женой очень помогли мне... Какие это замечательные люди, Жубур!.. У меня получается, пожалуй, что война — это хорошо... Нет, я ведь не это хочу сказать, ты пойми. Но только у нас страна такая особенная — даже самое страшное бедствие и то не уродует людей, а, наоборот, заставляет показать, сколько в них силы, красоты... Видишь, сколько я всего наговорила, наверно не поймешь ничего.

— Нет, Мара, все понял. Я вот вспоминаю, как ты мечтала поехать в Москву, посмотреть, поучиться. По-другому получилось, конечно, но и я чувствую, что в тебе много нового появилось.

— Да, я только теперь начала понимать, что это значит — советский народ. И такое чувство гордости иногда испытываю: все-таки и я частичка этого народа...

— Я рад, Мара, что встретил тебя такой... И ведь заметь — время очень трудное, положение под Москвой угрожающее, а вот уверены все в

победе, да и только. И как раз самые трезвые люди лучше всего и сознают, почему мы победим. А в дивизии у всех один разговор — когда же на фронт? Признаться, и самому иной раз невтерпеж...

Мара робко посмотрела на него.

— Послушай, Жубур, а как у тебя со здоровьем? Тебе не тяжело?

Жубур засмеялся.

— Отличное здоровье, Мара. За все время войны ни разу в медсанбате не был. Ты лучше про себя скажи.

— Ты, наверно, смеяться будешь, но, честное слово, никогда я не чувствовала себя такой крепкой и бодрой, как сейчас. А ведь условия жизни нелегкие, не то, что до войны.

— Время, видно, такое, Мара. Время нас закаляет.

Снова между ними установился прежний дружески-непринужденный тон. И по-прежнему не то робость, не то сдержанность не позволяла им открыть друг другу давно уже крепко связавшее их чувство.

Незаметно пролетели полчаса. Жубур надел шинель, проверил, прогорели ли в чугунной печке угли, и вместе с Марой пошел в полковой клуб.

Недавно построенное здание полкового клуба представляло собой обыкновенный барак: стены были из сосновых, не очищенных от коры бревен, потолок из таких же жердей. Единственный вход вел в единственное же, служившее залом, помещение с небольшим помостом-эстрадой и рядами наскоро сбитых скамеек. Вдоль стен, украшенных еловыми ветками, висели портреты Ленина, Сталина и маршалов Советского Союза.

Когда Жубур и Мара появились в клубе, там уже было полно народу. Мест для всех не хватило, и многие стояли. Жубур сразу заметил знакомую компанию, расположившуюся поближе к печке. Там был помощник командира батальона по хозяйственной части лейтенант Юрис Рубенис с Айей, там же сидел политрук третьей роты Петер Спаре и командир роты лейтенант Закис. Прижавшись друг к другу, сидели Лидия Аугстрозе и Аустра Закис.

— Не найдется ли и для нас местечка? — спросил Жубур.

Лейтенант Закис вскочил и уступил свое место Маре. Это произошло так быстро, что Лидия подозрительно посмотрела на Аугуста, но, заметив

рядом с незнакомой гостьей Жубура, успокоилась и подвинулась в сторону, чтобы хватило места для обоих.

— А Силениека разве не будет? — спросила Айя у Жубура.

— Обещал прийти к концу. — Ему было неловко от любопытных взглядов товарищей: «Первый раз в жизни появился в обществе с дамой, и они, конечно, строят разные предположения».

У Мары таких мыслей не возникало, и она с интересом наблюдала молодых командиров. Они очень заботились о своей выправке, поминутно подтягивали наплечные ремни, проверяли, не сдвинулась ли назад кобура револьвера, проводили ладонями по гладко причесанным волосам. Девушки сидели особняком, и с их стороны часто доносились смех и шепот.

Ждали только командира полка, чтобы начать концерт. Наконец, он появился, но не прошел вперед, а остановился у двери и что-то сказал подошедшему к нему Петеру Спаре. И через несколько секунд клуб облетела весть: Сталин делал доклад на торжественном заседании Моссовета.

Петер, с блестящими глазами, с покрасневшимся лицом, вернулся на свое место.

— Слышали? Сталин сегодня выступал... Завтра в дивизионной газете напечатают... Ведь это же замечательно, товарищи... Слышишь, Аустра? Он сказал, что немецкие захватчики обрекли себя на неминуемую гибель.

И у всех были такие же блестящие глаза, все с волнением переспрашивали друг друга, что сказал Сталин.

Наконец, начался концерт. Трудно было вообразить более пеструю программу, но Маре еще никогда не случалось выступать перед такой благодарной и восприимчивой аудиторией. Сказывалось, конечно, и приподнятое настроение.

Приехавшая труппа артистов сыграла две-три сценки, потом выступали дивизионные и полковые кружки самодеятельности. Мара прочла несколько стихотворений, один из лучших теноров Латвии пел родившиеся здесь же, в дивизии, песни стрелков, а в заключение выступил хор с музыкальным монтажем. Каждое выступление сопровождалось громом аплодисментов, многие номера пришлось повторить.

— Вы вот приезжайте к нам, когда будем на фронте, — сказал Маре Петер Спаре. — Там у нас, правда, не будет такой сцены, да и аплодировать не придется слишком громко, зато вы найдете столько почитателей вашего таланта, что и уезжать не захотите.

— Я бы и отсюда ни за что не уехала.

Общими усилиями сдвинули скамейки к стенам, и оркестр заиграл вальс. Счастлив был тот, у кого была дама. Аугуст Закис и Лидия сразу вышли на середину зала и весь вечер проявляли непростительное бессердечие к остальным любителям танцев. Оставшиеся без дам лейтенанты и капитаны с завистью глядели на них, но они не расстались друг с другом ни на один танец. И если бы у одного из них не красовался на груди боевой орден, а у другой — медаль «За отвагу», можно было подумать, что в жизни у них только и дела было, что танцевать.

Зато досталось Аустре Закис. Петер Спаре не танцевал — не было настроения; видя, что он добровольно отказался от конкуренции, товарищи один за другим приглашали Аустру и не давали девушке дух перевести. Это продолжалось до прихода Силениека, который с помощью Жубура собрал нескольких друзей и пригласил на ужин. Это были Петер Спаре, Ая, Юрис, Жубур, Мара, Аустра. Не забыл он и Аугуста Закиса с Лидией, но те вздумали прогуляться при луне.

— Ничего, сами еще пожалеют, — сказал Силениек.

У Силениека была довольно большая комната в одном из лагерных домов. Сержант Пургайлис уже ждал гостей.

— С посудой вот только у нас бедновато, — сокрушался он.

Вино пришлось пить из маленьких алюминиевых кружек; тарелок хватило только дамам, — мужчины пользовались мисками, а жаркое Пургайлис подал в алюминиевом котелке. Впрочем, эта простота обстановки только способствовала сближению участников ужина.

Узнав, что командир батальона капитан Соколов уже вернулся, Силениек зашел за ним и через несколько минут привел его.

Соколов недавно кончил военную академию и в полку считался одним из самых образованных командиров. За несколько месяцев он успел так сблизиться с латышами, как будто провел среди них долгие годы.

О чем бы ни заводили разговор в тот вечер, все снова и снова возвращались к одной теме: «А что сказал Сталин? А как сейчас в Москве?» Да и могло ли быть иначе? В этих словах заключалась судьба народная и личная судьба каждого человека, будь то русский или латыш, рабочий или колхозник, генерал или рядовой боец.

— А как он метко о Гитлере, — сказал Силениек. — «Гитлер походит на Наполеона не больше, чем котенок на льва...» Вот он — приговор истории над фашизмом.

Соколов днем разговаривал с товарищем, только что приехавшим из Москвы.

— Москвичи чувствуют себя, как на фронте, на улицах — баррикады,

противотанковые надолбы. Фашистские самолеты ни днем, ни ночью не оставляют в покое, — шутка ли, базы-то у них теперь рядом... Но настроение бодрое, боевое. «Сталин с нами, и Москву немцам не отдадим», — это буквально каждый человек говорит.

— Эх, черт! — вырвалось у Жубура. — Когда же наша очередь наступит? А какое бы замечательное начало для дивизии — повоевать за столицу.

— Да, хватит нам здесь сидеть, — сказал Соколов. — Я думаю, что теперь вот-вот будет приказ о выступлении. Я за наших стрелков не боюсь — хорошо будут драться. Скорее надо опасаться, как бы ребята в первых боях сгоряча глупостей не наделали.

— Наше дело следить за тем, чтобы глупостей не делали, — сказал Силениек. — А относительно успехов... Многое, я думаю, зависит от первого боя. Если в первом бою мы добьемся успеха, докажем, что способны бить немца, потом даже отдельные неудачи не поколеблют веры стрелков в свои силы.

— Есть у меня предположение, что командование специально приберегает нас для наступательных боев, — оглядывая всех сидящих за столом, сказал Соколов. — Пусть Гитлер выкидывает любые трюки, Москвы он не получит. Хорошо, если и нам удастся принять участие в той битве, которая должна изменить положение. А такая битва должна произойти, иначе и быть не может. Другой вопрос, какой срок назначил для нее товарищ Сталин. Одно только мне ясно: немцев отгонят от Москвы.

Разошлись только после полуночи. Мару уложили тут же, в комнате Силениека, а сам он перекочевал к Соколову. Лагерь утих.

«Если бы можно было и мне остаться здесь», — думала Мара.

7 ноября с трибуны Мавзолея Ленина на Красной площади говорил Сталин. В заснеженных шинелях стояли боевые полки — с Красной площади они шли прямо на передовую. В воздухе гудели моторы самолетов, идущих на боевое задание; по временам порывы ветра доносили гул боя с близкого фронта. Но спокойно звучал голос Сталина. Быть может, это был самый тяжелый момент за всю Отечественную войну, когда миллионы сердец сжимались от боли и тревоги за судьбу своей столицы, за судьбу Родины, но это бесспорно был один из самых благородных и героических моментов истории человечества. Советская

страна перед всем миром засвидетельствовала уверенность в своей победе. Она говорила голосом Сталина — спокойно, трезво, как сам разум, как сама совесть, которая смотрит в глаза правде:

«Разве можно сомневаться в том, что мы можем и должны победить немецких захватчиков?»

Метель — светлая, юношески-непокорная — взвивалась над седой Москвой, предвещая близкую перемену.

Голос Сталина долетел и до латышской дивизии.

— Знают командиры, когда выступим, только нам не говорят, — рассуждали стрелки. — Ведь никакого смысла нет держать нас в тылу в такие дни.

Оружие было получено. Летнее обмундирование заменено зимним. Стрелки обулись в валенки, надели овчинные полушубки и ватные брюки. О занятиях как-то не хотелось и думать, все эти маневры в лесах и на полях казались тратой времени.

И вот однажды лагерь облетела взбудоражившая всех весть: один полк уже получил приказ погрузиться со всем своим имуществом. Скоро, впрочем, выяснилось, что приказано было погрузить на платформы только артиллерию полка. Как забегали парни, как засуетились вокруг лафетов и повозок! Где там было подгонять их — не успели оглянуться, а полковая артиллерия уже была на платформах. Но когда погрузка закончилась, командиры посмотрели на часы и... велели сгрузить орудия с платформ и отвезти обратно в лагерь. Оказывается, это была только проверка. С вытянутыми лицами стаскивали артиллеристы орудия и возвращались к своим землянкам. Их не утешало даже то, что при этой погрузке были побиты все рекорды. Бывалые командиры признавались: никогда не видели, чтобы такое задание было выполнено в такой короткий срок.

— Молодцы ребята! — похвалил командир своих артиллеристов. Но молодцы только хмурились. Однако никто не думал над ними смеяться, на их месте каждый бы попал впросак.

Так подошло начало декабря.

Аустра Закис возвращалась из медсанбата — относила Руте письмо от Айи, доставленное кем-то из приезжих. Лагерь жил обыденной жизнью: артиллеристы чистили лошадей и осматривали орудия, по дороге маршировали взводы стрелков, связные бегали по поручениям. Привычная обстановка, давно знакомые звуки. И вдруг все привычное кончилось. Подходя к расположению своего полка, Аустра услышала шум. Сотни людей кричали «ура» так, что в лесу отдавалось. Подойдя ближе, она увидела вовсе странное зрелище. Стрелки обнимались, кидали вверх

шапки, некоторые бросались на землю и кубарем прокатывались по снегу, а командиры только улыбались и ничуть не спешили установить порядок.

Аустра начинала догадываться. Сердце сильно забилося в груди, она побежала быстрее. Вся третья рота собралась перед своими землянками. Лейтенант Закис, красный, со сдвинутой на затылок шапкой, что-то быстро говорил командирам взводов, а те, видимо, дожидаться не могли, когда он отпустит их. Петер Спаре стоял среди стрелков и с улыбкой наблюдал всеобщее радостное оживление.

— Что случилось? — спросила, задыхаясь, Аустра. — Почему все такие веселые?

— Да ты и правда ничего не знаешь? — повернувшись к ней, спросил Петер. — Мы выступаем, Аустра. Только что получили приказ. На фронт.

Не сказав ни слова, Аустра бегом бросилась к своей землянке.

— Лидия! Лидия! Ты уже готова?

Лидия Аугстрозе только мельком взглянула на Аустру и, опустившись на колени, стала что-то затискивать и уминать в свой вещевого мешок.

— Нет, Аустриня... У меня еще ничего не собрано... — голос ее звучал так жалобно, как будто ее кто-то больно обидел. — Ну и бессовестный этот Аугуст... не мог сказать чуть пораньше.

— Да ну, он всегда такой, — согласилась Аустра. — Правда, а вдруг не успеем?

— Прямо и не знаю, как быть, Аустриня. Но пусть они не думают бросить нас здесь.

Времени на сборы хватало, но все боялись опоздать и от нетерпения готовы были немедленно бежать к вагонам. Стрелки быстро собирали свое имущество и заходя во всей боевой выкладке являлись на место сбора роты. Чистое горе было с теми, у кого что-нибудь оказывалось не в порядке — или по болезни освободили от занятий, или не получили подходящей по размеру обуви. Никто не хотел признать себя больным. Одному стрелку перешивали в сапожной мастерской сапоги. От досады он чуть на стену не лез — боялся, сапожники подведут.

— Я все равно здесь не останусь, и пусть эти шильники хоть повесятся, а сапоги чтобы мне были, — повторял он.

Наконец, все разместились. Скоро затопились печурки, в одном месте запели, и вагон за вагоном подхватили песню стрелков.

Бодро постукивали колеса на стыках рельсов, а ветер бежал впереди эшелона, будто спеша отнести на фронт весть о прибытии новых боевых товарищей.

...По всем дорогам двигались на запад войска. Люди, машины, орудия, танки — все было в движении, все звучало и спешило. Великое контрнаступление у Москвы началось шестого декабря, и вновь прибывшие полки сегодня шагали по земле, на которой еще несколько дней назад были немцы. Об этом свидетельствовали сожженные села, где под пеплом еще тлели угли, и завязшие вдоль дорог танки. Снег на полях местами совершенно почернел от взрывов мин. На местах недавних боев лежали трупы немецких солдат и офицеров, лошади с вывалившимися внутренностями, брошенные при бегстве орудия и грузовики. В лесу иногда раздавались одиночные выстрелы. Тогда отряжали группу бойцов, и она окружала «кукушку», оставленную убежавшим противником в тылу Красной Армии.

Весь день моросил дождик. Снег на дороге превратился в кашу и налипал на валенки. Шинели промокли, вода просачивалась сквозь гимнастерки и белье, капала за ворот с шапок.

— Вот вам и зима! — смеялся Аугуст Закис. — Рановато мы обулись в валенки. Лидия, ты еще шагаешь?

— Почему ты меня спрашиваешь? — обиделась девушка. — Пусть за мной другие успевают!

— Ничего, ничего, не обижайся!

Весь день шли по слякоти, а к вечеру ветер переменился и стало подмораживать. Валенки превратились в глыбы льда. Полы шинелей залубенели и били по ногам, как листы фанеры. Напрасно стрелки разминали их: сукно несколько минут оставалось мягким, а потом снова затвердевало. Впереди все время была слышна орудийная стрельба. Когда стемнело, над передним краем начали вспыхивать ракеты. Навстречу стали попадаться легко раненные, с забинтованными руками и головами. Сигналили санитарные машины, лязгали гусеницы тягачей, и скоро стал слышен треск пулеметов и отдельные взрывы мин. Где-то недалеко разом занялась красноватым пламенем рошица, и земля вздрогнула от артиллерийского залпа. На перекрестке дорог стояли регулировщики и тихим голосом передавали начальникам колонн, чтобы не сворачивали вправо: там немцы.

Когда до назначенного пункта оставалось километра два, подоспел связной от штаба полка, и первый батальон стал. Во время марша пришел приказ: дивизия получила новую задачу — направиться на другой участок фронта.

Снова по дороге развалины сгоревших деревень... Ночь в лесу. Хлеб промерз, в банках с мясными консервами образовались ледяные кристаллы.

Несколько часов чуткой, тревожной дремы, затем снова переход по темным еще дорогам, беспокойное утро и стремительный марш в метель и мороз. И снова вечер, налитое свинцом тело, вспыхивающий от разрывов снарядов горизонт. Стрелки стали в очередь у походных кухонь за горячим супом. Ротные старшины притащили внушительные бидоны водки и выдали каждому законные сто граммов.

Ротных командиров вызвали к капитану Соколову, и минут десять они посоветовались в старом сарае, что-то отмечая на картах при свете карманных фонариков.

— В четыре ноль-ноль полк переходит в наступление, — сообщил Соколов. — Первому батальону приказываю форсировать речку, на западном берегу которой укрепились немцы. Их надо отбросить от реки, занять деревню К. и захватить в свои руки важное скрещение дорог. Успех первого батальона развивают второй и третий батальоны, которые расширят прорыв и быстрым броском овладеют юго-западной окраиной города Н. Дальнейшие задачи будут поставлены после выполнения этого приказа. Предупреждаю: все зависит от успеха нашего батальона. На нашей совести лежит ответственность за честь всей дивизии.

Командиры рот один за другим повторили боевую задачу. Затем Соколов и Силениек пожали им руки, пожелали успеха и отпустили. В ночной темноте началось бесшумное движение. Роты заняли исходные рубежи. Белое пространство, ветер и меж облаков на темном небе — звезды, как золотые зерна. Зарывшись в снег, лежали латышские стрелки и ждали сигнала к атаке.

Через каждые пять минут где-то позади гремел гулкий орудийный выстрел, над головами стрелков с шелестом, точно невидимая птица в торопливом полете, пронесился тяжелый снаряд. Еще несколько мгновений — и по ту сторону реки у перекрестка дорог вспыхивал огонь, раздавался взрыв и во все стороны неслись, свистя, осколки. Через короткие промежутки со стороны противника взвивались вверх ракеты, и заснеженную равнину заливало ярким светом. Стрелки лежали в снегу не двигаясь. Очень хотелось покурить, но командир роты объявил, что каждого, кто позволит себе это, будут судить, как за нарушение боевого приказа.

Аугуст Закис с несколькими лыжниками выдвинулся вперед и

наблюдал расположение неприятеля. Двое разведчиков доползли до противоположного берега и обнаружили в излучине три пулеметных гнезда, откуда простреливался значительный сектор. Река находилась ниже линии немецкой обороны, а крутой берег после вчерашней оттепели покрылся коркой льда.

«Нешуточное дело, — подумал Аугуст, выслушав донесение. — Одной храбростью здесь ничего не сделаешь. Пока мы не заставим замолчать пулеметы, у нас ничего не выйдет!»

Он приполз обратно к расположению роты и созвал командиров взводов. От третьего взвода, которым командовал Пургайлис, выделили три группы по четыре бойца. В помощь им придали обоих разведчиков. Закис четко и ясно поставил перед группами Пургайлиса боевую задачу:

— В четыре ноль-ноль по сигналу две красные ракеты врывайтесь в блиндажи и уничтожайте расчеты. Все время ведите наблюдение за западным берегом. Возможно, у них, дьяволов, поблизости есть еще пулеметные гнезда, которых мы не обнаружили. Если начнут стрелять и дадут себя обнаружить, немедленно нападайте с тыла. Пока рота не перейдет на западный берег, дальше не продвигаться. Всё.

На ротных учениях Пургайлису не раз приходилось выполнять подобные задачи. Тогда все казалось просто, даже скучно, и ребята ворчали, что приходится ползать по грязи. Сейчас задача была, возможно, еще проще, но Пургайлису она уже не казалась скучной, он заранее волновался, думая о ней.

Бесшумно, со всеми предосторожностями, ползли они по льду через реку. Когда немцы выпускали ракету, пятнадцать бойцов в белых маскировочных халатах замирали на месте, пока река снова не погружалась во тьму, и тогда ползли дальше. В три часа они уже были на своих местах, в нескольких шагах от пулеметных гнезд, и, затаив дыхание, слушали, как перешептывались немцы.

«Эх, если бы незаметно подползти и ворваться к ним... — думал Пургайлис. — Пикнуть бы им не дали. А потом повернуть пулеметы в другую сторону и всыпать хорошенько. Жалко, что нельзя».

Сознание, что враг, опасный и ненавистный, находится здесь, почти рядом, опьяняло и заставляло испытывать непривычную радость. Они в наших руках, а сами этого не чувствуют... Мы можем их перебить хоть сейчас, а у Гитлера несколькими головорезами станет меньше. Если бы это была только разведка... Если бы не было приказа ждать двух красных ракет... Нет, надо ждать! Тебе поручено открыть ворота в немецкой линии обороны — и от того, хорошо или плохо ты это сделаешь, будет зависеть судьба

сотен людей. Если откроешь эти ворота слишком рано, — а это можно сделать хоть сейчас, — некому будет пройти через них и они снова могут захлопнуть. Если откроешь вовремя — стремительная лавина стрелков хлынет в логово врага, сокрушит его и вернет свободу многим советским людям, сделает изрядный шаг в сторону твоей Родины.

«Старый Вилде, Каупинь... жрите урожай с моей земли — скоро поперхнетесь. Скоро мы с вами поговорим... А усадьбу хорошо бы под колхозный двор... Построить большой коровник, молочно-товарную ферму... А там можно подумать и о клубе. Мы с Мартой работаем на колхозном поле, а Петерит с другими ребятами будет играть в саду под яблоньками. И никакой кулак не обругает их, не посмеет прогнать. Янов день праздновать всем колхозом... Песни, пиво, сыр с тмином... Эх и житье!..»

Один разведчик вернулся к роте и доложил лейтенанту Закису, что группа Пургайлуса благополучно достигла назначенного места. Тогда рота стала медленно продвигаться вперед и развернулась на реке — под самым носом у неприятеля. Один раз протрещала очередь немецкого автомата. Немцы, очевидно, стреляли наугад, чтобы подбодрить себя и вызвать ответный огонь. Но восточный берег молчал, и, когда в воздух снова взвилась ракета, немецкий наблюдатель не заметил на равнине никаких признаков жизни. Только дальнобойная батарея каждые пять минут посылала тяжелый снаряд и справа ночные бомбардировщики бомбили немецкие позиции.

— Значит, запомни свою задачу, — шептал Аустре Петер Спаре. — Ты в атаке участия не принимаешь, а когда мы зайдем тот берег, выбирай подходящую позицию и наблюдай за дорогой. Стреляй одиночными выстрелами, целься хорошенько. Бери на мушку офицеров. Грубую работу мы сделаем без тебя.

Все это она уже знала, но то, что Петер прополз вдоль всей цепи, чтобы поговорить с нею, Аустру сильно взволновало. Она нащупала одетую в варежку руку Петера и пожалала ее.

— Я запомню, Петер...

Второй снайпер, Лидия, была на левом фланге роты. Не так давно подобное же наставление прочел ей Аугуст. «Тоже! Других учит беречься, а сам только о том и думает, как бы первым выбраться на берег».

В четыре ноль-ноль взвились в воздух сигнальные ракеты. В тот же миг бойцы Пургайлуса вскочили и рассчитанным прыжком ворвались в блиндажи пулеметчиков. Короткая яростная схватка, удар штыком, удары прикладами, предсмертные крики, умоляющие взгляды, поднятые вверх

руки: «Русс, не стреляй! Их бин плен. Гитлер капут...»

Вверх по скату берега уже карабкались атакующие стрелки. Ворота были открыты!

— Вперед, товарищи! — крикнул Аугуст Закис, поднимаясь во весь рост. — За Родину, за Сталина — ура!

...Теперь их не сдержала бы никакая сила. Во весь рост, как на учебном плацу, латышские стрелки неслись вперед. Со второй линии немецкой обороны начали лететь мины. Каждая пядь земли была заранее пристреляна, каждому миномету и орудию был выделен определенный сектор. Мины падали прямо на пути наступления роты. То здесь, то там на бегу валился раненый боец. Те, кого еще не задела осколками, продолжали, не оглядываясь, бежать вперед.

На краю деревни загорелся сарай, и все кругом осветилось, по розовому снегу бежали черные фигуры.

Когда первые группы атакующих уже ворвались в деревню, на перекресток дорог и берег реки стали падать снаряды немецкой артиллерии. Казалось, перед наступающими цепями выросла стена огня. И безостановочное движение как будто за что-то зацепилось, пустынным и мертвым стало голое поле. Тогда снова поднялся во весь рост лейтенант Закис — одна пола шинели у него висела лохмотом, ободранные о лед пальцы были в крови.

— Вперед, товарищи! Ура! Смерть фашистским гадам!

Снова поднялись они из сугробов и побежали к околице деревни. Теперь ничто уже не могло задержать этот напор — у него была сила морского прибой. Кучки полуодетых немецких солдат и офицеров бежали к лесу. Оттуда они огрызались на своих преследователей — отстреливались и отбивались ручными гранатами.

Аустра со своей позиции вела меткий огонь, и после каждого выстрела падал то офицер, то солдат.

— Получай, проклятый, — цедил сквозь стиснутые зубы Пургайлис, поворачивая пулемет то вправо, то влево, как дворник, поливающий из шланга мостовую.

Нити трассирующих пуль протянулись от деревни к лесу и обратно, у опушки по временам раздавался треск автоматов, затем перестрелка стала стихать.

Батальон капитана Соколова, прорвав линию обороны противника, нацелился клином в затылок немецкой дивизии. Второй и третий батальоны, перейдя реку, просочились в прорыв и, как весенний поток, понеслись вперед. Клин превратился в развернутый веер, углы которого,

выдвинутые далеко вперед, грозили окружением находившимся на флангах стрелкового полка частям противника.

Весь день продолжался бой. Фронт наступления повернули на юго-запад, и полк вгонял глубокий клин в неприятельский тыл. Вечером, когда командиры рот собрали своих людей и проверили состав подразделений, много хороших воинов не достало в строю. Раненых эвакуировали в Москву. Для тех, кто сложил свои головы в первом бою, товарищи вырыли в промерзшей, твердой, как железо, земле могилу, и там они остались навсегда — под старыми огромными березами, в земле, которую сами отвоевали у врага. По шоссе катился поток войск, в воздухе гудели самолеты, а зарево боя отодвигалось все дальше и дальше на запад.

Дивизию облетела печальная весть: в бою погиб комиссар дивизии Бирзит. Командир дивизии полковник Вейкин был тяжело ранен, и его эвакуировали в тыл. Но грозная битва продолжалась дни и ночи.

Дни и ночи... Суровые январские морозы, когда кратковременная потеря сознания при ранении означала верную смерть... С бешенством дикого зверя огрызалась армия Гитлера, не отдавая без боя ни одного селения, ни одной пригодной для обороны позиции. Леса были полны немецкими «кукушками», они укрывались на деревьях и стреляли исподтишка, метя в командиров. Все дороги были минированы. Вместо сел и деревень советские войска часто находили только дымящиеся развалины и печные трубы, вокруг которых, как тени, бродили старики, женщины и дети.

Снежные сугробы в течение многих ночей служили постелью бойцу. Сквозь леса, через реки и голые поля прорубала дорогу на запад Красная Армия, ценой неостываемого геройства и выдержки, ценой крови и жизни своих воинов освобождала каждый клочок родной земли. Русский и украинец, башкир и казах, латыш и литовец, грузин и армянин шли здесь тесным строем, прижимаясь плечом к плечу, творя великое освободительное дело.

Когда по всей стране заговорили о героях битвы за Москву, то вместе с кавалеристами Доватора, героями Панфилова и гвардейскими дивизиями называли и латышских стрелков, которые так достойно начали свой путь под Москвой.

В начале декабря Ояр Сникер по поручению нескольких партизанских

отрядов перешел линию фронта, чтобы установить связь с руководством республики и договориться о дальнейшем развитии партизанского движения в Латвии.

Практика показала, что без постоянной радиосвязи и технической помощи извне трудно развивать движение вширь. Разрозненные отряды партизан, ведущие несогласованную борьбу, не могли достичь заметных результатов, — их деятельность имела скорее моральное, чем практическое значение.

Больше чем в хлебе, народ нуждался в живом слове правды. Если бы у партизан была портативная типография, они могли бы выпускать воззвания и даже подпольную газету.

На время своего отсутствия Ояр оставил командиром отряда Капейку. За четыре месяца они провели несколько удачных операций. Немецкие жандармы, и местные шуцманы больше не расхаживали по усадьбам с таким самоуверенным видом, как в первые дни оккупации, — не малое число их получило свою долю свинца. Чуть ли не каждую неделю летел под откос эшелон с живой силой или военными материалами. А если за последнее время число железнодорожных катастроф уменьшилось, то отнюдь не потому, что партизаны боялись вооруженных патрулей, которые днем и ночью охраняли железнодорожное полотно. Причина была проста: у них не хватало взрывчатки.

Ояр перешел фронт в районе озера Селигер, недалеко от Осташкова. Его допросил начальник особого отдела дивизии, и затем отправили в штаб фронта. Там снеслись с Москвой и получили о нем нужные сведения. В конце декабря в штаб фронта прибыл представитель Центрального Комитета Коммунистической партии Латвии Крам. Он удостоверил личность Ояра, и только тогда ему выдали командировочное предписание в Москву.

Ояру показалось, что Крам как-то изменился за это время — стал живее, проще, даже помолодел. Дорогой они, не переставая, расспрашивали друг друга, а за разговорами незаметно пролетело время.

В Москву они приехали уже к вечеру. Окна «эмки» замерзли, поэтому Ояр мало что успел разглядеть. Но сразу бросался в глаза суровый военный облик столицы — противотанковые заграждения, караваны несущихся к фронту грузовиков, зенитные батареи на площадях.

Крам завез Ояра в общежитие.

— Ты помойся, отдохни хорошенько, а завтра с утра я за тобой зайду.

На следующее утро Крам прежде всего повел Ояра смотреть город. Сильно забило у него сердце, когда он увидел Красную площадь. Вот и

Мавзолей Ленина... Бывало, в тюрьме, лежа ночью без сна, Ояр старался представить себе эту площадь, стены Кремля, Мавзолей. Почему-то всегда он видел солнечный майский день, марширующие полки и дивизии Красной Армии, нескончаемый поток демонстрации, и на трибуне — Сталин со своими соратниками. И вот Красная площадь въявь перед ним в этот морозный декабрьский день. «Неужели за этими седыми стенами, так близко от меня, работает Сталин?»

И Ояр представлял, как он — спокойный, невозмутимый — стоит у карты, утыканной маленькими красными флажками, на которой ясно видна зигзагообразная линия фронта. И на всех фронтах маршалы и генералы Красной Армии ждут указаний Верховного Главнокомандующего, и там, в тылу врага, его голосу внимают с надеждой советские люди. «И у нас, в Латвии, и там тоже...»

И вот он, Ояр Сникер, командир партизанского отряда, взволнованный и счастливый, бродит по московским улицам, и его, как морские волны, захлестывают новые впечатления. Гостиница «Москва», библиотека Ленина, станции метро, красавцы-мосты через Москву-реку, улица Горького, Садовое кольцо, по которому в несколько рядов непрерывным потоком несутся автомашины.

— Сейчас разве то, что раньше, — рассказывал Крам. — Все, кому здесь нечего делать или у кого нервы не выдержали, — уехали. Сейчас еще на улицах довольно свободно. Ты бы видел Москву до войны!

Суровой, даже грозной была в то время Москва; ничто не могло сломить моральную силу людей, которые остались на месте, когда враг уже стоял под городом. Под бомбежкой неприятельской авиации, при свете пожаров, с опасностью для жизни москвич производил бомбы, мины и оружие для фронта; а когда надо было, он брал в руки лопату и винтовку, рыл противотанковые рвы, шел оборонять свой город.

Самое тяжелое время миновало. Москвичи снова могли отдохнуть после работы, — немецкие самолеты больше не тревожили их сна. Они не жаловались на холод и недостатки, не отличали рабочих дней от дней отдыха: их сыновьям и братьям, которые в тридцатиградусный мороз спали под открытым небом, нужна была теплая одежда и обувь, — как можно было думать в такое время о себе? А когда громкоговорители каждый вечер возвещали о новых победах Красной Армии и диктор перечислял названия освобожденных советских городов — вместе с великой радостью сердца москвичей согревала и гордость: и я помог этой победе.

После зловещей, насыщенной запахом крови атмосферы немецкого тыла Ояра пьянил чистейший воздух свободы. Как хорошо знать и

чувствовать, что ты среди друзей и товарищей, видеть спокойные лица, встречать уверенные взгляды. Да, вот почему ему так радостно сегодня...

Вечером Крам повел его на концерт в зал Чайковского. Бросался в глаза своеобразный состав публики. Больше половины были военные, в валенках, в полушубках. Многие из этих лейтенантов и капитанов, может быть, утром еще участвовали в боях; многие через несколько часов должны вести свои части в бой. Сейчас, они слушали музыку, и эта музыка утверждала ту же веру в победу света над силами тьмы, что одушевляла их тяжелый боевой труд. И Ояр вдруг подумал о своих партизанах. Вспомнил Акментыня, Капейку, Сашу Смирнова, ребячью улыбку Иманта. «Чистые, верные, бесстрашные».

— Теперь-то хорошо, — рассказывал Крам Ояру, когда они возвращались с концерта по темным улицам, — теперь можно спокойно слушать концерт до конца. А что было осенью! По два, по три раза объявляли воздушную тревогу, спектакли в театрах прерывали, пока не кончится налет. Иногда не удавалось досмотреть и до половины, надо было думать, как попасть домой, особенно тому, кто живет не близко. Но театры, кино все равно работали, и народ ходил, как ни бесновался немец. В октябре одна бомба повредила портал Большого театра с квадригой Аполлона. В ноябре одна бомба упала во двор гостиницы «Москва», в шахту метро. Так фашистам и не удалось ничего поделать с этой гостиницей. Теперь уж и подавно.

На следующий день Ояр докладывал в Центральном Комитете Коммунистической партии Латвии о действиях партизанских отрядов. Он рассказал многое, что еще не было известно, о героической обороне Лиепай и представил несколько предложений по развертыванию партизанского движения в Латвии.

— Люди есть, но нам нужны организаторы борьбы — командиры и политработники. Нужны радисты и наборщики; тяжело работать без боеприпасов и медикаментов.

Совещание продолжалось несколько часов. Был выработан подробный план. Ояру и одному из членов Центрального Комитета поручили отобрать командиров, которые могли бы отправиться с ним в Латвию.

В Центральном Комитете Ояр расспросил про своих старых товарищей, где они сейчас и что делают. Большинство ушло в латышскую дивизию, некоторые погибли во время боев в Эстонии или под Москвой. Только про Чунду никто ничего не знал. Картотека эвакуированных находилась в Кирове, но и там он не был зарегистрирован. Не Чунда, конечно, интересовал Ояра, но он почему-то постеснялся прямо спросить о

Руте.

После совещания Ояр попросил послать его на денек к латышским стрелкам на фронт. С ним поехал и Крам. Им вручили командировки и дали сопровождающего до штаба армии. В первых числах января они выехали.

По Калужскому шоссе все двигалось на запад. Один за другим шли на фронт выкрашенные в защитную белую краску грузовики с продовольствием и боеприпасами. Спешили маленькие штабные машины. Звонко скрипя полозьями, тащились конные обозы. По краю шоссе двигались батальоны лыжников в белых халатах, с новенькими автоматами.

Когда Ояр с Крамом отъехали километров на десять от Москвы, навстречу стали попадаться первые партии пленных. Жалкими выглядели «завоеватели мира», замерзавшие в тонких эрзац-брюках и шинелях. Головы повязаны платочками и шальями, ноги обмотаны тряпками... Медленно плелись они по дороге, понуриив головы, исподлобья поглядывая по сторонам. Обгорелые и разбитые немецкие танки стояли у обочин дорог, в сугробах.

Через несколько километров машина свернула с шоссе. Теперь дорога то вилась по лесу, то огибала поле, то пряталась в кустарнике. Стали показываться разрушенные и сожженные деревни, покоробленные воздушной волной дома, черные печные остовы. Развалины, развалины... Кое-где крестьяне копались в золе, надеясь найти что-нибудь из своего добра.

Почерневший снег и серые лица, на салазках укутанные дети, старушка, ведущая на поводке козу, одичавшие собаки...

Гроыхали колеса орудий на выбоинах изъезженной дороги. На заиндевевших конях качались всадники в черных бурках. Танк въехал в сугроб и взметнул огромное снежное облако.

Все двигалось, все устремлялось вперед. Сурово и угрожающе гудела дорога:

— На запад! Смерть немецким оккупантам!

Маленькая «эмка» пересекала открытое поле. Все оно было усеяно трупами гитлеровцев. Наполовину запорошенные снегом, лежали они, широко раскинув руки. Один, с оскаленными зубами, сидел на мотоцикле и как будто все еще нажимал на педаль. Застрявшие в снегу при поспешном бегстве артиллерийские батареи, опрокинутые повозки со снарядами

ящиками, убитые лошади, на полевом аэродроме замерзшие немецкие самолеты, возле которых уже возились наши авиатехники...

— Да, вот и получили Москву! — с довольной улыбкой повторял Крам. — Как ветер неся, и — в землю носом! Оказывается, тягу давать умеют, а?

— Еще как...

Ояр не впервые видел картины разрушения, не впервые испытывал вызванные ими чувства ненависти, боли и жалости. Но то, что открылось ему сейчас, заставило его почувствовать нечто новое, еще не изведенное в Латвии. Там они верили в будущую победу, ждали ее, а здесь, на этих полях, она начала осуществляться, стала действительностью.

При въезде в одну деревню машина остановилась возле заставы. После проверки документов сопровождающий повел Ояра и Крама к большой крестьянской избе. На крыльце стоял часовой. Сопровождающий сказал ему что-то и вошел внутрь. Спустя некоторое время в избу пригласили и Крама с Ояром. Здесь находился оперативный отдел штаба армии. Приехавших угостили горячим завтраком, а час спустя они тронулись дальше в сопровождении офицера связи, который знал дорогу в латышскую дивизию.

Дорога все время шла лесом или кустарником. Она не была обозначена на картах, — ее совсем недавно проложили саперы. Немецкие разведчики, появлявшиеся в воздухе, наблюдали за движением частей Красной Армии по всем главным путям, но они мало что могли фиксировать, так как это движение проходило по хорошо замаскированным, скрытым дорогам. Только у самой передовой, где не было возможности пользоваться кружной дорогой, машина выскочила на шоссе.

В деревне, только утром отбитой у немцев, «эмку» поставили под навес у полуразрушенного дома. Здесь уже звучала латышская речь. Артиллеристы подполковника Кушнера устанавливали в колхозном саду свои орудия. Идти надо было осторожно, выбирая укрытые места.

На минутку Ояр остановился у крайней избы и стал смотреть за реку, где засели немцы.

— Не стойте посреди улицы, зачем храбрость показывать! — крикнул Ояру какой-то лейтенант. — Немецкие «кукушки» вон из того леса наблюдают за деревней.

Он еще не кончил говорить, как у самого уха Ояра просвистела пуля и врезалась в угол избы.

— Гм, да. Здесь шутки плохи.

Пройдя немного дальше, Ояр увидел двух бойцов и бородатого

колхозника лет под пятьдесят. Они рассматривали неразорвавшийся артиллерийский снаряд, который упал под самым окном избы.

— Черт его знает, почему он не разорвался, — сказал один из бойцов. — Ты его тронешь, а он и бахнет. Надо будет выставить предупредительные знаки, чтобы никто не подходил...

— А как же изба? — кашлянул колхозник. — Избу на другое место не перетащишь. Если он, окаянный, взорвется, от нее ничего не останется. Нельзя ли его... так сказать, котом... передвинуть куда-нибудь подальше?

— Кто же за это возьмется? — возразил боец. — Взорваться может.

Так они рассуждали минуты две, потом бойцы ушли за жердями, чтобы огородить опасное место.

— Плохо дело, дядя, — сказал Ояр.

Бородач медленно обошел снаряд, что-то соображая, потом зашел во двор. Вернулся он с большими навозными вилами и, став у самого снаряда, еще раз внимательно осмотрел его со всех сторон.

— Дядя, ты чего? — удивленно спросил Ояр.

— Что же, я буду глядеть, как мне избе взорвет? — не глядя, буркнул тот, затем подсунул зубья вил под снаряд и осторожно, как сырое яйцо, поднял с земли. Медленными шагами сошел он по склону берега и, опустив снаряд в прорубь, бегом вернулся обратно, потому что «кукушка» с противоположного берега успела несколько раз выстрелить. Но все пули ударялись в землю.

— Чуть не застрелили... Не от одного, так от другого, — сказал он, вытирая рукавом пот с лица. — Ну, зато изба цела будет.

Ояр покачал головой.

— Храбрый ты, однако, дядя. Тебе бы только в саперы. Без всяких техников справился.

— Каждый как умеет, так и действует...

За рекой внезапно застрекотало несколько пулеметов, затрещали винтовочные выстрелы, но и разрывы мин не могли заглушить громкого «ура» идущей в наступление цепи стрелков. Что-то гулко ухнуло за спиной Ояра. Это начала стрелять через реку артиллерийская батарея, замаскированная в саду.

Целый день Ояр брел по пятам наступающей дивизии. К вечеру фронт продвинулся на десять километров вперед, и бородатый колхозник теперь действительно мог быть спокоен за свою избе. Уже было темно, когда Ояру удалось догнать Силениека в только что освобожденном селе, которое отстояло от немецких позиций на восемьсот метров. Батальон продолжал вести бой, не давая опомниться неприятелю. Вспыхивали разноцветными

огнями ракеты, на улицах села взрывались мины. Силениек с час назад прибыл с переднего края в штаб полка и уже собирался обратно в батальон, который готовился в ночь к смелому броску в обход ближнего городка. Городок находился еще в руках немцев, но к утру должен был стать нашим.

Им удалось побеседовать каких-нибудь десять минут, и оба больше задавали вопросы, чем отвечали на них. Ояр смотрел на Силениека, и ему отчетливо вспомнилось лето сорокового года, вечера в райкоме. «Неужели когда-нибудь это вернется?» — подумал он. Силениек лишь похудел немного, а так не изменился, и главное — не изменился дружески-внимательный и серьезный взгляд его голубых глаз.

— Это хорошо, что ты опять направляешься в Латвию, — сказал он. — Помогай, Ояр, народу. Такие, как ты, очень там нужны. А мы с этой стороны будем немцев колотить.

— Эх, Андрей, по правде говоря, не хочется и уезжать от вас, — признался Ояр. — Все старые ребята собрались... в такой компании одно удовольствие воевать.

Силениек в двух словах рассказал про Петера Спаре, про Жубура и Юриса, — хорошими командирами стали, уже представлены к боевым орденам.

— Так передай от меня привет, — повторил несколько раз Ояр. — Жалко, повидаться не удалось. Ну, теперь уж до встречи в Латвии.

Выйдя на крылечко, они пожали друг другу руки, обнялись, крепко, по-мужски, поцеловались и повернули в разные стороны. Силениек уходил из села задами, по узкой, протоптанной в снегу тропинке. Ояр пошел искать шофера.

Ночь... над головой взвиваются красные и зеленые ракеты... и везде тайное, невидимое, но полное жизни движение.

— Не спеши, друг, — сказал Ояр шоферу. — Поезжай потише.

Чем-то напоминали ему и этот мрак, то и дело прорезываемый огнями, и эта тишина, прерываемая грохотом боя, за которым чувствовалась трудная, напряженная работа, огромную кузницу. Кузницу, в которой ковалось будущее человечества.

Когда полк выгрузился из эшелона, никто не верил, что Рута Залите выдержит хотя бы один переход, до того она казалась маленькой и хрупкой в тяжелой длинной шинели и валенках. Сразу же нашлось несколько

доброхотов, которые вызывались по очереди нести ее вещевой мешок. Обозники предлагали присесть на сани. Но она упрямо мотала головой в ответ и тем и другим.

Глядишь, уже «завяла» какая-нибудь ее подруга, физически куда более крепкая, или вдруг начинал прихрамывать иной здоровенный парень, а маленькая санитарка молодцевато держалась наравне со всей колонной. Рута насквозь промокла и продрогла, обветренные щеки больно горели, а она еще запевала какую-нибудь песенку мирного времени, которую знала каждая девушка, каждый стрелок. Смешно, пародийно звучали здесь наивные строфы, и певцы улыбались чуть ли не на каждом слове, но как раз это и было сейчас нужно. Забывались усталость и холод, даже тающий за воротником снег не казался таким мерзким.

Но настоящий экзамен Рута выдержала на следующий день, одолев переход на новый участок фронта, где дивизия должна была первый раз принять участие в бою. За один день они прошли шестьдесят километров, и каких километров! После вчерашней слякоти дорога покрылась ледяной коркой, обмерзшие валенки скользили на каждом шагу; то и дело кто-нибудь растягивался на дороге. Опять ей предлагали свои услуги, опять приглашали на сани, но Рута, как и вчера, не хотела слышать ни про какие побрякки. Зато вечером, когда эти шестьдесят километров были позади, ноги гудели и ныло все тело, но Рута никому не говорила об этом — боялась, как бы не оставили в резерве. Она непременно должна была участвовать в первом бою, ей казалось, что именно от ее присутствия будет зависеть исход этого боя. Все, что она читала и слышала о подвигах женщин на фронтах Отечественной войны, — ведь все это под силу и ей, девушке из Риги, и, главное, эта возможность так близка. Так неужели она упустит ее?

Когда в медсанбате стали отбирать санитаров в помощь санитарным ротам полков, Рута вызвалась добровольцем, и ей удалось обмануть командиров своим бодрим видом.

— Я не устала, мне никакого отдыха не надо.

Ей поверили. Через несколько часов она вместе с другими санитарками явилась в батальон, который ночью должен был форсировать реку. Несколько часов она пролежала в снегу, ожидая начала наступления. Прижав к боку санитарную сумку, Рута глядела на звезды, тихое мерцанье которых по временам растворялось в свете ракет. Где-то рвались снаряды, слышны были взрывы сброшенных ночными бомбардировщиками бомб, и пламя разбрызгивалось во все стороны — точь-в-точь как на картинах баталистов. Что думают и чувствуют люди, близ которых они взрываются?

Если это враги, пусть их разнесет на части, так им и надо. Но если свои — пусть все осколки улетят в воздух, и чтобы никого не задело, никого не тронуло...

Рута смотрела в темноту, и перед ее глазами одна за другой возникали полуреальные, полуфантастические картины. Когда от долгого лежания начал мерзнуть бок, она тихонько перевернулась и стала смотреть на другие звезды и другие огни, которые вспыхивали и гасли на поле боя. Иногда над залегшими в снегу стрелками свистели пули. Вначале странно, не по себе становилось от этого звука. Тело крепче прижималось к земле, голова втягивалась в плечи. Ведь это сама смерть со свистом несется по полю, ищет себе жертву. Но Рута уже знала, что свист пули слышен лишь тогда, когда она пролетает мимо. А если бесшумно вырвется из темноты, найдет тебя — что тогда? О том, что тогда, не хочется думать, ни один человек не может представить свою смерть. Примириться с мыслью, что ты можешь погибнуть в бою, — да, это могут многие... И, наверное, чем решительнее примиряются, тем легче им бороться, тем они хладнокровнее. Но каким надо быть лицемером, чтобы сказать, будто все равно — жить или умереть. Или больным... Разве ради смерти идет в бой советский человек? Нет, он защищает самую жизнь, он хочет, чтобы жил народ, чтобы дети могли радоваться, чтобы жива была правда на земле. Ради этого можно пожертвовать собой, и тогда смысл твоей жизни останется бессмертным навеки. Не умирать ради смерти, а умирать за жизнь — вот в чем великая мудрость героев, она и делает их непобедимыми...

Так думала латышская девушка Рута Залите в ночь перед боем. И еще она думала о том, как хорошо было бы прийти после войны домой, скинуть тяжелую шинель и вместе с самым милым, самым верным другом начать новую жизнь.

— Но это невозможно... нет, Ояр? — спрашивала Рута у ночи. — Этого никогда не будет, если тебя уже нет. Скоро, может быть, не будет и меня. Так и не узнал ты, ничего не узнал...

Стрелки зашевелились, тихо поползли вперед. Река... снежное пространство... ледяной ветер и тревожно бьющееся сердце...

Когда началось наступление, под прикрытием крутого берега реки развернули перевязочный пункт. Потом его перенесли в деревню. В самом начале страшно было Руте, когда еще недавно здоровые и полные жизни озорные парни вдруг становились беспомощными и стонали от боли. Впоследствии она научилась не думать об этом, но в эту ночь вид истекающего кровью тела заставлял ее дрожать. Глотая слезы, вытаскивала она из-под огня молодого капитана, которому оторвало ногу. И когда

раненый, все время молча лежавший на плащ-палатке, вдруг приоткрыл глаза, страдальчески улыбнулся и погладил ее руку, она улыбнулась ему сквозь слезы и начала гладить его худые щеки. Внезапная близость возникла между ней и всеми этими людьми, и почти все, кто мог еще говорить, называли ее сестрицей.

В ту ночь Рута вытащила восемь раненых. Ее шинель была прострелена в двух местах, а осколком мины разбило санитарную сумку. Утром она получила новую сумку, а шинель аккуратно заштопала. Серьезная, молчаливая, шла она за батальоном. Теперь она своими глазами увидела войну. На место восторженности пришло трезвое сознание необходимости своей работы. Она была частицей народа, в тяжких, полных опасностей и жертв усилиях творившего великие подвиги, равных которым еще не знал род людской. И когда в ночном марше полк пробивался по сугробам в тыл-городка, который предстояло освободить, Рута снова смотрела на звезды, — они по-прежнему кротко мерцали над нею. Ночь звенела, грохотала, жутко полыхали в темноте зарницы пожаров. И не знала Рута, что за какой-нибудь километр от нее к тем же самым звукам прислушивается возвращающийся с фронта Ояр, что он смотрит на те же звезды, видит те же пожары. Они разминулись, думая друг о друге и не догадываясь о близком присутствии друг друга.

По мере того как великая битва разрасталась вширь и все более четко обрисовывались ее окончательные контуры, бойцам латышской дивизии становилось понятным многое из того, над чем они еще недавно ломали головы: и то, почему их так долго не посылали на фронт, и то, почему их продолжали обучать, тогда как им казалось, что они давно уже готовы выполнить свой долг защитников Родины, и многое другое. Теперь это поняли все.

Из «молниеносной» войны у Гитлера ничего не вышло: первые месяцы войны не дали тех успехов, на которые рассчитывал германский генеральный штаб перед вероломным нападением на Советскую страну. Уже минули все назначенные сроки окончания войны, а большая, решающая победа все еще не была достигнута. Близилась зима с морозами и метелями, а война в зимних условиях отнюдь не была предусмотрена Гитлером. Фашистские генералы надеялись, что в начале зимы, после достигнутой победы, немецкая армия сможет спокойно расположиться на

зимние квартиры в Москве, Ленинграде, Горьком и других завоеванных ею советских городах. Они стремились любой ценой добиться большой, решающей победы до наступления зимы. На юге — занять Донбасс и прорваться до Кавказа. На северном участке фронта — достичь южного берега Онежского озера и, таким образом, полностью окружить и сжать в тисках голода город великого Ленина. Но главной задачей, поставленной перед немецко-фашистскими войсками, было захватить столицу Советского Союза — Москву.

2 октября тридцать пять отборных немецких дивизий начали генеральное наступление на Москву. Образовались огромные клещи, охватывавшие столицу в направлении Ржев — Калинин на севере и Орел — Тула на юге. Эти клещи угрожали нашим войскам Западного фронта, и окончательно замкнуть их предполагалось где-то восточнее Москвы. В то же время внутри запланированного района окружения немецко-фашистская армия наступала по трем направлениям: Вязьма — Москва, Юхнов — Малоярославец — Москва, Калуга — Серпухов — Москва.

14 октября немецкие войска заняли Калинин, 18 октября — Можайск. На юге ими были захвачены Орел и Мценск; гитлеровские полки уже приближались к Туле. Ценою напряженных боев немцы продвинулись за две недели на двести километров. Над столицей Советского Союза нависла серьезная угроза.

В те трудные дни, когда немецкие бомбовозы, сопровождаемые истребителями, летали с ближайших аэродромов бомбить Москву, когда горячее дыхание близкого боя оведало жителей столицы и каждому из них стала ясна вся опасность момента, — все москвичи как один отозвались на призыв партии и поднялись на борьбу за свой великий город. Было объявлено осадное положение. В городе формировались рабочие коммунистические батальоны — по одному в каждом из двадцати пяти районов Москвы. Десятки тысяч москвичей — и мужчины и женщины — брались за лопаты и кирки и в невероятно короткий срок опоясали свой город мощными оборонительными сооружениями: противотанковыми заграждениями и рвами, артиллерийскими дотами, пулеметными гнездами и баррикадами. Важнейшие учреждения и промышленные предприятия были эвакуированы в глубокий тыл, на восток.

Москва стояла подобно утесу, о могучую грудь которого расшибались одна за другой волны наступавшей фашистской армии. На обширном поле сражения, у самого сердца советской отчизны, плечом к плечу стояли сыны всех ее народов. Крепка была их любовь к Родине, и только безумец мог надеяться, что они отдадут свою столицу врагу. Вся огромная страна

помогала Москве, силы ее защитников прибывали с каждым днем, в то время как немецко-фашистские армии и корпуса с каждым днем все заметнее проявляли признаки вялости, медлительности. Темпы наступления спадали, огромная армия грабителей топталась на месте в ожидании теплых московских квартир, богатой военной добычи и давно обещанного дня военного парада на Красной площади, когда отмеченные знаком свастики немецкие полки продефилируют под победный марш перед самым «фюрером».

7 ноября действительно состоялся парад — один из самых прекрасных, самых величавых парадов, которые видела Красная площадь. То военные части проходили перед Мавзолеем Ленина, отправляясь на фронт.

Да, октябрьское наступление немцев провалилось. Хотя фашистская армия и продвинулась вперед, но ни одна из задач, которые возложил на нее Гитлер, предпринимая это наступление, не была разрешена, ни одна из поставленных перед ней целей не была достигнута. Гитлеру было ясно, что теперь любой ценой и немедленно, безотлагательно надо добиться какого-то чрезвычайного успеха, иначе может случиться, что немецкая армия и народ очнутя от победного угара и Германия не сможет держать в повиновении своих вассалов. Этого чрезвычайного успеха нужно было достигнуть в течение ближайших недель, пока не установилась зима.

Фашистское командование стало лихорадочно готовиться к новому наступлению; теперь все силы, все внимание сосредоточились на одном: взять Москву.

16 ноября началось новое немецкое наступление на Москву. Пятьдесят одну дивизию бросил Гитлер в эту грандиозную битву, чтобы осуществить еще до конца года свою бредовую мечту — пройти по залам Большого Кремлевского дворца и спасти престиж «непобедимой» немецкой армии. Две танковые армии направили главный удар на Клин — Солнечногорск — Рогачев — Яхрому — Дмитров и далее за Москву. Бронетанковая армия Гудериана ломилась к Туле и Кашире, чтобы, заняв эти города, двинуться дальше на Рязань — Коломну — Орехово-Зуево и таким образом замкнуть железное кольцо вокруг Москвы. В центре, непосредственно на Москву, удар направлялся со стороны Истры, Звенигорода и Наро-Фоминска.

Понеся большие потери, гитлеровцы захватили Клин и Солнечногорск. Обойдя Тулу, они достигли Каширы и Серпухова. В это же время на Ленинградском фронте им удалось занять Тихвин, и на юге — Ростов-на-Дону.

Весь мир, затаив дыхание, следил за ходом гигантского сражения.

Явные и тайные враги со дня на день ждали сообщения о падении Москвы. Но Москва не пала. Подобно сказочным богатырям, бились советские солдаты. Известие о геройском подвиге 28 гвардейцев Панфиловской дивизии облетело весь фронт. В тылу врага вели самоотверженную борьбу партизаны. В эти дни обессмертили свои имена Зоя Космодемьянская и Александр Чекалин.

И на этот раз истекающая кровью немецкая армия была остановлена на подступах к Москве. В это наступление Гитлер уже бросил все, что было в его распоряжении; он уже был не в состоянии увеличить мощь наступательного движения своей военной машины.

А в это время Красная Армия концентрировала резервы для контрнаступления. Все новые и новые дивизии располагались близ фронта, вдоль стягивающихся вокруг Москвы дуг, угрожая охватом фашистским войскам. По ночам к указанным заранее исходным позициям направлялись дивизионы реактивных минометов и артиллерийские полки особой мощности.

6 декабря Красная Армия перешла под Москвой в наступление. Она сломала немецкие клещи, отбросила от Москвы гитлеровские орды. И впервые после двух с лишним лет военных успехов немецко-фашистская армия потерпела тяжелое, жестокое поражение. Сорок дней непрерывно наступала Красная Армия. Триста тысяч немецких офицеров и солдат остались на снежных полях Подмосковья, поплатившись жизнью за авантюру тирольского шпика. Обочины дорог были покрыты вражескими трупами, брошенными и разбитыми орудиями, танками и автомашинами.

Навеки была развеяна и похоронена легенда о непобедимости немецко-фашистской армии. Красная Армия торжествовала свою первую большую победу в этой войне.

Победа под Москвой изменила положение и на других фронтах. В конце ноября под Ростовом-на-Дону были разбиты войска генерала Клейста. Немцы потерпели поражение под Тихвином и Ельцом. К годовщине Красной Армии — 23 февраля — были полностью освобождены Московская и Тульская области, а также большая часть Калининской и часть Ленинградской областей. Начато было освобождение Крыма и Украины. Одиннадцать тысяч населенных пунктов, более шестидесяти городов было вызволено из-под ига немецких оккупантов. Более миллиона «завоевателей мира» полегло на советской земле.

Победа под Москвой показала всему миру мудрость Коммунистической партии, могущество социалистического государства, великую силу Красной Армии. Она показала всю красоту и благородство

героической души советского народа.

Глава одиннадцатая

1

В ночь под Новый год Имант Селис и Акментынь взорвали эшелон с немецкими солдатами, которых направляли на Восточный фронт. Взрывчатку они заложили в очень подходящем месте: железнодорожная насыпь была здесь метров в десять высотой и дорога шла под уклон. Паровоз только что одолел подъем и старался наверстать упущенное, приближаясь к месту диверсии со скоростью сорок километров в час. Имант с Акментынем залегли у лесной опушки, метрах в ста от железнодорожной линии, и наблюдали за происходящим. Покатившись с насыпи, паровоз увлек за собой семь вагонов, которые лежали теперь вверх колесами. На рельсах один вагон врезался в соседний, и они походили на раздвижную подзорную трубу; один вагон встал на дыбы. Слышны были взрывы, некоторые вагоны загорелись.

— А ведь неплохо сработано, Имант, — сказал Акментынь. — Замечательный новогодний подарок Гитлеру.

— Это они запомнят. Жалко, Ояр не видел, он бы товарищу Сталину рассказал.

— Не тужи, Имант. Товарищ Сталин все равно узнает об этом. Не сейчас, так немного спустя. Такое дело не скроешь. А вот нам нужно скрыться как можно скорее. Слышишь, как орут?

Освещенная пламенем горящих вагонов насыпь походила на преисподнюю. Из вагонов со стонами и руганью сыпались оставшиеся в живых гитлеровцы; взрывы все продолжались, и огонь перекинулся на самый хвост эшелона.

— Пора смываться, а то нам плохо будет, — сказал Акментынь и пополз за дерево.

Крепко сжимая в руках автоматы, оба партизана быстро уходили от места диверсии. Полтора километра они пробежали по дороге, наезженной дровосеками, затем выбрались на проселочную дорогу и километра три шли по ней, пока не подошли к замерзшей речушке. Лед местами был оголен, местами занесен сугробами; высокие берега защищали от разгулявшегося в поле ветра.

— Не падай, Имант, дай сперва детям подрасти! — пошутил Акментынь, когда Имант распластался на льду.

— Были бы коньки, я бы тебе показал. Что это за ходьба по льду в сапогах!

— Ну, если фрицы станут наступать на пятки, научишься кататься и без коньков.

— А с тобой случалось?

— Пока нет.

— Со мной тоже не бывало. Да что мне фрицы! Если хочешь знать, я не очень их боюсь. Восемнадцать штук отправил на тот свет, а что они мне сделали?

— Восемнадцать? У тебя какая была отметка по арифметике?

— Четыре с плюсом.

— Больше тройки не дал бы.

— Почему это? — обиделся Имант.

— Потому что у тебя со сложением обстоит неважно. Разве сейчас в эшелоне с сотню фрицев не отправилось на тот свет? Беру самую скромную цифру. Теперь, если эту сотню разделить на два, получится пятьдесят, так? А если к восемнадцати прибавить пятьдесят, сколько будет?

— Ну, шестьдесят восемь.

— Вот видишь. Шестьдесят восемь. Вот сколько ты с чистой совестью можешь зачислить на свой счет. Что, неправильно?

— Почти что правильно, — засмеялся Имант. — Но ты все-таки большой шутник, Акментынь.

— Теперь уж не так удастся. Жизнь чересчур серьезная пошла. Ты бы меня раньше видел...

Когда река завернула в лес, Акментынь набил трубку и закурил. Расползавшаяся в воздухе струйка дыма пахла довольно скверно, но он жадно вдыхал его. Настоящего табака партизаны давно и видом не видали, приходилось довольствоваться всякими суррогатами — сухими листьями, мхом и черт его знает какой еще дрянью. И вообще особой сладости в этой жизни посреди болота не было. Мылись без мыла, так как маленький обмылок берегли для бритья. Точно так же и стирали, причем во время стирки ходили без белья, потому что ни у кого не было смены. С продовольствием тоже как когда. Если бы Саша Смирнов не получил от своих родителей половину кабаньей туши, давно бы остались без приварка. Изредка, правда, удавалось поймать в силочку зайца — вот и все.

Имант часто воображал себя и товарищей путешественниками по Заполярью, пробирающимися на Северный полюс. Их корабль затерло

льдами, и теперь они дрейфуют по северной пустыне, разыскивая вершину земли, откуда начинаются все меридианы. Может быть, им еще долго придется плутать по снежным пустыням, бороться с голодом и холодом, — но когда-нибудь это путешествие кончится, и весь народ будет встречать героев. Тогда он будет совсем взрослый, и мать с Ингридой не узнают его. «Кто этот молодой человек?» — спросят они. А он сначала скажет, что привез им привет от Иманта Селиса. Потом они, конечно, догадаются. Сколько будет радости, разговоров, — и, наконец, основательный ужин и мягкая постель в теплой комнате.

Ветер сдувал с крутого берега снег, холодной белой пылью обдавал лицо. Акментынь усердно сосал трубку и часто оглядывался. Иногда он останавливался и долго прислушивался. Но только ветер завывал наверху да подо льдом тихо булькала вода. Новогодняя ночь... мир на земле и в человецех благоволение.

В четвертом часу ночи они пришли на базу и застали всех друзей на ногах. Эвальд Капейка без всяких объяснений схватил Акментыня за плечи и стал его трясти.

— Да ну тебя, право... Или главный выигрыш в лотерее достался?

— Еще бы не главный! — весело захохотал Капейка. При свете лучины обветренное лицо его пылало, как на утренней заре. — Началось, друзья! Идет на полном ходу... Красная Армия громит под Москвой фрицев. Только что пришел Саша Смирнов от родственников... Знаете, тайный приемник... От немцев только перья летят. Уже освобождено много городов, только названий всех не упомяну. Эх, теперь житьишко пойдет!

Акментынь серьезно взглянул на Смирнова:

— Саша, правда?

— Все правда, до единого слова. Сам своими ушами слышал сообщение Совинформбюро.

Акментынь несколько раз заставлял Сашу пересказывать все, что он слышал. А потом они с Имантом сами рассказали, как летел под откос немецкий эшелон. Да, большой праздник был сегодня в партизанской землянке, о сне никто не хотел и думать.

— А у нас гость, — сказал Капейка, когда немного улеглись восторг и волнение. — Товарищ из Риги. Специально к нам прислали.

— Где он? — спросил Акментынь.

— Он в той землянке, у новичков. Если ты не очень устал, давай сейчас позовем сюда. Я нарочно до твоего прихода отложил разговор с ним.

— Конечно, надо позвать. Ты что думаешь, я теперь засну?

— Саша, приведи его к нам, — попросил Капейка Смирнова. Тот

накинул куртку и пошел в другую землянку, где располагались новые партизаны, недавно присоединившиеся к их отряду.

Это был мужчина средних лет, с длинными светлыми усами и большими костистыми руками. По серому, домотканной шерсти костюму его можно было принять за крестьянина, то же самое заставляли предполагать его медлительные движения, хотя на самом деле он никогда не брался ни за косу, ни за плуг. Гость назвался Ансисом Курмитом, так же было записано и в его паспорте.

— Вы где работаете? — спросил Акментынь.

— На «Вайроге» — кузнецом. Отпросился у начальства в отпуск на две недели, съездить к родственникам в деревню. У меня тут поблизости двоюродный брат живет, тоже Курмит. Недалеко от Эзермуйжи хозяйничает, на берегу озера. Усадьба Саутыни.

— Верно, — кивнул Смирнов. — После той войны ему отрезали надел от помещичьей земли... Против Бермонта^[13] еще воевал. Это он вам дорогу показал?

— Он самый, — подтвердил Курмит. — Так вот. Эта поездка в гости только для отвода глаз, лишь бы выбраться из Риги.

Он чувствовал, что здесь каждое его слово взвешивают, что ему еще не доверяют, но подпольщики на такие вещи не обижаются. Чем больший скептицизм звучал в вопросах и замечаниях партизан, тем больше доверия заслуживали они сами.

— У нас в Риге своя организация, — неторопливо рассказывал Курмит. — Вначале было всего несколько членов, а со временем разрослась, сейчас чуть не на каждом предприятии есть свои люди. Вы ничего не слышали о «Дяде»?

— До сих пор — нет, — ответил Капейка. — С Ригой у нас связь еще не установлена.

— «Дядя» — руководитель организации. Ну, вам понятно, почему я не могу назвать его по имени, да это и не нужно и ничего не даст. Он ведь и раньше был не такой уж известный человек. Про вас мы услышали месяца два назад. Не знаю, все ли правда, что говорят в народе, но пусть только третья часть будет правдой, и то достаточно... Как же, раз вы причиняете немцам большие неприятности, люди смотрят на вас как на серьезную силу, — на вас, значит, можно положиться в трудное время. «Дядя» решил

установить с вами постоянную связь. Работа у нас с вами одна, общая, можем иногда и помочь друг другу. У вас, например, нет своей печати, а у нас она есть. Мы можем помещать ваш материал в нашей газете и распространять по всей Риге; а что знает Рига, скоро будет знать вся Латвия.

— Нам только того и надо, — сказал Акментынь.

— При большом желании мы можем переправить сюда портативную типографию. Будете кое-что печатать здесь, на месте.

— Это будет совсем здорово! — Саша Смирнов даже прищелкнул языком. — В деревне дозарезу нужно правдивое слово, а Ояр давно поговаривает о своей газете.

— Теперь самое главное, — продолжал Ансис Курмит — в Риге много порядочных, полезных нам людей; но за ними-то больше всего и охотятся немцы. Иной должен жить, как крот в норе, иначе гестапо живо сцапает. Ну, мы некоторое время можем прятать их. А что это дает, раз они не могут активно помогать нам?

— Так пусть к нам идут! — перебил его Капейка. — Нам люди всегда пригодятся.

— Мне поручили согласовать с вами этот вопрос. Если у вас есть возможность принять в свой отряд новых бойцов, мы и будем присылать к вам всех, кому грозит арест, а также бежавших из плена красноармейцев и командиров. Тех, кто может работать в Риге, мы сюда не пошлем, люди и в городе нужны. Дальше, нужны какие-то гарантии, чтобы под маркой преследуемых в ваши ряды не просочились немецкие агенты. Нельзя принимать без разбора всех, кто будет проситься к вам. Если будете так делать, долго не продержитесь. На этот предмет организация «Дяди» послужит фильтром, сквозь который нужно пропускать новые кадры.

— Дельное предложение, — сказал Акментынь. — Кто приходит из Риги, должен знать условный пароль. Иначе мы, и правда, скоро полетим к чертям в болото. А здешних людей мы и сами можем проверять.

— Правильно, — согласился Курмит. — Но это еще не все. Нужна надежная цепь связи. Мы ведь не собираемся каждому давать подробную информацию о вашем местопребывании. Весь путь от Риги до вас придется разбить на семь-восемь этапов. На каждом этапе у нас должен быть свой человек, которого немцы не держат на подозрении. И люди, которых мы будем посылать к вам, и почта, и все прочее должно идти через них. У них заодно можно будет переночевать, переждать опасный момент, а потом сам связной доставит их до следующего этапа. Вроде эстафеты... Каждый участник эстафеты будет знать только двух соседей — того, от которого он

принимает задание, и того, кому доставляет. В самых опасных районах можно организовать параллельную цепь. Когда нельзя посылать по одной, можно воспользоваться обходным путем. Но на каждом конце цепи — и здесь и в Риге — только один человек будет знать все звенья цепи. Это на случай провала какого-нибудь звена, чтобы можно было восстановить линию.

— Скажите, а вы случайно не телефонист? — засмеялся Капейка.

— Я же сказал — кузнец.

— Не знаю, как другим, но мне это дело нравится, — сказал Акментынь. — Ояр давно об этом мечтал.

— Теперь вопрос в том, как нам найти этих участников эстафеты, — сказал Капейка. — Ведь в каждой волости до самой Риги надо иметь по меньшей мере одного человека.

— Ради этого «Дядя» и послал меня гостить к родным на целых две недели, — ответил Курмит. — Цепь считай что готова. Недостаёт только первого звена с этого конца и вашего согласия.

— Человека-то мы найдем, — сказал Акментынь.

— Думаю, что мы на это дело согласимся, — сказал Капейка. — Только тогда одному из нас придется идти в Ригу.

— Зачем это? — спросил Саша.

— Надо же кому-то знать все звенья цепи. Приглашать к нам всех связанных, чтобы познакомиться с ними, мы не можем. Надо будет самим побывать у каждого. Кому бы только поручить это? Сам я лагерь оставлять не могу до возвращения Ояра. Нужно бы такого, кто Ригу знает.

— Лучше всего старика или подростка, — заметил Курмит. — Словом, кто не обязан отбывать трудовую повинность. На таких меньше внимания обращают.

— Стариков, положим, у нас не имеется, — пробормотал Капейка, что-то обдумывая. — А если говорить о подростках... Слушай, Имант, как ты на это посмотришь? Для трудовой повинности ты еще молод, забрать не могут. Кроме того, ты из Риги. Хочешь повидать Ригу?

— Еще бы! — обрадовался Имант. — Вдруг удастся найти маму и Ингриду. Я их тогда сюда в лес приведу. Можно ведь?

— Можно-то можно, — серьезно сказал Капейка. — Ты только сперва найди их, да смотри, осторожнее будь. Сам понимаешь, учить тебя теперь не приходится.

— Он у нас молодец парень, — вполголоса рассказывал Акментынь Курмиту. — Вы не смотрите, что молод, он наравне с другими задания выполняет. Сегодня ночью мы вдвоем пустили под откос эшелон. Смотрите

сами, но лучшего заведующего линией, чем Имант, мы не найдем.

В конце концов так и решили: послать Иманта с Курмитом в Ригу.

После этого уже Курмит заговорил о последней, но очень важной причине, заставившей «Дядю» послать его сюда:

— У нас имеется свой человек в одном важном учреждении. Недавно он сообщил нам, что немцы готовят карательную экспедицию в ваш район, собираются очистить его от партизан. Хотят воспользоваться зимним временем — пока вы нуждаетесь в каком-то крове, и потом — по снегу легко искать, остаются все следы. Надеемся, что вы не дадите захватить себя врасплох. Подумайте о резервной базе, где-нибудь подальше отсюда.

— Ишь ты, — покачал головой Капейка. — Жарко стало фрицам. Наступили им на мозоль. Что ж, экспедиция так экспедиция. Пусть приходят. О резервной базе уже позаботились, товарищ Курмит. Можем переселиться хоть завтра.

— Только пусть лучше про нее не знает ни один лишний человек. Разве это правильно, что посторонние — я, например, — так легко добиваются до вас? А если бы вместо меня был их разведчик?

Смирнов поднял голову.

— Так ведь вам дорогу объяснял Курмит из Саутыней?

— Он, конечно, но лучше бы и ему не знать, как к вам добраться. В Курмите я не сомневаюсь, но всегда надо быть готовым к худшему. Да и для него самого лучше, если будет меньше знать. Тогда в случае провала — а с такой возможностью всегда надо считаться — он ничего не сможет открыть врагу, как бы его ни пытали.

— На будущее время надо это учесть, — сказал Капейка, обращившись к товарищам. — Тут хоть друг, хоть брат, а дистанция должна быть. Как-никак, мы находимся в тылу врага.

Они проговорили до самого утра. Партизаны рассказали Курмиту о положении в районе, о настроениях среди крестьян. Не осталось почти ни одного двора, которого так или иначе не коснулся бы террор; так же, как в Риге, почти каждая семья оплакивала кого-нибудь из близких. А тут еще гужевая повинность, чрезмерные налоги, обдиралы-фюреры, ведущие надзор над хозяйственной жизнью, шпионы-десятники... Словом, у крестьянина не жизнь, а сущий ад. Большинство решило в будущем году засеять столько, чтобы хватило только на прокорм. Многие слушают московские радиопередачи, а официальным немецким сообщениям ни один здравомыслящий человек не верит. Но активность народа парализовал кровавый террор. Не видя ясной и определенной перспективы, крестьяне воздерживаются от решительных действий. Как-нибудь перетерпеть

тяжелые времена, как-нибудь приспособиться, уцелеть — вот их сегодняшняя мудрость.

— Наша задача — превратить это пассивное сопротивление в активную борьбу, — сказал Курмит. — Пример партизан, ваши успехи много значат. Поэтому вам надо быть сильными. Сильными и мудрыми. А самое главное — не теряйте связи с народом. Нельзя допускать, чтобы народ был сам по себе, а вы — сами по себе. Только вместе с народом вы и можете что-то сделать.

3

Иманту заготовили справку, что он проработал лето пастухом в одном из крестьянских хозяйств Эзермуйжской волости и направляется в Ригу к родным. Бланк с печатью принес с собой Курмит.

В путь они вышли рано утром третьего января. За первый день отмахали километров сорок. По дороге Курмит завернул к своим родным в усадьбу Саутыни. Это было первое звено цепи. Обоих ходоков угостили обедом, и, когда они собрались идти, хозяин усадьбы провожал их за несколько километров. К вечеру они достигли хуторка Лидака, где и заночевали. Здесь хозяйничали на восьми пурвиетах две женщины — мать и дочь. Мать приходилась свояченицей Курмиту из Саутыней. Дочери ее Анне недавно исполнилось семнадцать лет, но ей можно было дать и больше. Высокая, ловкая и быстрая, она весь вечер ходила по домику, напевая все одну и ту же песню:

Парню руку я дала
Правую, не левую,
Айя-я, тра-ла-ла,
Правую, не левую.

Имант вспомнил, как эту песню однажды стала напевать Ингрида. Он еще тогда поддразнил сестру: кто тот парень, которому она дала руку, и знает ли об этом мать? Ингрида покраснела, рассердилась и потом молчала весь вечер. Они, конечно, опять помирились, но песню эту Ингрида с тех пор больше не пела. И теперь, греясь у печки и слушая голосок Анны, Имант почувствовал жалость и раскаяние. Не надо было дразнить Ингриду. Ясно, что пела, не думая о словах песни, — никакого парня у нее не было.

Да и у Анны тоже... Но Анна хоть взрослая девушка. Иногда она так лукаво смотрит в глаза, будто хочет позвать: пойдём, побегаем наперегонки. Красивая девушка... Только живётся им, видать, неважно — коровенка да несколько кур, больше нет ничего. Летом, наверно, ходят с матерью подрабатывать к богатым соседям. На комодике у нее стоит фотография какого-то парня в зеленой картонной рамочке. Наверно, родственник или школьный товарищ. Хотя кто ее знает... Прибирая комнату, Анна нет-нет да и посмотрит на карточку своими карими глазами. Милая какая, прямо голубка.

Перед тем как лечь, Ансис Курмит вышел в кухоньку и долго разговаривал с девушкой. Потом сказал Иманту, что Анна будет вторым звеном в цепи. И если когда придется, обращаться надо к ней, а не к матери.

Рано утром они отправились в путь и шли весь день. Один раз их было задержали, но у обоих документы были в порядке, и их объяснения удовлетворили шуцманов. Вечером, дойдя до усадьбы, где предполагалось переночевать, Курмит не сразу вошел в нее. Это было огромное хозяйство, целая мыза, раскинувшаяся у самого большака. Столько всего здесь было, что сразу трудно было глазом охватить все эти коровники, конюшни, мельницу с множеством разных пристроек. На пригорке стоял жилой дом. Поодаль, через дорогу, лепилась ветхая хибарка — жильё батрака или подворника. Курмит сначала пригляделся, что делается на хозяйском дворе, но, не заметив ничего подозрительного, подошел с Имантом к хибарке и стал тихонько торкаться в дверь. Их впустила старушка.

— Что, Эльмара нет дома? — спросил Курмит.

— На дальний луг, сынок, уехал, за сеном. Скоро должен вернуться.

— Вам поклон от мамыши Лидаки. По дороге заходил к ним.

— Как там Анныня живет? Здорова ли? — приветливо спросила старушка.

— Ничего, бабушка Аунынь, хорошо. Обещала недельки через две навестить вас. Не стоит... — махнул рукой Курмит, заметив, что старушка хочет засветить лампочку. — Лучше посумерничаем. Придут еще из хозяйского дома, станут узнавать, что за гости. Мы ведь думаем переночевать у вас.

— А! Тогда, и правда, лучше без огня. У Айзупиета сыновья до того любопытные, до того любопытные... Оба в айзсаргах. А старший, тот теперь шуцманом.

— Ну, пусть лучше он не знает, что у вас чужие люди. А утром, чуть свет, мы уйдем. Что, Эльмар в городе не был?

— На той неделе был. В самое воскресенье. В будни ведь и времени не выберешь. Айзупиет, как пришла немецкая власть, опять прежним живоглотом стал. Как при Ульманисе. У него ни днем, ни ночью отдыха не знаешь.

— Разве эта порода исправится?

Имант сидел на теплой лежанке и гладил кота, который подобрался к нему в темноте и тихим мурлыканьем напоминал о своем присутствии.

Эльмар Аунынь приехал поздно вечером. Бабушка занавесила окно синей плотной бумагой и зажгла свет; потом вынула из духовки миску с печеным на жару картофелем и отварной соленой салакой. Вчетвером они сели за бедный ужин и почти все время молчали. При свете Имант сразу узнал внука бабушки Аунынь: э, да это его карточка стоит на комодке у Анны Лидаки! Он был только года на три старше Имапта, но руки у него огрубели от работы, как у старого батрака. Эльмар улыбнулся Иманту, как хорошему знакомому, и мимоходом шепнул на ухо:

— Про наши дела поговорим потом, чтобы бабушка не слышала. А то еще расстроится.

Имант только кивнул ему головой и, пока бабушка сидела с ними, молчал. Убрав со стола, она ушла спать в свой уголок за шкафом. Кровать Эльмара была у противоположной стены, а рядом, на маленьком столике, в деревянной рамочке стояла карточка Анны. Имант и это уже заметил. Ему в голову пришла одна мысль, но он стеснялся высказать ее при Курмите. Когда тот лег спать, бабушка постелила ему на полу, возле печки, Имант вызвал Эльмара в кухню:

— Это вы держите связь с Лидаками?

— Да. Только зачем ты выкаешь? Говори мне «ты»... — улыбнулся Эльмар.

— Если ничего не имеешь против, можно. Вот что я тебе хотел сказать... У Анны Лидаки на комодке твоя карточка... Я видел.

— Да? — Эльмар покраснел. — У меня тоже есть ее карточка.

— Видел уже. Как ты считаешь — правильно это, если вы будете держать их на видном месте? Ведь вам придется встречаться по делу. А вдруг с кем-нибудь из вас что случится? Немцы станут спрашивать про знакомых, будут везде искать. Они ведь так делают. Если у Анны найдут твою карточку, сразу начнут дознаваться, кто ты такой. То же самое и с тобой может быть.

— Я как-то об это не подумал, — сказал Эльмар. — Хорошо, что тебе пришло в голову. Надо спрятать подальше, чтобы никто не нашел. Ладно, я скажу Анне, чтобы она убрала с комодка.

Следующую ночь Курмит с Имантом провели в уездном городке, у книготорговца Суныня. Он еще во времена Ульманиса помогал, чем мог, подпольщикам. Самому ему нельзя было надолго отлучаться из магазина, но он не возражал, когда обязанности связного согласился взять на себя его сын Валдис, ровесник Эльмара Ауныня. Имант познакомился с ним и успел подружиться так же, как с Эльмаром.

Еще один день пришлось провести в дороге. На пятый вечер Курмит с Имантом уже шагали по темным улицам Риги к Чиекуркалну.

В Чиекуркальне, недалеко от шоссе Свободы, у Курмита была небольшая квартирка в старом двухэтажном домике. Жили они с женой здесь уже лет двадцать. Жили тихо, никогда не жалуясь на невзгоды и несправедливости, которые выпадают на долю простого человека. Соседи считали, что смиреннее их людей нет, и мало кому было известно, что в последние годы ульманисовской власти не один преследуемый охранкой коммунист находил пристанище в квартире Курмита, а в деревянном сарайчике, под кучей сухих сосновых сучьев и чурбаков, у него хранилась литература, за распространение которой грозили каторжные работы. Курмит и при советской власти продолжал работать на «Вайроге», ничем себя не проявляя, ничем не отличаясь от рядовых рабочих. Когда пришли немцы, он по-прежнему размахивал тяжелым молотом в кузнечном цехе «Вайрога», по-прежнему не вступал ни в какие споры и разговоры о политике. Но на заводе постоянно появлялись то листовка, то номер подпольной газеты, и довольно часто случались разные неполадки с оборудованием или выпускался брак. Тихий, невидимый крот^[14] прорывал свои ходы под зданием насилия — и разрушался фундамент, в стенах появлялись трещины.

«Еще разок... — говорил про себя Курмит. — Придется тряхнуть стариной, пока не вернется советская власть. Тогда можно будет окончательно вылезть из этого подземелья и зажечь, как тебе хочется».

Роберт Кирсис уверял Курмита, что конспирация — его родная стихия. Кто его знает! Но эта работа и в самом деле увлекала его, несмотря на все опасности. И не то чтобы он любил рисковать. Нет, дороже всего ему было то, ради чего он пренебрегал опасностями, рисковал самой жизнью, — победа советского строя.

...Имант немного подождал на темном дворе, пока Курмит проверял,

нет ли в квартире чужих. Но все было в порядке. Курмит ввел Иманта в маленькую холодную комнатку, а жена его сразу засуетилась у плиты.

— Не знала ведь, что ты сегодня вернешься, а то бы истопила печь. Дрова у нас к концу подходят.

— А ничего, не замерзнем. В воскресенье съезжу в лес за хворостом. Вот ты бы, Зелма, сбегала к старикам Спаре, чтобы дали знать Роберту. Хорошо бы ему зайти нынче же вечером. Чайник я сам вскипячу.

Жена Курмита — худенькая, бледная женщина средних лет — молча надела пальто и ушла. Через полчаса она вернулась.

— Ну как, удачно? — спросил Курмит.

— Старик сам пошел.

Чайник уже вскипел. Зелма сняла его с огня и стала расставлять на столе посуду. В ее движениях проглядывала какая-то резкость, и Имант подумал: «Сердится, что Курмит привел домой чужого. Им самим, наверно, тяжело живется, а тут еще лишний рот». Робко сел он за стол и, хотя есть очень хотелось, взял только маленький кусочек хлеба, а сахар вовсе постеснялся брать. Зелма сразу это заметила и улыбнулась печальной улыбкой.

— Что же ты не ешь, сынок? — спросила она, погладив по голове Иманта. — У тебя еще дальний путь впереди. Надо набираться сил.

Она сама отрезала ему толстый ломоть хлеба, намазала творогом и положила в чай сахару.

— Тебе еще расти надо, сынок. Ты на нас, стариков, не гляди.

После этого Имант ел, уже не стесняясь.

Меньше чем через час пришел Роберт Кирсис. Зелма скоро ушла в другую комнату, оставив мужчин одних.

— Это и есть «Дядя», — сказал Курмит Иманту.

Имант неловко улыбнулся, когда Кирсис сел рядом с ним на кушетку и, положив ему на плечо руку, серьезно посмотрел в лицо.

— Как тебя зовут?

— Имант.

— Он из Риги, — объяснил Кирсису Курмит. — Родные у него здесь остались, надо будет разузнать про них.

— Как фамилия?

— Селисы. Мы живем на улице Пярну. Мать заведовала прачечной, а сестра работала в райкоме комсомола. Мать я не видел с самого начала войны, жил в пионерлагере. А Ингрида в начале июля вернулась сюда, хотела разыскать ее, и с тех пор я не знаю, что с ними.

Тень пробежала по лицу Роберта Кирсиса. Несколько секунд он сидел

молча, в то время как рука его ласково гладила спину Иманта. Потом заговорил:

— Так вот, Имант, взялись мы с вами за серьезное дело. Важнее этого дела ничего нет. Борьба — борьба до полной победы! Хотя нам постоянно грозит опасность, немцы нас очень боятся. Они боятся нас больше, чем мы их, — потому что мы сильнее и на нашей стороне правда. Здесь многие знают про вашу работу, вы хорошо работаете. Мы тоже стараемся не отставать. В Риге труднее, нельзя действовать так открыто, как вам, но неприятности мы доставляем немцу ежедневно. Если теперь объединить наши силы, тогда и нам будет легче действовать, тогда товарищи, которым нельзя больше оставаться в Риге, будут направляться к вам. Как с линией, Ансис? — обратился «Дядя» к Курмиту.

— Налажена. Вот Иманта сделали заведующим цепью связи с того конца. Пока сюда шли, он со всеми звеньями познакомился.

— Ну и отлично, — кивнул «Дядя». — Самое главное направление обеспечено. Теперь можно подумать об организации связи с Лиепайей и Даугавпилсом. Одну цепь надо будет протянуть на север Латвии. Пусть Имант отдохнет денька два и возвращается обратно на базу.

— Я совсем не устал, — возразил Имант. — Я хоть завтра...

— Ничего, отдохнешь, Имант. Мы за это время припасем тебе новые документы, чтобы ты мог показываться в любом месте. Сейчас такая возможность есть.

Кирсис рассказал кое-что о последних событиях в Риге.

— Неделю тому назад на Понтонном мосту убили гестаповца... В Задвинье в мастерских арсенала произошел взрыв... Двух немецких офицеров нашли в городском канале. Теперь по ночам они иначе как кучками и не ходят. Какой-то смелый парень заколол позавчера возле кино «Палладиум» еще одного офицера. Оцепили весь квартал, а парня не поймали.

— Дело движается, — сказал Курмит.

— Да, движается. Но движение заметно и в лагере врага. Арай со своей шайкой, после истребления евреев, ищут себе новую работу. Зондеркоманду как будто собираются послать в провинцию «очищать» от партизан леса. Сам Арай спьяна хвастался, что до весны в Латвии не останется ни одного партизана, ни одного коммуниста.

— Ишь, какой проворный, — Курмит покачал головой и тихо засмеялся.

— В Риге начинают исчезать люди, — продолжал «Дядя». — Через некоторое время их находят обескровленными или в парках, или на

пустырях, или в городском морге. Немцам нужна кровь для переливания, — все госпитали полны ранеными. Каждый день приходят с востока эшелоны. Видимо, под Москвой Красная Армия колошматит их почем зря. Я еще не видел на улице столько веселых лиц, как в последние дни, с тех пор как их начали бить под Москвой. Немцы заметно приуныли. Кое-кто и из «единоплеменников», похоже, чем-то озабочен, а народ радуется. Вспоминают Двенадцатый год, бегство Наполеона из Москвы. В «Тевии» опять появилась целая статья о вреде слухов. В общем, Курмит, жернова истории работают хорошо.

Когда «Дядя» уже собрался уходить, Имант несмело спросил:

— Скажите, а можно мне пойти повидаться с матерью и сестрой? Или это нельзя?

Некоторое время Роберт Кирсис стоял посреди комнаты и смотрел в пол. Он тяжело вздохнул.

— Не хотел я сейчас говорить, но... Имант, ты крепкий парень... Ты должен перенести и это. Их нельзя видеть. Твоя мать арестована, она сейчас в тюрьме. А твою сестру немцы расстреляли в начале сентября. Мы знаем, где она зарыта. Когда-нибудь, не теперь, я покажу тебе могилу Ингриды... Соберись с силами, дружок, я знаю, как тебе больно. Мы отплатим немцам и за Ингриду и за мучения твоей матери.

— Я сам... я сам расплачусь с ними...

Больше Имант ничего не мог сказать. Его будто ударили в грудь. Тоска, жалость, горе сжали его сердце. Он почувствовал себя маленьким, брошенным, беспомощным ребенком. Он не хотел плакать, но слезы бежали по лицу, их нельзя было остановить.

«Дядя» снова сел рядом с ним, обнял его за плечи и долго-долго говорил с ним:

— Не думай, что ты остался один, Имант. Ты теперь никогда не будешь одиноким. А твои товарищи — разве это не родные? С ними ты всегда будешь чувствовать себя, как в семье. И подумай, какая у тебя содержательная жизнь — как у самого великого человека в мире. Борьба! — что может быть, Имант, прекраснее, благороднее нашей борьбы?

Хотя в тот день было пройдено около сорока километров и от усталости болело все тело, Имант не мог спать. Он ворочался с боку на бок на скрипучей кушетке, а в голове у него больно стучало от набегающих

одна на другую бессвязных мыслей.

«Нет больше Ингриды... Мать мучается в тюрьме... Кто теперь живет в их квартире на улице Пярну?»

Не надо было пускать Ингриду одну... тогда этого не случилось бы. Я бы что-нибудь придумал. А у нее в таких делах и опыта не было... „Дядя“ знает могилу Ингриды. Темная, холодная яма... лежит в ней моя бедная сестренка, и песок давит на глаза, насыпается в рот... дышать нечем...»

Имант сам стал задыхаться при этой мысли. Сбросив с себя одеяло, присел на кушетке и жадно вдохнул всей грудью воздух.

Тик-так... тик-так... — тикали старые стенные часы, и казалось, это бьется сердце дома.

«А у Ингриды сердце больше не бьется... Холодно маме в тюрьме, немцы не отапливают ее. Только бы самим было тепло. Если бы мы все пришли в Ригу — Ояр, Капейка, Акментынь, Саша Смирнов, а здесь „Дядя“ со своими товарищами, — можно бы освободить ее. Всех бы выпустили и увели в лес. Матери бы построили землянку. Она бы нам готовила обед, носки штопала... Нитки можно доставать у крестьян». Тик-так... тик-так — слышалось из темноты. Где-то раздался выстрел. Потом свист, крики, затарахтел мотоцикл. «Кого-то ловят. И опять стреляют. В лесу спокойнее. Где ты спишь, Ингрида?»

И снова к горлу подступили рыдания, и он, уткнувшись лицом в подушку, старался заглушить их.

«Мне еще надо долго жить, чтобы расплатиться с ними. Пока не уничтожу двести фашистов, не считая прежних, — до тех пор я должен оставаться в строю. За Ингриду сто, за маму сто. Нет, я должен воевать до самой победы. Чтобы никогда больше не было такого на свете. За весь народ воевать...»

Он больше не воображал себя путешественником по Заполярью. Жизнь в партизанском отряде приобрела теперь для него новый, серьезный смысл.

Весь следующий день Имант не выходил из комнаты. Вечером «Дядя» принес ему документ, из которого явствовало, что Имант Селис с ведома управления труда посылается на работу в усадьбу Саутыни Эзермуйжской волости. С такой бумажкой можно было смело садиться в поезд и ехать хоть до станции Эзермуйжа, откуда было лишь несколько часов ходу до партизанской базы. «Дядя», однако, советовал ехать только до уездного города, так как дальше проверку документов могли производить местные шуцманы. Вдруг среди них окажется какой-нибудь айзсарг из Эзермуйжи?

«Дядя» приготовил также портативную типографию, которая легко

укладывалась в небольшой чемодан, но ее решили послать по цепи, когда Сунынь приедет в Ригу за товаром для магазина.

На другой день Имант уехал. Всю дорогу до уездного города ему пришлось простоять, так как в вагоне ехали немецкие солдаты, а рядом с ними не разрешалось садиться, даже если оставались свободные места. Первую ночь Имант переночевал в городе, у Суныня, вторую — в усадьбе Айзупиеси, у Эльмара Ауныня. Когда Имант стал уходить, Эльмар вызвался проводить его немного и, прощаясь, вручил письмо для Анны Лидаки.

— Передай так, чтобы мать не видела. Я ей тут написал про карточку. Нехорошо, что она стоит на комодке. Ее карточку я уже спрятал.

Однако некоторая неуверенность в голосе Эльмара свидетельствовала о том, что в письме, помимо добрых советов, речь шла и о других вещах.

Когда Анна Лидака взяла в руки письмо, она покраснела, убежала во двор и не возвращалась целый час. «Что там особенно читать? Наверно, несколько раз перечитывает», — подумал Имант.

Фотография Эльмара в тот же вечер исчезла с комодка.

Курмит из Саутыней, у которого Имант ночевал последнюю ночь, рассказал, что партизаны перебрались на новую базу, километров на пятнадцать дальше, на территорию Латгалии. А здесь, в Эзермуйжской и в соседних волостях, появилось много незнакомых людей. Рыскают по всем дорогам. Наверно, что-то готовится.

Утром Курмит запряг в сани лошадь и поехал в лес за валежником. С собой он взял молодого батрака, Иманта Селиса. Дорога была дальняя и тяжелая, в глубоких колеях, — по ней обычно возили бревна. На узкой просеке они встретили Сашу Смирнова, который страшно обрадовался благополучному возвращению Иманта.

Поздно вечером они пришли на новую базу. Место было неприветливое, дикое, но Имант сразу почувствовал себя, как на надежном острове. Здесь не рыскали, выслеживая людей, немцы; в темной чаще господствовала свобода и незыблемый закон народа. Каждый, кто приходил сюда, стряхивал с себя путы рабства и смело мог думать и говорить обо всем, что было у него на душе.

«Вот я и дома...» — думал Имант. Седые ели покачивали на ветру ветвями, будто приветствуя его.

Глава двенадцатая

Походная колонна растянулась на несколько километров. Стрелкам пришлось идти цепочкой — по обеим сторонам дороги, так как середина ее была забита машинами и повозками. Время от времени командир, ведущий колонну, останавливал передних и приказывал подождать, пока подтянется хвост. Стрелки присаживались отдохнуть на снег, некоторые бросались на заметенный скат дорожной насыпи и смотрели на облака. Парни побойчее сыпали шутками и остротами по поводу какого-нибудь товарища, у которого или сполз слишком низко вещевого мешок, или во время сна у костра опалился мех на ушанке, или слишком отросла борода. Никто не обижался, когда зубоскалили на его счет, — это было своеобразным проявлением дружеского внимания. Немного пошутишь, посмеешься над метким сравнением — и как-то забывается усталость и можно дальше шагать по — занесенной снегом прифронтовой дороге.

Во второй половине января латышская дивизия была отведена с передовой на кратковременный отдых. Полки получили пополнение и немного перевели дух.

Наконец, дивизия получила приказ о переброске ее на Северо-Западный фронт, где Красная Армия недавно перешла в наступление в районе озера Ильмень. Опять стрелки сели в вагоны, и эшелон за эшелон отправлялся на север. От Крестцов начался продолжавшийся несколько дней переход на участок, отведенный дивизии. В ясные дни двигаться нельзя было: немецкая авиация все время вела наблюдение за дорогами. Тогда дожидались вечерних сумерек и всю ночь шли по местам, памятным по истории древней Руси. При свете звезд чуть поблескивали стволы винтовок. Справа и слева темноту протыкали гигантские пальцы прожекторов, показывая самолетам направление на прифронтовые аэродромы. Особенно напряженным был последний переход: по обе стороны дороги всю ночь не смолкали орудия, и все вокруг то вспыхивало под светом ракет, то меркло. По обе стороны был фронт, посередине узкий коридор, по которому проходила дорога. Справа — болотистые берега озера Ильмень с бесчисленными устьями рек, старинные села, рыбацьи поселки и город Старая Русса; там фронт был повернут прямо на запад. Слева от коридора находилась недавно окруженная 16-я немецкая армия, так называемый Демянский плацдарм — громадный мешок, в котором метался со своими дивизиями генерал-полковник Буш. Местами коридор был так узок, что дорогу, по которой двигались наши колонны, могли

обстреливать артиллерию и тяжелые минометы. Снег по обочинам потемнел от недавних взрывов мин, везде лежали трупы немецких солдат.

Немцы очень боялись темноты и для храбрости пускали ракету за ракетой, постреливали из автоматов и пулеметов. Каждая замеченная на снегу тень вызывала у них мысль о лыжниках и десантных группах.

Всю ночь летали ночные бомбардировщики У-2. Стрелки узнавали их по звуку мотора. Пролетая через коридор, они зажигали опознавательные огни.

Огородники... кукурузники... самовары... кофейные мельницы... — какие только прозвища не давали им и свои и враги! Хорошая автомашинка на хорошей дороге могла состязаться с ними в скорости, но стоило немцам слышать в темноте знакомый звук мотора У-2, как их в пот бросало от страха, и они не знали, в какую щель укрыться, потому что ни один бомбардировщик не давал таких точных попаданий, как этот маленький ночной труженик. Подлетая к цели, пилот выключал мотор и бесшумно планировал над объектом бомбежки, а внизу никто не мог определить, где он находится, с какой стороны ждать удара. Немцы его ругали и боялись. Свои — любили, придумывали для него все новые и новые смешные и ласкательные прозвища. Он мог приземлиться на любом месте, даже на дороге, и подняться с самого маленького пятачка, поэтому его можно было встретить в самых невероятных местах: в кустах, на крестьянских огородах, возле дорог, на небольших полянках. Пленные немцы рассказывали, что в те ночи, когда «кофейные мельницы» вертелись в воздухе, никто не мог сомкнуть глаз.

Старший лейтенант Жубур шел во главе своей роты. Как он ни устал, эта ночь держала его в напряжении, столько в ней было звуков и огней.

— Это немцы устроили иллюминацию в честь нашего прихода, — заговорил шагавший рядом с ним Пургайлис. Под валенками скрипел снег, усы Пургайлиса заиндевели, и он казался седым стариком.

В тот день, когда Жубур получил звание старшего лейтенанта, пришел приказ о присвоении первого офицерского звания сержанту Пургайлису. Теперь он был кавалер ордена Красной Звезды и утвержден в должности командира взвода. Жубур за участие в боях под Москвой был награжден орденом Красного Знамени. Вскоре после взятия Боровска он целую неделю командовал батальоном, так как капитану Соколову пришлось замещать командира полка. Сейчас они опять были на старых местах, и Жубур слышать не хотел о переходе в штаб полка, о чем с ним не раз уже разговаривали. Не поддержи его Силениек, пришлось бы, наверно, распроститься со второй ротой. Временно эта опасность была устранена, и

стрелки его вздохнули спокойно. Кто его знает, какой будет этот новый ротный, а к Жубуру привыкли, все знали его строгость, справедливость и умение вести бой. Он никогда не действовал с налета, а всегда обдумывал до мельчайших подробностей каждый маневр. О боевых успехах второй роты не раз говорили в полку, и, однако, после боев под Москвой эта рота почти не требовала пополнения. Потери были бы и того меньше, если бы ребята в первом бою не действовали так опрометчиво. Теперь эта болезнь ухарства прошла, и каждый понимал, что продуманные действия дают лучшие результаты, чем ненужная лихость. Главная задача была не в демонстрации своего бесстрашия, а в уничтожении противника. Воевать умело, мастерски, — самому уничтожить противника и не дать уничтожить себя, — вот в чем состояла мудрость. Но это называлось также мужеством, хотя иногда и казалось профессией. Карл Жубур гордился этой профессией.

— Всё на запад, на запад идем, — сказал Пургайлис. — Интересно, далеко уже наши прорвались? Если так дальше пойдет, скоро запахнет Латвией. Ребята подсчитали, что остается около четырехсот километров.

— Местами еще ближе, — сказал Жубур. — Наши войска уже форсировали Полу и Ловать. Впереди больших рек не осталось до самой Великой.

— А там и до Латвии рукой подать! Эх, что это будет за день! Хоть я и не танцор, а тогда обязательно попляшу на радостях. Как ребята рвутся вперед! День и ночь готовы рысью бежать. Дорога ведь к самому дому ведет. Каждый человек родные места любит.

— Иначе и быть не может. Если их не любить, тогда и на свете жить не стоит. Кто не любит свою родину и кто не готов умереть за нее, тот ее вообще не достоин. А у кого еще родина необъятнее и краше, чем у нас, советских людей? И вот нашелся сумасшедший — захотел отнять, стать хозяином в нашем доме.

— Зато он такую нахлобучку получит, что вовек не забудет.

— Совершенно верно! — раздался с середины дороги знакомый голос. — Непременно получит, Пургайлис. Я, с своей стороны, тоже, сколько сумею, добавлю.

Юрис Рубенис! Жубур разглядел в темноте его угловатую фигуру. Юрис подошел ближе.

— Куда путь держите? Не по дороге?

— Не знаю, как ты, а мы на Ригу! — в тон ему ответил Жубур.

— Тогда по дороге, — весело ответил Юрис. — У меня тоже дела в той стороне.

Они крепко пожали друг другу руки, и некоторое время Юрис шел

рядом с Жубуром. Он продолжал командовать хозяйственным взводом батальона и сейчас перебирался со своими обозниками в какую-то разрушенную деревню.

— Редко тебя удается видеть, — сказал Жубур.

— Что поделаешь, то и дело гоняют по допам^[15] и базам, — пожаловался Юрис. — Такая уж прозаичная работа. Только и знаешь: мешки муки, говяжьи туши, пекарни, кухни... На живого немца удастся посмотреть, только когда его возьмут в плен. Осточертело мне все это... Лейтенанта дали, а воевать не пускают.

— Собственно, почему ты так трагически относишься к своей работе, Юрис? — улыбнулся Жубур. — Не всех же на передний край посылать. Кому-то надо и накормить и одеть нас. С пустым желудком и без патронов в бой не пойдешь.

— Вполне можно бы доверить это дело человеку постарше, — не слушая его, продолжал Юрис. — Ты, Жубур, не думай, что я в хозвзводе надолго останусь, я своего добыю. У меня с Кезбером договоренность есть, согласен принять в разведроту. Вот там — жизнь! Получил я недавно письмо от Айи. Спрашивает, сколько я уничтожил немцев. Влезь на минуту в мою шкуру и подумай, как ответить на такой вопрос. Был бы белобилетником, еще туда-сюда. А тут настоящий портовый парень, подпольщик, со шпиками и полицейскими дрался — и вот сиди у кухни да поглядывай, как бы каша не пригорела. Нет, Жубур, долго я издеваться над собой не позволю. С Силениеком уже говорил на эту тему.

— А что Андрей?

— Отругал. Обозвал несознательным элементом. Велел чаще газеты читать и заняться политучебой. Ему, конечно, легко говорить... А что мне Айе писать?..

Пургайлис засмеялся. Засмеялись и другие.

— Можете смеяться сколько угодно, а я все равно уйду в разведчики...

Фыркали обозные лошадки, тащившие сани с продуктами и боеприпасами. Им не было дела ни до выстрелов, ни до ракет, ни до гула самолетов. Близость волков они бы сразу почуяли и запряли в тревоге ушами. Откуда им было знать, что фашистские волки заглядывают с обеих сторон коридора, по которому всю ночь шли войска? Но это знали люди, тысячи одетых в шинели, полушубки и в белые балахоны людей, которые спешили по коридору на запад... Пола... Ловать... Старая Русса... болота, реки и озера... Остовы печей на месте сел... вереницы раненых, и всюду трупы гитлеровцев... Люди спешили — идти было еще далеко.

Лейтенант Закис отлично понимал, почему Лидию Аугстро́зе перевели из третьей роты в первую: командиру батальона Соколову казалось, что присутствие молодой девушки плохо влияет на молодого комроты и что он из-за нее только выкидывает сумасшедшие номера, за которые уже получил выговор, а одновременно и орден. Он сам ходил в разведку, он шнырял вдоль немецких позиций, он играл со смертью. Его полушубок был прострелен во многих местах; однажды осколком снаряда у него срезало верх шапки.

Изменилось ли что-нибудь с переводом Лидии? Ничего. По дороге на Северо-Западный фронт они все время были вместе. Командир первой роты Имак был товарищем Аугуста по училищу и ничего не говорил, если снайпер Аугстро́зе чаще находилась в третьей роте, чем там, где, по всем данным, ей полагалось быть. Почему-то всегда получалось так, что квартиру раньше всех находил Аугуст и чай закипал у него раньше, чем у других. Что в таком случае делает гостеприимный хозяин? Он почесывает затылок и говорит своей сестре: «Знаешь что, Аустрия, ты бы сказала Лидии, пусть идет к нам погреться. Этот Имак опять заставит своих людей сидеть в сугробах».

И хотя Имак вовсе не думал морозить своих людей в поле, когда имелась возможность найти теплый кров, ему тоже казалось, что Лидии будет лучше со старыми друзьями.

Для кого могла остаться тайной дружба Аугуста и Лидии? Их жизнь протекала на виду у всех. Каждый шаг, каждую улыбку видели все, у кого были глаза. Ну, что же, пусть смотрят, пусть видят — ничего дурного ведь не происходит. А если у кого испорченное воображение, пусть думает что угодно.

Где еще может зародиться такая глубокая и подлинная дружба, как не на фронте, в тени самой смерти и уничтожения? Здесь самый обычный твой поступок больше говорит о тебе, о твоей сути, чем тысячи слов в любом другом месте. Здесь все проявляется четче и резче, чем в другом месте, где у человека есть возможность выбора. Здесь каждое чувство и убеждение немедленно проверяется в действии. Здесь нет возможности притворяться. Каков ты есть, таким и стоишь перед товарищами, просвеченный до последних уголков души. Звучные слова не прикроют твоего страха перед опасностями, а за скромностью и молчаливостью люди всегда распознают твое мужество.

Аугуст Закис любил Лидию с той незамутненной ясностью чувства, которая возможна только в юности. Он не требовал ничего, а сам готов был отдать всего себя. Он остро ощущал каждую перемену в настроении Лидии. Стоило только ей взглянуть мимо него, как он уже не находил себе места и винил себя в несуществующих грехах. Зато достаточно было одной улыбки Лидии, одного прикосновения ее руки или доброго слова — и Аугуст был совершенно счастлив. Он хотел жить, но ему не страшно было бы умереть на глазах Лидии. Каждый раз, когда она уходила на свою снайперскую позицию, Аугуст половиной своего я жил возле нее; прислушивался к разрывам мин, наблюдал за неприятельскими самолетами, когда они приближались к тому месту, где была Лидия, а вечером с томительным нетерпением ждал ее возвращения. Иногда Лидия уходила вместе с Аустрой, и они весь день лежали где-то в сугробе снега, в кустах или развалинах, терпеливо, целыми часами выжидая, когда на наблюдаемом участке противника покажется чья-нибудь голова. Раздавался выстрел, такой слабый и незаметный в грохоте боя, что его даже не было слышно, но он означал, что одному гитлеровцу пришел конец.

И странно: Аугуст любил Аустру, как только может любить брат сестру, но за Аустру он никогда не испытывал такой тревоги. Ему казалось, что все опасности проходят мимо, не причиняя ей вреда. А за Лидию он не переставал беспокоиться. В его представлении она была такой хрупкой, такой уязвимой: он как-то забывал, что ее острый глаз и твердая рука, которая ни разу еще не задрожала, нажимая спуск винтовки, принесли смерть многим гитлеровцам. Только когда Аугуст сам находился возле нее, он был за нее спокоен. Ему казалось, что его присутствие охраняет девушку от всех опасностей.

Однажды, когда они шли по дороге, проложенной по замерзшей реке, на них налетели немецкие самолеты. Оставалось одно — зарыться в сугробы под крутым берегом; Аугуст сжимал под снегом руку Лидии и смотрел на беснующиеся в воздухе «мессершмитты» и «юнкерсы». Как на учебном полигоне, хозяйничали немцы над рекою: лишь несколько зенитных пулеметов давали очередь-другую, когда разбойники спускались на досягаемую высоту. Пригоршнями сыпались мелкие бомбы. С хрустом разрывались они на берегах и на льду, покрывая снег копотью. Затем немцы стали обстреливать пулеметным огнем дорогу, низко проносясь над ней.

— Ты жива? — улыбаясь, спрашивал Лидию Аугуст. У них одни головы торчали из снега.

— Пока еще да, а ты? Долго еще нам придется лежать из-за них в сугробе? Мне начинает надоедать.

— Мне тоже.

На дороге замерло всякое движение. Грузовики стояли далеко друг от друга посреди реки. Обозные лошади храпели и старались дотянуться губами до снега, а люди, зарывшись в сугробы, ждали конца налета. Куда-нибудь бежать, искать надежного укрытия не имело смысла: вокруг было ровное белое пространство. Крутые берега реки служили защитой от пуль, но от бомб они укрыть не могли.

Когда налет кончился, сугробы зашевелились. Люди вылезали из снега, отряхиваясь и обчищаясь, шоферы заводили моторы, обозники брались за вожжи. Из людей никто не пострадал. Только одной лошади осколком бомбы вырвало бок. Груз переложили на другую подводку, позади привязали пустые сани, и колонна двинулась дальше. Вскоре повалил снег, — по крайней мере больше не надо было следить за воздухом.

К вечеру полк достиг места назначения, и батальон направили на боевой участок, где он должен был сменить какую-то часть. Разведчики в белых балахонах ушли на лыжах вперед. Ночью Аугусту Закису предстояло вести свою роту в наступление. Первая рота осталась в резерве и разместилась позади третьей. Направо заняла позицию рота Жубура. Впереди в вечернем сумраке темнело большое село с церковью посередине, — батальону предстояло выбить оттуда противника и таким образом выровнять слишком вогнутую линию участка фронта.

— Встретимся после боя возле церкви, — сказал Аугуст Лидии перед боем.

Первая рота осталась в леске. Там не было этого пронзительного ветра, который так угрюмо завывал в поле, будто хотел заморозить весь мир своим ледяным дыханием. Ауэстра ушла вместе с братом на первую линию. Аугуст и Петер Спаре вызвали командиров взводов, ознакомили их с обстановкой и боевой задачей и, расположившись на командном пункте, стали ждать сигнала к наступлению.

«Сколько раз мы уже лежали так в снегу и сколько еще раз придется так лежать», — подумала Ауэстра. Обманчивая тишина и мрак, а за этим мраком люди — близкие, дорогие люди. В этот час все думают одну думу, у всех на душе одинаковое волнение ожидания.

Но каждый из них в эти минуты думает и о чем-то своем. О далеком доме, о женах и детях, о матерях и младших братьях думают стрелки. Прошлое встает в памяти, как яркий летний день. Мысль устремляется в будущее, навстречу счастью, которое ждет по ту сторону поля сражения. Но сегодня они здесь — на замерзших болотах у Старой Руссы, и северный ветер с Ильменя обдает лицо холодным дыханием. Аугуст, тот, конечно,

думает о своей Лидии. Как они любят друг друга...

«А о чем сейчас думаешь ты, Петер? — Взгляд Аустры искал в темноте Петера Спаре. — Почему ты не вспомнишь обо мне? Кого разыскивает твой взгляд вдали? Там ничего нет — только призраки прошлого. Я не призрак, я пойду за тобой, как только ты поднимешься».

Из медсанбата Руту Залите перевели в санитарную роту одного из полков.

Нет, Айя Рубенис напрасно подозревала, что суровый ветер действительности охладит романтические порывы подружки. Рута и не рассчитывала, что на фронте ей будет легко, но именно поэтому она и решила, что ее место здесь. Может быть, гораздо легче стать героем, если этот героизм проявляется при усиленном освещении, в эффектной поступке, который всем виден. Но гораздо труднее сохранять мужество в обыденном труде, который не богат яркими моментами, но который, если взять его в целом, составляет картину неповторимого подвига. В этой картине нет отдельного, центрального героя. Их миллионы, весь советский народ. Руту Залите, маленькую девушку с берегов Даугавы, может быть даже трудно было рассмотреть в общей массе. Да, она умела от всего отказаться — но таких людей было много. Она была готова отдать жизнь за Родину и не страшилась опасностей — но и таких было неисчислимое множество.

...Рута познакомилась с Лидией и Аустрой еще осенью. Но у Лидии было слишком много своего счастья и слишком мало времени для всего прочего, если это не было связано с ее обязанностями бойца. Рута издали наблюдала за ней и в ее дружбе с Аугустом видела образец той близости, о которой она сама мечтала.

— Не надо им мешать, — сказала она как-то Аустре, с которой подружилась за последнее время. — Они заслужили свое счастье. Кто знает, долго ли оно будет продолжаться.

— Ты думаешь, я против их дружбы? — слегка обиделась Аустра. — Лидия хорошая девушка, очень хорошая... Лучше ее Аугуст и не найдет, пожалуй. Я только боюсь, что она с ним будет несчастной. С его отчаянностью до Латвии не дойти. Таких сорви-голов любить опасно.

— А кого же и любить, как не таких? — усмехнулась Рута. — Трусов, шкурников? С ними, конечно, ничего не случается, они себя уберегут.

Она опустила голову.

— Ты права, — согласилась Аустра. — Кого же и любить, как не таких. Рутынь, а у тебя есть друг?

— У меня много друзей. Тысячи. И я всех их люблю одинаково.

— Нет, я не о том. Ну, самого близкого, кого любят больше всех, — такого ты не нашла?

— Я его нашла. Но он далеко, не знаю даже, жив ли, встретимся ли мы когда.

Аустра серьезно взглянула на подругу.

— Я понимаю. Но ты будешь его ждать.

— А ты? — улыбнулась Рута. — Ты тоже кого-нибудь ждешь или уже дождалась?

— Кажется, дождалась... — Аустра почему-то перешла на шепот. — Но не знаю, ведь он не свободен... Может быть, он сам еще не думает об этом. А сама я никогда не скажу. Вот слушай. В прошлом бою, когда наша рота пошла в ночную атаку, у самой окраины деревни нас вдруг накрыло минометным огнем. Знаешь, как это — кругом рвутся мины и ни одной ямки, некуда спрятаться. Лежишь — все равно как на столе. Только прижмешься к земле и ждешь, что будет дальше. Мы были рядом. И знаешь, что он сделал? Заметил, что мины падают вправо от меня, лег с правой стороны и прикрывал меня от осколков. А когда немцы перенесли огонь немного левее, переполз на другую сторону и так лежал до конца обстрела. Я сначала не поняла, спрашиваю: «Петер, почему ты смиренно лежишь? Тебя убьют, вот увидишь...» А он только буркнул, что так надо. Тут я все и поняла, но мне уже неловко было говорить об этом. Станный, правда?

— Хороший человек... Он же тебя любит, Аустра.

— Не знаю, не знаю. У меня тогда было странное чувство... Ветер, мороз, а мне тепло и ничуть не страшно. Не знаю, что бы я сделала, если бы его ранило или убило. Не хочу думать об этом. А после боя опять все забыл и стал прежним... ворчит, сердится.

Редко доводилось им теперь встречаться, — дивизия все время продолжала наступать. Каждая встреча была нечаянной: или на дороге, когда переходили на другой участок, или когда Рута приезжала с другими санитарями за ранеными. Урывками, захлебываясь, они спешили рассказать обо всем друг другу. Торопливо лились слова, точно так же, как и их жизнь.

Немцы перебросили с других фронтов в район Старой Руссы целый авиационный корпус. Главной целью немецкого командования было облегчить положение окруженной 16-й армии и любой ценой ликвидировать коридор, который отрезал дивизии генерал-полковника Буша от главных сил фронта.

Каждое утро, чуть рассветало, в воздухе возникал гул неприятельских разведчиков и бомбовозов, не прекращавшийся до наступления сумерек. Воздушные пираты висели над фронтовыми дорогами, наблюдали за скоплением автомашин и обозов, привязывались к отдельным колоннам и даже к небольшим, захваченным врасплох на открытом месте, группам бойцов. Практическое значение этих бомбежек было невелико. Это был террор, кратковременная демонстрация количественного перевеса воздушных сил, попытка отвлечь авиацию Красной Армии с других секторов фронта, где жали немцев.

Но стоило только показаться в воздухе эскадрилье наших истребителей, как стаи «юнкерсов» разлетались, пускались наутек, сбрасывая куда попало бомбы. Одна-единственная, стоящая где-нибудь в стороне зенитка заставляла их держаться на большой высоте.

У большой дороги, по которой шло снабжение двух наших армий и осуществлялась связь с тылом, стояло когда-то село Давыдово. От него уцелело лишь несколько домов. За селом начиналась широкая балка, которую пересекала дорога., В балке и на улицах разрушенного села всегда стояли сотни машин, санитарных автобусов, артиллерийские батареи, отправлявшиеся на фронт. Каждый день немецкая авиация бомбила и обстреливала из пулеметов скопление транспорта, но редко хоть одна из ста бомб попадала в цель.

— Все бы ничего, только бы еще этих дьяволов утихомирить, — говорили бойцы.

Как расцветали их лица, когда в небе показывался хоть один советский самолет! С каким возбуждением наблюдали они за воздушным боем, как радовались, когда наш ястребок сбивал немца!

— Почему так мало видать наших самолетов? — высказывали некоторые свое недовольство.

— Командование лучше знает, где они нынче нужнее, — отвечали другие. — Подбросят и нам, когда нужно будет. Придет время, немец не посмеет даже показаться над нашим расположением.

По дороге проезжали дивизионы «катюш», укрытых брезентовыми чехлами. С каждым днем их все больше и больше появлялось на фронте. По ночам, рассыпая зеленые искры, скользили по полям аэросани.

Нескончаемыми вереницами двигались батальоны лыжников: как белые призраки, внезапно вырывались они из темноты и снова пропадали в снежной мгле. Каждый лесок, каждый куст таил за собой невидимую силу.

А немецкая авиация продолжала неистовствовать. Ни раньше, ни позже латышским стрелкам не приходилось испытывать таких воздушных атак. Однажды утром Рута Залите проходила через село Шапкино, расположенное на берегу небольшой речки. Здесь кончалась проложенная по реке ледовая дорога, дальше колонны двигались по проселкам. При отступлении немцам не удалось сжечь село, и теперь там можно было расположить часть второго эшелона дивизии. Измученные бомбежками предыдущего дня, стрелки тут же взялись за рытье укрытий.

— Как приятно видеть хоть одно уцелевшее село, — сказала Рута другой санитарке. — Все кругом кажется светлее и чище. Вот смотри: где только враг ступил ногой, он все опоганивает, на каждом шагу оставляет за собой горе и разорение.

— Неужели и в Латвии то же самое? — сказала санитарка. — Наверное, когда вернемся, больше не узнаем ее.

Рута еще раз оглянулась на село, стараясь удержать в памяти эту уютную, чистенькую картину.

Под вечер, у самой передовой, Рута была ранена в бок осколком мины, разорвавшейся возле перевязочного пункта. Сначала она не почувствовала особенной боли и ни за что не соглашалась сесть в сани вместе с бойцами, которых только что перевязывала, но, пройдя несколько шагов, потеряла сознание и упала в снег. Санитары уложили ее в сани и повезли во второй эшелон. Немного спустя Рута открыла глаза, пошевелилась и почувствовала острую боль в левом боку. По обе стороны дороги виднелись воронки от бомб. Темнели на снегу лошадиные трупы. Бойцы рыли лопатами в замерзшей земле могилу: рядом, снесенные в одно место, лежали на плащ-палатке восемь убитых стрелков. Закрыв глаза, Рута прислушивалась к разговору обозных.

— Шапкино разбомбили. У Воскресенского немцы полдня бомбили лесочек меж двумя дорогами, там находился штаб дивизии. По девять, по двенадцать самолетов в воздухе висело. Подряд бомбы бросали и пулеметами обстреливали. Трудно даже определить, сколько бомб сбросили. А в конце концов — одного легко ранило да лошадь убило.

Вскоре показалось село Шапкино, но Рута не узнала его. Не осталось ни одного целого дома. С провалившимися крышами, покоробленные взрывной волной, стояли по краям дороги остовы строений. Над селом вился дым, пахло гарью. Крестьянки сидели у трупов своих детей и

невидящими глазами смотрели на раненых, которых провозили мимо. Ночь была полна горя и муки.

Руте стало так жалко село, и она так ослабела, что вдруг расплакалась.

— Изверги... — всхлипывая, шептала она, глядя на черные развалины. — Завидно было, что уцелело... Милое, бедное Шапкино. Спешили мерзавцы... боялись опоздать...

Ей вдруг стало страшно обидно. Почему она сейчас должна выбыть из строя? Почему ей так не повезло? Стрелки будут расплачиваться с немцами, а ее здесь не будет. Кто же будет раненых подбирать?

В медсанбате Руту перевязали, а ночью санитарная машина отвезла ее в Крестцы.

Марта Пургайлис до поздней осени проработала в колхозе. Вскоре после окончания молотьбы она получила от Айи письмо, в котором та сообщала, что в области организован детский дом для сирот, эвакуированных из Латвии, и для детей бойцов Латышской стрелковой дивизии; Марта тоже может устроить туда своего Петерита, а еще лучше, если она согласится пойти туда завхозом.

Предложение было слишком заманчивым. Марта живо договорилась с председателем, раздала остающимся в колхозе эвакуированным большую часть продуктов, которые получила на трудодни, и во второй половине декабря уехала на новое место работы. Детский дом находился в большом селе, километров за пятнадцать от областного центра. Рядом были река и лес; Марта сразу подумала, что летом можно будет запастись и ягодами и грибами. Райисполком выделил участок земли для подсобного хозяйства и несколько коров, так что Марта с первых дней окунулась в работу. Надо было позаботиться и о корме для коров, и о семенах на весну, и ездить в лес со старшими ребятами за дровами.

Всего собралось тридцать ребят из разных уездов Латвии. У некоторых родители погибли в дни эвакуации, у некоторых отцы ушли на фронт, а матерям было не под силу прокормить нескольких едоков. Дом был уютный, светлый, дети чувствовали себя здесь, как в родной семье. С нового года начались школьные занятия. Заведующая Буцениеце сама была учительницей, вторым учителем Айя прислала своего помощника Зариня. С большим трудом собрали один комплект латышских учебников, и то пришлось обращаться за ними и к местным эвакуированным, и в Москву, и

в Киров. Даже номера газеты «Циня» служили учебным пособием.

В середине января, когда стали приходить известия о первых боях дивизии у Москвы, дети написали стрелкам коллективное письмо. Через месяц они получили такой же коллективный ответ. Имена многих бойцов дети уже знали по описаниям боев в газете «Циня». Не только детей радовала эта переписка, взрослые принимали в ней не менее горячее участие. Воспитательницы детского дома и старшие девочки вязали для фронтовиков перчатки и носки, шили разноцветные кисеты. Два мальчика, умевшие хорошо рисовать, посылали в дивизию целые батальные картины на писчей бумаге. Мальчики играли в войну — форсировали реку Нару и окружали Боровск, а девочки перевязывали «раненых».

В конце февраля, в субботний вечер, к детскому дому подъехали сани. К оконным стеклам сразу прилипло несколько детских лиц. Заведующая и Марта Пургайлис выбежали в сени встречать гостя. Не сразу можно было узнать в круглой, как шарик, фигуре нарядившуюся в ушанку, полушубок и валенки Айю Рубенис. Только когда она вылезла из саней и разоблачилась, встречающие увидели, кто это.

— Наверное, разбогатею, — засмеялась она. — Помогите внести в комнату гостинцы.

Это были два больших мешка, набитых разнообразными вещами. Там были детские валенки, теплые ватные куртки, несколько пальто, платки и бельевой материал. Но один узел Айя развязала только вечером, когда все вернулись из бани и поужинали. Там были латышские книги — настоящие букинистические редкости, которые удалось раздобыть в Москве: иллюстрированное издание «Времен землемеров»^[16], сочинения Судраба Эджуса^[17], латышские народные легенды и сказки. Кроме них, Айя привезла несколько книг на русском языке; номера «Мурзилки» и пионерскую литературу. А когда она стала рассказывать о боях латышских стрелков на фронте — как обозник взял в плен штаб немецкого полка со всеми документами, как разведчики под командой старшего лейтенанта Кезбера пугнули немцев из большего села, не дав им сжечь его, и взяли много трофеев, и снарядов, и мин, — у всех заблестели глаза, а маленький Петерит только теребил за рукав Марту и спрашивал:

— И папа там был?

— Да, сыночек, и папа был... — ответила Марта. — Он тоже выгонял немцев из села.

Когда дети улеглись, Айя с Мартой ушли в маленькую комнатку, где была приготовлена постель для Айи. Она все еще продолжала рассказывать

разные новости:

— А наш Мауринь-то как прославился! Сейчас управляет лесопильным заводом и каждый месяц перевыполняет план. Взятся обучить ремеслу нескольких подростков, и они его иначе как дядя Мауринь не называют. Недавно нарком наградил его почетным значком и денежной премией. Несколько латышских девушек организовали на текстильной фабрике ударную бригаду и вызвали на соревнование всех текстильщиц области. Некоторые пареньки и девушки пошли учиться на курсы трактористов. В Башкирии латыши открыли курсы медицинских сестер. Все, кого осенью не приняли в дивизию, поехали туда учиться. Может быть, так и они попадут на фронт. В общем, куда ни посмотришь, люди работают, Марта. Никто не хочет остаться в долгу перед фронтом. Правда, изредка попадаются и исключения — люди, которым ни до чего дела нет, но те уже почти все улетели в теплые края, на юг.

— Вот такие-то нахалы первыми и усядутся за стол, потребуют свою долю.

— Ничего, мы про них вспомним. Никого не забудем.

Айя порылась в своем портфеле и достала маленький пакетик.

— Это тебе. Нарочно так долго не давала. Я думаю, что ты тоже вроде меня. Я когда получаю письмо от Юриса, то распечатываю поздно вечером, когда остаюсь одна...

— Письмо? От Яна? — Марта нарочито не торопясь взяла пакетик, несколько раз его погладила, но не раскрывала. Она была так рада, что стеснялась взглянуть на Айю.

Айя улыбнулась.

— По-моему, нам с тобой спать пора.

Придя в свою комнатку, Марта проверила, не раскрылся ли во сне Петерит, и развязала пакетик. Там было письмо от Яна и несколько номеров дивизионной газеты «Латышский стрелок». Их, наверно, вложила Айя, она ведь получала несколько экземпляров. Марта сначала развернула газету. Стала искать описания боевых эпизодов. Она не поверила своим глазам, когда вдруг увидела фамилию мужа: сержант Ян Пургайлис за геройство в бою награжден орденом Красной Звезды. «Может, другой кто?» — подумала она. Но все совпадало: фамилия, имя, звание. Снова и снова перечитывала она эти строчки: «...за геройство... орденом Красной Звезды».

Наверное, и он не спит сейчас, сидит где-нибудь в окопе... Тот самый ветер, который завывает в трубе, проносится и над его головой, взвивает снег, обжигает его милое, заросшее щетиной лицо. Прижаться бы щекой к

этой колючей, морозной щеке, согреть ее своим дыханием... Он бы улыбался и гладил ее руку. Он ведь стеснительный. И обоим было бы тепло, хорошо... сказать нельзя, как хорошо.

Письмо было написано химическим карандашом, и местами буквы расплылись от сырости, но Марта разобрала каждое слово. Он рассказывал о своей жизни, — рассказывал коротко, скупно. Как уничтожили несколько немецких пулеметных гнезд, как занимали первую деревню. Спрашивал о Петерите — не начал ли еще говорить по-русски? Велел за него три раза подбросить мальчика к потолку.

«Не беспокойся, дорогая Марта... — писал он в конце письма. — Этого немецкого жеребца мы обротаем. Не знаю, удастся ли будущей весной вспахать нашу землю, но когда-нибудь я буду ее пахать, а ты будешь бросать в борозду нарезанный картофель. Желаю тебе всего лучшего, милая моя. Младший лейтенант Ян Пургайлис».

Оказывается, не все еще: в газете его называют сержантом, а он уже лейтенант!

«Если и дальше так пойдет, ты к концу войны станешь большим командиром и не захочешь больше знаться со своей деревенской женой...» — в шутку подумала Марта. И тут же ответила себе: «Ну нет, я тоже не останусь на одном месте, буду учиться, чтобы не отставать от тебя».

Когда снаружи сильнее задувал ветер, пламя свечи начинало быстро колыхаться из стороны в сторону. Марта писала ответ Яну: «Если бы ты знал, до чего мне стал мил Петерит. Даже не знаю, кого из вас любить больше. А он тебя тоже любит, каждый день спрашивает, что папа делает. Теперь мне есть что рассказать про тебя, и он будет радоваться, какой у него папа...»

За морозной, снежной зимой подошла дружная весна. Под апрельским солнцем быстро стал чахнуть снег, и все низины залило водой. Реки и ручьи, текущие с Валдайской возвышенности и с юга к Ильменю, вышли из берегов, затопили окрестности. Много временных мостов зимней постройки унесло половодьем, а прифронтовые дороги, взрытые тысячами танков и бронетранспортеров, превратились в сплошное месиво.

Для латышской дивизии наступали самые тяжкие дни. В ожидании весенней распутицы дивизионный транспорт старался подвезти боеприпасы: следовало ожидать, что противник усилит свою активность. В

районе Старой Руссы немецкая армия находилась в более выгодном положении — ее позиции были расположены на более высоких и сухих местах, она пользовалась старыми, хорошо вымощенными дорогами.

Немецкое командование подтянуло в район Старой Руссы свои резервы, сконцентрировало сильный кулак и во второй половине зимы начало контрнаступление. Наравне с другими дивизиями Северо-Западного фронта пришлось перестроиться и латышским стрелкам для оборонительных боев — ногтями и зубами вцепиться в землю и держаться за нее до последнего вздоха.

Петер Спаре и Аугуст Закис все время были на переднем крае, и то, что им пришлось пережить, навсегда осталось в их памяти. Клочок земли, который они защищали, стал скалой, о которую разбивались все волны немецкого наступления. Если неприятелю удавалось продвинуться на флангах их соединения, дивизия тоже поворачивалась фронтом немного влево или вправо.

— Никуда ты, гад, не пойдешь!

И не прошел.

— Поплюй на ладони, придется опять понатужиться, — говорили друг другу стрелки, когда немецкие цепи снова поднимались в атаку.

— Ты еще жив, старина? — перекликались они, отбив очередную атаку.

В этих боях пал командир полка Кириллов, и полк продолжал сражаться под командой комиссара Пиесиса.

Пришло пополнение, на место павших товарищей стали новые бойцы, а те, кто вышли невредимыми из этого ада, с удивлением оглядывались вокруг:

— Вот, оказывается, дождались тебя, апрельское солнце!

В иссеченных осколками снарядов березовых рощах тянулись к солнцу набухшие почки. Весна, весна, великая кудесница, пришла преобразовать природу. Но теперь-то и начались самые большие трудности.

Во второй половине апреля, в результате длительных боев, немцам, наконец, удалось перерезать коридор, который в последние зимние месяцы отделял 16-ю армию от их главных сил. Образовалось подобие узкой горловины. С отчаянным упорством почти целый год потом оберегали немцы эту горловину. Ее с обеих сторон можно было покрывать нашим минометным огнем, и она превратилась в подлинную дорогу смерти, где каждый день гибли сотни неприятельских солдат.

Транспорт Латышской стрелковой дивизии, подвозивший стрелкам продовольствие и боеприпасы из Крестцов, в момент прорыва немцами

нашего коридора остался по ту сторону горловины. Создалось весьма напряженное положение. Чтобы добраться до дивизии, теперь надо было проделать долгий и сложный путь.

В таком же положении находилось и несколько других дивизий. И как раз в это время обозу пришлось менять сани на телеги, что еще больше усложнило положение.

Самоотверженно трудились шоферы грузовых машин, меряя дальний путь вокруг Валдайской возвышенности, этой матери Волги, Днепра и Даугавы. Круглые сутки сидели они у руля, с ног до головы забрызганные грязью, на каждом шагу увязали в трясины, а когда, наконец, достигали Ловати, километрах в пятнадцати к югу от города Холм, который частично был еще в руках немцев, путь им преграждала река. Теперь надо было сбивать из бревен плоты, нагружать их мешками с мукой и говяжьими тушами и переправлять через беспокойные воды разлившейся Ловати. Нужда была большая, а плотов мало. Все только и ждали, когда наведут понтонный мост.

Продовольствие стали подбрасывать по воздуху на транспортных самолетах. Но самолетам негде было приземляться, пока не подсохли прифронтовые аэродромы. Тюки с продовольствием сбрасывали на парашютах. Каждый мешок муки или ящик с консервами теперь ценился на вес золота. Каждый день руководство дивизии рассчитывало скудный паек на граммы, и каждый день этот паек уменьшался. Были дни, когда на стрелка приходилось не больше пятидесяти граммов хлеба.

Боевой сектор дивизии походил на острый клин, который вдавался в линию немецкого фронта и напоминал полуостров, окруженный с трех сторон неприятелем. Изо дня в день на этот полуостров шквалом налетали немцы, но стрелки отбивали все атаки.

С тех пор как дивизия начала свой боевой путь, она без приказа высшего командования не отходила ни на пядь. В ее языке были слова: атака, наступление, прорыв, но не было слова отступление. Чтобы поддержать силы, стрелки варили из хвои витаминный настой, заготавливали березовый сок и пускали в котел всякую зелень, которую ранняя весна скупно выгоняла из земли.

Над расположением дивизии ежедневно пролетали в сторону Демянского плацдарма тихоходные транспортные «юнкеры». Стрелки прозвали их «коровами». По-видимому, в 16-й армии дела с продовольствием обстояли неважно, так как воздух все время был полон стадами «коров». По двадцать, по тридцать в одной группе, они низко летали над березовыми рощами и ольшаниками, где занимали позиции

латышские стрелки. И целый день воздух был наполнен невероятным гулом.

— Нам паршиво приходится, — рассуждали стрелки, — но тебе, фриц, еще паршивее.

На первых порах «юнкеры» нахально летали почти над самыми верхушками деревьев: очевидно, не могли ориентироваться в сложной фронтовой обстановке. Однажды стрелки не удержались, и целая группа выпустила по «корове» залп. Тяжелая машина качнулась, потеряла управление и, как громадный блин, упала в нашем расположении. Консервы, шоколад и бисквиты достались в тот день советским солдатам. Теперь «коров» начали подстреливать каждый день и сбивали дюжинами. Возникло нечто подобное новому виду спорта. Когда несколько десятков «юнкеров» были таким образом сбиты, «коровы» стали летать на порядочной высоте и в сопровождении истребителей.

Тяжелое было время. Люди худели и слабели. Немцы разбрасывали листовки, а по ночам включали громкоговорители — заводили брехню о безнадежном положении Красной Армии и приглашали сдаться в плен. «Вы отрезаны и окружены со всех сторон... — болтали гитлеровские пропагандисты. — Вам не могут подвезти ни продовольствия, ни вооружения. Вы живете впроголодь, а скоро будете голодать. Вам все равно придется погибнуть в этих болотах, где никто не может вас спасти. Зачем гибнуть, когда вы еще можете спасти ваши жизни? Кончайте эту бессмысленную борьбу, сложите оружие и сдавайтесь в плен! Командование немецкой армии гарантирует вам вежливое обращение. Вам будет обеспечено хорошее питание, и каждый из вас может вернуться к своей семье и выбрать себе подходящее занятие. Не медлите. Сделайте это, пока еще не поздно».

Они искушали голодных стрелков шоколадом, сигаретами и всеми благами ограбленной Европы. Но как только начинали трещать немецкие громкоговорители, из наших окопов раздавался дружный ответ: «Полезай сам в петлю! Погоди — скоро мы тебе опять надаем по морде!»

Острый клин, вбитый в линию немецкого фронта, не отодвигался, не крошился. Как алмазное острие, он врезался в грудь противника, когда тот кидался в атаку.

Аугуст Закис уложил под куст одежду и в одних трусах побрел по

мелкой речке. Вода была еще холодная и мутная, ноги живо покраснели, все тело покрылось гусиной кожей. Низко нагнувшись, он запускал руку по самое плечо в воду и обшаривал каждое углубление под берегом, разрывал каждую норку, не обращая внимания, если ее обитатель больно щипал за палец.

— Вылезай, будь другом, — бормотал юноша, вытаскивая на свет божий крупного рака. Тот, сердито поводя усами, неохотно отправлялся в мешочек, который висел у Аугуста на груди. — Довольно ты подремал и побездельничал. Теперь по крайней мере доставишь человеку удовольствие. Мы тебя съедим, рачок, сегодня же вечером съедим. Должен бы понимать, что с пайком у нас обстоит неважно. А жить надо, иначе кто же будет бить фрицев? Вот и получится в конце концов, что и ты помогал нам воевать. За это мы будем тебя вспоминать до конца жизни.

Так, разговаривая сам с собой, трудился Аугуст. Наверно, за последние годы никто не ловил раков в этой речке, иначе откуда могло взяться такое обилие их? В течение часа Аугуст поймал около пяти дюжин. Мешочек наполнился, зато раколов посинел от холода. Выбравшись на берег, он крепко завязал мешочек и попытался согреться вольными движениями. В военном училище Аугуст считался чуть ли не первым гимнастом: присесть пять раз подряд на одной ноге и выжать свой вес или, уцепившись одной рукой за штангу турника, подтянуться до подбородка — было для него пустяковым делом. Теперь гимнастика не доставляла ему никакого удовольствия. Движения получались вялые, медлительные. Аугуст критическим взглядом оглядел себя. Слишком мало мяса осталось на костях.

— Ничего, — сказал он себе. — Все это мы еще вернем. Вот поживем недельки две на хороших хлебах — опять обрастем мясцом и некуда будет силу девать. Но такому дохляку, как я сейчас, нельзя и нос показывать ни на один стадион.

Кто бы мог подумать, что еда такое важное дело? А вот стоило походить несколько недель с полупустым желудком, и из головы не выходит мысль о пирожках с мелконарубленной ветчиной, оладьях, простокваше с творожными клецками и других вкусных вещах, которые мать подавала на стол по большим праздникам. Можно и чего-нибудь попроще: кусок черствого черного хлеба, например, жидкой путры^[18] или соленой салаки с картофелем...

Ловлей раков пришлось заняться в принудительном порядке. Не то чтобы кто-нибудь прямо приказывал Аугусту лезть в холодную воду и шарить по рачьим норам. Но если нет другой возможности помочь

любимому человеку, поневоле полезешь. Когда начались затруднения с продовольствием, большинство командиров стало отдавать свой офицерский паек в общий котел. Так поступали Силениек, командир батальона Соколов, Жубур, Петер Спаре, так делал и Аугуст Закис. Это увеличивало паек стрелков в лучшем случае на несколько граммов. Но дело было, конечно, не в граммах, а в чувстве братства и единства, связывавшем и командиров и бойцов перед лицом тяжелых испытаний.

Аугуст не успокоился на том, что отдавал в общий котел свой паек ротного командира. Он видел, как с каждым днем все бледнее и уже становились лица Лидии и Аустры; иногда в свободные минуты он разыскивал девушек и делился с ними своим дневным рационом. Опасаясь, что они не согласятся принять от него сухарь или кусочек сахара, Аугуст плел несусветную чушь вроде того, что получил подарок из тыла или нашел на дороге. Раза три ему удавалось обмануть девушек, но потом Лидия, очевидно, навела справки и узнала правду. И когда он в четвертый раз попытался повторить в новой версии сказку о счастливой находке, Лидия зажала ему рот и объявила, что врать нехорошо.

— Если ты будешь и дальше так делать, то скоро протянешь ноги. И из-за кого же — из-за меня? Аугуст, миленький, ну разве так можно? Если ты мне друг, то сейчас же, при мне съешь этот сухарь. Иначе — крепко рассержусь.

Так и пришлось сгрызть сухарь. За компанию Лидия согласилась съесть только крохотный кусочек. Теперь надо было придумывать что-то новое. Аугуст охотился за воронами и другими птицами, но то же самое делали и многие другие, и скоро в окрестностях остались только мелкие пичужки, которых нельзя было взять пулей. Тогда он обратил внимание на речку и вспомнил детские годы. Когда третью роту на несколько дней отвели с передовой, Аугуст в первый же свободный час пошел попытать счастья. Чутье не обмануло его.

Отдав большую часть добычи Пургайлису, чтобы распределил между ребятами, остальное Аугуст сварил сам и вечером устроил на берегу речки пир с участием Лидии и Аустры. Всем досталось с полдюжины больших раков, и они долго возились с ними, выковыривая и высасывая из скорлупок каждое волоконец мяса. На следующий день Аугуст прошелся по речке вместе со своими ребятами, а вечером повторил угощение. К сожалению, эта благодать уже подходила к концу. Оставалось надеяться на зелень — дикий лук и прочее, а в общем как-то надо было перебиваться до конца распутицы.

Какой-то стрелок однажды высказался перед Аугустом: непонятно,

зачем так держаться зубами и ногтями за этот клочок земли!

— Ну что в нем такого? Одно болото да кусты. Какая нам польза, если мы его удержим? Разве у нас нет больше земли, некуда больше отойти? Стоит ли мокнуть в этом болоте, когда чуть подальше можно сидеть на сухом месте?

— А в другом месте легче воевать? И там то же самое. Потом ведь все равно придется освобождать и это болото. Да и как можно отдавать свое? Пока мы сидим в болоте, до тех пор и немцу приходится мокнуть. С какой же стати пускать его на сухое место?

— Да нет, на сухое место пускать не следует, — согласился стрелок. — Не велик барин, пусть помокнет. Мы как-нибудь выдержим.

По изъезженным, ухабистым весенним дорогам спешат в это время на фронт несколько грузовиков. Это делегация Центрального Комитета партии и правительства Советской Латвии: к 1 Мая ей надо попасть на боевой участок дивизии и доставить праздничные подарки. Участковые коменданты военных дорог несколько раз предупреждали, что дорога непроезжая, что машины завязнут в грязи и лучше недельки две подождать, пока земля просохнет и рассосутся скопления автоколонн, которые образовались на самых трудных этапах. Но машины едут дальше, проходя за день двадцать — тридцать километров, с громадными усилиями пробираются сквозь скопления транспорта, по сплошному морю грязи. В одном месте, между Кувшиновом и Осташковом, посреди леса образовалась огромная пробка в несколько сот машин. Надо переправиться через топь, или, вернее, через пропасть. Поглядеть на нее и то жутко, а это лишь одно из многих препятствий, которые предстоит преодолеть машинам.

Тогда один из членов делегации взбирается на придорожный пенек и громко кричит:

— Начальники колонн, ко мне!

Выяснив, сколько людей в распоряжении каждого начальника колонны, он распределяет их на несколько групп, и вскоре в лесу начинают стучать топоры. Бойцы рубят кусты, таскают большие вязанки хвороста и застилают самые опасные места. Через два часа первая машина благополучно пробирается через топь. Пробка постепенно рассасывается. К вечеру грузовики делегации достигают Осташкова. Еще два дня пути по затопленным дорогам, до самой Ловати. Машины переправляются на паромках на западный берег, а поздно вечером один из делегатов вместе с плотовщиками взбирается на утлый бревенчатый плот, нагруженный мешками с мукой и мясными тушами. Плот ведут вниз по течению, чтобы

доставить стрелкам продукты к празднику. Течение быстрое, временами через плот перекатываются волны. В лунном свете огромной стрекозой кажется пролетающий над рекою «мессершмитт»: он старается обнаружить плот. Плотовщики нороят держаться поближе к берегу. К утру плот добирается до села Перегино. Теперь каждый час дорог, к вечеру продукты должны быть в дивизионном допе, чтобы к празднику успели испечь свежий хлеб. И не опоздали. Вместе с продуктами прибывает делегация, а с ее прибытием рассеиваются все слухи о том, что дивизия отрезана от тылов.

...Делегаты побывали во всех частях и побеседовали со стрелками, а 30 апреля в деревушке Козлово происходило вручение орденов и медалей. Аугуст Закис в тот день получил второй боевой орден, а командир полка сообщил, что ему только что присвоено звание старшего лейтенанта. В праздник все поели досыта, так как на дивизионную базу пришли по Ловати еще несколько плотов с продуктами. Положение еще, конечно, тяжелое, и последствия истощения начали сказываться именно теперь, — но самое трудное осталось за плечами.

Над окопами сияет майское солнце, в кустах щебечут птицы, и вся лишняя посуда у стрелков полна сладкого березового сока.

Бойцы стирают на речке белье, счищают с гимнастеров налипшую грязь, а молодежь, сбросив рубахи, загорает на полуденном солнце.

Глава тринадцатая

1

Штурм партизанского острова произошел в начале февраля. «Ударная» команда Волдемара Арая прибыла в Эзермуйжскую волость на автомашинах и, разделившись на несколько групп, обложила болото, на котором, по всем данным наблюдения, должна была находиться база партизанского отряда «Мститель». В помощь команде были приданы две роты СС. Участники карательной экспедиции в ночь перед операцией расположились по окрестным усадьбам. Усиленные патрули блокировали все дороги. Рано утром начался штурм. Чтобы поднять дух у своих парней, Арай велел выдать им водки и коньяку, а заодно подкрепился и сам. До полудня весь лес дрожал от криков и стрельбы, пока круг нападающих не стянулся в узкую петлю вокруг партизанских землянок.

— Выходи сдаваться! — кричали эсэсовцы. — Все равно никто не удерет!

Ответа не последовало. Тогда трое перепившихся карателей с гранатами в руках стали приближаться к большой землянке. Когда они очутились у входа, раздался взрыв мины, и все трое взлетели на воздух. Остальные начали забрасывать землянку ручными гранатами и обстреливать из автоматов. Поработав как следует, они ворвались внутрь, готовые отпраздновать победу. Но землянка была пуста. Ни людей, ни оружия, только сырые, заплесневевшие стены да охапки соломы на полу. На стене висел лист бумаги. На нем был нарисован кукиш, а внизу подпись: «Ищи ветра в поле!»

Операция провалилась, и всего досаднее было то, что партизаны не оставили никаких следов, — после их ухода выпал снег.

— У меня чтобы держали язык за зубами! — приказал взбешенный руководитель зондеркоманды своим подчиненным. — Пока не найдете партизан, в Ригу не вернетесь. Хотя бы до Янова дня! Из-под земли выройте, а партизаны должны быть в моих руках! Шагом марш!

Эвальд Капейка со своими людьми работал на полном ходу. Они только что разгромили отделение полевой комендатуры и пополнили свое вооружение и боезапас. Раз в две недели по эстафете держали связь с Ригой. Вместе со связными прибывали по одному или по два новые товарищи, которым нельзя было оставаться в городе. Ряды мстителей быстро полнились, но Капейка чувствовал, что количественный рост сейчас ничего не дает: без оружия воевать нельзя. И то хорошо, что можно высылать больше людей на разведку, — легче подготовить обе резервные базы. На одной из них разместили вновь прибывших партизан на время их проверки. Про вторую знали только самые надежные люди.

Главное, надо как-нибудь перебиться до весны. Когда стает снег и распухнет листва, никакие Араи не разыщут следов партизан.

— Тогда будет дело, — радовался Капейка, предвкушая летнее раздолье. — Каждого куста будут бояться, каждый лесок придется обходить. Ни на дороге, ни в поле, ни дома — нигде не будут знать покоя. Эх, дружки дорогие, скорее бы только май подошел!

В начале марта Ян Аустринь, вернувшись с операции, привел с собой высокого сутуловатого человека. На него страшно было взглянуть. Все тело у него было в сплошных кровоподтеках, лицо обезображивали подсыхающие струпья, он все время испуганно оглядывался по сторонам, стараясь забиться куда-нибудь в угол. Оказалось, что он убежал из отделения гестапо, куда попал по подозрению в связях с партизанами.

Звали его Рейнис Крауклис, и до ареста он работал батраком в Мадонском уезде. Вначале он даже не мог связно рассказать про свое бегство. Капейка велел отвести его на резервную базу и через местных жителей проверил правильность рассказа нового партизана. Все подтвердилось: после побега Крауклиса был разослан циркуляр; за содействие в поимке немцы обещали премию.

— Этот не уйдет, даже если его будешь гнать, — решил Капейка. — Я думаю, не стоит держать его дальше в карантине. Пусть начинает работать. Теперь он поправляться стал.

Ни у Акментыня, ни у Смирнова возражений не было, а остальных Капейка не счел нужным спрашивать, — здесь ведь не парламент, а войсковая часть в тылу врага. Таким образом, через две недели Рейнис Крауклис стал полноправным партизаном и принял присягу.

Для начала его послали вместе с Аустринем и Имантом в глубокую разведку. На обратном пути они нагнали Анну Лидаку. Она только что получила по цепи письмо и направлялась в усадьбу Саутыни. Девушка обрадовалась, увидя Иманта, — теперь не надо идти к Курмиту. Вручив ему послание, она передала тихонько привет от Эльмара Ауныня и ушла обратно.

— Красивая девушка, — сказал Крауклис, оглянувшись на Анну. Пока заживали раны, он отрастил бороду, и вид у него был довольно дикий, поэтому при встрече с людьми он всегда отходил в сторону. — Наша, что ли?

— Да вроде, — ответил Имант.

Они пошли прямо на базу, чтобы скорее передать послание Капейке. На базе их ждала радостная новость: только что вернулся из путешествия в Москву Ояр Сникер, а вместе с ним прибыла группа новых партизан. Он сидел в землянке с Капейкой, и тот докладывал обо всем, что произошло в его отсутствие. Ояр интересовался каждым вновь принятым партизаном. Сообщение о карательной экспедиции заставило его призадуматься.

— Теперь немцы постараются заслать к нам разведчиков. Я побывал у белорусских партизан, — у них уже случались подобные неприятности. Нам надо быть такими же бдительными, как раньше, на подпольной работе. Самые важные дела придется так законспирировать, чтобы знали только исполнители. Если мы в чем слабы, надо внушить противнику, что именно в этом мы сильны, и наоборот. Только три-четыре человека должны знать наши подлинные силы.

Вместе с Ояром пришли шесть новых партизан, которых он подобрал среди эвакуированных. Двое из них были специально обученные

командиры, затем два подрывника, врач и наборщик. До белорусской партизанской базы их доставили на самолете, а дальше они шли пешком.

— Теперь в нашей работе будет система, единый план, — сказал Ояр. — Меньше импровизации. Это хорошо, что вы установили связь с Ригой. С «Дядей» я сам собирался встретиться — мне о нем говорили в Москве. Теперь некоторые операции будем проводить вместе с рижскими товарищами.

Капейка рассказал про путешествие Иманта в Ригу и о том, что он узнал о судьбе своей сестры и матери.

— После этого похода Иманта не узнать. Как-то повзрослел, совсем перестал дурачиться. Говорит мало, а когда люди отправляются на опасную операцию, настаивает, чтобы послали и его.

— Теперь мы все и будем его семьей. Ах, бедный паренек... А я ему купил в Москве учебники, чтобы время не пропадало даром.

Вечером он рассказал Иманту о встрече с латышскими стрелками на фронте.

— А какой город Москва! Как только кончится война, поедem с тобой вместе и все осмотрим не спеша.

— Сначала Ригу надо освободить... — без улыбки ответил Имант. — Мать надо спасти из тюрьмы.

— Ригу мы освободим. Придет Красная Армия и прогонит немцев из Латвии — так же, как от Москвы. Ты разрешишь мне тогда раз-другой переночевать в твоей квартире, пока я не обузаведусь своей комнатой? — улыбнулся Ояр.

— Моя квартира всегда будет твоей, — с мрачной торжественностью сказал Имант.

Ояр не стал больше шутить: мальчик действительно стал намного старше. Это было выстраданное в испытаниях и борьбе совершеннолетие. С ним больше нельзя было говорить, как с подростком.

Ояр разделил своих партизан на три группы, по тридцать человек в каждой. В каждую группу был назначен постоянный командир. В первую группу — Капейка, во вторую — Акментынь, в третью назначили приехавшего с Ояром Паула Ванага. Он воевал в Эстонии и под Ленинградом, а до войны работал в Даугавпилсе учителем.

Каждой роте — так стали называться отдельные группы — к весне

надо было выбрать район действия, не ближе пятидесяти километров от соседа, и оборудовать свою базу, чтобы летом работать самостоятельно.

На старом месте оставался Ояр Сникер с центральной группой и штабом. Для связи с главной базой каждую роту со временем надо было обеспечить рацией.

Целыми днями новые командиры совещались в землянке Ояра, изучали карты, выбирали подходящие пункты для своих баз, где имелась бы возможность маневрировать и держать под наблюдением железнодорожные магистрали и шоссейные дороги. Следовало подумать и об устройстве аэродрома, по примеру белорусских партизан, которым и оружие, и боеприпасы, и медикаменты доставляли по воздуху.

Когда все обсудили, Ояр сказал:

— Теперь сообщим о наших решениях в Ригу «Дяде».

Это письмо решили доставить прямо второму звену цепи, минуя первое. К тому же Курмит из Саутыней был мобилизован на вывозку леса, а посвящать в такие дела кого-нибудь другого из его семьи, хотя бы жену, было рискованно.

Оставался один выход — послать Иманта до хуторка Лидака. Для большей верности решили дать ему сопровождающего. Аустринь ушел на заготовку продовольствия, и обратно его ждали не раньше как через два дня. Капейка и Акментынь по горло были завалены работой по подготовке своих рот к перебазированию. Тогда Капейка предложил послать Рейниса Крауклиса — он уже один раз ходил в ту сторону с Аустринем и Имантом.

— Ладно, пусть идет, — сказал Ояр. — Только Имант пойдет впереди, а Крауклис — немного позади, и чтобы не упускал его из виду. Если что случится с одним, второй увидит и вовремя сможет ускользнуть. С Крауклисом ты сам договорись.

Рано утром, до свету, Ояр вызвал Иманта и отдал ему написанное на шелковой бумаге письмо.

— В случае чего ты его скомкай и проглоти. Тебя учили, как надо действовать?

— Я знаю, Ояр.

— Тогда счастливого пути.

Ояр привлек его к себе и несколько мгновений с не улыбочивым мужским сочувствием смотрел ему в глаза, потом сжал ему слегка плечи.

— До свиданья, друг.

Имант кивнул головой и вышел из землянки. Ояр проводил его за дверь. Еще не рассвело. Имант тихонько окликнул Крауклиса и исчез в темноте. Тогда к Ояру неслышно подошел кто-то. Это был Саша Смирнов.

— Готов? — шепотом спросил Ояр.

— Да, Ояр... Я договорился с Капейкой, что пойду по их следам, как только они выйдут на дорогу, по которой лес возят. Буду держать дистанцию в полкилометра от Крауклиса.

— Главное, чтобы он не заметил тебя, — напомнил ему Ояр. — Иначе примет бог знает за кого и начнет нервничать.

Вернулся Капейка и доложил, что Имант и Крауклис уже ушли.

— Лесом, до опушки, пойдут вместе — здесь нечего бояться. Дальше Имант пойдет вперед, а Крауклис отстанет.

— Мне тоже пора, — сказал Смирнов.

Старые елки шумели на ветру. На открытых местах снег уже стаял, и в низинах стояли лужи.

— Лишняя предосторожность никогда не мешает, — будто самому себе, сказал Ояр, когда Саша Смирнов ушел. — Так всегда говорил человек, который помог мне стать коммунистом. В годы подполья, идя на явки, мы всегда проверяли друг друга.

— Опыт подполья и сейчас пригодится, — согласился Капейка. — Мы те же подпольщики, только работа у нас шумная.

...Около полудня Имант миновал усадьбу Саутыни. Оглядываясь время от времени, он видел позади высокую ссутулившуюся фигуру Крауклиса. Хорошо, что пошли порознь, можно думать о своем. Несчастный он какой-то, видно до сих пор не опомнится после гестапо...

Теперь Анна Лидака пойдет в усадьбу Айзупиешы к Эльмару Ауныню. Наверно, обрадуется, ей приятно встречаться с Эльмаром. И ему тоже. Неужели она не боится ходить в эту усадьбу? Очень много народу там всегда. Или они в другом месте встречаются? Как же тогда Эльмар узнает, что Анна пришла и ждет его?

Встречные не обращали внимания на подростка, и он как будто не замечал их. Только два раза пришлось уступить дорогу шуцманам и группе немецких жандармов. Имант зашел в кусты и подождал, когда они пройдут мимо. Так бы и выхватил из кармана «вальтер», если бы не задание. Ну, если на обратном пути попадутся, тогда можно попробовать. Вместе с Крауклисом... Ояр удивится, когда они принесут на базу новое оружие. «Это трофеи, Ояр; мы их отняли у немцев. В следующий раз еще больше принесем».

Сапоги прохудились, ноги мокрые. Ничего, дома высушим. Один из новых партизан знает сапожное ремесло — надо будет попросить, чтобы подбил подметки. Через месяц можно ходить босиком. Вот тогда заживем в лесу: тепло, везде полно ягод, можно ходить, где хочешь, — нигде не

остаются следов. Только бы продержаться до весны...

К вечеру Имант пришел на хутор Лидака. Анны не было — ушла в волостное правление. Имант сказал ее матери, что просто заглянул по дороге, попросил передать привет и тут же ушел. Он пошел в сторону волостного правления и встретил Анну километрах в двух от хуторка. Там же на дороге Имант передал ей письмо и предупредил, чтобы была поосторожнее.

— Лучше бы тебе сегодня же отнести его Эльмару, дело уж очень срочное. Через десять дней приду за ответом.

Анна так и расцвела. Лукаво покосилась на Иманта: догадывается или не догадывается, какую радость доставляет ей это? С тех пор как начала действовать цепь связи, ей чуть не каждую неделю удавалось встречаться с Эльмаром. Что значат для ее молодых ног несколько часов пути, если потом можно погулять немного с Эльмаром! У реки, за усадьбой Айзупиеши, — орешник, а в орешнике заглохшие тропинки, где не встретишь ни души... Как только минет неделя, Эльмар в назначенный час рано утром или поздно вечером ждет Анну километрах в полутора от дома. Бабушка Эльмара ничегошеньки не знает об этих встречах. Да и зачем старому человеку знать про это? Когда прогонят немцев, Эльмар получит немного земли — советская власть не откажет, — и Анна уйдет к нему хозяйкой. Вот тогда все и узнают, а сейчас никому знать нельзя. Только от матери ничего не скроешь, но пусть лучше она думает, что Анна ходит на свидания, а о другом не догадывается.

Они прошли мимо Крауклиса, который неторопливо шагал им навстречу. Анна пугливо оглянулась на незнакомого мужчину, но в сумерках трудно было разглядеть его лицо.

— Ты его не бойся, это наш, — сказал Имант, когда они отошли от Крауклиса шагов на десять.

Попрощавшись, Анна забежала на минуту домой, а Имант отправился прямо на базу.

Пройдя немного, он чуть не налетел на человека, но Саша Смирнов так ловко отскочил в сторону, что Имант не успел рассмотреть его, да у него и охоты не было. В ближней усадьбе залаяли собаки, во дворе мелькнул свет карманного фонарика. Имант прибавил шагу, чтобы скорее добраться до базы.

Саша Смирнов присел в канаву и стал дожидаться, когда на дороге покажется Крауклис. Но тот долго не появлялся. Прошло, наверно, больше получаса, когда в темноте раздались быстрые шаги. Саша сразу узнал высокую сутуловатую фигуру Крауклиса. Он чуть не бегом бежал, не

обращая внимания на лужи.

«Странно, уж не гонится ли за ним кто? — встревожился Саша. — И почему он так долго не показывался?..»

Подождав еще некоторое время и окончательно убедившись, что за Крауклисом никто не гонится, он вылез из канавы.

...В четыре часа утра Анна встретила у орешника с Эльмаром Аунынем. Присев на срубленное дерево, они смотрели друг на друга и улыбались. Эльмар гладил руку Анны, грел дыханием ее озябшие пальцы.

— Тебе еще надо домой вернуться до рассвета, — сказал он. — Устала, сил не хватит.

— За кого ты меня принимаешь, Эльмар? Разве я такой заморыш? А скажи, тебе какие девушки нравятся?

— Мне нравятся такие, как ты...

— Значит, их много, таких? А которая из них больше?

Вместо ответа он крепко прижал к себе девушку и поцеловал в губы. Анна сразу притихла, нежно обняла Эльмара за шею и прижалась щекой к его щеке.

— Ты такой милый, Эльмар...

— А ты еще милей...

— Нет, ты самый, самый милый.

— Нет, ты...

Так они поспорили немного, а потом каждому пришло время возвращаться своей дорогой.

— Через десять дней буду ждать тебя в лесу у километрового столба, — сказала Анна. — Если надо встретиться раньше, не забудь положить у наших ворот белый камень. Только в дом не заходи. Как увижу камень, сразу приду в лес.

Молодые, полные жизни, стояли они в темноте, и блеск их глаз сильнее всяких слов говорил о том, как они любят друг друга.

— До свиданья.

— До свиданья.

Эльмар проводил ее до большака. Она еще раз обернулась, помахала рукой и быстро зашагала по дороге. Эльмар через кусты, по самому берегу, вернулся домой. Утром надо было отвезти в город муку тонкого помола. Удачно как получается: к обеду он будет в городе, и Валдис Сунынь вечером отвезет письмо дальше. Этак не пройдет и десяти дней, как надо будет отнести ответ Анне.

Пройдя с километр по большаку, Анна встретила шуцмана — сына мельника из усадьбы Айзупиеси — и двух эсэсовцев.

— Куда так торопишься, милашка? — спросил Айзупиет, загораживая Анне дорогу.

— Домой, куда же иначе, — притворно беспечным тоном ответила Анна. — Была в городе... Думала, удастся достать узоры для вышивания — надо ведь готовить себе приданое. Но там сейчас ничего нельзя достать. Обещали, что скоро привезут из Риги.

— Кто тебя научил так ловко сказки рассказывать? — съязвил шуцман. — Прямо заслушаешься.

— Не пойму, про что вы это...

— Скоро ты поймешь, — засмеялся он. — А теперь подавай живе́й письмо, которое ты несешь лесным братьям.

— Какое письмо? Вы все чудите...

— Мы еще не так почудим, если будешь притворяться... Господин обершарфюрер, я думаю, сразу же отведем ее в отделение, — обратился Айзупиет к одному из эсэсовцев. — При огне удобнее. В темноте обыскивать ее не стоит.

Эсэсовцы схватили Анну за руки и повели обратно к мельнице, куда недавно перевели отделение полевой комендатуры.

«Хорошо, что Эльмар дальше не пошел провожать... — думала девушка. — Сейчас он уже дома, и никто ничего не узнает».

Больно ныли руки, как клещами стиснутые сильными пальцами эсэсовцев. И шагать неудобно, когда держат за локти. Шли быстро, не давая обходить лужи.

«Теперь Эльмар уже лег. Скоро он запряжет лошадь и поедет в город. Фашисты — дураки, ничего они не узнают».

Не думая о своей беде, Анна радовалась, что шуцман и оба эсэсовца останутся с носом. Не такие уж мы простофили...

У плотины шумела вода. Батраки еще спали, и в окнах хозяйского дома было темно.

Под вечер Эльмар вернулся из города. Выпряг лошадей и, отдав хозяину квитанции на сданную муку, пошел домой. В книжном магазине он купил Анне подарок — полного «Уленшпигеля» в одном томе. Ему и самому хотелось до следующей встречи еще перечесть книгу; в первый раз он читал ее несколько лет назад и многое успел забыть.

Бабушка собрала поесть и, присев по другую сторону стола,

выжидательно смотрела на внука. Как и многие старики, вынужденные все меньше и меньше принимать участие в жизни, она все впечатления получала через внука, и ее занимала каждая подробность виденного и слышанного им за день. Но сообщать было нечего. То, о чем говорили в книжном магазине Суныня, было действительно интересно, но об этом нельзя было рассказывать бабушке. Знакомые крестьяне ворчали на безумные продовольственные налоги и гужевые повинности; в городе рабочие перебивались с хлеба на воду, — а попробуй что-нибудь сказать, гестаповцы тут как тут, и недовольный пропадает без вести. Но какая же это новость, каждый давно знал об этом.

Не дождавшись ничего интересного от внука, бабушка начала рассказывать сама:

— В Айзупиешах опять кого-то допрашивают и бьют. Мне сестра хозяйина рассказывала. Какая-то молоденькая девушка, из тех, ну, из партизан... нынче рано утром привели. Немцы вместе с хозяйским сыном поймали на дороге.

— На какой дороге? — спросил Эльмар, перестав есть.

Туда, к Эзермуйжской волости. Молоденькая, говорит, но смелая. Ян Айзупиет за толмача, а немцы ее допрашивают. Не хочет сказать, как зовут. И как только ее не пытаются! Не дай господи попасть к ним в лапы.

— Вот еще, — пробормотал Эльмар. Он должен был крепко взять себя в руки, чтобы не показать бабушке своего волнения. — Где же они ее заперли? В погребе, наверно?

— Про то, сынок, ничего не знаю. Поди, нашли каморку какую-нибудь, разве таких мало в усадьбе?

— И не признается, как зовут?

— Ни-ни. Хозяйская сестра говорит, что показывали и рабочим и батрачкам, но те не признали, кто такая. Как бы и нас не позвали.

— Бабушка, у меня к тебе большая просьба... — Эльмар постарался сдержать прорывающуюся в голосе дрожь. — Уж если человек не говорит своего имени, наверно, есть у него на то причина. Наверно, боится, что немцы родным будут мстить. Нам тоже нет никакого интереса, чтобы немцы об этом узнали. Если они позовут нас... и ты ее узнаешь, ты притворись, будто и в глаза не видала. Бабушка, ты поняла, что я сказал?

— Понимаю, сынок, как не понять... Мое ли это дело? Зачем я буду помогать мучителям? Ни словечком не проговорюсь.

— Так, так, бабушка. Пускай немцы ломают головы, а мы им не слуги.

Кусок не шел ему в горло. Он поднялся из-за стола и вышел в кухню. Долго стоял у окошка, глядя через дорогу на хозяйский двор.

Шумела мельница, со скрипом проезжали крестьянские возы, иногда проносился, разбрызгивая во все стороны грязь, грузовик. Все было знакомо, но необычным казался Эльмару сегодня обширный двор усадьбы. Около хозяйского дома прохаживался немецкий солдат с автоматом.

«Неужели Анна? И место и время совпадают. Молоденькая, смелая девушка... Но ведь письма-то у нее уже нет... Шпионы пронюхали? Может, и за мной следят?»

Если это Анна, значит она всего в нескольких шагах от него... Одна, беззащитная — в руках этих извергов. Они ее бьют, кричат на нее, всячески истязают, а он и ласковым словом не может ей помочь. И пусть это не Анна, а незнакомая девушка — все равно она своя, смелая, не побоялась опасной борьбы.

Эльмар чувствовал себя, как зверь в клетке. Побегать к партизанам, позвать на помощь? В усадьбе Айзупиеша сейчас не больше взвода солдат. Но если Анна в руках немцев, кто же покажет дорогу к партизанам? Он их будет неделями искать. За это время Айзупиет заметит, что батрак куда-то пропал, и заявит эсэсовцам. Те живо сообразят и примут меры. Попытаться сделать что-нибудь самому? Но он один, без оружия, их — десятки.

Чем больше он думал, тем сильнее овладевало им отчаяние.

Поздно вечером Эльмара с бабушкой позвали в хозяйский дом. Им ничего не объяснили, но они и без того знали зачем. В угловой комнате, выходящей окнами в сад, сидел за столом полуседой офицер войск СС. Шуцман Ян Айзупиет и два Эсэсовца стояли, а против офицера, лицом к свету, сидела Анна Лидака. Войдя, Эльмар увидел ее со спины, но сразу узнал.

— Знаете ли вы эту женщину? — спросил офицер и велел Анне повернуться к вошедшим. Несколько мгновений они смотрели друг другу в глаза. Боль, любовь, сострадание — все чувства надо было подавить и скрыть от врагов. Офицер не спускал глаз с лица Эльмара.

Эльмар покачал головой:

— Не знаю, господин офицер. Первый раз вижу.

— А вы? — обратился офицер к бабушке Аунынь.

Ян Айзупиет перевел вопрос и объяснил старушке, чего от нее требуют. Она казалась очень испуганной и не сразу ответила на вопрос.

— Я ведь глазами слаба, совсем плохо вижу.

— Тогда подойдите поближе.

Она послушалась, долго и ласково смотрела на Анну, потом покачала седой головой и, вздохнув, сказала:

— Не приходилось видеть. Наверно, издалека.

— А вы? — обратился офицер к Анне. — Вы знаете этих людей?

— Нет, не знаю... — прошептала Анна. Волосы у нее были растрепаны, на бледном, измученном лице застыло упрямое выражение.

— Ну хорошо, — сказал офицер.

Эльмара с бабушкой вывели из комнаты. Анна осталась с эсэсовцами.

«Теперь ее опять будут истязать и мучить...» — думал Эльмар. Молча, поддерживая под руку бабушку, вернулся он домой. Едва вошли они в свою комнатку, как старушка начала громко рыдать. Эльмар никак не мог успокоить ее.

— Не плачь, бабушка. Наши слезы Анне не помогут.

— Почему же она не может сказать, как ее зовут? — спрашивала, всхлипывая, старушка. — Имя, что ли, у нее такое особенное?

— Тогда немцы арестуют ее мать. Будет одним мучеником больше.

— Сынок, за что же ее держат взаперти? Разве она что плохое сделала?

— Ничего плохого она не сделала. Она... честный человек. Немцам не нравятся честные люди. Им нравятся подлецы... такие, как Ян Айзупиет.

Всю ночь Эльмар просидел у окна, прислушиваясь. Ужасная, мучительная ночь. Минутами ему казалось, что он слышит стоны Анны, из темноты глядели ее глаза — молящие о помощи любимые глаза. Он задыхался от собственного бессилия.

Назавтра было воскресенье. Немцы построили у дороги против волостного правления виселицу и согнали сюда жителей окрестных усадеб. Погнали и батраков из усадьбы Айзупиеша. Мельник велел запрячь выездную лошадь в рессорную бричку и поехал с женой, как на праздник. Эльмару пришлось везти остальных. Только бабушке и еще нескольким старикам и больным разрешили остаться дома. Более двухсот человек было согнано к виселице; испуганные, сбившись в кучки, стояли они в грязи, и у всех была одна мысль: хоть бы поскорее *это* кончилось. Но им пришлось ждать у волостного правления целый час. Многие стояли с такими же застывшими лицами, как у Эльмара, и только присутствие шпионов не позволяло им выразить свое осуждение. Наконец, на дороге показался грузовик с солдатами и приговоренной к казни девушкой.

Эльмар не спускал глаз с Анны.

Вот над толпой показались ее плечи, голова, бледное-бледное лицо. Оно не было искажено страхом. Спокойно смотрела она на людей — сильная, милая Анна. На несколько мгновений ее взгляд встретился поверх толпы с взглядом Эльмара. Что-то блеснуло в ее глазах. У Эльмара задрожали губы. Рядом с Анной показались двое солдат — они надевали петлю.

Эльмар старался задержать дыхание, чтобы соседям не было слышно, как хрипит у него в груди. Тогда над толпой зазвучал голос Анны — громкий, упрямый:

— Не жалейте... за меня отомстят! Я знаю, наши победят! Да здра...

Казнь была совершена. Батраки и батрачки усадьбы Айзупиеша уселись в телегу, Эльмар повез их обратно. Дома он ничего не сказал бабушке, и она ничего не спросила.

Как только стемнело, Эльмар вышел из дому и кружным путем пробрался к волостному правлению. Долго сидел он в канаве, следя за часовым, который охранял виселицу. У него было достаточно и терпения и времени. Часовые сменились. В доме волостного правления стало темно, и все стихло. Около полуночи часовой на минутку прислонил автомат к забору. Только на минуту — но этого было достаточно, чтобы Эльмар подскочил к нему сзади и схватил за горло. Он повалил солдата наземь, лицом в грязь, и до тех пор душил, пока тот не затих совсем.

В лесу, между волостным правлением и мельницей, он похоронил Анну под большой елью, разровнял землю и набросал на могилу веток и шишек. «Сюда редко кто заходит, может не найдут». К утру он был уже далеко от дома. Он шел искать партизан и рассказать им о гибели Анны.

4

Вернувшись к утру на базу, Саша Смирнов сразу пошел к Ояру и рассказал ему о своих наблюдениях. Имант с Крауклисом вернулись в лагерь вместе: к концу пути Крауклис нагнал подростка, потому что в лесу не надо было притворяться чужими. Рассказ Саши не понравился Ояру.

— Значит, целых полчаса не показывался? — переспросил он, думая о чем-то другом.

— Может быть, и больше. Я ведь на часы не смотрел. Главное, так бежал, запыхался даже.

— Теперь нельзя спускать с него глаз. Скверно, что Капейка перевел его сюда, на главную базу. Теперь он слишком много знает. Но если с Крауклисом дело нечисто, гостей долго ждать не придется.

Ояр только раз видел Крауклиса среди других партизан и обменялся с ним несколькими словами. Что-то в фигуре этого человека, в манере держаться показалось ему знакомым. Особенно голос... где-то, кажется, он раньше его слышал... Но где, когда? Чего-то еще не хватало, чтобы вызвать из недр памяти позабытый образ. «Может быть, борода мешает? — думал

теперь Ояр. — А если заставить его побриться?»

Он провел в раздумье еще несколько минут, потом велел позвать Иманта и стал расспрашивать, о чем говорил с ним Крауклис на обратном пути.

— Особенного ничего не говорил, так только разные вопросы задавал, — ответил Имант. — Кто у нас здесь главный, сколько нас всего в лесу. Я сказал, не знаю. Потом он еще спросил, почему мы ушли с острова, наверно узнали что-нибудь плохое. У нас, говорит, наверно, имеется поблизости много друзей. Он тоже будто бы знает здесь хороших людей. Может быть, говорит, это они и помогают нам.

— Больше он ничего не спрашивал?

— Ничего особенного. Да, еще спросил, откуда я и где мои родные. Потом сказал, что у нас должна быть резервная база.

Ояр все больше хмурился. Он нервно барабанил пальцами по топчану, думая о чем-то, затем велел позвать Капейку, Акментыня и Ванага. Когда все были в сборе, Ояр приказал никого не подпускать к землянке и провел совещание с командирами рот.

— Между нами, по всей вероятности, находится шпион. Точно я этого утверждать еще не могу, но некоторые факты говорят об этом. Надо усилить посты. Пусть Капейка отберет десять самых испытанных ребят и сейчас же направляется к хутору Лидака, куда Имант сдал письмо. В дом не входить, а спрятаться поблизости и наблюдать. Если на хутор придут немцы, постарайтесь их уничтожить, а хозяев приведите сюда.

— Что такое, Ояр? — спросил Капейка.

— Расхлебываем кашу, которую ты заварил.

— Какую кашу? — забеспокоился Капейка. — Что-нибудь случилось?

— Это мы увидим в ближайшие дни. Сейчас надо сказать Аустриню, что он у нас сегодня будет за парикмахера. Всем, кто отрастил длинные бороды, приказать побриться. Скажите, что надо провести сложную операцию в городе, а с бородами там показываться нельзя. Пусть одним из первых побреет Крауклиса. Как только это будет сделано, приведите его ко мне. А ты, Эвальд, не мешкай. Собирайся в путь.

Озабоченный и расстроенный, Ояр много разговаривать не намеревался. Командиры бросились исполнять его приказания. Вокруг лагеря поставили дополнительные посты и одну группу привели в боевую готовность; Ян Аустринь усиленно занялся бритьем, а Капейка подбирал партизан для предстоящей операции. Когда Рейниса Крауклиса побрили и остригли, Ояр снова пригласил командиров, велел явиться и Саше Смирнову с Имантом, а потом приказал привести Крауклиса.

Согнувшись в три погибели, пролез высокий Крауклис в землянку. Голова у него упиралась в потолок, и ему пришлось нагнуться. Из глубины землянки на него смотрел Ояр — смотрел долго, внимательно. Все молчали.

Крауклису стало не по себе от этого молчания. Он беспокойно оглянулся по сторонам.

— Мне приказано явиться сюда. Что-нибудь нужно от меня?

Ояр встал и подошел к Крауклису.

— Приветствую тебя, старый друг Мигла! — сказал он, глядя ему прямо в глаза. — Не узнаешь меня, старина? Какими судьбами попал в наши края? Почему ты стал таким застенчивым, даже не хочешь представиться старым друзьям?

Тот быстро отпрянул назад и стукнулся головой о потолок, глаза у него округлились, на лбу выступил пот. Как только он попытался сунуть руку в карман, Акментынь и Капейка схватили его за локти. Ояр обыскал его. В кармане брюк оказался небольшой браунинг. Сзади на ремешке висела в ножнах солидная финка.

— Это ты ему дал? — спросил Ояр у Капейки.

— Ничего подобного. У нас таких и не водится. А когда пришел к нам, даже не помянул про оружие. Сказал, что у него ничего нет.

— Слышал? — обратился Ояр к Мигле. — Где взял оружие?

— Оно у меня... это еще давно... с прежних времен... — забормотал Мигла.

— И в гестапо не отбирали?

Мигла только громко, часто дышал.

Опять заговорил Ояр:

— В общем попался, Мигла. Чего уж теперь отпираться, рассказывай лучше всю правду. Кто тебя заслал к нам?

Немного помедлив, Мигла начал рассказывать:

— Сам Арай... После того как сорвалось нападение на остров. Он потерял следы... Екельн очень рассердился...

— Какое ты получил задание? Выследить нас?

— Мне велели найти лагерь и втереться к вам в доверие.

— А откуда кровоподтеки? — поинтересовался Капейка. — Кто это тебя?

— Это мне у Арая... Чтобы правдоподобнее было...

— А ты уже встречался с людьми Арая после того, как пришел к нам? — спросил Ояр.

— Только вчера, когда ходили относить письмо.

— О чем ты им донес?

— Про базу... где она находится. И про письмо.

— А они что?

— Они позвонили во все отделения полевой комендатуры. Велели взять под контроль дороги и арестовать эту девушку. Когда я был у них, она, наверно, уже вышла из дому.

— Есть еще у кого вопросы? — Ояр оглянулся на товарищей.

— Все ясно, — буркнул Акментынь.

— Теперь я объясню вам, что это за птица. Это один из самых подлых надзирателей рижской центральной тюрьмы, к тому же настоящий садист. Я ведь несколько лет просидел там под его надзором, и ни от кого нам с товарищами не приходилось терпеть таких издевательств, как от этого мерзавца. В сороковом году, после свержения власти Ульманиса, Мигла сумел скрыться, иначе бы он давно получил по заслугам. Удивляюсь только его наглости — как это он не подумал, что среди партизан можно встретить своих бывших поднадзорных? Теперь все понятно? Какие будут предложения?

— Расстрелять! — крикнул Капейка.

— Зачем столько шума? — возразил Акментынь. — Его надо ликвидировать тихо. Неужели в лагере не найдется веревки?

Мигла все время мелко дрожал, словно в приступе лихорадки. Губы его зашевелились, но голоса не было, — он заговорил прерывистым шепотом:

— Погодите... я вам еще пригожусь... Я покажу, где находится команда Арая.

— Это мы и без тебя знаем, — оборвал его Ояр. — Сегодня они уже не там, где были вчера.

— Они устроят засаду на дороге... где Имант встречался с девушкой... — быстро шептал Мигла.

— И это мы без тебя знали. Засаду-то засаду, — только неизвестно, кто попадет. Довольно.

Ояр кивнул Акментыню и Ванагу. Они быстро связали шпикую руки.

— Теперь надо собрать всех партизан, — сказал Ояр. — Пусть все видят, какая расплата ждет предателя. Только надо торопиться, придется сегодня же уходить с базы, пока не явился Арай со своими ищейками. Долго они ждать себя не заставят.

Через полчаса Миглу повесили на суку старой ели. Капейка с десятью партизанами быстро направился к хуторку Лидака. Остальные собирали имущество и готовились к переходу на другую базу.

В понедельник вечером, когда они уже устроились на новом месте, пришел один боец из отряда Капейки и с ним Эльмар Аунынь, которого партизаны встретили недалеко от хуторка Лидака. Эльмар рассказал о гибели Анны. Снова созвал Ояр на совещание командиров.

— Для нас опять есть работа: надо отплатить врагам за мученическую смерть Анны Лидаки. Она была нашей и пала жертвой предательства.

Сорок партизан ушли на операцию под командой Ояра и Акментыня, среди них были Эльмар Аунынь и Имант Селис.

Ночь была ветреная, но теплая. Дыхание весны трогало ветви яблонь и лип в саду хутора Айзупиешы. Громко, заглушая все шумы, ревела вода у мельничной плотины. Стоявший у дверей комендатуры эсэсовец зевал в ожидании смены. Там, за закрытыми ставнями, опять уже допрашивали кого-то из арестованных, — время от времени оттуда слышались крики и стоны.

«А интересная жизнь у унтерштурмфюрера Шварца... — размышлял эсэсовец. — Каждый день новое развлечение».

Подойдя к окну, эсэсовец прижался ухом к ставне и стал прислушиваться. Унтерштурмфюрер Шварц задавал вопросы громким, сердитым голосом. Его вопрос повторил кто-то по-латышски. Недолгая пауза, тишина, затем раздались удары и сдавленные стоны. Часовой облизнул губы и еще плотнее прижался ухом к ставне. «Хоть бы маленькая щелка... заглянуть бы».

Увлечшись этим занятием, эсэсовец не расслышал тихих шагов за спиной, а когда его внезапно схватили за горло, думать о чем-нибудь было поздно.

Несколько минут спустя унтерштурмфюрер Шварц в изумлении, которое сразу перешло в ужас, взглянул на распахнувшуюся дверь комнаты. Он только что хотел крикнуть: «Что это за свинство — входить без разрешения!» — но поперхнулся, прижался к стене и втянул голову в плечи. Едва он протянул руку к кобуре, один из партизан нажал спуск автомата. Комендант, не успев крикнуть, повалился на пол. Обоих солдат, ассистентов Шварца, пристрелили вслед за ним, а сына мельника, выполнявшего роль переводчика, Ояр Сникер велел связать и вывести на двор.

— С ним еще надо поговорить до вынесения приговора, — сказал он.

Захватив с собой арестованного эсэсовцами молодого крестьянина, они вышли в сад.

Внизу, у мельницы, была слышна перестрелка. Там Капейка со своей группой истреблял комендантский взвод, помещавшийся в доме для батраков и рабочих. Застигнутые среди сна, полуодетые эсэсовцы выскакивали в окна, но здесь их встречали партизаны с автоматами. Дом был окружен. В несколько минут все было кончено. Тридцать два немецких солдата и офицера остались лежать на земле. Минут десять ушло на сбор трофеев: автоматов, винтовок, револьверов и патронов. Капейка захватил и продовольственные запасы комендатуры, запряг лошадь и нагрузил целый воз, а Ояр велел собрать и архив — все бумаги, печати и документы. Телефонные провода были перерезаны перед нападением.

Освобожденного крестьянина, который еле двигался после перенесенных пыток, посадили вместе с бабушкой Эльмара на воз с трофеями. Править взялся Эльмар, чтобы бабушке спокойнее было. Лошадь знала его и послушно тянула воз. Четверо партизан с велосипедами остались еще на часок посторожить усадьбу, чтобы мельник не успел сообщить о нападении, пока отряд не отошел подальше.

Со связанными руками, с заткнутым ртом, шагал между партизан Айзупиет. Когда колонна углубилась в лес, с большака свернули на узкую дорогу, по которой возили дрова. Здесь можно было смело показываться и днем, потому что началась распутица и крестьяне в лес не ездили. К полудню колонна достигла противоположного края леса. Теперь предстояло километров восемь пройти по открытому месту, поэтому дальше двинулись только с наступлением сумерек. На базу пришли поздно ночью.

Бабушку Эльмара устроили в маленькую землянку, где уже была мать Анны Лидаки. Ояр распорядился спрятать получше оружие, а продовольствие сдать завхозу.

Утром в землянке командира отряда заседал партизанский суд. Айзупиет предстал перед народными мстителями и увидел среди них знакомое лицо Эльмара Ауныня. Но это лицо и было самым суровым. С ненавистью глядел молодой парень на шуцмана.

— Как зовут этого человека? — спросил Ояр Сникер.

— Это Ян Айзупиет, сын мельника, — ответил Эльмар.

— Правильно он говорит? — обратился Ояр к шуцману.

— Да, — процедил сквозь зубы Айзупиет.

— С какого времени вы помогаете немцам?

— С пятого июля тысяча девятьсот сорок первого года.

— Неверно, — сказал Эльмар. — С первого дня войны. Он убежал в

лес и вместе с другими бандитами напал на беженцев. Он в своей волости выдал и помогал убивать всех комсомольцев и советских работников, которые не успели уехать.

— Много таких было?

— Около сорока человек, — ответил Эльмар.

— Что вы скажете на это? — обратился Ояр к Айзупиету.

— Что я мог сделать, когда немцы приказали очистить волость, — уже пространнее ответил Айзупиет.

— Кто составил списки?

— Они без списков знали.

— Все же кто составил эти списки?

— Приказали мне, вместе с волостным писарем.

— И вы это сделали?

— Пришлось сделать.

— Сколько всего человек вы выдали немцам? Скольких убили сами?

— Не помню.

— Зато люди помнят, — сказал Эльмар. — Он почти всех, кого выдал, сам и убивал. Хвастался еще, говорил, не меньше сотни наберется.

— Правда это? — спросил Ояр.

— Тогда иначе нельзя было, — глядя в землю, ответил Айзупиет.

— А теперь?

— А теперь... немцы от службы не освобождают.

— Почему вы подняли руку на свой народ?

— У немцев были большие успехи на фронте. Они все равно выиграют эту войну. Я думал, что надо работать с ними. Все умные люди так поступают.

— Все подлецы, все предатели и враги своего народа — вот кто так поступает! — крикнул Ояр. — Товарищи, что делает народ с такими отступниками?

— Повесить этого мерзавца! — сказал Акментынь. — Ояр, здесь мудрить нечего.

— Каково мнение остальных членов суда? — Ояр обвел взглядом командиров групп и представителей партизан.

— Такое же! — ответили они. — С предателями расплачиваются петлей.

— С предателями расплачиваются петлей! — повторил Ояр. — Именем советского народа объявляю приговор. За измену Родине, за активную помощь немецко-фашистским оккупантам, за выдачу многих советских людей немецким властям и за их убийство Ян Айзупиет

приговаривается к смертной казни через повешение. Приговор обжалованию не подлежит и приводится в исполнение немедленно.

— Поручите исполнение приговора мне... — сказал Эльмар Аунынь.

— Возражений нет.

Осужденного повели в чашу, и, когда все было кончено, Эльмар Аунынь достал из кармана записную книжку. Целая страничка была там испещрена черточками. Несколько черточек наверху были перечеркнуты, образуя крестики. Эльмар перечеркнул еще одну черточку. Образовался новый крестик. Но в книжке оставалось еще много неперечеркнутых черточек.

— Это за тебя, Анныня...

Глава четырнадцатая

1

Эдгар Прамниек стоял у внутренней стены камеры, за которой был коридор, и смотрел в окно. Оно было расположено выше, чем в обычных домах, и лучше всего было глядеть в него издали; тогда можно было увидеть небо, разлинованное толстой решеткой на мелкие квадраты, — иногда голубое, иногда серое, с островками облаков, с пролетающими изредка птицами. В вечерние часы видны были и звезды, но самое красочное зрелище открывалось на закате, когда край неба разгорался многоцветным костром. День никогда не уступал без борьбы места ночи, а когда темнота в конце концов брала верх, это была кратковременная победа: через несколько часов небо снова пылало золотом и каждый предмет по-своему старался отразить первые лучи утренней зари. Даже ржавые прутья оконной решетки, и те пытались сверкнуть неясным буроватым отблеском.

Почти двести раз, и утром и вечером, наблюдал Прамниек эту смену света и тьмы и часто думал, что если когда-нибудь еще будет держать в руках кисть и палитру, то сможет по памяти воспроизвести эту камеру в мельчайших подробностях. И не только камеру, но и всю жизнь, которая проходила перед его глазами и в которой должен был принимать участие он сам.

Сотни лиц — красивых и некрасивых, молодых и старых; сотни картин человеческих страданий; бесчисленные оттенки разнородных

чувств — от простодушной надежды до гордого спокойствия осужденного на смерть. Ни один натурщик не мог выразить того, что открылось Прамниеку в этой камере... Люди появлялись и исчезали. Редко кто выходил на свободу: некоторых убивал голод, холод и пытки; многих по ночам увозили на расстрел; часть заключенных переводили в концентрационные лагеря. Иногда Прамниек видел в бане иссиня-черные от давних и недавних побоев спины и плечи своих товарищей по несчастью. Ему казалось, что это не люди, а какие-то странные пятнистые животные. У некоторых до того были отбиты подошвы, что они не могли ступить на ноги, — товарищам приходилось носить их в уборную и в баню. У одного паренька вместо глаза была огромная синевато-аспидная опухоль, из которой сочилась сукровица. В запущенных ранах заводились черви, и в камере стоял запах гниющего мяса.

Ежедневно нескольких заключенных вызывали на допрос. Ежедневно десятки людей умирали в застенках, а сотни людей превращались в калек. Около семи тысяч заключенных ждали решения своей участи, и среди них художник — Эдгар Прамниек, отказавшийся фальсифицировать истину. Раньше он много думал о судьбах человечества, искал в потоке событий смысл своего существования; раньше он ни в чем не находил законченности и гармонии. Теперь ему больше не приходилось думать о таких вещах; все было ясно и обозримо, во всем мире существовал лишь один вопрос: чем кончится это испытание, сколько еще времени позволят ему жить? Утраченная свобода, воспоминания о тех временах, когда у него еще была жена, своя любимая работа, свой дом, — сейчас казались сказкой, и лучше было о них не думать.

Всю зиму их пытали холодом и голодом. Их пожирала вши. Сыпняк и дизентерия довершали то, чего не успевали сделать палачи. Будучи не в силах избежать страданий, люди тупели, становились равнодушными ко всему, что с ними происходило. Виселица, которая стояла на тюремном дворе, или пуля в лесу на окраине города казались естественным завершением цепи мучений, через которые проходил каждый в обычном или несколько измененном порядке.

Прамниек допрашивали дважды: сразу после ареста, в рижской префектуре, и второй раз — в сентябре, в центральной тюрьме. Оба раза ничего особенного у него не выпытывали — наверное, это был только предварительный опрос для регистрации в тюремных книгах. Но Прамниек знал, что, когда в гестапо захотят окончательно выяснить, что он собой представляет, придет и его очередь. Возможно, о нем пока забыли, возможно, были другие дела, поважнее, но проходил месяц за месяцем, а

его все еще не вызывали. За это время он страшно исхудал, побледнел, у него отросла борода.

Какие надежды возлагали заключенные на весну! Вместе с мартовским солнцем пришла запоздавшая весть о разгроме гитлеровской армии под Москвой. Теперь стало теплее и телу и душе, они стали надеяться на чудо. Когда просохнет земля и армия сможет продвигаться по всем дорогам, с Востока вместе с весенним солнцем придут полки Красной Армии, и широко-широко распахнутся двери тюрьмы. Не раскроются больше могильные рвы, и те, кто зарыты в них, будут спать вечным сном, но оставшиеся в живых выйдут на свободу, увидят солнце... Да, тогда они поймут, что такое свобода и в чем смысл жизни, сумеют жить гораздо лучше и достойнее. И какие прекрасные картины напишет тогда Эдгар Прамниек!

Он стоял, прислонившись к стене, и глядел в окно. Как лебедь, проплыло за квадратами железной решетки светлое облако, и края его, обведенные золотым контуром, отсвечивали в лучах солнца. «Ничего с природой не сделаешь, — думал Прамниек, — весна опять пришла».

В это время по коридору раздались громкие шаги. Остановились против двери. Надзиратель отпер ее и по списку прочел фамилии очередной группы заключенных, вызываемых на допрос. Из камеры Прамниека вызвали одного журналиста, молодого адвоката и учителя.

Четвертым был Эдгар Прамниек. Услышав свою фамилию, он вздрогнул, растерянно оглянулся на своих товарищей, но их равнодушие успокоило его. Он быстро привел себя в порядок и, кивнув на прощание остающимся, вышел в коридор.

Их повели в первый корпус, выстроили в длинном коридоре лицом к стене: стоять заставляли так, чтобы нос и носки ботинок касались стены. В такой позе дожидались своей очереди около полутора часа заключенных. По обе стороны коридора были следственные камеры. В первую смену туда вошли десять человек, и вскоре в коридоре услышали их мучительные стоны, громкие окрики допрашивающих и звуки ударов. Так продолжалось целый день. Через некоторое время начали по одному выводить допрошенных. Прамниек не видел их, так как оборачиваться не разрешалось, но он слышал их усталые шаркающие шаги и хриплое дыхание. Некоторых надзиратели волокли по полу — они уже не в силах были идти.

— Что ты на ногах не держишься, дохлятина! — ругались надзиратели. — Вот посадят тебя в карцер, тогда научишься стоять!

Проходил час за часом. Изнуренные голодом и болезнями, люди не

шевелились; у них отекали ноги и руки, а они всё стояли. Некоторые теряли сознание и падали. К ним подбегали надзиратели, пинали ногами и до тех пор били резиновыми палками, пока упавший не подымался.

Прамниек простоял в коридоре четыре часа. В ушах стоял шум, по временам темнело в глазах.

«Нельзя терять сознание, — думал он, напрягая всю свою волю. — Надо выдержать. Они не должны видеть мою слабость!»

Все время он старался думать, заставлял свой ум сосредоточиваться на вещах, которые не имели отношения ни к тюрьме, ни к немцам. Но как только подошла его очередь и надзиратель, грубо дернув его за плечо, крикнул: «Шевелись, очередь за твоей шкурой!», он забыл про все, о чем сейчас думал, и, пошатываясь, как пьяный, дошел до дверей камеры.

Еще один пинок, еще один шаг, и Эдгар Прамниек очутился в узкой камере.

За небольшим столом, на котором были письменные принадлежности, графин с водой и многоременная плетъ, сидел костлявый, с испитым лицом офицер в форме войск СС. Направо, за другим столиком, сидел писарь, тоже в форме, а третий ээсовец стоял и исподлобья смотрел на вошедшего.

— Как зовут? — выкрикнул по-немецки офицер. Писарь повторил его вопрос по-латышски.

— Эдгар Прамниек, художник, — ответил Прамниек по-немецки.

— Вы говорите по-немецки, господин художник? Очень приятно. Тогда у нас дело пойдет быстрее. Прошу сесть. Приятно познакомиться с интеллигентным человеком. Но как же вы сюда попали?

— Этого я не знаю, — ответил Прамниек, сев на скамейку. За спиной скрипело перо. В соседних камерах кричали. «Скоро и я закричу», — мельком подумал Прамниек. Начало его немного успокоило, он снова обрел способность рассуждать. Странно: несколько месяцев тому назад он, Эдгар Прамниек, мог не отвечать субъектам вроде этого испитого немца, он мог даже послать его к черту. Сейчас он целиком в руках этих людей, они могут делать с ним все, что им вздумается. Издеваться, унижать, избить, убить... Им все позволено, а ему — ничего. Странно.

— Вы не знаете? — удивился офицер. — Кому же еще знать, как не вам, господин Прамниек. Интеллигент, художник, как можно быть таким забывчивым? Вы курите?

— Раньше курил.

— Пожалуйста, закуривайте, — офицер подвинул к Прамниеку полуоткрытый портсигар. Там были сигареты с золочеными мундштуками.

— Благодарю, — прошептал Прамниек и потянулся за сигаретой. А

когда он прикоснулся к ней, крышка портсигара внезапно захлопнулась и зазубренные края вонзились в пальцы. Прамниек быстро отдернул руку, — с двух пальцев кожа была содрана, потекла кровь.

Офицер засмеялся. Сдержанно прыснул и писарь. Прамниек покраснел и опустил глаза.

— Большевик? — спросил офицер.

— Беспартийный, — ответил Прамниек сквозь стиснутые зубы. — Никогда ни в какой партии не состоял.

— Почему ты отказался выполнить заказ шефа пропаганды?

— Это не мой жанр. Я не график.

— Ах, вот как? Тогда мы тебя приобщим к новому жанру.

Ассистент офицера толкнул Прамниека в угол и долго бил его многоременной плетью. На конце каждого ремня была свинцовая пулька. Вначале Прамниек еще держался на ногах и заслонял лицо руками. Под конец он упал на пол и, как свернувшийся в комок еж, лежал неподвижно, сдерживая готовые вырваться крики. Его истязали целых полчаса. Когда ассистент уставал, офицер возобновлял допрос, а писарь что-то записывал, независимо от того, отвечал или молчал Прамниек. Потом опять били.

Окровавленного и обессиленного, его, наконец, вытолкнули из камеры. Тело было в сплошных ссадинах и синяках, все от головы до пят болело, как одна сплошная рана. Глубокая, кровоточащая рана была нанесена и его душе. Униженный дух страдал еще больше, чем тело, — теперь нетрудно было бы и умереть.

...Через несколько дней Эдгара Прамниека с большой партией заключенных отправили в Саласпилский концентрационный лагерь.

Когда над выемкой каменоломни светило солнце, в его лучах сверкали блестящие лопаты и концы железных ломов. Иногда лил дождь, и мутные лужи, образовавшиеся на дне выемки от мелких подземных ручейков, становились еще глубже. Сотни людей, стоя в лужах, выламывали из недр земли глыбы гипсового камня и складывали их у железнодорожного пути. В непогоду и на солнцепеке, на пронзительном ветру и в ливень, день за днем, круглый год они гнули спины под наблюдением вооруженной охраны. На них кричали, их били, топтали ногами; за малейшую оплошность они получали удары плетей; их жизнь висела на волоске: достаточно было уставшему рабу присесть на минутку, и его имя уже

заносилось в штрафные списки; вечером, после возвращения в лагерь, его ожидала порка или смерть, в зависимости от настроения коменданта лагеря.

Эдгар Прамниек уже четвертую неделю работал в каменоломнях. Саласпилский лагерь встретил его виселицей, стоявшей в конце двора.

— Вот что ожидает каждого из вас за малейшую провинность, — объяснил им помощник коменданта лагеря, шарфюрер Никель.

В петле висел мужчина, который накануне, возвращаясь с работы, не успел вовремя приветствовать начальство. Он висел до тех пор, пока не привели вешать следующего. Иногда вешали несколько человек — одного за другим, и заключенных заставляли смотреть на мучения товарищей. Зловещие столбы стояли во дворе лагеря как постоянная угроза.

«Может быть, и тебе придется висеть там», — сказал про себя Прамниек, проходя мимо этих столбов.

В три часа утра их подымали и гнали в каменоломни за пять километров. Справа величаво несла свои воды к свободным морским просторам Даугава. И каждое утро, глядя на реку, Прамниек вздыхал. Он вспоминал голубую даль, волны и сверкающих на солнце крыльями чаек.

Клип-клап... клип-клап... — стучали по дороге деревянные башмаки. По обеим сторонам колонны шагала вооруженная охрана. Зеленые луга и бархатные всходы на полях... пастух с коровами у дороги... поросшие кустарником луга... и снова огромная яма, лужи мутной воды и камень, камень...

Ладони Прамниека покрылись сплошными мозолями. Все ногти на пальцах были изуродованы. Он сам не понимал, откуда взялась у него эта выдержка, эта живучесть, которая позволяла двигаться, выламывать и подымать тяжелые глыбы камня, когда все тело было истерзано усталостью, каждое волокно ослабевших мышц требовало пищи. Усталость, голод и необъяснимая сверхчеловеческая жажда жизни... Рабский труд с утра до вечера; омерзительные помои на обед, которые заключенные называли то «новой Европой», то «зеленой опасностью», то «голубым Дунаем»; кошмарная ночь в душном бараке на голых трехэтажных нарах; испарения больных человеческих тел и вши, вши... Вши ели заключенных в тюрьме, ели их в лагере, и люди давно перестали стыдиться этого, а в редкие свободные минуты открыто охотились на них.

Каждый вечер, возвращаясь в лагерь, они слышали звуки ударов и крики: то ротенфюрер Текемейер снова бил кого-нибудь из заключенных стеком, с которым он никогда не расставался. Каждую неделю в лагерь приезжали из Риги гости — начальник политической полиции Ланге со

своими друзьями. Тогда Текемейер с Никелем готовили в честь важных гостей спектакль: пороли и гоняли заключенных, приказывали на руках обойти вокруг барака, натравливали на них собак. На скорую руку выбирали жертву и приводили к виселице. Для рижских господ выносили стулья, и доктор Ланге со своими друзьями, как завсегдатай партера, сидя наслаждался зрелищем. Но зрелище обычно протекало однообразно, тихо, без криков, без истерик, без мольбы о пощаде. Смертники равнодушно поднимались на скамейку — в этой казни они видели избавление от нескончаемых мук и унижений. Иной, взобравшись на скамейку, сам надевал на шею петлю и, не дожидаясь, когда палач выдернет из-под ног скамейку, спрыгивал с нее.

Рижским господам это не доставляло большого удовольствия. Они вставали и уходили осматривать лагерь. Взгляд Ланге блуждал по рядам заключенных, пока кто-нибудь из них не привлекал его внимания. Тогда он подзывал его, прикладывал к уху пистолет и нажимал гашетку. Затем выискивал новую жертву. Улыбаясь, предлагал попробовать и другим гостям. Тех просить не приходилось. После отъезда гостей у барачников, во дворе лагеря, на траве у виселицы — всюду лежали трупы.

Эдгар Прамниек стал замечать, что его чувства притупляются. Ничто его больше не поражало, не могло взволновать. И собственные страдания и страдания других людей как будто проходили мимо сознания.

Но иногда, вспоминая предложение шефа пропаганды, он думал, что теперь смог бы работать и в том жанре, от которого когда-то отказался. Проведенное в тюрьме и концентрационном лагере время показало ему, что такое человек-зверь.

«Кровь и муки, преступление за преступлением... тысячи убийц со знаком свастики на рукаве...» — дрожа от ненависти, думал он по ночам, лежа на голых досках; и в душе художника пробуждалось страстное желание увековечить на холсте и на бумаге все виденное и пережитое, составить обвинительный документ против фашизма, который читали бы поколения людей еще через сотни и тысячи лет, — беспощадное по своей правдивости обличение величайшего преступления в истории. «Если я останусь цел, если меня не уничтожат в этой клетке, это станет для меня делом жизни».

Один раз с доктором Ланге приехали в лагерь Освальд и Эдит Ланка. Ни тот, ни другая не узнали Прамниека. Вместе с остальными гостями они сидели перед виселицей, и Эдит с любопытством наблюдала за последними конвульсиями повешенных, не переставая разговаривать с мужем.

«И такие мерзавцы когда-то сидели у меня за столом», — думал

Прамниек. Если бы сегодня можно было повесить Освальда и Эдит, он сам бы надел им на шею петлю.

Беспощадно палило полуденное солнце. Во дворах концентрационного лагеря незаметно было даже легкого ветерка. Эдгар Прамниек вдвоем с коренастым крестьянским парнем везли через двор тяжелую двуколку, нагруженную тюками грязного белья. С обоих пот ручьем лил; грубая тюремная одежда намочила и прилипла к спине, но ни Прамниек, ни его товарищ не осмеливались скинуть куртки: рядом с двуколкой шагал охранник-эсэсовец, в руках у него была плетка.

Двуколка заехала колесом в канавку и не могла сдвинуться с места. Прамниек всем телом навалился на ляжку, упираясь деревянными башмаками в землю. Он дышал, широко открыв рот, и все равно не хватало воздуха. Пот щипал глаза, болело под ложечкой.

— Что, плети захотелось? — заорал охранник, когда Прамниек утер рукавом пот с лица. — Можно всыпать. Для норовистой лошади — лучшее средство. Ну, тащи, тащи, пададь!

Бесшумно, без предостерегающего свиста, плеть жалила плечи, затылок, ноги. Двуколка дрогнула, качнулась и выскочила из канавки.

— Ты не очень старайся, — шепнул напарник Рейнис Приеде. — Делай только вид, а я сам дотащу.

Он появился в лагере недели две назад и еще не дошел до полного истощения. Прамниек посмотрел на Приеде выразительным взглядом, точно руку пожал.

— Спасибо, товарищ... Мне бы немного дух перевести...

Когда двуколку подвезли к прачечной, несколько женщин вышли из барака принимать грязное, рваное, в кровавых пятнах белье.

— Принимай со всеми вшами, — хохотал эсэсовец. — В каждой рубахе по десять дюжин. Можете на сале оладьи печь, ха-ха-ха!

Из глубины барака послышалось:

— Сам жри за завтраком.

Охранник перестал смеяться, повертел головой, подозрительно взглянул на Прамниек и Приеде — не улыбаются ли? Но те думали только, как бы им передохнуть, пока женщины разгрузят повозку.

— Смотрите у меня, сороки, — погрозил охранник. — Рука у меня тяжелая, так надаю по мягкому месту!

Немолодая женщина, не обращая на него внимания, развернула заношенную рубашу и начала энергично вытряхивать ее — так, что пыль полетела во все стороны. Охранник, как ужаленный, отскочил в сторону и стал осматривать мундир: не попала ли вошь.

— Осторожней, ты, сука...

Женщина достала другую штуку белья и стала трясти еще усерднее. Охранник, опасливо обойдя женщину, вошел в барак. Прамниек и Приеде очутились без присмотра. Женщина оглянулась, подошла к ним и сунула по большому сочному помидору.

— Берите, милые... только сразу съешьте, а то отберут. Это подарок от наших женщин, которые на огороде работают.

Прамниек откусил половину помидора и, почти не жуя, жадно проглотил. Вторую половину он сосал долго-долго, смакуя каждую каплю чудесного, пахнущего солнцем и свежестью сока.

Женщина покачала головой, глядя на Прамниека.

— Тяжко вам живется. Давно ли в лагере? Наверно, городской?

Прамниек назвал свою фамилию.

— До войны был художником, а теперь самого разрисовали.

Он расстегнул на груди куртку и рубашу, показывая следы старых и свежих побоев.

— Вот как они разрисовывают, — повторил Прамниек.

Женщина вздохнула:

— Поздно мы начали их ненавидеть. Слишком поздно, милые... А они торопятся, спешат. Дочку мою замучили через два месяца после прихода. Зарыли, как собаку, в Бикерниекском лесу. Каждый день вот стираешь белье! — все-то оно в крови. Это ведь наша кровь, кровь несчастных, хороших людей. Кто за нее заплатит? Только сынок остался у меня на свете, он-то, наверно, будет мстить за нас.

— Красная Армия за все заставит заплатить, — тихо и упрямо сказал Приеде. — Зимой заставили их здорово перетрусить. Гитлера-то отогнали от Москвы.

— Сейчас немцы хвастаются, что их армия опять далеко ушла... — зашептал Прамниек. В последнее время он совсем уж разучился говорить громко. — Плохо это, плохо.

— Надо верить в наше дело, вот что, — ответила женщина. — Мы с вами можем и погибнуть, а наше дело все равно не погибнет. Я вам говорю, нет такой силы, чтобы победила советский народ. Солнце тоже иной раз заслоняют тучи, но только загасить его они не могут. Правду нельзя задавить, она всего сильнее.

— Что вы делали раньше? — спросил Прамниек.

— Всю жизнь стирала белье. Сначала господам, потом своему брату рабочему. Надо держать себя в руках, товарищи. Много чего еще придется нам выстрадать. Все надо вынести.

— Сил у меня больше нет, — вздохнул Прамниек. — Я до того дошел, иногда завидую тем, кого ведут на виселицу. Им больше не надо мучиться. Их никто не станет унижать.

— Нехорошо вы рассуждаете, — укоризненно сказала женщина. — Мы еще как понадобится народу! Жизнь-то по-новому будем переделывать после войны, как же ее без людей переделаешь? Вы о себе меньше думайте, тогда вам и сил хватит. О народе надо думать.

Разговаривая, она ни на минуту не отрывалась от дела: перетряхивала и сортировала белье, а другие женщины относили его в барак.

— Как вас зовут, товарищ? — спросил Прамниек.

— Анна Селис. Может, когда придется увидеть сына моего, Иманта Селиса.

Руки у нее опухли от вечной стирки, лицо страшно исхудало, пожелтело, но глаза горели живым, молодым огнем.

«Сильная душа... — с удивлением думал Прамниек. — Как ей все ясно... Темперамент настоящего борца. Такие не спрашивают — они сами живой ответ на все вопросы. Откуда у них берется такая мудрость? Жизненный опыт? Или инстинкт? Коллективный разум класса?»

Прамниек не раз еще встречался и разговаривал с Анной Селис. Больше всего его поражал суровый реализм ее суждений. Анна называла вещи своими именами и для каждого явления находила определение — меткое и неоспоримое. Очень верно, безжалостно даже сказала она и о нем самом:

— Вся беда, что вы ни к чему не приросли душой, потому что на все со стороны смотрели. Многое вам даром доставалось. Вот когда человеку что-нибудь потом и кровью достается, тогда оно и дорого, тогда и жизнь за него отдать не жалко. Вы и советскую власть приняли как подарок, поэтому и не болели душой, когда ей трудно приходилось. Вы только поглядывали да судили, что по-вашему, что — нет. Нельзя вам так дальше, надо найти свое дело, чтобы оно для вас святыней было — такой святыней, чтобы за нее стоило жить и умереть.

Но суровый тон ее речей не отталкивал Прамниека. Наоборот, эти случайные короткие встречи с Анной выводили его из состояния безразличия, заставляли думать.

Старый Лиепинь сердился на весь свет. Насупившись, обходил он свои поля, будто отыскивая виновника скверного настроения, на которого можно обрушить громы и молнии. Но виновника незачем было искать: он лежал у него в кармане и шуршал при каждом прикосновении пальцев Лиепиня — маленький листочек, извещение волостного правления, что к 15 июля надо сдать одну свинью, сотню яиц и двадцать килограммов масла... И главное, не последнее извещение, как и не первое, — Лиепинь знал это так же твердо, как то, что дважды два — четыре.

И что за носы у этих «фюреров по хозяйству»: про каждую курочку пронюхают, про каждого поросеночка. В граммах тебе высчитают, сколько продовольствия имеется на каждый день в каждом крестьянском дворе. Только подавай, мужичок, нам пригодится... Не успеешь корову подоить, не успеет курица снести, а у них уже каждая капля молока, каждое яйцо записаны, и все забирают тепленьким, пока крестьянин сам не успел съесть. А чтобы не походило на грабеж среди бела дня, выдадут тебе несколько остмарок, и сколько ни гляди на эти бумажки, проку все равно не видать. За сданного борова или за голову рогатого скота присудят столько-то пунктов премии: можно коробку спичек купить или пару пуговиц к штанам. Все забирают, ровно насосом выкачивают. А крестьянину чуть-чуть оставят, чтобы только не подох, чтобы и дальше работал «на благо Великогермании и ее непобедимой армии».

— И куда к черту девают они наше добро? — удивлялся Лиепинь. — Берут и берут, угоняют и угоняют — и морем и железной дорогой, и все им мало. Наверно, глотают, как та собака, что сроду доброго куска не видала. Пора бы уж нажраться.

— Да ты не кричи, отец, — одергивала его мамаша Лиепинь. — День тихий, как бы Лиепниеки не услышали. Макс, он живо донесет властям, — вот тебе за твой длинный язык и назначат двойную порцию.

— Куда еще больше-то? — огрызнулся муж. — И так все подчистую забирают. А воровать для них я не пойду.

— Дорого, ужас до чего дорого обходится нам эта новая Европа, — поддакнула и сама Лиепиниене. — Да разве нам одним — иные люди, которые дожидаться не могли немцев, теперь что-то вздыхают — тяжело, говорят. А кто нам мешал при большевиках?

— Никто не мешал, если только сам честно жил. Теперь ни чести, ни жизни нет.

С весны в усадьбе Лиепини работали двое пленных украинцев. Благодаря им вся земля была засеяна, и урожай ожидался хороший, но радости от этого было мало, потому что хорошего урожая ждал и гебитскомиссар со своими крейсландвиртами. Они дождутся, они свою часть получат, а что с тобой будет, старый Лиепинь, об этом поди у гадалки спроси.

Когда в усадьбу заворачивал кто-нибудь из немцев или из волостных властей, старый Лиепинь сердито покрикивал на пленных и гонял их, как староста на барском дворе. Когда же посторонних не оставалось, он подходил к ним и угощал табачком. Они были ребята смышленные — знали, что хозяину иначе нельзя, не то отнимут работников и отдадут другому.

Да, теперь было ясно, что большевикам в Латвию уже не вернуться, — немецкая армия снова двигалась вперед и вперед по южным степям. Оберлейтенант Копиц из жандармской роты, который время от времени заглядывал в усадьбу Лиепини, совершенно точно знал, что к осени немецкая армия переправится через Волгу и будет на Урале. Как же воевать большевикам, если вся промышленность и главные хлебные районы окажутся у немцев? Придется сложить оружие и просить мира, а Гитлер сделает так, как ему захочется. Может, ему хватит Урала и Кавказа, а может, он пошлет свои войска еще дальше, в Сибирь, где, говорят, и лесов много и в горах всякого добра полно. На то и победитель, чтобы выбирать, его воля — закон.

Маленькая Расма уже начала ходить и училась говорить. Девочка была очень живая и подвижная, и Элла возилась с ней целыми днями. Когда к Лиепиням заезжал оберлейтенант Копиц, бабушка уносила внучку, а Элла пудрилась и шла занимать гостя. В конце концов ей и самой интересно: жандармский офицер еще молодой и видный мужчина. С какой стати губить свою молодость, сидя за печкой? Погоревала год — и хватит. Петер погиб, а его друзья никогда не вернутся в Латвию. Если человек не собирается умирать, он всегда думает о том, как лучше устроить свою жизнь; и если положение таково, что немецкая власть навсегда останется в Латвии, тогда самое благоразумное — искать друзей среди людей первого сорта и не водиться с каким-то там Максом Лиепниексом, которому немецкие господа время от времени выбрасывают за верную службу обглоданную кость. Элла Спаре отличалась практичностью, которую унаследовала от родителей, и оберлейтенант Копиц стал желанным гостем в усадьбе Лиепини.

— Мама, тебе не кажется, что он напоминает Петера? — сказала как-то Элла. — Такой же высокий, даже лицом похож, только немного

развязнее и решительнее.

— Элочка, ну как можно сравнивать господина Копица с Петером! — ответила мать. — У него совсем другое обхождение, тонкость в манерах. Сразу видать, что из благородных кругов. А Петер был мужлан мужланом.

В тот день, когда старый Лиепинь получил извещение о сдаче свиньи и разных продуктов, Бруно Копиц навестил их. Лиепиниене сразу утащила куда-то Расму, а хозяин ушел на луг к пленным и так костил их, что у соседей собаки залаяли.

Надев праздничное платье, Элла вышла на веранду к гостю. В отворенную дверь видны были река и луга. Везде убрали сено. Подросшие скворцы собирались в станки и летали над лугами. Волнами ходила под легким теплым ветерком желтеющая рожь. Каждый раз, когда Копиц начинал говорить, Элла скромно опускала глаза, затем, взглянув на него, на всякий случай застенчиво улыбалась. Плоховато знала она немецкий язык.

— Вы никогда не были в Германии? — спросил Копиц.

— Я нигде не была. — Элла снова опустила глаза. — Только дома и в Риге.

— Рига — красивый город, немецкий город. Но если бы вы видали Пруссию, тогда бы узнали, какой в недалеком будущем станет Латвия. Лет через десять здесь все будет, как в Германии.

— Интересно бы посмотреть, но мне, конечно, не удастся, — вздохнула Элла. — Кто меня туда пустит?

— Почему же? — улыбнулся Копиц. Он встал и, звеня шпорами, стал прохаживаться по веранде. В иных условиях, возможно, следовало бы искать более сложных путей достижения цели, но ведь он имеет дело не с дамой, а всего лишь с обыкновенной крестьянской девкой — с туземкой завоеванной страны. Любой самый неотесанный завоеватель несравненно выше самой образованной туземки; здесь перестают действовать старые нормы поведения, а создаются новые — более примитивные и удобные для завоевателей. — Почему же? — повторил Копиц. — Вы можете поехать со мной. Осенью мы кончим воевать, я получу отпуск за три года и смогу целых три месяца отдыхать там, где мне нравится. Но господь бог повелевает всем своим творениям жить парами, и в этом вопросе я с ним вполне согласен. Таким образом, вы сделаете приятное и богу и мне, если... ну вы ведь понимаете, о чем я думаю?

— Но это же будет очень странно, если я с вами поеду. — Элла чуть не до слез покраснела. — Люди неизвестно что подумают.

— Разве жена не имеет право сопровождать мужа?

— Но я ведь вам не жена, — еле слышно сказала Элла.

— Это еще не значит, что вы не можете стать ею.

— Это не от одной меня зависит.

— От кого же еще?

— Прежде всего от вас... Вы, наверно, все только шутите.

— Фрейлейн Элла! — Копии посмотрел на нее проникновенным взглядом. — Если бы вы знали, что происходит в моем сердце... Как терзает меня это вынужденное одиночество... У меня много друзей и знакомых, но нет ни одного близкого человека. Не думайте, что я прихожу к вам развлечься. Одним словом — я люблю вас, от вас зависит мое счастье.

— Нет, этого не может быть... Кто я такая?

— Вы та женщина, к которой я стремлюсь. Видите, я все вам сказал, теперь ваша очередь быть откровенной.

— Как вы это представляете? — спросила Элла. — Сейчас?

Копиц даже чихнул от удовольствия. Придвинул стул поближе к Элле, взял ее руку и стал гладить.

— Пока война не кончилась, формально пусть все останется по-старому. Пусть нас считают обрученными. Несколько месяцев, самое большее полгода, это будет нашей тайной. Как только кончится война, я подам начальству рапорт, получу разрешение на женитьбу, возьму отпуск, и тогда мы поедем в свадебное путешествие.

— Но пока нам нельзя жить вместе.

— Формально нет, но зачем нам формальности? Мы можем любить друг друга и без записей в паспорте.

— Гражданский брак?

— Временно, до победы. Между прочим, многие так живут, и это не мешает их счастью. Мы тоже будем счастливы. Я буду приходить к тебе через день. Родителям ты можешь сказать, это ничего, но только пусть они не разбалтывают другим.

— А если тебя переведут в другое место?

— Мы все выполняем волю фюрера. Но в нашем распоряжении будет почта.

Элла еще немного поломалась для приличия, сказав, что ей надо подумать несколько дней. Но Бруно Копиц был так нежен и настойчив, что крепость, которая и без того давно собиралась капитулировать, не выдержала и одного вечера осады.

Союз был заключен. Элла Спаре солидно устраивала свою жизнь. Вечером она проводила Копица до большака. Над лугами стоял густой аромат скошенного сена. От реки поднимался туман.

— Присядем, подышим немного свежим воздухом, — сказал Копиц и повел ее к ближней копне.

Был июль 1942 года.

Сквозь густой туман по скошенному лугу шагал человек. Высокая фигура чуть горбилась, босые ноги бесшумно скользили по отмякшей от росы траве. Прохожий опирался на суковатую палку, видимо только что выломанную, — кора была еще светлая, свежая. Он глубоко погрузился в свои мысли, и, когда за ближайшей копной внезапно раздались приглушенные голоса и за несколько шагов от него как из-под земли возникли два человека — мужчина в мундире немецкого жандармского офицера и женщина в светлом платье, — он вздрогнул от неожиданности и остановился, глядя на парочку: прильнув друг к другу, они тихо разговаривали по-немецки.

— Когда ты придешь, Бруно? — спросила женщина. — Если не хочешь заходить к нам, я встречу тебя в конце аллеи. Можно посидеть у реки.

— Да, так лучше, Элла, — ответил мужчина. — Послезавтра, в одиннадцать часов вечера, жди меня здесь. Если я не приду в течение часа, значит не смогу. Как мне сладко с тобой, милая девочка...

Поцелуй, тихий смех, и парочка медленно направилась к дороге. Тогда зашевелилась фигура по ту сторону копны и зашагала в сторону прибрежных кустов, за которыми начиналась земля хибарочника Индрика Закиса.

«Ай, Петер, как не везет тебе, старина, — думал Закис, возвращаясь в родные края после одиннадцати месяцев тюрьмы. — Жена валандается с немцем — тьфу! А ты... что-то ты сейчас делаешь, друг? И что ты увидишь здесь, когда вернешься?»

Он неодобрительно покачал головой. Справа за кустами тускло блеснула темная поверхность воды, плеснула рыбка, фыркала невидимая в тумане лошадь. Закис остановился на протоптанной к берегу тропке и напряженно стал всматриваться в сгущающуюся темноту. На краю поля стояла хибарка. В окнах было темно. Ни один звук не доносился оттуда. Опершись на палку, Закис долго стоял и глядел на свой дом.

Детишки спят... Мать измучилась за день на работе, тоже, наверно, заснула. Бедняжки мои милые... не знаете, что я здесь, иначе Янцис давно

бы выбежал навстречу. А Валдынь, тот принялся бы хлопать в ладошки и кричать: «Папа идет! Папа идет!»

Странно как-то стало на душе: не то заплакать хотелось, не то улыбнуться. Он глубоко-глубоко вдохнул свежий ночной воздух и, успокоившись, тихо зашагал к хибарке. Но как ни глубокий сон наработавшегося за день человека, легкие, скользкие шаги по двору тут же были услышаны. Закису не пришлось стучать в окно: гораздо раньше загремел дверной засов, дверь приоткрылась, и он увидел встревоженное лицо жены.

Без слов, с порывистым вздохом бросилась она навстречу мужу, крепко прильнула к его груди и, тихо всхлипывая, гладила его впалые щеки, его плечи, большую, покрытую заживающими шрамами руку.

— Успокойся, ну успокойся, — шептал Закис. — Теперь опять все будет хорошо. Больше я не уйду.

— Да, хорошо... — вздыхала жена. — Мы ждали тебя каждое утро, каждый вечер... Лиепник сказал, что такие, как ты, больше не вернутся, но я ему не верила. Я знала, что ты вернешься.

Они сели на лавочку возле хибарки. Закис не рассказывал о том, как его били и пытали в тюрьме, как зимой полуголого морозили в карцере на сквозняке. Зачем ей это знать? Он пробовал шутить по-прежнему.

— Конечно, не скажу, что было, как на свадьбе. Эти немцы — страх до чего любопытный народ. О чем только они не спрашивали! Не партийный ли я, не агент ли чека? Кто из моих детей коммунисты и кто состоит в комсомоле и в пионерах? С какими заданиями оставили меня в тылу? Кого из коммунистов и советских активистов знаю в нашей волости? — Что я им отвечал? Сказал, что моя старая глупая голова политикой никогда не занималась, просил объяснить, что это за слово такое «активист», в мое время, говорю, когда я в школу ходил, таким словам не обучали. Ну, должно быть, поверили, что я дурак дураком, и, когда я им надоел, сказали, чтобы убирался к черту и знал свою работу. Если услышат, что в чем-нибудь властям перечить стал, тогда мне конец. Вот так-то я и вернулся к вам. Что ты на это скажешь, старушка?

Закиене не была настолько простодушной, чтобы поверить, будто это все, но раз муж не желал больше ничего рассказывать, наверно так и нужно. Но и она в свою очередь не сразу рассказала, как им жилось без него, — как Лиепниеки измывались над ними, обзывали то красными собаками, то жидовскими прислужниками и как у них часто не было ни капли молока, ни корочки хлеба; однако она не могла промолчать о том, что весь урожай с нового надела снял Лиепник и он же забрал лес,

приготовленный на постройку нового дома. Корову увели немцы — в счет налога, а телка только в конце месяца должна отелиться, да и то волостной староста прислал извещение, сколько надо сдавать от нее молока и масла. Самим ничего не останется.

— Ты скажи, как ребятишки, — спросил Закис, когда жена кончила свой рассказ. — Все ли здоровы? Янцис, наверно, совсем большой?..

Закиене вздохнула и долго ничего не отвечала.

— Говори уж всё... Надо же мне знать...

— Да это так... Не подумай только, что я о них не забочусь. Днями и ночами, как на барщине, работала... Когда неумоготу становилось, шла к Лиепиням и просила помочь. Кое-чем помогли, да ведь не потребуешь с людей, чтобы они о чужих детях как о родных заботились. Сейчас Янцис болен, лежит в жару и бредит... Врач не хочет пешком идти, а лошади нет. Мирдза такая бледная стала, вся в чирьях — чуть одни сойдут, новые выскакивают. Не знаю, что и за хворь у девчонки. Может, с голоду. Майя... — у нее перехватило горло, — Майя умерла весной, двадцать второго апреля. Вся высохла, как шепочка, кашляла, кашляла, так и истаяла от жара. Даже порошков не могла я достать в аптеке. Лиепинь дал лошадь отвезти на кладбище, а пастор не разрешил хоронить... некрещеная, мол. Пришлось зарыть за оградой, на опушке леса, где безбожников хоронят. Могилку обложили дерном и цветочки посадили. Может, потом когда лучше уберем.

Закис молча глядел через поле на пригорок, на строения усадьбы Лиепниеки.

— Да, жизнь такая, — сказал он после долгого молчания. — Но это еще не конец. Мы еще поживем, старушка. Погоди, вот придут Аугуст и Аустра... — Он протянул сжатую в кулак руку в сторону дома на пригорке. — Тогда ты, Лиепниек, увидишь, — есть еще правда на свете...

— Заходи, — сказала Закиене. — Поди, голодный.

Они зашли в хибарку. Закис зажег лучину и, освещая по очереди каждый угол, осмотрел спящих детей. Дольше всего он простоял у постели больного Янциса; очень ему хотелось погладить пылающий лобик сынишки или взять за горячую ручонку, но он не стал тревожить его сон...

Закиене достала из сундука пару чистого белья и налила в таз теплой воды. Когда муж снял рубаху, она увидела на спине и плечах его кровоподтеки, рубцы и струпья еще не заживших ран. Тогда Закиене поняла все. Еле сдерживая всхлипыванья, она прижалась к мужу и стала гладить его изуродованную спину.

— Так-то они с тобой в тюрьме!.. Звери... изверги!.. Да как они смеют

так мучить...

— Там разрешения не спрашивают, — сказал Закис, деланно улыбаясь; он стеснялся своего вида. — Ну, ты успокойся, мать, ведь все равно ничего не добились. Разговорчивее я не стал, как они ни хлопотали вокруг меня.

Жена достала мягкую тряпочку, намочила в воде и стала бережно обтирать ему плечи и спину.

Все утро дети не отходили от отца. Не успела еще утихнуть поднятая ими возня, как на пороге появился Макс Лиепниек. Он был десятником и проверял каждое утро и вечер сомнительные дома: все ли на месте, не прячут ли кого из посторонних. Без стука, не здороваясь, вошел он в комнату и обвел взглядом все углы.

— Смотрите, оказывается сам Закис дома! Вот это хорошо, в самое время вернулся. А мне как раз рабочие нужны позарез. Через полчаса чтобы со старухой в поле были. Второй раз приглашать не буду. Ну что, понравились тюремные харчи? Лучше домашних?

Закис глядел в землю и молчал. Дети с любопытством глядели то на Макса Лиепниека, то на отца, ожидая, что он что-нибудь скажет. Но отец молчал.

Летом 1942 года Индулис Атауга приехал на несколько дней в Ригу по каким-то одному ему известным делам. Он страшно хвастался новеньким «Железным крестом», который заработал в операциях против белорусских партизан. Кроме того, Индулис получил звание унтерштурмфюрера СС, и теперь квартира его была полна разного добра. Фании он много не рассказывал о своих похождениях в отряде Арая, так как сестра не обладала широтой мысли: эта ограниченная женщина считала, что убивать мирных жителей и сжигать белорусские деревни не геройство, а подлость. И каждый раз, когда у Индулиса вырывалось неосторожное выражение, Фания вздрагивала и отворачивалась. Двухлетнюю дочку Дзидру она и близко не подпускала к брату, как будто он был болен опасной заразной болезнью...

Рассказать ему было о чем. Недаром Волдемару Араю немцы присвоили звание штурмбанфюрера СС, а каждый член его «охотничьей команды» стоил своего начальника. Немецкое командование высоко ценило этих специалистов по «мокрым делам» и доверяло им ответственные задания.

Ничего не сказав Фании, Индулис увел к себе Джека и показал награбленное в набегах добро. Там были и одежда, и обувь, и меха, и даже золотые зубы и церковные подсвечники.

— Как ты думаешь, Джек, сколько можно выручить за это? — спросил Индулис, когда зять внимательно все осмотрел.

— Сразу сказать трудно. Но тысяч на десять здесь будет.

— У меня есть предложение. Не возьмешься ли ты ликвидировать их без лишнего шума? Мне эти вещи не нужны, а деньги я знаю, как пристроить.

— Не знаю, право, я растерял все старые связи.

— Можно завести новые. Четвертая часть тебе — за посредничество.

— Как-то рискованно, — колебался Бунте. — Начнут спрашивать, откуда да как...

— Сошлись на меня и на Арая, тогда любому рот заткнешь.

— Разве попробовать?

— Ну да, попробуй. Если бы получить за самые лучшие вещи валютой — в фунтах или долларах... Эх, Джек, был бы ты человек, а не тряпка, не торчал бы ты в Риге. Управляющий домом — какое это дело! Наш дом немцы все равно не вернут, напрасно ты его бережешь.

Индулис был прав: мелко плавал карапуз Бунте и насилу сводил концы с концами. Раза два он пробовал заикнуться, что следовало бы взяться за что-нибудь более прибыльное, но тут заговорила Фания. В коммерческих вопросах она отставала от мужа, но в остальном была куда дальновиднее, и он это признавал.

— Ты пойми, Джек, что такие порядки, как сейчас, долго продолжаться не могут, — говорила она. — Ни одна власть не удержится убийствами да грабежами. Не марай, Джек, рук, не связывайся ты с ними.

Джек слушался ее. От Фании у него никогда не было секретов. Он рассказал ей о предложении Индулиса и о двадцати пяти процентах, обещанных за посредничество.

— Может, взяться?

— Лучше и не думай, — решительно сказала Фания. — Это же награбленное добро. Каждая вещь кровью забрызгана. Пусть Индулис сам бегаёт к спекулянтам со своим товаром. Тебе этих проклятых денег не надо.

— Я ему почти обещал...

— Откажись сегодня же. Если у тебя не хватит духу, я сама с ним поговорю.

Таким образом, заманчивая сделка лопнула. Индулис высмеял зятя, назвал его тряпкой, трусом и пригласил одного из прежних воротил черной

биржи. За несколько дней все было распродано, и унтерштурмфюрер стал искать собутыльников, чтобы как следует покутить перед отъездом из Риги. Но прежние компаньоны, как назло, разбрелись кто куда: одни были в команде Арая и преследовали партизан, кое-кто уехал на Волховский фронт, а тихони засели в разных тыловых учреждениях и нигде не показывались. Сейчас немецкая армия вновь наступала, но события под Москвой успели кое-кого смутить, и эти уже не могли радоваться так громогласно, как год назад. Чем черт не шутит — как бы опять беды не вышло... Ведь обещания доктора Геббельса не исполнились — сроки победы сорваны. Лучше поосмотрительнее быть.

Из старых друзей Индулису удалось разыскать только Кристапа Понте, которого Штиглиц больше не отпускал из Риги. Ланка с женой тоже были в городе, но они теперь водились только с высокопоставленными лицами, вроде начальника политической полиции доктора Ланге или Витрока; что им какой-то унтерштурмфюрер из туземцев.

...Настроение у Понте было неважное. Все из-за Сильвии. Особой верностью она никогда не отличалась, а с прошлой осени вообще интересовалась больше немецкими офицерами, чем своим долголетним поклонником. И в конце концов нарвалась на неприятность.

Когда вторая бутылка коньяку была на исходе и обе девочки из бара, которых друзья пригласили в отдельный кабинет ночного заведения, уже запели по-немецки неприличные солдатские песенки, Понте стал изливать душу Индулису:

— Скажи, что бы ты сделал на моем месте? Сколько я ей одних подарков перетаскал, не говоря уж про деньги. Дом можно было построить... Не отрицаю — время я с ней хорошо проводил. Ругались мы раз в три года. Может быть, после войны и поженились бы. Но когда она на твоих глазах любезничает с немецкими офицерами, ходит к ним на дом, принимает подарки — что должен чувствовать мужчина?

— Дай ей отставку, — засмеялся Индулис. — Разве в Риге девок не хватает?

— Как-то привык я к ней. Сам не раз подумывал, что пора бы взять другую. Ничего не получается. Стоит ей приласкаться, сказать одно словечко, и я опять размякну. Характер такой, наверно, А сейчас прямо и не знаю, как быть.

— Заразилась? Тогда, Понте, беги без оглядки.

— Не знаю, может и заразиться успела, ничего удивительного. Понимаешь, старина, у нее получился какой-то скандал с немецким

полковником. Из-за чего-то поцапались, а после у этого полковника золотые часы тю-тю. Не думаю, чтобы Сильвия дошла до воровства, но этот полковник, видимо, порядочная жила, сейчас же сообщил полиции и обвинил в воровстве и проституции. А у тех разговор короткий. Сильвию отослали в дом офицерских проституток, что на Мариинской улице, и я об этом узнал только через неделю. Что теперь делать?хлопотать об освобождении? Я бы добился, но, понимаешь, боюсь скомпрометировать себя перед обществом. Стоит ли иметь дело с такой?

— Наплюй ты на нее, — сказал, зевая, Индулис. — Найди себе другую. Искать невест по борделям...

— То же самое Эдит Лапка сказала. Я с ней уже советовался. Слово в слово: «Наплюй ты на нее».

— Ну, вот, Эдит женщина умная. Ты ее послушайся.

— Я тоже так думаю. Эх, ну ее. — Понте махнул рукой, выпил рюмку коньяку, покачал головой и стал сосать ломтик лимона. — Пусть сама выпутывается как знает. У меня своя жизнь. Как думаешь, старина, скоро в Москву поедем?

— Даю слово, что не позднее осени, — ответил Индулис Атауга таким тоном, как будто у него были на этот счет самые точные и верные сведения. — Дольше осени Красная Армия не продержится. Да, вот там нам действительно работы хватит. Девочки, поедете с нами? Будем на Красной площади фокстрот танцевать.

— Ой, там, наверно, холодно, офицерик, — пискнула одна из дам. — Меня от одной мысли дрожь пробирает.

— Поди сюда, я тебя погрею. — Индулис потянулся к ней.

— Платье не мните!.. Самое лучшее...

— Не жалея, я заплачу. Ребята Арая в деньгах не нуждаются. Пей коньяк, цыпочка. Я сегодня плачу за все. И за вино, и за твое платье, и за тебя. Сколько ты стоишь?

Потом они поехали на квартиру к Индулису и кутили до самого утра. На улицах уже стучали деревянные подошвы, звонили трамваи и люди направлялись на работу, когда Понте шел домой отсыпаться. Он так напился, что качался из стороны в сторону и громко разговаривал сам с собой; только форма офицера СС оберегала его от назойливости полицейских. На каком-то углу Понте налетел на старика рабочего и чуть не сбил его с ног.

— Нельзя ли поосторожнее, молодой человек, — флегматично заметил рабочий.

— Чего? Что? Ты меня учить будешь! Я тебе!.. Иди за мной в

управление... Стой! Ни с места! Покажи документы!

Старик рабочий оглянулся: не поможет ли кто отделаться от пьяного эсэсовца. Но прохожие стороной обходили их. Он показал паспорт. Понте выпрямился насколько мог и долго перелистывал его.

— Мартын Спаре... Вот, вот, из Чиекуркална... Большевистское гнездо. Куда идешь?

— На работу... На Заячий остров.

— На, бери свой паспорт и убирайся. Только посмей на заборах лозунги писать! Живо повешу.

Бормоча и пошатываясь, шел он по улице. Старый Спаре посмотрел ему вслед и сплюнул.

— Экая скотина... Погоди, погоди... Придут Петер с Юрисом, тогда ты увидишь.

7

Круглыми сутками пели пилы, разрезая бревна на доски и планки. Мартын Спаре и старый Рубенис разбирали плоты и подгоняли бревна к лесопильному стану.

— Ах, голубчики мои, опять уходит латвийское добро прямо в пасть Гитлеру, — вздыхал старый Рубенис, направляя по течению толстенное еловое бревно. — Так никаких лесов не хватит... Скоро негде будет ни ягод, ни грибов собирать. Всё под одно жрут, как саранча. За целую жизнь столько не вырастить, сколько они вырубят за это время.

— Боятся партизан, поэтому и вырубают, — ответил Мартын Спаре. — Думают, если не останется лесов, партизанам негде будет укрываться. Как будто в Риге и в других городах места не найдется.

— Вчера у нас в Задвинье опять одному гитлеровцу бок проткнули, — шепнул Рубенис. — На Калициемской улице, на тротуаре, лежал. А при нем листок бумаги — «Смерть немецким оккупантам». Они этих слов крепко боятся. Им это как пилой по костям.

— Пусть их трясутся, паршивые собаки. — Спаре достал из кармана трубку и, недовольно сплюнув, засунул ее обратно. — Чего я ее щупаю, старый шут. Второй день нечем набивать. Хоть бы дерьма какого достать.

Рубенис достал кисет и подал Спаре.

— На, попробуй. Если не вырвет, набей трубку.

— Да что у тебя там, не табак же?

— Специальная смесь из мха и сушеных листьев, — объяснил

Рубенис. — Кто же тебе даст лучше?

Оба набили трубки и закурили. Отплевываясь и кашляя, затягивались горьким дымом.

— Один обман, — сказал Рубенис. — На что только человек с голоду не бросается. Думай, что махорка, тогда как-нибудь сойдет. Прошлой ночью я во сне сигару курил, а жена будто бы спекла пирожки с ветчиной. Так наелся, что чуть с кровати не свалился.

— Да, во сне... — задумчиво повторял Спаре. — Теперь мы всё хорошее только во сне и видим. Никогда в животе так не урчало, как теперь.

— Хлебца требует. Сейчас курим мох и листья. Скоро будем жрать траву и ольховую кору. Будем набивать брюхо всякой дрянью, чтобы не урчало так безобразно. Неприлично как-то получается. А помнишь, как мы закусывали на свадьбе Юриса и Аيي? Когда уж та жизнь вернется?

— Дождемся же когда-нибудь Красной Армии, — сказал Спаре. — Как хотелось бы, но при такой жизни навряд ли удастся. Люди мрут, как мухи.

— Да, люди мрут. На кладбище могилы рыть не успевают.

Рубенис толкнул застрявшее бревно, оглянулся, не подслушивает ли кто.

— Прошлой ночью удалось послушать Москву. На латышском языке. Наши ребята держатся.

— Нам тоже держаться надо, Рубенис. Придут наши сыновья домой и спросят: «Расскажи, старик, как жил, много ли неприятностей гитлеровцам причинил?»

— Чуть бы помоложе если... — вздохнул Рубенис, — давно бы в лес к партизанам ушли. А то куда мы, такие старые клячи, годимся? Хорошо хоть удастся кое-когда стан из строя вывести.

— «Дядя» так сказал: каждый гвоздь, вбитый в бревно, — гвоздь в гроб Гитлера. А если стан простоит с полчаса, пока пилу будут менять, да пока что, вот и еще одной секундой ближе к победе.

— Вот и мы добавим секунду, — концом багра Рубенис ловко вогнал в бревно ржавый гвоздь, так что совсем исчезла шляпка. И когда минут через десять доносившееся со стороны лесопильного стана ровное пение пилы перешло в визг и затем умолкло, рабочий с довольной усмешкой кивнул головой:

— Сделано. Пусть теперь новую пилу ищут.

Так двое старых рижских рабочих помогали своим сыновьям-фронтовикам. Зимой они тайно радовались победам Красной Армии, вечерами сидели над картой и высчитывали, когда Красная Армия

достигнет границы Латвии. Сейчас так же тайно они носили в себе великую боль, слушая сообщение о продвижении на Восток немецкой армии. И чем ближе подвигались гитлеровские полчища к Волге, тем тяжелее становилось у них на душе. Но не теряли они веры в то, что немцев в конце концов погонят обратно. Пусть пройдут не месяцы, а годы, а сыновья все-таки вернуться с победой.

Неблагонадежные, граждане второго разряда... В определенные дни они должны являться в полицейский участок и расписываться в большой книге. Гестапо не спускает с них глаз, шпики кружат возле их домов, стараются подслушать каждое слово, им не доверяют даже в мелочах. Но неблагонадежных так много, что не помогают ни шпики, ни концентрационные лагеря: народ думает свою думу и неутомимо продолжает свою борьбу. Никакой террор, никакие угрозы не в состоянии сломить его упорство. На фабриках ломаются машины, производится брак, а по ночам ни один гитлеровец не чувствует себя спокойно на улице. Стены домов по утрам говорят с прохожими языком правды, и Штиглиц мобилизует стариков и старух, чтобы замазывать лозунги. Люди ходят молчаливые, замкнутые, смех не звучит в порабощенной стране, но под ногами гудит мостовая и в каждом взгляде горит одна мысль, единый возглас раздается из недр земли и из груди угнетенного народа:

— Смерть немецким оккупантам!

Глава пятнадцатая

1

Три месяца провела Рута Залите в госпитале, в маленьком городке на восточном склоне Урала. До войны городок ничем особенно не был известен, и в газетах редко появлялось его название. В конце 1941 года сюда прибыло несколько эшелонов из Москвы с рабочими и заводским оборудованием, и почти в несколько месяцев на голом месте вырос большой оборонный завод. О тихом городке на Урале мало писали и теперь, но время от времени в центральных газетах появлялись сообщения о заводе, где директором товарищ Скворцов; о героях труда, передовиках и мастерах своего дела, которые работали на этом заводе, рассказывали по радио. Но в городе знали, что говорится это именно о «нашем заводе».

Дважды подряд заводу присуждали переходящее Красное знамя

наркомата и денежные премии. Весною лучших рабочих и инженеров завода наградили орденами. Город вошел в историю.

Несколько самых больших и лучших зданий было оборудовано под госпитали. Вначале странным казалось, что окна по вечерам не затемняются, везде горит электричество, машины едут с включенными фарами, а если в воздухе слышится гул авиационных моторов, то это летят учебные самолеты.

«Какая ты огромная, Россия, — думала Рута, любясь в окно горной долиной. — Человеку за всю жизнь не исходить тебя, а Гитлер хочет завоевать. Пространство иногда и возможно завоевать, но как подчинить сотни миллионов людей, которые любят свою Родину и свободу сильнее жизни?..»

В середине мая Руте уже разрешили прогулку по госпитальному саду, который выходил на берег горной речки. Вместе с другими девушками она часами просиживала на скамье, смотрела на горы, на быструю, клокочущую на порогах речку; на другом берегу, по горным склонам, чернели дремучие сосновые леса.

— Если бы не война, как хорошо бы пожить в таком месте, — сказала Марина Волкова, высокая смуглая радистка, с которой Рута успела подружиться в госпитале. На Ленинградском фронте Марину ранило в локоть левой руки осколком немецкой мины, и только искусство хирургов спасло ее от увечья. Недавно ей сняли с руки гипс, теперь массажисты заботились о том, чтобы вернуть суставу подвижность.

— Рута, а ты могла бы прожить здесь всю жизнь?

— Здесь очень красиво... Но здесь нет моря.

— В моих родных местах нет ни гор, ни моря, только поля да березовые рощи, — сказала Марина. — Но если бы мне пришлось жить еще где-нибудь, я бы всегда вспоминала эти березы. Знаешь, летним вечером — тихо, стоят они, не шелохнутся, и только вокруг жужжат комары. Правда, смешно, что человеку может нравиться это? Ну что хорошего в этих комарах? Но как представлю эту картину, мне сразу кажется, что я дома. И потом, когда я вспоминаю шалаш из еловых ветвей в прифронтовом лесу, маленький костер... так тепло-тепло на сердце становится и хочется опять туда. Как будто и там твой дом...

— Не говори, Марина, — сказала Рута. — Я как вспомню, тяжело становится. Ужасно хочется обратно к товарищам... в снега и болота. Теперь снег уже сошел, все в лесу зазеленело... Представь себе — густой кустарник, и в нем залегли стрелки, мои дорогие друзья. Немцы их не видят, а приблизиться не смеют — из-за каждого куста летят пули. Марина,

ведь мы пойдем на фронт, когда нас выпишут?

— У тебя прямо партизанская душа, Рута, — улыбнулась Марина, — кусты, лес, товарищи-невидимки... Тебе бы партизанкой стать. Это тоже так заманчиво.

— А ты бы хотела?

— Да ничего бы не имела против. Война остается войной. Главное, чтобы всегда лицом к лицу с врагом. Пока война не кончится, я к работе в тылу неспособна.

— А после войны?

— После войны я вернусь в свое село и буду работать учительницей. Я ведь уже целый год преподавала. А ты?

— Мне еще надо искать свое место в жизни.

Майское солнце сияло над горами. Теплый ветерок шевелил листву деревьев, а внизу, над пенистым потоком реки, поднималось облако водяной пыли, в котором играли радуги.

«Красота, тишина, спокойствие...» — думала Рута. Но ей снова хотелось тревоги, трудностей, опасностей. Рана в боку зажила, но продолжала болеть другая рана — в сердце, — которую никто не видел и которую не могли унять никакие лекарства... — разве только вечное беспокойство и непрерывная деятельность.

— Нас, наверно, выпишут в одно время, — сказала Рута. — Давай поедем вместе, Марина. В дивизию. И постараемся попасть в одну часть: ты — радисткой, я — санитаркой.

— Мне бы тоже очень хотелось, Рута! Если только выйдет. Тогда тебе придется учить меня латышскому языку. А что — трудно научиться?

— Говорят. Но ничего нет невозможного. Если попадешь в нашу дивизию, то в каких-нибудь полгода научишься свободно говорить. А когда мы дойдем до Латвии, ты посмотришь, у нас тоже есть поля и березовые рощи. Но что ты обязательно должна увидеть — это море. Я уверена, ты его полюбишь. Море нельзя не любить. В мире нет ничего прекраснее моря.

— А море на каком языке разговаривает? — смеясь, спросила Марина.

— На всех, какие только есть на свете. Вы поймете друг друга с первого слова. Ты расскажешь ему, какой далекий и трудный путь прошла до него, а оно принесет к твоим ногам желтые зерна янтаря и скажет: «Это тебе в дар за твой великий труд и за то, что у тебя смелая, героическая душа». Когда только это будет?

Она вздохнула и с такой тоской посмотрела на горы, как будто увидела в глубокой дали лицо своей родины — милой, печальной Латвии, которая

ждет возвращения своих детей. Марина погладила Руте руку и прижалась щекой к ее плечу.

— Не горюй, Ручочка. Это непременно будет. Еще немного надо потерпеть.

В парке раздался звонок, созывающий больных на обед.

...В начале июня Руту с Мариной выписали из госпиталя. Им еще предстояло окончательно поправить здоровье в доме отдыха, и обе девушки очень обрадовались, узнав, что направляют их в одно место, куда-то под Москву.

Отметившись у коменданта, они решили посмотреть город, так как до отхода поезда оставалось около двух часов. Потом уж Рута пожалела, что пошла: на улице она столкнулась с Эрнестом Чундой.

2

Чунда шел с базарной площади, начинавшейся в конце улицы, и пустой мешок, который он держал подмышкой, доказывал, что он успешно отделался от своего товара. Он был в сапогах, бриджах, гимнастерке и пилотке — ни дать ни взять командир, только что демобилизовавшийся по инвалидности. Даже планшет висел на боку, только отличный цвет лица и гибкость движений не соответствовали этому впечатлению. Нет, на инвалида он ничуть не походил.

Довольный собой, он бодро шагал по деревянным мосткам, поглядывая по сторонам. Две молодые женщины в военной форме, идущие навстречу, вначале не привлекли его внимания, — такие встречались на каждом шагу. Но когда одна из них засмеялась и что-то сказала подруге, — он услышал удивительно знакомый голос и уже внимательно взглянул на говорившую. Он ее сразу узнал и остановился посреди мостков, так что нельзя было разминуться. Тогда женщины взглянули на него.

Лицо Чунды расплылось в радостную улыбку. Он протянул Руте обе руки и на всю улицу закричал:

— Гора с горой не сходится, а человек с человеком всегда встретится! Здравствуй, Рута...

В первое мгновение Рута растерялась и машинально подала Чунде руку. Заметив ее смущение, Марина что-то шепнула ей на ухо и быстро повернула обратно. Овладев собой, Рута без улыбки посмотрела на Чунду:

— Что ты здесь делаешь? Я думала, ты в Ташкенте...

Чунда улыбнулся.

— Для моих легких там слишком неподходящий климат. Врачи посоветовали более умеренный пояс. В марте я приехал сюда и теперь работаю начальником ОРСа на оборонном заводе. У меня на снабжении две тысячи человек. Можешь себе представить, как приходится крутиться! Все равно что целый полк снабжать.

«В марте... — думала Рута. — После того как на фронте произошел перелом и немецкую армию отогнали от Москвы. Да, конечно, тогда он решил, что смело можно работать даже на Урале».

— У тебя, конечно, броня? — спросила она.

— Ну, а как же. На нашем заводе все ответработники бронированы. — Тут он понял, что Рута над ним издевается, однако счел за лучшее не замечать этого. — Очень ответственное дело. На мне лежит забота о материальном благополучии всего коллектива. По нынешним временам это нелегко. А ты как здесь очутилась?

— Лечилась в госпитале после ранения.

Незаметно для Руты они свернули с шумной главной улицы к бульварчику, разбитому на высоком берегу реки. Там было несколько скамеек.

— Присядем, — предложил Чунда. — У тебя найдется время поговорить со мной?

Рута присела на краешек скамьи и положила вещевой мешок между собой и Чундой.

— Ты уже поправилась? — спросил он.

— Да, — ответила Рута, глядя на тот берег.

— И что теперь думаешь делать?

— Вернусь на фронт. Сначала в дом отдыха, потом опять в дивизию.

Чунда разглядывал с головы до ног свою бывшую жену. «Какая интересная, и незаметно, что была ранена... Даже пополнела за это время... вполне оформившаяся женщина». Странное беспокойство зашевелилось в его сердце.

— Когда ты собираешься ехать?

— Сегодня, московским поездом. Литер уже в кармане.

— Какой же это отдых будет? Одна, без друзей, ты там только измучаешься. А здесь прекрасные места, ты погляди только. — Он показал на реку. — У меня отдельная комната, с обстановкой. Можно будет иногда доставать легковую машину, чтобы прокатиться в горы. О питании тебе беспокоиться не придется...

— Так. А дальше что?

— Мне кажется, тебе лучше остаться у меня. За время отпуска

успеешь обо всем подумать, может быть передумаешь. Вдруг тебе здесь понравится. Я устрою тебя на нашем заводе, ведь у тебя есть опыт комсомольской работы. Где это сказано, что ты всю войну должна провести на фронте? Ты свой долг выполнила, у тебя даже ранение есть. Подумай-ка.

— Нет, я здесь не останусь. Я дала воинскую присягу и принадлежу Красной Армии. И потом я вовсе не желаю жить с тобой.

— Но ты все-таки моя жена.

— Ошибаешься, товарищ Чунда, — сказала Рута, поднимаясь со скамьи. — Я тебе не жена и жить с тобой не стану.

— Официально мы не разведены, — напомнил Чунда. Он тоже вскочил со скамьи.

— Ты для меня чужой человек, говорю это раз навсегда, — еле сдерживаясь, сказала Рута. — Я рада, что избавлюсь от тебя. И не надо мне ни твоей комнаты, ни твоей обстановки. Продолжай заботиться о своей шкуре и не вмешивайся в мою жизнь, перестань интересоваться моими делами.

Взяв вещевой мешок, Рута быстро пошла по бульварчику. Внушительная фигура Эрнеста Чунды, с планшетом на боку и с пустым мешком подмышкой, еще несколько минут оставалась неподвижной.

— Как знаешь, спрашивать не буду!..

Рута нашла Марину у коменданта. Они получили на дорогу сухой паек и опять вернулись на вокзал.

— Кого это ты давеча встретила в городе? — спросила Марина.

— Своего бывшего мужа... Да ну его, говорить не хочется, — с досадой ответила Рута.

Марина все поняла и перестала расспрашивать подругу. Но Рута была так выбита из колеи этой встречей, что сама почувствовала потребность облегчить душу. Через час она обо всем рассказала Марине.

— И хорошо сделала, что ушла от него, — сказала Марина. — Жалко, раньше я не знала, кто он такой, а то бы так с ним поговорила, что он бы от меня в первую подворотню спрятался. Эх, жалко...

Марина Волкова несколько лет назад была в Москве и немного знала ее. Недалеко от Белорусского вокзала жил ее дядя, главный инженер текстильной фабрики. Двоюродные сестры — студентка мединститута Шура и помощник начальника станции метро Вера — радостно встретили

обеих фронтовичек. Им тут же приготовили ванну, а Шура позвонила отцу на работу и стала просить, чтобы он уговорил Марину остаться хоть на несколько дней. Не переставали уговаривать ее и обе сестры.

— Дом отдыха никуда не денется. Оттуда ты без разрешения уезжать не можешь, а тебе надо побывать и в театрах и в кино.

— И проехаться по всем линиям метро, — добавила Вера.

С помощью Шуры и Веры Рута разузнала адрес Латвийского постпредства. Оно находилось тогда на улице Воровского, в одном здании с постпредством Литвы. Когда Рута пришла туда, вестибюль и все коридоры были полны народом. Приезжие из областей, инвалиды Отечественной войны, раненые, отправлявшиеся после лечения в свои части, несколько командиров из запасного полка, руководители центральных учреждений республик, писатели и художники — множество лиц, как в калейдоскопе, мелькало перед Руткой. Здесь сходились все пути с фронта и тыла, здесь билось сердце Советской Латвии.

В постпредстве Рута разговорилась со — старшим лейтенантом из запасного полка. Он ей сказал, что недалеко от Москвы, в Удельной, открыт дом отдыха для стрелков латышской дивизии. Можно достать туда путевку, потом поехать в запасный полк и ожидать отправки в дивизию.

— А сколько времени придется мне ждать? — спросила Рута.

Он ответил довольно неопределенно. — В зависимости от запроса. Когда дивизия нуждается в пополнении, штаб присылает извещение. Но санитаров в последнее время не требуют. Правда, вы можете остаться в запасном полку, там тоже нужны постоянные кадры.

— Благодарю вас, — не скрывая негодования, сказала Рута. — Не это меня интересует.

— Если хотите попасть на фронт скорее, вам лучше бы переквалифицироваться, — продолжал старший лейтенант. — Надо переучиться или на снайпера, или на пулеметчицу. Их требуется больше, чем санитаров. А переквалифицироваться вы можете только в запасном полку. Как ни вертите, то же самое получается.

Рута поговорила еще с несколькими стрелками, которые ехали из Удельной, и ей стало ясно, что попасть в дивизию — дело вовсе не такое легкое. Можно прождать полгода и больше, а если командование запасного полка решит зачислить ее в свои кадры, вполне вероятно, что ей до конца войны придется остаться в тылу.

— Благодарю, — сказала она еще раз и стала думать, как застраховать себя от таких перспектив. Сейчас она была готова отказаться и от дома отдыха и от отпуска, только бы попасть на фронт. Разве попробовать

добраться «голосованием», на попутной машине? Явиться в свою санитарную роту и сказать: «Вот и я, давайте меня, куда хотите...» У кого тогда хватит духа отправить ее обратно?

На южных фронтах немецкая армия рвется к Волге и Кавказу, Ленинград все еще задыхается в кольце блокады, а она будет считать дни и месяцы в запасном полку?

Тогда Рута решилась на отчаянный шаг: выпросила в постпредстве адрес одного из руководящих работников республики и прямо отсюда пошла в гостиницу «Москва». Без долгих размышлений она постучалась в дверь номера. Руководящий работник, — назовем его товарищем Н., — приоткрыл дверь и спросил Руту по-русски, что ей угодно.

— Вы товарищ Н.? — спросила Рута по-латышски.

— Да, я. Вы ко мне?

— Мне нужен ваш совет.

— Пожалуйста, заходите.

Это был небольшой уютный номер с окнами на Охотный ряд. Напротив было величавое десятиэтажное здание Совета Народных Комиссаров, а внизу, в широком ущелье между обеими архитектурными громадами, нескончаемым потоком шли машины.

Товарищ Н. подвинул к окну стул и пригласил Руту сесть.

— Наверно, с фронта? — спросил он, усаживаясь напротив.

На левой стороне груди у него блестел значок депутата Верховного Совета СССР. Не раз видела его Рута на больших демонстрациях в Риге, видела в лагере, когда дивизии вручались знамена, а последний раз она его встретила на фронтовой дороге у Шапкина, в тот день, когда ее ранили.

— Я была на фронте в дивизии и теперь не знаю, как мне попасть туда опять, — волнуясь, начала Рута. Она вкратце рассказала о себе: где работала до войны, как очутилась в дивизии и как ее ранило под Шапкином. Когда она дошла до разговора в постпредстве, товарищ Н. понял, какая забота привела к нему девушку.

— Я вполне здорова, — без остановки рассказывала Рута, — и ни в каком отдыхе больше не нуждаюсь. В запасном полку нужно ведь оставлять таких, которых нельзя послать на фронт. А зачем держать в тылу здоровых людей?

— И в запасном полку нужны полноценные кадры, — сказал товарищ Н. — Там готовят пополнение для дивизии, а пополнение должно быть хорошее, правильно обученное.

— Неужели и вы не хотите мне помочь? — испугалась Рута.

— Я хочу вам помочь, но мне нужно немного подумать, как это лучше

всего сделать. — Товарищ Н. поднялся со стула. С минуту он прохаживался по комнате, затем подошел к телефону и набрал номер. — Говорит. Н., — сказал он по-латышски. — Извини, что беспокою тебя во время заседания. Как обстоит у нас на специальных курсах с радистами? Полный комплект набрали? Что? Еще нескольких? Спасибо. Кажется, одну кандидатуру смогу предложить вам сегодня. Немного погодя я позвоню начальнику отдела кадров.

Он положил трубку и снова сел.

— У меня есть для вас одно предложение. Не знаю, как вы к нему отнесетесь, но, по-моему, оно должно отвечать вашему желанию.

— Мне надо переквалифицироваться, да? — разочарованно протянула Рута.

— Может быть, и нет. Вы и в качестве санитарки пригодитесь. Но если вы станете радистом, то принесете там гораздо больше пользы. Согласились бы вы отправиться в Латвию, в нашу партизанскую бригаду? Это тоже фронт, вы это понимаете. Жизнь там будет нелегкая. Постоянные лишения, тяжелая борьба, на каждом шагу опасности. Не каждому это по силам, но мы и не каждого туда пускаем.

— Согласна! — Рута покраснела, глаза у нее заблестели. — Я буду выполнять любые задания, только не посылайте меня в запасный полк.

— Не пошлю, не пошлю... — улыбнулся товарищ Н. — Вам недельки две надо будет побыть в доме отдыха, потому что курсы начнут работать только в начале августа. Имейте в виду, что никто не должен знать, к какой работе вы готовитесь и куда вас направляют. Об этом будут знать лишь несколько человек из штаба партизанского движения. Когда придет время, можно будет говорить во всеуслышание.

— Я понимаю, только... У меня к вам еще одна просьба. Вы сказали, что мне надо учиться на радистку. Хорошо, я выучусь. Но у меня есть одна очень хорошая подруга, она уже работала радисткой на Ленинградском фронте. Мы вместе в госпитале лежали и вместе в Москву приехали. Вы бы приняли ее в партизаны? Ее звать Марина Волкова. На фронте ее приняли в кандидаты партии. Можно мне поговорить с ней?

— Только в принципе, безотносительно к нашей беседе, — сказал товарищ В. — Если она выразит желание пойти в партизаны, мы познакомимся с ней и тогда решим. Важно, что она уже работала радисткой.

Поздно вечером вернулась Рута на квартиру Волковых. Марина уже вдоволь наговорила со своими родственниками, и после ужина обеих фронтовичек отпустили спать. Им постелили на широкой тахте в столовой.

Вера ушла на ночное дежурство, а Шура еще несколько часов просидела в кабинете отца — готовилась к государственным экзаменам. Как только Рута с Мариной остались одни, Рута сразу стала выяснять важный вопрос: хотелось бы Марине пойти в партизаны?

Ответ был такой, какого и ждала Рута.

На следующий день они пошли к начальнику отдела кадров штаба партизанского движения, заполнили анкеты и к вечеру уехали электричкой в армейский дом отдыха под Москвой. Шура и Вера обещали навестить их в следующий выходной день.

4

Дом отдыха находился в живописной местности, недалеко от реки и соснового бора. Осенью 1941 года немцы до него не дошли километров восемь, поэтому все здесь уцелело.

Руте с Мариной отвели небольшую комнатку во втором этаже. Прямо за окнами начинался лес. Эту комнатку остальные отдыхающие скоро прозвали цветочным магазином, и не без основания: девушки в первый же день натаскали в нее столько цветов, что не хватало ни посуды, ни места, куда их девать. Кругом — и в лесу и по лугам — их было такое обилие, что нельзя было удержаться от соблазна, и они возвращались с прогулок с целыми венками.

Украсив свою комнату, девушки не успокоились до тех пор, пока на каждом столе в столовой и в гостиной не оказалось по красивому букету. Потом дошла очередь и до остальных комнат. Им помогали и другие отдыхающие.

Люди, которые месяцами жили среди грохота, гула и огня, которые валялись в болотной тине и месили грязь фронтовых дорог, теперь гуляли по лесу, слушали пение птиц, упивались волшебной тишиной и покоем.

Рута в первый же вечер за ужином обратила внимание на лейтенанта Сорокина. Он был командиром танка, после тяжелого ранения долго лежал в госпитале и теперь отдыхал перед отъездом на фронт. Это был немолодой уже человек, ниже среднего роста, но очень крепкого сложения. У него были ярко-голубые глаза и седые виски. На следующее утро Рута увидела его на террасе. Вокруг него собралась кучка детей, он что-то рассказывал им. Один малыш сидел у него на коленях и, конечно, теребил, на его груди медали и новый орден Красного Знамени. Рассказывая, Сорокин все время поглаживал светлую головку ребенка.

Вечером после ужина, когда Марина и Рута сидели в саду, Сорокин подсел к ним на скамейку, неловко улыбнулся и сказал:

— Такой вечер... как-то не хочется оставаться одному. На фронте мы всегда были вместе, и работали и отдыхали всем экипажем. Отвык я от одиночества. Но если я вам мешаю, скажите, можно и уйти.

— Что вы! Вы нас не стесняете, — сказала Рута. Ей на самом деле очень хотелось познакомиться с ним поближе.

Понемногу они разговорились, Сорокин очень охотно и просто рассказывал о себе. Войну он начал рядовым, но за боевые заслуги ему присвоили офицерское звание, и теперь вот — лейтенант.

— В нашей бригаде я был самый великовозрастный лейтенант, и товарищи прозвали меня папашей. Весной после госпиталя меня на две недели отпустили к родным. Они у меня далеко, в Сибири. И знаете что, еду я домой, а самому страшно. Думаю, как бы домашние мои не испугались, когда увидят, как я изменился. Не в том дело, что постарел, что виски побелели, — это-то ничего. Увидят, думаю, что я душой огрубел, ожесточился. До войны я сущим ягненком был, не мог букашки обидеть. Даже в детстве драться не любил. А тут сколько мне всякого повидать пришлось. Если подсчитать хорошенько, у меня на счету не меньше трехсот уничтоженных гитлеровцев. И как я их уничтожал! И прямой наводкой из орудия, и утюжил гусеницами, и на полном ходу врезался своим КВ в самую гущу и размалывал их, как в мясорубке. Ну что я буду вам рассказывать... словом, никакой пощады не знал. В таких случаях одно чувство остается — ненависть и хладнокровный расчет. Вот я сказал: ненависть. Это не то чтобы опьянение какое или ярость — пришло и ушло. Нет, я никогда не сумасбродничал. Только сожму зубы и наезжаю на них. Как на жнейке в поле. Вот я и думаю — у меня, наверно, камень вместо сердца стал, больше не смогу и на своих детей радоваться. Ну, поехал... И что же вы думаете? На следующий день жена просит заколоть поросенка — не знает, чем угостить на радостях. Достал я кинжальчик, с полчаса ходил вокруг этого поросенка, и — верьте не верьте — духу не хватает. Не могу — и все. В конце концов пришлось жене идти к старику соседу. И пока он там возился, я ушел в лес, чтобы не слышать этого визга. Тогда мне и стало понятно, что нисколько я не изменился. Просто, раз я люблю свою Родину, то иначе действовать с ее врагом не могу. Ведь сколько же он зла сотворил, что он с детьми, со стариками делал. И кто его пожалеет — тот не жалеет свой народ и Родину; вот тот действительно бессердечный человек. Теперь я больше не боюсь, что душой огрубею. Думаю, и с другими так.

Эту душевную деликатность, благородство советского человека Рута

чувствовала на каждом шагу, и не только в большом, но и в малом. Эта душевность звучала в его песнях; о ней свидетельствовала всеобщая радость за товарища, который получал из дому письмо. Она выражалась даже в заботах о вороненке со сломанным крылом, которого нашел в лесу какой-то сержант и с которым возились сейчас все отдыхающие. Она была и в запахе тех самых цветов, которые собирали Рута и Марина на подмосковных лугах. Пусть жестокой, ужасной была война — она не в силах была искалечить душу советского человека.

...Несколько раз Марина с Рутой ездили в Москву — побывали в театрах и на концертах. В один из таких приездов они случайно встретили несколько девушек фронтовичек, которые отдыхали в Удельной. Те рассказали, что в следующее воскресенье в Удельную приезжает бригада латышских артистов, и пригласили в гости Руту с Мариной.

В воскресенье утром они поехали в Удельную. В доме отдыха Рута встретила с Марой Павулан. Мара ее не забыла и очень обрадовалась.

— Как поживает Айя? — прежде всего спросила Рута, когда кончился концерт и они пошли погулять. — В Москву не собирается? Как старик Мауринь? Что поделывает Марта Пургайлис?

— Айя, конечно, ни одного дня не может усидеть на месте, — рассказывала Мара, — недавно организовала школу фабрично-заводского ученичества для латышских ребят и девушек. Дядю Мауриня наградили орденом Красной Звезды за отличное снабжение артиллерийских заводов упаковочным материалом — они производят ящики для мин или для снарядов, не знаю точно. Первого мая его принимали в партию; Айя рассказывала, очень торжественно это происходило. Марта Пургайлис работает в детском доме; кроме того, она ответственный организатор по району. Тоже вступает в партию. От мужа недавно получила письмо, — пишет, что уже ротой командует. Так быстро люди растут...

— А вы как? — уже более робко спросила Рута. Мара ей очень нравилась, но она немного стеснялась ее, смотрела снизу вверх. «Она такая талантливая, такая знаменитая».

— Не спрашивайте, — Мара засмеялась, — все время в движении. В Иваново организовался латышский художественный ансамбль, собрались почти все артисты. У нас есть хор и драматическая труппа, несколько отличных солистов. Сейчас подумывают даже об организации латышского оркестра и собирают всех музыкантов. Теперь все время выезжаем то в запасный полк, то в госпитали, в военные училища и потом в районы, где есть много латышей. За последние месяцы я столько новых мест перевидала, больше чем за всю прежнюю жизнь. Но даже не в новых

местах дело. Главное — люди. Если бы вы знали, с какими людьми приходится знакомиться каждый день. И это везде — в госпиталях, на заводах... Ну, а вы как? Довольны своей судьбой?

— Не могу на нее жаловаться, — сказала Рута. — Разве вот на то, что столько времени в госпитале пролежала. Ну, постараюсь наверстать, когда вернусь туда.

— Вы-то вернетесь... Если бы мне позволили хоть несколько дней погостить у наших стрелков. До сих пор как-то не посчастливилось. Жалко, что я не певица, тогда бы скорее попала. Правда, Аня давно обещает. Но я и верить перестала. Можете считать это кокетством, хотя это суцая правда: очень я вам завидую.

— Конечно, верю, — с гордостью сказала Рута. — Сама это испытала. И если бы у меня не было уверенности, что я вернусь туда, мне бы тоже было завидно.

Глава шестнадцатая

1

Вышний Волочок — небольшой красивый городок у канала, прорытого еще при Петре Первом. Озеро, лесопилки, сосновые леса, магистраль Москва — Ленинград. Здесь Латышская стрелковая дивизия осенью 1942 года остановилась на кратковременный отдых. Здесь в ненастный октябрьский день герои Подмосковья и Старой Руссы стали советскими гвардейцами.

Позади остались жаркие бои у реки Ловати и у Тутанова; надоевшая всем, требующая большой выдержки позиционная война против окруженной немецкой армии; дни и ночи на однообразной равнине, где трудно было ориентироваться даже опытному разведчику, а бывалые солдаты плутали, возвращаясь с первой линии на вторую... Одинокие высоты, за которые, как за знаменитые крепости, дрались обе армии... Как гнезда стрижей, прячущиеся по крутым берегам речушки, сырые штабные землянки... Болота и заросшие бурьяном развалины деревень.

Там, на высотке, которую стрелки за характерную ее форму прозвали «Огурцом», Петер Спаре со своими бойцами держал оборону. В июльский солнечный день несколько часов подряд двадцать три немецких самолета бомбили этот небольшой клочок земли, который возвышался над остальной

местностью всего на несколько метров. С командного пункта дивизии было ясно видно, как заходят бомбовозы, как пикируют по одному и затем в воздух поднимаются огромные столбы земли.

— Там ни одной живой душе не укрыться, — говорили наблюдатели.

В штабе дивизии уже раздумывали, какую роту послать после бомбежки на высотку, чтобы заменить погибших товарищей на важной позиции, откуда можно было держать под огнем всю окрестность. Но бомбежка продолжалась, столбы земли взлетали в воздух и засыпали все вокруг. Когда немецкие самолеты, сбросив весь груз бомб, улетели, неприятельская пехота поднялась в атаку, спеша захватить высотку.

Ближе и ближе подходили серо-зеленые цепи, и молчание развороченной высотки придавало им храбрости. Но когда до — цели осталось метров пятьдесят, из разбитых окопов, из воронок, из-за куч земли немецкие цепи начал косить огонь винтовок и автоматов. Казалось, мертвые стрелки встали из огромной могилы, чтобы в — последний раз выполнить свой воинский долг. Это было так непостижимо, что неприятель растерялся от неожиданности; потерпев большой урон, поредевшие цепи фашистов откатились к своим исходным позициям. Только под вечер, когда с высотки пришел связной с донесением, стало известно, что в результате этой ужасной бомбежки только один стрелок был контужен да человек пять засыпало землей, но и тех успели вовремя открыть.

Поплакала Аустра Закис в тот сумасшедший день. Потом она, правда, очень стыдилась этих слез, но кое-кто успел их заметить. И если кому хотелось подразнить девушку, достаточно было спросить, кого она в тот раз оплакивала; Аустра упорно отмалчивалась.

Все это осталось за плечами. Стрелки немного перевели дух и стали готовиться к зимним боям.

Однако то же настроение нетерпения и беспокойства, которое год назад переживали старые бойцы в лагере дивизии, царило и здесь. Судьба страны решается в эти дни на Волге — значит, надо оттянуть на себя побольше немецких войск оттуда, от Сталинграда, — так чувствовалось, так думало большинство стрелков.

Пятого октября стало известно о приказе Сталина: за проявленную отвагу в боях за Отечество с немецкими захватчиками, за стойкость, мужество, дисциплину и организованность, за героизм личного состава 201-я Латышская стрелковая дивизия преобразовывается в 43-ю Гвардейскую латышскую стрелковую дивизию.

Гвардейцы, лучшие из лучших, избранные мастера боя! Еще в начале своего пути, уходя на фронт, стрелки мечтали быть среди первых. Теперь

это достигнуто. Вот она, благодарность Родины за беззаветную отвагу в боях под Москвой, за стойкость и непреклонность в трудные дни у Ловати. Недаром бесстрашно шли они на смерть в первом бою; не забыты те, кто сложил головы на болотистой равнине у Туганова. Партия и правительство видели борьбу латышских стрелков и признали их достойными стать в первых рядах Красной Армии.

— Мы оправдаем доверие партии, доверие товарища Сталина, — с волнением говорили один за другим стрелки. — Где нет дороги, где не пройдет ни человек, ни лесной зверь, — там должны пройти гвардейцы. Ни горы, ни леса, ни озера, ни реки, ни гиблые болота не задержат латышских гвардейцев. Незапятнанным пронесем мы свое знамя до седой Риги, до самого моря — всюду, куда прикажет идти Родина. Берегись, враг: идет советская гвардия!

За городом, посреди поля, была поставлена простая трибуна. Дул резкий ветер. Ливень сменялся градом, когда председатель Президиума Верховного Совета Латвийской ССР вручал генералу Вейкину гвардейское знамя и вся дивизия повторила торжественную клятву, прочитанную ее командиром. В тот день все руководство республики было здесь, у гвардейцев. Секретари Центрального Комитета Коммунистической партии Латвии, Народные комиссары и известные писатели смотрели на проходящие торжественным маршем полки, в рядах которых было много их близких товарищей и друзей. И когда парад кончился и полки направились к местам своего расположения, сквозь непогоду зазвучала рожденная еще в лагере «Песня стрелков», которую так полюбили в дивизии:

Чтоб Риге прогреметь скорей.
Рази, рука моя, верней!
Тому, кто рабство нам несет,
Вопьется пуля в лоб.

Вечером стрелкам раздавали гвардейские значки. Не всем хватило их на этот раз, поэтому особенно гордились те, кому они достались.

В тот же вечер дивизия получила приказ погрузиться в эшелоны и отправиться на фронт. Все пришло в движение.

До Крестцов ехали по железной дороге, а дальше двигались походным маршем — через вековые леса и необозримые болота; изредка, как забытый островок, показывались на их пути древняя деревушка или домик лесника, так же редко попадались и люди. Для нужд фронта через эти леса была проложена дорога. Кровлей нависли над ней мохнатые ветви елей, и с воздуха она была незаметна, поэтому немецкая авиация здесь не беспокоила. Каждый день дивизия делала переход в тридцать километров. Ночевали в лесу, а после того как лесная дорога соединилась со Старорусским шоссе, переходы совершали ночью.

Лейтенанту Пургайлису повезло: он застрелил медведя, который слишком близко подошел к дороге. В тот вечер вся рота хорошо подкрепилась, не забыли послать по отменному медвежьему окороку батальонному и полковому командирам.

В конце октября дивизия достигла места назначения. Кругом стояла глубокая, непролазная грязь. Шел холодный дождь. Неизвестно было, сколько времени дивизии придется простоять на второй линии, поэтому ротам приказали приготовиться к длительной стоянке. Это легко сказать, но гораздо труднее было убедить стрелков, что вместо шалашей из ветвей, которые они поставили в первый же вечер, надо построить теплые и сухие землянки с нарами и печурками. Зима была не за горами. Все с нетерпением ждали первого мороза, — только он мог избавить от ужасающей грязи, — но постройка землянок казалась делом ненужным.

— Все равно мы здесь долго не пробудем, — рассуждали стрелки. — Как только построим, придется идти на первую линию. Вся работа пропадет даром...

Но как они ни ворчали, приказ оставался приказом, и землянки построили в самое время: накануне годовщины Великой Октябрьской революции ударил мороз. За одну ночь земля затвердела, лужи покрылись толстым льдом. И как же приятно было теперь, после учений, присесть у теплой печурки, отогреть озябшие руки и развесить сырые портянки.

После вручения гвардейского знамени секретарь Центрального Комитета и несколько членов правительства проводили дивизию до нового участка фронта и пробыли там две недели. Вместе с командиром дивизии генералом Вейкиным они каждый день верхом объезжали по очереди все полки, проверяли, как устроились стрелки и какова их боевая готовность. Они проводили собрания со стрелками, с комсомольцами и партийным активом, с командирами и политработниками. Несколько раз они присутствовали на тактических учениях, а в остальное время посещали то одну, то другую часть и запросто беседовали со стрелками о их нуждах и

заботах.

Гвардейцы поняли, что их снова ждут серьезные боевые дела. До переднего края было километров десять; над тихими водами Полы гремела канонада, по ночам вспыхивали ракеты. Но больше, чем события на своем участке фронта, волновал дивизию каждый эпизод сталинградских боев. День начинался и кончался одной мыслью: неужели врагу удастся шагнуть на восточный берег Волги? Каждый понимал, что означала эта титаническая битва, и потому так велико было нетерпение стрелков, желание скорее броситься в бой, оправдать звание гвардейцев. Но проходили дни за днями, а их все держали на второй линии.

— Учитесь... — говорили командиры.

...Андрей Силениек был назначен агитатором полка, и ему постоянно приходилось бывать во всех подразделениях.

Сегодня он зашел к лейтенанту Пургайлису, который теперь командовал ротой вместо Жубура. Как истый хозяин, он построил для своих людей такие солидные землянки, что в них при любом морозе можно было спать в одном белье.

— Не мешало бы к Юрьеву дню прийти в Латвию, — сказал он Силениеку. — Как раз успели бы к севу. Опять же если дома разрушены, к осени можно отстроиться на скорую руку. Строить мы теперь все умеем.

Два ордена блестели на груди Пургайлиса. Он воевал и думал о будущем урожае на полях Латвии, и не переставал думать об этом в самое мрачное время, когда гитлеровские полчища рвались через Волгу к просторам Азии, а у преддверия Кавказа специальный корпус ждал часа, когда ему прикажут оккупировать Индию.

Аугуст Закис, недавно получивший звание капитана, стал командовать первой ротой, после того как был ранен Имак. Он тоже повел Андрея смотреть землянки. В этой роте любили музыку и песни; бойцы здесь были под стать командиру — отчаянные, смелые ребята. И если надо было снять немецкий секрет, достать во что бы то ни стало «языка» или уничтожить пулеметное гнездо, которое мешало продвижению батальона, — нигде не справлялись с этим так быстро и основательно, как в роте Аугуста Закиса. Однажды он сам с двумя стрелками дополз до немецкого блиндажа и спустил по железной трубе несколько ручных гранат. Стрелков наградили, а командир роты получил выговор за участие в этом походе без разрешения командира батальона. Через некоторое время выговор пришлось снять: Закис воевал мастерски, и его приняли в кандидаты партии. А как же принимать в партию с выговором!

На обратном пути Силениек встретил Юриса Рубениса. Юрис

наконец-то отделался от своих хозяйственных обязанностей: в Вышнем Волочке его перевели политруком в роту разведчиков.

— Скоро, Андрей, услышишь и про нас, — сказал он. — Если командир полка пожелает иметь беседу с живым немецким генералом, ты только мне моргни — доставим в два счета. У меня такие ребята — в кромешной тьме десять лесов пройдут и выйдут куда нужно! У них есть шестое чувство, без этого немислим настоящий разведчик.

— Ты лучше скажи, что пишет Айя, — спросил Силениек.

— Все с эвакуированными возится. Рвется к нам в гости, но ничего не выходит. Передает тебе привет и просит, чтобы ты присматривал за мной. Но я думаю, у тебя работы и так хватает. Шутки шутками, а когда все-таки у нас начнется? Когда замерзнут болота?

— Задавай вопросы полегче, — улыбнулся Силениек. — Ведь знаешь, что я не состою членом Военного совета фронта.

— Жалко, жалко, что не состоишь. Да ведь все равно не сказал бы.

— Не сказал бы.

Большинство разведчиков были молодые ребята. К полковому агитатору они обращались только с одним вопросом: когда будет работа? Привыкнув к опасным рейдам по тылам неприятеля, теперь они томились от скуки.

В эти дни — дни Сталинграда — все нетерпеливо ждали боев, начала большого наступления.

«Нет, народ, у которого такие сыновья, никому и никогда не поставить на колени, — думал Силениек, обходя свой полк. — Не победить его, не разбить сталинградскую скалу. И хоть крепко не нравится это мракобесам всего мира, а коммунизм мы все же построим и вырастим нового человека. Он уже растет на твоих глазах, Андрей».

Мечта Юриса Рубениса сбылась довольно скоро. Его бывший полк получил боевой участок, и разведчики должны были выяснить, какие силы ему противостоят. Достать немецкого генерала им не поручали, достаточно было обычного «языка».

Каждую ночь несколько групп отправлялись в опасный поиск и шаг за шагом прощупывали расположение неприятеля перед участком полка. Они обнаружили несколько хорошо замаскированных пулеметных гнезд, глубоко врытые в землю дзоты и главные ходы, по которым немцы

поддерживали сообщение со второй линией. Это было важно, но этого было недостаточно. Надо было выяснить, на какую глубину эшелонирована в этом месте оборона неприятеля и с какой стороны лучше всего к нему подобраться, чтобы сохранить живую силу.

— Без «языка» дело не пойдет, — сказал Юрис начальнику разведки дивизии. — Чего бы это ни стоило, надо добыть живого немца — лучше всего офицера или штабиста. Разрешите выйти на охоту, товарищ майор. У меня несколько ребят говорят по-немецки, как фатерландцы. К ночи надо ждать снега. Можно будет отправиться на лыжах.

— Только вы свое «чего бы то ни стоило» из головы выбросьте, товарищ Рубенис, — сказал начальник разведки. — Всякой вещи своя цена. А за «языка» мы не можем платить больше его стоимости.

— Есть, товарищ майор. Постараемся обойтись без потерь с нашей стороны. Значит — разрешаете? Когда прикажете начать выполнять задание?

— Лучше сегодня же ночью.

Юрис отобрал шестерку самых опытных разведчиков, проверил, не страдает ли кто кашлем или насморком, и велел готовиться к операции. Бойцы взяли с собой автоматы, несколько дисков с патронами, тол, несколько ручных гранат, ножницы для резания проволоки и сухой паек на несколько дней. И когда спустились ранние зимние сумерки, семь белых фигур тихо заскользили на лыжах. Вытянувшись в цепочку, они перешли по одной лыжне нейтральную зону и через замерзшее болото пробрались в тыл первой линии обороны немцев. Этот проход они разведали еще раньше. По обе стороны его находилось по пулеметному гнезду; здесь не могли пройти ни танки, ни орудия, а возможное наступление пехоты враг думал парализовать перекрестным пулеметным огнем. По болоту разведчики метров сто ползли на животе, пока не очутились за небольшим холмиком. Тогда они снова стали на лыжи и минут десять шли прямо на запад, до самой дороги... С потушенными фарами, подавая тихие сигналы, проезжали мимо них грузовики с боеприпасами. Покачиваясь на рытвинах, прошел санитарный автобус. В заманчивой близости от себя Юрис увидел небольшую штабную машину с несколькими седоками, — с уверенностью можно было сказать, что офицеры. И так легко их уничтожить! Но не для этого они пробрались сюда.

Юрис выслал вправо и влево двух разведчиков на поиски телефонной линии. Они очень долго не возвращались. Юрис уже начал беспокоиться, когда к нему подполз один из них.

— Товарищ старший лейтенант, метрах в двухстах отсюда —

минометная батарея, — зашептал, выдыхая клубы пара, Никита Журавлев, ладный уралец. — Несколько шестиствольных... и целая гора ящиков с минами. Товарищ старший лейтенант, взорвать бы... только один часовой, остальные, наверно, в блиндаже парят бока. Разрешите, товарищ старший лейтенант, и не очень много тола потребуется. Только сначала надо кончить этого фрица, затушит еще бикфордов шнур.

— Потерпи, Журавлев, ведь здесь тебе не тактические занятия. Нам «язык» нужен. Когда добудем его, можно и подорвать. Телефонных проводов не видал?

— Есть, вон там. От батареи тянутся по кустам в ту сторону, — он показал рукой направление.

— К штабу полка, значит, — кивнул Юрис.

— А нельзя нам того фрица, который на посту, взять вместо «языка»? — не успокаивался Журавлев. — Одним махом будет сделано.

— Если ничего лучшего не подвернется, придется ограничиться им.

Вернулся и второй разведчик — рыбак из-под Лиепайи Вирзинь. Тот телефонных проводов не обнаружил, но тоже не без толку ходил.

— В полукилометре отсюда перекресток дорог с шлагбаумом, с усиленным постом, — докладывал Вирзинь. — Останавливают и машины и пешех. Я подслушал пароль, товарищ старший лейтенант... «Мюнхен», а отзыв «Майн». Я два раза подслушал. Они тихо говорили, но я слышал. Ветер дул на меня... Я лежал в канаве у самого шлагбаума.

— «Мюнхен — Майн»... — повторил Юрис. — Ты, Вирзинь, золото, а не парень. Да ты понимаешь, как ты нас осчастливил? Теперь у нас есть пропуск в тыл, и мы можем разгуливать там, как у себя дома. То есть не совсем, конечно, — быстро поправился он, — но теперь можно без скандала подойти к любому часовому. Журавлев!

— Слушаю, товарищ старший лейтенант.

— Веди нас к телефонной линии. Если по дороге окликнут, — отвечать буду я.

— Есть...

Белые фигуры задвигались по снегу, и крупные сухие снежинки быстро заматали их след. Через несколько минут Журавлев нашел провод и кивнул Юрису:

— Вон там, направо, эти шестиствольные...

Но Юрис Рубенис повернул влево и повел свою группу на запад, вдоль провода. Иногда они останавливались и прислушивались. В одном месте они вовремя заметили связиста, проверявшего телефонную линию; немец шел им навстречу по другую сторону провода. Они подождали, пока он не

удалился шагов на тридцать, потом пошли дальше. Вирзинь несколько раз оглянулся: он не мог примириться с мыслью, что гитлеровца оставили в живых — можно ведь было успокоить без всякого шума. Не поймешь этого Рубениса.

У Юриса забилось сердце, когда он заметил небольшой бугорок, к которому тянулся телефонный провод. Там был штаб, там должен находиться как раз такой «язык», о каком он мечтал. Бугорок оказался блиндажом, построенным среди кустарника, — полковой или батальонный командный пункт. Видны были окрашенные в белый цвет бревна накатов. Немцы свои блиндажи строили основательно, на всю зиму.

«Ну, Юрис, поплюй себе на ладони, старый грузчик».

Шагах в десяти от блиндажа они залегли и стали наблюдать. Протоптанная в снегу тропинка вела к другому бугорку побольше. За блиндажом, у которого оканчивался телефонный провод, по временам поскрипывал снег, — там переступал с ноги на ногу часовой. Один раз стукнула дверь, и высокая темная фигура с папкой подмышкой прошла в сторону большого блиндажа. Когда и там стукнула дверь и погас мелькнувший на мгновение бледный свет, Юрис кивнул Вирзиню. Они поднялись и вышли на тропинку. Уверенным шагом, как свои люди, приближались они к блиндажу. На тихий оклик часового Юрис так же тихо буркнул: «Мюнхен», часовой ответил: «Майн» — и отступил в сторону, освобождая дорогу.

Юрис, не дав крикнуть, схватил его за горло, Вирзинь — за руки и, подставив колено, повалил лицом в снег... Труп унесли в кусты и спрятали в глубокий сугроб. Двое разведчиков засели в кустах по обе стороны блиндажа, а Юрис, Журавлев и остальные, взяв наизготовку автоматы, вошли в блиндаж.

Молодой узкоплечий майор сидел у стола, боком к дверям, и смотрел на карту, исчерканную синим, красным и черным карандашами.

— Кто там? Что нужно? — недовольно спросил он и повернул голову к двери.

— Руки вверх! — крикнул Юрис по-немецки, а Журавлев ринулся вперед. У майора перекосилось лицо, глаза округлились, а руки медленно поднимались кверху, в то время как Журавлев обезоруживал его.

Ему заткнули рот, скрутили руки. Захватив карту, планшет и все достойное внимания, разведчики очистили от документов карманы майора и двинулись в обратный путь. Вирзинь и Журавлев попеременно несли связанного пленного, взвалив, как мешок, на спину. На тяжесть они не жаловались. Прежней дорогой снова достигли минометной батареи.

Немецкий связист им не встретился, наверно зашел погреться к минометчикам.

— Товарищ старший лейтенант, теперь бы можно... — напомнил Журавлев, кивнув в сторону батареи. — Жалко так оставлять.

Юрис немного подумал.

— Тогда оставайтесь с Гутманом, — прошептал он. — Вдвоем будет веселее. Только не сейчас. Подожди с полчаса, пока мы с «языком» минуем проход, где пулеметные гнезда.

— Ясно, товарищ старший лейтенант, — ответил Журавлев.

Пленного майора теперь попеременно несли Вирзиль с Юрисом, а с Журавлевым остался один из лучших лыжников полка, маленький Гутман из Алуksне.

Разведчики кивнули им на прощанье и пошли дальше. У дороги им пришлось несколько минут подождать, пока не проехала грузовая машина, потом перешли ее и через полчаса миновали болото, за которым начиналась нейтральная зона. Все время шел снег, поэтому продвигаться можно было сравнительно уверенно. Еще минут через десять они наткнулись на свой дозор в том самом месте, откуда несколько часов назад начали разведывательную операцию. В то же мгновение позади, за первой линией немецкой обороны, раздался взрыв и сквозь снежную мглу блеснула яркая вспышка.

— Журавлев с Гутманом... — первый раз за эту ночь громко сказал Юрис. — Удачно им выбраться!

— Будьте за них покойны, товарищ старший лейтенант, — сказал Вирзиль, вытирая пот с лица. Он наконец-то освободился от своей ноши; теперь немецкий майор мог идти сам. — Такие ребята не пропадут. Слышь, слышь, что там началось!..

Там не переставая рвались мины. Не то заметив что-то, не то просто с перепугу немцы открыли пулеметную стрельбу, стали пускать ракеты. Шум продолжался довольно долго.

Юрис Рубенис отвел пленного в штаб полка. Оттуда его немедленно переправили в дивизию, но и там не стали долго расспрашивать: «языком» заинтересовались и в штабе армии.

Журавлев с Гутманом пришли только следующей ночью. Двадцать часов пролежали они в сугробе и наблюдали, как немцы бегали и сустились, разыскивая следы разведчиков, захвативших с собой начальника штаба полка со всеми документами. От шестиствольной минометной батареи не осталось ничего.

Случай этот описали во всех газетах фронта. Смелый рейд латышских

разведчиков целую неделю служил главной темой разговоров среди бойцов и командиров. Всех участников его наградили орденами и медалями.

Юрис при первой же встрече с Силениеком спросил:

— Ну, как теперь считаешь, где мне лучше работать: в интендантстве или у разведчиков?

Андрей засмеялся и покачал головой:

— Ты у меня молодец, дело известное. Придется, видно, согласиться, что твое место у разведчиков.

— По крайней мере честь семьи спасена, — сказал Юрис.

4

Батальон капитана Жубура атаковал важный опорный пункт немцев. Этот опорный пункт — сильно укрепленная высота на краю болота — после жестоких схваток был занят, и теперь там стояли два взвода первой роты с несколькими пулеметами. В трехстах метрах к югу от холма, у перекрестка дорог, находились полуразрушенные строения совхоза. В этом месте латышская дивизия должна была перерезать шоссе и вбить клин между двумя пехотными дивизиями немцев. Пока высота не была взята, наступление на совхоз грозило большими потерями, поэтому батальон Жубура получил сегодня это предварительное задание, которое блестяще выполнили гвардейцы капитана Закиса и лейтенанта Пургайлеса. Надо было рассчитывать на то, что немцы не примирятся с потерей важного опорного пункта и попытаются вернуть его; ввиду этого обеим ротам приказано было срочно укрепиться — насколько это возможно за такой короткий срок, на ровном болоте, где единственным прикрытием служили мерзлые кочки да — искалеченные пулеметным огнем и осколками мин молодые сосенки. Немыслимо было долго удержаться на этом месте; но долго и не надо было: всего одну ночь до рассвета, когда весь полк начнет атаковать совхоз у перекрестка дорог.

Убедившись, что ротные командиры правильно выполняют задачу, Жубур в сумерки вернулся на свой командный пункт. Небольшой блиндаж в три наката прятался в маленькой ложбинке, носившей громкое название балки.

Жубур сразу связался по телефону с майором Соколовым, новым начальником штаба полка. Тот внимательно выслушал сообщение Жубура об обстановке на его участке и обещал сейчас же доложить командиру полка, который в это время находился на командном пункте второго

батальона.

— Да, я еще должен сообщить, что сегодня к тебе... — уже в конце разговора сказал Соколов, но тут заговорили из штаба дивизии, и Жубур так и не узнал, что хотел сообщить ему Соколов. Очевидно, придет кто-нибудь из начальства, возможно даже представитель армии, потому что в ближайшие сутки наступление на перекресток дорог будет самой важной операцией на их участке фронта.

«Ладно, пусть приходит, — подумал Жубур. — Хуже, чем в других батальонах, не будет».

Он привел в порядок постель, разгладил скомканную плащ-палатку, которой были покрыты еловые ветки и, присев на чурбачок, набил трубку, — курить Жубур научился совсем недавно. Опять не придется спать. Завтра командный пункт можно будет перенести в совхоз, если только там не устроится штаб полка. Если наступление будет продолжаться, через несколько дней удастся попасть в уцелевшее село и помыться в бане.

«Но побриться можно в любых условиях», — подумал Жубур, проводя ладонью по колючему подбородку.

Замполит батальона Силин ушел в дивизию на заседание партийной комиссии, и раньше полуночи нечего ждать его обратно. Жубур достал бритвенный прибор и побрился перед карманным зеркальцем при свете бензиновой коптилки. Потом умылся снегом, намочил кусочек ваты одеколоном и вытер щеки.

«Пусть теперь хоть сам командарм приходит», — подумал он, разглядывая себя в зеркальце. Будто в ответ на эту мысль, снаружи послышались шаги. Скрипнула дверь. Вошли двое: Силин и еще кто-то. Силин с порога протянул Жубуру несколько газет.

— Я пойду в штабную землянку, — сказал он и вышел.

Только теперь, когда фигура Силина больше не заслоняла двери, Жубур увидел, кто пришел с ним. В военной шинели, сапогах, в ушанке, перед ним стояла Мара Павулан. Они молча глядели некоторое время друг на друга. У Жубура мелькнула мысль, что все это происходит во сне. «Опять в землянке, как тогда... Не может быть». Но Мара — живая, с выбившейся из-под шапки запорошенной прядью волос — смотрела на него улыбаясь. Жубур бросился к ней, схватил ее за руки и бессвязно, перебивая себя, заговорил:

— Это невероятно... Как ты... Нет, заходи, заходи, садись... Этот Силин с ума спятил, вести в такое место... Ты, наверно, замерзла? Вся в снегу. Нет, это чистейшее безумие. Разве у них там в штабе не нашлось ни

одного нормального человека? Если узнает командир дивизии, Силину попадет.

— За что же, Карл? За то, что он привел меня к тебе? Просто я не могла уехать, не повидав тебя. А обстановка такая, что во втором эшелоне тебя не скоро дождешься... Мне ничего больше не оставалось... Да ты не беспокойся — в дивизии знают об этом. Ну, не сердись, милый...

— Безумие... — Жубур качал головой, а сам улыбался от счастья. Он помог Маре снять шинель и усадил на постель. В сапогах, в защитной шерстяной юбке, в меховой телогрейке она почти не отличалась от девушек-фронтовичек, которые бок о бок с мужчинами шли трудной тропой войны. По правде говоря, почему Маре не быть здесь? Потому что опасно? Но разве не опасно пребывание в штабе дивизии, который неустанно нащупывала немецкая артиллерия? Разве не грозила опасность даже километров за пятьдесят от переднего края, на дороге, где неприятельская авиация, как голодный хищник, следила за скоплениями машин? Зато как чудесно, что она здесь, что можно держать ее озябшую руку в своих пальцах, самому греться в лучах ее улыбки и слушать ее голос. Что из того, если притаившийся за болотом неприятель с минуты на минуту может атаковать высоту: там сейчас Закис и Пургайлис, они укротят его. Что из того, если каждые четверть часа, а то и чаще, разговор прерывается телефонным звонком и действительность повелительно напоминает о себе, — а разве не действительность то, что любимое, лелеемое в тайниках сердца существо здесь, рядом, и ты видишь его своими глазами?

Она приехала в дивизию три дня назад вместе с небольшой бригадой артистов. Вначале Мара думала, что встретит Жубура на концерте, во втором эшелоне дивизии, но его не было. Пришлось спросить, где его можно увидеть. С большим трудом ей удалось упросить руководство политотдела дивизии, чтобы ей разрешили прийти на командный пункт батальона. До вечера она прождала в штабе полка.

За болотом качалась суматоха. Трещали пулеметы, несколько минут подряд рвались мины и снаряды. Не дожидаясь, когда последует запрос из штаба полка, Жубур связался с ротами. Немцы пытались вернуть потерянную высоту: две роты, при поддержке минометного и артиллерийского огня, пошли в атаку, и бойцы капитана Закиса отбивались пока одни. Если станет жарковато, надо просить помощи у артиллерии — равнина между высотой и перекрестком дорог была пристреляна днем.

— Что там такое? — спросила Мара, когда через полчаса стрельба возобновилась с еще большим ожесточением.

— Ничего, — ответил Жубур. — Немцы немного напирают, не дают уснуть моим ребятам. Но мы их сейчас успокоим.

Он соединился со штабом полка:

— Не мешало бы Кудряшову послать несколько гостинцев на седьмой квадрат. Между высотой шестнадцать и развилкой дороги наблюдается усиленное движение неприятельской пехоты. Другой помощи пока не надо.

Вскоре раздались глухие орудийные выстрелы. Над блиндажом с визгом полетели снаряд за снарядом, земля затряслась от мощных взрывов. В алюминиевой кружке, стоявшей на полке, все время позвякивала ложечка. Через несколько минут все снова замолкло. Вторая атака немцев была отбита.

Несколько раз беседу Жубура и Мары прерывало появление связных. Пока Жубур разговаривал с ними и отдавал приказания командирам рот, Мара тихо сидела в углу блиндажа, стараясь остаться незамеченной. Наверно, ей это удалось, потому что никто из связных на нее не взглянул.

Около полуночи, когда началась третья атака немцев, Жубуру и Маре принесли ужин. Видимо, постарался Силин. Горячий чай, тонко нарезанные ломтики сала, баночка трофейных сардин... Мара давно не ела с таким аппетитом, как в эту ночь. Чтобы завершить угощение, Жубур достал из своего вещевого мешка плитку шоколада. Но самому ему поужинать так и не пришлось: то связной, то звонок телефона отрывали его от еды. После того как отразили третью атаку, он на целый час оставил Мару. Его заменял у телефона Силин, но как только Жубур вернулся, тот снова ушел в штабную землянку, не желая своим присутствием стеснять Жубура и Мару.

Они просидели до утра. Тревожная, шумная ночь... Один снаряд разорвался рядом с блиндажом, и Мара инстинктивно схватила за руку Жубура. Он улыбнулся и погладил ее руку.

— Ничего... если не будет прямого попадания, блиндаж выдержит.

— Я не боюсь, Карл... только необычно все это. Что же может случиться, если ты со мной...

Они посмотрели друг на друга. И Жубур подумал, что вот он больше трех лет знает эту женщину и все еще не сказал о своем чувстве. Зачем же молчать, притворяться, когда давно все ясно и надо только назвать это чувство настоящим именем.

— Давно пора мне высказаться, — хриплым от волнения голосом начал он. — Но всегда что-то заставляло меня ждать, откладывая на другой раз. Может быть, я и не дождусь другого случая. Может быть, мы видимся в последний раз... кто знает! Но оставаться до конца в неведении

— разве так лучше? Ведь нет?

— Я тоже думаю, что нет... — шепотом ответила Мара, опустив глаза.

— Прости, что я заговорил об этом в такой обстановке. Но раз ты здесь, я прошу тебя ответить мне... Когда война кончится, и если я выйду из нее живым, согласишься ты связать свою жизнь с моею? Стать моей женой?

— Милый... если бы ты спросил меня об этом год назад или раньше — я и тогда сказала бы, что да, что согласна. Ведь я твоя, давно твоя... Я только не смела верить, что и ты тоже...

Снова вошел связной. Но им не казалось больше неудобным, что другие люди видят их здесь вместе. Они любят друг друга, и какое счастье сознавать это.

В предутренний час они расстались. В последний раз прильнула Мара к Жубуру, несколько мгновений прислушивалась к биению его сердца, — и они вышли из блиндажа. Мару уже ждал Силин.

В это время она увидела двух девушек в белых балахонах с какими-то особенными винтовками в руках. Они внимательно посмотрели на Мару, улыбнулись Жубуру и пошли по узкой тропинке к болоту.

— Это наши снайперы — Лидия Аугстроге и Аустра Закис, — объяснил Жубур. — У них на счету уже больше сотни гитлеровцев. Они идут на свои позиции.

Он немного проводил Мару и Силина. У дороги они простились. Жубур стоял и смотрел им вслед, а когда их фигуры исчезли за кустарником, вернулся в блиндаж. Через час должно начаться наступление. Скоро загрохочет канонада, над болотом будут взметываться столбы земли и гвардейцы пойдут в атаку. Сегодня надо занять перекресток дорог и совхоз.

Редкие кусты можжевельника, покрытая снегом кочка и вокруг белая равнина — такова была их позиция, метрах в пятидесяти от занятой вчера высоты, которую штабы в своих донесениях гордо именовали высотой 16. Улегшись в снег за кочкой, Лидия наблюдала сквозь прогал в кустарнике развалины совхоза. В оптический прицел винтовки можно было разглядеть каждую подробность: амбразуру пулеметного гнезда в фундаменте строения; кривые, искусно замаскированные рога стереотрубы над грудой развалин; тонкую струйку папиросного дыма, которая вилась над

невидимым окопом по ту сторону равнины. Еще не настолько рассвело, чтобы разглядеть лицо немецкого пулеметчика в амбразуре, но скоро станет видно и его. Немного позади Лидии, за другими кустами, расположилась Аустра, — та пока выполняла обязанности наблюдателя. Когда Лидия устанет, они обменяются ролями, — такой у них уговор.

Неподвижно, слившись с белым полем, с неровностями почвы, лежали они шагах в пятнадцать друг от друга и не спускали глаз с вражеских позиций. Возможно, что и там — по ту сторону заснеженной равнины — лежал, зарывшись в снег, человек с винтовкой и глядел прямо сюда. Кто первым заметит другого, тот его уничтожит. Малейшее неосторожное движение может стать последним.

Много раз обе они лежали так и в снегу, и в грязи, и в ржавой болотной воде. То была настоящая школа долготерпения — пролежать целый день на одном месте и глядеть в одну точку, чтобы не пропустить тот решающий момент, о котором никогда не знаешь, когда он наступит, но от которого зависит результат долгого сосредоточенного ожидания. Заметить вовремя в прицельную раму голову или грудь немца, вовремя и спокойно нажать спусковой крючок и сразу же дослать в ствол новый патрон, чтобы поразить того, кто бросится к убитому, — что тут особенного на первый взгляд, но какого напряжения воли и нервов требовало это от снайпера! И если один день проходил без единого выстрела, нельзя было терять веру в завтрашний день. Однажды Лидия целую неделю наблюдала за амбразурой немецкого блокгауза, пока в ней не показалось, наконец, лицо офицера. В оптический прицел винтовки она увидела, что попала, и это с лихвой вознаградило ее за безуспешный труд целой недели. Но были дни, когда они с Аустрой могли нанести на ложе своих винтовок по несколько зарубок. Нет, свой фронтной паек они ели не даром.

В то утро едва они успели занять огневые позиции и осмотреть свой сектор обстрела, как за болотом заговорила наша артиллерия и минометы. Снаряды неслись над их головами и ложились по ту сторону открытого пространства — там, где Лидия недавно заметила струйку папиросного дыма. Артиллерийский налет длился минут пять; за это время справа и слева от высотки подразделения стрелков продвинулись короткими перебежками метров на двадцать вперед, и как только прекратился огонь артиллерии, гвардейцы поднялись для последнего броска.

Аугуст — самый молодой капитан в дивизии — первый вскочил на ноги и, подняв над головой автомат, ринулся вперед, увлекая за собой всю роту.

— Ура! Ура!

Выдвинутые на фланги пулеметы поддерживали наступление первого батальона. Дальше, справа, начал наступление второй батальон и, перейдя замерзшую речку, ворвался в расположение немцев.

Теперь заработала артиллерия и пулеметы немцев. И в это самое время Лидия заметила в амбразуре пулеметного гнезда лицо немецкого солдата. Только на один миг взглянул он на то, что происходило в секторе обстрела его пулемета. В кустах можжевельника прозвучал выстрел, такой незаметный в общем шуме боя, что его никто не расслышал, но пуля, посланная латышской девушкой, уже впиалась в лоб немцу. Он был не один в пулеметном гнезде, товарищи оттащили его труп от амбразуры, но пока второй номер занял место убитого — прошло секунд десять. За эти десять секунд пулемет, который должен был преградить атакующим путь к развалинам совхоза, — молчал. За эти десять секунд Аугуст Закис со своей ротой успел пересечь последнюю полосу открытого поля, и рота мелкими группами растеклась между развалин. Теперь можно было пустить в ход гранаты, заставить замолчать отдельные пункты сопротивления и гнать вышибленного из надежных укрытий противника через скрещение дорог к небольшому лесочку, поредевшему от артиллерийского огня. Если бы первый номер не приблизил лицо к амбразуре и его не настигла пуля Лидии, все могло бы повернуться иначе: попав под пулеметный огонь, атакующие должны были лечь в снег и ползком преодолевать оставшееся расстояние, а немецкие мины все время взрывались бы вокруг них. Неизвестно, кто бы первым достиг перекрестка дорог — Аугуст Закис или Ян Пургайлис со второй ротой. Может быть, ни один из них. Позже, когда обсуждали ход боя, все недоумевали по поводу этого внезапного прекращения огня, и только поздно вечером, когда Ауэстра рассказала брату о последнем выстреле Лидии, стало ясно, почему первой роте так легко удалось ворваться в совхоз.

Да, это был последний выстрел Лидии Аугстроэ. С бьющимся сердцем она сразу после выстрела стала искать среди атакующих ловкую фигуру Аугуста Закиса. Она видела, как он выбирается на берег болота, как скрывается и вновь появляется среди развалин. «Любимый, — шептали губы девушки, — ведь можно нагнуться чуть пониже, тогда пуля пролетит над тобой... Послушай меня, если ты хоть немножко любишь меня, послушай хоть один раз. Никто тебя за это не сочтет трусом...»

Так она мысленно разговаривала через поле боя с Аугустом. А со стороны немцев с дальних позиций летел на северо-восток тяжелый снаряд, спеша на помощь обороняющим совхоз, которых латышские гвардейцы выкуривали из всех укрытий. Запоздалый, слепой, он перелетел

поле боя и упал на болото метрах в двадцати от позиций снайперов. Ауэтра вовремя прижалась к земле, и осколки с отвратительным воем, разрывая воздух, пролетели через нее. Взор и мысли Лидии были еще у развалин совхоза. Вдруг она почувствовала ужасный удар в правый бок — и внезапная темнота застлала развалины, снежное поле и небо. Где-то звенели серебряные колокольчики, где-то шумели незримые потоки, знойный ветер проносился над землей.

Перед смертью она ненадолго пришла в сознание, увидела рядом заплаканное лицо Ауэтры, услышала тихое ее всхлипывание.

— Не плачь... — прошептала она. — Все будет хорошо... вы будете воевать... А я — нет... Скажи Аугусту, что я думала о нем, когда это случилось... Пусть он помнит меня... ведь я его... до конца... любила...

— Лидия, хорошая моя, ты не должна умереть, нет, — всхлипывала Ауэтра, поглаживая остывающую руку подруги. — Как же мы без тебя... Сейчас санитарка придет...

— Латвии передайте привет... — почти беззвучно прошептала Лидия. — Что было... все отдала... чтобы она стала свободной...

Ее губы шевелились несколько мгновений и застыли в строгом и скорбном выражении. Так на поле боя, лицом к западу, в ноябре 1942 года пала латышская девушка Лидия Аугстроэе — пала незадолго до радостной вести, которая, как весенний ветер, облетела весь мир, возвещая человечеству о сталинградской победе.

Товарищи вырыли ей могилу на сухом пригорке под ветвями старого дуба. Внизу извивалась речка, а мимо пригорка проходило шоссе, которое соединяло Старую Руссу с Демянском. Когда ушли все друзья и боевые товарищи Лидии, у могилы остались Аугуст и Ауэтра. Они молча глядели на могильный холмик, уже покрывающийся слоем снега. Лицо Аугуста осунулось, зубы были стиснуты так крепко, что на щеках обозначались желваки. Недвижимо смотрел он в землю, а левая рука его сжимала свернутую в комок ушанку.

— Аугуст... нельзя так, — тихо сказала ему Ауэтра. — Ну скажи что-нибудь...

Тогда он оторвал взгляд от могилы и долго смотрел на сестру.

— Ничего... — сказал он сквозь стиснутые зубы. — Трудно говорить... И зачем говорить? Я — делом... я заставлю уплатить полной ценой. Знаешь ты, что значит полная цена? Нет, только я знаю это...

Глава семнадцатая

Роберт Кирсис прочел письмо Ояра Сникера, разорвал его на мелкие клочки и бросил в плиту. Он смотрел на огонь, пока бумага не сгорела и пепел не смешался с золой.

Ансис Курмит вопросов не задавал и терпеливо ждал, когда Кирсис сам расскажет, что было в письме. Час тому назад он получил его от Валдиса Сунья. Паренек ушел ночевать к родственникам в Задвинье. Утром он придет за ответом.

Кирсис кивнул Курмиту, и они перешли из кухни в комнату. Сели в угол у наружной стены и, сблизив головы, начали разговаривать. Кирсис умел говорить так тихо, что за один шаг ничего нельзя было разобрать, но Курмит понял все.

— Тяжелая наступила пора, Ансис. Карательные экспедиции не дают покоя партизанам. Ояр пишет, что не выходит из боев — часть партизан перебазировалась на территорию Белоруссии и влилась отдельной группой в большую бригаду. Кое-кто из новеньких начинает вешать нос и думать о компромиссе: исход-де боев у Сталинграда никому еще не известен. Если немцы перейдут через Волгу, можно ждать всяких неприятностей на международной арене — слишком уж нахально бряцает оружием Япония. Турция тоже облизывается, глядя на Кавказ. Самая полночь сейчас, Курмит... самая-самая темень. Нам надо быть сильнее и активнее, чем когда-либо. Нельзя сказать, что Ояр смутился и пал духом... Этот будет бороться до последнего. Трудно им сейчас — ничего не скажешь, и мы на некоторое время перестанем посылать туда своих людей... таких, которые вынуждены скрываться. Придется прятать здесь по конспиративным квартирам, пока дела не улучшатся. Да и вообще пополнения ему хватает из местных жителей. А каждого человека, которому удалось зацепиться и легализоваться в Риге, надо в Риге же и использовать. Надо приучить их к мысли, что легче всего действовать там, где твой дом. Пусть трудно, пусть опасно, пусть жизнь висит на волоске — кому-то надо воевать и здесь. Куда же мы будем годиться, Ансис, если весь свой актив отправим в леса, а большая революционная Рига, цитадель пролетариата, будет смотреть сложа руки, как борется провинция.

— Никогда этого не будет, Роберт.

— Знаю, что нет. Для того партия и оставила нас здесь. Жестокий террор и успехи немецкой армии лишь кое у кого отняли надежду на скорую развязку. Их надо подготовить к трудному, тяжелому испытанию.

Сейчас нужно бы несколько громких дел — пусть прогремит Рига, пусть немцы увидят, что силы народа не иссякли, что мы не сложили оружия. Задать жару Дрехслеру и Екельну, вогнать в истерику редакцию «Тевии», а то они слишком нахальным тоном разговаривать стали. У меня есть один славный план...

Курмит вопросительно посмотрел на Кирсиса.

— Недалеко от Воздушного моста есть немецкий склад оружия. На вид довольно невзрачный — сарай. К нему примыкает небольшой гараж, и там два шофера — наши. У нас имеется возможность вывезти оттуда два грузовика винтовок и патронов. Как ты считаешь?

— А выполнимо это?

— Все обдумано до последней мелочи. Только уж шоферам и сторожу придется после этого уйти в подполье. Подумай, какая суматоха подымет у немцев: два грузовика с оружием и боеприпасами в руках партизан! А как будет радоваться народ. Мы это сделаем, Курмит.

— Обязательно надо сделать, Роберт. Нельзя взваливать всю работу на одного Ояра.

— То-то и есть. Об этом узнают и наши товарищи в Саласпилском концентрационном лагере и в центральной тюрьме. Непременно узнают, и им будет легче.

Кирсис написал ответ Ояру; на следующее утро Курмит должен был передать его Валдису Суныню. После этого они поговорили о текущих делах: о первом номере нелегальной газеты, для которого Ояр прислал много свежего материала, о том, что надо предупредить товарищей относительно провокатора, пытавшегося проникнуть в их ряды; об организации новых конспиративных квартир. Старый учитель Заринь, дочь которого осенью 1941 года замучили немцы, соглашается устроить одного из шоферов у своей сестры, одинокой старушки. Екаб Павулан предложил организации материальную помощь: он продавал понемногу оставленное дочерью имущество — столовое серебро, хрусталь, картины и платья.

— Золотые люди, — сказал Кирсис. — Сами бьются из последнего, живут впроголодь, а организации готовы отдать все. Каждую неделю ходят регистрироваться в полицию, знают, что шпики Ланге следят за каждым их шагом, и все равно идут на риск. А ведь давно ли Павулан и слышать ничего не хотел про политику! Вот как жизнь переучивает людей.

Уговорились, что Курмит навестит нескольких членов организации и семьи сочувствующих им — стариков Спаре, тут же в Чиекуркальне, Рубениса — в Задвинье, родителей Руты Залите в Старом городе и некоторых других, кто нуждался в дружеском слове и товарищеской

поддержке. Надо рассказать им об эшелоне немецких солдат, который партизаны Ояра недавно спустили под откос, о разгроме полевой комендатуры в Видземе, о суде над предателями народа. Надо предупредить старика Рубениса, чтобы он немного попридержал свой острый язык и не глумился так откровенно над дамами из «народной помощи», которые рыщут по квартирам, собирая для немецких солдат теплые вещи; за такие шуточки могут упрятать в Саласпилский лагерь.

Когда Курмит ушел, Роберт Кирсис с полчаса еще побыл дома. Потом оделся и отправился в вечерний обход. Обыкновенный служащий коммунальных предприятий, с портфелем, ходил из квартиры в квартиру, выписывая счета за электричество и газ. Завернул в небольшой гараж и, справив служебные дела, поговорил немного с одним из шоферов.

— Машины в порядке, — сказал шофер. — Можем принять груз в любое время. Когда начальство прикажет выехать?

— Завтра ночью. Там уже все подготовлено.

— Мы погрузим ночью, а выедем с утра, — сказал шофер. — Тогда меньше будут обращать внимание.

— Правильно, — согласился Кирсис. — Жаль только, что машины придется бросить в лесу. Можно бы привезти в город дров. Дети мерзнут.

— Конечно, жалко, да что же поделать.

— Спрячьте так, чтобы потом можно было найти. Самим когда-нибудь пригодятся.

— Конечно, — согласился шофер. — Заедем в такую чащу, куда не заглядывают лесники. Верно говоришь, друг, самим когда-нибудь пригодятся.

Так работал Роберт Кирсис — спокойно, тихо, не суетясь. Ланге и Штиглиц давно гонялись по его следам, разыскивали легендарного «Дядю», который стал для Риги олицетворением борьбы, но еще ни одному провокатору не удалось проникнуть в ряды организации. И пока это было так, «Дядя» мог спокойно ходить по улицам Риги, ободрять уставших, сдерживать чересчур горячих, мог играть с огнем и со своей судьбой. Возможно, что именно эта сверхсмелость и оберегала его от провала. Но он всегда был готов к худшему. Роберт Кирсис и душой и телом принадлежал партии. В борьбе за дело партии, за благо народа он видел единственное оправдание своей жизни.

За угловым столиком в кафе Зандарта сидели самые избранные посетители. После продолжительного отсутствия снова появился здесь Освальд Ланка со своей женой. Эрих Гартман, которого они застали в кафе, тоже подсел к ним — и стал рассказывать о своей последней книге, которая вот-вот должна была появиться в латышском переводе.

— А о чем ты в ней пишешь, о любви или о войне? — спросила Эдит Ланка.

— В первой части только о любви. Во второй части я напишу о войне. Я покажу своего героя в Риге, Ленинграде и Москве. В конце книги я его повезу в Сталинград и сделаю губернатором Приволжской области.

— Жаль, что ты только еще собираешься писать ее, — заметила Эдит. — Ты бы мог поехать с Освальдом и кончить книгу в самом Сталинграде.

— Ты едешь? — встрепенувшись, спросил Гартман Освальда Ланку. — Значит, это уже факт? Но почему же нам ничего не сообщают?

— О чем? — не понял Ланка.

— Да о взятии Сталинграда. Насколько мне известно, это событие отметят особенно торжественно — войсковыми парадами, с фанфарным маршем и речью самого фюрера. В редакциях газет уже сверстаны экстренные номера. Редакционную статью прислал сам доктор Геббельс.

— Я и сам не знаю, почему нам ничего не сообщают, — пожал плечами Освальд Ланка. — Сталинград вчера был почти весь в наших руках. Все так и ждали, что сегодня будет официальное сообщение. Наверно, не все еще подготовлено к празднованию победы. Но когда бы ни сообщили, дня через два я со своей группой сажусь в самолет и направляюсь прямехонько в Сталинград.

— На постоянную работу?

— Разовое задание, — многозначительно произнес Ланка. — Чистка. Надо помочь начальнику сталинградского гестапо навести порядок в новой области. В Риге основную работу мы уже закончили: в тюрьмах и концентрационных лагерях больше нет места... пока Екельн не прикажет освободиться от балласта. Ну, а на Волге очень и очень нужны люди, знающие русский язык. Можно, конечно, привлечь русских белогвардейцев — в качестве переводчиков и бургомистров. Некоторые пригодятся и для агентурной службы, но чистку надо произвести собственными руками. Вот боюсь только, Эдит будет скучать без меня, — он с улыбкой кивнул на жену.

Белокурая красавица шутливо-меланхолически ответила ему:

— Что ж, ты меня приучил к этому. Надеюсь, ты вернешься скорее,

чем в прошлый раз.

— Увлекательно, страшно увлекательно... — возбужденно повторял Гартман. — Я тебе завидую, Освальд. Больше всего мне хотелось бы увидеть, как над городом взвевается флаг Великогермании. События такого масштаба происходят не чаще раза в столетие. Я попрошу тебя, Освальд, записать свои впечатления. Ты ведь многое увидишь. Отдельные факты, сценки... Мне твои заметки пригодятся для книги.

— Положим, я плохой писака, — ответил Ланка. — Мне легче десять раз сделать что-нибудь, чем один раз описать сделанное. Впрочем, попытаюсь. Интересного много будет.

Теперь заговорил Зандарт, который все время стоял возле столика и слушал, разинув рот, каждое слово Ланки.

— Если там нужны люди по части русского языка... я русский язык знаю ничего. Если дадут какую должность получше — по снабжению или по торговле, — я тоже соглашусь поехать. Только там, наверно, холодно очень, в Сталинграде? Придется брать с собой шубу и фетровые сапоги.

— Куда ты, Гуго? Без тебя Рига не обойдется, — сказала Эдит.

Зандарт по-своему понял ее слова и выпятил грудь.

— Да, я, конечно, могу пригодиться и здесь. Не мешало бы только получить должность какую-нибудь — так больше веса. В мои годы нежелательно как-то сидеть без дела, пока другие строят новую Европу. Ведь каждому порядочному человеку хочется положить свой кирпич в ее фундамент.

— Да ты сегодня, Гуго, выражаешься, совсем как государственный деятель, — засмеялся Ланка.

— Великие победы на фронте сделали всех нас поэтами и мечтателями, — разрубая рукой воздух, заговорил Эрих Гартман тоном, в котором не было ничего мечтательного. — Представьте себе всю головокружительную широту перспектив, которые открываются немецкому народу! Сегодня мы властны переделать по своему желанию всю Европу, но мы можем быть уверены, что фюрер не остановится у порога Азии. Иран, Индия, Китай... Весь черный континент... Потом и Америка. Вот оно, призвание нашего поколения! Воплощение мифа! Взлет немецкой нации на высоты истории! Александр Македонский и Наполеон от зависти перевернутся в своих гробницах. В наших руках будут все источники сырья, все рынки. Миллиард людей будет производить на нас ценности, а мы — властвовать. Что может быть прекраснее и упоительнее власти? Все мочь, все изведать и ни за что не платить! Не тревожьтесь, господин Зандарт, на сегодняшний вечер это не распространяется, вам за все будет

уплачено.

Или это было действие коньяка, или ожидание триумфа немецкой армии, но сегодня у них было действительно приподнятое настроение. Улыбка не сходила с лица Эдит, Гартман мысленно созерцал будущее, Зандарт сиял, а Освальд Ланка, как это подобает практику, отечески-снисходительно внимал им.

В дверь вошел Кристап Понте. Что-то в нем было необычное: он с пришибленным видом пробирался между столиками. Освальд Ланка подозвал его и, не дав опомниться, задал вопрос, который Понте меньше всего хотел бы сейчас услышать:

— Как поживает Сильвия? Что, она все еще там... на Мариинской?

Он знал, что Сильвии уже три дня нет в живых, но вся соль шутки состояла в том, чтобы заставить самого Понте рассказать об этом.

— Ни на какой Мариинской улице ее больше нет... — пробормотал он. — Но меня это ни с какой стороны не касается. Что она мне — жена? Случайная знакомая, помогала весело проводить время, когда водились деньги.

— Так где же она? — театрально протянул Ланка.

— В морге наверно, если не успели зарыть... — Вопросы Ланки раздражали Понте: знает ведь все, зачем спрашивает? Так бы и заехал в морду, да руки короткие: Ланка — начальник, с ним надо быть вежливым.

— Как это? — продолжал разыгрывать удивление Ланка. — Почему в морге? Еще недавно эта жрица греха пила из чаши наслаждений и вдруг — в морге. Какой финал...

— Совсем странно получилось, — развел руками Понте. — Позавчера с ней спал майор из гренадерского полка. Неизвестно, с чего началось, но она подралась с ним, укусила и исцарапала всего. Майор говорил, что она хотела задушить его. Ну... револьвер был при нем. Один выстрел в голову, другой в грудь — и конец.

— Да зачем же она стала драться?.. — пожала плечами Эдит. — Раз попала в такое место — должна подчиняться правилам. Сумасшедшая какая-то... А что с майором?

— Их полк отправили вчера на Волховский фронт, — ответил Понте. — Наверно, уехал с полком. Ну и пусть его едет. Мне что.

— Лучше будет воевать, — засмеялся Гартман. — Гуго, вы мне не дадите бутылочку своего бенедиктина? Мне он понравился.

— С превеликим удовольствием, — отозвался Зандарт и рысцой побежал в буфет.

Государственный муж, украшенный множеством титулов, — генерал-комиссар Латвии, государственный советник, бригаденфюрер и доктор, Дрехслер с утра был в отличнейшем расположении духа. Комиссар-старшина Витрок доложил, что в Риге все готово к торжествам: гарнизон прорепетировал всю программу парада, редакции газет ждут только сигнала, чтобы спустить в ротацию специальный номер с триумфальными передовицами и фотографией Адольфа Гитлера, обрамленной лавровым венком. Жены генерал-директоров из латышского «самоуправления» соперничали с супругами немецких комиссаров и генералов СС в фасонах новых бальных платьев. Но давалось это нелегко: ведь как ни верти, а немецкие дамы «оккупировали» лучших портных, и женам латышских чинов пришлось довольствоваться тем, что осталось.

В полдень хорошее настроение Дрехслера было изрядно подпорчено неприятным донесением: в районе Воздушного моста прошлой ночью ограбили склад оружия и угнали в неизвестном направлении два больших грузовика с винтовками, автоматами и патронами. Разглашать этот факт нельзя, начнется паника, некоторые с перепугу не явятся на торжество, и триумфальный парад придется проводить без зрителей.

«Теперь жди крупных неприятностей, — думал генерал-комиссар. — Несколько сот винтовок и автоматов в руках партизан, может быть здесь же, в Риге. И как раз теперь, когда наступает мирное, веселое житье».

Он вызвал генерал-майора полиции Шредера, начальника политической полиции Ланге и префекта рижской полиции Штиглица.

— Итак, где же ваша помощь армии и фюреру? — распекал их генерал-комиссар. — В центре Риги бандиты могут делать все, что им вздумается. Сегодня они грабят склады оружия, завтра обратят это оружие против нас. Господин генерал-майор, доктор Ланге, господин Штиглиц, вы уверены в том, что нынешней ночью партизаны не схватят вас самих и не уведут в лес? И можно ли спокойно руководить генералгебитом^[19] в таких условиях? Что ни день — нелегальные листовки, что ни час — диверсии, акты саботажа. Господа, я не могу объяснить это иначе, как бездеятельностью, как летаргической спячкой полиции.

— Господин генерал-комиссар, — осторожно заговорил Ланге. — Мы каждый день арестовываем около ста человек. Я уверен, что скоро все большевистские элементы будут изолированы и никаких инцидентов не произойдет.

— Что значит изолированы? — Дрехслер помутневшими от ярости глазами посмотрел на Ланге. — Кто же тогда ограбил склад оружия? Может быть, полиция? Гестапо? Кто печатает и распространяет листовки? Не я ли? Господа, не надо быть наивными и считать наивными других. Мы должны день и ночь держать глаза открытыми, если хотим удержаться и исполнить волю фюрера в этой угрюмой, недружелюбной и непокорной стране, где нам с вами приказано ввести новый порядок. Но что я могу сделать один, если мои ближайшие сотрудники убаюкивают друг друга? Господа, я требую, чтобы в течение двадцати четырех часов оружие было найдено, а бандиты пойманы. Достаньте их, где хотите! Я не желаю слышать ваших доводов о трудности, о невыполнимости задания. Я требую... от имени фюрера. До свиданья, господа...

С кислыми лицами, укоризненно косясь друг на друга, высокопоставленные посетители покинули кабинет генерал-комиссара. Но уже через час о похищении оружия говорила вся Рига; Люди перешептывались и улыбались; давно не видно было в городе столько веселых лиц, а придраться было трудно: ведь во всем «Остланде» готовились к победным торжествам по поводу взятия Сталинграда. В такой момент даже латышу не запретишь радоваться.

После обеда Дрехслер принял представителей «народной помощи». Пришли несколько дам во главе с самим руководителем, Павасаром-младшим. Делегация доложила о результатах сбора теплых вещей и денежных пожертвований. Цифры были не слишком значительные — хорошо, если хватит на один батальон. Генерал-комиссар выразил официальную благодарность и в ответном слове указал, что надо активизировать сбор пожертвований и собирать не только одежду и белье, по все, что может пригодиться для снабжения армии и промышленности: старую резину, металлический лом, дверные ручки, подсвечники. Если не будут давать добровольно, надо ссылаться на распоряжение генерал-комиссариата.

— Мы, например, приговорили одну женщину к четырем годам принудительных работ, — сказал Дрехслер. — Она скрывала несколько пар шерстяного белья и овчинный полушубок. Об этом случае надо рассказывать населению, в особенности рабочим. Пусть знают, что ждет скупцов. Великогермания вправе требовать, чтобы все население Остланда поддержало ее благородную борьбу за новый порядок во всем мире.

Павасар — сын пастора и корпорант — обещал принять во внимание указания генерал-комиссара и попросил позволения опубликовать в прессе отчет о сегодняшнем приеме.

— Такие факты имеют колоссальное политическое значение, господин генерал-комиссар. Общество должно знать, что все мы стремимся к одной цели, что у нас общий язык.

— Да, конечно, мы вместе боремся и вместе будем делить плоды победы, в соответствии с личными заслугами, — сказал Дрехслер, отпуская делегацию.

Когда Павасар со своими дамами удалился, генерал-комиссар подумал, что не мешало бы организовать в ближайшее время встречи с разными другими делегациями — от рабочих, от крестьян, от интеллигенции. Можно устроить так, что они придут к генерал-комиссару с поздравлениями и заверениями своей преданности, с хлебом-солью и каким-нибудь подарком в национальном духе. За завтраком можно поговорить о единстве великих целей, о единодушии, столь необходимом для достижения этих целей. Можно же раздобыть в Латвии пять-шесть подходящих для этой цели образчиков рабочих и крестьян, хотя бы из числа агентов Ланге или Штиглица. Шеф пропаганды хорошенько их проинструктирует: пусть говорят, о чем следует, и не задают щекотливых вопросов о заработной плате, о продовольственных нормах. На двухстах тридцати граммах хлеба в день чернорабочему, конечно, не разжиреть, и заработок у него вдвое меньше, чем у немецких рабочих, но всем, кто об этом говорит, можно легко заткнуть рты. Пусть спросят единоплеменников-крестьян, почему они не дают в достаточном количестве хлеба, мяса, масла и других продуктов? Латвия — страна аграрная, ей надо обходиться своим хлебом, ведь не ввозить же его извне. Значит — виноваты латышские крестьяне. А крестьянам, которые хнычут по поводу непосильных норм сдачи продовольствия, можно сказать: ваши братья — латышские рабочие — должны есть, разве вы захотите, чтобы они умирали с голоду? Никто ведь не знает, сколько хлеба, сала и масла увозят в Германию и сколько оставляют для местного населения. И хорошо, что не знают, — меньше разговоров.

Под вечер Дрехслер дал аудиенцию первому генерал-директору латышского «самоуправления», ведающему внутренними делами, — генералу Данкеру и генералу Бангерскому, с которыми он замышлял несколько важных начинаний.

«Самоуправление»... какая превосходная, остроумная выдумка! Несколько директоров, которые работают под руководством немцев и делают все, что приказывает генерал-комиссар; во главе каждого директората стоит какой-нибудь латыш, до мозга костей преданный Гитлеру, — а со стороны выглядит так, будто латыши сами управляют

всеми своими делами, как будто они сами решают все экономические и политические вопросы. О том, что все эти генерал-директоры — старые агенты Гитлера, знать никому не следует, фамилии у них латышские, и некоторые факты из их биографии тоже свидетельствуют о их принадлежности к латышской национальности. Конечно, избрание генерала Данкера главным директором и неофициальным главой «самоуправления» нельзя назвать особенной удачей, но ничего лучшего под руками не оказалось. В качестве генерала популярностью он не пользовался, большую часть первой мировой войны провел в германском плену, и его имя мало кому что говорило. Но с ним можно было быстро прийти к согласию, он каждое желание угадывал чутьем, как умный пес. Мягкосердечием он тоже не отличался и не мешал Ланге и Екельну спокойно вешать и расстреливать латышей, не надоедал своим заступничеством и поручительствами.

Генералы были в штатском, но в обществе генерал-комиссара старались щегольнуть военной выправкой. По внешности они представляли полную противоположность друг другу: Данкер — щупловатый, сутулый, с острой крысиной мордочкой и угодливо-бегающим взглядом; у Бангерского — тяжелая квадратная голова, бычья шея, широкие плечи, и держался он прямо, как старый солдат. Однако были они два сапога пара. В 1916 и 1917 годах Бангерский командовал латышскими стрелковыми полками, и за ним числились большие заслуги по уничтожению этих полков. В боях у Тирельских болот он гнал на верную гибель своих даугавгривцев^[20], а затем и первую бригаду. Впоследствии он командовал корпусом у Колчака и руководил карательными экспедициями против мятежных сибиряков, которые не желали признавать власть белого адмирала. В этих экспедициях Бангерский перебил немало своих земляков-латышей, которых империалистическая война забросила в те края.

Именно такие люди были нужны Дрехслеру; более подлых предателей своего народа, чем Бангерский и Данкер, трудно было найти.

Генерал-комиссар принял их любезно. Речь шла об организации латышского добровольческого легиона.

— Рейхскомиссар господин Лозе имел по этому поводу беседу с Гиммлером, — сказал он. — Рейхскомиссар в высшей степени сочувственно отозвался об участии вашего полицейского батальона в боях на Волховском фронте и обещал нам свою поддержку. Недавно об этом докладывалось фюреру. Идея создания легиона встретила положительный отзыв в высших сферах, и в ближайшее время мы можем ожидать приказа фюрера. Мне кажется, настоящий момент весьма благоприятствует этому.

После победы у Сталинграда вербовка добровольцев пойдет успешно. Вы составили список командного состава, господин Бангерский?

Бангерский стремительно вскочил со стула и встал навытяжку.

— Так точно, господин генерал-комиссар. Уже подыскали командиров для всех полков и начальников штабов. Батальонных командиров у нас больше чем нужно. В ближайшие дни смогу представить на рассмотрение и утверждение весь материал.

— Благодарю, — с улыбкой ответил Дрехслер, и Бангерский так же стремительно сел.

— Жаль, что у нас нет еще официального приказа о создании легиона. Хорошо бы получить его одновременно с известием о взятии Сталинграда. Оно вызовет такую волну ликования, такое патриотическое воодушевление, что штаб легиона не успеет зарегистрировать добровольцев.

— Вы правы, господин генерал-комиссар, — сказал Данкер, вскакивая чуть медленнее Бангерского. — Все захотят обеспечить себе какие-нибудь заслуги до окончательной победы. Даже те, кто следит за конъюнктурой. Имя генерала Бангерского гарантирует успех этого мероприятия в народе.

— Особенную популярность приобретет оно благодаря победному звону колоколов, который в ближайшее время прозвучит по всей Европе, — присовокупил Дрехслер. — Сразу же откроется путь в Азию, Индию и Китай. Навек прославятся те, кому судьба позволит пройти этот путь. Дай бог, чтобы и ваш легион был в числе этих избранных.

— Почему бы этому не быть, господин генерал-комиссар? — сказал Данкер.

В этот момент в кабинет без стука вошел бледный, растерянный адъютант, положил перед генерал-комиссаром секретную телеграмму и, не взглянув на генералов, вышел. Дрехслер взял телеграмму и стал читать. Вдруг он вскочил и, будто не веря своим глазам, снова уткнулся в листок бумаги, перечитывая еще раз. Лицо его становилось все бледнее, на лбу выступил пот. Прочитав телеграмму, генерал-комиссар скомкал в кулаке бумажку и смотрел в стену невидящим, бессмысленным взглядом. Наблюдая эти эмоции, оба генерала почтительно встали. Произошло, видимо, что-то необычное.

— Господа... Господа... Ужасное несчастье... — шептал Дрехслер. — Никаких парадов, никаких торжеств...

— Не произошло ли что с фюрером?.. — нерешительно спросил Данкер, сделав трагическое лицо. Бангерский мрачно крикнул.

— Шестая армия, гордость и слава Великогермании... окружена у Сталинграда...

Данкер побледнел, покачнулся, хотел что-то сказать Дрехслеру, но тот махнул рукой и отвернулся. Оба генерала, опустив головы, тихо направились к двери. Стенные часы стали мелодично отбивать четверть.

Сталинград...

Самые великие надежды и самые мрачные разочарования связаны с этим словом. Полчища Гитлера, которые еще вчера мнили, что они ближе чем когда-либо к победе, очутились сегодня перед неминуемой катастрофой, и каждому думающему человеку стало ясно, что Германии не победить, Германия уже проиграла войну.

Сталинград...

В тот день ликовали друзья советской земли и в траур одевались враги. Миллионы людей во всех концах земного шара с благодарностью и благоговением повторяли это слово.

Сталинград...

С этим словом на устах шли в бой полки Красной Армии. С любовью и благоговением твердили это слово латышские гвардейцы, идя в атаку. Отблеск этой победы сверкал в глазах латышских партизан, когда они отправлялись карать мучителей народа. Два эшелона с военными материалами скатились в ту ночь под откос, и Ояр Сникер сказал, что этого еще мало. Роберт Кирсис выпустил новое воззвание, и стены домов в Риге покрылись надписями: «Сталинград»... Этим словом начинался и кончался каждый разговор.

Когда оккупант в трауре, латыш не имеет права улыбаться. Он и не улыбается на улице, только блестят глаза и в груди у него звучит ликующая песня. Под похоронный звон колоколов в Чиекуркали к старикам Спаре пришли гости — старики Рубенисы и Павуланы. Они прочитали последнее воззвание «Дяди» и довольно весело отпраздновали гитлеровский траур в разговорах о своих детях, которым выпало счастье быть сейчас в рядах Красной Армии.

Сквозь проволочные ограды, мимо сторожевых вышек и часовых, сердито притопывающих замерзшими ногами перед бараками, великая весть, как сказочная синица, проникла и в Саласпилский концентрационный лагерь. Шепотом передавали ее друг другу заключенные и потом всю ночь не смежали глаз, лежа на своих жестких нарах. Нетопленный барак не казался им больше таким холодным. Эдгар

Прамниек, как в молитве, сложил свои потрескавшиеся, жесткие руки. Впервые после долгих месяцев на глазах его показались слезы.

В крестьянском доме, мимо которого текла речка, Элла Спаре лежала в постели и глядела на храпевшего рядом с ней жандармского оберлейтенанта Бруно Копица. Эта весть достигла и усадьбы Лиепини. Элла знала, что произошло в приволжских степях, и в ее памяти вставали как из мертвых забытые лица, не давали ни сна, ни покоя. Петер и его товарищи спрашивали и спрашивали: что ты делала, как ты ждала нашего возвращения? Что им ответить? Горячая лопатка немецкого офицера крепко прижалась к плечу Эллы; она отодвинулась от Копица, скрипнула кровать, а немец снова сползает к чей, и жесткая костистая спина снова давит на плечо женщины. Ей некуда деться. «Что теперь будет?» — с дрожью подумала Элла. Но у нее не хватило духу ответить на свои мысли.

А к юго-востоку от Старой Руссы, среди болот, в землянке командира батальона Жубура сидели Андрей Силениек, Петер Спаре и Юрис Рубенис. Они читали приказ Верховного Главнокомандующего; при каждом слове перед глазами вставала грандиозная, неповторимо величавая картина. Над землянкой завывал ветер, со свистом неслись снежные вихри, и земля дрожала от артиллерийской канонады. На запад неслись пули и снаряды, на запад неслись и мысли латышских стрелков. Латвия сегодня стала ближе, доступнее, чем вчера.

Почему же все так внезапно изменилось, что же произошло в мире?
Сталинград.

КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ

Глава первая

1

В начале февраля 1943 года, после двух с половиной лет отсутствия, в Латвию вернулся эксминистр Альфред Никур. В этом сложном путешествии его сопровождала некая брюнетка Гуна Парупе. Никур, пожалуй, стал стройнее и моложавее за это время, но всякий, кто знал его раньше, сразу заметил бы, что он слинял. Темный, хорошо сшитый костюм чуть-чуть поношен, серый макинтош с подстежной подкладкой из верблюжьей шерсти выцвел, кое-где покрылся пятнами. Можно догадаться, что за морем жизнь не баловала бывшее превосходительство. Зато Гуна продолжала блистать красотой и элегантностью. По-видимому, в скандинавских косметических кабинетах за ее лицом ухаживали ничуть не хуже, чем в Риге. В Стокгольме, в Гетеборге можно было найти хорошую портниху и купить по спекулятивным ценам приличные туфли и шелковые чулки. А вопрос о деньгах Гуну занимал меньше всего, на то ведь был Никур.

— Альфред, мне нужно новое пальто... — заявляла она, и Никур безропотно доставал бумажник. Он один знал, какие средства оставались в их распоряжении, и нередко вздыхал: если бы, уезжая из Риги, можно было захватить с собой пятиэтажный дом и еще что-нибудь из недвижимого имущества. Пятиэтажный дом в центре Стокгольма — как это было бы кстати! Но открыть Гуне истинное положение вещей Никур не решался, потому что она была не из тех женщин, которые привязываются к своему избраннику и до конца идут с ним по жизненному пути, невзирая на испытания судьбы.

Летом 1942 года она начала флиртовать с богатыми шведами, и Никур терпеливо глотал обиды. Только в глубине души зашевелилось мстительное чувство: подожди, душенька, вот вернусь к власти... Эти иллюзии помогали переносить скуку эмигрантской жизни, которая стала уделом Никура. Он, как биржевой маклер, следил за всем происходившим по ту сторону Балтийского моря, гадая по тому или другому симптому, подымутся или упадут его акции. Нападение гитлеровской армии на

Советский Союз окрылило его; радостно забилося его сердце, когда он узнал о взятии Риги. Казалось, что час его настал, что немцы вот-вот кинутся разыскивать известного государственного деятеля Латвии — Альфреда Никура, что им потребуются его услуги. О, он бы сумел искоренить в народе вражду к немецким господам! Мелкий демагог здесь помочь не мог, нужен был мастер крупного масштаба, который не стесняется в выборе средств, который владеет макиавеллиевой^[21] отмычкой. Никур знал, что только один человек в мире с честью справился бы с этим заданием — это он сам: удалось же ему когда-то пробиться из мелкого провокатора и шпики в министры. Однажды к нему явится посланник самого Гитлера или Розенберга с предложением вернуться в Латвию, где сейчас обойтись не могут без популярного и способного государственного деятеля.

Прошел 1941 год, но посланник не явился. В 1942 году армии Гитлера снова стали двигаться на восток, а Розенбергу и в голову не приходило приглашать Никура. Наконец, он понял, что немцы решили обойтись без него. Ясное дело, большевикам во время своего властвования удалось опорочить его перед народом: скверных фактов ведь было достаточно. Но немцы должны были понять, что Никур не один, что в Латвии остались тысячи людей, готовых по первому его слову идти за ним. Такая значительная сила, а они не хотят ею воспользоваться. А может быть, и воспользовались... только без участия Никура? Может быть, его место занял кто-нибудь другой?

Эта мысль терзала Никура... Летом и осенью 1942 года самочувствие у него было отвратительное. Поражение немцев под Сталинградом воскресило его мечты, и на этот раз он уже не ошибся: о нем вспомнили. В конце января к нему явился представитель германского посольства и на словах передал приглашение высшего начальства вернуться в Латвию, где его ждет большая работа.

Через несколько дней после этого Никур встретился с одним человеком, который напомнил ему о старых связях и дал понять, что пришло время понемногу активизировать в Латвии прежнюю английскую агентуру и позаботиться о новых агентах. Понятно, что Никур не сказал «нет».

Узнав, что Альфред собирается в Латвию, Гуна поставила вопрос ребром: или он берет ее с собой, или теряет навеки. Никур сперва думал поехать один, выяснить, что за работа ждет его, какие она сулит перспективы; если они удовлетворят его, — можно будет вызвать Гуно. Но она, как всегда, добилась своего. Да и Никур признал, что так будет лучше:

в его отсутствие Гуна, хотя бы со скуки, может окончательно переметнуться к богатым шведам.

Они собрались в несколько дней, сели в поезд и через Данию приехали в Германию. В Любеке в купе к Никуру зашел молодой чиновник гестапо и сказал, что надо ехать в Ригу, не заезжая в Берлин; более же подробные указания он получит на месте, от рейхскомиссара Лозе. Это сообщение слегка разочаровало Никура. Он-то надеялся, что его проинструктирует сам Гитлер или по крайней мере Розенберг. Очевидно, у них сейчас есть дела поважней: бедняга Геббельс сам не знает, как объяснить немецкому народу поражение под Сталинградом. А все-таки именно это поражение открыло Никуру путь к политической деятельности.

Границу Латвии они переехали днем: поезд опаздывал на восемь часов. В окно купе Никур и Гуна смотрели на бегущие мимо виды Земгалии, и хотя сейчас в них было мало привлекательного — покрытые тонким слоем снега поля с черными прогалинами замерзшей земли, безлесная равнина, тихие крестьянские усадьбы, редкие подводы на дороге или армейские машины, — но в сердце Гуны что-то шевельнулось.

— Вот и родина, Альфред, — мечтательно сказала она. — Скоро будем в Риге. Интересно, как там сейчас?

Она достала из сумочки губную помаду.

— Да, родина... — Никур вздохнул. Он смотрел, как Гуна старательно красит губы. «Неизвестно, для чего это ей... Они и так красные...»

Под вечер поезд пришел в Ригу. Когда на горизонте завиднелись фабричные трубы и дома окраин, Гуна спросила:

— Где мы остановимся? Я поеду на свою прежнюю квартиру. Только я ведь в сороковом году ее тете передала. Тебе как-то неудобно...

— Немного неудобно, — согласился Никур. — Но народу все равно станет известно, что я вернулся.

— Может быть, тебе лучше остановиться у себя? — продолжала Гуна. — Мы ведь будем встречаться... Как раньше...

— Да, понимаю, — согласился Никур. — А тетя как?

— Не беспокойся, когда будет нужно, я ее куда-нибудь спроважу. И потом, что нам ее стесняться?

Мысль, что ему придется вернуться в покинутое семейное гнездо, к «кошечке», с которой он даже не попрощался перед отъездом, не очень радовала Никура. Будут и упреки, и неприятные вопросы, и даже, наверное, слезы — этого ему не избежать. В Швеции в этом отношении жить было спокойнее.

— Попробуй уговорить свою тетю съездить на несколько недель в

деревню. Есть у нее родственники в деревне?

— Конечно, есть. Альфред, а ты не можешь дать мне немножечко деньжат?

Она никогда не просила помногу, всегда — немножечко, но Никуру было очень хорошо известно, что значат эти «немножечко». Не торопясь, но и не слишком медля, он достал потрепанный бумажник. Пока он отсчитывал деньги, Гуна, повернувшись к нему спиной, рылась в своем чемодане.

2

Рейхскомиссар Лозе в тот день вызвал к себе на поздний час обергруппенфюрера Екельна и генерал-комиссара Дрехслера. Когда приглашенные явились, Лозе взял с письменного стола какой-то документ и подал Екельну. Пока тот читал, Дрехслер дипломатично разглядывал оконные гардины, не будучи уверен, что документ дадут прочесть и ему. Скорее всего Лозе в двух словах передаст его содержание и тут же начнет перечислять задания, которые предстоит выполнить генерал-комиссару. Потом с сдержанной улыбкой отпустит его, а Екельну кивнет головой, чтобы остался. Рейхскомиссар в последнее время взял за правило к месту и не к месту подчеркивать свое пренебрежение к Дрехслеру.

Прочитав письмо, Екельн вернул его Лозе.

— Правильное решение.

— И своевременное, — добавил Лозе. Потом, словно вспомнив о Дрехслере, протянул письмо и ему.

— Прочтите вы тоже, господин Дрехслер. Потом поговорим.

Это было подписанное Гитлером распоряжение об организации латышского легиона. После нескольких месяцев сомнений и оттяжек он разрешил, наконец, осуществить план Лозе.

Когда письмо вернулось в руки Лозе, он положил его на стол и опустился в кресло.

— В этом решении сказывается дальновидность фюрера, — сказал Дрехслер. — Во-первых, это даст нам новые контингенты солдат и в то же время поможет стабилизировать внутренний порядок в Латвийской области.

— Их надо скомпрометировать — всех этих латышей, эстонцев и литовцев, — проворчал Екельн. — И чем больше — тем лучше.

— Когда латыш наденет форму добровольца СС, тем самым он

продаст нам душу, — сказал Лозе. — Он вынужден будет держаться с нами до конца, потому что возврата ему уже не будет. Или они победят вместе с Великогерманией, или погибнут вместе с нами. Обратите внимание, господа, что это относится и к семьям добровольцев. Вся семья будет разделять с ними упования и горести.

— Именно поэтому и нужно согнать как можно больше латышей в этот легион, — сказал Екельн. — Чем больше, тем лучше. Сделать их соучастниками, поставить в такое положение, чтобы им невыгодно было возвращение большевиков. Тогда они будут воевать как оголтелые.

— Насколько я понял распоряжение фюрера, дело идет о вербовке добровольцев, — напомнил Дрехслер. — Это обстоятельство повлияет на результат кампании. Вот если бы можно было объявить мобилизацию.

— В политическом отношении здесь большая разница, — сказал Лозе. — Мы, может быть, выиграли бы количественно, но проиграли бы в качестве. Вы правильно сказали, господин Екельн, что их надо сделать соучастниками. Доброволец сожжет за собой все мосты. Большевики ему не простят, — это он отлично поймет. Вместе с тем мы сможем всему свету ткнуть под нос знаменательный факт: «Будьте любезны, посмотрите — латыши, эстонцы и литовцы добровольно воюют на нашей стороне, они признали справедливость нашего дела». Давая свое согласие на создание легионов, фюрер, по всей вероятности, руководствовался соображениями внешне-политического порядка.

— Я не жду особенно больших успехов от Данкера и Бангерского, — сказал Дрехслер. — Сомневаюсь, что им удастся всколыхнуть народ. А если вместо легиона наберется только один полк, разве не скажут тогда, что мы провалились?

Екельн улыбнулся.

— Господин генерал-комиссар полагает, что принцип добровольности есть нечто определенное, не допускающее толкований. — Он тихо засмеялся. — Может быть, нам надо выпрашивать у этих мужланов письменные подтверждения того, что они действительно добровольно вступают в легион? И не подумаем. Нам разрешено вербовать, а вербовать можно любыми способами, в этом отношении нас никто не ограничивает. Если не захотят идти добром, мы применим то, что называется силой. Если латыша поставить перед выбором: или поступить в легион, или отправиться в концлагерь, он выберет первое. Успех будет обеспечен.

— Успех должен быть обеспечен, — повторил Лозе. — Именно для этого фюрер и послал нас сюда. А как лучше исполнить его волю, мы должны придумать сами. Наша обязанность — дать фронту солдат.

— Пушечное мясо, — добавил Екельн. — Вы думаете, что теперь, когда на карту поставлена судьба Великогермании, мы будем распускать слюни? Положение критическое. Оно может стать катастрофическим. Быть или не быть — вот как стоит вопрос после событий у Сталинграда. Все нужно пустить в ход, чтобы удержаться.

Наступила пауза.

Тишину нарушил Лозе. Он поднялся и слегка поклонился Дрехслеру.

— Не смею вас дольше задерживать, господин генерал-комиссар. Вы, по всей вероятности, захотите сегодня же предпринять что-нибудь для организации легиона. Будьте здоровы, господин Дрехслер.

Негибким, тяжелым шагом вышел из кабинета Дрехслер. В приемной он увидел человека средних лет, который посмотрел на него странным подстерегающим взглядом и поклонился. Дрехслер чуть заметно кивнул ему. Адъютант Лозе поспешил подать ему пальто.

Когда Дрехслер ушел, адъютант вошел в кабинет Лозе.

— Господин рейхскомиссар, тот человек... Альфред Никур явился по вашему распоряжению и ждет в приемной.

— Пусть войдет, — ответил Лозе, а когда адъютант вышел, объяснил Екельну: — Это тот, которого ждали из Швеции. Говорят, довольно способный человек.

Дверь кабинета приотворилась, из-за нее показалось лицо Никура. «Разрешите?» — спросил он, игриво улыбаясь. Лозе сделал несколько шагов ему навстречу.

— Пожалуйста, пожалуйста, господин Никур! Приветствую. Как вы доехали? Долго вас мучили на железных дорогах?

Чуть согнувшись в знак почтительности, Альфред Никур приближался к рейхскомиссару, а его маленькие глазки ощупывали лицо Лозе, стараясь прочесть ответ на вопрос, занимавший бывшего министра: чего эти немцы хотят от него и что они ему дадут?

Разговор происходил за круглым столиком в углу кабинета. Лозе приказал принести кофе. Екельн сел напротив Никура. Лозе то прохаживался с чашкой кофе по кабинету, то садился на кожаный диван и, перегнувшись через столик, говорил тихо, почти шепотом, не сводя глаз с Никура. Екельн держался развязно: если ему казалось, что рейхскомиссар сказал что-нибудь недостаточно ясно и точно, он прерывал и поправлял его,

и Лозе сразу соглашался.

Никур скоро понял, откуда дует ветер, но продолжительная служба в охране научила его притворяться, так что ни Лозе, ни Екельн не заметили его разочарования.

— Знает кто-нибудь о вашем возвращении? — спросил Лозе.

— Только моя жена и ваш адъютант, — ответил Никур. — Не считая, конечно, чиновников, которые проверяли документы.

— Где вы остановились? — спросил Екельн.

— На прежней квартире, на улице Валдемара.

— Это хорошо, — сказал Лозе.

— Мне кажется, вам там не стоит оставаться, по крайней мере первое время, — сказал Екельн, не обращая внимания на замечание Лозе. — Пока ваше официальное положение не станет известно обществу, надо переехать на другую квартиру и сохранять инкогнито.

— Если вы находите это более удобным... — торопливо согласился Никур. Не споря о мелочах, он старался соблюсти достоинство, насколько это было возможно в данный момент: все-таки он — бывший министр, а излишней угодливостью только сбавишь себе цену.

— Так действительно будет лучше, — сказал Лозе. — Вначале во всяком случае инкогнито необходимо соблюдать. После, в зависимости от условий, в которых будет протекать ваша деятельность, положение может измениться. Все будет зависеть от того, как вы поведете дело...

— Я до сих пор не имею понятия о своей будущей деятельности, — напомнил Никур. — В Любеке мне сказали, что это я узнаю здесь.

— Работу можно охарактеризовать очень коротко и просто, — продолжал Лозе. Он отхлебнул кофе и немного помолчал. — Вам надо будет организовать нелегальное сопротивление.

Никур выдержал взгляд Лозе, ему даже удалось скрыть свою растерянность и вовремя сдержаться, чтобы не спросить: «Против кого?» Он чувствовал, что Екельн следит за ним, определяет степень его квалификации.

— Вам понятно, господин Никур, что я под этим подразумеваю? — спросил Лозе.

— Начинаю понимать, — ответил Никур, хотя он решительно ничего не понимал.

— Так вот, националистическое нелегальное движение сопротивления, направленное против нас, то есть против немцев... Большевистское движение сопротивления существует в Латвии с первого дня оккупации. Оно создано само собою, без нашего участия...

— И совершенно против нашего желания, — добавил Екельн.

— Но это новое движение, во главе которого вы должны встать, должно возникнуть с нашего ведома. Мы поможем поставить его на ноги. Вам нужны будут средства? Пожалуйста, мы предоставим вам средства. Вам нужна будет материальная база, типография для издания нелегальной газеты и воззваний, бумага и краска и многое другое? Пожалуйста, мы дадим и это. Вам только нужно постараться, чтобы движение имело успех и давало свои плоды, — улыбаясь, сказал Лозе.

— ...в желательном нам направлении, — докончил Екельн. — Как вы на это смотрите?

Никур улыбнулся.

— Это очень интересно и... остроумно.

— Он понимает, — сказал Екельн.

Лозе кивнул ему.

— Чрезвычайно элементарная вещь. Каждому, у кого имеются мозги, понятно, что оккупационный режим не может не вызывать антагонизма. В Латвии этот антагонизм проявляется в довольно агрессивных формах. Сейчас он проявляется стихийно. Единственный организующий элемент, который направляет эту стихию, — коммунисты. У них есть свое партизанское движение, есть хорошо законспирированное подполье, нелегальные издания и активные диверсионные группы. Латыши видят в них своих защитников против немцев, и все недовольные связывают свои надежды с ними. Если мы позволим действовать им одним, они останутся единственным ядром, идейным центром, который подчинит своему влиянию всех недовольных, всех, кому не по вкусу наша деятельность. Это серьезная и опасная сила, и нам надо с ней считаться. Мы не имеем возможности контролировать эту силу и направить сопротивление по безопасному руслу. Недовольные есть и будут, — с этим тоже придется считаться. И так как зло это неустранимо, его надо нейтрализовать. В противовес коммунистическому подполью надо состряпать националистическое подполье. Мы привлечем все буржуазные и националистические элементы, мы будем управлять ими и в то же время поддерживать иллюзию, будто они борются против нас во имя собственной цели. Пусть они порезвятся, пусть растратят излишек энергии на невинную игру в борьбу. Мы будем знать все, о чем они думают, чего они хотят, к чему стремятся. Если понадобится, самых буйных мы изолируем. В своей нелегальной газете и воззваниях вы можете даже немного покритиковать и поругать немцев, только в меру, конечно. Но больше всего ругайте большевиков. Если голова будет наша, руки станут делать то, что мы им

прикажем. Как вы смотрите на этот проект?

— Хороший проект, — сказал Никур. — Нечто подобное, только в меньшем масштабе, когда-то придумал и я.

— Нам это известно, — сказал Екельн. — Поэтому выбор и пал на вас. У вас есть опыт в подобных делах.

— Мне только неясно, с чего начинать... — сказал Никур.

Екельн угрюмо посмотрел на Никура. Тому стало неловко под этим взглядом.

— Знаете что, обойдемся-ка без ломанья и кокетства, — сказал обергруппенфюрер. — Это будет рациональнее. Ведь в сороковом году вы здесь оставили большую организацию. Вы с ней связаны. Вот и воспользуйтесь ею. Остальное сделается само собой. Только помните, что мы всё будем контролировать и что каждый серьезный шаг вы должны согласовывать с нами. Этим будут заниматься особые лица.

— Понимаю, — пробормотал Никур.

— Вы согласны? — спросил Лозе.

— Да. Но сначала разрешите мне задать один вопрос. В успехе я не сомневаюсь. А когда первый этап будет окончен и игра в сопротивление станет ненужной, — какова будет моя дальнейшая роль? На что я могу рассчитывать?

— Вы будете одним из самых видных государственных деятелей в Латвии, может быть самым видным, — ответил Лозе. — Вы знаете, что мы своих людей не забываем.

— Конечно, конечно...

Через полчаса Никур ушел, договорившись, с чего начать работу.

— Кажется, нашли подходящего человека, — сказал Лозе.

— Он хитрый, но очень полезный, — сказал Екельн. — Главное, с ним просто. Деньги и положение — больше ему ничего не нужно.

— Это хорошо... С такими легче вести дела.

На вокзале Никур взял извозчика и отвез Гуну Парупе на прежнюю ее квартиру, а сам поехал на улицу Валдемара. На дощечке еще с 1940 года сохранилась надпись: «Мета Никур». Дом при покупке был записан на имя жены, чтобы меньше об этом болтали.

«Кошечка» чуть не покачнулась от неожиданности, когда в дверях показалась фигура Альфреда Никура.

— Не ожидала? — спросил он, сконфуженно улыбаясь. — Пропавший грош нашелся. Перелетные птицы, кошечка, возвращаются к старым гнездам.

Поставив чемоданы в угол передней, Никур широко раскрыл объятия, давая понять, что истосковавшаяся жена может броситься на грудь любимому спутнику жизни. Но Мета не поняла или не хотела понять этого жеста. Она уже оправилась от удивления и спокойно стояла перед Никуром, будто в его появлении не было ничего особенного.

— Теперь ты опять дома, — сказала она и неторопливо протянула ему руку.

Никур поцеловал и выпустил ее, потом, вспомнив, что этого недостаточно, обнял Мету и с минуту крепко прижимал к себе.

— Да, дома, кошечка. Что может быть лучше дома? Но по-настоящему это понимаешь только после того, как судьба погоняет тебя по чужим странам, где нет ни друзей, ни дома, ни уюта. И как же я соскучился по тебе, дружок...

Мета уже уловила запах крепких, приторных духов... «Это не мужские духи».

— Ты один приехал? — спросила она, освобождаясь от объятий Никура.

— Один, совсем один.

— А Гуна осталась в Швеции?

— Что еще за Гуна? — довольно естественно удивился Никур.

— Гуна Парупе... с которой ты... — Голос Меты задрожал.

— Право, не знаю такой, — пожал плечами Никур. — Вообще за границей я не встретил ни одного латыша. Жил как в ссылке.

Мета перестала задавать вопросы.

Никуру показалось, что она за эти два года очень постарела. Под глазами и возле рта появилось множество мелких морщинок. Старая, увядшая женщина... Никогда ее грудь не кормила ребенка, никто не целовал этих губ в порыве страсти...

Никур снял и повесил макинтош. Пока он стоял перед зеркалом и приглаживал волосы, Мета сбоку осмотрела его и установила, что годы ссылки не пошли ему на пользу: он похудел, постарел и вообще потускнел...

«Когда же ты уймешься? — подумала она. — Давно, давно пора».

После этого они вдвоем обошли квартиру, и Никур убедился, что все почти осталось на старом месте. Мета не особенно жаловалась на трудную жизнь, потому что в Рижском уезде у ее отца была большая усадьба, и хотя

немцы следили за каждым крестьянином, который ехал в город, время от времени старику удавалось привезти окорок или кадочку масла.

Когда все было осмотрено и все сказано, Никур позвонил в секретариат Лозе. «Кошечке» стало ясно, что Альфреда ждут великие дела и, может быть, великие почести: он идет на прием к самому Лозе.

— Будь так добра, никому не рассказывай, что я в Риге, — предупредил ее Никур. — Может быть, мне некоторое время придется пожить под чужой фамилией. Наши враги не должны знать, что жив еще старый лев.

Принарядившись, он пешком отправился в рейхскомиссариат к Лозе — еще не вернулись те времена, когда у него была машина и шофер. Ну, ничего, ничего, еще вернутся.

Разговор с Лозе и Екельном продолжался с час. Выйдя из рейхскомиссариата, Никур не спеша пошел домой. Вернувшись к активной деятельности, он почувствовал, что в его сердце проснулись прежние склонности.

Гуна — эта никуда не денется. Недурно бы заглянуть к Лине Зивтынь... Или к Айне Перле — к маленькой поэтессе, которая умеет складывать такие нежные вирши и маленьким своим ротиком, как пчелка, сосет мед с твоих губ... и из кармана тоже... Ах, как бы кстати была конспиративная квартира, про которую не знали бы ни Мета, ни Гуна... Квартира с телефоном...

Погрузившись в эти приятные мысли, Никур шагал по аллее вдоль Эспланады и сам не заметил, как налетел на двух немецких офицеров, которые шли ему навстречу со своими девицами.

— Гром и молнии! Латышская свинья! — крикнул один из них, совсем еще молокосос, и занес руку для удара.

Никур сначала хотел оскорбиться и ответить чем-нибудь равноценным, но, вспомнив, что эти люди не могут знать, кто он такой, — на лбу у него не написано, что он только что разговаривал с рейхскомиссаром и обергруппенфюрером войск СС, — успокоился и поучительно сказал по-немецки:

— Не надо делать поспешные выводы, господин офицер. Господин рейхскомиссар, у которого я только что был на приеме, не называл меня латышской свиньей.

Конечно, довольно глупо и неуместно рассказывать каждому встречному о своих взаимоотношениях с рейхскомиссаром, но соблазн был слишком велик. Шесть лет подряд Латвия баловала Никура своим вниманием, а после этого два с половиной года никто даже не оглядывался

на него на улице. Поневоле станешь нетерпеливым.

Никур неторопливо продолжал свой путь, довольный только что произведенным эффектом.

На следующее утро Мета пошла по делам в город. Что это были за дела, Никур не стал спрашивать, — наверно, что-нибудь по хозяйству. Без нее можно было обдумать, что предстоит сделать в ближайшие дни. Во-первых, найти Понте, организовать встречу со своими главными агентами... подыскать помещение для типографии. Работы много — есть о чем подумать. А потом и девочки — надо найти и девочек. И они пригодятся — и для себя и для дела.

Пока он это обдумывал, Мета кратчайшей дорогой направилась к дому Гуны Парупе. Ее влекло естественное и непреодолимое любопытство: она хотела разгадать тайну аромата, струившегося вчера от головы Никура. Если Гуна в Риге, значит источник этого аромата — она; если ее нет, то у Альфреда появилось новое увлечение.

Любопытство Меты было удовлетворено в три минуты — достаточно было поговорить с дворничихой.

Придя домой, она будто вскользь заметила:

— Я сегодня встретила Гуну Парупе.

— Да? Как ей живется?

— Об этом я спрошу тебя. — Глаза у Меты заблестели. — Вы же с ней вместе приехали из Швеции.

«Проболталась, дрянь этакая... — мысленно обругал Гуну Никур. — Эти женщины не могут держать в тайне даже таких пустяков».

— Зачем же ты мне вчера соврал?

— Это не так просто объяснить, — озабоченно ответил Никур. — Это государственная тайна.

— Когда у тебя, наконец, кончатся эти тайны? — вздохнула Мета.

27 февраля было опубликовано обращение, подписанное генерал-комиссаром Латвии бригаденфюрером СС Дрехслером и генерал-майором полиции Шредером, латвийским областным комендантом генерал-майором Вольфсбергом и генерал-директором внутренних дел Данкером. Через некоторое время за этим обращением стали следовать приглашения за подписью то Данкера, то полковника Силгайля, то Бангерского. Они задабривали, они поторапливали, они напоминали, какую великую честь и

доверие оказывают латышам, разрешая им организовать свой легион. «Оправдаем надежды, которые возлагает на нас Адольф Гитлер! — трубила в каждом номере „Тевия“. — Станем в ряды легиона!»

«Юноши и мужчины! — писал Данкер. — Полните строй борцов, записывайтесь в воины латышского легиона, которым будет командовать латышский генерал. Засвидетельствуйте в этой войне, которая решает судьбы Европы на будущие столетия, храбрость латышского воина и его геройскую отвагу!»

С ведома генерал-комиссара пасторы говорили об этом в своих проповедях, а радио не давало покоя слушателям ни днем, ни ночью. Идите, подавайте заявления! Что вы медлите? Разве вы не видите, что Гитлер ждет вас?

Но народ будто и не замечал всей этой шумихи. Газеты рекламировали немногочисленных кулацких сынков и айзсаргов, которые, являя пример остальным, приходили на вербовочные пункты, но и это не помогало. На некоторых пунктах за несколько недель не было зарегистрировано ни одного добровольца. В одном из видземских уездов произошел такой случай: на вербовочный пункт, куда в течение десяти дней не явился ни один мужчина, однажды утром пришел какой-то идиотик и изъявил желание вступить в легион. Ошеломленные регистраторы высмеяли парня, обозвали обезьяной и сумасшедшим, и тот со стыда не знал куда глаза девать.

Видя, что добром ничего не выходит, высокопоставленные господа в Риге сказали:

— Надо действовать иначе.

Во все концы полетели новые инструкции, новые приказы и указания. Вся черная сотня была поднята на ноги. Юношей и взрослых мужчин вызывали на вербовочные пункты повестками и предлагали выбрать одно из трех: или вступить в легион, или в армейские вспомогательные части, или отбывать трудовую повинность. Видя, что деваться некуда (тех, кто не соглашался ни на один из трех вариантов, немедленно арестовывали и направляли в концентрационный лагерь), многие выбирали трудовую повинность как меньшее из трех зол.

Последних целыми партиями отправили в Ригу, где их немедленно зачислили в легион, не обращая внимания на все их протесты. Хотел человек, не хотел, но его клеймили позорной печатью Каина.

А газеты писали о том, как растет число добровольцев.

Многие убегали в лес, скрывались на болотах и дальних лугах, многие находили партизан и становились народными мстителями. Бежали из дому,

бежали с вербовочных пунктов, бежали даже из казарм. Появились нелегальные воззвания, в которых Роберт Кирсис и его товарищи разоблачали организаторов легиона и показывали народу всю подлость их затеи. В Латвии шла великая борьба за честь народа. В этой борьбе участвовали широкие массы, и каждый боролся как умел.

— Сколько новобранцев приняли вчера в легион? — спрашивал каждое утро Дрехслер у Данкера и Бангерского. Те, как побитые псы, стояли перед своим хозяином. — Вы ничего не предпринимаете для успеха дела! — горячился Дрехслер. — Вы не видите объема своей ответственности, у вас атрофировано сознание долга.

— Делаем все, что в наших силах, — оправдывались генералы. — Но что поделать — не идут!

— Что же это у вас за силенки? — издевался генерал-комиссар. — Получается, что большевистские партизаны сильнее вас, их стало вдвое больше. По вашей милости, уважаемые господа, вся эта кампания обернулась в их пользу. Вы подумали о том, на какой сосне повесят вас большевики, если вы попадете им в руки? Вы надеетесь, что немецкая армия своей кровью спасет вас от этой участи? Самим надо обеспечить себе безопасность, господа. Я жду от вас более энергичных мер, в противном случае мне придется искать людей, которые доведут это дело до конца. Ясно? Тогда выбирайте, что вам выгоднее.

Гитлеровской армии на востоке, видимо, приходилось совсем скверно, если генерал-комиссар заговорил таким истерическим тоном. Но разве это могло помочь Данкеру и Бангерскому? Отнюдь нет. Предателей народа всегда ждут непредвиденные осложнения и неприятности. Кого народ ненавидит, тому невозможно стать вождем и героем.

Окончательную редакцию первого воззвания утвердил сам Лозе. Он смягчил некоторые резкие фразы, направленные против немцев, приписал несколько слов об англичанах и американцах, но те места, где речь шла о большевиках и Советском Союзе, оставил без изменений, потому что более злобной, лживой и гнусной клеветы не придумал бы и Геббельс.

— Вы сами это сочинили? — спросил Лозе, отдавая Никуру лист бумаги, исчерченный красным карандашом.

— Кто же еще, господин рейхскомиссар.

— Ничего, — улыбнулся Лозе. — Вы довольно правильно поняли мои

указания. Только про немцев у вас местами слишком грубо.

— Я старался приспособиться к психологии среднего латыша, — объяснил Никур. — Он так примерно думает и рассуждает. Мне кажется, в первом воззвании нужно взять самый резкий тон — тогда лучше выслушают и крепче поверят, что обращение исходит от недовольных элементов. Позже, когда движение окрепнет, можно будет постепенно сойти на другую мелодию.

— Это верно, но мы не имеем права играть такими опасными словами. Еще такой пожар разожжем, что потом трудно будет потушить.

— Хорошо, господин рейхскомиссар. Надеюсь, вы и впредь не откажете мне в совете.

— Непременно. Как только вам что-нибудь будет не совсем ясно, обращайтесь ко мне. Хорошо устроились?

— Не могу пожаловаться. У меня уже есть конспиративная квартира на окраине, — господин Екельн помог найти. Сегодня вечером жду одного из своих бывших агентов. Надеюсь с его помощью возобновить старые связи.

— Да, поспешите, господин Никур, пока не загнила сердцевина зеленого латышского дуба. Отпечатайте скорее это воззвание и пускайте в народ. Для первого выпуска достаточно будет и пятисот экземпляров, — на каждую волость по одному. Если будет хорошо принято, сами размножат на машинке, или на шапирографе, или другими способами.

Из рейхскомиссариата Никур пошел к себе на квартиру, которая находилась в старом доме, недалеко от церкви Павла. Днем он на улице не показывался: вряд ли забыли рижане лицо бывшего министра, какой-нибудь болван мог заявить властям и испортить удачно начатую игру.

Для выполнения разных поручений к Никуру был приставлен чиновник гестапо. Он быстро нашел Понте и передал ему приглашение, сказав только, что его ждет бывший сослуживец.

В десять часов вечера Понте постучался к Никуру. В передней было темно, впустили его молча, и он сначала не узнал свое бывшее высокое начальство. Слегка встревоженный, недоверчиво шел Понте за Никуром в комнату. Когда же хозяин обернулся к нему, Понте от неожиданности охнул и сорвал с головы фуражку.

— Господин министр... ваше превосходительство... это вы? — бормотал он.

— Да, Кристап, это я, — засмеялся Никур. — Но вы постарайтесь не называть ни титулов, ни фамилии. Сейчас меня зовут не Никуром, а Лаудургом.

Понте струхнул.

— Вы... скрываетесь?

— Почти да. Садитесь, пожалуйста. Мне надо поговорить с вами о серьезных делах.

Понте сел на диван, Никур — рядом с ним. Разговор велся вполголоса.

— Дела зашли так далеко, что вы возвращаетесь ко мне на службу, — сказал Никур. — Да, настало время действовать. Мы не можем больше оставаться в стороне и молчать. Мы начинаем издавать нелегальную газету и призывать латышей к сопротивлению. Через два дня первый номер газеты будет напечатан. Изыскивайте способы, как доставлять ее в наши бывшие центры и передавать людям для дальнейшего распространения. Затем вам надо съездить в «зеленую гостиницу» и поговорить с Радзином. Пусть он соберет через неделю главных членов организации на тайное совещание. Ровно через неделю. Я тоже приеду, а вы будете сопровождать меня.

— А если начальство не разрешит? — сомневался Понте. — Я теперь в гестапо служу. У нас очень много работы.

— Найдите какую-нибудь причину. На что же у вас голова?

— Я постараюсь, господин Ник... Лаудург. Значит, надо начинать работать?

— Работать так, как никогда еще не работали.

— Работать против немцев, так я понял?

— И против немцев и против всех, кто не наш.

— А не опасно?

— Как же не опасно? Но надо действовать умеючи, тогда ничего не случится.

— Это верно, действовать надо осторожно.

— Расскажите, как вам живется при немцах?

— Лично я пожаловаться не могу. Служба знакомая. Но скажите, господин Лаудург, а можно мне и дальше оставаться на службе в гестапо? Может быть, неудобно?

— Наоборот, очень удобно. Вы будете работать в гестапо до тех пор, пока я не скажу — довольно.

— Не будут потом расценивать это как действие против организации? По правде, из наших многие поступили на работу к немцам, помогают политической полиции.

— Что же здесь такого? Вы ведь боретесь с теми элементами, которые никогда не были и не будут с нами. Это хорошо. Но теперь придется бороться и с теми и с другими. Это еще лучше.

Они договорились, что Понте придет через два дня, захватит часть тиража новой газеты и направится в уезды.

Выйдя от Никура, Понте, не помня себя от радости, помчался в гестапо. Такого улова у него еще никогда не бывало. Немцы-то как будут благодарить... повысят в должности! Ничего не поделаешь, Никуренок, я еще хочу пожить, а в эту петлю полезай сам.

Через час он сидел перед начальником политической полиции Ланге и пересказывал во всех подробностях свой разговор с Никуром. Ланге слушал очень внимательно и часто брался за блокнот.

Когда Понте кончил рассказ, он немного подумал и сказал:

— Дело это очень серьезное, вы пока никому не рассказывайте об этом. Завтра дам указания, как действовать дальше.

Отпустив Понте, Ланге тотчас же позвонил Екельну и попросил аудиенции. Он был взволнован и счастлив не менее Понте.

В кабинете обергруппенфюрера его ждало разочарование. Едва Ланге начал свой рассказ, Екельн расхохотался.

— Все в порядке, господин Ланге. Это дело начато с моего ведома. Газета, организация, тайные совещания — все предусмотрено планом, который утвердил сам рейхскомиссар. Никур наш, и ему надо предоставить свободу действий. Но ваш агент знать этого не должен. Пусть он сообщает вам все свои наблюдения, вы выслушивайте их с самым серьезным видом — может быть, узнаете что-нибудь полезное.

На следующий день Ланге проинструктировал Понте и отпустил его на целую неделю. Уверенный в важности задания, Понте запоминал теперь каждый мельчайший факт и периодически сообщал Ланге; Ланге в свою очередь включал самые интересные факты в свои отчеты Екельну, — и таким образом был создан дополнительный контроль над нелегальным движением и его руководителем Никуром.

В конце марта в «зеленой гостинице» состоялось тайное совещание руководителей организации «национального сопротивления». Возвращение Никура в Латвию оказалось для всех полной неожиданностью. Многие искали в этом событии особый многозначительный смысл.

Платформа была изложена в первом воззвании: пассивное сопротивление немцам — в форме агитации и критики, и военные действия против большевиков, в крайнем случае — даже заодно с теми же немцами, которые в воззвании назывались и обманщиками и эксплуататорами. Прежде всего надо бороться с главным противником — Красной Армией, даже сотрудничая в этих целях с немцами. Потом можно будет рассчитаться и с самими немцами и изгнать их из Латвии. Никур говорил о

тактике, о военной хитрости, которая заставляет заглушать на время даже самые естественные чувства и помогать тому, кого не считаешь своим другом, чтобы в конце концов при дележе добычи захватить свою долю.

Герман Вилде, Зиемель, Радзинь и другие заправились беспрекословно присоединились ко всем предложениям Никура. Единственное исключение составлял, может быть, Миксит, маленький человечек, которого заставляли стоять за дверью: ему эти вечные тайны и беготня по поручениям высоких особ уже порядком надоели. Что он получил за все свои труды, за свою преданность? Только удовольствие ходить за ними по лесу и вечную опаску, а награда все откладывается и откладывается на будущее.

Сколько времени можно жить менаду страхом и надеждами? Нет, надоело это Микситу, и он был бы рад-радешенек, если бы высокие особы не вмешивали его больше в свои дела. Но он не посмел об этом и пикнуть — назовут предателем, неизвестно что еще сделают. Как усталая кляча, он уныло тащился в осточертевшей упряжке.

Глава вторая

1

Самолет, управляемый опытным пилотом, незаметно оторвался от земли и стал набирать высоту. Пассажирская кабина была полна людей и багажа. Кутаясь в шинели и полушубки, партизаны сидели на тюках и мешках, тесно прижавшись друг к другу. Некоторые, стоя, старались что-то разглядеть в замерзшие иллюминаторы. Ночь была темная, облачная.

Рута Залите сидела на длинном металлическом ящике, прижавшись к стенке самолета, и время от времени ощупывала свою радио и маленький тяжелый ящичек с батареями.

«Значит, лечу... Лечу первый раз в жизни... Еще несколько часов, и мы будем в Латвии...»

— Рута, тебе спать не хочется? — услышала она из темноты голос сидевшей где-то поблизости Марины.

— Нет, Марина, — ответила Рута, неохотно отрываясь от своих мыслей. — Какой сон — скоро над фронтом будем лететь.

— Интересно, заметят нас немцы? Наверно, обстреливать будут, — не унималась Марина. — Или нащупают прожекторами и будут пускать пилоту в глаза свет. Ну, пусть — у нас очень смелый пилот. Три ордена,

понимаешь, Рута? Красная Звезда и два Красных Знамени. Замечательный парень.

— Уж не влюбилась ли? — Марина по голосу почувствовала, что Рута улыбается.

— Скажешь тоже — влюбилась! Сейчас сердце должно быть свободным, чтобы ничто не мешало воевать. Но когда кончится война, тогда обязательно сразу влюблюсь. «Теперь, — скажу себе, — можно, теперь ты заслужила, Марина». Но непременно в героя. На тех, кто всю войну просидел в тылу, и глядеть не стану.

— Через несколько часов ты и сама будешь в тылу и, может быть, пробудешь там до самого конца войны.

— Ну, это особый тыл, он любого фронта стоит. Слушай, Руточка, как ты переносишь полет? Ничего?

— Пока ничего. А ты?

— И я ничего. Это пилот такой. Ведет машину, как бог.

Две недели тому назад они окончили специальные курсы радистов. Партизанский штаб тут же направил их в маленький районный городок у истоков Даугавы. Погода стояла нелетная, они целую неделю просидели здесь без дела. Рута каждый день ходила на реку и подолгу смотрела на нее. Ведь это родная река, ее невидимые подо льдом воды бегут к Латвии, через несколько дней они минуют Даугавпилс, потом Крустпилс, потом — шлюзы Кегумской плотины и наконец омоют набережные в Риге. «Милая, славная Даугава... Отнеси мой привет седой Риге... — мечтала девушка. — Скажи, что я не забыла ее и скоро вернусь туда. Привет Ояру... Пусть он... Нет, лучше не думать больше о нем».

Марина прижалась лицом к иллюминатору, от ее дыхания на стекле оттаял маленький кружочек. Взглянув на землю, она дернула Руту за рукав.

— Смотри, смотри, как раз над фронтом летим. Ой, как сверкает...

Внизу, на темном фоне, то здесь, то там вспыхивали огоньки оружейных выстрелов. Горело какое-то здание. Но огоньки уже остались позади, и земля опять погрузилась в темноту.

Стрелок-радист на минуту спрыгнул с возвышенья посередине кабины, служившего ему наблюдательным пунктом.

— Все в порядке. Через фронт перелетели. Без единого выстрела!

— Везет, — отозвался какой-то партизан.

— Раньше времени не радуйся, — предостерег стрелок-радист. — Пока мы не на аэродроме.

— А далеко еще?

— Приблизительно с час остается.

Или глаза привыкли к темноте, или ночь стала светлее, но теперь можно было разглядеть покрытые блестящим льдом озера, темные пятна лесов, несколько сел. Самолет, видимо, летел ниже.

— Разве не странно, Рута? — заговорила опять Марина. — Только что мы были на советской земле, среди своих, а скоро будем как на острове, в окружении врага.

— Там мы тоже будем среди своих, земля эта наша. И пусть Гитлер не думает, что он здесь хозяин. Пусть не зазнается.

— Ну, это зазнайство советский солдат из него уже выбил. Сталинград они будут помнить тысячи лет. Что тысячи — пока люди будут жить на свете. Пожар Рима забудут, забудут всяких Неронов и Калигул, а Сталинград будут помнить. Как я рада, Рута, что мы живем именно сейчас. Трудно, страшно даже иногда, а мы все-таки живем и участвуем в этих событиях и даже немножко вписываем в историю свое. Я думаю, наши дети будут нам завидовать, честное слово. Скажут: «Мамочка, как мне хотелось бы быть на твоём месте».

Нащупав в темноте руку Марины, Рута пожалала ее.

Через полчаса они заметили внизу несколько костров. Они горели красным пламенем, дерзко бросая вызов ночному мраку — четыре костра на занятой врагами земле. «А мы горим... — как будто говорили они своими огненными языками. — А нас никому не потушить».

Самолет повернул налево, накренился и плавно по кругу пошел на посадку. Потом пробежал по гладкому льду озера, где был устроен аэродром, и остановился.

— Прилетели, товарищи! — крикнул стрелок-радист. — Нечего ждать, выходите. Дальше все равно не повезем.

Партизаны, подобрав свои мешки, столпились у выхода. На озере их ожидала кучка людей. Где-то в темноте ржали лошади.

Аэродром устроили общими силами белорусские и латышские партизаны. В темные, безлунные ночи здесь было такое оживление, как в настоящем аэропорте. Большие транспортные самолеты привозили людей, оружие, боеприпасы, пищевые концентраты и медикаменты. В обратный рейс они брали тяжело раненных партизан, которым была необходима квалифицированная медицинская помощь.

В окрестностях аэродрома, среди лесов и болот Освейского района, в

то время находилась главная база и штаб бригады латышских партизан. Самые крупные операции и открытые рейды латыши проводили вместе с белоруссами. Командиры часто совещались между собой и действовали согласованно, в нужный момент помогая друг другу людьми и боеприпасами. Это был настоящий советский район, партизанская земля, на которую ни один немец не мог ступить безнаказанно. Гитлеровским комендантам и крейсландвиртам нечего было и нос сюда совать. Небольшие войсковые соединения обходили этот опасный участок, на котором властвовали советский закон и порядок. Несколько раз немецкое командование направляло против партизан большие, хорошо оснащенные карательные экспедиции, которые под прикрытием танков, артиллерии и авиации пытались окружить и уничтожить партизан, но всякий раз отступали с большими потерями, оставляя на поле боя оружие и боеприпасы. Партизаны тут же пускали в ход эти трофеи против оккупантов. У партизан в каждом селе были свои глаза, которые наблюдали за малейшим продвижением противника. Сталкиваясь с превосходящими силами, отряды партизан рассыпались на мелкие группы и ускользали из окружения; в других случаях они принимали бой и, пользуясь своей большой маневренностью, заставляли немцев дорого платить за каждую авантюру. Гитлеровцы скоро убедились, что полком или дивизией тут ничего не сделать, а корпуса и армии теперь до зарезу нужны были фронту. Немцы зубами скрежетали, но вынуждены были терпеть в своем тылу существование целого партизанского района, откуда в любой момент можно было ждать самых неприятных сюрпризов.

У латышских партизан был здесь свой полевой госпиталь. О существовании Освейской базы стало известно и в Латвии. Разными дорогами шли сюда преследуемые и обреченные на гибель люди. Шли из Латгалии и Видземе, шли в одиночку и целыми семьями. Партизаны принимали их. Тех, кто в состоянии был держать в руках оружие, зачисляли в группы бойцов, остальные работали по хозяйству.

...Вместе с Рутой и Мариной прилетело несколько молодых командиров, врач, два офицера разведки, партийный работник, который должен был организовать политическую работу в партизанских частях. Штаб бригады распределил их по отдельным отрядам, и те, кому надо было направиться в Латвию, тронулись в путь, как только прибыли проводники. Надо было торопиться, пока не вскрылись реки.

Проводников прислал Паул Ванаг, командовавший партизанской частью в Латгалии. Мужчины по очереди помогали девушкам нести тяжелые рации. Снег уже таял, на болотах поверх льда собирались лужи, в

полдень везде журчали буроватые ручейки. Ноги промокали. Днем в овчинных полушубках было жарко, зато ночью, в короткие часы сна, донимал холод.

Бывшую границу Латвии, где охранную службу нес «латышский» полицейский батальон, партизаны перешли ночью. Дальше они несколько раз натыкались на немецкие патрули, но им всегда удавалось избежать столкновения. Штаб бригады приказал без особой надобности в бой не вступать, чтобы не поднимать большого шума и как можно скорее прибыть на место: они ведь несли рации, а партизанам радиосвязь была всего нужнее.

Призрачно тихой показалась Руте Латгалия. Люди, которых они видели издали, ходили с опущенными головами, будто тяжесть всего мира лежала на их плечах. Однажды они прошли мимо дымящегося пожарища; рядом на голых ветвях липы были повешены молодой мужчина, женщина и дети — меньшей лет пяти, не больше. «Осуждены за помощь партизанам», — было написано на плакате, прикрепленном к груди мужчины.

В условленном месте их ждала новая смена проводников. Партизаны Ванаса попрощались с группой и ушли на свою базу, а Саша Смирнов и Ян Аустринь повели новых партизан на базу своего полка. Идти так же быстро, как в начале пути, не пришлось: многие партизаны натерли ноги. Они разувались, обматывали ступни тряпками и так брели дальше по лужам и по грязи.

На девятые сутки группа достигла конечной цели. Влажный весенний ветер шумел в чаще дремучего леса, из синеватых предрассветных сумерек навстречу им шли свои. Партизаны сняли с плеч поклажу и облегченно вздохнули.

— Вот мы и дома...

Саша Смирнов пошел в штабную землянку доложить командиру полка о возвращении с задания. Ояр Сникер и сам только с час как вернулся с какой-то операции.

— Сколько человек привел? — спросил Ояр.

— Шесть человек. В том числе две девушки.

— Девушек на дороге, что ли, подобрал?

— Нет, товарищ командир, из Москвы они... Радистки. К твоему

сведению, довольно бойкие девушки. Одна русская. Сейчас будешь принимать или после?

— Придется принять сейчас, чтобы людей не заставлять ждать. Пока я буду с ними беседовать, ты позаботься о размещении. Надо дать им хорошенько отдохнуть.

— А их как? — спросил Саша.

— Девушек? Девушек устроим у наших старушек; хватит там места еще двоим?

— Пока хватит.

— Тогда иди и скажи, чтобы они по одному шли сюда. Всем сразу здесь некуда деться.

Ояр снял со столика все лишнее — котелок с водой, чайную чашку и планшет с картой, а новенький, отнятый у немецкого офицера «вальтер» засунул в карман брюк.

Первым вошел Ян Вимба — мужчина лет тридцати пяти, с обветренным смуглым лицом и твердым, спокойным взглядом.

— Я назначен вашим заместителем по политчасти, — сказал Вимба, когда они представились друг другу. — Мне поручено создать партийную организацию в полку и вести работу по политическому воспитанию. В ЦК мне сказали, что до войны вы тоже были на партийной работе. Тем лучше, значит всегда поможете мне советом. Я ведь пока не знаю здесь ни одного человека.

— Ничего, освоитесь. Прямо счастье, что вас сюда прислали, а то мне подчас за всех работать приходится. А это трудновато. Где вы в последнее время служили?

— В латышской дивизии комиссаром батальона. Под Тугановым меня прошлым летом ранило в плечо. Латал свою рану в Кирове и там попался в руки штаба партизанского движения.

— Знатная добыча, — засмеялся Ояр. — Я очень рад, что так получилось, а мы с вами пойдем друг друга.

— Не хватало только, чтобы два коммуниста не поняли друг друга, — улыбнулся и Вимба.

После Вимбы зашел капитан государственной безопасности Эзеринь, старый опытный чекист и участник гражданской войны. Его назначили начальником особого отдела полка.

— Могу сказать, что работа у вас будет, товарищ Эзеринь, — познакомившись с ним, сказал Ояр. — Надеюсь, что ни одному предателю не удастся пробраться в наши ряды. В последнее время к нам приходит много новых людей. Их надо проверять. Однажды был уже неприятный

случай, пролез один негодяй, подсланный Араем. Мы, правда, скоро его разоблачили и повесили, но бед он успел наделать. Погибла одна хорошая девушка.

Затем Ояр поговорил с комсомольским организатором Валдисом Рейнфельдом, участником боев латышской дивизии под Москвой.

— А найдутся у вас ребята комсомольского возраста? — первым делом спросил Рейнфельд. — Я пока таких что-то не видел.

— Не волнуйтесь, товарищ Рейнфельд, — улыбнулся Ояр. — Да я сам готов второй раз вступить в комсомол. А подходящие парни найдутся. Советую, например, познакомиться с Имантом Селисом — он уже комсомолец. Потом Эльмар Аунынь, ну и еще есть молодежь. Они ребята славные, золотые ребята.

Пришел лейтенант Мазозолинь, присланный для пополнения командного состава. Он тоже получил боевое крещение под Москвой как рядовой боец, потом учился на курсах и у Ловати стал командиром взвода. Ояр решил назначить его начальником штаба.

«Золотых людей мне прислали, — радовался он, когда ушел Мазозолинь. — Мы с ними так воевать будем, только держись. Теперь моих деревенских паренюков можно понемногу обучать строевой мудрости, и уставом подзаймемся, — чтобы в Ригу с честью войти».

Хорошее впечатление произвела на Ояра и Марина Волкова. Держалась она серьезно, на вопросы отвечала коротко и толково. Ояр было забеспокоился, узнав о приезде на базу девушек, но сейчас все его сомнения рассеялись. Пусть только кто-нибудь начнет надоедать ей со своими чувствами, — каждого сумеет поставить на место. Ну, а если кто проявит излишнюю настойчивость, можно перевести его подальше от базы. Ояр уже решил про себя оставить Марину в штабе полка, а другую радистку послать с Акментынем за Даугаву.

Марина вышла. Ояр подошел к полочке и стал рыться в брошюрках: Имант уже несколько раз просил почитать стихи Райниса. Надо найти, пока не забыл.

— Прошу садиться, — не оборачиваясь, сказал он, услышав скрип двери и шаги. — Болят, наверно, ноги после такого пути?

Ояр стоял в профиль к Руте. Он несколько месяцев не стригся, и волосы у него уже закручивались довольно своеобразными завитками, лицо было бронзово-красное от солнца, ветра и мороза, но голос... голос Ояра Сникера Рута узнала с первого звука. Она заморгала, губы у нее задрожали...

— Ояр!.. Жив?.. Ты не погиб?..

Ояр так стремительно обернулся, что ударился головой о потолок землянки. Прищурился, будто силясь увидеть что-то в страшной дали, посмотрел он на Руту, и его бросило в жар.

— Рута... — с трудом проговорил он. — Ты? Рута?

Ничего более осмысленного он не мог сказать. Радость бушевала в нем еще где-то глубоко, он еще не осознал ее, не успел в нее поверить.

Он держал в своих руках руки Руты, то принимаясь трясти их, то гладить, а взгляд не в силах был оторваться от ее глаз, от ее лица.

...Марина ждала Руту полчаса, час. «Странно, что же это значит?»

Она сидела на пеньке и наблюдала за утренней жизнью лагеря, время от времени оглядываясь на дверь землянки. А когда там было рассказано все, что в таком взволнованном состоянии могут рассказать друг другу безгранично счастливые люди, — Рута сама вспомнила о Марине.

— Мне надо идти, Ояр, — вздохнула она. — Очень не хочется уходить, но ведь мы еще поговорим с тобой, правда?

— Я настоящий осел! Ты от усталости, наверно, с ног валишься, а я трещу, как трещотка. Прости меня, Рута, и давай спасать, что еще можно спасти.

Он надел полушубок и ушанку и сам пошел проводить девушек до женской землянки. Дорогой Марина вопросительно смотрела сбоку то на Руту, то на Ояра. С серьезными лицами, спокойно шагали они рядом, снег хрустел под ногами, и первые лучи солнца, проникавшие сюда сквозь ветви деревьев, били им в глаза.

«Разберись тут, — думала Марина. — Но, кажется, что-то есть».

У маленькой, стоящей в стороне землянки Ояр остановился, тихонько постучался в дверь и, когда изнутри раздались голоса, с хитрой улыбкой подмигнул девушкам.

— Мамаша Аунынъ, откройте-ка нам. Я вам привел двух дочек. Любите и балуйте их, как родных.

Он посмотрел, как они вошли в землянку, кивнул им и пошел к себе. Что-то бушевало у него в груди. Ему хотелось сразу и запеть, да так, чтобы весь лес дрожал, и кувыряться по нетронутому еще в лесу снегу, и потрясти за плечи идущего навстречу партизана, чтобы тот запросил пощады. Или отправиться сейчас со своими людьми в опасный рейд, в уездный город например, выгнать всех немцев на улицу: пусть попляшут под автоматами в честь приезда Руты. Иначе говоря, Ояр был счастлив.

Старушки, познакомившись с девушками, тут же заставили их улечься.

Они лежали рядом на узких нарах. Марина видела, что Руте вовсе не хочется спать, что она смотрит блестящими глазами в темноту и улыбается.

— Рутыня, скажи мне откровенно, это он?

Рута, не поднимая головы, кивнула ей.

— Тогда мне все понятно. Зачем же вы так торопились, я бы и еще подождала.

4

За две недели до этого Капейка и Акментынь ушли в глубокую разведку — первый через Видземе в сторону Риги, второй за Даугаву в Земгалию. В конце марта они вернулись со своими немногими спутниками. Ояр тотчас же созвал на совещание руководство полка — Эзериня, Вимбу, обоих вернувшихся и Мазозолия, только что назначенного на должность начальника штаба. Ни одна штабная землянка не могла вместить шесть человек, поэтому совещание состоялось в лесу под открытым небом. Толстое, вывороченное бурей дерево заменило им стол, на нем они расстелили свои карты. Присев на пень и положив на колени планшет, лейтенант Мазозолия химическим карандашом записывал в блокнот решения совещания.

— За Даугавой нет подходящего места, — рассказывал Акментынь. — Вы знаете, я не привереда, всегда доволен тем, что есть, но должен признаться, зацепиться там будет трудновато. Кроме Тауркалнского массива, больших лесов нет.

— Хочешь сказать, что нам надо отменить свое решение? — спросил Ояр.

— Нет, Ояр, погоди. Обосноваться в Земгалии надо обязательно, и мы это сделаем. Только вместо постоянной базы придется обойтись несколькими постоянными пунктами связи, — домов шесть подходящих я уже нашел. Позже их будет еще больше, не все же там немецкие прихвостни. Если решим, что моему батальону нужно перебраться туда, его придется разделить на несколько постоянных групп, которые все время будут находиться в движении, иначе нас из тамошнего мелкого кустарника живо выгонят в поле и прикончат.

— А насчет связи не бойся, — сказал Ояр. — Мы тут без тебя разбогатели. Выделю тебе и рацию и радиста, так что можем поддерживать связь ежедневно.

— Ну? Рация? — Глаза у Акментыня заблестели. — Где вы ее достали?

— Где достали? Да из Москвы прислали. Одна специально для тебя —

по распоряжению центрального штаба.

— В центральном штабе едва ли кто знает какого-то Крита Акментыня из Лиепаи, — с сомнением покачал головой Акментынь.

— И как еще знают, — улыбнулся Ояр. — Всех знают, и по имени, и по отцу как зовут. Так что, брат, теперь никуда не денешься.

— Здорово! — присвистнул Эвальд Капейка. — Мы, так сказать, опять взяты на учет и за каждый свой шаг отвечаем перед партией и правительством.

— Перед партией и правительством мы всегда отвечали, — сказал Ояр. — Знают твое имя, не знают, а от них, как от своей совести, ничего не скроешь.

— Когда мой батальон должен двинуться в путь? — спросил Акментынь.

— Сперва выслушаем Капейку, потом договоримся. Рассказывай, Эвальд, какие виды на работу под Ригой.

— Виды хорошие. Природные условия гораздо выгоднее, чем в Земгалии, много лесов, болот, озер, это всем известно. Но все кишит немцами: там и тыловые части, и хозяйственные команды, и полевая жандармерия. Я ничего не имею против: будет кого сбивать с ног, далеко ходить не придется. Место для базы я наметил хорошее, можно доходить до самого видземского побережья. А для нас рация найдется?

— Вам пока не хватило — только две прислали.

— Ну, когда так, обойдемся эстафетой.

Они долго изучали карту и говорили о настроениях местного населения. Замполит полка Вимба предложил Акментыню и Капейке заранее подыскать себе заместителей по политчасти: им придется вести воспитательную работу не только среди партизан, но и среди населения. Самые тяжелые времена уже позади, даже обыватель поймет это, если ему открыть глаза. А когда он это поймет, тогда Геббельсу с его дурацкими сказками лучше и близко не соваться.

— Замполит — это, конечно, неплохо, — задумчиво сказал Акментынь. — Мне ведь и днем и ночью придется заботиться о другом: куда деваться каждый раз после операции. Когда же тут думать о воспитании масс? По правде говоря, мне и самому не мешало бы подучиться. Ни разу партийную школу я не посещал.

— Эх, сюда бы Силениека, — тряхнул головой Капейка.

— Ого, какие требования! — усмехнулся Вимба. — Силениек... такие работники не на каждом шагу встречаются.

Решили, что Акментынь и Капейка немедленно подготовят свои

батальоны и дня через три отправятся на новые места. Каждому выделили около полтора человека.

— Да, чуть не забыл, — спохватился Капейка, когда все уже начали расходиться. — Смотрите, что я достал в одном доме недалеко от Скривери.

Он вытащил из кармана газетный лист и протянул его Ояру. Тот стал читать сначала про себя, потом вполголоса, чтобы и другие слышали.

«За Латвию прекрасную и могучую...»

Дальше предлагалось всем латышским патриотам связаться с новым центром нелегального «сопротивления», который берет на себя ответственность за судьбу народа. Затем — несколько сердитых слов по адресу немцев, за которыми следовал целый поток злобной браки против большевиков.

— Смотрите, да у нас, оказывается, есть помощники, — сказал Ояр, прочитав до конца первый номер никуровской газетки.

— Вот именно. Воду мутят, — сказал Вимба.

— Они же все-таки против немцев, — удивился Капейка.

— А еще того больше — против нас, — сказал Вимба.

Заговорил Эзеринь, который все время слушал молча:

— По отношению к ним нам надо выработать свою точку зрения. Игнорировать этот сигнал нельзя.

— Верно, верно, товарищ Эзеринь, — согласился Ояр. — Но прежде всего нам надо добиться полной ясности относительно целей, которые преследуют эти нелегалы, и их удельного веса. Если они действительно готовы драться против немцев, мы ведь не можем сказать им: «Успокойтесь, не трогайте фрицев, потому что у нас на это монополия». Но скорее всего это демагогический лозунг, с помощью которого они хотят завоевать симпатии и доверие в глазах народа, чтобы восстановить его против нас... Тогда надо немедленно сорвать с этих господ маски и показать народу, какие гнусные рожи прячутся за ними. Вот вам и работа, товарищ Эзеринь.

— От работы я не отказываюсь, да здесь дело-то очевидное. Белыми нитками шито, — неторопливо сказал Эзеринь. — По всей вероятности, немецкий трюк. Провокация.

— Весьма похоже на правду, — сказал Ояр. — К себе мы их близко не подпустим, а нам нужно хорошенько прощупать их.

— А может быть, немцы хотят натравить нас друг на друга, чтобы мы подрались и забыли про борьбу с ними? — предположил Акментынь. — Пока мы будем тратить силы на междоусобную драку, фрицы преспокойно

очистят клеть. Вот и разберись теперь, как с ними быть.

— Товарищ Сникер правильно сказал: сперва нам надо добиться полной ясности, — сказал Вимба. — Будь это доморощенная мудрость или продиктованный немцами план — все равно мы должны быть готовы к борьбе каждую секунду.

Через три дня Акментынь со своим батальоном отправился в Земгалию. Вопрос о том, кого из радисток пошлют вместе с ним, решали в последний день. Когда Акментынь спросил об этом у Ояра, тот как-то растерялся и не мог сразу ответить.

— А ты с ними говорил? — спросил Ояр.

— Нет, я думал, ты сам решишь.

— Это не так просто.

— Боже ты мой, а что тут сложного? — удивился Акментынь. — Как командир решит, так и будет. Ты хозяин.

Все это было верно, но Ояр очень хорошо понимал, что батальон Акментыня ожидают гораздо большие трудности и опасности, чем партизан, которые остаются на главной базе. Если он назначит Марину, каждый, кто хоть немного догадывается о его чувстве к Руте, скажет, что командир полка прежде всего думает о том, как бы получше устроить своих друзей. Но ведь он все-таки не сверхчеловек.

— Пусть кинут жребий, — решил, наконец, Ояр и вызвал обеих девушек. А когда они пришли, он сказал: — Одной из вас придется идти с товарищем Акментынем в Земгалию. Там работать труднее, чем здесь. Будет несправедливо решить этот вопрос приказом, тогда та, которую мы пошлем туда, может принять это как взыскание. Поэтому решили этот вопрос так: тяните жребий.

— И пусть решает глупый случай? — вспыхнула Марина. — Нет, разрешите нам с Рутой договориться самим. Пять минут, больше нам не надо, и результат будет ясен.

— Ну хорошо, договаривайтесь, — согласился Ояр.

Марина взяла Руту под руку и отвела в сторону.

— Молчи, не спорь и не говори ни слова, — быстро начала она. — Ты должна остаться на базе, я иду с Акментынем. Какое ты имеешь право отказываться от счастья, на которое уже было потеряла надежду? И пускай они не запугивают трудностями, не так уж там страшно.

— Марина... а если с тобой что-нибудь случится... — стала возражать Рута.

— А если с тобой? — перебила ее Марина. — Почему с тобой может

случиться, а со мной нет? Не надо без нужды стремиться к мученичеству. Ты ведь знаешь, что мне все равно, где работать, а тебе — нет. Теперь помалкивай и разреши действовать мне.

Марина опять взяла подругу под руку, и они вернулись к командиру.

— Мы договорились. Я иду с товарищем Акментынем. Когда я должна быть готова?

— Часа через три, — ответил Акментынь.

Как это было ни себялюбиво, но Ояр был рад, что все так вышло.

Через три часа Марина ушла с батальоном Акментыня. Провожая подругу, Рута расцеловалась с ней и, стоя на узкой лесной тропинке, с щемящим чувством глядела вслед батальону. На глаза набежали слезы. Ей казалось, что она заставляет Марину расплачиваться за свое счастье.

5

Большую часть дня Рута проводила возле своей рации. Надо было ловить знакомые сигналы Москвы и штаба бригады; звучали они не всякий день, но их следовало ждать в любое время. С известными трудностями была связана и передача донесений Ояра руководству — два раза в день, в определенный час, Москва и Освея ждали от него известий. Принять и отправить зашифрованную радиogramму дело само по себе несложное, только много времени уходило на расшифровку. Но сложность состояла в том, что каждую передачу надо было производить с нового пункта, иначе вражеские пеленгаторы могли обнаружить местоположение штаба полка. И Рута два раза в день уходила за много километров от базы, только для того, чтобы голос народных мстителей мог смело прозвучать в эфире несколько минут. Несколько раз немцы, нащупав волну ее рации, настраивали на нее свой передатчик и заводили кошачий концерт, пытаясь заглушить партизанскую станцию.

В эти походы Руту обычно сопровождали Имант Селис и Эльмар Аунынь. Пока Рута передавала, они зорко наблюдали за окрестностью.

Когда Имант увидел Руту в день ее появления на базе, он обрадовался ей, как родной. Рута плакала, слушая его рассказ о гибели Ингриды, о судьбе матери. И в Иманте эти разговоры с Руткой вновь разбередили тоску по сестре. Иногда он думал, что и Ингрида могла бы вот так же, как Рута, жить у партизан, работать у передатчика или ухаживать за ранеными... Может быть, и мать не мучилась бы тогда в Саласпилсе. О том, что она переведена в лагерь, — Имант узнал недавно, и с тех пор его не оставляла

мысль о том, как ее освободить оттуда.

Заходя в землянку к женщинам, он всегда представлял среди них свою мать. Работала бы день и ночь — она ведь иначе не может. Всех бы обштопала и обстирала, а какие бы вкусные обеды готовила: партизаны только пальчики облизывали бы. И как бы ее все здесь полюбили!

Своими планами Имант делился только с самым закадычным другом.

— Как ты думаешь, Эльмар, можно убежать из Саласпилского лагеря?

— Из самого лагеря, пожалуй, невозможно — его очень строго охраняют. Но их ведь там в каменоломни на работу гоняют — оттуда еще можно.

— Вот ты скажи мне, если бы Анна была жива и ее бы увезли в Саласпилс, — что бы ты стал делать?

Эльмар побледнел, опустил глаза.

— Я бы освободил, я бы не посмотрел ни на что, пусть хоть там тысячная охрана будет.

— Один?

— Если бы никто не захотел помочь, пошел бы один.

— А что бы ты сделал?

— Я бы сначала целую неделю бродил вокруг лагеря, чтобы все разузнать. Потом бы убил кого-нибудь из охраны и переоделся в его мундир. А когда бы Анну погнали на работу, я бы шел в охране. Потом бы выбрал время, когда никто не видит, и вместе с ней — в лес, на нашу базу. Понятно, одного немца мало, пришлось бы убить не меньше дюжины. Вот я бы как сделал, Имант.

Имант с минуту помолчал, обдумывая слова Эльмара, потом спросил, глядя в сторону:

— Эльмар, ты мне друг?

— Разве ты не знаешь?

— согласишься мне помочь в одном опасном деле, если я попрошу тебя?

— В любое время.

— Моя мать сейчас в Саласпилском лагере... Может, вдвоем мы ее и освободим?

— Об этом стоит подумать, — сказал Эльмар. — На меня ты можешь надеяться, я тебе помогу.

Теперь Имант только об этом и думал. У него каждый день возникало множество планов, как пробраться к Саласпилскому лагерю, как обмануть немцев и вырвать из их когтей мать. А когда в лагере стало известно, что Эвальд Капейка со своим батальоном на днях перебазируется на запад,

ближе к Риге, он тотчас побежал к Эльмару и возобновил прежний разговор.

— Пойдем и мы с Капейкой, Эльмар. Они будут ближе всех к Риге. Оттуда легче попасть в Саласпилс и все разузнать. Может быть, и на самом деле что-нибудь удастся...

— Ну что ж, я не против, Имант, — не задумываясь, ответил Эльмар. — Тогда нам нужно поговорить с командиром полка. Без его разрешения не возьмут.

— А я и пойду к товарищу Сникеру. Значит, можно говорить и от твоего имени?

— Говори, я от своего слова не отрекусь.

— А если он скажет, что тебе нельзя бросить бабушку?

— Здесь же останется вся штабная группа. Бабушка не одна. Пусть он хоть на время пошлет. А потом, если удастся вызволить твою мать, я опять вернусь на базу.

— Хорошо, я ему так и скажу.

После обеда Имант несколько часов сидел возле землянки, ждал того момента, когда командир полка останется один. Как назло, такого момента не выдалось до самого вечера. Все время то один, то другой командир заходили к Ояру и задерживались у него по полчаса, а то и дольше. Последним вышел начальник штаба Мазозолин, но в это время на тропинке показалась Рута, и Иманту стало ясно, что если она войдет первой, то сегодня попасть ему к Ояру не удастся: тот имел привычку очень долго разговаривать с Рутой.

Он побежал навстречу Руте и скороговоркой начал:

— Рута, о чем я тебя попрошу, разреши мне первому зайти к командиру, я его целый день жду...

— Да я ему несю радиограмму. Очень важные сведения.

— У меня тоже очень срочное дело... До завтра я никак не могу ждать. Вот увидишь, я долго не задержу, самое большее — три минуты. Ну, разреши, Рута, а то я не буду с тобой дружить.

— Из-за такой мелочи? — удивилась Рута. — Вот не ожидала от тебя, Имант. Дружбой так не шутят.

— Ну, прости, я ведь это так...

— Да я тоже не думаю, что ты такой ветрогон... Ну хорошо, иди, я подожду.

Ояр серьезно выслушал Иманта.

— Что с тобой поделаешь? Не хотелось отпускать, думал сделать тебя связным между штабом полка и базой Капейки... но причина у тебя веская.

Это правильно, Имант, о матери надо думать, только имей в виду одно: дело это очень серьезное, одному тебе не под силу. Пойти в разведку к лагерю — это можно. Но один ничего не предпринимай. Можешь такого натворить, что потом и не поправишь. У тебя есть командир, ты со всем к нему и обращайся. А с Капейкой я сам потом поговорю о твоём плане. Если и вправду до дела дойдет, можно послать вам на подмогу людей.

— Спасибо, Ояр, спасибо, — повторял Имант. — Хотя ты и командир полка и большим орденом награжден, а все равно ничуть не зазнаешься. Можно идти? Там еще ждет радистка... Рута Залите. У нее важная радиограмма. Я ее насилу уговорил пустить меня вперед.

— Хорошо. Иди и скажи, чтобы сейчас же пришла.

— Иди скорее! — с порога закричал Имант Руте. — Командир ждет тебя. Да, большое спасибо, что уступила, мое дело улажено! — И он побежал разыскивать Эльмара.

Рута знала, как обрадует Ояра радиограмма. Из Москвы сообщали, что следующей ночью в условленном месте должны быть разложены сигнальные костры — самолет выбросит на парашютах продовольствие, оружие, боеприпасы. Особенно удачно было то, что сообщили об этом именно сегодня, пока Капейка со своим батальоном не ушел на новое место. Теперь можно будет наполнить их вещевые мешки патронами, взрывчаткой и концентратами.

Рута нетерпеливо следила за выражением лица Ояра, пока он читал радиограмму. Вот он улыбнулся, закивал головой.

— Хорошо, чертовски хорошо, Рута! Всегда нам помогают вовремя и шлют именно то, в чем мы больше всего нуждаемся.

Глава третья

1

Весной 1943 года Красная Армия перешла в наступление на Северо-Западном фронте и ликвидировала Демянский плацдарм, на который Гитлер в течение полутора лет возлагал большие надежды.

Когда латышские стрелки узнали, что соседний с ними боевой участок заняла дивизия, участвовавшая в разгроме армии Паулюса под Сталинградом, всем стало ясно, что дни Демянского плацдарма сочтены; не для того прибыли сюда сталинградцы, чтобы отдохнуть на болотах у Старой

Руссы.

Как-то вечером старший лейтенант Ян Пургайлис сидел у своих стрелков и, затягиваясь самокруткой, слушал их разговоры. В роте, кроме латышей, было несколько десятков русских, несколько украинцев, казахов и осетин. Рассказывали больше о своих семьях, о доме, о том, что делали «в гражданке», а Пургайлису казалось, будто сидят они не среди чахлого болотного кустарника, а на вершине высокой-высокой горы, с которой открывается вид на могучие просторы советской земли. Перед ними проходили необозримые пустыни, где растет лишь неприхотливый саксаул, и высокогорные сочные луга, где почтенные седые чабаны пасут тысячеголовые отары овец; рассказы сибиряка-охотника вызывали перед глазами картины дремучей тысячеверстной тайги, полной драгоценного пушного зверя, где величайшие в мире реки бегут к Ледовитому океану; они видели южнорусские равнины с волнующимися полями пшеницы; утопающие в яблоневом цвету сады Украины; грохот уральских кузниц эхом отзывался в ушах, а через несколько минут перед их глазами расстилались горные долины Кавказа, где на солнечных склонах зеленеют виноградники, где золотятся апельсины и лимоны. Каждый рассказывал о родных местах, о том, чего никогда не забудет человек, куда бы ни забросила его судьба. И все эти образы составляли одну большую картину — картину великой советской Родины.

Но сегодня сыны ее собрались здесь, на невеселом болоте. Они пришли и с гор, и из тайги, и с берегов Волги, чтобы помочь Яну Пургайлису вновь обрести свой дом. Никто из них не бывал в Латвии, но все они говорят о ней с такой теплотой, как будто родились там.

Тлеют красные огоньки солдатских трубочек, от них тянется кверху сизый махорочный дым; журчат ручьи, унося талые воды к Поле, и время от времени содрогается воздух от залпов артиллерии.

— Внимание! — негромко скомандовал один из стрелков, заметив в негустых весенних сумерках фигуру командира батальона.

Капитан Жубур издали махнул рукой, чтобы все продолжали сидеть, и остановил командира роты, который поспешил к нему с рапортом:

— Отставить, не нужно, товарищ Пургайлис. Что, отдыхаете?

— Так точно, товарищ капитан. Беседуем о прежней жизни. Могу предложить кружечку чая? Конечно, с сахаром, теперь ведь не то, что прошлой весной.

— Горячий чай — это хорошо, — согласился Жубур.

Стрелки освободили ему местечко. Жубур поставил на колено алюминиевую кружку с чаем, придерживая ее обеими руками, чтобы

согреть пальцы.

— Ну как, не надоело сидеть в этом болоте?

— Какое не надоело, сыты по горло, товарищ капитан! — отозвался один стрелок, вынимая трубку изо рта. — На других фронтах воюют, каждый день освобождают новые города, а мы только читаем сообщения Совинформбюро да думаем: «Когда же и про нас там напишут?» Другие от товарища Сталина благодарность получают, а мы... эх, что говорить, сами знаете, товарищ капитан!

— Ничего, ничего, потерпите, — сказал Жубур. — Придет и ваша очередь. А что касается благодарности товарища Сталина, то это уж от нас самих зависит. Будем хорошо воевать, и нас не забудут в приказе.

— А что, разве к этому дело клонится? — по-вологодски, нараспев спросил какой-то сержант.

— Пожалуй, к тому, — ответил Жубур, и все сразу зашевелились, сдвинулись потеснее. Один стрелок так хлопнул соседа по плечу, что тот охнул: «Да погоди ты, я тебе не фриц!» Никто не спускал глаз с Жубура, ожидая, что он скажет дальше. — Пожалуй, к тому, — повторил он. — Во всяком случае нам с вами надо быть наготове, чтобы в любой момент перейти в наступление. Так что вот — пусть каждый проверит свое оружие.

— Недаром мне все кажется, что Латвией запахло, — подмигнул старшина роты Звирбул, крупный мужчина со светлыми густыми усами. — Если как следует поднажать, то и идти недалеко. Через две недели можно быть в Латгалии.

— Спешись очень, товарищ Звирбул, — покачал головой Пургайлис. — Все-таки война — не прогулка.

— Это да, — соглашается Звирбул. — А все-таки, если поднажать, к севу смело домой попадем.

Ночью Пургайлиса вызвали к командиру батальона.

— В пять ноль ноль дивизия переходит в наступление, — сказал Жубур собравшимся командирам. — После артиллерийской подготовки в шесть ноль ноль наш батальон идет на штурм перекрестка дорог за высотой девяносто семь. Там мы закрепимся впредь до получения новой задачи. Товарищ Пургайлис, твоя рота должна закрепиться на самом перекрестке. Фланги будут удерживать первая и третья роты. Мой КП будет находиться в двухстах метрах к западу от перекрестка.

...Перед рассветом заговорили тысячи орудий и минометов. Через линию фронта на головы врага обрушились тысячи тонн металла, разрывая немецкие окопы, разрушая их дзоты^[22], загоняя в землю объятых смертельным ужасом гитлеровцев. Ровно час продолжалась канонада.

Затем в воздухе показались бомбардировщики — целые полки летели бомбить указанные им объекты и, выполнив задачу, спешили обратно за новым грузом бомб.

Когда наша артиллерия перенесла огонь на вторую линию немцев, поднялась в атаку пехота. Первыми двинулись сталинградцы — сразу всей дивизией, затем латыши. В нескольких местах надломилась линия обороны немцев, образовались прорывы.

Спустя час после начала нашего наступления старший лейтенант Пургайлис со второй ротой оседлал перекресток дорог. Ценность этого небольшого, величиной с гектар клочка земли сегодня нельзя было выразить никаким многозначным числом. Перекресток являлся теми воротами, в которые — останься они в руках врага — разбитая немецкая армия могла бы вывезти свою тяжелую военную технику. Сейчас батальон Жубура их захлопнул, и ключ от них находился в руках Пургайлеса. На ворота был направлен огонь немецкой артиллерии, танковые части пытались разрушить их свирепыми, отчаянными ударами. Но ворота не поддавались и не открывались. Пули противотанковых ружей одна за другой впивались в немецкие танки. Через болото неслись снаряды советской артиллерии и рассеивали стянутые для удара немецкие бронечасты. Через несколько часов в воздухе показались вражеские бомбардировщики и штурмовая авиация. Им удалось сделать лишь несколько заходов, как из облаков вынырнули краснозвездные истребители и установили в воздухе порядок — настоящий советский порядок, нарушить который не осмелился больше ни один немецкий самолет.

Тогда немцы бросили на перекресток свою пехоту, пытаясь оттеснить в сторону бойцов Пургайлеса.

— По вражеской пехоте — огонь! — снова и снова отдавал команду охрипшим голосом Пургайлис. — Целиться как следует! Автоматчикам стрелять короткими очередями!

Так подошел вечер, не принеся ни тишины, ни покоя. Грязные, с потными, измученными лицами стрелки напряженно вглядывались в полумрак, время от времени рассеиваемый вспышками ракет. До самого утра никто не смыкал глаз.

На следующее утро, за несколько часов до конца большого боя, когда немцы уже начали оттягивать свои силы на юго-запад, ближе к своей последней переправе через Ловать у села Рамушево, — в окопе рядом с Пургайлисом взорвалась мина. Взгляд ротного был направлен в сторону противника, который уползал по кустам и ложбинам к выкорчеванному снарядами лесу, и, когда осколок мины врезался ему в мозг, — он остался в

том же положении, будто продолжая наблюдать за отступающими немцами. Стрелки не сразу увидели, что их ротный убит, — в такой напряженной позе прижимался он к насыпи окопа. Но когда старшина Звирбул дополз до командира и дотронулся до его плеча, Пургайлис не повернул головы.

Командование ротой принял командир первого взвода — лейтенант Трофимов.

Пургайлиса похоронили в братской могиле там же, у перекрестка дорог, вместе с другими павшими гвардейцами второй роты. С непокрытыми головами стояли вокруг могилы бойцы, давая убитым клятву не забыть и отомстить. Командир полка подполковник Соколов и Андрей Силенник пришли вместе с Жубуром проститься с Яном Пургайлисом и его товарищами, когда их опускали в землю. Трижды прозвучал винтовочный залп — прощальный салют.

Позже на этом месте поставили памятник. Имя гвардии старшего лейтенанта Яна Пургайлиса было написано первым на мемориальной доске.

За этот последний бой командование дивизии посмертно наградило его орденом Отечественной войны.

2

Через неделю после ликвидации Демянского плацдарма части дивизии расположились на короткий отдых. Однажды вечером к командиру батальона явился старшина Звирбул и передал ему некоторые личные вещи Яна Пургайлиса — записную книжку, письма жены, несколько фотографий — и орден Отечественной войны.

Трофимов уже просил Жубура послать к вдове Пургайлиса с вещами убитого кого-нибудь из роты — лучше всего Звирбула.

В маленьком блиндаже, построенном немцами, старшина не мог выпрямиться во весь рост и стоял, как-то ссутулив плечи.

— Садитесь, Звирбул, — сказал Жубур. — В дивизии вы, кажется, чуть ли не с первых дней ее существования?

— Так точно, товарищ капитан, — ответил, присаживаясь, Звирбул. — Меня зачислили во вторую роту еще до того, как вы прибыли к нам.

— Тогда понятно, почему решили послать вас. Вы — живая история роты.

— Товарищ капитан, не только поэтому... — Звирбул усмехнулся в усы и немного помялся. — Семья у меня тоже в тех краях. Не виделся с

августа сорок первого года. У нас и подумали, что заодно могу навестить своих.

— Большая у вас семья?

— Трое — жена и двое детишек. Младший только-только начинал ходить. Теперь, наверно, говорун стал.

— Хорошо, Звирбул, я поговорю с командиром полка и с генералом, — сказал Жубур. — Надеюсь, что они согласятся. А жене Пургайлуса надо написать коллективное письмо от имени всей роты.

— Может, вы... тоже подпишете? — неуверенно спросил Звирбул.

— Я ей напишу отдельно. У меня есть кое-что сказать от себя. Значит, как только получу разрешение из штаба дивизии, сообщу в роту. А вы пока подготовьтесь к отъезду. Может быть, успеем выдать вам новое обмундирование — с погонями.

— Благодарю, товарищ капитан. Разрешите идти?

— Да. Покойной ночи, товарищ Звирбул.

Жубур пожал ему руку. В дверях Звирбул посторонился, пропуская в землянку Силениека и Соколова, козырнул им и вышел.

Командир полка посмотрел на столик, где лежали вещи Пургайлуса.

— Вещи убитого, да?

— Так точно. Старшего лейтенанта Пургайлуса...

— Вот уж кого жаль, — сказал Соколов. — Храбрый был командир, и с головой. Послать бы его поучиться в «Выстрел», он бы потом командовать батальоном стал. Подумай, товарищ Силениек, как у нас в дивизии люди за войну растут. Вначале он тебе кажется таким незаметным, не на что как будто обратить внимание... А в один прекрасный день вдруг обнаруживается, что он вырос из мундира, что он ему тесен, — я подразумеваю не материальный мундир, — и хочешь не хочешь, приходится искать ему дело побольше, чтобы дать простор способностям. А человек не останавливается, он тебе идет в гору, идет шаг за шагом. Давай ему взвод, роту, батальон, полк, — никто не скажет, где предел его способностям.

— Что ж тут удивительного, — сказал Силениек, — у нас везде так — и в армии и в любой области жизни. Сила советского строя. Того же Пургайлуса взять — до сорокового года был батраком и так бы им и остался, и никто бы не узнал, какие возможности в человеке...

— Мы к тебе, Жубур, опять по старому делу. Хочу еще раз прощупать, не согласишься ли перейти ко мне начальником штаба. Иначе самому придется работать за него.

— Да ведь у нас отличный начштаба, — сказал Жубур.

— В том-то и несчастье, что отличный... — сердито сказал Соколов и замолчал.

Жубур вопросительно посмотрел на Силениека.

— В штаб дивизии берут, — объяснил тот. — А генерал говорит, возьмите на его место кого-нибудь из командиров батальонов.

— Теперь понятно, — засмеялся Жубур. — Нет, из меня начальник штаба не выйдет. Не нравится мне возиться с бумагами. Мое место в роте, в батальоне — здесь я своими глазами вижу, что происходит на боевом участке. Разрешите уж мне до Латвии повоевать в батальоне.

— Говорил же я, что ничего не выйдет, — сказал Силениек.

— А если в порядке приказа? — Соколов, сощурившись, посмотрел на Жубура.

— В порядке приказа можно многое сделать, товарищ подполковник, — ответил Жубур. — Но тогда бы ты со мной так не разговаривал.

— И это правда, — согласился Соколов. — Надеялись уговорить добром. Думал, не откажет в трудную минуту старому боевому товарищу.

— Не сердись, Федор Демьянович, в трудную минуту никогда не откажу. Но ведь в данном случае речь идет лишь об удобствах. Тебе не хочется возиться с неизвестным человеком, поэтому ты и нажимаешь на меня.

— Черт возьми, до чего правильно читает он мои мысли! — рассмеялся Соколов. — Ну, хорошо, не желаешь — насильно навязывать не буду. Но если передумаешь, дай мне знать.

Жубур позвал вестового и велел принести чаю. За чаепитием беседа перешла на другие темы. После боев, когда на фронте устанавливается непривычная тишина, хочется поразмыслить над прошедшим, заглянуть в будущее.

— Не удивительно ли, — заговорил Соколов, — не удивительно ли, что солдат, который каждый день видит смерть своих товарищей, все равно продолжает спокойно глядеть ей в глаза, как будто не сознавая ее ужасного и трагического смысла. И ведь тут дело не только в дисциплине, в чувстве долга. Он бросается вперед, в самое пекло добровольно, это его собственное желание. Вспомните только, что происходит, когда вызываешь охотников на выполнение какого-нибудь опасного задания. Тебе требуются двое, а приходят двадцать. Да еще обижаются, кому откажешь, — целую неделю ходят насупившись. Следовательно, это не только сила приказа, это нечто большее. И это качество проявилось с первых дней войны: Гастелло... Талалихин...^[23] комсомольцы, которые обвешивались ручными

гранатами и бросались под танк... которые своей грудью прикрывали пулеметные амбразуры врага, сознательно жертвуя собой, чтобы товарищи могли победить. Вот сколько времени воюем, а я не перестаю удивляться нашим людям. Мы еще сами не всегда сознаем, какая это сила — советский строй, как он поднимает отдельного человека.

— Советский человек чувствует себя хозяином жизни, он в ней не раб, не наемник, — подхватил мысль Соколова Силениек. — Все, что есть на его земле, принадлежит ему. Он сам сознательно стал строить на ней самое благородное, самое прекрасное общество. Он построил уже много и убедился, что сделанное — хорошо, что его жизнь с каждым днем становится все краше и богаче. Он с каждым днем все быстрее приближается к своей цели — к коммунизму. Так кто же остановит его? Уж не разбойник ли с большой дороги — будь это Гитлер, будь кто угодно? И даже идя на смерть, советский человек уверен, что его цель будет достигнута, потому и не сомневается в ценности своей жертвы. И останемся ли мы с вами в живых, нет ли, народ все равно будет идти по этому пути. Нет, нетрудно умереть за это. За это стоит умереть. Представьте, какой же это будет человек — человек коммунистического общества...

Когда гости ушли, Жубур еще долго сидел задумавшись, под впечатлением этой беседы; потом стал писать Марте Пургайлис. Письмо вышло длиннее, чем он предполагал, и в нем было многое из того, о чем говорилось в этот вечер.

3

Марта Пургайлис уже четвертый день жила в подсобном хозяйстве детского дома и собиралась остаться там до воскресенья, но план этот пришлось изменить: Буцениеце прислала за ней одного из старших воспитанников.

— К вам гости из города приехали, — докладывал мальчик. — Им надо скорее обратно, и товарищ Буцениеце велела сказать, чтобы вы сейчас же ехали домой. А я пока здесь побуду, вы мне скажете, что делать нужно.

— Что за гости? — удивилась Марта. — Ты их видал?

— Как же, они тоже разговаривали со мной и просили, чтобы я поторопил. Одну я знаю — товарищ Рубенис, а другого в первый раз видел — из дивизии.

«Неужели Ян? — подумала Марта. — Что ж, ничего невозможного:

иногда ведь дают отпуск, если человек хорошо воюет. И из дивизии то один, то другой побывают у своих; почему бы и Яну не приехать?» Сердце у нее забилось сильнее, щеки покраснелись. Марта запрягла лошадь и уложила в телегу пустые мешки, в которых привезла семенной картофель, всю зиму хранившийся в подвале детского дома. На прощанье еще напомнила заведующему, крестьянину из-под Валки, чтобы к понедельнику подготовил парниковые рамы для рассады.

Езды было километров пятнадцать. Марта по этой дороге ездила раз сто, но сегодня она казалась ей удивительно длинной, да и лошадь еле перебирала ногами.

Больше года прожила она в детском доме. Вначале очень боялась, что не сумеет управлять большим хозяйством, а сейчас ничего, привыкла. Теперь у них уже шесть коров, пятьдесят кур, а в закутах хрюкают откормленные свиньи. Прошлой осенью Марта устроила небольшой парничок, — скоро дети получат свежий салат и редиску. Теперь она мечтает о грядках клубники, о маленьком пчельнике. И почему, не мечтать? Рабочих рук достаточно, понемногу все можно сделать. Дети, если их не заставляют работать сверх сил, делают свое дело с удовольствием, с гордостью.

«А что, если и правда Ян? — думала она, когда вдали показалась крыша детского дома. — Вот радость-то... Петерит, наверно, с рук не сходит у него. А может быть, Яну можно не спешить, погостить дня два? Шибче, шибче, лошадка, нас ведь ждут...»

Во дворе ее встретила Валайне, комсорг детского дома.

— Заходи, Марта, я сама распрягу лошадь, — сказала девушка каким-то странным голосом и стала возиться с хомутом. — Они у тебя в комнате.

Весь детский дом знал, какую весть привез Марте усатый военный с погонами старшины. Женщины уже наплакались, дети присмирели — плакать не хотелось, а улыбаться они тоже стеснялись, когда у взрослых были такие печальные лица.

Пристально взгляделась Айя в лицо Марты, когда та вошла в комнату: знает или нет? Но напряженное ожидание, светившееся в ее глазах, было так очевидно, что у Айи сжалось сердце.

Звирбул вскочил со стула и встал навтыжку.

— Добрый день, — поздоровалась Марта и принужденно улыбнулась, чтобы скрыть свое разочарование и не обидеть гостя. Незнакомый военный крепко пожал ей руку.

— Я из одной роты с вашим мужем, — старательно стал объяснять Звирбул. — У меня здесь в районе живет жена с детьми... Значит, когда

начальство разрешило мне двухнедельный отпуск, товарищи попросили передать вам письма.

Он вынул из полевой сумки два письма. Марта взяла их — оба конверта были надписаны чужим почерком.

— Спасибо... — растерянно сказала она. — Давно вы в последний раз видали мужа?

— Порядочно... Вот когда ликвидировали Демянский плацдарм...

— А он... разве он не дал письма?

Звирбул покраснел и беспомощно оглянулся на Айю.

— Для тебя тут посылочка есть, — сказала Айя. — Вот она на столе.

На чистой скатерти лежал небольшой плоский сверточек, обшитый бязью.

— Я выйду пока, — сказал Звирбул, когда Марта взяла сверточек и начала распарывать его. — Я там с детишками побуду. Когда надо будет, позовите меня. Может быть, товарищ Пургайлис пожелает услышать, как мы там жили на фронте?

— Хорошо, товарищ Звирбул, — кивнула ему Айя. — Я вас потом позову.

Дверь скрипнула, в комнате стало тихо. Айя подошла к Марте и обняла ее за плечи.

...За полчаса она не проронила ни слова, только глядела на старые конверты, на документы, на орден Отечественной войны, который лежал перед ней. Она не рыдала, не всхлипывала, лишь по окаменевшему лицу бежали и бежали слезы. В мире и в ее собственном сердце мгновенно образовалась пустота, и она знала, что это останется навсегда, — ничто не заполнит эту пустоту. Пройдут годы, многое изменится, а пустота останется и никогда не позволит забыть о ней.

Больно. Как будто в сердце запал раскаленный уголь и прожигал его насквозь. Вся прежняя жизнь, все дни, прожитые с Яном, все их мечты о будущем вставали перед глазами Марты. Больно.

Она еще раз перечитала оба письма — от товарищей Яна и от капитана Жубура. Они писали, что были друзьями ее мужа и считают себя ее друзьями, просили всегда обращаться к ним, когда будет трудно. В письмах они рассказывали о последних минутах Яна Пургайлиса. Марте показалось, что она видит его в окопе, — живого, бесстрашного, полного сил.

Потом она заговорила:

— Пусть он войдет, Айя.

Айя позвала Звирбула. Сначала Марта слушала его, не задавая

вопросов, только все время кивала головой. Но когда ему показалось, что все уже рассказано, — она начала расспрашивать сама. Как в тот день был одет Ян? Какая была погода? Что он в последний раз сказал своим товарищам? Где его похоронили? Сухое ли там место? Может ли Звирбул показать на карте, где оно находится?

Звирбул и Айя переночевали в детском доме. Ночью Марта написала ответ стрелкам второй роты и капитану Жубуру. Письма вышли длинные, но с кем еще могла она говорить о Яне, как не с ними?

Кончив писать, Марта подошла к кроватке Петерита. «Не вернется твой папа, сынок, никогда уж не придется тебе посидеть у него на коленях. Но про то тебе не надо знать. Я буду горевать за обоих».

Теперь, без свидетелей, можно было выплакать свою боль до конца.

Утром она вручила Звирбулу письма и еще раз на словах велела передать привет всем, всем товарищам Яна. Звирбул уехал к родным, а Айя провела в детском доме еще один день, стараясь все время быть вместе с Мартой.

Через неделю Марта получила из Кирова вызов на курсы.

4

В середине апреля Мара Павулан приехала в Москву с драматической труппой художественного ансамбля. Она ежедневно, а иногда и два раза в день выступала в больших госпиталях, в войсковых частях, в домах отдыха.

В этот приезд Мара каждый свободный вечер старалась пойти на спектакль в Художественный театр. Смотрела по нескольку раз одну и ту же пьесу и потом подолгу думала над каким-нибудь образом, поразившим ее, даже над отдельной мизансценой. Мара вспоминала свои любимые роли, и ей казалось, что она будет играть их теперь совсем по-другому. Она уже думала о том времени, когда вернется в Ригу, в свой театр, о новых постановках.

С директором театра Мара познакомилась еще до войны: он несколько месяцев помогал рижским актерам во время подготовки к декаде латышского искусства в Москве. Провести декаду помешала война, но установившиеся дружеские связи сохранились, поэтому с приездом в столицу Мара сразу вошла в среду актеров, художников, писателей, музыкантов. Часто после спектакля целой компанией отправлялись к кому-нибудь из них на квартиру и целую ночь за стаканом чая вели разговоры о театре, о проблемах творчества и особенно о том, что сильнее всего

волновало людей, — о войне. Мара первое время стеснялась, сидела молча, — ей казалось, что она очень плохо говорит по-русски, но потом осмелела, стала вступать в споры и скоро почувствовала себя, как в родной семье.

В это время руководство латышского художественного ансамбля вело переговоры с дирекцией Художественного театра: речь шла о том, чтобы один из крупных артистов поработал с драматической труппой, помог ей в постановке какой-нибудь современной пьесы. Впоследствии это и было осуществлено: народный артист РСФСР Станицын помог латышским артистам поставить «Русские люди» Симонова.

Некоторые друзья Мары стали уговаривать ее переселиться в Москву и поучиться в театре режиссуре. Но как ни заманчиво было это предложение, у Мары хватило сил отказаться.

— После войны — да, сама буду умолять вас об этом. Приехать на несколько лет, поучиться — что может быть соблазнительнее? А сейчас не могу оставить ансамбль, там и так труппа не укомплектована.

Она не сказала, что с ее уходом труппа лишится самой талантливой артистки.

Перед возвращением в Иваново ансамбль выступил в доме отдыха латышских стрелков. Там Мара случайно встретила со своим рижским директором — писателем Калеем. Они давно не виделись и обрадовались друг другу.

— Ну, как живете? Выглядите молодцом, — он с удовольствием оглядел ее. — Не надоело, значит, странствовать из города в город?

— Нет, не надоело и не надоест, товарищ Калей, — засмеялась Мара. — Всегда будет интересно. Расскажите вот, как вы живете. Ничуть не стареете.

— По-моему, я еще довольно молод, — отшутился Калей, — во всяком случае не смею соваться со своими пятьюдесятью годами в категорию стариков. Куда ты, скажут, молокосос.

Они вышли в сад, сели на скамью.

— Позвольте узнать, уважаемый автор, чем вы нас порадуете в ближайшее время? — спросила Мара.

— Будет что-нибудь новенькое, будет. Сложу руки не сижую. Между прочим, я как-то подсчитал, так сказать, в абсолютных цифрах, — оказывается, за время войны написал не меньше семидесяти печатных листов — это значит два толстых тома. Даже в лучшие годы столько не писал. Вот видите, еще доказательство того, что к старикам меня причислять рано. И еще вот что. Сейчас для меня совершенно ясно, что это

чистейший предрассудок или профессиональное ханжество, — будто успешно подвизаться можно только в одном жанре. За время войны, меньше чем за два года, я писал и рассказы, и повести, и статьи по литературе и искусству, и одноактные пьесы, и даже написал большую драму. А там еще газетные статьи, очерки. Каждую неделю выступаю, по радио, пишу статьи для «Цини», для центральных газет, для Совинформбюро. Тем — неисчислимое множество. Перед глазами развертывается одно из самых великих событий, событие, которое определяет ход истории на целые века. Как может писатель молчать в такое время? Я живу недалеко от Кремля и часто гляжу в окно на его башни, на рубиновые звезды. И думаю: там живет Сталин, там он работает. Вы представляете, что это такое — труд Сталина? Как же можно бездействовать перед лицом этого труда? Да если у тебя есть хоть какой-нибудь талант, ты не имеешь права молчать, ты должен отдать его народу, эпохе. Иначе нет оправдания твоему существованию.

Он помолчал немного, провел рукой по лбу.

— Вспоминаю прежние времена. До сорокового года я ведь несколько лет проработал в газете штатным сотрудником. Мне платили жалованье, и за это я должен был каждую неделю давать по крайней мере одну статью. Через два месяца мне уже не о чем было писать. То есть про себя-то я знал, о чем бы мог писать, да редакции это не требовалось. Ну, а ходовые темы — разные там торжества, юбилеи, воспоминания и бесконечные гимны «патриархальной» кулацкой усадьбе... меня просто тошнило от них. Дошел до того — бегал по улицам Риги или садился на трамвай и кружил по кольцевой линии, в надежде увидеть что-нибудь интересное, о чем бы стоило написать. Так у меня ничего и не получалось — жизнь была бессмысленная, бессодержательная, пустая. Но писать об этом не разрешалось. Валяй-Берзинь следил за каждым словом, вышедшим из-под моего пера: не протаскивает ли этот Калей контрабанду? Сам не понимаю, как не задохнулся в той атмосфере.

— Да, это чувство было у нас у всех до сорокового года, а потом — как будто вырвались на свежий воздух, — сказала Мара.

— Когда кончится война, мне волей-неволей придется прожить еще лет пятьдесят, так много накопилось за это время творческих замыслов. На очереди два романа, комедия, несколько рассказов. О войне нужно написать, о нашем народе на войне — это такая тема... Вот вы, наверно, думаете — хвалится старый Калей. Нет, я не хваюсь, это у меня жадность к работе, к жизни.

— Да, вы очень, очень правы. Нельзя стариться у нас, по крайней мере

духовно стариться.

Они снова замолчали, задумались. Потом Калей спросил:

— Что сейчас Яундалдер делает? Давно я его не видел.

— Пьесу пишет. Жалко, мы не сможем поставить — исполнителей не хватает, но он не унывает, говорит — приеду в Ригу с гостинцем. Кукур сейчас в Москве, учится режиссуре. Ну, про него вы знаете, наверно. Вилцинь... Помните того молодого актера, которому вы дали роль тайком от Букулта?

— Ну, ну? Так что же с Вилцинем?

— Он пошел добровольцем в латышскую дивизию. Сейчас воюет и играет. Прошлым летом его ранило в плечо, но он через несколько месяцев опять вернулся на фронт. Приглашали его перейти к нам в ансамбль, да он говорит: дам ответ только в Риге.

— Молодец! Славный парень.

— Товарищ Калей, вы живете в Москве, вам больше известно... Что слышно про Латвию? Как там наши старые знакомые?

— Недавно просмотрел целую пачку номеров «Тевии» — партизаны прислали. Мерзкий листок, руки вымыть после него хочется. Так вот. Букулт ведет себя по-свински. Лижет руки у немцев, на брюхе ползает перед ними и изо всех сил ругает большевиков. В одном из своих радиовыступлений я его так по щекам отхлестал, что он, голубчик, целый месяц слова не вымолвил по радио. Подумайте только: начал брехать, будто большевики увезли меня насильно, и уже оплакивал как погибшего. Насильно! Ах ты, подлец этакий! Ну и задал я ему! Видно, старого Калея в Латвии добрым словом поминают... иначе почему же немцам не хочется признать, что я эвакуировался? Ну еще кто... Мелнудрис и Алкснис опять в родную стихию попали и взапуски выслуживаются перед немцами... ну, бог с ними, они на этом деле много лет специализировались.

К ним подошло несколько отдыхающих в Удельной стрелков. Они окружили известного писателя и стали просить, чтобы он рассказал о себе, о своих будущих книгах. Не желая мешать их беседе, Мара попрощалась и пошла к своим товарищам.

В Иванове Мару ждало письмо от Жубура, которое завез мимоходом какой-то усатый старшина, как сказали в дирекции ансамбля. До вечера Мара раз десять перечитывала дорогие строчки. Как просто и скромно писал он о себе... Больше всего Мара и любила эту скромность чистого, мужественного человека. На Жубура она уже смотрела глазами жены — и тревожась за него и в то же время гордясь тем, что эта тревога не заставит его свернуть с избранного пути. Он пойдет им до конца войны. Так же, как

и с Вилцинем, как с тысячами других, которые носили сегодня серую шинель, — о другом с ним можно будет говорить только в Риге.

Глава четвертая

1

Ольге Прамниек давно пора было привыкнуть к публике, которую она изо дня в день обслуживала в офицерской столовой. Но этот рыжий крикливый майор с выпуклыми глазами каждый раз вызывал в ней дрожь ужаса и отвращения. Он всегда появлялся после всех, когда столовая уже начинала пустеть. Сев в угол, за большой пальмой, так что его не было видно из зала, он принимался стучать ножом по тарелке и, как бы проворно ни подходила к нему официантка, встречал ее шипеньем:

— Спите? Никак не можете очнуться от векового сна латышского мужика? Неизвестно, для чего вас здесь держат?

Громко он не говорил.

Когда Ольга ставила ему на стол кушанье, он каждый раз старался как-нибудь унижить ее. Если в зале был еще кто-нибудь из посетителей, он ограничивался непристойными замечаниями, но когда оставался один, то заранее можно было ждать, что он или ущипнет в бок, или схватит за руку и станет выкручивать пальцы. Это был явно патологический тип, но заведующему столовой лучше было не жаловаться: перед майором тот сгибался в три погибели.

Большинство посетителей исчезало через неделю, через месяц, и на их место появлялись новые, потому что столовая предназначалась для проезжих. Но этот — нет. Проходили недели, месяцы, а майор каждый день исправно посещал столовую. Наконец, Ольга решила потерпеть еще неделю и, если он не исчезнет, отказаться от работы и уехать в деревню. Но на другой же день после того, как она пришла к этой мысли, случилось непоправимое. Рыжий майор пришел, как обычно, когда столовая уже опустела. Подойдя за заказом, Ольга предусмотрительно остановилась на некотором расстоянии от столика, чтобы немец не достал до нее руками. Но он понял ее хитрость и показал пальцем на пол рядом со своим стулом:

— Стань сюда.

— Я здесь тоже услышу, господин майор.

— А я говорю, стань сюда, — зашипел майор. — С каких это пор

туземцы возражают немецким офицерам?

Ольга приблизилась к нему на полшага.

— Сюда, — нетерпеливо показал он пальцем на пол. — Без возражений, ну?

Когда Ольга встала рядом с майором, он обеими руками схватил ее за плечи, больно впиваясь большими пальцами в грудь. Ольга вскрикнула и попыталась высвободиться, но он еще крепче держал ее и все время смотрел в глаза.

— Пустите, зачем вы!.. — крикнула она.

— Перестань ломаться, молчи, — быстро бормотал он. — Сколько берешь, мамзель, за ночь?

Ольга уперлась обеими руками в лицо майора и толкнула. Он сразу выпустил ее, неожиданное сопротивление оглушило его, как удар грома.

— Ты... ты... ты... — заикаясь, повторял он.

Ольга, не слушая его, повернулась и убежала из зала. Она ничего не сказала своим подругам, которые от нечего делать болтали за дверью; она не пошла к начальству заявить о своем уходе, а взяла в гардеробной пальто, дала обыскать себя швейцару и вышла на улицу. Прочь, скорее прочь отсюда!

Ольга уже не думала о том, что губит себя, что ее выгонят из столовой, отошлют в управление труда с самым скверным отзывом. Только бы убежать. Скорее, пока майор не поднял на ноги весь персонал столовой. Только бы на улице не догнали... Домой... За полчаса она соберет в узелок вещи... переночует у знакомых, у Саусума, например... а завтра выберется из города. Управление труда? Ни за что! Пошлют на самую унижительную работу, угонят в Германию... Лучше уж в деревню простой батрачкой. И давно бы надо...

Пройдя несколько кварталов, Ольга села в трамвай. Пока она добиралась до квартиры, возбуждение сменилось глубокой апатией. Пошатываясь, вошла она в свою комнату, заперла дверь и, не сняв пальто, упала на кровать.

«Не спи, Ольга, тебе надо торопиться, надо скорее уходить отсюда... — говорила она себе. — Но куда? Кто меня примет? К кому обратиться за помощью? К Саусуму? Да, Саусум друг, но он ничего не может сделать, ему самому надо помогать. Если немцы узнают, что я обращалась к нему, его посадят в тюрьму».

Немного отдохнув, Ольга встала, сняла пальто и села у окна. Безвольно уронив на колени руки, она долго ждала, когда в прихожей раздадутся шаги.

Они не торопятся — знают, наверно, что ей некуда убежать. У нее еще есть время о многом подумать. Ольга представила себе бесправную жизнь своего народа. Муки... унижение за унижением... и ни малейшего проблеска света в этой кромешной тьме. Нет, дальше терпеть нельзя. Но где выход, где спасение? Ольга не видела его — она не была ни такой мудрой, ни такой сильной, как народ. Силы у нее иссякли, ей казалось, что она барахтается среди безбрежного моря. Если бы увидеть вдали хоть туманные контуры берега — может быть, у нее воскресла бы сила воли. Она не видела ничего, и в этот час возле нее не было ни одного человека, некому было помочь ей.

Когда совсем смерклось, Ольга достала из шкафчика коробочку с лекарствами, вынула из нее маленький флакончик, вроде тех, в которых продают эссенцию, и стала отвинчивать колпачок.

В передней раздались шаги.

«Пришли... — подумала Ольга. — Теперь пусть... Я больше не боюсь».

Сунув флакончик в карман блузки, она пошла отворять дверь. Не спросив кто — отперла. Без пальто, в светлом весеннем костюме, в новой, франтовато сдвинутой на затылок шляпе — перед ней стоял Эрих Гартман.

— Добрый вечер, госпожа Ольга, — не переступая порога, начал он. — Вы позволите мне войти?

Несколько мгновений она молчала, напряженно думая. Потом решительно кивнула Гартману:

— Да, да, входите. Я одна, можете не стесняться.

Гартмана удивила эта готовность. Идя сюда, он почти не надеялся на такой прием. Зимой зашел как-то, но Ольга не впустила. А сейчас — сразу. «Наконец-то поняла, что упрямиться нет смысла, и потом весна...» — подумал он, входя в комнату. Не торопясь, повесил на вешалку шляпу, поправил перед зеркалом галстук, потом вопросительно посмотрел на Ольгу.

— Садитесь, господин Гартман, — сказала она. Пока он переходил от вешалки к зеркалу, от зеркала к старому креслицу, она исподлобья смотрела на него.

— А вы почему не садитесь? — прежде чем сесть, спросил Гартман.

— Я сейчас... Приведу себя немного в порядок. Я не знала, что вы придете сегодня.

«Ага, ждала, значит».

Гартман сразу повеселел.

— Последнее время я был очень занят и жил аскетом. Подготавливал

сборник своих военных рассказов. А теперь вот позволил себе подумать о более приятных вещах.

Ольга вышла в кухню. Гартман, зная, что она его слышит, все время говорил. Он сыпал остротами и афоризмами, он старался быть поэтичным. Женщины любят это, так легче заставить их забыть грубость твоих намерений.

Через несколько минут Ольга вернулась в комнату. На плечи у нее был накинута большой шелковый платок. Она зябко куталась, пряча под него руки. Присела по другую сторону стола. Вдруг невпопад спросила:

— Чего вы от меня хотите, Гартман?

— Всю, всю вас... — быстро заговорил Гартман. — Я долго ждал. Вы это знаете.

— Да, я знаю. Больше вам не придется ждать.

Она встала и, обойдя стол, сзади подошла к Гартману. Уверенный, что Ольга хочет обнять его, Гартман засунул палец за воротничок, чтобы немного ослабить его. В этот момент на него обрушился удар тяжелого медного подсвечника — прямо в висок. Он негромко вскрикнул, повалился на пол, Ольга ударила еще раз. Гартман был мертв. Тогда она поставила подсвечник на подоконник, села на кровать и вынула из кармана блузки флакончик.

2

Как ни старались замаять историю с убийством Гартмана, о нем скоро стало известно в городе. Гуго Зандарт расспрашивал о подробностях то одного, то другого, а больше всего донимал Эдит, будучи уверен, что она все знает.

— В общем ничего особенного, обыкновенная уголовная хроника, — сказала она. — Гартман был интересный мужчина, Ольга в него влюбилась... А потом Гартману надоело, он решил покончить с этой связью. Вероятно, в тот самый вечер и объявил ей это. Может быть, сказал слишком резко, она оскорбилась, пришла в ярость. Подсвечник стоял на окне. А потом испугалась и приняла яд. Особенно-то разговаривать об этом не стоит, — предупредила его Эдит. — Если о них не вспоминать, в обществе скоро забудут.

— Я понимаю, — сказал Зандарт и обещал молчать.

Но он ничего не понимал и, как только Эдит ушла, осмотрел зал: кому первому объявить сенсационную новость?

Из настоящей публики никого еще не было. Зандарт увидел только одного знакомого — прогоревшего журналиста Саусума. Оправдавшись перед собой старинной поговоркой, что черт с голоду и мух ест, Зандарт подошел к нему и без приглашения сел за столик.

— Слыхали, господин Саусум?

Саусум помешивал ложечкой буроватую жидкость, которую по привычке называли еще кофе. Недовольный тем, что ему помешали думать, он нелюбезно посмотрел на Зандарта и буркнул:

— Ничего я не слышал.

— Ольга Прамниек убила писателя Гартмана, а потом отравилась. На романтической почве... Только, ради бога, никому не рассказывайте, это большой секрет.

Всю флегму Саусума как рукой сняло. Он с болезненной гримасой закрыл глаза, ложечка выпала из его пальцев.

— Ольга? Гартман? Да что у них общего?

— Наверное, что-нибудь было, такие вещи ни с того ни случаются.

— Бессмыслица какая... Один в лагере, другая в могиле. Для чего все это?..

Не было смысла задерживаться у этого столика. Зандарт шел навстречу солидному клиенту, который только что вошел в зал и взглядом искал свое привычное место у окна.

— Господин Мелнудрис, вы уже слышали? Странные дела творятся...

Немного погодя он теми же словами встретил режиссера Букулта, писателя Алксниса, актрису Зивтынь, поэтессу Айну Перле и прочих уважаемых лиц, для которых кафе Зандарта было вторым домом.

Каждый воспринимал новость по-разному: один — как очередной скандал, другой — как свежий анекдот, а некоторые даже не удивлялись. А-а! Ну хорошо, а еще что новенького?

Только Саусум весь вечер сидел, как пришибленный. Лица Прамниека и Ольги стояли перед его глазами. Маленькая белокурая женщина, добрый гений Эдгара Прамниека. Что он станет без нее делать, кто его согреет и поддержит, когда он, больной, истерзанный, вернется к жизни? Да и вернется ли? Для чего все эти мучения, это бездушное надругательство над человеком? И почему все так спокойно проходят мимо этих ужасов, будто не видя их?

«Каждый думает прежде всего о себе... Дрожит, боится, даже мысленно не осмеливается называть вещи своими именами. Какое-то всеобщее одичание. Да и сам ты такой, Саусум. И зло продолжается, гора преступлений растет, заслоняя солнце. Зло торжествует, потому что некому

его обуздать. Ну хорошо, вот ты честный человек, ты возмущаешься, но почему ты остаешься пассивным, когда враг угрожает существованию народа? — А что может сделать один человек? Силе должна противостоять сила, — старался оправдать себя Саусум, но голос совести отвечал: — Неверно! Ты вовсе не искал друзей. Если бы искал, то нашел бы. Бороться надо, Саусум, думать о спасении народа. Если не станешь помогать народу, погибнешь сам».

Все тяжелее становилось ему есть хлеб из рук врага. Он пробовал работать по своему старому рецепту — не касаясь политики. Он извлекал из пыли предания рижской старины, писал о давно умерших деятелях прошлого столетия; ходил по большим садоводствам и потом в полутораэтажных строках распространялся об уходе за цветами; интервьюировал отставных театральные знаменитостей и заваливал редакцию всякого рода воспоминаниями. Некоторое время можно было продержаться и на этом. Но редактор газеты все чаще и чаще рекомендовал ему свои темы: «Господин Саусум, почему бы вам не съездить в казармы, что у церкви Креста, не посмотреть, как живут наши legionеры? Дайте нам очерк об успехах латышского полицейского батальона на Волховском фронте. Генерал Бангерский согласился дать нашему сотруднику интервью — не хотите ли взять это на себя?»

Один раз удалось вывернуться, другой раз опоздать на прием, но изворачиваться без конца было не под силу даже Саусуму, со всей его опытностью по этой части. Все чаще прижимали его к стене и заставляли высказывать свое отношение к гитлеровскому режиму. До сих пор еще ни в одной статье Саусума не упоминалось имя Адольфа Гитлера, но долго ли это будет продолжаться? Пока какой-нибудь соглядатай не пороеется в его статьях и не обратит внимание шефа прессы... Затем — или пой славословия тирольскому ефрейтору, или тебе дорога в управление труда, а оттуда на каторгу в Германию... Взгляд Саусума, словно в поисках поддержки, скользил по рядам столиков. Какие самодовольные и в то же время испуганно-подобострастные лица! Самодовольные — если поблизости есть какое-нибудь мелкое, еще более серое, униженное существо. Испуганно-подобострастные — если в зале появится кто-нибудь имеющий связи с оккупационными властями или кто носит коричневый мундир члена нацистской партии. Вот Букулт и с ним маленькая актриска, о которой когда-то болтали, что она любовница Никура... В театре оба сейчас большим весом пользуются. Еще бы, в 1941 году выдали политической полиции столько прогрессивных артистов и художников. Сейчас она живет с этим шутком гороховым, которого даже немцы не

принимают всерьез, — кутит с ним, доносит на товарищей и с благодарностью поклевывает крошки с его стола.

Вон Айна Перле. Когда-то ей удавались стишки про любовь и природу. Иногда Саусум даже печатал их в своей газете. Теперь она пишет стихи о Восточном фронте, о котором знает столько же, сколько о жизни на Марсе. Вон Мелнудрис, любимец Никура и постоянный лауреат Культурного фонда. Вон Алкснис — теперь он пишет о легионерах, еженедельно публикует статьи об «арийской семье», «о единой судьбе латышей и немцев».

«Клубок червей! — и они еще объявляют себя представителями латышской интеллигенции, выразителями ее дум. Они осмеливаются говорить от моего имени, от имени тысяч интеллигентов, которые ходят с застывшими лицами, пряча в себе ненависть и презрение к поработителям! Они продают честь народа за тридцать сребреников. Зато мы показываем кулак в кармане. А если кто не в состоянии скрыть свои чувства, того убивают или прячут за двойную ограду из колючей проволоки. У кого не хватает сил и веры в победу справедливости, тот находит веревку или пузырек с ядом. В результате — нуль».

Снова вспомнил он про Ольгу Прамниек и чуть не застонал.

В этот момент к его столику подошел Алкснис.

— Предаетесь меланхолии, господин Саусум? Смотрите, меланхолия опасная болезнь. Надо активнее участвовать в событиях эпохи, тогда не будет скучно.

Он продолжал стоять возле Саусума, тщетно дожидаясь приглашения сесть. Впрочем, Саусум всегда был рассеянным, не стоило обращать внимания на его мрачную физиономию.

— Говорят, Никур опять в Риге, — продолжал Алкснис. — Это знаменательный факт, как вы думаете, господин Саусум?

Саусум пожал плечами:

— О чем тут думать?.. Не знаю, что ему здесь надо.

— Я тоже не знаю, но что-то должно почувствоваться, — сказал Алкснис. — Никур не из тех, кто впадает в меланхолию.

Не то намек, не то насмешка...

Саусум поглядел вслед Алкснису и покачал головой. «Подальше от таких. Но где же люди, настоящие люди? Где они — смельчаки и упорствующие? Как их найти? Да и примут ли они меня? — думал Саусум. — Сам-то я кто?»

Выйдя из кафе, он долго бродил по улицам, не зная, куда девать себя. Нигде его не ждали. Он был одинок, мал и беспомощен. Как щепка,

которую бросает с волны на волну.

В середине лета произошло чудо: Эдгара Прамниека выпустили из Саласпилского концентрационного лагеря. Кое-кто выходил и раньше — те, за кого поручались солидные, известные оккупационным властям лица или те, кого даже в гестапо не считали опасными. Нашлось несколько неустойчивых человечешек, которые когда-то выступали за советскую власть, но теперь не выдержали испытания и, спасая шкуру, превратились в немецких агентов. Прамниека тоже хотели завербовать, но он разыграл дурачка, не понимающего, чего от него хотят, и до тех пор бубнил о своих картинах и рисунках, пока представителю Ланге не надоело его слушать. В конце концов с него взяли подписку, что он не станет заниматься политикой, с большевиками и евреями никаких связей иметь не будет, а если что узнает про них, тотчас сообщит гестапо. Стыдно было Прамниеку, но уж очень заманчива была свобода — хоть и весьма проблематичная, — чтобы от нее отказаться.

«Все равно ничего сообщать им не буду, — думал он. — Главное — свобода, перспектива творческого труда. Друзья меня поймут».

Страшно похудевший, оборванный, шел он по улицам Риги, на все оглядывался с непривычки. Он направился прямо в Задвинье, к Ольге. Последнее письмо от нее Прамниека получил месяца за два до освобождения. Она, как всегда, писала, что здорова, что живется ей сравнительно неплохо, пусть Эдгар за нее не беспокоится, и высказала твердую уверенность, что его скоро освободят, потому что в лагерь он попал по недоразумению. «Если бы ты знал, как я тебя жду, Эдгар! — писала она. — Твой мольберт, палитра и краски тоже ждут не дождутся. Я знаю, что твой талант не погибнет ни в каких условиях и ты еще порадуешь народ прекрасными, правдивыми картинами...»

«Олюк, мой верный, любящий друг, — растроганно думал он, приближаясь к дому. — Настанет хоть один светлый день в нашей жизни. Как-нибудь переживем с тобой это мрачное время. Я буду работать за нас обоих, а ты поможешь мне дождаться восхода солнца».

Столько всего испытал он за последние два года, что, кажется, ничто не могло его поразить, но удар, который он принял через полчаса, мгновенно сломил его. Рассказала обо всем жена дворника, в простоте своей не догадываясь, какую муку причиняет этому незнакомому мужчине.

Прамниек сел на лестнице и заплакал. Все его тело содрогалось от всхлипываний. Радость свободы, надежды на будущее, желание работать и вера в конечное торжество правды — все рухнуло в одну минуту. Никогда, — даже в саласпилской яме, он не чувствовал себя таким одиноким, никогда жизнь не казалась ему такой страшной. «Зачем я живу, стоит ли дальше жить? — мелькала в усталом мозгу одна и та же мысль. — Для чего меня выпустили, знали ведь, что я здесь найду. Олюк, почему не дотерпела, не дождалась меня?»

Выплакавшись, он спросил у дворничихи:

— Можете вы сказать, где ее похоронили?

— Не знаю, милый человек, — женщина соболезнующе покачала головой. — Приехали на грузовике и увезли. Может, в морг, может, на кладбище, кто их знает.

Ольгины вещи тоже были увезены, а в квартирку уже въехал новый жилец. Отдохнув несколько минут, Прамниек вышел на улицу. Он шел, не зная куда, он даже не подумал о том, что до вечера надо найти приют, иначе заберут. Голодный, но забыв о голоде, медленно, как калека, тащился он по тротуару. Прошел все Задвинье и вышел к Понтонному мосту. В лицо подуло свежим ветром. Прамниек некоторое время тупо смотрел на волны реки, пока не очнулся от толчка.

— Чего так долго глядишь? — весело крикнул какой-то шутник, принявший Прамниека за бродягу. — Жить, что ли, надоело? Тогда прыгай в Даугаву, на это разрешения не требуется.

«Нет, пока еще нет, — подумал Прамниек. — Это никогда не поздно».

Он перешел мост, долго пробирался меж развалин Старого города и пошел к центру. Дойдя до знакомого пятиэтажного дома, Прамниек остановился, с сомнением поглядел на окна четвертого этажа, потом вошел в подъезд и поднялся наверх.

Его впустил сам Саусум. Он ничуть не удивился внезапному появлению Прамниека. Как больного, осторожно поддерживая под руку, повел в кабинет и усадил в кресло. Ничего не говоря, достал трубку, вынул из ящика стола завернутую в бумагу щепотку табаку и положил на стол. Потом вышел в коридор и что-то сказал матери. Вернувшись, Саусум сел за стол, напротив.

— Ты уже был дома?

Прамниек кивнул головой.

— Знаешь?

Прамниек еще раз кивнул головой и отвернулся. Взгляд Саусума казался ему назойливым, бесцеремонным. «Что разглядываешь, — думал

он, — не видишь разве, как больно?»

— Где они похоронили Ольгу?

— Отдали в анатомичку, — ответил Саусум. — Когда я узнал, было уже поздно помешать этому. Да и вряд ли разрешили бы похоронить на кладбище.

Прамниек набил трубку и закурил, но после первой же затяжки раскашлялся; попробовал еще раз, и опять ничего не получилось.

— Отвык я от таких вещей, Саусум. Забыл уже все свои прежние привычки. Наверно, в лесу и то чувствовал бы себя свободнее... Не пойму, что случилось с людьми, — все мне кажется странными, чужими.

— Даже и я?

— Даже и ты. Накануне выхода из Саласпилского лагеря мне удалось поговорить с одной женщиной. Ее зовут Анна Селис. Она пожелала мне на прощанье, чтобы я не потерял ясности взгляда, не запутался. В тот момент я не понял, что она хотела этим сказать. Теперь, кажется, начинаю понимать.

— Что ты начинаешь понимать?

— Пока я сидел в лагере, мне казалось ясным, что я буду делать на свободе. Теперь я больше ничего не хочу... мне не за что браться. Чувствую только, что мне больно, и единственное мое желание — освободиться от этой боли. Кажется, больше ничего не могу. Во мне не осталось радости жизни, Саусум. Раньше это показалось бы мне ужасным, а теперь это естественно.

— Понимаю твое состояние. Тебе надо немного прийти в себя, привыкнуть к этой пустоте.

— Но ведь Ольги-то нет и никогда не будет.

— Это правда. Но ты живешь, я живу... живет народ.

— Оставь. Народу до меня нет никакого дела.

— Нам с тобой есть дело до того, что происходит с народом. Мы не можем отвернуться, закрыть глаза, уткнуться лицом в подушку. Мы не имеем права жить только для себя и своего горя. Приходится на старости лет сознаваться, что были до сих пор дураками.

— Что же еще остается нам в такое время?

— Драться, Прамниек...

— Увеличивать число жертв? Будто мало их было?

— Если даже мы не будем сопротивляться, все равно станем жертвами.

— Мое оружие — моя кисть, краски, карандаш. Но разве я могу сейчас показывать действительность? На другой же день меня убьют. Потом, может быть... По крайней мере так я думал в лагере. — Он криво

усмехнулся.

— Если мы не будем бороться, нас перебьют, передушат в тюрьмах, рассеют по германским трудовым лагерям, и мы останемся рабами до конца жизни. Знаешь ты, сколько десятков тысяч Заукель угнал на каторгу? Каждый день угоняют нашу молодежь, отнимают у народа молодое поколение.

Они выпили чаю без сахара, съели скудный обед и проговорили до позднего вечера. Саусуму хотелось скорее встряхнуть Прамниака, вывести его из душевного оцепенения. Но когда тот спросил, есть ли у него товарищи и в чьих рядах он будет бороться, — Саусум растерялся.

— Нам еще надо найти пути к подполью, — сказал он. — Только делать это надо очень осторожно. Однажды я чуть не попал в самое осиное гнездо. Видишь, Прамниак, у них здесь есть националистическая подпольная организация... выпускает воззвания, группирует вокруг себя недовольных. Я чуть не связался с нею, но вовремя узнал, что главарем там Альфред Никур, и давай бог ноги... Где Никур — там провокация, это ясно, как дважды два — четыре. С ними нам не по пути.

— Так с кем же?

— С теми, кто слушает Москву, и нам надо найти их.

Саусум дал Прамниаку кое-что из своего платья и оставил жить у себя, хотя в редакции могли весьма косо посмотреть на это. Через некоторое время Прамниак устроился помощником декоратора в одном театрике.

Глава пятая

1

В середине мая Ояр Сникер поручил Яну Аустриню направиться в родные места и установить связь с одной небольшой партизанской группой, которая недавно начала свои операции в Малиенских лесах. С помощью Курмита из Саутыней Аустриню удалось встретиться с командиром этой группы, лейтенантом Мироновым, бежавшим из немецкого плена. У Миронова было двенадцать человек и две винтовки; значительных действий такой отряд предпринять не мог. Выяснив, в чем нуждается группа, Аустринь условился встретиться с Мироновым через неделю, на полпути между полковой базой и лагерем группы.

— Оружие и боеприпасы мы дадим, но действовать вам придется в

этом же районе, — сказал Аустринь на прощанье. — Командование полка очень заинтересовано в том, чтобы партизаны держали в своих руках как можно больше районов. Это хорошо, что вы обосновались здесь, иначе нам пришлось бы прислать сюда свой отряд.

Последнее он сказал от себя, потому что Ояр ничего подобного ему не говорил. Вообще Аустринь был неплохой парень, но любил иногда прихвастнуть: приятно ведь, когда тебя слушают. Особой рассудительностью он не отличался, и Ояр часто напоминал ему, что надо сперва подумать, а потом действовать. Когда замполит полка Вимба заговорил с ним о политучебе, Аустринь прямо загрузил: ему куда легче было пойти на опасную операцию, чем сесть за книгу.

— На кой черт я буду ломать свою старую башку над профессорскими премудростями? — рассуждал он. — Агитатор из меня все равно не выйдет, а стрелять и взрывать я умею, — дай бог Вимбе угнаться за мной. Если бы я плохо дрался, тогда другое дело, тогда надо выдвигаться как-нибудь иначе. А чем они меня попрекнут?

По правде говоря, старой башке было не больше двадцати восьми лет, и лишние знания ей далеко не повредили бы, но Аустринь был слишком ленив. До войны он служил в Риге рядовым милиционером; честно, как полагается настоящему мужчине, начал воевать, не позорил ни себя, ни своих товарищей и надеялся так же честно дождаться дня победы. Один раз его уже наградили, может быть до конца войны правительство еще раз обратит на него внимание, — против этого Ян Аустринь ничего не мог возразить. Только бы с учебой не очень приставали. Пусть учатся, кто помоложе, — Имант, Эльмар Аунынь, Саша Смирнов...

В обратный путь он двинулся в самом хорошем расположении духа. Задание выполнено, теперь у них будет полное представление о группе Миронова. Ояр опять отзовется о нем, как об одном из самых способных разведчиков. Теперь самое разумное — это поскорее добраться до базы и порадовать командира ценными сведениями. Но Аустриню очень хотелось повидать одну знакомую девушку и немного погреться в лучах ее изумления. Всегда, бывало, накормит, когда он, голодный и усталый, завернет в ее дом. Однажды в скверную осеннюю ночь он даже переночевал там, и, пока отдыхал, Эмма Тетер высушила и заштопала ему носки, пришила недостающие пуговицы и всю ночь не спала, оберегая его, как родного брата.

Не завернуть ли к Тетерам и на этот раз? Придется, правда, сделать небольшой крюк — километров в двенадцать, зато потом, когда почеловечески выплещешься и отдохнешь, легче будет наверстать упущенное. И

чем ближе подходил Ян Аустринь к домику Тетера, что стоял на опушке леса, тем больше доводов находил он в свое оправдание.

«Ояру об этом говорить не буду, — рассуждал он, заранее радуясь встрече с доброй, ласковой девушкой. — Опять начнет ругаться и из комара сделает слона. А на Эмме, пожалуй, стоит жениться, — не сейчас, понятно, а когда кончится война. Она ведь не кулацкая дочка, почему бы ей не выйти за меня замуж?»

Когда Аустринь стал подходить к домику, залаяла собака, но тут же замолкла — наверно, кто-нибудь цыкнул на нее. Разведчик остановился у опушки и некоторое время оглядывал местность, насколько это вообще было возможно в густых сумерках. Потом он услышал легкие шаги, и его взгляд сразу различил человеческую фигуру. Эмма!

Они не виделись больше трех месяцев, и это свидание обоим доставило много радости. Конечно, Аустринь и на этот раз мог остаться на ночь у Тетеров и как следует отдохнуть несколько часов, зарывшись в солому на сеновале.

В три часа утра домишко окружил отряд немецких жандармов и местных шуцманов. Аустринь спал глубоким, здоровым сном, когда на него навалилось трое верзил. Не успел он выхватить из-под изголовья пистолет, как руки его были связаны. Аустриня сволокли по лестнице вниз и повели в дом. Эмма Тетер и ее родители, тесно сбившись, стояли в углу кухни, тоже со связанными руками.

«Вот и пришел твой конец, старина...» — подумал про себя Аустринь и с жалкой улыбкой взглянул на своих товарищей по несчастью.

— Вы знаете этого человека? Кто он? Как его зовут? — спрашивал через переводчика молодой обер-лейтенант, ведущий допрос.

Старики Тетеры и в самом деле не знали Аустриня, и допытываться у них было бесполезно, а Эмма, положившись на сообразительность Яна, отрицала, что когда-либо видела его: думала, он сам объяснит, каким образом очутился на сеновале.

Обер-лейтенант велел увести хозяев и начал допрашивать Аустриня. Он задавал вопрос за вопросом, давая понять в то же время, что это чистая формальность.

— Нам все известно, нам надо только уточнить некоторые частности. Отпираться и лгать нет смысла. Если вы будете откровенны, я гарантирую

вам пощаду. В противном случае вас повесят нынешней ночью. Из какой партизанской банды? Как зовут? С какими заданиями явились сюда? Отвечайте быстрее, пока у меня не иссякло терпение.

Аустринь никогда не рассчитывал попасться живым в руки немцев, поэтому был застигнут врасплох. Он не заготовил на этот случай ни одной легенды, ни одной сказки.

«Если не будет иного выхода, последнюю пулю себе...» — так представлял он свое поведение в момент возможной катастрофы. Борьба, геройское сопротивление до последнего момента — и честная смерть.

Борьбы не было. Он ничего не мог сделать ни с собой, ни с врагами. А они что захотят, то с ним и сделают. Одним словом — конец. А если конец, ничто уже не может ухудшить его положение.

— Да, я партизан и знаю, что меня ожидает, — твердо сказал Аустринь, когда обер-лейтенант кончил задавать вопросы. — Поэтому всякие разговоры излишни.

— Вовсе ты не знаешь, что тебя ждет, что тебя не ждет, — сказал, ухмыльнувшись, обер-лейтенант. — Ты только подогреваешь, настраиваешь себя. А тебе следовало бы подумать еще кое о чем. Скажи, ты хочешь жить или нет? Возможность спасти жизнь у тебя еще имеется. Мы могли пристрелить тебя на дороге, когда ты шел сюда, но мы этого не сделали, потому что ты нам нужен живой. Но знай: жизнь ты можешь купить только той ценой, которую назначим мы. Никаких разговоров я не допущу. Да или нет — и дело сделано. Свобода — или веревка. Этот час может быть для тебя последним, но он может стать и началом новой жизни. Если ты выберешь первое, то не думай, что мы дадим тебе умереть так быстро и легко, как тебе хочется. Нет, мальчуган! Мы тебя уничтожим постепенно. Взгляни на этих ребят. Если они возьмутся за человека, у него кости трещат, глаза на лоб вылезают. Тебя изобьют и превратят в сплошной кровоподтек, из тебя будут вытягивать кишку за кишкой, а если ты и тогда не заговоришь — тебе выколуют глаза, тебе отрежут язык и в таком виде сунут в петлю. Не очень это легко, а?

У Аустриня на лбу выступил пот. С детства он не переносил боли. Только потому и не ходил к зубному врачу, когда начинал болеть гнилой зуб, только потому не дал привить противотифозную вакцину. Он не мог не признать, что смерть — факт неизбежный, но то должна быть скорая смерть, без мучительного вступления. Сжать зубы и умереть! И больше ничего. К этому он был готов. Но то, что рисовал перед ним этот обер-лейтенант, не вязалось с представлением Аустриня о смерти героя. Что это не пустая угроза, он понимал: разве мало пришлось ему видеть замученных

гитлеровцами людей — страшно изуродованных, с искаженными мукой лицами? То же самое сделают и с ним, в этом можно не сомневаться.

И ему стало вдруг невыносимо жарко, все его тело обливало потом.

— Я это знаю, — медленно произнес он.

— Но мы можем этого не делать, — не обращая на него внимания, продолжал обер-лейтенант. — Если от тебя будет польза, мы отпустим тебя через час и даже вернем тебе оружие. Выбирай в течение минуты, что хочешь: смерть в ужасных мучениях или жизнь и впридачу свободу?

«Почему они меня еще не бьют? — думал Аустринь. — Наверно, только играют, как кошка с мышью. Если заметят, что я поверил, сразу станут измываться, начнут бить. Чем они будут меня бить?»

Обер-лейтенант ждал ровно минуту.

— Что ты выбрал — первое или второе?

— Лучше второе, — промямлил Аустринь и опустил глаза. Хотя перед ним были только враги, ему стало стыдно даже их.

— Я это знал, — засмеялся обер-лейтенант. — Каждый разумный человек обязательно выбирает жизнь, если ему предоставляется такая возможность.

«Неправда, неправда! — кричало в груди Аустриня. — Люди умнее, лучше меня, — выбирают первое и умирают. Они сильнее меня. Как хорошо, что Эмма не слышит...»

— Теперь ты нам все расскажешь, — уже другим, повелительным тоном заговорил обер-лейтенант. — Малейшая ложь может тебя погубить. Говори.

Запинаясь, сам не понимая, что делает, Аустринь начал рассказывать. Раз начав, он уже не мог ни остановиться, ни отступить назад. Как сорвавшаяся с крыши черепица, падал он вниз и не волен был остановиться в этом падении. И теперь он лежал в грязи, превращенный в грудку осколков.

Он рассказал все, что знал, — говорить меньше ему не позволили. О силах партизан, о вооружении, о дислокации, о Курмите из Саутыней. Рассказал про Миронова, про батальоны Акментыня и Капейки, которые ушли с главной базы на другие места, — куда, он еще не знал. Только одно скрыл Аустринь: что Эмма Тетер знает его и что он раньше бывал здесь. Но это меньше всего интересовало обер-лейтенанта.

Наконец, ему предложили подписаться под протоколом допроса, где были записаны все его показания. Теперь он и по существу и формально стал предателем. — Теперь он уже и пикнуть не посмел, когда немец предложил подписать еще один документ, который превращал его в шпиона

и германского агента. Как во сне подписал Аустринь свое имя, как в кошмаре продал свою душу врагу и с этого момента перестал принадлежать самому себе. Он сохранил свое тело для дальнейшего существования, но Ян Аустринь умер. Неизвестный, подлый негодяй присвоил его имя и личность, теперь он будет жить и действовать вместо Яна Аустриня.

После этого его стали инструктировать, как выполнять задания. Он немедленно вернется на базу полка и будет там жить как ни в чем не бывало. Он добудет сведения о базах Акментыня и Капейки, о том, где находится Паул Ванаг со своим батальоном. Он узнает, с кем держит Ояр Сникер связь в Риге. Обо всем слышанном и виденном надо при первой возможности сообщать особому связисту, который будет находиться недалеко от базы полка.

— А самое главное — это шифр партизанских радиопередач, — сказал обер-лейтенант. — Если ты его достанешь и доставишь нам, мы позволим тебе уйти от партизан и выбрать любое занятие.

Убедившись, что Аустринь все понял, немец велел вернуть ему отобранный раньше револьвер со всеми патронами и сказал, что теперь он может идти.

— Удивляешься, что мы тебя так легко отпускаем? — спросил он. — Ведь ты можешь признаться своим товарищам, рассказать, как все произошло, и наплевать на обещание, которое сейчас дал. Наверно, уже подумал об этом?

— Нет... господин обер-лейтенант... — пробормотал Аустринь. — Я думаю о том, что мне надо делать.

— Ну, хорошо. Но имей в виду, что ты сжег за собою все мосты. Обратного пути к большевикам для тебя нет. Хочешь не хочешь, теперь тебе до конца жизни придется быть с нами. Не веришь? Тогда выйди и посмотри.

Аустринь вместе с немцами вышел во двор.

— Посмотри туда, за угол дома, — показал рукой обер-лейтенант.

Аустринь дошел до угла дома. Под большой березой, на самом нижнем толстом суку висели три человека. Эмма Тетер была повешена между своими родителями.

— Эти люди значатся на твоем счету, — сказал обер-лейтенант. — И еще будут. Попробуй теперь оправдаться в глазах партизан. Понимаешь теперь, что обратно тебе нет пути?

Да, Аустринь это понял. Но он понял еще одно: если он может как-то смыть свой позор, то только кровью — кровью врагов и своєю кровью.

Дальше все пошло не так, как предлагал обер-лейтенант и его помощники. Аустринь быстро обернулся, выхватил из кармана возвращенный ему револьвер и выстрелил в голову обер-лейтенанту. Один из шуцманов схватился за автомат, но не успел, — Аустринь застрелил и его и еще одного, который оказался перед дулом его револьвера. Следующей пулей он прострелил себе голову.

...Через день в Саутыни нагрянула карательная экспедиция — два взвода пехоты под командой унтерштурмфюрера СС. Эсэсовцы приказали окружить усадьбу, расставили посты вокруг хозяйственных построек и согнали во двор всех людей, после чего начали обыск. Ничего подозрительного не нашли, но для них это не имело значения. Видно было, что немцы очень торопятся. Покончив с обыском, они стали допрашивать Курмита.

— Ты помогаешь партизанам. Ты доставляешь им сведения и продовольствие. Расскажи все, что ты знаешь о них. Где находится Миронов со своими бандитами? С кем из большевиков ты еще встречаешься?

Курмит отрицал все обвинения и держался спокойно. Его долго били, жестоко пытали, но крестьянин вынес все. Видя, что от него ничего не добиться, эсэсовцы принялись на его глазах истязать жену, детей и старуху мать. Курмит стиснул зубы и глядел в сторону, чтобы не видеть их мучений, но он не мог не слышать их стоны. В голове помутилось от них, но даже в эти минуты его не оставляла одна мысль: старший сын, четырнадцатилетний Юрис, ушел в лес, понес продовольствие Миронову, — хоть бы он подольше задержался там, не спешил домой... хоть бы ему остаться в живых. В том, что его самого и всю его семью ждет смерть, Курмит не сомневался.

Когда ему приказали встать на табуретку, чтобы накинуть на шею петлю, он все еще смотрел в сторону леса и мысленно предупреждал своего сынишку: «Не ходи домой, Юрис, останься в лесу... Отнеси товарищам весть о несчастье... Ох, не приходи, сыночек...»

Остальных эсэсовцы пристрелили посреди двора. Затем подожгли все постройки, ограбив сначала дом и клеть.

Ближние и дальние соседи наблюдали за пожаром. Зарево было видно далеко-далеко; увидел его и Юрис Курмит, возвращавшийся с базы Миронова. Он остановился у опушки леса и со страхом наблюдал, как горит его родной дом. Ветер далеко разносил искры и хлопья пепла — через поля, к озеру. Когда от построек остались только груды развалин и закопченные остовы печей, немцы сели в грузовики и уехали, — может

быть, в город — донести о кровавой расправе начальству; может быть, в другую усадьбу, которую ожидала участь Саутыней.

Прячась по канавам и межам, Юрис добрался до огорода, а оттуда дополз до двора. Он увидел повешенного на клене отца. В луже крови лежали мать, сестренка и маленький братишка, поверх, ничком, упала бабушка — ее белые волосы стали серо-черными от пепла и сажи. Лошадь и коров немцы увели, петух с курами спрятались во ржи. Только серый кот, грязный, с опаленной шерстью, мяуча бегал по двору; всюду еще что-то тлело, всюду было горячо.

Юрис пополз обратно к лесу. Там он поднялся на ноги и бегом пустился в чащу, к Миронову и его товарищам.

3

После ухода Аустриня прошла неделя, а он все не возвращался на базу. Тогда Ояр послал по его следу Сашу Смирнова и еще одного партизана, из новичков. Не дожидаясь их возвращения, усилили охрану базы и выставили посты на всех дорогах, на которых могли появиться немцы. Без батальонов Капейки и Акментыня в распоряжении Ояра осталось менее двухсот человек. Но оружие было у каждого, боеприпасов хватало, а самой большой гордостью Ояра были три ручных пулемета, которые им еще весной сбросили с самолета.

Через три дня вернулся Саша Смирнов со своим товарищем. Он привел с собой Юриса Курмита и одного партизана из группы лейтенанта Миронова. Узнав, что произошло в усадьбе Саутыни, Ояр больше не сомневался, что с Аустринем случилась беда.

— Пора менять базу, — сказал он Вимбе и Эзериню. — Если Аустринь попал к немцам в лапы, они постараются выпытать у него нужные сведения.

— Ну, навряд ли, — сомневался Эзеринь. — Аустринь парень надежный. Не верю, чтобы они многого от него добились.

— Да и я не верю, — ответил Ояр. — Но безопасности ради будем действовать так, как будто он им все рассказал. Всегда надо быть начеку, чтобы враг никогда не застиг нас врасплох, как бы хитро и быстро он ни действовал. На этом месте оставаться больше нельзя. Ночью мы перевезем на новую резервную базу все наше хозяйство. Женщины, дети и старики пусть сейчас же собираются в путь. Хорошо, если бы товарищ Вимба взял на себя руководство этой операцией.

— А ты сам? — Вимба недовольно посмотрел на Ояра.

— Я догоню вас. Спрячу имущество, которое нельзя взять с собой, и на прощанье устрою небольшой скандал в полицейском участке.

— А Аустринь не знал о резервной базе? — спросил Эзеринь.

— Знал только, что где-то существует резервная база, но место известно только четверым — Вимбе, Мазозолиню, тебе и мне, — сказал Ояр.

С наступлением сумерек тронулись в путь человек сорок, в том числе мать Анны Лидаки, бабушка Эльмара Ауныня, Юрис Курмит и все жившие на базе родственники партизан. Ояр не терял времени и спрятал в хорошо замаскированных ямах все громоздкое имущество. Руте он велел передать шифровку Паулу Ванагу и Акментыню, в которой сообщил, что вследствие изменившихся обстоятельств штаб полка переходит на другое место.

В два часа ночи, когда было назначено выступление с базы, прибежал, запыхавшись, начальник штаба Мазозолинь.

— Товарищ Сникер, только что вернулись разведчики! Неприятные вести... немцы стягивают войска вокруг леса.

— Много их? — спросил Ояр, улыбаясь одними уголками губ.

— На пути нашего отхода будет примерно около полуторы роты. Две роты приближаются по дороге с юга, а еще одна располагается вдоль леса, у нас в тылу. Ей придано несколько минометов и — если разведчики не ошибаются — несколько полевых орудий.

— Ишь, как серьезно, — продолжал улыбаться Ояр. Иначе он не мог — Рута все время смотрела на него. Прижавшись к большой сосне, возле своей рации, она стояла немного в стороне и с серьезным, напряженным лицом слушала этот разговор. — Даже орудия... что ты скажешь! Наверно, собираются воевать. Придется доставить им это удовольствие.

Он развернул карту и посмотрел на нее при свете фонарика.

— Итак, фрицы замечены только с трех сторон. На западе полторы роты, две роты с юга, а на севере целое войско с артиллерией и минометами. А на востоке ничего не заметили?

— Разведчики с той стороны еще не вернулись, товарищ Сникер. Может... проверить?

— Пошли еще одну группу. Пусть Рейнфельд примет командование.

— Есть, товарищ командир.

Мазозолинь скрылся в темноте, но через несколько минут вернулся снова.

— Не стоит посылать. Только что пришли разведчики. Вдоль восточной окраины леса развернулась цепь эсэсовцев, человек в двести.

— Тогда ясно, каков их замысел, — с видимым удовлетворением сказал Ояр. — Насколько можно судить по расположению сил, первоначальный удар они хотят нанести с севера. Эти обезьяны воображают, что им удастся напугать нас минами и снарядами. Надеемся, что мы после первого удара ринемся сломя голову в противоположную сторону — прямо на их главные силы, где эти две роты пехоты. Тогда они нас слопают без соли. А мы сделаем не так. Одна группа, человек двадцать, с одним ручным пулеметом подкрадется как можно ближе к западному краю леса и нащупает щель на стыке флангов западной и южной групп противника. Не может быть, чтобы фрицы полностью замкнули кольцо окружения, где-то должны быть проходы. Тебе, Мазозолинь, надо будет взять на себя командование этой группой. Остальные — то есть мы все — направляемся сейчас к северному краю леса. Там есть одна незаметная тропка. Мы перейдем по ней через болото мимо правого фланга северной группы немцев, проскользнем к ним в тыл и будем ждать там начала этой музыки. Через час ты со своими ребятами откроешь огонь: наддай им жару по обоим флангам — по правому западной группы и левому южной, а сами после этого поскорее уходите оттуда, прямо на запад. Кто из нас раньше подойдет к старой водяной мельнице, тот будет ждать остальных. Ясно?

— Ясно, — тихо отозвался Мазозолинь. — Теперь мне понятно, что произойдет, если нам удастся этот маневр.

— Удастся, Мазозолинь, если ты успеешь открыть огонь затемно.

— Сделаю все, чтобы успеть.

— Саша, — позвал Ояр Смирнова. — Сейчас же сними все посты и вместе с ними иди за мной. Ты знаешь тропу на болоте?

— Знаю, Ояр. Догоню тебя через полчаса.

— Ну, действуйте, друзья, — сказал Ояр. Только теперь он в первый раз за все совещание обратился к Руте. — Пора трогаться, Рута. Дай-ка я немного понесу твою рацию.

— Ничего, Ояр, я не устала. Тебе ведь приходится думать за всех нас.

Не обращая внимания на ее возражения, он взял рацию. Отряд выступил. Бесшумно, без единого слова, партизаны шли за своим командиром. До начала тропы было немногим больше полукилометра, но пока они ее достигли, прошло с полчаса, потому что Ояр часто останавливался и прислушивался к ночной тишине. Хрустнувшая ветка, упавшая с дерева шишка заставляли отряд замирать на месте. Оружие держали наготове. Добравшись до тропы, Ояр выслал вперед трех партизан — разведать противоположный берег болота. Двое остались там, а третий вернулся и доложил, что путь свободен. За час до рассвета Ояр Сникер

вывел своих партизан из окружения и расположил их в поросшей кустами ложбине, метрах В трехстах от тыла северной группы немцев.

— Почему ты не вступил в бой? — шепотом спросила Рута, присев рядом с Ояром. — Тебе кажется, что их много? Дорого будет стоить?

— Нет необходимости, Рута. Надо беречь боезапас, пригодится для другого раза.

— И ты позволишь им уйти?

— Потерпи еще немножко, скоро тебе все станет понятно.

Они еще не кончили разговора, как примерно в километре или больше от них, с юго-западного края леса, раздались треск винтовок, дробь автоматных очередей и таканье пулеметов Мазозолия. Через минуту в лесу разгорелся настоящий бой. Оживление началось и здесь, у северного края. Немцы стреляли из минометов, из обоих полевых орудий. Мины и снаряды падали в середину леса, туда, где еще недавно располагался штаб полка.

— Видишь, Рута, что бы с нами было, если бы мы не убрались оттуда вовремя, — сказал Ояр. — А теперь все это добро падает на пустое место. Немцы думают, что на базе сейчас паника, что мы, полуголые, бежим к югу, и у тех, что засели по ту сторону леса, от нетерпения дрожат руки. Они не могут дождаться того момента, когда мы выскочим из лесу прямо под их пули.

— А справа? Кто там стреляет?

— Немцы шерстят друг дружку. Мазозолия столкнул их лбами, и теперь они до тех пор не успокоятся, пока не перестреляют друг друга или пока не рассветет. Ага, и эти не выдержали!

Думая, наверно, что пришло время перейти в атаку, эсэсовцы из северной группы бросились в лес, все время стреляя на ходу из автоматов. Сначала изредка, потом все чаще начали постреливать и с восточной стороны; наконец, заговорили автоматы и пулеметы, которые тщетно ждали появления партизан у южной окраины леса.

— Теперь пойдём! — скомандовал своим партизанам Ояр. — Здесь нам больше делать нечего. Пусть эти собаки с божьей помощью дерутся до утра.

У старой мельницы они дождались собранных Сашей Смирновым партизан, находившихся на постах охранения, но самому Саше не суждено было доложить командиру полка о выполнении задания. Задержавшись во время поисков одного из постов, он попал под огонь северной группы немцев, когда она бросилась в атаку. Товарищи вынесли его тело из леса и похоронили в кустах недалеко от мельницы. Он был единственной жертвой

в этом ночном бою. Мазозолинь со своими двадцатью партизанами пришел следующей ночью на новую базу. Один был ранен в плечо, другому пуля срезала пол-уха. Зато немцам пришлось зарыть в землю несколько сот своих. На краю леса, в том месте, где произошел ночной бой, появилось целое кладбище с рядами белых березовых крестов и одним большим крестом в голове строя. Об этом событии ни одним словом не упоминалось в сводках гитлеровского штаба, ни одна газета не посвятила ему ни одной строчки, зато латышам о нем скоро стало известно.

Ояр Сникер и Роберт Кирсис давно собирались встретиться, но до сих пор им это не удавалось. Выпросив отпуск, якобы для того чтобы съездить в деревню и встретить там Янов день, Кирсис, наконец, выбрался из Риги и с помощью Ансиса Курмита достиг базы Капейки. Капейка дал ему в провозатые Иманта Селиса, который уже успел побывать у командира полка на новой базе. По дороге Имант рассказал Кирсису все новости, какие знал сам, — об исчезновении Яна Аустриня, о гибели Курмита из Саутыней, о большом наступлении на партизанскую базу.

— Ничего не поделаешь, друг, — сказал Кирсис. — У нас одни опасности кругом, и все равно надо жить и работать. Если мы будем бояться опасностей, — немцы не будут бояться нас и наступят нам на голову. — Потом с улыбкой посмотрел на Иманта. — Ты чему-нибудь учишься или только воюешь?

— И воюю и учусь, «Дядя». Занимаюсь русским языком, повторяю алгебру, физику, геометрию. Думаю сразу после войны поступить в мореходное училище.

— Это хорошо, Имант, не надо терять времени. А что еще делаешь?

То, что такой серьезный, известный человек, который руководит всей подпольной работой в Риге, так просто говорит с ним о всех делах, подбодрило Иманта.

— «Дядя», я, знаете, что хочу сделать... Я хочу освободить свою мать из Саласпилса, — сказал он тихо. — Поэтому командир полка и послал меня в батальон Капейки. Отсюда ближе до Саласпилса.

— Дело-то очень трудное, Имант.

— Я знаю. Мы с Эльмаром Аунынем теперь все разведаем. Я уже знаю, что мать работает в лагере прачкой. Это плохо. Если бы работала не в самом лагере, мы бы ее обязательно освободили. Но как ее вытащить

оттуда? Очень сильно охраняют...

— Вооружись терпением. Пожалуй, я могу немного пособить тебе. Попробую передать твоей матери, чтобы она постаралась попасть на другую работу. Я знаю, что многие заключенные работают по добыче торфа и на огородах.

— Хорошо, если бы и ее послали на торф.

— Хорошего в этом мало, Имант. Там очень тяжелая работа.

— Зато оттуда легче убежать.

За день они прошли все сорок километров пути от батальона Капейки до новой базы полка. Рано утром, когда чаша начала просыпаться, в укромной лощинке, куда солнце заглядывало только в полдень, встретились Роберт Кирсис и Ояр Сникер. Пытливо посмотрели они друг на друга, потом Кирсис улыбнулся, шагнул к Ояру и протянул руку:

— Здравствуй, хозяин зеленого леса! Вот ты какой!..

— Здорово, товарищ «Дядя», — улыбнулся и Ояр. — Наконец-таки встретились.

— Пришел провести с друзьями праздник Лиго.

— Вот только угостить тебя нечем. Ни сыра, ни пива нет. Известно ведь, как нам живется.

— Доброе слово дороже всякого угощения.

— Однако кружка пива у нас найдется, а на закуску ломоть зацветшего ржаного хлеба, — неделю тому назад в одном доме испекли.

— Не трудно? — спросил Кирсис. Он любовно посмотрел на Ояра и перевел взгляд на чашу. Среди зелени там и сям стояли простые шалаши из еловых ветвей, почти незаметные для непривычного глаза; только развешанное белье или таган на потухшем костре свидетельствовали о присутствии человека, но людей Кирсис нигде не видел. Он представил себе, из каких лишений и опасностей складывалась эта жизнь, и ему захотелось в одном объятии крепко прижать к груди и Ояра и всех его невидимых товарищей и сказать: «Дорогие мои, хорошие друзья, народ никогда не забудет вас. Сколько же надо сил, чтобы годами выносить то, что выносите вы».

Но он не привык говорить о своих чувствах, поэтому ничего не сказал, только похлопал по руке Ояра, и они пошли по узенькой тропинке в самую чашу. Свежие смолистые запахи хвойного леса, множество негромких звуков обступили их со всех сторон; откуда-то слева пробивались первые лучи солнца, освещая зеленые конусы елей и плоские шапки сосен.

В одном месте, где между стволами образовалась маленькая прогалина, сели на сухой, пожелтевший мох.

— Здесь можно и поговорить, — сказал Ояр. — Никто нас не потревожит, кругом мои ребята.

— Что же я никого не вижу из твоих ребят? Где они все? — спросил Кирсис.

— Ты их не увидишь. На то они и партизаны.

— Да, в лесу тоже необходима осторожность. А ведь как будто все свои люди.

— Свои-то свои, да не со всеми мы росли и не про всех известно, какая причина привела их в лес. Что касается осторожности — это вовсе не характерная черта для моих людей. Ты бы поглядел на них, когда Арай со своими псами второй раз попытался взять нас. В первый раз ему не удалось — мы вовремя перебазировались. А тут дело было так. Вообрази — кустарник, команда Арая со всех сторон залегла цепью. Знают, что в кустах партизаны, но входить боятся, хотят запугать нас шумом. Галдят, орут: «Сколько таких партизан идет на фунт? Давай их сюда!» — «Подойдите ближе! — отвечают мои ребята. — Чего стесняетесь?» Ну, двинулись. Для храбрости шумят, перекликаются, шагают так, что только ветки трещат. А когда подошли совсем близко, мои ребята встали и запели «Песню латышских стрелков». Хочешь верь — хочешь нет, но стреляли они только в самом начале, пока араевцы шли вперед. А когда те показали спины, мои с песней побежали за ними и перебили больше двадцати подлецов. Такая у партизан ненависть, что во время боя забывают всякую осторожность, и мне потом каждый раз приходится их пробирать. Особенно трудно с молодыми. Ты меня прости, пожалуйста, что я все про свое да про свое. Ты ведь не для того пришел, чтобы узнать, как мое здоровье?

— Нет, Ояр, и не для того, чтобы отпраздновать день Лиго. Нам надо сообща пораскинуть мозгами и придумать, как лучше использовать все наши силы. Националисты зашевелились.

— Знаю. Мы достали первые три номера их газетки и сразу решили, что это дело рук немцев. Очень уж усердно приглашают латышей вступить в легион и идти против большевиков.

— А тебе известно, кто возглавляет эту провокаторскую организацию? — спросил Кирсис.

— Да наверное кто-нибудь из «единоплеменников».

— Альфред Никур.

— Никур? Ну, тогда все понятно. Больше и говорить нечего.

— Никур — проститутка. Он готов продаться любому, кто больше пообещает. И пусть бы он продавал себя, но он хочет торговать честью народа. Понятно, у народа есть и разум и гордость, и этого не могут отнять

никакие проходимцы, но сбить кое-кого с толку они могут. Мне кажется, вся эта авантюра нацелена далеко вперед.

— Расколоть народ и хоть некоторую часть направить по ложному пути.

— И это тоже. Но главное, чего они хотят, — так мне кажется по крайней мере, — это заранее организовать новое, враждебное советской власти, подполье, которое они думают оставить в Латвии, когда самим придется уходить. Понимаешь, Ояр, они уже учитывают эту возможность! И вот для того, чтобы ослабить нас, чтобы подставить советской власти ногу, чтобы после своего поражения помешать нашему движению вперед, — они собираются, так сказать, заложить под нас мину замедленного действия.

— А нам надо эту мину вовремя найти и обезвредить.

— Правильно. По этому вопросу мы выпустим специальный номер газеты и листовки. Нельзя ждать, когда они сами снимут маски, — мы это сделаем сейчас. Нашим разведчикам надо пробраться в их организацию и узнать имена всех главарей, чтобы разоблачить их перед народом. А самим придется стать еще бдительнее, потому что они будут засылать к нам своих агентов. Возможно, они придут к нам под личиной преследуемых и дезертиров из легиона и попытаются подорвать наши силы изнутри, потому что открытые нападения не дают результатов — в этом они давно убедились. Придется рассчитывать и на то, что их вооруженные группы станут терроризировать мирное население, грабить и убивать всех, кто покажется им ненадежным, а эти преступления припишут нам, Ояр. Они постараются отнять у нас любовь и доверие народа. Видишь, какие трудности нас ждут? Со всем этим надо справиться.

— Справимся, я думаю.

Потом они позвали Вимбу и Эзериня и вчетвером обсудили вопросы тактики и задачи ближайшего времени. Трудностей стало больше, но зато возросли и силы борцов и возможности борьбы. Было чему порадоваться и чем гордиться. Мелкие партизанские группы превратились в значительные соединения, к которым не смели приближаться никакие команды Арая. В Риге уже действовали не отдельные одиночки-подпольщики, а большая нелегальная организация, которую не могли уничтожить немцы. А больше всего Кирсис гордился своей группой комсомольцев, которая только недавно развернула по-настоящему свою работу.

На другой день Кирсис ушел обратно в город. До базы Капейки его опять проводил Имант Селис, а дальше проводники были не нужны. Не хотелось Кирсису уходить от свежести зеленых лесов — но не всем же

оставаться здесь и бороться с врагами в открытом бою.

Летом у Капейки уже были три отдельные партизанские группы, и каждая из них действовала в своем районе. Одна группа продвинулась к самой Риге и причиняла большие неприятности шуцманам и мелким подразделениям немецких войск, когда те показывались на дорогах. Другая группа обосновалась в районе Кегума. У нее были совершенно особые задания: она никогда не нападала на полицейские части и комендатуры и не спускала под откос эшелоны; терпеливо сидел в своем углу маленький отряд партизан и занимался разведкой. Они знали, сколько поездов и автомашин отправляется каждый день на восток, знали, какие воинские части передвинулись в том или другом направлении, в каких местах немцы строят укрепления. Полученная недавно рация ежедневно передавала шифрованные радиogramмы в Москву, а центральный штаб партизанского движения передавал эти сведения по назначению. Но это была только одна сторона деятельности группы. Вторая была намного сложнее, но увлекала исполнителей своим значением: им было поручено заранее подумать о сохранении Кегумской гидростанции. При отступлении немцы непременно попытаются взорвать станцию и оставить столицу Латвии и ее промышленность без электроэнергии.

И они всё разведали: как охраняется станция, сколько рабочих обслуживают ее, кто они такие. Им удалось устроить туда своих людей, установить тесную связь с рабочими и кое с кем из администрации. Таким образом, они знали все, что там происходит. Они надеялись предотвратить катастрофу в тот день, когда будет решаться судьба гидростанции.

Третья группа Капейки подошла почти к самому видземскому побережью и постоянно напоминала жителям, что немецкие оккупанты отнюдь не хозяева в Латвии. Если сегодня что-то случилось в одной волости, завтра в другой, а на третий день немцы получали неприятные сюрпризы сразу в двух уездах, сам собою напрашивался вывод, что партизанское движение охватило всю Латвию.

Эвальд Капейка возле своей главной базы шума никогда не подымал. Район этот слыл самым спокойным и тихим уголком в Латвии. Поезда здесь не сходили с рельсов, автомашины не взрывались, не горели склады военного имущества. Но если у немцев скопилось в этом месте много техники и военного имущества, то скоро над ними появлялись советские

бомбардировщики дальнего действия, и от всего этого добра оставалось почти одно воспоминание.

Конечно, это не значило, что Эвальд Капейка мирно сидел в штабе батальона и только отдавал приказания. Прожив неделю на базе, он начинал хандрить, скучать и, не вытерпев, бросал ее на попечение замполита, а сам уходил с одной из своих групп на выполнение очередной операции. После этого можно было опять отдохнуть, связаться со штабом бригады и, основываясь на сообщениях разведчиков, составлять план новой операции.

В начале августа Капейка совершил нападение на немецкую базу военного снаряжения в приморском районе, недалеко от узкоколейной железной дороги. На этот раз он взял с собой часть штабной охраны и всю третью группу, которую, по привычке, называл ротой, хотя в ней было не больше пятидесяти, человек. Разведка была произведена тщательно, поэтому операция прошла образцово, с отличными результатами. Партизанам удалось без шума снять пост немецкой охраны и проникнуть на базу. Когда гитлеровцы их заметили, два центральных, самых больших склада боеприпасов были уже подготовлены к взрыву. Ручными гранатами и огнем автоматов партизаны отогнали подразделение охранников базы и вовремя перебрались через железнодорожную насыпь. Раздался первый взрыв, такой сильный, что воздушной волной срывало с сосен ветки. Затем, второй, третий, четвертый. Взрывы продолжались всю ночь, до самого утра зарево громадного пожара было видно далеко вокруг.

Отходя, партизаны наткнулись на моторизованную часть, которая спешила к месту катастрофы. Благоразумнее всего было бы пропустить ее мимо — слишком очевидно было превосходство сил противника. Но Капейка не удержался.

— Насыплем им разом, а потом прочь со всех копыт! — дал он свою обычную команду.

Через несколько секунд прозвучал дружный залп. Несколько мотоциклов и две автомашины с солдатами въехали в канаву. Раздались проклятия, крики. В колонне началось замешательство, но немцы быстро сообразили, в чем дело, и вслед партизанам засвистели пули. Забухал миномет, немного спустя — второй. Посылаемые наугад мины беспорядочно падали в лесу, обтесывая осколками стволы сосен. Капейка со своими людьми быстро уходил от дороги. Они отошли уже на полкилометра, когда какая-то шальная мина упала в нескольких шагах от Капейки. Он не успел ни броситься на землю, ни спрятаться за дерево. Мелькнул огонь, раздался грохот; Эвальд Капейка только выругался и

потерял сознание.

Товарищи окружили командира. Осколок попал в левую ногу выше колена: кость была раздроблена, кровь лилась ручьем из большой раны. Партизаны кое-как перевязали ногу, чтобы остановить кровотечение, потом подняли Капейку и понесли на руках.

Выйдя из леса, они остановились. Впереди смутно виднелись постройки большой крестьянской усадьбы.

— Как теперь быть-то? — сказал один из партизан. — Надо решить, что делать с командиром. До базы мы его не донесем. Если в течение часа не оказать ему хирургической помощи, он у нас помрет.

— Где же ты возьмешь хирурга? — сердито отозвался другой.

— Если захотеть, достать можно, — ответил первый. — Я родом из этих мест. Здесь поблизости есть хороший врач. До его дома не больше двух километров.

— Не понесем же мы его к врачу. Это все равно, что доставить в полицейское отделение и передать на растерзание шуцманам.

— Зачем нести! Мы сходим к врачу и приведем его к раненому.

— Интересно, как это он будет делать операцию в темном лесу?

— Без света, конечно, не возьмется. Все-таки подумаем, что нам сделать.

— Погоди, а это что за усадьба вон там виднеется?

— Это — Большие Тяути, должно быть.

— А хозяина знаешь? Что он?

— Хозяин так себе, не очень... Но если показать пистолет, пожалуй возражать не станет, — трусоватый.

Они посоветались и решили, что трое сейчас же пойдут за врачом. Если по доброй воле не согласится, приведут насильно. Тем временем остальные обработают хозяина усадьбы и приготовят, что можно, для операции.

Сумасшедшая, безумная ночь и еще более безумное везение. Хозяин усадьбы Большие Тяути, Симан Ерум, живо понял, к чему клонится разговор, и предложил партизанам комнату в своем доме.

— Только уж вы, пожалуйста, сделайте так, чтобы к утру в доме чистенько было. Если найдут что — пропала моя голова. Не знаете разве этих извергов? Вы как думаете, не остались на дороге капли крови?

— Да не расстраивайся ты, хозяин, — успокаивали его партизаны. — Время летнее, кто там разглядит в пыли какие-то капли крови.

— А все-таки, все-таки... Вам-то ничего, вы пришли и ушли, а мне из усадьбы уйти некуда.

Умен и хитер Симан Ерум. В передовицы «Тевии» он мало верил. Время от времени даже отваживался настраивать приемник на волну Москвы и слушал, что говорят оттуда. Нравится не нравится, а ясно, что Красная Армия подходит все ближе и в Латвии снова будет советская власть. Особых грехов он за это время не натворил, — вот разве что взял в хозяйство трех военнопленных. Так что ж из этого? Кормил он их по-человечески и не загонял на работе... Здесь им было лучше, чем в лагере военнопленных, там люди, как мухи, мерли от голода и непосильной работы. А если еще удастся угодить в чем-нибудь партизанам — понятно, так, чтобы не пронюхали немцы, — тогда и горя мало, тогда можно со спокойной совестью ждать советскую власть.

Вот почему Симан Ерум был так радушен с партизанами.

В комнате, предназначенной для операции, хозяйка накрыла стол чистой скатертью, постелила на кровать чистую простыню. В кухне на плите кипятили воду. Наконец, привели врача. Никаких вопросов он не задавал и ничуть не упрямылся, а сразу уложил в саквояж хирургические инструменты и пошел с партизанами. Вряд ли он не догадался, в чем тут дело. Войдя в дом Ерума, он сразу начал всеми командовать, и все без возражений выполняли его распоряжения.

В ту ночь Эвальд Капейка лишился левой ноги. Иного выхода не было — пришлось ампутировать.

— Можно теперь унести его? — спросили врача партизаны, когда он наложил повязку и командир, измученный операцией, снова впал в беспамятство.

— Вы с ума сошли! Куда вы его потащите? — рассердился врач. — Не трогать никоим образом в течение нескольких дней.

— Несколько дней? — Лицо у Симана Ерума так и вытянулось.

— А вы что же думаете — после такого ранения! — возмутился врач.

— Все равно оставить его здесь мы не можем, — объяснили врачу партизаны. — Если немцы найдут — и ему и хозяину конец!

— Вот и я про то же, — оживленно подхватил Ерум. — И мне и моей семье. Я и без того ужас как рискую.

— Больной остается на месте, — заявил врач. — Иначе не стоило и оперировать. А если боитесь немцев, надо его спрятать так, чтобы они не нашли. Ведь у вас, Ерум, определено должна быть недалеко от дома какая-нибудь яма для картофеля или хлеба. Не может быть, чтобы вы весь урожай отваливали немцам.

— По совести говоря, как же без этого... — ухмыльнулся Ерум.

— Ну вот. Перенесем его туда, пока не рассвело, а следующей ночью я

приду проведать его.

Прежде чем перенести Капейку в хлебохранилище, вырытое метров за двадцать от дома в густом кустарнике, ему устроили там постель. Врач сам спустился в яму и помог уложить раненого. Приказав, чтобы при нем постоянно находился человек, он ушел домой. После его ухода партизаны переглянулись.

— Кому из нас сторожить командира?

Желающих нашлось много, но всем делать здесь было нечего. В конце концов выбор пал на Эльмара Ауныня. Ему дали автомат, достаточное количество патронов, и он остался в темной, сырой яме вместе со своим командиром.

Большая часть партизан вернулась на свои базы, а четверо залегли в ближайшем лесу, чтобы наблюдать оттуда за усадьбой Симана Ерума и в случае чего прийти на помощь Эльмару и Капейке.

«Ох, боженька, что-то теперь будет, что-то будет... — мысленно стонал Ерум. — Только бы миновала беда... Такой риск, такая опасность!..»

Тревожные дни наступили для Больших Тяутей.

Глава шестая

1

Лето 1943 года для Марты Пургайлис прошло незаметно. На курсах партийного и советского актива в Кирове был самый разнообразный состав слушателей, и их пришлось разбить на несколько групп, соответственно уровню их знаний. Марта попала в третью группу. Но у нее была ясная голова, а занималась она день и ночь и скоро выдвинулась в число отличников. После окончания курсов ее оставили работать в Кирове инструктором отдела гособеспечения семей военнослужащих.

В октябре Марту Пургайлис вызвали в Москву. Центральный Комитет Коммунистической партии Латвии и Совет Народных Комиссаров начали комплектовать в это время оперативные группы работников для всех уездов. Марту зачислили в оперативную группу одного из курземских уездов в качестве заместителя председателя уездного исполкома. Она даже оробела, узнав об этом.

— Слишком большая это для меня работа. Хорошо бы хоть с властью справиться, а тут целый уезд. У меня и опыта никакого нет... А сколько

ведь всего знать надо!

— Вначале нам всем придется так работать, — ответил сотрудник отдела кадров. — Где же набрать опытных? Одни в армии, другие в партизанах, а некоторые погибли. Придется, видно, учиться в процессе работы. Главное, чтобы было желание честно, не жалея сил, работать на благо советского народа, — и это у вас есть. А опыт, знания со временем придут.

— Мне своих сил не жалко, куда же их и девать еще... Но если только я по незнанию ошибусь, вы ведь меня не исключите из партии? Буду надеяться, что старшие товарищи не откажут в совете.

После этого ей дали отпуск на десять дней. Марта съездила в детский дом к Петериту, — хотелось побыть с ребенком перед долгой разлукой, чтобы не отвык, да и сшить кое-что надо было.

— Теперь я опять уеду, сынок, буду помогать папе, чтобы нам скорее попасть домой, — сказала она мальчику на прощанье. — А потом ты приедешь ко мне, и мы будем жить вместе. Я буду работать, ты — учиться читать и писать, а там начнешь ходить в школу.

— И папа тоже будет работать?

— Конечно, — голос Марты дрогнул. — Все будут работать, Петерит, и всем будет хорошо.

— Я тоже буду работать?

— Конечно, будешь, только сначала подрасти. Таким маленьким трудно работать.

Петерит проводил ее до подводы и долго махал ручонкой, а когда подвода скрылась за поворотом, ребенок внезапно понял, что ему долго придется ждать это родное существо, которое ласкало нежнее всех людей. Губки его дрогнули, но он сдержался, потому что рядом стояли другие дети и с любопытством смотрели на него. Стыдно плакать. А мама вернется...

В Москве Марта прожила только с неделю, потом оперативную группу, в которую ее зачислили, направили на прифронтовую базу латышских партизан. База находилась рядом с большим аэродромом, с которого каждую ночь поднималось в воздух несколько транспортных самолетов, направлявшихся через фронт к белорусским, латышским и литовским партизанам. Днем и ночью здесь ревели моторы самолетов, грузовики подвозили боеприпасы, оружие и продукты, санитарные машины увозили раненых, которых доставляли сюда из вражеского тыла.

Лес... ряды землянок с железными трубами... свежий воздух, бодрый суровый быт. Утром они вставали в определенный час, по-военному. Прибирались, завтракали и шли заниматься. Каждый член оперативной

группы старался заранее подготовиться к предстоящей работе и, насколько позволяло время, заполнить пробелы в своих знаниях. Каждый старался предусмотреть, с чего ему придется начать после возвращения в Латвию, и выработывал подробный план. Ясно было одно, что придут они на голое место: никакого порядка, никаких учреждений — земля без хозяина. И чем скорее хозяин — советская власть — установит порядок, тем скорее возродится там жизнь. В первый же день надо будет учесть все хозяйственные объекты в каждой освобожденной волости, наметить хотя бы временного председателя волостного исполкома, назначить ответственных лиц в магазины, промышленные предприятия и брошенные усадьбы, чтобы нечестные люди не растаскивали народное достояние. Тут же надо начать беседы с жителями, разъяснить им всю правду о том, что происходило на свете за эти годы, и рассеять мглу, в которой они жили до прихода Красной Армии.

По вечерам члены оперативной группы обсуждали свои планы, критиковали и дополняли их. Время от времени из Москвы приезжал кто-нибудь из членов правительства или работников Центрального Комитета Коммунистической партии Латвии и инструктировал их по отдельным вопросам советской и партийной работы. Некоторые товарищи побывали уже в освобожденных районах Белоруссии и Украины и рассказывали, с какими трудностями столкнулись там в первое время после изгнания немецких оккупантов. Конечно, после этого все оперативные планы были переделаны заново, потому что, составляя их, часто забывали о самых простых вещах. Пришлось подумать о том, что не везде будут одинаковые условия работы.

В разрушенном городе, оставшемся без света, без воды, придется начинать с одного; в городе, который неприятель не успел разрушить, — с другого. Если освобождение Латвии произойдет зимой или ранней весной — надо будет позаботиться о весеннем севе, о лесных работах; а если это случится во второй половине лета — надо поскорее убрать урожай и обеспечить население продовольствием.

Марта занималась с увлечением, она жила мыслями о завтрашнем дне и чем больше думала, тем нетерпеливее ждала его наступления. Скорее бы приложить руки к делу. И как она будет работать! Работа будет ее жизнью, ее счастьем. Может быть, когда-нибудь и скажут люди, что Марта Пургайлис оказалась достойной своего мужа.

Шумит лес, осенние ветры проносятся над лагерем, день и ночь в воздухе гудят моторы самолетов. Дни и ночи мечтает человек. Он хочет превратить свою мечту в действительность.

В середине ноября на прифронтовую базу приехали Айя Рубенис и еще несколько работников комсомола. Двое из них должны были перелететь через фронт и присоединиться к партизанским частям, остальные влились в оперативную группу.

Марта Пургайлис слышала, что латышская дивизия была недавно переброшена в район Великих Лук, но самой ей как-то не пришло в голову, что теперь можно побывать у товарищей Яна. Когда Айя сказала, что едет в Великие Луки и, может быть, попадет в дивизию, Марта вздохнула.

— Вот как хорошо, повидеешься с ними. Если бы мне хоть на один день разрешили...

— Кто же тебе запрещает?

— Не знаю, можно ли...

— Если ты серьезно хочешь, поезжай тогда со мной. Я поговорю с руководителем оперативной группы, чтобы тебя отпустили на десять дней. Если потребуется, выпишем командировочное удостоверение. В самом деле, почему не воспользоваться такой возможностью?

За каких-нибудь полчаса Айя все устроила. У каждого члена оперативной группы в дивизии были друзья или родственники, все они писали письма, и каждый просил, чтобы его письмо передали лично.

Утром Айя с Мартой уехали. До Торопца они доехали на аэродромовском грузовике. За городом, где дорога поворачивала на Великие Луки, их посадили на ехавший порожняком газик. Проехав так километров сорок, они несколько часов прождали на развилке дорог. В конце концов регулировщик помог им попасть на машину, идущую до Великих Лук.

Впервые Айя и Марта своими глазами увидели, что оставляют за собой фашисты. Во всем городе осталось только несколько целых домов, но и их стены были иссечены пулями и осколками снарядов. Всюду развалины, развалины... Город долгое время находился на линии фронта, на его улицах происходили бои, и каждый дом, каждая пядь земли свидетельствовали об этом. Трудно было представить, где здесь могли жить люди, но, когда взгляд немного привыкал к этому хаосу, становилась заметной и жизнь. В самом большом, наполовину разрушенном здании, стены которого стали рябыми от следов пуль и осколков снарядов, разместился госпиталь эстонского корпуса. Где-то в развалинах ютились военная комендатура, пересыльный пункт, столовая; дощечки с надписями

показывали, что вот под этой грудой кирпичей живут люди. Возле станции везде были обгоревшие вагоны, везде валялся металлический лом, скрученные жгутом железные балки, изуродованные автомашины.

«Вот она, война, что делает, — думала Марта. — Сколько людей строили этот город, заботились о нем, а теперь они не смогут даже найти улицу, на которой родились и выросли. Неужели и в Латвии так?»

Тот же вопрос был в глазах Айи.

— Успеем ли мы за всю свою жизнь восстановить все снова? — заговорила Марта.

— Успеем, Марта. Должны успеть.

— Сколько лишнего труда... Где бы людям новое строить, а тут изволь все сначала. Да разве враг может когда-нибудь расплатиться за все эти преступления?

Странно им было видеть людей, деловито снующих среди этой разрухи. Неужели и к этому можно привыкнуть? Бодро бежали лошади, таща полные подводы валенок, мешков с продовольствием, ящиков с патронами. На мостовой, чирикавая, прыгали воробьи, из подвала выглядывала пестрая отощавшая кошка.

Вдруг обе женщины услышали рядом латышскую речь. Это были обозники дивизии — везли на фронт продовольствие. Айя заговорила с ними, и оказалось, что они хорошо знают ее мужа, старшего лейтенанта Юриса Рубениса.

— Он ведь нашим начальником был, пока не перешел к разведчикам, — рассказывал молодой словоохотливый сержант.

— А как мне его найти?

— В штабе полка знают. Поговорите с нашим лейтенантом, вон он, верхом который.

Начальник обоза, лейтенант Бейнарович, был пожилой человек, с сединой в висках и усах, — один из тех, кого не могли удержать в тылу никакие военкоматы. Если его по состоянию здоровья не пускали в строй, то работать в хозяйственной роте запретить уж никто не мог. Прежде чем начать разговор с незнакомыми женщинами, он вежливо, но настойчиво попросил показать документы и только тогда стал доступнее.

— Садитесь на повозку, мы вас доведем, — сказал он. — Иначе еще забредете к немцам. Здесь обстановка такая, что самому ловкому разведчику немудрено заблудиться. Ни селения, ни деревца, сплошь голое, ровное место.

Когда Айя и Марта устроились на повозке, он добавил, добродушно улыбаясь:

— Значит, у товарища Рубениса будет сегодня праздник.
— А вы знаете старшего лейтенанта Спаре? — спросила Айя.
— Как же, парторг третьей роты. Очень толковый мужчина.
— Это мой брат.
— Вот как? Значит, куда ни повернись, везде родня? Ну тогда вы у нас будете как дома. А у попутчицы вашей тоже кто-нибудь из родственников в дивизии?
— Ее муж, командир роты Пургайлис, весной был убит у Демянска.
Лейтенант пристально посмотрел на Марту и перестал задавать вопросы. Обоз переехал по мосту через Ловать и очутился на пустынной равнине. Здесь не на чем было остановиться взгляду. Изредка лишь попадался кустарничек, и ни одного селения, ни одного дома.
Немного погодя они свернули вправо по проселочной дороге. Лейтенант на минутку подъехал к повозке, на которой сидели Айя и Марта, и показал рукой налево.
— А вот по этой дороге — вы бы прямехонько к немцам.
— А далеко еще до фронта? — спросила Марта.
— Не очень. Хороший ходок дойдет за час.
Будто в подтверждение его слов вдали прогрехотало несколько артиллерийских выстрелов. Марта долго смотрела в ту сторону, откуда долетали эти звуки, и ее сердце охватило благоговейное, торжественное чувство. «Вот где они, милые, бьются... — думала она. — За победу бьются...» — и она мысленно поклонилась этим людям.
Смеркалось, когда обоз прибыл на место.

Это нельзя было назвать ни землянкой, ни вообще каким-нибудь словом, обозначающим человеческое жилье. Не лачуга, не шалаш, не пещера, а нечто объединяющее признаки и лачуги, и шалаша, и пещеры. До прихода латышских стрелков здесь был обыкновенный окоп. Когда командир второй роты Ян Лиетынь объявил, что здесь они разместятся для продолжительной стоянки, самые опытные ротные квартиреры в расстройстве чувств стали чесать за ухом, а старшина Звирбул сплюнул и сказал: «Гм...»

Повод для расстройства чувств был достаточно веский: как размещаться, когда поблизости нет ни дерева, ни приличного куста — одни голые бугры, слишком незначительные, чтобы можно было зарыться в

землю по их склонам? Надвигалась зима; до переднего края несколько километров; если немец заметит, что здесь, под открытым небом, расположились войска, от снарядов и мин спасения не будет.

Старшине Звирбулу оставалось только сплунуть еще раз и пошевелить мозгами. Если бы старый командир роты был жив, старшина получил бы хороший совет, — Пургайлис никогда не плошал в подобных обстоятельствах. Звирбул целый час обходил место, предназначенное для стоянки, и усы у него топорщились, как у кота, который видит тревожный сон. Наконец, придумал.

— Здесь и будем жить, — сказал он, показывая на окоп. — Стены готовы, нужна только крыша, а о постели пусть каждый сам думает. Мебельных магазинов поблизости не видать. Принимайтесь за работу, ребята, нечего стоять и глядеть.

Окоп разделили на несколько участков. Дно расчистили и расширили, потом в каждом конце такого участка устроили возвышение из самых разнообразных материалов — из хвороста, сучьев, тростинка и прошлогодней травы. Получилось нечто вроде нар, на которые могли улечься два человека. Окоп прикрыли палаткой, набросали сверху всякого хлама, и крыша была готова. Изобретательные стрелки смастерили из листов старой жести маленькие печурки и дымоходы, потому что зимой человеку нужно тепло, где бы он ни жил. Оставалось только позаботиться о топливе.

— Неплохо бы очутиться сейчас у Старой Руссы, — говорили стрелки. Унылые болота, которые они когда-то так проклинали, сегодня казались им почти милыми: как-никак, там всегда можно было разжиться приличным топливом и кое-чем из стройматериалов.

Они обыскали на несколько километров все окрестности и, как ни пусто было кругом, каждый раз приносили что-нибудь такое, что могло гореть, если поднести огонь.

Бревна для штабных землянок возили из леса за сорок километров. Медсанбат и некоторые части разместились в палатках. По другую сторону линии фронта можно было разглядеть селения — там были немцы. Юрис Рубенис насчитал больше двадцати деревень.

— Надо поживей отогнать фрицев на несколько километров к западу, — мечтал он. — Только чтобы они не успели поджечь ни одного дома, — нам каждая хибарка дорога.

Никто не знал, когда начнется наступление, — о таких вещах всегда узнавали только накануне. А ждали его с нетерпением. Так и чувствовались в воздухе запахи Латвии. Близость родных мест манила и тревожила, и

часто можно было видеть людей, подолгу и напряженно глядевших на запад.

Марта Пургайлис сидела в окопе у самой печурки и слушала рассказы стрелков о бывшем командире роты. Она хотела знать все, каждую мелочь. Как изголодавшаяся, ходила она из одной землянки в другую и подбирала каждую кроху воспоминаний. Рассказчики видели Яна в разной обстановке, и каждый видел его немного иным, чем другие, но хотя его рисовали сотнями штрихов десятки разных людей, из всех этих штрихов в представлении Марты складывался цельный образ Яна. Никто не вспоминал его с досадой, никто никогда не завидовал, что он из сержантов стал старшим лейтенантом, а теперь наверняка стал бы капитаном, если бы не эта мина...

Печурка капризничала, после каждого порыва ветра вымахивало изрядный клуб дыма.

— А помните, как мы в сорок втором году праздновали Янов день? В нашей роте было двенадцать Янов и четыре Ивана. Пургайлис, как самый старший Ян, получил самый большой венок и запевал песни Лиго.

— У нас в тот раз была своя коза, дойная. Приблудилась, когда переправлялись через Ловать, — нас на вторую линию отводили. Звирбул решил во что бы то ни стало приготовить к празднику сыр, но так у него ничего и не вышло. Не знал, верно, как обращаться с козьим молоком.

— А это вы помните, как мы переночевали на минном поле, когда из Вышнего Волочка возвращались на фронт? В сорок первом там была линия фронта, и немцы заминировали все кусты и рощи. Товарищ Пургайлис первым заметил утром две мины. Он приказал нам остаться на местах, а потом вся рота по одному вышла из леса. Саперы собрали там штук двадцать мин. Я до сих пор удивляюсь, как это в ту ночь никому не оторвало голову или ногу. На редкость счастливый случай.

— А как у Воскресенского поймали шпиона, попа. Немцы его оставили с передатчиком. Вначале никто не мог понять, откуда фрицы так точно знают, в каком доме или леске разместился штаб. Бомбы сбрасывали прицельно — один самолет за другим. Товарищ Пургайлис в то время заведовал хозяйством роты и вот однажды заглянул в какой-то сарайчик, нельзя ли там разместить что-нибудь из имущества? А поп как раз в это время «работал». Товарищ Пургайлис вытащил его за бороду и повел в особый отдел. Так всю дорогу и вел, как лошадь под уздцы.

Марта невольно улыбнулась, представив себе эту картину.

Много рассказов слышала она в этот день, и каждый нашел свое место в тайниках ее памяти.

Потом стрелки передали Марте кое-какие вещи Яна, которое не успели послать ей весной. Был там самодельный нож с алюминиевым черенком, простая ложка с выцарапанными на стебле инициалами «Я. П.», стальная каска, которую Ян надевал во время боев. Но самую большую радость доставили Марте две фотографии, их ей дал командир батальона, майор Жубур. На одной Пургайлис был снят с Жубуром и командирами рот Аугустом Закисом и Имаком. Их сейчас в дивизии не было — Имак лежал в госпитале после тяжелого ранения, а капитан Закис уехал учиться на курсы «Выстрел». Второй снимок был сделан без ведома Яна: раздетый до пояса, он брился возле ели. Как великую драгоценность спрятала их Марта.

Везде, где появлялась эта тихая, миловидная женщина, ее сопровождали сочувственные взгляды стрелков. Все бросались помочь ей, услужить чем-нибудь, но ей нужно было одно — побыть немного среди них, походить по следам Яна Пургайлеса. Следы эти она находила в каждом месте, хотя он никогда не бродил по этим тропинкам. Следы остались в людских сердцах. Ни ветер, ни дождь, ни вьюга не могли уничтожить их.

4

Когда Айя и Юрис пришли в третью роту к Петеру Спаре, там только что кончился политчас. Стрелки окружили парторга и засыпали его вопросами.

Уже несколько раз Аустра сигнализировала ему, что позади кто-то есть, но, увлеченный беседой, Петер не понял ее мимики и оглянулся лишь после того, как ответил на последний вопрос.

Только теперь он заметил новые лица и смутился. Радостный и недовольный в то же время, он отпустил стрелков и направился к Айе и Юрису.

— Ты как сюда попала, Айя? И что это за манера приходить в гости без предупреждения? А если бы я куда-нибудь уехал?

— Мои разведчики живо бы нашли тебя, — ответил Юрис. Он весь сиял, наблюдая, как Петер, пытаясь скрыть свои чувства, здороваётся с сестрой. «Как ни старайся строить сердитое лицо, а парень ты ласковый, — думал он. — И как не быть ласковым с такой сестренкой, как моя Айя...»

— Куда мне вас девать, друзья? — сказал Петер. — В поле мы замерзнем, а дома у меня только дым да песок.

Они стояли в узкой лощинке между двумя буграми; падали рыхлые

крупные снежинки, но земля еще не вся побелела. Несколько мгновений взгляд Петера искал кого-то среди уходящих стрелков. «И почему Аустра поспешила исчезнуть? — подумал он. — Айю ведь она давно знает. Вот глупенькая...»

Айя видела, куда он смотрит, но промолчала. Петер повел их в свое жилье, которое оказалось просто-напросто норой, вырытой в склоне бугра. Вход был занавешен брезентом, и ветер свободно проникал внутрь, разгоняя дым и напоминая людям, что ноябрь не слишком приветливый месяц.

— Почему не приехала к нам летом? — спросил Петер. — Поглядела бы, как мы жили у Рамушева. У каждого командира был свой домик; целое селение выстроили в лесу.

— Ты скажи, как твое здоровье?

— Хорошо. Кости, правда, иногда поламывает после всех этих болот, ну, это мы вылечим в Кемери. Скорее бы только попасть туда.

— Надо написать Ояру, чтобы прислал оттуда грязи, — сказал Юрис.

— Ояру? — Петер оглянулся на Юриса. — Разве от него есть какие известия?

— Он теперь целым партизанским полком командует, — сказала Айя.

— Вот за это известие тебе большое спасибо, — сказал Петер. — Я ведь с сорок второго года ничего о нем не знаю, с тех пор как Силениек про него рассказывал. Ни за кого так не беспокоюсь, как за него. Что это за человек! Некоторые его не понимали, считали просто озорником, потому что он любил подшутить, особенно над теми, кто не чувствует юмора. Поэтому, наверно, и в личной жизни ему не везло. Значит, цел, все в порядке? Командует полком... За это можно сто граммов выпить, только, жалко, у меня не водится.

— А ты поговори с разведчиками. — Юрис прищурил один глаз и вытащил из кармана шинели бутылку коньяку. — У разведчиков иногда водится. Я как знал, что сегодня у тебя будет настроение. Теперь можешь смело выпить, — пока Элла не видит.

Айя укоризненно посмотрела на Юриса. Петер притворился, будто не слышал последних слов.

Они выпили за успехи Ояра.

— Теперь и Рута там, — сказала Айя. — С Ояром. Прошлой зимой училась на курсах радистов, а весной улетела помогать Ояру.

— А как же Чунда? — удивился Петер.

— С Чундой у нее все кончено.

— Ну и правильно, — добавил Юрис. — Эх, попался бы он мне в

руки, я бы его погонял: раньше ты хорошо работал языком — покажи теперь, каковы твои дела.

— Так бы и взял в свою роту? — поморщился Петер. — Не понимаю, как могла Рута выбрать этого болтуна. Просто загадка.

— Рута не знала, оценила его по внешности, — сказала Айя. — Давайте поговорим лучше о чем-нибудь другом. Как ты думаешь, Петер, где мы в следующий раз встретимся?

— Где же еще, как не в Латвии, Айюк.

Они долго говорили о родине, вспоминали родителей, гадали, что будут делать, вернувшись домой.

— Опять придется все начинать сначала, — рассуждал Петер. — Но на этот раз будет труднее. Нехватка в людях, много разорено, разрушено.

— Все равно справимся! — Юрис стукнул кулаком о край нар. — Советскую Латвию мы построим!

Перед уходом Айя вынула из кармана подарки — шерстяной шарф собственной вязки, пару носков, пестрые варежки и две пары женских чулок.

— Это тебе, а это отдай Аустре. И не забудь передать от меня привет.

— Почему ты сама ей не отдала? — немного смущенно сказал Петер.

— Ты же ее не пригласил. Разве она могла прийти без приглашения? Думала, что мы к тебе одному пришли.

— Пожалуй, я и в самом деле неправильно поступил... — пробормотал Петер. — Если хочешь, сейчас позову.

— Нет, Петер, теперь это получится нехорошо. Запомни, что и у нас, женщин, есть своя гордость. Мы не любим, когда для нас что-нибудь делают из жалости.

Петер проводил их до дороги. Пристыженный, попрощался он с сестрой и вернулся в роту.

«Неужели это так нехорошо, что я разрешил Аустре уйти? — спрашивал он себя. — Ей и самой было бы неудобно... Не знала бы, о чем говорить с Айей. Или это мне только кажется? Они сами знают, что надо делать».

Он разыскал Аустру и неловко протянул ей маленький сверток.

— Это тебе... от Айи. Велела передать сердечный привет.

Опустив глаза, Аустра почти против воли приняла сверток.

— Спасибо... товарищ старший лейтенант. — Гордо тряхнула головой и поспешила в свою нору.

Растерявшись еще больше, Петер Спаре ушел к себе. «Айя все-таки права. А как теперь это исправить?»

Оставшись вдвоем, Айя и Юрис вспомнили об одном и том же.

— Зачем ты упрекнула Петера, что он забыл пригласить Аустру? — спросил Юрис. — Это так бросилось в глаза.

— А зачем ты вспомнил Эллу? Это уж такая нечуткость. Ведь на свете есть еще Аустра Закис.

— Нарочно сделал. Если человек не понимает, что жизнь требует исправления старой ошибки, хочется его подтолкнуть, ткнуть носом: «Вот твой завтрашний день, парень. Но, гляди, не упусти его сегодня!»

— Вот и мне тоже, — сказала Айя. — Хочется, чтобы он это скорее понял.

— Боюсь только, что сами они не додумаются.

Они хитро улыбнулись друг другу и прибавили шагу, чтобы до темноты вернуться в разведроту, иначе здесь действительно можно было заблудиться.

Недалеко от штаба полка им встретился подполковник Андрей Силениек.

— Добрый вечер, дорогие дети, — шутя приветствовал он их.

Айя долго не выпускала его руку и бессознательно погладила ее несколько раз. Она вдруг почувствовала нежную жалость к этому большому, сильному человеку, который занял такое важное место в ее жизни, в жизни Юриса, Петера, Жубура, в жизни многих людей. У всех у них было свое личное счастье, свои личные радости, а Андрей все отдавал общему делу, ничего не оставлял для одного себя. Поэтому Айе и стало так грустно.

Глава седьмая

1

Эвальд Капейка смотрел вверх на доски, прикрывающие яму. При свете свечи его исхудалое лицо казалось изжелта-прозрачным.

«Так. Вот оно как, — думал он. — Не сидеть мне больше за рулем. Вернется с войны Силениек, будет искать старого шофера, а придется ему взять другого».

— Эльмар, — прошептал он. — Что бы ты сделал на моем месте?

Эльмар Аунынъ сидел рядом с Капейкой и ненавязчиво наблюдал за ним. Подвинувшись поближе к больному, он отвечал таким же тихим

шепотом:

— На вашем месте я бы постарался уснуть. Врач сказал, что сон помогает ране скорее заживать.

Капейка мрачно улыбнулся.

— Как ты думаешь, если я буду спать беспросыпно целый год — вырастет у меня новая нога?

— Зачем об этом так много думать, — без улыбки сказал Эльмар. — И не так уж страшно, как вам кажется. Сделают самый лучший протез...

— Резиновую ногу? — Грудь Эвальда Капейки задрожала от горького, беззвучного смеха. — Когда надоест ходить, можно дать детям поиграть. А на мой вопрос ты так и не ответил. Какую бы ты выбрал специальность, если бы остался с одной ногой?

— У вас же есть специальность, товарищ Капейка, — напомнил Эльмар. — Вы хорошо знаете автодело — можете заведовать большим гаражом, мастерской. Будете работать в государственном учреждении. Мало ли возможностей. И зачем вам обязательно думать об этом? Сегодня надо отдохнуть, потому что будущей ночью отправимся в путь. Врач в последний раз осмотрит вас и даст лекарство... В лесу вам будет покойнее. Ну, попробуйте уснуть.

— Чего ты беспокоишься, Эльмар? Никогда я не любил подолгу спать. У нас, шоферов, жизнь такая — и дремлешь и едешь...

Целую неделю провели они в яме у Симана Ерума. Капейке казалось, что его живым опустили в могилу, и недоразумение заключается в том, что он почему-то не умер, — тогда товарищи могли бы засыпать яму и утоптать ногами, а Симану Еруму не пришлось бы опасаться за свою судьбу. Теперь он не спит по ночам, все ему кажется, что вокруг дома шныряют немцы. Однажды они в самом деле пришли, спросили у хозяина, не видел ли он поблизости незнакомых людей в ту памятную ночь, но Симан Ерум сделал младенчески-невинное лицо и уверил, что незнакомых людей не видел.

Прошлой ночью врач сказал, что раненого можно перенести в другое место. Эльмар Аунынь тотчас же повидался со своими товарищами, и они обещали достать подводу.

Первые три дня Капейка не знал, что у него ампутирована нога. На четвертую ночь врач завел разговор о достижениях современной техники протезного дела, рассказал про известных ему инвалидов, у которых не было ни рук, ни ног, но которые все же в состоянии были исполнять довольно сложную работу. Нет, в наше время инвалидность больше не делает человека беспомощным. Особенно, когда у него обе руки на месте.

— Вам тоже не следует вешать голову. Сделаем протез, и тогда можете

хоть танцевать.

Поняв, что с ним случилось, Капейка целый день молчал. Значит, он уже не такой, как все люди, и больше никогда не станет таким. Калека, инвалид, молодой человек на правах старика. В трамвае даже женщины уступают место, на улицах мужчины дают дорогу... Больше ему не бегать. Никогда не воевать. Батальоном будет командовать другой человек, с двумя ногами. Жалость, сочувствие — дар общественной вежливости — хочешь ли, нет ли, а придется принимать.

Это были горькие мысли. Никак не удавалось ему привыкнуть к новому положению. Шутить совсем не хотелось. Но Капейка не был нытиком, он дал этой горечи перебродить, не выливая ее на тех немногих людей с которыми в это время приходилось общаться. Они-то чем виноваты? Виновники расхаживали по дорогам Латвии, по улицам городов со свастикой на рукаве. «Хайль Гитлер!» — орали они и недоверчиво оглядывались, чувствуя везде ненависть и тайную угрозу. Они свою долю получают. Жалко только, что Эвальд Капейка уже ничего не может сделать, — и это тогда, когда ему особенно хочется воевать.

Если бы еще не эта сырая, душная яма, где пахнет плесенью, если бы вокруг были добрые друзья и разговаривали с ним обо всем, что взбредет на ум, не лезла бы в голову всякая дрянь. Яма остается ямой — тесная, темная нора, где мыслям нет простора для полета.

Вечером пришел врач. Еще раз осмотрел ногу, вернее то, что осталось от ноги, обработал и очень тщательно перевязал рану, потом вручил Эльмару перевязочный материал и лекарства и проинструктировал, как ухаживать за раненым.

— Терпение и покой — это самое главное, — сказал он Капейке. — Все протекает нормально. Вам больше ничто не угрожает. Хорошо бы показаться через неделю врачу.

— Благодарю вас, — Капейка пожал врачу руку. — Если нам придется встретиться при иных обстоятельствах, постараюсь доказать свою благодарность не на одних словах.

— Что ж благодарить, я только исполнил долг врача.

— Скажите хоть, как вас зовут.

— Доктор Руса.

— Я на всю жизнь запомню, товарищ Руса. А если вы когда услышите про Эвальда Капейку — то знайте, что он во всякое время готов вам служить.

Врач ушел. Через некоторое время в яму спустился Симан Ерум.

— Товарищи ваши прибыли. С подводой... — зашептал он. — Я им

рассказал, по какой дороге лучше ехать, чтобы не наткнуться на немцев и шуцманов. Жена дала домотканное одеяло... теплее будет. Пришел проститься и узнать, не нужно ли еще чего.

— Спасибо, хозяин, ничего больше не требуется.

Нам надо спешить, чтобы к утру добраться. И вам меньше хлопот.

— Не говорите, — согласился Ерум. — Думаете, я сплю по ночам? Ни-ни. Полежу немного — бегу поглядеть, нет ли чего такого. У меня сосед нехороший очень человек, всячески подлаживается к немцам. Если бы он заметил — тут же в полицию и натравил бы их на меня. А я все что мог делал, только бы вам угодить.

Жизнь ставил на карту, всем имуществом рисковал.

Если бы немцы пронюхали — крышка!.. И усадьбе и хозяину.

— Я не забуду, сколько вы мне добра сделали, — подтвердил Капейка.

— Чем мог... Вы, часом, не знаете в Риге Карла Жубура?

— Знаю такого. До войны работал в том же районе, где и я.

— Родственник мой. Если придется встретить, расскажите, как вам у меня жилось. Пусть не думает, что Симан Ерум своим не помогает. Стараюсь сделать все, что от меня зависит. Когда времена изменятся, замолвите там за меня доброе словечко.

— А зачем вам это, — удивился Капейка, — если вы всегда таким будете, незачем за вас и просить.

— Конечно, конечно... Однако всякое может случиться. Бывает, что завистники оклеветают. Вот тогда ft можно сослаться на человека, который тебя с хорошей стороны знает. А вы, наверно, большим человеком будете.

Он стоял на страже, пока партизаны вытаскивали Капейку из ямы, не ушел и тогда, когда раненый был уже отнесен на подводу к опушке леса. Быстро уничтожив все следы пребывания здесь людей, Симан Ерум облегченно вздохнул и почувствовал, что ему до смерти хочется спать. Эту ночь он мог спокойно отдыхать. Успокоился он и в другом отношении.

«Ну и хорошо, что так случилось, — умиротворенно думал он. — Если бы партизаны принесли раненого к соседям, заслуга досталась бы им. А теперь ее топором не вырубешь. Я рисковал своей головой, я боролся... А ты что сделал, а тебя за что хвалить большевикам, соседушка? Ничего не сделал. Так и не удивляйся, когда перед Симаном Ерумом люди будут шапки ломать».

Он засмеялся и потянулся.

Через два дня после возвращения Капейки на базу батальона прибыл Ояр Сникер с врачом партизанского полка. Осмотрев раненого, молодой хирург Бондарчук признал, что Капейку лечили правильно, что опасность миновала, но пока рана не заживет окончательно, больной нуждается в полном покое.

— Надо его эвакуировать в тыл, — сказал Бондарчук Ояру, выйдя из палатки, в которой лежал Капейка. — Там ему помогут оправиться и от душевной травмы, а она гораздо опаснее, чем физиологические последствия операции.

— Придется вызвать самолет, — сказал Ояр. — Дня через три доставим раненого на аэродром. Сопровождающий нужен?

— Не мешало бы послать с ним человека, к которому он привык.

— Ладно, товарищ Бондарчук, подберем такого человека.

Потом он вошел в палатку.

— Видишь, как нам пришлось встретиться, Ояр... — сказал Капейка, пожимая ему руку, — совсем по-другому, чем я думал. Надеюсь к зиме вернуться с докладом: уничтожено столько-то гитлеровцев, взорвано столько-то мостов, пущено под откос — столько-то поездов... Эх, все лопнуло, как мыльный пузырь!

— Ничего не лопнуло, Эвальд, — сказал Ояр, присаживаясь рядом с постелью Капейки. — До зимы еще далеко, а ты и сегодня можешь доложить о многих хороших делах. Взрыв немецких складов с боеприпасами услышали далеко. Пожалуй, он заставил вздрогнуть кое-кого даже в Риге. Я вот тоже услышал и поспешил сюда, чтобы узнать, не твоих ли это рук дело. Оказывается, не ошибся. Чисто сработано, Эвальд. Отчаянный ты парень.

— Теперь уж нет.

— Почему так?

— Чего спрашивать, будто сам не знаешь.

— Нога? Конечно, плохо, что так получилось, по голова у тебя еще цела, а это самое главное.

— Самое главное, что я сам виноват. Кой черт надоумил меня связаться с этой моторизованной колонной?

— Не черт, а твой боевой характер, Эвальд. Трус и эгоист пропустил бы колонну, а ты совсем другого сорта человек. Такие парни никогда не уступают дорогу врагу. Ты что думаешь, я бы иначе поступил?

— Это верно, — нехотя улыбнулся Капейка. — Ну, фрицам моя нога довольно дорого обошлась. Двадцать убитых и нескольким машинам нужен капитальный ремонт.

— Это еще не все. Каждый партизан из твоего батальона взялся уничтожить за тебя не меньше двух фрицев. Посчитай, сколько это получится.

— Ну? — В глазах у Капейки что-то блеснуло. — Каждый по два? Столько и нога не стоит.

— Стоит, потому что это нога героя. А знаешь ты, сколько сейчас стоит гитлеровец? И не какой попало, а, например, комендант города?

— Ну, сколько же стоит такой жук?

— Ровно столько, сколько стоит одна свинья.

— Интересно. А что, приходилось разве покупать?

— Точно. Паул Ванаг недавно в Латгалии купил за свинью коменданта уездного города. Нужны были бланки с печатью, и комендант согласился помочь, если получит борова. Ну, после этого мы решили и впредь пользоваться его услугами. Что куплено — остается навсегда в нашем распоряжении. Он, правда, хотел увильнуть и притворился, будто с нами никаких дел не имел. Но мы его приперли к стенке, теперь он аккуратненько сообщает, когда какой эшелон направляется на фронт. Остается только позаботиться, чтобы в определенном месте под рельсами оказалось достаточно взрывчатки. Всех их можно купить, Эвальд, — некоторых за килограмм сала или масла. Довольно противно прибегать к таким махинациям, но иногда для пользы дела приходится.

Эвальд Капейка развеселился в первый раз после ранения.

— Господина хауптмана со всеми погонями и орденами... Целого коменданта за борова!.. Интересно, сколько же тогда стоит настоящий гебитскомиссар? Если дать корову и кадку масла впридачу — пойдет дело, верно? По правде говоря, за свинью больше свиньи и не дашь. Вот-те и их патриотизм!..

— Какой у грабителей патриотизм, Эвальд! Полный желудок и полный карман — вот мечта бандита. Когда-то они мечтали проглотить Советский Союз...

— А теперь и борову рады!

Ояр рассказал еще несколько забавных случаев из жизни своих партизан и совсем рассмешил Капейку, а потом перешел на серьезные темы.

— Наш Аустринь, наверно, погиб. Как ушел налаживать связь с новой группой, так и не вернулся. Курмита из Саутыней повесили, всю семью расстреляли, а усадьбу сожгли.

— Эх, я бы их, проклятых... — Капейка хотел сесть, но ничего не вышло. Это снова заставило его вспомнить о своей беспомощности.

Тяжело дыша, он ударил кулаком по постели. — Курмита из Саутыней повесили! За это целую сотню их, подлецов, уничтожить — и то мало!

— Они сами это сделали, — и Ояр рассказал, как два батальона СС с минометами и орудиями напали на базу полка и как Мазозолинь натравил их друг на друга. — Несколько сот гитлеровцев похоронили после этого боя. А чтобы скрыть свой позор, штаб карательной экспедиции, наверно, доложил начальству, что со стороны партизан дралось несколько полков. Так они заставят Гитлера поседеть раньше времени.

Капейка опять повеселел.

«С тобой, друг, все в порядке, — думал Ояр. — Если ты можешь смеяться, у тебя хватит жизнеспособности на долгие годы, и ты еще много хорошего сделаешь».

Потом он приступил к основному.

— Теперь ты полетишь в Москву и закончишь лечение в каком-нибудь институте. Прodelай это по возможности скорее, чтобы нам в одно время попасть в Ригу, когда Дрехслер с компанией будет удирать в фатерланд. Как выздоровеешь, шли телеграмму, мы тебя встретим с музыкой.

— Отчего не полететь, — довольно мирно согласился Капейка. — Здесь мне в настоящий момент делать нечего. Целый полк нянек потребуется для одного человека, а кому же тогда воевать?

— Тебе самому там лучше будет. А если услышишь, что латышские партизаны опять удумали славный номер, знай, что и ты был при этом, что это и твоя работа. Мы все кладем в общий котел, а потом делим поровну. А твою долю будем считать до конца войны.

— Хороший ты мужик, Ояр. Жалко вот, не могу больше тебе помогать. Ну, из-за меня хлюпать носами не надо, я сдавать не собираюсь. Вначале, верно, нехорошо на душе было, но теперь все в порядке. Мы еще поживем, Ояр... Кто как, но все-таки поживем, а это много значит. Верно?

...Через несколько дней транспортный самолет приземлился на маленьком лесном аэродроме. Он привез партизанам груз оружия, медикаментов и несколько человек.

Когда серебряная птица поднялась среди ночи в воздух, Эвальд Капейка начал свой первый полет. Сопровождать его послали одного парня из Риги, самого большого шутника в батальоне.

раздражителен — никому не давал рта раскрыть. Глядя на его сдвинутые брови, Данкер думал, что подобные заседания не имеют смысла: все время говорит один, а остальные должны молчать.

Как куклы, сидели в мягких креслах генерал-директор внутренних дел Данкер, инспектор легиона Бангерский (командиром легиона немцы так его и не сделали), генерал-директор просвещения профессор Приман и руководитель «профессиональных организаций» Роде. Каждую минуту кто-нибудь из них вскакивал, когда Дрехслер обращался непосредственно к нему.

— Да, господин генерал-комиссар!

— Так точно, господин доктор.

Вот и все их участие в заседании.

«Как хорошо, что посторонние не видят, как он с нами обращается, — думал профессор Приман, ежеминутно просовывая палец за воротничок, душивший его бычачью шею. — Разговаривает, как с первокурсниками... Совсем не владеет собой...»

Приман даже завидовал тем, кто видел генерал-комиссара только на публичных заседаниях. Там он и вежлив и улыбается — там он воплощенное добродушие. «По всей вероятности, Лозе или Розенберг намылили ему голову, а он на нас отыгрывается».

Так думал Приман, но лицо его выражало кротость, а взгляд следил за каждым движением Дрехслера.

«Что он, будто белены объелся? — сердился про себя Бангерский. — Мы, что ли, придумали Тегеранскую конференцию? Если они решают, не испрашивая соизволения у Гитлера, мы тут ни при чем. Нам тоже не нравятся эти решения, а что поделаешь? Руганью положение не исправишь, нужна сила... А если силы не хватает, тогда помалкивай».

Так они сидели, слушая Дрехслера, и молчали, пока генерал-комиссар не обращался к кому-нибудь из них с вопросом.

— Какое бесстыдство! — кричал Дрехслер. — Утверждать, что Латвия, Эстония и Литва являются советскими республиками!.. И на том лишь основании, что в сороковом году эти народы по своей тупости проголосовали за вступление в Советский Союз! Вообще, какое они имеют право голосовать, если у Великогермании имеются интересы в этой провинции! Фюрер никогда не признает подобных актов, если они противоречат его интересам, а с этим каждый обязан считаться. Советские республики! Что это за советские республики, если в них сегодня находится немецкая армия и установлен немецкий порядок? Добровольно мы отсюда не уйдем, а силой выгнать... пусть только попробуют. Пусть они

попробуют, господа...

Вдруг он умолк, лицо его стало задумчивым и печальным. Не говоря ни слова, генерал-комиссар быстро удалился в свою туалетную — в третий раз за совещание. Присутствующие сделали безразличные лица, потому что обстановка обязывала к деликатности. «У генерал-комиссара желудок не в порядке, — думал каждый про себя. — Хорошо, что туалетная рядом».

Ах, эта туалетная комната — гордость генерал-комиссарского кабинета! Другой такой во всей Риге не найти. Воздвигая Дворец финансов, Экие, как истый слуга Бахуса, позаботился о некоторых удобствах. Ванная с душем, всюду никель и фарфор... У Лозе во Дворце юстиции таких удобств нет.

Причиной несчастья послужили слишком жирные маринованные угри, съеденные генерал-комиссаром в несколько неумеренном количестве. «Не надо было есть так много, — подумал он после того, как в желудке начались неприятные процессы. — Угорь вовсе не интересуется, в чей желудок попал, он везде оказывает свое разрушительное действие».

Возвратись в кабинет, Дрехслер как ни в чем не бывало повторил прерванную тираду:

— Да, пусть попробуют. Нам не страшно. Декларации Тегеранской конференции мы противопоставим единодушный протест латышей. Сегодня в двенадцать часов в Риге, на Домской площади, должен прозвучать голос латышей, а вы, господа, позаботьтесь о том, чтобы этот голос протеста прозвучал достаточно громко. Ни один немец не будет говорить на митинге. Мы будем стоять в стороне и наблюдать за проявлением чувств латышского народа. Что вы сделали, чтобы привлечь побольше участников на этот исторический митинг?

Он умолк и вопросительно посмотрел на «представителей» латышской общественности. Те подбадривали взглядами друг друга. Данкер откашлялся и, поднявшись, обратился к генерал-комиссару:

— Разрешите?

— Пожалуйста, генерал...

— Генерал-дирекция внутренних дел предприняла необходимые меры, чтобы собрать на митинг хотя бы тридцать тысяч. Наши сотрудники оповестили все учреждения, домоуправления, школы, промышленные заведения. При содействии господина Роде о митинге сообщено на все фабрики и заводы, и их администрации предписано вести наблюдение за своевременной явкой рабочих на Домскую площадь. В десять часов — то есть через несколько минут — площадь начнет заполняться. Уже действуют все громкоговорители. Полиция охраняет трибуну, а наши сотрудники

компактными группами разместятся в разных концах площади и постараются, чтобы в соответствующих местах речи звучали аплодисменты и возгласы одобрения. Смею уверить, господин генерал-комиссар, что митинг должен получиться внушительным, эхо его будет услышано во всем мире. Если у вас имеются какие-либо указания, готов их выполнить.

Дрехслер махнул рукой, чтобы Данкер сел, потом повернулся к Роде.

— Господин Роде, в сущности главную роль сегодня играете вы. Вам как представителю общественных организаций и руководителю профессиональных союзов придется говорить от имени рабочих и служащих... Так сказать, представлять голос народа. Вы понимаете, какая на вас возлагается миссия?

— Текст речи согласован с вашим шефом пропаганды, господин доктор, — ответил Роде. — Надеюсь, он познакомил вас с последними изменениями и добавлениями.

— Речь я прочел, — сказал Дрехслер. — Получилось довольно хорошо. Только старайтесь говорить с чувством и страстью о декларации Тегеранской конференции. В вашем голосе должны звучать негодование и священный гнев. Ваш пафос должен взволновать слушателей, когда вы будете говорить о роли Великогермании в освобождении латышского народа от большевиков, о том, как потрудился Адольф Гитлер на благо латышей. Официальные должностные лица сегодня отойдут в тень и будут говорить ровно столько, чтобы народ не подумал, будто мы мыслим иначе.

— Я сознаю все значение своей ответственности, господин доктор, — подтвердил Роде.

— Удостоит ли митинг своим присутствием господин генерал-комиссар? — осведомился Приман. — Было бы весьма желательно.

— Ничуть не желательно, господин Приман. Митинг ведь начнется сам собой. Если я там появлюсь, злые языки скажут, что это инсценировка. Нет, я буду сидеть в своем кабинете и следить по радио за ходом митинга. Мысленно я буду с вами, а физически буду находиться в нескольких шагах от места действия. После того как участники митинга примут резолюцию, вы вместе с представителями общественности и рабочих явитесь ко мне и будете просить, чтобы я передал Адольфу Гитлеру волю латышского народа. Можете быть уверены, что фюрер Великогермании сегодня же вечером прочтет резолюцию митинга и даст должные указания министерствам пропаганды и иностранных дел. Вот тогда послушаем, какую песню запоют большевики и их приверженцы.

Где-то совсем близко раздался мощный взрыв. Задребезжали стекла, стены Дворца финансов вздрогнули. Дрехслер и остальные господа

инстинктивно втянули головы в плечи, со страхом глядя на окна. С улицы доносился звон выбитых стекол, градом сыпались на мостовую камни и обломки дерева, подброшенные вверх взрывом, слышались крики, тревожные свистки полиции и треск мотоциклов.

Дрехслер вскочил с кресла, и лицо его опять приняло то задумчивое выражение, которое приглашенные уже несколько раз наблюдали в это утро. Теперь это выражение сопровождалось какой-то трагической гримасой. Генерал-комиссар сердито нажал кнопку звонка.

В кабинет вошел адъютант.

— Немедленно выясните, что это за взрыв, — сказал Дрехслер. — Пусть Штиглиц позвонит мне. Вы, господа, можете идти. Готовьтесь к митингу.

Через несколько минут адъютант снова появился в кабинете Дрехслера.

— Господин доктор, — взволнованно сказал он. — Взрыв произошел на Домской площади. Возле трибуны взорвалась мина. Есть человеческие жертвы. Преступник еще не задержан. Что прикажете предпринять?

— Разыскать преступника! — крикнул Дрехслер. — Пусть Ланге и Штиглиц не показываются мне на глаза, пока не изловят его!

Бледные, испуганные, стояли в приемной участники совещания. Они вытирали пот и взволнованно шептались:

— Еще немного, и мы бы взлетели на воздух... Если бы мина взорвалась на два часа позже.

— Может быть, там еще есть мины... взорвутся позже?

— Вероятно, весьма вероятно.

— Люди бегут с площади. Ни полиция, ни солдаты не в состоянии их остановить. Как мы соберем теперь эти тридцать тысяч?

Над городом уже сгущались сумерки. Без огней, назойливо позванивая, мчался из центра на окраину трамвай. Роберт Кирсис мог сесть на какой-нибудь остановке, но он нарочно пропустил несколько трамваев и медленно шагал по направлению к Воздушному мосту. У него еще было время, он хотел задержаться, пока совсем стемнеет. Если прийти рано, не будет еще Курмита и Иманта, а лучше, когда такие свидания проходят быстрее.

У Кирсиса не было с собой ничего запрещенного, поэтому он так

спокойно шагал по улице Свободы и равнодушно смотрел на встречных. Но его зоркий изощренный глаз сразу же заметил нечто необычное. Поверхностный наблюдатель, пожалуй, ничего не увидел бы: люди как всегда шли своей дорогой, как всегда разговаривали вполголоса, по временам оглядываясь, не подслушивает ли кто сзади. Но для Роберта Кирсиса многое означали и веселый блеск глаз, и улыбки на лицах латышей, и напряженные физиономии немцев. Дольше и внимательнее смотрел вслед каждому прохожему полицейский. У всех перекрестков, под арками ворот, в темных подъездах, прижавшись к стенам, стояли люди в штатском и незаметно осматривали каждого проходящего мимо человека. Город кишел шпиками, которых Ланге выпустил на улицы после взрыва на Домской площади. Слух о нем уже облетел всю Латвию. В Риге только и разговору было, что о сорванном митинге. С большим трудом немцам удалось согнать на площадь несколько сот человек и заставить их выслушать речи ораторов, но митинг протекал в нервной обстановке, в ожидании нового взрыва. Напрасно «Тевия» и радио соловьем разливались по поводу «грандиозного протеста и единодушного решения участников митинга», — никого они не могли заставить забыть о взрыве. Вот почему Кирсис видел веселый блеск в глазах прохожих, вот почему в подворотнях и темных подъездах маячило столько шпионов. «Теперь они все вверх дном перевернут, — думал Кирсис. — Тридцать тысяч рейхсмарок тому, кто укажет преступников. Это не мелочь, гестапо не зря так сорит деньгами. Но ничего! Хоть и придется на время притихнуть — взрыв того стоит. Гитлеровцам не удалась одна из самых крупных провокаций, их подняли на смех, а неудачи их множат моральные силы народа. Молодец Судмалис, и молодой Банкович — славный парень!»

Кирсис знал, кто положил мину в урну для мусора рядом с трибуной. Это были его ребята, члены рижской комсомольской организации. С тех пор как ею стал руководить Судмалис, оккупанты каждый день получают неприятные сюрпризы. Полиция не успеет счистить со стен домов одни надписи, как появляются новые. Нелегальные листовки попадают на все фабрики и в учреждения, их находят и на улицах и в ящиках для писем. По утрам их подают к завтраку Ланге и Екельну, и каждый раз они изрядно портят им аппетит.

Не доходя до Воздушного моста, Кирсис остановился и подождал трамвая. Он посмотрел на старый домик напротив и вздохнул. Неделю тому назад здесь умерла жена старого Павулана. Недавно отвезли на кладбище Мартына Спаре, — не дождался старик сына с дочерью. Старики Залиты лежат в тифу, а это верная смерть... Сейчас многие умирают, кто с

голоду, кто от болезней. Чаще всего гибнут рабочие, — не выдерживают на голодном пайке.

«Многие ли из нас выдержат до дня освобождения? — пронеслась в мозгу горькая мысль. — Нет, все не умрут, какие бы бедствия ни пришлось испытывать народу. Ведь и ждать теперь недолго осталось... Может, и ты, Роберт? Кто его знает, и не это главное. Главное, что останется народ, что здоровым и несокрушимым останется дух латышского рабочего, — будет кому строить Советскую Латвию».

...Кирсис сошел с трамвая у церкви Креста. Он пересек шоссе Свободы и окольным путем подошел к новому двухэтажному дому. Здесь должна была состояться встреча с Курмитом и Имантом. Уже несколько месяцев Кирсис не заходил к Курмиту в Чиекуркали, а встречался с ним на улице, возле кино или где-нибудь на далекой окраине. Некоторыми конспиративными квартирами пользовались только в крайних случаях, когда нужно было принять связного из провинции или встретиться с товарищами из подполья.

В этой квартире жил один библиотекарь. Через него было довольно удобно держать связь с товарищами: в дни выдачи можно было смело прийти в библиотеку и вместе с возвращаемой книгой передать записочку. Точно таким же способом получали от библиотекаря нужные сведения.

Кирсис пришел на эту квартиру в первый раз. Курмит с Имантом уже ждали его. Хозяин квартиры вышел в кухню и наблюдал в окно за дорогой, еще не ставшей улицей, потому что многие соседние участки были не застроены.

— Какие новости принес? — сразу спросил у Иманта Кирсис.

— Новости плохие, «Дядя». Несколько дней назад наши ребята поймали одного шуцмана. При допросе он рассказал, как взяли в плен Аустриня. Аустринь на обратном пути с задания завернул к своим знакомым. Немцам удалось его там схватить, пока он спал. Ну, после этого допрашивали, страшно грозили и обещали отпустить живым, если он все расскажет. Аустринь разболтал, где мы разместились, какие у нас силы... И про Курмита из Саутыней он рассказал.

— Значит, они могли напасть на наш след, — сказал Кирсис и покачал головой.

— Ояр думает, это не так страшно, потому что Аустринь, кроме Курмита, никого не знал. Шуцман сказал, что Аустриню велели вернуться на базу полка и разузнать про всю сеть связи от леса до Риги. Немцы вернули ему пистолет, вывели из дому и показали, что они сделали с хозяевами. Пока допрашивали Аустриня, остальные жандармы повесили

их. Когда Аустринь увидел это, он ужасно разволновался и выхватил из кармана пистолет. Первым застрелил офицера, потом еще несколько немцев, а потом и сам застрелился.

— Хоть в последний момент совесть заговорила... — сказал Кирсис. — Несчастный трус! Как будто после этого легче умереть. Теперь даже пожалеть его нельзя, а тогда... тогда бы он стал героем. Велика прибыль — убитый офицер и несколько жандармов, когда столько наших погибло! А что еще Ояр велел сообщить?

— Он думает, что теперь надо быть еще осторожнее. Не посылать в лес непроверенных людей. Ояр подозревает, что в вашей организации есть шпион. Может быть, он еще не добрался до центра, а примазался к какой-нибудь группе и дознается, где руководство. Ояр сказал, что вам, «Дядя», нужно на некоторое время переселиться в лес, пока уляжется тревога после взрыва на Домской площади. Может быть, вы пойдете со мной?

— Нет, Имант, на этот раз — нет. Ояр верно рассуждает: нам надо усилить бдительность, сам я должен уйти в глубокое подполье, но не сегодня. Кое-что еще надо уладить. Вот сделаю все, тогда приду к вам. Так и скажи Ояру. Может быть, через неделю приду или чуть попозже, но долго не задержусь.

— Мне кажется, тебе надо послушаться Ояра, — сказал Курмит. — Душно очень становится... Малейший пустяк может погубить. Не откладывай в долгий ящик, «Дядя». Иди, пока можно.

— Понимаю, друг, что пора мне на время исчезнуть со сцены, но не могу оставить организацию в таком положении. По крайней мере связь нужно перестроить, вынести за город. Работа ведь не должна останавливаться.

— Разреши это сделать мне, — не отставал Курмит. — Я оповещу товарищей, отменю ненужные явки.

— Немного позже, Курмит. Если уж я больше двух лет умел маневрировать, как-нибудь удержусь и эти несколько дней.

Так он и решил. Свиданье продолжалось не больше получаса. Они поодиночке вышли из домика и повернули каждый в свою сторону. Курмит — в Чиекуркали, Кирсис — к ближайшей трамвайной остановке, а Имант — на дорогу Сунтажи-Мадона. Он по ней ходил много раз, поэтому знал, как незаметно миновать немецкие контрольные посты.

«Жаль, что „Дядя“ не пошел со мной, — думал Имант, бесшумно шагая в темноте по шоссе, — дорога бы показалась короче. Но он ведь лучше знает, что нужно».

Роберт Кирсис был прав: нельзя было так просто уйти в подполье и бросить организацию на произвол судьбы, не подумав о дальнейшей работе, о связях. Было много мелких нитей, которые держал в руках он один. Если бы он внезапно исчез, не предупредив товарищей, они остались бы, в лучшем случае, без руководства, в худшем случае — могли попасть в лапы гестапо. Надо было предупредить хотя бы ближайших друзей, чтобы они не ходили по старым конспиративным тропинкам, которые могли теперь стать опасными ловушками, не приближались к дому Кирсиса. Главное же, несколько членов организации, за которыми охотились полиция и гестапо, прятались по конспиративным квартирам, ожидая, когда будут изготовлены для них документы. Один был шофер грузовой машины, который прошлой зимой помог вывезти в лес оружие из немецкого склада. Кто-то из служащих гаража выдал его полиции, и спасся он только благодаря счастливой случайности. Другой совершил отчаянно смелую диверсию на фабрике и тоже чуть не попался. Обоим нужно было приготовить паспорта на чужое имя и помочь с выездом в какой-нибудь другой город, а это мог сделать только Кирсис.

Наконец, совершенно невозможно было оставить маленькую типографию на прежнем месте: вокруг уже рыскали ищейки гестапо. Важнейшие нити связи надо было передать в руки Курмиту, чтобы он мог руководить работой.

Всем этим Роберт Кирсис занялся после встречи с Имантом и Курмитом. В течение двух дней он раздобыл паспорта и переправил в безопасные места находящиеся под угрозой ареста товарищей. Успел перенести типографию из одного района в другой, успел сообщить Курмиту некоторые явки и организовать главный пункт связи за городом. По правде говоря, теперь можно было бы и скрыться, но Кирсис находил все новые и новые дела, которые следовало уладить. На четвертый вечер, возвращаясь домой, он вовремя заметил западню, в последний момент избежал ареста. Но теперь стало ясно, что полиция разыскивает именно его — Роберта Кирсиса, — и ни на квартиру, ни на работу больше показываться нельзя. С этого дня ему нужно было другое убежище и другое имя, потому что за служащим управления коммунальных предприятий Робертом Кирсисом охотилось гестапо. Оставался еще один вопрос: охотятся ли за ним как за подозрительной личностью и возможным подпольщиком, или там уже известно, что эта личность и есть «Дядя» —

руководитель большевистского подполья. Но и в том и в другом случае он должен немедленно скрыться.

Еще два последних шага — две маленьких прогулки под самым носом у немцев — и все в порядке. Надо получить документ и подать последний прощальный сигнал Курмиту: я ухожу, действуй теперь ты.

Документ — паспорт на имя Антона Румшевица — он получил на следующее утро в одной переплетной мастерской. С этим паспортом он мог спокойно отправиться в Мадонский уезд, где ему якобы принадлежал небольшой хутор недалеко от Лубанского озера. Из переплетной он вышел черным ходом и очутился на другой улице. Он решил провести день где-нибудь на окраине, а когда на «Вайроге» кончится дневная смена, дожидаться Курмита и, проходя мимо, шепнуть ему, что тот остается один.

Но из этого ничего не вышло. Днем уже, идя по одной окраинной улочке, Роберт Кирсис понял, что он окружен и ни один его шаг не останется незамеченным. Два шпики шли впереди и останавливались на каждом перекрестке, позволяя ему выбрать направление. Еще двое шли немного сзади по другой стороне улицы, а иногда появлялся и пятый шпик.

Неопытный человек так бы и не обратил внимания на этих занятых по виду людей, но Кирсис сразу понял, к чему идет дело.

«Опознан. За мной следят. Если не схватили сейчас, то только потому, что хотят узнать, с кем я встречусь. Думают, приведу их к своим товарищам, и тогда вместе с ними арестуют... Ничего не выйдет, остолопы! Подметки протрете, а ничего не добьетесь».

И он начал водить их по городу. Заметив на тротуаре одного шпика, о котором недавно были предупреждены все члены организации, Кирсис воспользовался этим случаем, чтобы проверить метод работы своих преследователей. Он поздоровался со шпиком и протянул ему руку, потом, сделав вид, что обознался, пробормотал извинение и пошел дальше. Пройдя несколько шагов, остановился у столба с афишами и незаметно оглянулся назад. Незадачливый шпик уже был схвачен, и двое неизвестно откуда вынырнувших полицейских вели его кратчайшим путем в соседний полицейский участок.

«Ясно. На „Вайрог“ идти нельзя. С Курмитом даже мимоходом не удастся заговорить, его тут же схватят. Последний сигнал надо дать другим способом. Но как?»

Времени на размышления у него было достаточно. Медленно, как на прогулке, шагал Кирсис по центральным улицам, где подпольщики не имеют обыкновения встречаться. Он подолгу рассматривал рекламы возле каждого кино, будто не мог решиться, какой фильм посмотреть. Подолгу

изучал афиши, на которых стояли незнакомые имена немецких певцов. Так он очутился в районе бульваров, и этот путь привел его к чистильщику сапог. Они не узнали друг друга и даже не поздоровались. Чистильщик — мужчина средних лет — сейчас же схватился за щетки и банки с мазью, подвернул Кирсису брюки и стер грязь с ботинок.

— Скажи Ансису, что «Дядя» ушел, — шепнул Кирсис.

— Понятно, — ответил тихо чистильщик, даже не посмотрев на Кирсиса.

Через несколько минут Кирсис заплатил ему по таксе и ушел. На его место сел другой клиент, и чистильщик с той же ловкостью принялся за дело.

Кирсис продолжал ходить по городу. Ему было ясно, что только счастливый случай может спасти его от ареста. Он почти схвачен — в тот момент, когда агенты гестапо найдут это необходимым, его арестуют хоть посреди улицы. Пока еще они надеются что-нибудь выведать. Нельзя лишать их этой надежды, надо оттягивать развязку до вечера. Кирсис купил в киоске газету и, сев на скамейку бульвара, долго читал ее. И пять молодых людей вынуждены были все это время мерзнуть на других скамейках, на некотором расстоянии от Кирсиса, — только один сел прямо напротив, по другую сторону аллеи, и так же, как Кирсис, утомлял свое зрение, всматриваясь в газетные строчки.

«Настал твой конец, Роберт, — думал Кирсис. — От этих не уйдешь. Единственная возможность вырваться из их когтей — это броситься под трамвай или пойти на Понтонный мост и на глазах у этих хлюстов броситься в Даугаву. Но ты этого не сделаешь, нет. Это уже будет капитуляцией. Надо бороться до последней возможности. Может быть, они вовсе не так много знают про тебя. Может быть, бросят в тюрьму или Саласпилский лагерь, будут держать как ненадежного вместе с такими, против кого нет никаких улик. Не исключена возможность, что тебя не опознают, и через некоторое время ты... Если из ста возможностей только одна в твою пользу, и то не стоит бросаться под трамвай или прыгать в Даугаву. Надо бороться до конца».

Дальше сидеть на скамейке не имело смысла. Кирсис посмотрел на часы, разочарованно покачал головой и встал. Через четверть часа он вошел в большую парикмахерскую и стал терпеливо ждать своей очереди. Один из преследователей вошел вслед за ним и тоже стал ждать.

— Побрить или постричь? — спросил парикмахер, когда Кирсис сел в кресло.

— И то и другое. Уберите, как жениха к свадьбе.

— Есть такое дело, — сказал парикмахер.

Через сорок минут, выбритый и остриженный, надушенный и на помаженный, Кирсис вышел из парикмахерской. «Если возьмут сегодня, пусть берут в человеческом виде. В тюрьме успеет отрасти большая борода».

Дальнейший план Кирсиса был таков: сесть на трамвай, идущий в Межа-парк, и ехать до самого конца. У Зоологического сада сойти и проверить, хватит ли храбрости у преследователей войти за ним в лес. Шпики Фридрихсона обычно боялись заходить в чащу. Если и эти такие — остается один шанс на спасение.

Когда Кирсис сошел с трамвая в Межа-парке, было уже темно. Он не сразу пошел к опушке, а некоторое время шагал по Лесному проспекту в сторону Саркандаугавы. В тот момент, когда он хотел перейти улицу и исчезнуть в лесу, два типа опередили его и загородили дорогу.

— Пойдите, мы должны проверить ваши документы.

В следующий момент сзади двое схватили Кирсиса за руки и вывернули их, чтобы он не мог сопротивляться.

— Что это значит? — удивленно спросил Кирсис.

— Вы арестованы.

6

В ту же ночь его стали допрашивать. Дело это начальник политической полиции Ланге поручил хауптштурмфюреру Освальду Ланке. Ему помогали проверенный помощник оберштурмфюрер Кристап Понте и еще один сотрудник помельче, чьи обязанности ограничивались несколькими простейшими операциями, которыми не могли заниматься Ланка и Понте, так как это требовало физических усилий.

Первый допрос...

Роберту Кирсису не было известно, знают ли его противники, кто он в действительности — Антон Румшевиц, Роберт Кирсис или сам «Дядя», — но ему во что бы то ни стало надо было это узнать. Если немцы не знают, кто он, тогда стоит придумывать правдоподобные легенды и пуститься в разговоры. Если же они знают, что арестованный — сам «Дядя» и его настоящее имя Роберт Кирсис, то ничего уже спасти нельзя, и тогда самое правильное — полное молчание. Иначе каждое лишнее слово только продлит ему мучения, потому что противники могут подумать, что за первым словом последует второе и третье, и постараются добиться от него

как можно больше. «Если будешь молчать, будешь терпеть один, — думал Кирсис, — а если начнешь говорить, пострадают и товарищи. Что можно говорить и чего нельзя, что пригодится немцам, а что — нет, ты не знаешь. Самый невинный факт может оказаться роковым, если он является единственным недостающим звеном в цепи фактов. И чем меньше ты будешь говорить, тем больше выболтают противники. Только будь готов к тому, что они в любой момент попробуют удивить тебя самой неожиданной выходкой. Каждый вопрос, каждое произносимое ими слово надо выслушивать с полным хладнокровием».

С такими мыслями, готовый на самые страшные муки, предстал перед допрашивающими Роберт Кирсис. В качестве деревенского жителя Антона Румшевица, который нечаянно и не по своей вине попал в беду, он всем своим видом выражал полный недоумения вопрос: как я попал сюда? Он сел на стул, когда ему предложили сделать это, и простодушно посмотрел на Ланку.

— Господин, никак я не пойму, что же это такое... Мне нынче вечером надо сесть в поезд и ехать домой, а теперь, видать, придется еще одну ночь провести в Риге.

— Видать, придется, — ответил Ланка, передразнивая его простонародный выговор. — Я вижу, вы очень торопитесь, вот и мы тоже поторопимся скорее выяснить это недоразумение.

Он с нажимом произнес последнее слово и язвительно улыбнулся. Вдруг выражение его лица изменилось, и он сухо спросил:

— Как вас звать? Имя, фамилия, отчество...

— Румшевиц, Антон, сын Микеля, — спокойно ответил Кирсис. Их взгляды встретились — один наивно-вопросительный, другой — напряженный от еле сдерживаемой злобы и насмешки.

— Румшевиц? — удивился Ланка. — И давно?

— Как давно? — удивился в ответ Кирсис. — Имя человек получает, когда рождается, и носит его всю жизнь.

— Не валяй дурака, Роберт! — вдруг раздался за его спиной чей-то голос. Но он был готов и к этой ловушке и, даже не обернувшись, продолжал смотреть на Ланку.

— Вспомни, как мы вместе проверяли электрические счетчики... — продолжал тот же голос.

— Почему вы ему не отвечаете? — спросил Ланка.

— Разве это он со мной? — Кирсис, казалось, совсем растерялся.

— Конечно, с вами, господин Роберт Кирсис, — ответил Ланка. — И почему вы не хотите с ним поздороваться? Должен же «Дядя» узнать

одного из многих своих племянников.

— У меня нет никаких племянников, — сказал Кирсис и стал спокойнее. Теперь ему было ясно, что его противники знают все. Вместе с тем он узнал, что его ожидает... Больше не оставалось никаких иллюзий. Единственное, что еще интересовало его, это — кто предатель, кто узнал, что он «Дядя», и сообщил об этом гестапо.

Медленно он повернул голову, посмотрел сбоку на Понте. Этого человека он видел впервые. Так же медленно отвернулся от него и снова стал смотреть на Ланку. Кирсис молчал. Ждал, чтобы тот заговорил первым.

— Ну что? — улыбнулся Ланка. — Кончим с этой игрой? Или начнем опять сначала? Как вас звать?

— Антон, сын Микеля Румшевица. Родился в тысяча девятьсот...

— К черту эти сказки! — заорал Ланка и вскочил со стула. — Или вы идиот, или нас принимаете за идиотов. Вы ведь видите, что мы все знаем, от начала до конца. Не только ваше имя и фамилию, но всю вашу биографию до самых мельчайших подробностей. Если хотите, мы можем вам сказать, когда вы начали действовать под именем «Дядя», когда стали руководить подпольной организацией и что вы делали вчера, позавчера, месяц и год тому назад. Мы знаем все. Ничего нового рассказать вы не можете, но нам надо оформить протокол допроса. Не тяните напрасно. Мне хочется спать.

— Не понимаю, за кого вы меня принимаете, — сказал Кирсис. — Здесь какое-то недоразумение. И кто это наговорил вам таких глупостей, будто я совсем не Румшевиц? Еще что вы желаете узнать?

— О вашей работе — все, — ответил Ланка. — Кто ваши ближайшие соумышленники? Кто основал вашу организацию? Кто будет ею руководить после вашего ареста? Кто взорвал трибуну на Домской площади? Рассказывайте все, что знаете, и не изображайте дурачка.

— Я ничего не знаю. Вы меня и правда дурачком сделаете. Организация... трибуна... соумышленники... как тут разобраться?

Он знал, что запирательство делу не поможет, но надеялся, что допрашивающие в запальчивости откроют какую-нибудь карту — начнут говорить сами и невольно покажут, насколько они осведомлены. Только из-за одного этого следует продолжать игру. Может быть, у них вырвется какое-нибудь слово, которое поможет ему определить, кто же предатель. Даже в тюрьме не мешает это знать, — а там найдется и способ, как подать весточку товарищам и предупредить о негодяе.

— Вам все-таки придется поумнеть, — продолжал Ланка. — Коротко и

ясно: или вы будете говорить, или мы поможем вам развязать язык.

— Ничего я не знаю.

— Ну, хорошо... Если вам так хочется... — Ланка кивнул головой.

Тяжелый удар сбил Кирсиса с ног. Его били плетью, топтали ногами, обрабатывали кулаками. Затем приказали подняться и отвечать на вопросы, но Кирсис только мотал головой.

— Не понимаю, чего вам от меня надо... Что вы со мной делаете? Я простой человек, приехал из деревни, а вы...

Моральный поединок продолжался. Кирсиса снова били, его забрасывали вопросами, но дело вперед не подвигалось. Наконец, разъяренному Ланке надоело это, и он приказал увести арестованного в камеру. Кирсис чувствовал нестерпимую боль во всем теле, двигался он с большим трудом, но теперь ему было ясно, что его враги больше ничего не знают о прочих членах организации. Иначе они бы назвали хоть одного из тех, кто уже сидел в тюрьме, или из тех, кого они могли арестовать вместе с ним. «Копаются, нащупывают, а сами определенного ничего не знают, кроме того, что я „Дядя“. Но теперь больше не надо отрицать это. Да, я Роберт Кирсис, и я „Дядя“. Все неприятности, которые немцы испытали в Риге, — моя работа, я все это беру на себя, и оставьте меня в покое, идите к черту! Склад оружия очистил я, трибуну взорвал я... все, все сделал я — Роберт Кирсис. Вот я стою перед вами. Что вы можете со мной сделать? Пытать, убить? Пожалуйста, вот я, мне не страшно! А еще что? И это все? Да, это действительно все, но я плюю на это. Тело вы можете убить, но душе коммуниста вы ничего сделать не можете. Она сильнее всех пыток, сильнее вашей ненависти и кровожадности. Моего имени вы будете бояться даже тогда, когда меня больше не будет. И вы проиграете борьбу, а победителем буду я — сын великой коммунистической партии. Ибо моя партия бессмертна, а вместе с нею и я, Роберт Кирсис из Риги».

Так думал он всю ночь напролет. И так сказал он на следующем допросе, в котором участвовал сам Ланге. Услышав эти слова, его противники побледнели от злобы и хотели снова пытать его, но он удержал их властным жестом, в котором была такая сила внушения, что они на некоторое время поддались ей.

— Если хотите еще узнать от меня что-то, то слушайте. Слушайте внимательно, ибо это последние слова, которые я скажу.

И все слушали — сначала с любопытством, заметно заинтересованные, а затем краснея за свое бессилие.

— Каждому из вас приходилось бывать в театре, — начал Кирсис. — И каждый, наверно, заметил, что одну пьесу можно с интересом смотреть

до самого конца, а другая вызывает скуку с самого начала. Отчего это? Оттого, что есть хорошие и плохие пьесы. О хороших я говорить не буду, а про плохие можно сказать, что это те пьесы, в начале которых зритель сразу догадывается, чем кончится последнее действие. Зрителем вот такой скверной постановки вы сделали и меня. Еще когда вы задали мне первый вопрос, я уже знал, чем кончится вся эта игра. Результат может быть только один — моя смерть. Так какого черта я буду смотреть на эту игру до конца да еще исполнять какую-то навязанную мне роль? Чтобы удовлетворить ваше любопытство? И не подумаю. Поэтому я заявляю: Роберт Кирсис, коммунист до мозга костей, в дальнейшем не желает вести с вами никаких разговоров. Разыгрывайте вашу подлую инсценировку до конца без моего участия. С этого момента я не скажу больше ни слова и не отвечу ни на один вопрос. Вот и все, что я хотел вам сказать, гитлеровские мерзавцы. Точка.

Теперь они могли делать с ним, что хотели, — Роберт Кирсис не сказал больше ни слова. Стиснув зубы, теряя по временам сознание от чудовищной боли, он мужественно, без стога терпел пытку. Как настоящий сын своей партии, мужественно взшел он в темную, ненастную ночь на эшафот, поставленный посреди тюремного двора, и в корпусах многие товарищи слышали его гордый, полный любви и веры возглас:

— Слава партии! Слава советскому народу!

Так умер Роберт Кирсис — борец и герой, сильный простой человек. Весть о его смерти облетела всю Латвию. И всюду, где люди узнавали об этом, они на мгновение оставляли свои дела, вызывая в памяти благородный, озаренный вечной славой образ Кирсиса.

А в Риге продолжалась начатая Робертом Кирсисом и на время прерванная работа. Продолжалась великая борьба. Все новые и новые удары напоминали захватчикам, что не бывать им хозяевами Латвии.

После ареста «Дяди» жена Курмита уехала в Видземе и нанялась батрачкой в большую кулацкую усадьбу, а сам он оставил работу на «Вайроге» и окончательно ушел в подполье.

Глава восьмая

Стрекоца, перелетела через поле сорока — вороватая, жадная птица;

почуяв издали запах крови, не могла усидеть в роце и спешила на запад, в сторону фронта. Тень птицы скользила по белому блестящему насту.

Солнце медленно спускалось к горизонту. Долгим казался этот день Аугусту Закису, как улитка ползло время. Каждые полчаса поглядывал он на часы и досадливо щурился на холодное зимнее солнце: «Когда ты, наконец, закатишься, старая дева? Кокетничаешь, прихорашиваешься, а согреть не можешь...»

Неделю назад он вернулся с курсов «Выстрел», и его сразу назначили командиром батальона. Он отказался от двухнедельного отпуска, который полагался ему после окончания курсов, и поспешил обратно в дивизию, к своим товарищам. Здесь он чувствовал себя как дома и ждал только, когда ему снова разрешат повести в бой своих людей.

Товарищи до сих пор избегали упоминать при нем имя Лидии. Даже Ауэра. Она видела, что не прошло, не забылось его великое горе. Только он спрятал его от других. «Нехорошо, что он стал такой серьезный», — думала она, с тревогой наблюдая упрямое, жесткое выражение, появившееся на лице брата за последний год.

После нескольких месяцев пребывания в резерве фронта части латышской дивизии снова двинулись к переднему краю. Закипела работа в штабах. Командиры отправились на рекогносцировку местности.

— Скоро должно начаться, — решили между собой гвардейцы. — Теперь это последний нажим, а там и Латвия! Если нанесем хороший удар, то к весне будем дома.

Аугуст Закис не успел еще как следует принять батальон, как подполковник Соколов созвал в штаб полка всех командиров и развернул перед ними подробную карту их участка.

— А ну-ка, подумаем, товарищи, как лучше справиться с этим делом.

Перед дивизией была поставлена сложная, но интересная задача. В оперативный план была вложена свежая творческая мысль, хотя она до многих дошла только позже, когда по всему фронту стало известно о рейде подполковника Рейнберга.

Неприятель не должен был заметить, в каком направлении происходит перегруппировка наших сил, поэтому перемещение на исходные позиции происходило ночью. В темноте, по занесенным снегом дорогам ускоренным маршем спешили гвардейцы на север. Здесь уже не было больших лесных массивов, одни мелкие рожицы, и с наступлением рассвета в них должны были разместиться несколько пехотных полков. Батальон Аугуста Закиса достиг своей рожи до восхода солнца. Сжавшись, как сельди в бочке, стрелки просидели там весь день и, хотя было довольно

холодно, костров не разводили, чтобы не выдать врагу своего присутствия.

Все было построено на внезапности, неожиданности... и кое на чем ином. Но об этом знали только немногие старшие командиры. Надо было сделать все, чтобы замысел удался, а если он удастся, об этом будут долго говорить свои и долго будут помнить немцы.

Вот почему Аугусту Закису в тот день казалось, что время ползет как улитка. Но долгие часы напряженного ожидания — это тоже была борьба. Яростная битва — без единого выстрела, без единого возгласа — началась еще вчера, когда они в сумерках оставили свое прежнее расположение.

Обедал Аугуст вместе с Аустрой и Петером Спаре, так как от штаба его батальона до третьей роты батальона Жубура было не больше двухсот шагов. Молча они открыли консервные банки и выковыривали ножами кусочки мерзлого мяса.

— Завтра мы будем еще на один шаг ближе к Латвии, — сказала Аустра.

«И еще на шаг дальше от Лидии...» — подумал Аугуст и невольно посмотрел на северо-восток, как будто там, за озерами и болотами, увидел ту, с которой никогда не расставался в мыслях. Меж елей завывал ветер, осыпая наземь снежную пыль. Везде звучали приглушенные людские голоса. Аугуст Закис долго глядел на сестру, на Петера, на стрелков. «Будем ли мы в другой раз сидеть так вместе? Может быть, это последний вечер... а потом останутся одни воспоминания».

О том же подумал он, когда к ним подошел Андрей Силениек. Виски у него запорошило снегом, и он казался седым.

— Скучно ждать?

— Так точно, товарищ гвардии подполковник, — ответил, вставая, Аугуст.

— Теперь вы покажете, так ли хорошо обучают на этих курсах, как все уверяют, — пошутил Силениек. — Командир полка говорит, что это будет самый настоящий выпускной экзамен.

— Понимаю. Постараюсь выдержать.

— Ты выдержишь. В тебе никто не сомневается. Главное — всем надо выдержать.

Побыв немного в батальоне и поговорив со стрелками, Андрей Силениек ушел в штаб полка, который расположился в другой роще.

«Счастливым человек, — подумал Аугуст Закис, провожая его взглядом. — Все его любят».

Солнце садилось, на западном крае неба все полыхало, как в жерле гигантской печи.

— Быть метели, — говорили бойцы.

Фронт в этом месте сохранял стабильность целых девять месяцев. Отдельные стычки, действия разведчиков, прощупывание противника небольшими местного характера ударами — больше ничего за это время здесь не происходило. Отсюда линия фронта, извиваясь, тянулась на северо-восток, вплоть до городка Холм на Ловати, образуя на карте широкий длинный язык. Каждый укол в его основание обязательно заставил бы немцев втянуть этот язык; возможно, именно поэтому командование выбрало это место для удара Гвардейской латышской дивизии.

Проведя все лето в непрерывной боевой подготовке и серьезной тренировке, стрелки впервые после долгого перерыва в ночь на 13 января 1944 года вступили в бой.

Незадолго до полуночи батальон Аугуста Закиса занял исходные позиции. Было известно, что в наступлении будут участвовать все полки дивизии: решающего успеха надо было достигнуть в этом первом ночном бою, до рассвета. Внезапность, быстрота и натиск, непрерывное движение на запад — через железнодорожную линию и большак Новосокольники — Новоржев, до вереницы высот, до уцелевших сел и синих лесов, манивших взгляды стрелков.

Наступление началось сразу после полуночи. Сквозь проделанные саперами проходы в проволочных заграждениях и минных полях гвардейцы ринулись вперед. Короткий яростный бой — и снова быстрый бросок вглубь обороны противника. Движение вперед было настолько стремительным, что немцы не успели даже связаться со своими штабами, — вся связь была нарушена, и в линии фронта образовался глубокий прорыв. Некоторые наши части уже были недалеко от железнодорожной линии.

Командный пункт полка находился в небольшой роще — в трехстах метрах от переднего края. То была маленькая землянка, вырытая на восточном склоне пригорка. Саперы устроили ее накануне на скорую руку. Вход был завешен палаткой. Потолочный настил был так тонок, что предохранял самое большее от осколков мин.

В тесном помещении, слабо освещенном карманным фонариком, сидели командир полка Соколов, Андрей Силениек и телефонист.

Начальник штаба находился в другой землянке. Все были в полушубках и ушанках. В короткие промежутки, когда замолкал телефонный аппарат, телефонист, пожилой сержант с худым, словно закопченным лицом, хлопал руками по бокам и грел дыханием пальцы.

То Соколов, то Силениек брали трубку и говорили с командирами батальонов.

— Что, жарко? — кричал в трубку Соколов. — Не думайте, что вам одним. Проверьте фланги, чтобы не оторваться от соседей. Ваш правый сосед уже приближается к железнодорожной насыпи. Ни в коем случае не отставайте от него. Через пятнадцать минут доложите обстановку.

Положив трубку, Соколов обернулся к Силениеку. Лицо у него было серьезное, даже хмурое, но по беспокойному блеску его глаз Андрей видел, что командир полка доволен тем, что происходит там, снаружи.

— Второй батальон, кажется, уже осуществил прорыв первой линии неприятеля, — сказал Соколов. — Молодец этот капитан Закис. Только все еще горячится. Но сегодня мы не имеем права путать...

— Закис не напутает.

— Я тоже так думаю, но сегодня ночью одной надежды недостаточно. Должна быть полная уверенность. Сейчас надо ввести в прорыв батальон Жубура и развить достигнутый успех. Андрей Петрович, придется мне сходить туда, надо самому посмотреть, как они управляют. Если позвонит генерал, доложи ему обстановку и скажи, что я...

— Почему ты? Ведь тебе сейчас нельзя выпускать из рук управление боем. В батальоны пойду я. Задача настолько ясна, что даже я ничего не напутаю.

У них не было ни времени, ни расположения вести вежливые препирательства. Дело ведь было не в том, чтобы выказать перед другим свое мужество — они достаточно хорошо знали друг друга, да Соколов и сам понимал, что целесообразнее пойти к месту прорыва Силениеку. Обоим батальонам было нужно скорее моральное подкрепление, а кто мог подбодрить людей лучше Андрея?

— Хорошо, — сказал Соколов. — Ты так ты. Если произойдет что-нибудь непредвиденное, — сообщи.

Они кивнули друг другу, что означало одновременно и согласие и прощание. После этого Соколов снова схватился за телефонную трубку, а Андрей вылез из землянки.

Холодный ветер ударил ему в лицо. В просветах между облаками мерцали звезды; таким странным казалось их мирное безмятежное сияние, когда внизу все кипело и грохотало. Метрах в ста к северу от командного

пункта что-то полыхнуло, и осколки, разрывая воздух, со свистом пронеслись в темноте. Силениек инстинктивно пригнулся и, когда глаза его снова привыкли к темноте, зашагал быстрыми, широкими шагами по проторенной связистами тропе. Дорогу он знал хорошо — надо было только держаться вдоль линии связи.

На полдороге он встретил бойца, проверявшего линию. Узнав Силениека, тот приостановился и, давая дорогу, шагнул с тропинки в снег.

— Ну, как там?

— Обойдутся, товарищ гвардии подполковник, — вполголоса ответил боец. — Было жарко, а сейчас фрицы как-то притихли. Наверно, опешили, не знают, с какой стороны ждать нового удара. Товарищ гвардии подполковник...

— Что такое?

— Если вы к капитану Закису, то вон от того куста надо будет немножко проползти. С железнодорожной насыпи иногда обстреливают пулеметами. Мне вот ушанку изодрало.

— Ладно, друг, — сказал Андрей и пошел дальше. Боец еще немного посмотрел ему вслед и, только когда Силениек, дойдя до кустарника, пригнулся и, касаясь пальцами снега, перебежал открытое место, он вернулся на тропу и продолжал свой путь.

«Все-таки не пополз, — подумал боец и улыбнулся. — Не хочется перед немцем... А нам за это достается. Эх, все мы на одну колодку!»

Капитана Закиса Андрей нашел в воронке, оставшейся еще от прежних боев; осенью ее до половины залило водой, которая теперь превратилась в сплошной лед. Опустившись на одно колено, Аугуст во всю мочь кричал в телефонную трубку:

— Так точно, уже подвинулись и разворачиваемся. Мое хозяйство приняло двести метров влево. Ясно... Ясно... не отстанем. Нет, еще не прибыл. — Заметив Силениека, он быстро добавил: — Простите, только что пришел. Разрешите выполнять?

Когда Аугуст кончил говорить по телефону, Силениек присел рядом с ним на корточки.

— Первый этап, товарищ гвардии подполковник, прошел удачно. Прорыв шириной метров в триста. В глубину тоже не меньше. Жубур со своими уже занял вправо от меня пустой участок. В следующую атаку надо бы перевалить через железную дорогу. Можем начать хоть сейчас. Взгляните, товарищ гвардии подполковник, — вон те темные бугры... Это железобетонные укрепления. Немцы, по всей вероятности, слишком на них понадеялись, но мы их заставили замолчать в несколько минут. Поэтому

впереди так пусто. Видимо, растерялись.

— Настроение бойцов как?

— Великолепное, товарищ гвардии подполковник. Когда перевалим через железную дорогу, тогда увидите, что здесь начнется. Несколько рот обоих батальонов будут продолжать фронтальную атаку, а Жубур со своими остальными ротами и я со своими начнем обходный маневр — он на север, а я на юг. Все фрицы, которые не успеют удрать, останутся в окружении. Для полка откроется свободный путь до самых высот за шоссе. Командир полка сможет перенести свой командный пункт к железнодорожной насыпи.

Андрея заставила улыбнуться эта пылкая уверенность и живость тактического воображения, далеко опережавшего события.

— Задумано хорошо, Аугуст. Но сначала постараемся достичь железной дороги.

Неподалеку от воронки разом упало с дюжину мин. Силениек вместе с Аугустом — то ползком, то пригнувшись и бегом — обошли все роты второго батальона. Не доходя до места стыка обоих батальонов, Андрей увидел Петера Спаре.

— Опять воюем, Петер?

— Воюем, Андрей, — негромко отозвался Петер. — Скажи, зачем ты лезешь в такие места? Или думаешь, мы собираемся только себе приписать эту победу?

— Победу, Петер, хочется видеть своими глазами.

Аугуст Закис за несколько минут до этого послал связного сказать Жубуру, что Силениек здесь, и Жубур уже подждал их у стыка батальонов.

— Ну, так чего еще ждешь? — спросил Силениек.

Жубур махнул рукой в сторону железнодорожной насыпи. В воздухе одновременно зажглись три ракеты, и поле перед насыпью осветилось неестественным красноватым светом.

— Вон под тем мостиком немцы устроили железобетонное укрепление, — сказал Жубур. — Я послал одно отделение под командой сержанта, чтобы их там уняли. Сейчас дадут сигнал. Тогда можно будет атаковать в полный рост. Думаю, так мы сбережем и время, да и людей.

— Да, людей... О людях, Жубур, постоянно надо думать, — сказал Силениек, всматриваясь в мостик.

— Товарищ подполковник, разрешите идти, — сказал Аугуст. — Когда батальон пойдет в атаку, мне надо быть со своими ребятами.

— Да, друг, ступай. — Силениек кивнул головой.

Низко пригибаясь, Аугуст Закис побежал к своему участку.

В том месте, где был мостик, раздались один за другим несколько взрывов ручных гранат. Затем там все утихло и погрузилось в тьму. Где-то метрах в двухстах правее падали мины, а над насыпью опять зажглись ракеты. Теперь при свете их можно было видеть сотни белых фигур; зажав в руках винтовки и автоматы, они перебежали поле. Вначале их ничто не задерживало. Минометы двух наступающих батальонов сконцентрировали огонь на самой насыпи и на прилегающей к ней полосе по ту сторону ее. Когда атакующие подошли к насыпи, заговорило несколько немецких автоматов и винтовок.

— Довольно жидкие у них здесь силы, — сказал Жубур.

— Не ждали, что с этой стороны ударят.

Они сидели, согнувшись, в канаве, где был устроен командный пункт Жубура, и при свете ракет наблюдали за ходом боя.

Телефонист подал Жубуру трубку:

— Командир полка.

— Дай я поговорю... — Андрей придвинулся ближе к аппарату. — Нева первый? Нева второй слушает. Все в порядке. Бой идет за самую насыпь. Соппротивление не ахти какое... Нет, не надо. Если не справимся, сам попрошу огонька. Через четверть часа сможешь перенести свой командный пункт сюда. Если хочешь, пошлю к тебе связного. Как только насыпь будет в наших руках, сообщим.

Передав трубку телефонисту, Силениек сказал Жубуру:

— Старик предлагает помочь артиллерией. Я думаю, пока не стоит. Пусть подождут, когда начнут немецкие батареи...

— Да, так вернее, — согласился Жубур.

Шум боя доносился уже с той стороны насыпи.

— Кажется, мне пора, Андрей, подвинуться вперед. Там, под мостиком, будет отличный командный пункт для старика.

— Действуй, Жубур, ты здесь хозяин. Я пойду погляжу, что делается за насыпью.

— Тогда уж разреши проводить.

— Хорошо, пойдем.

Отдав своему начальнику штаба распоряжение о перемещении командного пункта, Жубур вместе с Силениеком направился через поле к насыпи. Дорогой им стали попадаться раненые, возле которых суетились санитары.

— В какой еще санбат? — спорил один сержант с санитаром. — Перевязывай скорее, чтобы кровь не шла. Мне скорей надо к своему взводу бежать, а то что ребята подумают...

— Пусть думают, что хотят, а ты больше не вояка, — сердился санитар. — Шутка ли, ладонь.

— Ну, не ной, не ной, бог подаст, лучше перевязывай проворней, — огрызнулся сержант.

Они обменялись еще несколькими едкими замечаниями. Силениек прислушивался к этому своеобразному спору и улыбался про себя: «Попробуй победить их!..»

— Ложись, Андрей! — услышал он тревожный крик Жубура. В следующую минуту в воздухе что-то заревело, совсем рядом раздался взрыв, и ужасный удар свалил наземь Силениека. Он почувствовал боль в верхней части живота. Она заполнила все тело, больше ничего не было, кроме этой боли, а потом все заслонила глубокая черная тьма. Взрывы продолжались. То ближе, то дальше в воздух взбрасывало комья мерзлой земли, и они снова градом падали на землю. Белое поле на глазах стало пестрым.

С большим запозданием немецкая артиллерия стала посылать с высот снаряд за снарядом, не подозревая, что бой уже перекинулся на запад от железнодорожной линии.

Когда Силениек очнулся, первое, что он почувствовал, была невыносимая тяжесть и слабость во всем теле: ему показалось, что на него навалилась каменная глыба и прижимает его к земле. Он дышал часто, неглубоко, и каждый вздох отзывался такой острой мучительной болью в груди и животе, что кружилась голова.

Постепенно глаза его различили в темноте маленький люк, через который в подвальное помещение проникал снаружи прохладный воздух и слабый сероватый свет. Помещение было тесное; на земляном полу, застланном плащ-палаткой, лежали под шинелями шесть человек. Двое стояли у примитивной лесенки и разговаривали.

— Скоро будет подвода, — сказала девушка, наверно санинструктор. — Но подполковника нельзя эвакуировать.

— Нельзя, — повторил мужчина. По голосу и по очертаниям фигуры Силениек узнал полкового врача Лукьянова. — Нет смысла мучить его. Больше часа едва ли проживет.

Лукьянов обернулся в сторону Силениека и встретил взгляд необычайно блестящих глаз раненого.

— Вы проснулись, — удивленно заговорил врач и подошел к Силениеку. — Это хороший признак. В вашем положении...

— Где я? Как там? — шептал Силениек. Ему казалось странным, что голос его совсем не звучит. — Шоссе... занято?

Лукьянов оглянулся на санинструктора, точно звал ее на помощь.

— Наши продвигаются, товарищ подполковник, — ответила девушка. — Немцы отходят к высотам. Эту деревню, где мы сейчас, тоже нынешней ночью освободили.

— Хорошо... Победа... наши идут вперед. Взяли... мои документы?

— Н-нет, товарищ гвардии подполковник, — пробормотал врач. — Это когда эвакуируют, берут.

— Конечно... Не надо эвакуировать. Я хочу умереть здесь.

Снаружи раздались людские голоса и ржанье лошадей.

— Сказали, что в третьих развалинах по правой стороне, — крикнул кто-то. — Должно быть, здесь.

Пятерых раненых вынесли из погреба и отправили в тыл. Шестой уже умер, его оставили здесь. Из открытого люка дуло, ветер время от времени швырял в подвал горсть рыхлого снега. Готовая угаснуть звезда глядела в глаза Силениека. Он смотрел на звезду и думал:

«Жаль... и не того, что это смерть, а что так мало успел за свою жизнь. Без тебя придут в Латвию... много будет работы. Товарищи сделают... Какое спокойное было море в ту ночь... Тепло, душно... даже не все птицы замолкли. Нет, за прожитое не стыдно. Была красота... была великая борьба и мечтанья... И ты работал, чтобы мечты сбылись... Но на севере нет ничего прекраснее распускающейся березы... Хорошо, что стреляют... наши. Почему так жарко? Наверно, печь затопили? Это ты, Жубур? Почему ты не идешь? Мостик взорвали...»

Звезда погасла, предрассветное небо глядело в подвал. Тишина. Навсегда утихла жгучая боль в груди Андрея Силениека. Сын великой партии окончил свой мужественный труд.

В этом бою Гвардейской латышской дивизии впервые довелось иметь дело с немецкими железобетонными укреплениями. За девять месяцев гитлеровцы построили фортификационную систему длительной обороны, используя для этого естественные преимущества местности, в расчете на то, что в этом районе рано или поздно придется выдерживать удары Красной Армии.

Район боев, где действовали наши части, напоминал дно огромного котла; немцы находились на высотах, по краям его, откуда легко можно было обозревать всю котловину и держать ее под артиллерийским и

минометным огнем.

Но естественные преимущества местности не сыграли большой роли, потому что наступление началось ночью и до утра уже были достигнуты решающие успехи. Наши части прорвались до насыпи железнодорожной линии Новосокольники — Дно и весь день продолжали бой за шоссе Новосокольники — Бежаницы, которое тянулось западнее железной дороги.

В девять часов утра наши части, которые еще вели бой у железнодорожной линии, внезапно услышали перестрелку в тылу врага. Бойцы переглядывались в недоумении, командиры смотрели на карты, но не могли найти объяснения этому, — ведь сами они находились в авангарде наступления, на самом острие короткого клина. Только несколько старших командиров знали, что это означает, и делали все, чтобы линия боев скорее докатилась до шоссе у села Маноково, где весь день продолжалась перестрелка. К вечеру это задание было выполнено, наши части продвинулись к шоссе, и теперь всем стало ясно, что это был за бой в тылу врага.

Жубуру и Петеру Спаре рассказал об этом старший лейтенант Юрис Рубенис, который со своими разведчиками участвовал в рейде подполковника Рейнберга в Маноково. Они встретились после соединения главных сил с лыжниками Рейнберга, вместе на скорую руку поели, и за ужином Юрис воспроизвел перед друзьями картину этой отчаянной операции.

— Под командой подполковника Рейнберга было два батальона лыжников — один из нашей дивизии, другой из панфиловцев, — рассказывал он, с трудом разгрызая замерзший хлеб. — Сам Рейнберг не раз хаживал на первую линию, чтобы подробно изучить местность. Кое-что помогли ему выяснить мои разведчики. Прошлой ночью, когда соединение лыжников сосредоточилось на исходном рубеже, Рейнберг подробно проинструктировал их. Все было построено на скрытности действий и продуманном психологическом расчете. Очень я обрадовался, когда узнал, что в рейде должна участвовать и полурота разведчиков; ну, принял над ней командование и отбыл в распоряжение Рейнберга. Сердце чуяло, что надо ждать чего-нибудь интересного. А в таком случае Юрке Рубенису грешно оставаться на берегу.

В первом штурме мы не участвовали, линию немецкой обороны прорвал со своими ребятами Кириллов. Нам только осталось войти в прорыв и, пользуясь паникой немцев, незаметно, без боя просочиться в их тыл.

Это мы сделали около четырех часов утра. Немцы поливали нас артиллерийским и минометным огнем, но мы отделались только двумя ранеными. Двигались местами ползком, местами короткими перебежками. Вдруг — черт его знает, откуда он взялся! — с левой стороны застрекотал немецкий пулемет. По всей вероятности, какой-нибудь трясучка, из тех, что имеют привычку стрелять в темноту для храбрости. Стреляли и другие — трассирующими пулями. Тут мы сообразили, что пули проносятся довольно высоко, примерно на метр от земли. Ну, взяли метров пятьдесят вправо и проползли под пулями. Ползли мы так метров триста. Теперь немцы остались позади. Встали на лыжи и дальше уже двигались более быстрыми темпами. Но это ползание под пулеметным огнем, наверно, не было учтено в плане, и мы опоздали больше чем на полчаса. Еще бы несколько таких задержек, и все могло лопнуть. Приходилось действовать с большим риском, ведь до Манокова было, считая от исходных позиций, чуть не двенадцать километров.

В половине шестого Рейнберг повернул колонну прямо на запад. Чтобы не взбудоражить немцев, он запретил рвать их линии связи. Как перервешь ее, сразу связист идет соединять обрыв, — изволь тогда, справляйся с каждым без шума... Зверя без нужды дразнить не стоило. И наши и панфиловцы изловчились перебраться через восемь немецких проводов и даже не зацепили.

Вышли к железнодорожной линии. С насыпи хорошо было видно шоссе. Движение по нему — машины, подводы, патрули. А утро уже близко. По плану предполагалось так: перейти железную дорогу и на лыжах пробежать до Манокова по свободной полосе между шоссе и железнодорожной насыпью. Если бы в нашем распоряжении было больше времени да если бы солнцу дать сонных капель, чтобы поспало лишний часок, — тогда все было бы в порядке. Шли бы спокойно на лыжах и без всяких приключений подкрались бы еще ближе к селу. А тут вот-вот рассветет.

Здесь наш Рейнберг призадумался, как быть. Слишком уж важная боевая задача: нашему соединению, после того как оно углубилось в расположение немцев, надо было с тыла подойти к Манокову и занять его, потому что позже, фронтальной атакой, брать его было бы тяжело: местность-то какая!

«Здесь что-то надо предпринять», — ворчит подполковник; ворчит и почесывает свою рыжую голову. Очень он походил тогда на медведя. Большой, широкоплечий, в черном полушубке. Но и умен же и сообразителен был этот медведь. Подзывает он командиров и — приказ:

«Лыжи снять и оставить за железнодорожной насыпью, после чего обоим батальонам выйти на шоссе. Там построиться в колонну по трое. Маскировочные халаты у немцев почти такие же, в темноте они не разберутся, кто идет навстречу — свои или чужие. Только надо соблюдать полное молчание. Понятно? Если встретятся немцы, должны принять нас за своих. По местам, ребята! Форсированным маршем на Маноково».

Через несколько минут оба батальона вышли на дорогу, и тогда начался этот переход по шоссе. Немного спустя на шоссе показываются четыре грузовые машины. Нам навстречу. Мы честь-честью даем им дорогу — одно отделение налево, другое направо, одно налево, другое направо, — так что шоферам не пришлось даже сигналить. Как только последняя машина въехала в колонну, мы открыли огонь, и все они остались на месте.

До Манокова осталось не больше километра, а светло так, что прямо зло берет. Мы почти бегом бежим. Вдруг — навстречу легковая машина. Мы даем дорогу. Шофер тормозит, хочет нас о чем-то спросить. Но у нас на разговор времени не осталось, поэтому поворачиваем автоматы и довольно вежливо просим пассажиров вылезти из машины. Руки вверх, — из машины выкатывается какой-то офицер. Что же вы думаете — сам комендант Манокова. Когда начальник гарнизона в Манокове услышал на шоссе выстрелы, то послал его проверить, что случилось. На скорую руку допросили. Он понял, что с нами тянуть опасно, и рассказал все, что знал: какие части стоят в селе, численность гарнизона, как и где устроены огневые точки и так далее.

Около девяти часов мы находились примерно метрах в четырехстах от села. Можно было заметить на расстоянии, что в Манокове начался маленький переполох, — видимо, немцы встревожились, почему комендант не возвращается. Запрягают лошадей, шоферы запускают моторы, солдаты нагружают повозки.

Прямо с марша Рейнберг развернул колонну в цепь и повел в атаку. Ребята бегом бросились вперед к селу. Тут на краю села заговорил какой-то дзот. Первая цепь залегла в снег.

«Заставить замолчать дзот!» — приказывает Рейнберг бронебойщикам. Момент был решающий: если бы мы приостановились на несколько минут, немцы успели бы развернуться к бою и заставили бы нас дорого заплатить за каждый дом. Возможно, им удалось бы вызвать подкрепления и заставить нас драться на открытом месте.

Рейнберг это понял. Нельзя было терять ни секунды. Вели немцы заставят всех наших залечь в снег, они нам больше не дадут встать, и

начнется бой за каждую пядь земли. Черт его знает, чем бы тогда все это кончилось.

И вот, не обращая внимания на жестокий огонь, подполковник поднимается во весь свой громадный рост. Кругом белое поле, все в белых балахонах, а на нем черный романовский полушубок, — лучшей цели и не придумаешь. На все поле слышно было, как он крикнул:

— Бойцы, за мной! Вперед! Ура!

Ах, Петер, вот бы тебе посмотреть, что после этого началось! Дзот уже заставили замолчать наши бронебойщики. Как ураган понеслись к селу латыши и панфиловцы. Немцы бегут, а их короткими очередями автоматы сметают. Как догонят кого, бьют прикладами. Немцы удирают. Мы тут разбились на маленькие группки и начали очищать дом за домом. Гранату в окно, автоматную очередь в дверь. «Хенде хох!» — известно, как это делается. Одного верзилу собственноручно вытащил из печи.

В десять Маноково было очищено от немцев. Мы оседлали шоссе и начали считать трофеи. А трофеи, говорят, немалые...

Да... А вот подполковника жалко, очень жалко. Мне кажется, что в его гибели виноват этот черный полушубок. И зачем он надел его? Но зато настоящий герой был. Придумать такую сумасшедшую операцию!

Потом что было? Потом было разное: немецкие «фердинанды», окружение и полуокружение, и так до самого вечера. Но Манокова мы больше из рук не выпускали, и по шоссе мимо нас уже не прошел ни один немец... Ни взад ни вперед. Ужасно им хотелось вернуть Маноково, мы все их планы дальнейшей обороны нарушили, — так говорят знающие люди. Вот только теперь стало ясно, что означает этот рейд Рейнберга. Если бы не он, мы бы сейчас, может быть, дрались еще у железнодорожной насыпи. А за смерть Рейнберга фрицам долго придется расплачиваться. Стрелки им этого не простят.

...Указом Президиума Верховного Совета СССР гвардии подполковнику Яну Рейнбергу посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза. На высотке, близ шоссе, осталась могила героя, и земля в этом месте густо усеяна осколками мин и гранат. Глядя на них, кажется, что даже мышь не могла бы уцелеть в том месте, где победной лавиной пронеслись советские гвардейцы.

Дни и ночи... Под январским ветром, среди вечного грохота, в

непрестанном движении, напрягая все свои душевные и физические силы, по снежным полям, по замерзшим болотам и рекам, через оскверненные врагом села, где оставшиеся в живых люди еще не осмеливались выйти на свет, — шли вперед советские воины. В рядах войск 2-го Прибалтийского фронта, вместе со своими соседями — русскими, казаками, украинцами — в яростных боях прокладывали путь на запад латышские гвардейцы.

Несколько суток батальон капитана Закиса находился в авангарде, как стальное сверло врезаясь в занятую неприятелем территорию, отвоевывая ее пядь за пядью, превращая снова в советскую землю. Четверть часа чуткой дремы где-нибудь на краю канавы — и снова в бой, снова тревожная мысль гонит сон и усталость. Новый командир батальона всегда был там, где должно было что-то решаться. Он не улыбался и не вздрагивал, когда вблизи падали снаряд или мина. Когда его вызывал командир полка, он никогда не говорил: «Нужно пополнение». Сверло врезалось все глубже, разбрасывая во все стороны стружку.

Вперед! Слышите, как, подобно распарываемому шву, рвется линия обороны противника, как появляются трещины в этой стене из огня и металла, которую мы разрушаем? От Черного моря до Финского залива фашистский фронт трещит и гнется перед Красной Армией, над Европой вздымается бледное, искаженное ужасом лицо — фашизм уже видит свою грядущую судьбу. А на Кремлевской башне бьют часы, и каждый удар приближает нас к торжеству великой победы. Слушайте, товарищи, там бьется сердце советской земли!

Вперед! После отдыха и учебы мы снова за работой! До сих пор мы не имели дела с железобетонными дотами и гнездами — теперь мы их увидели. Но они не могли нас задержать. Вперед!

И дни сменялись ночами. Ничто не стояло на месте.

И наступил еще один вечер. Маленькая деревня, вспаханные снарядами поля и рядом поросшая лесом высота. Здесь Аугуст Закис получил приказ остаться на месте, во втором эшелоне дивизии. Другой полк со своими батальонами сменил их и продолжал наступление. Стрелки кололи дрова, носили воду, готовили горячий ужин. Из вещевых мешков доставали безопасные и опасные бритвы, соскребывали со щек отросшую щетину, смывали с себя грязь. Спокойнее и глубже вбирали легкие воздух. Отдых...

В тот вечер они прочли оперативную сводку за 16 января:

«Севернее Новосokolьники наши войска в результате трехдневных наступательных боев прорвали оборону противника шириною по фронту 15 километров и в глубину до 8 километров и заняли более 40 населенных

пунктов, в том числе крупные населенные пункты Щенайлово, Полутина, Черное, Сопки, Волгино, Маноково, Михалкино, Чирки, Ровни, Заболотье и железнодорожную станцию Насва. Таким образом, наши войска перерезали железную дорогу Новосokolьники — Дно».

...На столе горела коптилка. Аугуст Закис прочел еще раз сводку, останавливаясь на названиях знакомых населенных пунктов, через которые шел его батальон. Казалось, эта сводка оповещала весь мир о том, что сделал он, гвардии капитан Закис, со своими тремя стрелковыми ротами. Точно так же могли в этот вечер думать десятки других командиров батальонов, полков и дивизий и каждый отдельный боец армии — обо всех было рассказано в этой сводке.

Перед глазами Аугуста Закиса вереницей проходили лица героев, о которых говорили сегодня по всему фронту.

Вот Михаил Серов, сын русского народа, парторг роты в Гвардейской латышской дивизии. В решающий момент, когда рота наткнулась на проволочные заграждения, он бросился на них, стал мостом для своих товарищей и обессмертил себя этим подвигом.

Вот комсомолец, гвардии сержант Ионов. Он открыл дорогу советским танкам, своей грудью закрыл дуло противотанкового орудия; в последний момент своей жизни он бросил ручную гранату в неприятельский дзот и уничтожил орудийную прислугу.

Вот комсомолец Иван Смирнов, который повторил геройский поступок Серова: бросившись на проволочные заграждения, он расчистил своим боевым товарищам путь к победе.

Вот гвардии сержант пулеметчик Роланд Расинь, который на фланге прорыва один со своим пулеметом не дал немецкой роте обойти наших наступающих гвардейцев; он уложил больше тридцати немцев, а когда вышли все патроны, уничтожал врага ручными гранатами. Когда же кончились и гранаты, смертельно раненный советский юноша выхватил нож и заколол своего последнего противника.

Вот они — отдельные герои, сияющие звезды на небе Великой Отечественной войны.

Аугуст Закис глядел на огонь в печи и думал Он не искал смерти, и умирать ему не хотелось, но если бы, понадобилось сделать то, что сделали эти люди, он, не раздумывая, поступил бы так же.

Аугуст не слышал, как в комнату вошел сержант, и очнулся только тогда, когда тот заговорил:

— Товарищ гвардии капитан, у нас тут чуть не вышли неприятности.

— Ну? — Аугуст вопросительно посмотрел на парня. — На мину

наткнулся кто-нибудь?

— Нет, товарищ гвардии капитан. Жители деревни испугались. Некоторые побежали в соседнюю часть просить помощи.

— Чего же они так испугались?

— Услышали, что мы говорим по-латышски. Оказывается, здесь несколько недель тому назад побывал карательный батальон СС, который состоял из латышей. Говорят, настоящие звери. Расстреливали и вешали мирных жителей, жгли дома, а часть жителей угнали в концентрационный лагерь за то, что они помогали партизанам. Наши ребята обозлились, говорят: надо всех до последнего негодяя переловить. А эти крестьяне до сих пор успокоиться не могут. Они думают, что мы тоже такие, только переоделись в красноармейское обмундирование... Блиско не подходят.

— Передай мой приказ начальнику штаба. Пусть ротные парторги проведут собрания с жителями. Я тоже приду.

В тот вечер Аугуст рассказывал колхозникам о том, какая разница между негодьями из эсэсовского карательного батальона, которые хоть и говорят по-латышски, но не имеют права называться латышами, и советскими гвардейцами-латышами, которые вместе со всей Красной Армией борются за освобождение советской земли от ига немецких оккупантов.

— Мы рассчитаемся с извергами и за вас и за весь латышский народ, — сказал он. — Мы их разыщем, куда бы они ни спрятались в день расплаты. Мы смоём это пятно позора с латышского народа и восстановим справедливость, мы — ваши товарищи и братья!

После собрания дело пошло по-другому. Колхозники старались сделать все, чтобы освободители деревни чувствовали себя как дома. За высотами еще гремел бой, а в деревне дымились баньки. Не жалея последнего, колхозники несли стрелкам молоко, яйца, лепешки и настойчиво просили принять гостинцы.

...Когда дивизию перевели на другой участок, старые друзья и боевые товарищи пришли проститься с могилой Андрея Силениека. Андрея похоронили на вершине холма. Над могилой высился простой деревянный обелиск с красной пятиконечной звездой наверху. На обелиске стояло:

*Гвардии подполковник Андрей Силениек
13 января 1944 года пал смертью храбрых в бою
за Советскую Родину.*

В начале февраля 1944 года семью Джека Бунте постигло несчастье: прохворав много лет сахарной болезнью, умерла его теща. Последние месяцы она лежала в лечебнице, и Фания через день ходила навещать ее. Она тащила из дому все, что можно было обменять на продукты, и Джек не без основания опасался, что после тещи не останется никакого наследства, — все съест ее болезнь. Поэтому известие о смерти капризной и требовательной старухи доставило ему радость, но он не был настолько опрометчив, чтобы выражать эту радость открыто. Наоборот, в присутствии Фании и Индулиса Атауги Джек ходил с печальным лицом и время от времени вздыхал.

«Тевия» поместила извещение о смерти домовладелицы Атауги, место для могилы купили на самом лучшем, «избранном», участке Лесного кладбища, и 5 февраля черные лошади, запряженные в черный катафалк, повезли старуху на кладбище. Провожающих было немного: прежние друзья и знакомые за годы войны разбрелись кто куда, а новых не заводили. За гробом шагал Индулис Атауга в офицерском мундире войск СС и с траурной лентой на рукаве. Он вел под руку сестру; с другой стороны ее поддерживал муж, и так они должны были идти два или три километра от лечебницы до кладбища. Индулису было скучно, неудобно, он старался не замечать любопытных взглядов прохожих и уже начал чертыхаться про себя по поводу того, что похоронная процессия движется слишком медленно. Если к семи часам не удастся освободиться, может расстроиться интересное свидание. Дело в том, что один из друзей Индулиса, унтерштурмфюрер Дадзис, который был сейчас на фронте у Острова, просил его передать жене посылку. Посылку он передал, и молодая скучающая по мужу женщина не стала возражать, когда он попросил позволения навестить ее еще раз — именно сегодня, в семь часов вечера. Дадзис все равно ничего не узнает, да и сам он едва ли проводит время на фронте в постах и молитвах.

На кладбище Фания наплакалась вволю, как подобает в таких случаях, а когда гроб опустили в землю, Бунте пришлось крепко держать за руку жену, чтобы она не подходила слишком близко к могиле.

Обратно они ехали на машине: один из начальников Индулиса

любезно предоставил в его распоряжение пятиместный «опель-капитан». Поминального обеда не было, но Фания все-таки пригласила брата выпить чашку черного кофе с домашним печеньем.

Индулису было неловко отказываться: ладно, раз такой особенный день! Безо всякой охоты он поднимался за Фанией и Джеком по лестнице и с полчаса посидел с ними за столом. Дзидра сразу заинтересовалась дядиным мундиром: блестящие пуговицы, погоны, значки... Она взобралась к нему на колени, ощупывала каждую пуговицу и поминутно спрашивала: «Дядя, это что? Где ты это взял? Мне тоже хочется...»

Фании было неприятно, что ребенок так лезет к Индулису. Кто его знает, где он сегодня был, с какими людьми встречался... Еще, чего доброго, болен какой-нибудь скверной болезнью.

Чтобы не сидеть молча, стали говорить о том, как украсить могилу матери. Самым компетентным в этом вопросе оказался Джек. Он сразу оживился, в первый раз за весь день.

— Могилу надо залить цементом или шлакобетоном, тогда она десятки лет продержится. Сверху землю можно не заливать, чтобы посеять травку. А вокруг — поставить каменную ограду. Тогда уж на целую вечность. Я знаю одного каменщика, недорого возьмет.

— Да, да, — согласился Индулис. — Надо так отделать, чтобы сохранилась на все времена. Даже если не останется родных и некому будет убирать.

— И крест надо поставить, — напомнила Фания. — Дзидра, иди сюда, ты не даешь дяде попить кофе.

— Нет, нет! — затрясла головой девочка и еще крепче вцепилась в мундир Индулиса. — Мне тоже хочется такую пуговку.

— И крест можно поставить, — сказал Джек. — Хороший мастер может вделать в ограду. С разными там пальмовыми ветками. Фани... можно одну рюмочку? За мамину память?..

— Ну, хорошо.

Джек достал из буфета бутылку и рюмки, и мужчины стали пить коньяк. Теперь можно было взять с братниных колен Дзидру. Фания облегченно вздохнула и незаметно вытерла платком личико и руки девочки.

Выпив несколько рюмок, Индулис немного оттаял и сбросил неудобную скорлупу официальности. Ему захотелось поугостить сестру и Бунте.

— Читали вы сегодняшней номер «Вестника распоряжений»? — будто невзначай спросил он.

— Что там нового? — спросил Бунте. — Какие-нибудь новые правила

или взыскания?

— На, прочти. — Индулис достал из кармана сложенную газету.

Бунте развернул газету и стал читать. Фания заглянула через его плечо.

— «Отчизна вызывает... — забормотал Бунте. — В час роковых событий самоуправление латвийской земли снова призывает к оружию новые контингенты. Значительная часть призванных должна вступить в ряды защитников отчизны и поспешить к восточным границам Латвии, находящимся под угрозой. Близо трубит труба войны... решающие дни в истории латышского народа...» Это кто же написал? А, сам Данкер. Что это означает?

— Прочти дальше, тогда поймешь, — улыбнулся Индулис.

В глазах Бунте появилось беспокойство. Медленно прочел он распоряжение о призыве всех мужчин, родившихся за период с 1906 по 1914 год, в латышский легион. Распоряжение было подписано генерал-инспектором легиона генералом Бангерским.

— Мобилизация... Значит, не хочешь, а воюй? Да ведь они проповедовали, что будут брать только добровольцев.

— От этого мы отказались еще в конце ноября, когда стало ясно, что из этого добровольчества ничего не выйдет. Ну вот, Джек, твой год тоже включен. Пусть Фания скорее приготовит рюкзак. Отказался, когда я тебя звал к себе в команду, а теперь придется служить в легионе. У меня тебе было бы легче.

— Да, мой год тоже призывается, — констатировал без всякой радости и гордости Бунте. — Что же они с нами станут делать?

— Что делать? Обучат на скорую руку и пошлют всевать.

— Разве в этом есть необходимость? — встrepенулась Фания.

— Когда Красная Армия стоит у самых границ Латвии, вероятно есть необходимость, — ответил Индулис. — Весной начнутся бои непосредственно за Латвию. Если вам безразлично, кто будет управлять страной, тогда можно рассуждать, а для меня это дело ясное. Это начало последнего акта.

— Не мы же начали войну, — возразила Фания. — Почему мы должны воевать и отвечать за чужие грехи?

— Ты хочешь сказать — за мои грехи?

— Еще могут забраковать, — бодро сказал Бунте. — Я ведь не особенно здоровый.

— Тогда придется или рыть окопы, или ехать на работу в Германию. Теперь мы никому не дадим бездельничать. Мало ли что другие грешили — отвечать всем придется. Так-то. — Индулис встал из-за стола и начал

прощаться. — Не обессудьте, милые родственники, но к семи я дол жен быть в одном месте по служебному делу.

Никто его и не удерживал. Индулис Атауга прямо от скромного поминального стола направился на Гертрудинскую улицу, к жене унтерштурмфюрера Дадзиса.

— Вот история, будь она проклята! — причитал Бунте после ухода шурина. — Почему? За какие грехи я должен проливать за них свою кровь? Пусть Индулис со своей бандой сами отвечают за свои дела. С какой стати мирному гражданину спасать их?

— Их никто уж не спасет, — сказала Фания. — Ясно, что ни в какой легион ты не пойдешь.

— А куда деваться, Фания? Слышала, что он сказал? Рыть окопы или на работу в Германию.

— Пускай сами и роют. — Фания понизила голос. — Неужели во всем доме не найдется такого укромного уголка, чтобы спрятаться человеку?

— А как же — мне тогда никуда нельзя будет показываться...

— Тебе приятнее умереть на фронте за Гитлера?

— Пусть он идет к дьяволу со всей своей компанией! А как ты объяснишь, когда начнут спрашивать про меня?

— Это позволь мне знать.

Бунте с восхищением посмотрел на Фанию. Они совсем позабыли о том, что час назад стояли у могилы мамы; жизнь требовала забот о настоящем, а не о прошлом. Они улыбнулись, и Фании это не показалось предосудительным.

— Ужас до чего ты у меня умная, — сказал Джек Бунте.

Летом 1941 года, когда Индулис Атауга вступил в зондеркоманду Арая, он, конечно, не думал, что через полтора года этот шаг может показаться ему неосмотрительным и неверным; но даже если бы он знал и тогда, что к концу 1942 года гитлеровские армии постигнет ужасная катастрофа где-то у Волги и Дона, то едва ли поступил бы иначе, потому что все его воспитание, все его взгляды неизбежно подводили к этому пути. Свою жизненную мудрость он почерпнул из программы «перконкрустовцев», которая была не чем иным, как латышским вариантом фашистской программы Муссолини и Гитлера. «Раса господ», «нордическая кровь», «право на преступление» — да среднему корпоранту, который мечтал лишь

о том, чтобы занять в жизни место побольше и повыше, иной философии и не требовалось. Не испытывая никаких сомнений, вступил он в зондеркоманду, которую ни в какие времена нельзя было бы назвать иначе, как бандой убийц, и стал идеальным участником этой банды — идеальным в понимании Арая, Екельна и Гиммлера. Индулис Атауга старался выдвинуться, и это ему удавалось довольно легко, так как зондеркоманда и была той средой, в которой могли развернуться все его задатки.

После сталинградской катастрофы он кое-что понял. Понял, что его хозяевам, а вместе с ними и ему придется расплачиваться за все свои дела. К этому времени он настолько запятнал себя, что выхода для него уже не могло и быть. Ему оставался один путь: вместе с гитлеровской шайкой идти до самого конца. А потом? Потом хоть потоп, хоть конец мира! Единственное, что еще могло как-то утешить его при такой перспективе, это если бы немецким оккупантам удалось запачкать как можно больше людей. Индулису Атауге хотелось, чтобы в Латвии не осталось ни одного чистого человека. Пусть не один он отвечает! И когда Данкер с Бангерским начали организовывать латышский легион, он потирал руки от удовольствия: нашего полку прибывает.

Когда в ноябре объявили мобилизацию, он прямо ликовал, потому что даже самым ловким людям нельзя было отвертеться от каиновой печати, которой немцы хотели заклеить каждого латыша. Особенно же обрадовало его последнее распоряжение о дополнительном призыве в латышский легион. «Теперь и ты, Фания, не увильнешь — твой муженек наденет мундир. Одна у всех у нас дорога, но в компании все-таки веселей».

В то же время, пока еще можно было, он хватал все доступные ему удовольствия.

С этой именно целью и был затеян сегодняшний визит к жене унтерштурмфюрера Эрика Дадзиса. Может быть, Эрик Дадзис уже протянул ноги и никогда больше не увидит Ригу, а может быть, он еще вернется и проживет дольше, чем оберштурмфюрер войск СС Атауга, но какое это имело сейчас значение?

Аусма Дадзис была в квартире одна. Сев на диван рядом с гостем, она спросила:

— Расскажите, господин Атауга, как вы жили на фронте?

Индулис на настоящем фронте никогда не был, но, не сморгнув глазом, в течение получаса рисовал ей батальные картины, в которых центральной фигурой был он сам. Когда это ему надоело, он спросил:

— А как вы живете, пока мы воюем?

Она сделала капризную гримаску и вздохнула.

— Скучаем и тревожимся. Что же нам еще остается?

— А зачем? Жизнь проходит; что упустишь сегодня, не наверстаешь завтра.

— Что же поделать?

— Надо брать от жизни...

— Что, например?

«Ах ты, шельма, девочку из себя строит! Я, как учитель, должен все ей объяснять?»

— Например? Например, любить. Влюбляться, позволять другим любить себя. Это все равно, что мечтать. Разве это дурно — мечтать?

— Я не знаю.

— А я хорошо знаю, что мечтать имеет право каждый, потому что это не зависит от нашей воли. То же и с любовью. Человек встречается человека, оба загораются, и начинается пожар.

— И оба сгорают? — Аусма Дадзис засмеялась.

— Зачем? Только горят и светятся, как две яркие лампы. Одна греет и освещает другую, и обеим тепло.

— А потом?

— Они горят, пока не разрядится аккумулятор. После этого его снова надо заряжать.

— И надо встретить другого человека, снова загореться?

— Конечно. Иначе жизнь становится темной, холодной и скучной.

— Вы уже много раз так загорались?

— Я не знаю, что в этой области много, что мало. А вы?

— Мне еще надо научиться мечтать...

— Хорошо, я помогу вам научиться.

Научил. Выполнил свое обещание в тот же вечер. Утром, когда Индулис Атауга собрался уходить, Аусма Дадзис шутливо погрозила ему пальцем:

— Попробуй только сказать Эрику!

— Почему ты думаешь, что я буду рассказывать?

— Мужчины любят хвастаться своими победами.

— Как знать, кто из нас победитель? — лукаво улыбнулся Атауга. — Что же будет дальше? Можно мне прийти сегодня вечером? Через несколько дней я должен уехать из Риги.

— Сегодня нет. Но если ты не придешь завтра вечером, тогда не приходи совсем.

— Почему так решительно?

— Просто так. Хочу, чтобы ты меня немного слушался. Иначе не стоит.

— Я буду очень послушен, Ата.

Быстро выскользнул он на лестницу, чтобы никто не заметил, из какой квартиры он вышел. В сущности никакой надобности в этом не было, но так было интереснее, это придавало всему приключению отпечаток таинственности.

Придя домой, Индулис Атауга узнал от дворника, что вчера его искал какой-то чиновник. Уходя, он оставил номер телефона и велел обязательно позвонить.

Индулис набрал нужный номер и, когда ему ответили, назвал свое имя.

— Господин Атауга? Будьте так любезны, сегодня не позже четырех часов обязательно явитесь на улицу Тербатас, номер... к доценту Гринталю. Для чего — вам скажут. По распоряжению начальства. Всего хорошего, господин Атауга.

Индулис побрился и пошел на улицу Тербатас.

3

Доцент Гринталь — высокий, средних лет мужчина с горбатым носом и гладко выбритым черепом — поправил роговые очки и в упор посмотрел на вошедшего.

— Господин Атауга? Если не ошибаюсь, вы когда-то были моим студентом.

— Да, господин доцент. Я слушал у вас курс статистики. Кроме того... мы ведь члены одной корпорации. В последнее время я имел честь быть олдерменом корпорации.

— Припоминаю, припоминаю...

Гринталь крепко пожал руку Индулиса и пригласил в кабинет. Он сам закрыл дверь, потом сел за круглый столик и предложил Индулису папиросу. Они закурили и, прежде чем перейти к главной теме, обменялись ничего не значащими фразами о погоде, здоровье и жизни вообще.

— Мы живем в необычайно сложное время, — сказал Гринталь, — среднему человеку трудно ориентироваться, он не знает, что делать сегодня и что ему готовит завтра.

— Это верно, — согласился Индулис. — Но средние люди историю не делают. Они только движутся с ее потоком. Для них всегда остается тайной, кто и как приводит в действие механизм великих событий.

— Вам после сорокового года пришлось, кажется, очень жарко? — задал вдруг вопрос доцент. — Мне кое-что рассказывали.

— Да, разное случалось. Пожил и в лесу, затем... в армии. Никто не скажет, что я стоял в стороне, был наблюдателем.

— Это потому, что вы не принадлежите к разряду средних людей. То же самое Я сказал бы и о себе, если бы это не показалось хвастовством. В начале войны я чуть было не погиб. Вы помните ночь на двадцать второе июня сорок первого года — накануне войны? Что за волшебная ночь — тихая, полная ожидания. Я объезжал на Взморье дачи наших друзей... у которых надо было прятать парашютистов. Объехал Приедаине и собирался проверить Лиелупе, Булдури и Дзинтари. В ту ночь большевики проводили учебное затемнение, а я забыл выключить фары. У моста через Лиелупе ко мне придрались. Я немного погорячился и послал их к черту. Тогда они разбили у моей машины фары и подошли проверить документы. И тут выяснилось, что я налетел на известного большевистского деятеля Силениека. Он, кажется, даже был членом их Центрального Комитета. Так вот он меня и узнал. Хорошо, еще не арестовал и не отправил в милицию, — тогда бы я не сидел здесь сегодня. После этого я целую неделю прятался у одного своего друга и только первого июля осмелился выйти на улицу. С тех пор я научился владеть собой. Терпение, выдержка в игре решают многое. Есть ли у вас эти качества, господин Атауга? Умеете ли вы притворяться?

— Это я доказал в сороковом и сорок первом годах.

— Гм... А можете ли вы не говорить правду даже лучшим друзьям, со стороны которых вам ничто не грозит? Держаться так, чтобы люди думали про вас одно, а на деле было бы совсем иное?

— Все зависит от того, какова цель такой игры. Если это на пользу нашему делу, почему бы и нет? Я не ребенок.

— Знаю. — Гринталь отечески улыбнулся. — Арай в свою команду детей и не принимал.

Наступила пауза.

«Куда он клонит? — думал Индулис. — Что за конспирация?»

«Этот подойдет», — думал доцент Гринталь.

Лицо его стало серьезным, он понизил голос.

— Разговор этот останется между нами, независимо от того, каков будет его результат. Я разговариваю с ведома соответствующих учреждений Остланда, армейского командования и латышских национальных организаций, так что ни вам, ни мне не надо пугаться. Только в обществе не должны об этом знать. Положение на фронте изменилось к худшему. Если

бы наступление Красной Армии на территории Прибалтики было изолированным явлением, немецкая армия без всяких сомнений отбила бы его и нам достало бы времени подумать о судьбах нашего дела в другой раз. Но большевики нажимают по всей линии фронта; нажим прямо фантастический. Гитлер больше не имеет возможности маневрировать резервами, перебрасывать силы с одного фронта на другой. Поэтому... откровенно говоря, нам надо рассчитывать на то, что немецкая армия будет вынуждена летом оставить нашу территорию и воевать на своей земле. Верховное командование заинтересовано в том, чтобы на оставленной территории, в тылу Красной Армии, большевики не могли ни одного дня работать спокойно, чтобы им не удалось восстановить разрушенное и быстро повысить жизненный уровень населения. В тылу Красной Армии необходимо создать постоянный очаг беспорядков. Это с одной стороны. С другой стороны, мы можем рассчитывать и на то, что в конце войны Гитлеру удастся столкнуть лбами Советский Союз с Англией и Соединенными Штатами Америки. В этом случае мы тоже понадобится англичанам, с которыми — вам это можно сказать — у нас снова наладились связи. Пока они будут драться, мы в нужный момент подыдем на ноги своих айзсаргов, бывших полицейских — словом, всех, кто в этой войне открыто стал на сторону немцев, — и захватим власть в Латвии. Стихийно это произойти не может, поэтому к предстоящей борьбе мы начнем готовиться сегодня. Возможно, что нашим кадрам некоторое время придется оставаться в подполье, а отдельные боевые группы будут орудовать самостоятельно. Но для того чтобы все действовали в одном направлении и по первому знаку свыше слились воедино — надо заранее подготовить эти кадры и вовремя указать каждому район его деятельности и характер его действий. Вы меня хорошо поняли, господин Атауга?

— Кажется, понял... — Индулис кивнул газовой. — Мысль великая и глубокая.

— Вы согласны помочь нам реализовать ее?

— С величайшей готовностью. Каковы будут мои обязанности?

— Вы сейчас же поедете в Скривери. Там мы организовали специальные курсы, на которых будем обучать командиров для будущих нелегальных групп, диверсантов и организаторов. Там соберутся самые способные и полезные люди из всех округов. Их будут обучать первоклассные специалисты — они найдутся и у нас самих, а некоторых пришлют из немецкой разведки. Окончившие эти курсы разъедутся по своим округам и комплектуют из испытанных людей боевые единицы, а командование немецкой армии даст оружие и боеприпасы. Покидая

Латвию, немцы во многих местах оставят тайные склады военного имущества, радиостанции, медикаменты и все необходимое для продолжительной борьбы.

— Солидно, солидно задумано, — возбужденно повторял Индулис. — Повторение плана Никура, только в более широком масштабе.

— Наш план гораздо конкретнее, и он открывает определенные перспективы, чего нельзя сказать о плане Никура. Между прочим, он тоже присоединился к нам, но официально возглавлять организацию будет генерал Курель.

— Не слишком ли стар?

— Работать будем мы — молодые, но фирме нужна вывеска.

Они, как по команде, засмеялись.

— Хорошо. А что я буду делать на курсах? — спросил Индулис Атауга. — Учиться?

— Сначала будете учиться. Насколько мне известно, вам хотят поручить подпольную группу в одном из районов Видземе — вы будете чем-то вроде командира полка. Поэтому вам не помешает в течение нескольких месяцев познакомиться с методами штабной работы, тактикой и всеми премудростями разведывательной службы. Этому вас будут обучать немецкие штабисты. Но так как у вас уже есть богатая практика, в дальнейшем вы будете обучать командиров батальонов, рот и взводов, вместе с которыми вам впоследствии придется воевать.

— Ясно, господин доцент.

— Итак, вы согласны?

— Да, конечно. Мне, правда, приятнее было бы уйти из Латвии вместе с немецкой армией.

— Еще бы, это безопаснее. Но мы с вами не принадлежим к людям средней руки. Мы должны взять на себя все труды и весь риск.

— Когда я должен явиться в Скривери?

— Чем скорее, тем лучше.

— Я еще должен разделаться со службой. Что мне сказать своему начальству?

— Ничего. Вам об этом не надо заботиться. Все формальности уладят мои сотрудники. Завтра после двенадцати придете ко мне за документами.

Так Индулис Атауга стал одним из членов «Ягдфербанда». По существу это была организация немецких диверсантов, шпионов и террористов, которую для благообразия снабдили националистической вывеской.

Индулис на скорую руку устроил свои личные дела, провел еще одну

ночь у Аусмы Дадзис и уехал в Скривери. Там он нашел много знакомых и по «зеленой гостинице» Миксита и из той компании, с которой он орудовал по «мокрым» делам. Командир роты айзсаргов Зиемель привел с собой Макса Лиепниека, которого тоже нашли вполне годным.

Они начали готовиться.

Элла Спаре не могла решиться, на какую дорогу ей свернуть — на ту ли, которая вела мимо занесенного сугробом поля к хибарке Закиса и представляла собой узкую пешеходную тропу, или на ту, что вела к усадьбе Лиепниеки. В Лиепниеки идти удобнее, и с тамошними хозяевами Элла чувствовала себя проще, но сейчас ей там нечего было делать. Макс недавно уехал в какую-то школу, старик опять примется рассуждать об этой войне, а в последнее время ей эти разговоры как нож острый. Немецкая армия отступает. Отступает армия Бруно Копица... Элле казалось, что войну ведут два человека. Каждый из них вошел в ее жизнь, и каждый требует, чтобы она безраздельно принадлежала ему — и Петер Спаре, чье имя она до сих пор носит, и жандармский капитан Бруно Копиц... Может быть, первый уже мертв (вот бы хорошо!), но ведь он не одинок, у него товарищи, сотни, тысячи товарищей, они продолжают воевать вместо него, и они хотят победить, чтобы потребовать с Эллы ответа за все, что она натворила в эти годы. Она не хочет отвечать перед ними — это тяжело, стыдно, унижительно, поэтому она всеми силами желает победы Копицу. Но разве это зависит от ее желания? Разве бедный Бруно в состоянии что-нибудь изменить или на что-нибудь повлиять? С ним самим начальство обходится, как с вещью — его поднимают, передвигают, ставят куда им вздумается. Может быть, это и правильно, но каждая такая перемена отрывает их друг от друга, разъединяет их — как клин, как забор, как река. Прошлой весной Копица уже совсем было отправили на фронт, но он вовремя успел заболеть гриппом и избавился от этой опасности. Второй раз за него замолвил словечко влиятельный друг. В третий раз ничто не помогло.

Три дня назад Бруно пришел проститься. Он успокаивал и ободрял Эллу, обещал писать письма и при первой возможности приехать. Но сейчас ей совсем не он нужен. Нужно, чтобы он победил, чтобы ей не пришлось отвечать... Пусть не пишет, не приезжает, пусть только воюет, не позволит возвратиться Петеру Спаре. Крейсландвирт Фридрих Рейнхард —

мужчина еще интереснее, чем Копиц, хоть и занимается только сбором хлеба, масла и свиней... И отцу с матерью от него будет больше пользы, чем от Копица. Место все равно пустым не останется. Но разве теперь это поможет? Да и в состоянии ли они теперь что-нибудь поделаться с Петером и его товарищами? И вдруг он появится — грязный, запыленный, усталый после долгого пути... Что тогда будет?

Вот почему она так долго стояла на дороге и все поглядывала на хибарку Закиса. Они там, наверно, знают... Ведь они заодно с Петером.

Элла с прошлой осени ни разу не встречалась ни с кем из Закисов. Как же теперь идти без дела? О чем с ними говорить? Подумают, подъезжает, а ей только хочется узнать...

Под февральским солнцем снег блестит, слепит глаза, точно кусает этим блеском. Огромными метлами темнеют голые кусты на берегу. Голодная ворона разгребает лапами кучу навоза на поле Лиепниеков — поклюет-поклюет и остановится с печальным и глубокомысленным видом. За пригорком, в хибарке Закиса, скрипнула дверь — сейчас кто-нибудь выйдет и увидит, как она здесь стоит. Нет, так нельзя.

Элла свернула по узкой тропинке к Закисам.

— Добрый день, добрый день, барышня...

Закис, по обыкновению, усмехнулся в усы, а у жены сразу нашлось неотложное дело в самом темном углу кухни. Пока она там передвигала и переворачивала утварь, будто разыскивая что-то, все молчали. Янцис, — ему уже было двенадцать лет, — принес гостье табуретку.

— Спасибо, Янцис, — пролепетала Элла. — Ты что, в школу больше не ходишь?

— Как же ему ходить в школу? — быстро повернувшись, ответила Закиене. — Ближнюю школу заняли немцы; босиком, что ли, бегать мальчишке через всю волость?

— Так не учится?

— Ну да, не учится, — отрубила Закиене. — Нагонит потом, когда придут... — Она замолчала на полуслове, заметив предостерегающий жест мужа. — Вот так-то. Пусть хоть зиму посидит дома. Довольно он за лиепниековой скотиной побегал.

— Значит, вы думаете, что скоро вернутся... наши? — заикнулась Элла.

Закиене опять отвернулась, чтобы гостья не видела, как она сердито сжала губы. «Наши! Вот еще своя нашлась!..»

— А вы как думаете? — вопросом на вопрос ответил Закис. — Вы газету получаете, вам и радио удастся послушать, — вам больше известно.

— Разве из этих газет что-нибудь узнаешь, — сказала Элла. — Пишут одно, а люди говорят совсем другое. Не знаешь, кому больше верить.

— В том-то все и горе, что теперь остается верить только своему сердцу, — ответил Закис. — Каждый верит тому, чего ему больше хочется.

— Наверно, все же придут? — Элла все направляла разговор на затронутую ею тему. — Говорят, совсем близко от Латвии.

— Поживем — увидим, — ловко уклонился от прямого ответа Закис.

Закиене одного за другим отвела детей в комнату и села у плиты. В котелке варилась картошка.

«Тяжело им живется, — подумала Элла. Ей стало даже стыдно: не могла принести детям гостинцев — хоть бы яблочек. — Закис все лето проработал у Лиепниеков, гоняли-гоняли его по разным повинностям, а самому оставили земли только на огородик. И чем они живут? Как еще эти малыши на ногах держатся? Если бы моей Расме пришлось так жить...»

— Вы, наверно, обо мне очень нехорошо думаете... — заговорила Элла. — Из-за того, что к нам иногда немцы приходят... А что мы можем поделать? У них вся власть в руках. Разве нам это приятно?

Закис вспомнил туманный летний вечер, копну сена и двух человек возле нее. Он вздохнул.

— Не наше это дело. Каждый сам управляет со своей совестью. Если она чиста, тогда все равно, что другие думают. А если что-нибудь не так, то весь свет не поможет, хотя бы одно хорошее говорили.

Закиене хмуро глядела на огонь и по временам поправляла хворост.

Элла почувствовала ее отчужденность. «Осуждает... Даже разговаривать не хочет». А ей хотелось, чтобы ей задавали вопросы, — тогда бы она рассказывала, и рассказывала до тех пор, пока не убедила бы их, что ничего плохого не сделала. Их обязательно надо переубедить, хотя это лишь маленькие, забитые, полуголодные людишки, которых никто не боится. А Элла боялась: их скупые, уклончивые ответы сильнее самых суровых слов выражали осуждение: ты — недостойная, мы не хотим с такой разговаривать...

Если бы хоть сказали что-нибудь, пристыдили, изругали — и то бы легче. Тогда можно спорить, защищаться, — вдруг бы смягчились, простили ее. Но они молчат, они дожидаться не могут, когда уйдет непрощенная гостья. Может быть, они ее боятся, думают, что она пришла шпионить за ними и потом все передаст немцам? Элла покраснела от стыда. Здесь и правда делать ей нечего.

Она встала.

— Я только так зашла, мимоходом. Хотелось узнать, все ли здоровы.

— Большое спасибо; что навестили, — сказал Закис, отворяя дверь. Дальше провожать он не пошел.

Опустив глаза, Элла шла по узкой дорожке вдоль поля. Горечь переполняла ее грудь, накапливалась, как дым в овине, превращалась в злобу. «Почему я не мужчина? Наплевала бы на то, что эти люди обо мне думают. Ушла бы в легион и стала воевать. Почему столько мужчин не делает этого... скрываются, прячутся? Чего хотят от меня эти люди? Почему они не дают мне покоя?»

Она забыла, что ее никто еще не трогал.

Сконфуженно и озабоченно вздыхали старики Лиепини: «Скорее всего, немцы не удержатся. Нет, видно, той силы, что вначале. Но откуда она берется у большевиков?» Втихомолку обдумывали они будущее дочери. «Если Красная Армия придет сюда — пожалуй, и неловко получится, очень уж долго она с этим Копицем... Что поделаешь, сама заварила кашу, сама и расхлебывай. Может, Петер не придет, — тогда все будет гораздо проще. Хорошо бы не пришел. Столько порядочных людей убито за войну, почему он должен остаться в живых?»

Продолжалась серая, смутная жизнь. И если на лице Закиса с приближением весны все чаще показывалась улыбка, все веселее блестели его глаза, то в усадьбе Лиепини все чаще слышались вздохи. Только Элла не вздыхала. Подобно многим людям, которые, слишком далеко зайдя по неправильному пути, не видят возврата к прошлому, она отдалась мутной волне, которая несла ее все дальше и дальше, прочь от родного берега. Может быть, она выбросит ее на другой далекий берег, — и пусть он будет не так мил, как покинутый, только бы там можно было жить.

За целый месяц от Копица не пришло ни одного письма. Тогда Элла Спаре стала благосклоннее улыбаться крейсландвирту, и обрадованный Фридрих Рейнхард стал кружить подле нее. И с крейсландвиртом можно жить, хоть он и не офицер и имеет дело только с хлебом, маслом и свиньями.

Мутная волна уносила ее все дальше.

Глава десятая

Марина Волкова уже с полчаса трудилась над расшифровкой

последней радиограммы. Шифр был известен, ошибки она не могла допустить, — когда окончила прием, проверила текст, но что-то странное было в этой радиограмме.

Может быть, Акментынь поймет, — подумала девушка. — Вероятно, у него есть дополнительный шифр. «Прекратить действия... немедленно направиться в Елгаву... ждет командир бригады. Место встречи Католическая улица, номер...»

«Почему прекратить действия? Почему направиться в Елгаву? Станный приказ».

Она переписала радиограмму, сожгла черновик и пошла к Акментыню. Лагерь находился в большой роще, вокруг которой тянулась поросшая кустами равнина. Их батальон нигде не задерживался на продолжительное время. Целый год прошел в непрерывном движении и маневрировании, в постоянных стычках. Просто удивительно, что Акментынь ухитрялся здесь держаться. Если бы крестьяне не помогали, не сообщали о приближении отрядов шуцманов и эсэсовцев, партизан давно бы разогнали и выловили по одному. Но Акментынь сумел установить дружеские отношения с окрестными жителями.

«Славный, простой парень. Немного неловкий и застенчивый, но с орлиной душой».

— Шила в мешке не утаишь, — смеялся он каждый раз, когда разведчики доносили о приближении новой карательной экспедиции к месту их непродолжительной стоянки. Достаточно было им зашевелиться, и немцы наступали им на каблуки, рыскали по их следам, как стая голодных волков. То была почти открытая война. Трижды окружали их немцы, но каждый раз оставались в дураках, потому что Криш Акментынь всегда находил какую-нибудь лазейку — реденький кустарник, почти незаметную на однообразной равнине ложбинку, в которую можно было ускользнуть. Мелкие отряды карателей партизаны вообще не принимали в расчет и позволяли им до поры до времени бродить по следам батальона.

— Теперь у нас надежный арьергард, — посмеивались бойцы. Но это не могло продолжаться до бесконечности. Достигнув удобного района, Акментынь молниеносно разворачивал батальон к бою и так разделявал обнаглевших следопытов, что у них живо пропадала охота преследовать хозяев лесов и кустарников. Если сражаться было невыгодно, он внезапно поворачивал батальон в другую сторону и быстрым переходом отрывался от преследователей. Но надолго ли? Первая операция, первое нападение на какое-нибудь осиное гнездо — и сразу обнаруживался новый район действий партизанской части, и не проходило суток, как снова появлялась

стая шакалов. Скверный район для партизанской войны. Недаром Акментынь приказал кое-кому из своих людей, главным образом местным, легализоваться и жить у себя дома. В случае нужды у них можно было приютиться, а это значило не меньше, чем помощь оружием.

— Эх, Земгалия, пшеничная Земгалия, почему ты так бедна лесами? — часто вздыхал Криш Акментынь. — Разве не знала, что нам придется здесь воевать? Как же тебе помогать, когда ты сама не хочешь нам помочь? Был бы хоть кустарник погуще или болото какое-нибудь.

«Славный парень. Немного портят его усы, но сейчас, наверно, так надо. Но в тот день, когда партизаны выйдут из лесов и кустарников, — тогда парикмахеру хватит работы. Если сам не догадается, я ему напому. А если и тогда не сделает, возьму ножницы и отрежу один ус. Куда в таком виде денешься? А вдруг рассердится. Нет, так решительно действовать нельзя».

Пора березового сока шла к концу. Везде, где только можно, лезла из земли молодая травка, уже распускались деревья, и в природе стал преобладать зеленый цвет. Теперь можно сбросить старую дырявую обувь и ходить босиком. Совсем другая походка.

В роще расщебетались птицы. Нежилась в лучах майского солнца свежевспаханная земля, а воздух был такой густой, словно парное молоко, — вдохнешь поглубже — и голова закружится.

«Славный парень этот Криш Акментынь... Какое у него непривычное имя — Криш...»

Акментынь сидел на траве в кучке партизан, они общими усилиями чинили трофейный автомат.

— Сплошной эрзац, — сердился Акментынь. — Чуть посильнее ударишь фрица по голове, и разом что-нибудь испортится. А легче бить тоже нельзя — тогда фрицу ничего не делается. Что там у тебя, Марина?

— Мне нужно кое-что показать тебе, — и издали помахала бумажкой. — Только что приняла. Но я не все понимаю. Может быть, ты сам...

— Разбирайтесь без меня, — сказал Акментынь, отдавая автомат. — Радиограмма? От кого?

— Как будто из штаба бригады.

— Как будто?

— Прочти сам, тогда увидишь.

Они отошли немного в сторону. Сначала Акментынь быстро пробежал глазами строчки, потом сморщил лоб и второй раз уже внимательно прочел каждое слово.

— Что такое? Разве мы ликвидируемся? Какая их там в штабе муха укусила? Только что началось раздолье, думали, что настоящая жизнь пришла, а они посылают на пенсию. «Прекратить действия... немедленно направиться в Елгаву...» А это уж совсем ерунда. Марина, а ты чего-нибудь не наврала? Может, шифры перепутала?

— Но тогда вообще получилась бы полная бессмыслица. Шифр правильный.

— Тогда радиограмма неправильная. Нет, нет, ни в какую Елгаву я не пойду. Ты вот что: сейчас же свяжись со штабом бригады и запроси, посылали они такую радиограмму или нет. Только поскорее, Марина. У Ванага в Латгалии однажды случилась такая история. Парень чуть в беду не попал. Оказалось, немцы достали наш код и стали заманивать в западню.

— Хорошо, товарищ Акментынь, я свяжусь со штабом бригады.

— Живей, живей, белочка...

Когда Марина ушла, Акментынь снова взялся за автомат, и за полчаса неисправность была устранена. Недаром он из Лиепаи. «Эх, когда же ты, старик, покачаешься опять на морских волнах? Может, этим летом, а может — никогда...»

Когда Ояр рассказал ему о несчастье с Эвальдом Капейкой, Акментыню показалось, что ногу отняли у него самого. Теперь Эвальд ходит по Москве на костылях, а его ребята дерутся, как черти. Все сейчас дерутся. Ванаг гуляет в Латгалии, как хозяин по своему дому. Весной с Освейской базы всех женщин, детей и стариков переправили в тыл, — предполагают, что в том районе скоро развернутся бои. Зато теперь руки развязаны, можно драться не оглядываясь.

Ояр всю зиму и весну работал не покладая рук: то командовал операциями с базы полка, то переходил из батальона в батальон и сам участвовал почти во всех отчаянных предприятиях. «Только одно никуда не годится: везде он водит с собой эту радистку. Ребята болтают, будто это не от него зависит. Девушка с характером, Ояр не может ей отказать... Смешно, — думал Акментынь. — Почему не может отказать? Кто же тогда командир? Пусть бы со мной кто-нибудь попробовал так разговаривать. Например, Марина. Гм... Собственно, как бы это получилось? Нет, погоди, Акментынь, собственно, как это получается? Разве у тебя не то же самое? В каком походе ты был один... без нее? Но она не навязывается, это я сам. Гм... Может, в том-то вся и штука, что ты делаешь то, что она хочет, и ей ничего не надо говорить. Как они эти вещи тонко устраивают, мы даже ничего не замечаем. Гм... Интересно...»

Два часа спустя он снова разговаривал с Мариной. Ей удалось связаться со штабом бригады. Оказалось, что сегодня оттуда ни одной радиограммы не давали.

«Это провокация. Действуйте по ранее полученным указаниям. Меняем код».

— Оказывается, у нас обоих хорошие носы, — сказал Акментынь. — Сразу почуяли что-то неладное.

— Но как немцы заполучили наш код? — удивилась Марина.

— Может быть, выдал кто-нибудь или сами расшифровали. В разведке ведь специалисты сидят. Им достаточно поймать кончик нити, и сразу тебе весь клубок разматывают.

Он и сам все время пытался поймать конец какого-то запутанного клубка. Искал в глазах Марины, в каждом ее слове, в улыбке. Но он был плохой шифровальщик и ничего не мог обнаружить. Тогда он применил один простой способ.

— Марина, нам придется разбиться на две группы и каждой действовать порознь, — сказал как можно серьезней Акментынь. — В здешних лесах слишком тесно. Такая толпа всем в глаза бросится.

— Это верно, — согласилась Марина. — Мы со штабом и частью людей могли бы действовать оперативнее, нам совсем не надо так много народу.

«Мы со штабом... ах ты, хитрунья!» — обрадовался Акментынь.

— Тебе со штабом придется остаться в этом районе, а я с другой группой направлюсь в соседний уезд, погонять там комендантов и крейсландвиртов, — сказал он.

Марина прикусила губу и стала нервно тереть веточку молоденькой березки.

— Как же это? Командир должен оставаться со штабом. Кому же я буду показывать секретные радиограммы, которые приходят на твое имя?

— Передавай замполиту или начальнику штаба.

— По инструкции я этого делать не могу. Тогда уж лучше ликвидировать радиосвязь и отпустить меня обратно в полк. Связь потеряет всякий смысл. Мне придется складывать радиограммы в кучу, а отвечать сама я не могу. Я не имею права хранить их. Они могут попасть в руки врагу. Нет, товарищ Акментынь, из этого ничего не выйдет. Сам подумай...

— Гм, да... ты, видно, права. От штаба я уйти могу, а от тебя — никогда. Теперь для меня это ясно.

— Разве не правда? — Марина заметно оживилась и перестала тереть веточку березки, — ведь деревце ни в чем не провинилось.

«Вот оно как с нами получается, — думал Акментынь, поглаживая свои густые усы. — Думаешь, ни от кого не зависишь, а на деле...»

Около полуночи наблюдатели донесли, что к роще приближается немецкая войсковая часть. Выделив арьергард для прикрытия отхода, Акментынь поднял своих людей и двинулся к другому перелеску, километров за восемь от старого места. Дорогой одна группа партизан разгромила полевую комендатуру.

2

И снова пришел в движение весь огромный фронт. От Баренцова моря до Черного — в Карелии, у Ленинграда, в Белоруссии и на Украине — Красная Армия громила, раскалывала на части и гнала с советской земли гитлеровские войска. Каждый день приносил новые радостные вести с полей битвы, почти каждый вечер мир облетали слова сталинских приказов, возвещая человечеству о новых победах советского оружия, об освобожденных городах. Москва салютовала победителям, превращая ночь в день.

18 июня войска Ленинградского фронта прорвали третью линию обороны финнов — линию Маннергейма — и заняли город Бьеркэ у Финского залива.

20 июня алое советское знамя поднялось над Выборгом.

26 июня Москва салютовала освободителям Витебска.

29 июня враг был изгнан из столицы Карело-Финской ССР Петрозаводска и из Кондопоги.

2 июля была освобождена Вилейка, 4 июля — Полоцк, 8 июля — Барановичи.

3 июля белорусский народ вновь обрел свою столицу — Минск.

10 июля войска 1-го Белорусского фронта форсировали реку Шара на участке протяжением 60 километров и заняли Слоним. В этот же день были освобождены уездные города Советской Литвы — Новые Свенцяны и Утена. В своем стремительном движении советские войска перерезали шоссе Даугавпилс — Каунас.

12 июля войска 2-го Прибалтийского фронта перешли в наступление из района северо-западнее и западнее Новосокольников, прорвали оборону немцев и за два дня продвинулись на 35 километров, расширив прорыв до 150 километров по фронту. В ходе наступления войска фронта заняли большой железнодорожный узел и важный пункт обороны немцев — город

Идрицу и более 1000 населенных пунктов.

13 июля войска 3-го Белорусского фронта освободили столицу Советской Литвы — Вильнюс.

14 июля были освобождены Волковыск и Пинск.

16 июля — Гродно.

17 июля — Себеж, Освея, Свислочь.

И тогда...

...В конце весны латышская дивизия выросла в корпус. Командир гвардейской дивизии генерал Бранткалн был назначен командиром нового корпуса и сразу получил приказ направиться со своими частями на запад, — на этот раз к границам Латвии.

Наступила великая долгожданная пора. То, о чем три года мечтал латышский воин, — исполнилось! Через день, через несколько часов начинается сражение на земле Латвии.

Ты слышишь нас, дорогая Родина? Твои сыны стоят у порога! Они не одни, — вместе с ними пришли друзья и братья со всех концов советской земли, они несут в своих сильных руках, как самое драгоценное сокровище, твою свободу и счастье!

Много светлых минут пережито за эти три года, много отпраздновано побед, но никогда сердце латышского стрелка не трепетало таким торжественным чувством, как в эту ночь. Это был тот же священный трепет, который охватил сынов Украины, когда они увидели перед собой воды Днепра, то же глубочайшее душевное волнение, которое испытал белорусе, когда он ступил на свою многострадальную землю, или ленинградец, когда над городом Ленина расцвели яркие созвездия салюта победы, возвещающая конец блокады. Этих чувств человек не забывает до последнего своего вздоха;

Войска шли темными освейскими лесами до старой границы близ Шкауне. Позади, в глубокой низине, остался недавний партизанский район с мраком и тишиной первобытных лесов, а перед глазами открылась латгальская возвышенность с ее своеобразными крестьянскими дворами, лугами и мелкими полосками пашен.

17 июля в 4. 15 утра латышские гвардейцы ступили на землю Советской Латвии. Только что кончилась теплая июльская ночь, брызнули первые солнечные лучи, как золотые копыя.

Что тут произошло — не описать словами.

Петер Спаре глядел на запад, — там, на пригорке, сверкало на солнце белое здание костела. В загоне паслась лошадь, где-то пели петухи, только не слышно было лая собак. Тихая, немая, еще дремала впереди униженная

Латвия, не зная, что пришло время пробудиться для новой жизни.

«Вот и опять дома, — думал Петер. — Вернулся все-таки. Ждет ли тебя кто-нибудь на этой земле? И есть ли кому пролить за тебя слезу любви и горя, если бы ты не вернулся?»

Стрелки обнимались, подбрасывали в воздух пилотки, целовали землю и поздравляли друг друга, как в большой праздник. Стихийно возникли митинги. Над крышей ближнего дома взвилось и затрепетало на утреннем ветру алое знамя, и жители — сначала боязливо, потом все смелее и доверчивее — начали выходить из домов. Они изумленно прислушивались к речи стрелков.

— По-латышски говорят! Красноармейцы, а латыши... Даже офицеры!

Они все еще не верили, все еще чего-то боялись. На лицах застыло выражение забитости. Картины вчерашних ужасов еще стояли перед их глазами. Так вышедшего из темноты человека ослепляет солнечный свет.

Некоторые стрелки встретились с родными, и радость встречи сливалась с чувством горя. «Твоей матери уже нет... Немцы убили твоего брата... Сестра неизвестно где, угнали в Германию, и бог знает, увидишь ли ты ее...»

Но сейчас нет времени горевать, наступил час расплаты. Вперед, советские гвардейцы! На Ригу! На Берлин! Враг еще не добит.

Петер Спаре, гвардии капитан и командир третьей роты, снова становится в голове колонны, и стрелки идут дальше.

На Дагду... На Вишки... через пустоши Латгалии к синим лесам и просторам Видземе. Со снайперской винтовкой за спиной шагает гвардии старший сержант Аустра Закис, и ее каштановые волосы буйной волной выбиваются из-под пилотки.

Пылит дорога, грохочет канонада, в воздухе гудят самолеты. Советская Армия наступает.

Что чувствует человек, который три года подряд жил среди постоянных опасностей, в постоянном окружении, который, подобно преследуемому зверю, укрывался в лесах и сам преследовал своих преследователей; что чувствует он, прожив столько времени, как на острове, в тот день, когда впервые слышит за лесом поступь приближающейся армии-освободительницы, слышит артиллерийскую канонаду? Его охватывает нетерпение, он уже рвется к друзьям, он готов

сейчас же выйти из чащи навстречу великой армии и слиться с нею — снова стать полноправным, свободным и неприкосновенным советским человеком. Выйти на шоссе и ходить на виду у всех людей: вот я, красный партизан и народный мститель, — кто мне сегодня может угрожать?

Все это чувствовали — Ояр Сникер, Рута, Имант Селис, Акментынь, Марина... все те, кто в это время воевал в немецком тылу, — и прислушивались к приближающимся шагам Красной Армии. Целые годы они терпеливо жили «на острове», а теперь им не хватало сил подождать еще несколько дней, которые их отделяли от долгожданного мига. Паул Ванаг со своими людьми уже соединился с Красной Армией, лейтенант Миронов со своей группой уже сменил невзрачное одеяние партизана на мундир советского офицера. Волнение охватило почти все партизанские отряды. Только Акментынь еще энергично действовал в Земгалии, а бывший батальон Капейки был по-прежнему повернут против Риги. Руководство дало приказ партизанам: оставаться в своих районах до последнего момента и не позволять немцам производить разрушения.

— Терпение и спокойствие, — десятки раз повторял своим партизанам Ояр. — Мы еще не все сделали.

А у самого радость бушевала в груди, когда он слушал сообщения Совинформбюро.

23 июля войска 3-го Прибалтийского фронта освободили Псков. В тот же день войска 2-го Прибалтийского фронта выгнали противника из Лудзы и Карсавы и перерезали шоссе Резекне — Даугавпилс.

27 июля освободили Резекне и Даугавпилс; 28 июля фронт продвинулся еще дальше на запад мимо Прейлей и Вилан.

30 июля полки генерала армии Баграмяна выбили немцев из Бауски и заняли станцию Глуда, а днем позже Москва салютовала освободителям Елгавы. Еще день — и наши в Тукуме, а авангард 1-го Прибалтийского фронта прорвался до берега Рижского залива, отрезая все пути отступления Балтийской группе немецкой армии. Паника в Риге!

7 августа — Лубана, 9 августа — Ляудона, 13 августа — Мадона!

Теперь Ояр Сникер сказал:

— Мы выполнили указание правительства. Дольше здесь оставаться нет смысла. Сослужим еще раз нашей Родине партизанскую службу.

Никто не знал так хорошо каждую лесную тропинку, как они. Разбившись на несколько групп, партизаны Ояра блокировали все второстепенные дороги и не позволяли отступающим немецким войскам сворачивать с главных шоссе. Когда команды немецких факельщиков пытались поджечь или взорвать важную постройку, достаточно было

только дать несколько автоматных очередей или бросить ручную гранату, и они без оглядки кидались прочь. Таким образом удалось спасти от разрушения десятки школ, народных домов, мельниц и молочных заводов.

Но у Ояра был план куда лучше. Он подробно объяснил его своему начальнику штаба Мазозолиню, и тот вместе с капитаном Эзеринем и небольшой группой партизан вышел навстречу войскам Красной Армии. Надо было провести через фронт по тайным лесным тропинкам какую-нибудь регулярную войсковую часть — сколько уж командование найдет нужным выделить для этой операции, — а затем общими силами нанести немецким частям удар с тыла в самую уязвимую точку. Если это удастся, то в немецких полках должно возникнуть замешательство, даже паника, — будет создано впечатление окружения, а со времени Сталинграда немцы стали чрезвычайно чувствительны к таким вещам. Они попытаются форсировать отступление, но в том районе для тяжелой техники был только один путь отступления — через небольшую речку, по единственному мосту возле Упескрога.

Этот самый мост Ояр давно облюбовал. Здесь он хотел дать последний, самый большой бой. Только бы Мазозолинь с Эзеринем успели...

Ночью они миновали густой, запущенный лес и заняли позиции по обе стороны моста. Главные силы — около двухсот человек — укрылись на западном берегу реки, а полсотни партизан под командой Ояра Сникера расположились на восточном берегу в небольшой, но густой роще. Охрану моста они ликвидировали без большого шума...

— С этого момента не пропускать через мост ни одного немца! — прозвучал приказ командира. — Мы закупорили бутылку.

Через десять минут уже им пришлось пустить в ход оружие. По шоссе быстро приближалась со своими орудиями немецкая артиллерийская часть. Немцы очень спешили. Здоровенные кони были все в мыле, а ездовые, не переставая, нахлестывали их. Подпустив немцев метров на двадцать, партизаны открыли перекрестный огонь по прислуге первого орудия.

Впечатление было потрясающее. Несколько верховых упали с лошадей, раненые лошади бились на пыльной дороге. Началась паника. Немцы попытались повернуть орудия, но образовалась толчея, и за облаками пыли ничего нельзя было различить.

— Русские! Мы окружены! Назад! — кричали гитлеровцы.

Партизаны пустили в дело пулеметы, и крупная цель принимала каждую пулю. Когда утихла суматоха и пыль улеглась, оказалось, что вся дорога усеяна трупами. Вдоль и поперек ее, в канавах — везде были

брошенные орудия. Только несколько упряжек перебрались через канаву и бешеной рысью мчались поперек поля, в сторону от дороги.

После этого подошла пехота, но быстро откатилась назад, заметив, что путь прегражден. Чтобы создать впечатление, будто против немцев стоят крупные силы, Ояр расположил по обеим сторонам дороги на протяжении километра по одному автоматчику через каждые сто метров.

Восемь часов они удерживали подходы к мосту, и ни одна машина противника, ни одно орудие или танк не прошли по нему. Все они остались на берегу или завязли в болоте.

К вечеру прибыли Эзеринь с Мазозолинем, а с ними целый батальон легких танков. Ближе и ближе подступал с востока грохот боя. Немецкие части отчаянно рвались из тисков окружения, но уже было поздно. Заметив советские танки, немцы метались во все стороны, а более сообразительные подымали руки и сдавались в плен. Еще несколько жарких часов, и с восточной стороны показались советские войска. Партизаны вышли им навстречу и выстроились. Ояр Сникер сдал важный стратегический мост в полной сохранности командованию Красной Армии. Ни на минуту не задерживаясь, по мосту нескончаемым потоком двинулись танки, орудия, тягачи, грузовики и пехота, не давая противнику опомниться и перестроиться для обороны.

...Итак, работа окончена. Партизаны стирали белье, варили сытный армейский обед и отдыхали. Не сразу привыкли они к новому положению, к тому, что больше не надо оглядываться на людей, что можно ставить палатки хоть возле дороги.

После того как Ояр повидался с руководящими работниками республики и узнал, что случилось с другими партизанскими отрядами, партизанскую молодежь призывного возраста направили в латышский корпус. Женщины и пожилые мужчины разошлись по своим дворам, а у кого дома не были еще освобождены, те остались работать в восточных уездах Латвии. Каждому находилось место, никто не был лишним.

Как-то Ояр с Рутой отправились навестить латышских стрелков. Дивизия вела бой, и разыскать всех друзей не удалось. Поговорили только с Петером Спаре.

— Вот ты какой стал, — улыбался Петер Спаре, вглядываясь в загорелое, будто высушенное солнцем лицо Ояра. — Воскрес из мертвых!

— А сам? Бывший каторжанин, потом директор завода, тишайший парень, — теперь лихой гвардии капитан и командир роты. Скоро на груди места не хватит для орденов. Старый Спаре не узнает, скажет: идите своей дорогой, молодой человек, мы ждем сына. Жена — та сразу к фотографу

потащит.

Пока они шутили, стараясь скрыть под мужской грубоватостью чувство нежности, Рута вдоволь наговорилась с Аустрой. Она узнала о гибели Лидии и Силениека, и у обеих на глазах показались слезы. Аугуст сейчас майор, думает остаться в армии после войны. Жубур уже подполковник, его назначили начальником штаба полка. Айя в Даугавпилсе, работает в ЦК комсомола.

— Кто это? — спросила Аустра, показав глазами на Ояра. — Твой начальник?

— Бывший командир нашего партизанского полка, — ответила Рута и слегка покраснела. — Помнишь, мы говорили... Он, оказывается, не погиб.

«Значит, это и есть он, — подумала Аустра и уже более пристально посмотрела на Ояра. — Ничего. С этим можно смело пойти в самую дальнюю дорогу. Так же, как с...»

— Да, скоро совсем будем дома, — сказала она.

4

Мара Павулан сошла с поезда на станции Резекне. Вид разрушенного города, который она знала и до войны, произвел на нее удручающее впечатление. Взорванные дома с провалившимися крышами скорбной вереницей тянулись через весь центр, они напоминали огромных искалеченных животных с переломленным хребтом. Горы развалин, мрачные пожарища, закопченные стены с черными провалами вместо окон и везде — битый кирпич, исковерканное дерево и металл.

Из Резекне она поехала на грузовике в Даугавпилс. Дорогой было все то же — взорванные пути, сожженные станционные постройки, разрушенные мосты. Не были пощажены и крестьянские дворы. Ветер носил по полям хлопья остывшего пепла. Но человек работал. Строил новые мосты, засыпал ямы на шоссе, возил из лесу бревна для новых построек. На полях стояли копны хлеба, везде звенели косы.

В Даугавпилс Мара приехала под вечер и, едва устроившись в общежитии художественного ансамбля, пошла на берег Даугавы. Снова развалины, целые кварталы развалин! Мосты через Даугаву были взорваны, но тысячи рабочих уже строили новый железнодорожный мост. Тихо и устало текла родная река, будто нехотя несла она свои воды к устью, которое еще было в руках врага. По низкому понтонному мосту шли военные машины. На станции маневрировали паровозы, и гудки их

казались голосом жизни среди развалин.

Вечером в кинотеатре «Эден» был концерт. Мара вспомнила довоенные гастроли в великолепном Народном доме. Новой сцене даугавпилсского театра завидовали тогда даже рижские театры. Сейчас приходилось довольствоваться плохонькой эстрадой в длинном, похожем на сарай помещении. Одно крыло Народного дома было взорвано, а остальная часть здания сохранилась только благодаря счастливой случайности: из его подвалов саперы извлекли большое количество взрывчатки.

После концерта к Маре Павулан подошла Марта Пургайлис — в военной шинели, подобранная, свежая.

— Опять все в кучу собираемся? Давно в Даугавпилсе, товарищ Павулан?

— Первый день, Марта. Полна впечатлений, как улей — пчелами. Все жужжит и гудит, не могу в себя прийти.

— Я скоро уезжаю отсюда, — рассказала Марта. — Несколько недель проработала в Илукстском уезде — помогала восстанавливать в нескольких волостях советскую власть. Сейчас меня хотят направить в Тукум.

— Трудно, да?

— Начинать все трудно, но я, по правде говоря, думала, труднее будет. Сейчас главное — найти подходящих людей. А эти подходящие люди большей частью на фронте. И запаздывать нельзя. Уборочная... Скоро надо начинать молотьбу, пора и о севе озимых думать.

Мара видела, что Марте уже трудно говорить о чем-нибудь другом, — так ее увлекала будущая работа.

— Что, Петерит с вами?

— Нет, куда же его сейчас. Приедет с детским домом, но это не скоро еще. Хорошо, если успеют перевезти до холодов.

— Не забывайте меня, Марта, — сказала Мара на прощанье. — Когда Рига освободится, будете, наверно, приезжать по делам. Обязательно навестите... Я вам и адрес дам, да и в театре можно узнать... Никогда я не забуду, как мы с вами встретились.

— И я не забуду, Мара. — Марта в первый раз назвала ее так. — Время-то какое было.

Марта ушла к своей оперативной группе, а Мара в общежитие.

— Тебя гость ждет, — сказала ей в коридоре артистка ансамбля и соседка по комнате. — Уже с полчаса сидит. Заходи, я там свечу зажгла.

Когда Мара открыла дверь в тесную комнатку, где помещались только две железные койки, столик и два стула, навстречу ей поднялся Жубур.

— Не дадут тебе и обжиться как следует на новом месте, сейчас же являются непрошенные гости. Что, хорошее у меня чутье?

— Милый, ты сам хороший! — Мара уткнулась лицом ему в грудь. — Как ты меня нашел? Я ведь только сегодня приехала.

— Я тоже только сегодня, а завтра утром уже надо быть в полку. Встретил Айю, она сказала, как тебя найти.

— Да я сама не видела Айю.

— Не забудь, что она жена разведчика.

— И ты из-за меня приехал сюда?

— Нет, родная, еще не настали те времена, когда начальник штаба полка может отлучаться из части по семейным обстоятельствам.

— Если бы и настали, ты бы не приехал. Тебе просто пришлось нечаянно натолкнуться на меня.

— Посчастливилось, Мара. Сегодня мне вообще неслыханно везет. Все свои дела устроил в каких-нибудь полчаса. Я набрал всяких материалов к предстоящему дивизионному празднику, и мне еще пообещали прислать правительственную делегацию.

— Может быть, и мне подать заявку?

— Приглашаю от имени полка.

— Благодарю вас, товарищ подполковник, вы так любезны. А теперь станем опять серьезными, — сказала Мара, садясь на кровать против Жубура. — Скажи мне, но только честно: ты меня еще хоть чуточку... любишь?

...На улице накрапывает дождик. Жубур отворяет дверцу маленькой трофейной машины. Стоя на крыльце, Мара сквозь темноту чувствует его улыбку. Заработал мотор, машина трогается с места.

Мара долго не уходит с крыльца, смотрит вдаль.

«Неужели настанет такой день, когда нам больше не надо будет прощаться?»

В тот самый вечер, когда полки Красной Армии начали бои за Резекне и Даугавпилс, в Саласпилском концентрационном лагере поднялась суматоха. Всех женщин, которые еще там остались, согнали в четвертый барак. Никто не знал, что это значит, выпустят ли их на свободу, ушлют ли в Германию, или посадят на грузовик и повезут в лес, как это было со многими заключенными.

Первый транспорт с женщинами отправили в Германию в апреле. Время от времени целыми партиями отвозили на расстрел больных и неработоспособных.

Рейниса Приеде не услали с первыми партиями мужчин, потому что комендант лагеря Краузе обратил внимание на то, как он ловко моет его любимую немецкую овчарку — породистого Рольфа. Такого полезного человека отсылать не стоило. И вот благодаря этому Приеде выполнял в лагере разную работу и раз в неделю мыл Рольфа. Когда в Саласпилсе появились так называемые «красногрудые» — то есть легионеры, которые дезертировали с восточного фронта и затем попали в лапы немцам, — у Приеде появился опасный конкурент в лице одного лесника. Раньше у него самого водились собаки, и он знал, как с ними обращаться. Теперь Рейнису Приеде дали отставку и с первой же партией отправили из лагеря. Анна Селис больше его не видела.

Легионеры — «красногрудыми» их прозвали потому, что на груди у них был нашит красный полумесяц, — несли в лагере вспомогательную службу: охраняли остальных заключенных, наблюдали за рабочими группами. Но и тех и других держали за двойной изгородью из колючей проволоки, и никто не мог сказать, какая судьба ожидает их всех.

— Держись, пока можешь, а там где-нибудь в лесу ликвидируют и нас, — рассуждали между собой легионеры.

Вести извне проникали в лагерь самыми разнообразными путями. Заключенные были довольно хорошо осведомлены о многих событиях и даже узнавали кое-что о родных. Так, Анна Селис еще осенью 1943 года узнала, что Имант находится у партизан.

«Крепись, сынок, — мысленно подбадривала она его. — Теперь тебе одному за всю семью приходится бороться. Узнаю ли я тебя, если нам суждено еще свидеться? Наверное, перерос свою мать на целую голову, милый мой мальчик. А мать твоя совсем высохла и старенькая стала — безо времени состарилась. Не узнаешь ты ее, Имант...»

И она и другие заключенные знали о приближении Красной Армии. Но вместе с радостью в сердцах росла и тревога: дадут ли дожждаться?

Ночью все думали только об одном: что принесет завтра? Но наступало утро, и ничего не случалось. Может быть, еще не прибыли вагоны? Может быть, в лесу, еще не вырыт большой ров? Никто ничего не говорил.

Прошло еще несколько дней. Однажды вечером всех женщин выгнали из барака. Матерей оттаскивали от детей и выталкивали во двор. Надрывающие сердце крики и плач слышны были далеко за пределами

лагеря, они не давали спать администрации. Краузе долго ворочался в постели, но, наконец, не выдержал и вызвал своего помощника Видуша.

— Заткните рты этим потаскухам! Что они мычат, как коровы!

— Это у которых отнимают детей, — объяснил Видуш. — Плачут дети, орут матери. Силой здесь ничего не поделаешь. Когда у женщины отнимают ребенка, она ничего не боится.

— Тогда оставьте их до утра. Всю окрестность на ноги подымут, еще подумают, что мы их приканчиваем. Пусть еще одну ночь проведут со своими щенятами.

В пять часов во двор въехали грузовые машины, и женщинам приказали взбираться в кузова. В каждую машину сажали по тридцать пять человек. То, чего палачи не сделали ночью, они довели до конца сейчас. Грубые руки снова вырывали у женщин детей. Над лагерем снова стоял сплошной плач. Снова нервничал комендант Краузе. Впрочем, в то утро у него были другие заботы: он отправлял в Германию своего чистокровного Рольфа; неизвестно еще, как ему потом придется эвакуироваться самому.

Когда машины тронулись, Анна Селис подумала: «В какую сторону повернут, когда выедут из ворот? Если направо, значит — конец, если налево...»

Она не знала, что их ждет налево.

Передняя машина, чихая отработанным газом, медленно выехала за ворота. На миг остановилась, будто охваченная теми же сомнениями и неизвестностью, которые мучили Анну Селис. Потом мотор фыркнул, машина подпрыгнула так, что женщины попадали от толчка друг на друга, и повернула влево.

«Еще нет», — подумала Анна. Но она и сама не знала, к лучшему это или к худшему.

Машины быстро катили по гладкому асфальту мимо лагеря. Многим матерям плач их детей слышался до самой Риги и еще дальше. Он звучал в их ушах долгие месяцы подряд.

Анна смотрела на старые деревья, на бараки, на двойную изгородь из колючей проволоки, за которой она провела два года. Было бы счастьем, если бы можно было забыть все это, как забывают кошмарный сон в момент пробуждения.

Через полчаса колонна машин въезжала в Ригу. Редкий пешеход наблюдал в то утро эту мрачную картину. У таможенного двора караван остановился, заключенным приказали слезать. Дальше их погнали пешком — по Экспортной улице в порт.

Весь день они простояли на берегу, под жарким августовским

солнцем, и вооруженная охрана, как изгородь из колючей проволоки, окружала эту густую толпу оборванных людей, которые ждали решения своей участи. В порту гремели подъемные краны, грохотали лебедки, и грузовые машины нескончаемым потоком везли сюда из города награбленные в Латвии богатства. Фабрично-заводское оборудование, станки, электромоторы, мебель, груды одежды, промышленные изделия, бочонки со сливочным маслом — здесь было все, и все пожирали голодные трюмы пароходов. Грабитель старался вовремя укрыть награбленное в надежном месте, а заодно прихватить с собой и толпу рабов.

В шесть часов вечера заключенных женщин загнали в межпалубное пространство большого серого парохода. Идя по сходням, Анна Селис услышала собачий лай: чистокровный Рольф стоял рядом с матросом, который держал его на поводке. Узнав по запаху прибывших, пес ощетинился и стал рваться с поводка.

Матросы закрыли люки, и женщины остались в темном, тесном и душном помещении. За железной стеной вскоре монотонно заработали машины.

Пароход отчалил. Для Анны Селис начался новый, полный неизвестности путь через море — в чужую, ненавистную страну.

Глава одиннадцатая

1

Товарищи, приехавшие в Даугавпилс с донесениями о проделанной в Елгавском и Тукумском уездах работе, привезли Ояру письмо от Акментыня.

«Итак, я благополучно покончил с цыганской жизнью, — писал он. — Местных распустил по домам, а молодые ушли в армию. И сам я и товарищи из штаба остались без работы, и теперь я раздумываю, куда податься. У меня такая мысль, Ояр, что нашу работу рано считать законченной; ведь еще не освобождена Курземе, а дундагские и кулдигские леса ждут не дождутся таких дружков, как мы с тобой. Как ты на этот счет? Не пробраться ли нам с тобой в этот курземский муравейник и немного разворошить его, чтобы немцам веселей было? Рация и радистка находятся еще у меня. При желании мы еще можем

хорошо послужить Красной Армии. Мне лично очень улыбается работа возле Лиепай. Ты ведь тоже наполовину лиепаец. Возможно, что будет по пути. Будь так добр, сообщи мне, как в центре смотрят на такие вещи. Я могу приехать к тебе для переговоров, но лучше, если ты сам приедешь и посмотришь на месте, что можно сделать. Меня легко найти через Тукумский исполком.

С партизанским приветом

Криш Акментынь».

Письмо пришло в самый подходящий момент: накануне республиканский партизанский штаб обратился к Ояру с предложением пробраться в Курземе, организовать борьбу в тылу и информировать по радио командование обо всем, что происходит за линией фронта.

«Какой умница этот Акментынь, — подумал Ояр. — Сам догадался, что делать. Конечно, милый Криш, мы с тобой еще не один день повоюем и расстанемся с нашим оружием не раньше того момента, когда из Латвии прогонят последнего немца».

Вечером он провел короткое совещание с товарищами, которые еще остались с ним. Эзеринь перешел на службу в Наркомвнудел, Вимба работал секретарем уездного комитета партии в Латгалии; начальник штаба Мазозолинь вернулся в Гвардейскую латышскую дивизию, а комсорга Рейнфельда послали руководить комсомольской организацией в уезде. Айя имела виды и на Руту, но ее не так-то легко было взять: еще продолжалась радиосвязь с дальними группами партизан, нельзя же было каждый день менять шифровальщика. Так и получилось, что у Ояра осталось еще пять-шесть человек.

Имант Селис вернулся к Ояру вскоре после того, как узнал про эвакуацию Саласпилского лагеря.

— Может быть, мать в Курземе увезли, — сказал он Эльмару Ауныню. — Там бы мы ее нашли. Ты мне поможешь?

— Чего же спрашивать? Был ведь у нас уговор держаться вместе до самого конца войны.

— И после войны. То есть если живы останемся, — добавил Имант.

Предложение Ояра пришлось им как нельзя более кстати. Партизаны с вечера уложили в грузовик имущество, чтобы выехать утром пораньше.

— У меня к тебе просьба, Ояр, — сказала, подходя к нему, Рута. — Здесь есть одна моя знакомая, ей надо в Тукум на работу. Ты не разрешишь

ей поехать с нами на машине?

— Кто она такая?

— Это Марта Пургайлис. Ее муж воевал в дивизии, убит весной сорок третьего года под Демянском Она коммунистка.

— Хорошо, Рута, пусть едет. Места хватит. Только не надо много разговаривать про наши дела.

Ранним сереньким утром партизанский «зис» переехал по мосту Даугаву и повернул в сторону Литвы. Ехать ближайшим путем через Екабпилсский уезд на Бауску и Мейтене они не могли, так как часть дороги была еще в руках немцев. Сделав большой круг по северным уездам Литвы, они проехали вдоль линии фронта, затем повернули на северо-запад и в два часа дня были в Тукуме.

В исполкоме Ояр узнал, где найти Акментыня, и направился прямо к нему. Марте Пургайлис предложили на другой же день выехать в одну из волостей и налаживать там работу волисполкома.

— У нас уже дожидаются товарищи из Вентспилса и Талей, — сказал заместитель председателя. — Но мы каждому новому человеку рады — столько кругом работы. Что, приятно посмотреть на уцелевший город?

— Еще бы не приятно, — ответила Марта. — Немцы, наверно, не успели?

Заместитель улыбнулся.

— Без штанов удирали, когда танки Баграмяна ворвались в город. По правде говоря, не больше батальона было, но фрицам и этого достаточно оказалось — сразу дали тягу. Значит, завтра, товарищ Пургайлис. Придите в девять часов, поможем вам добраться до волости. А сейчас загляните в общий отдел, там вам выдадут талоны в столовую.

На окраине городка, где дорога поворачивает в сторону Энгуре, в небольшом домике произошло свидание старых боевых товарищей. Рута с Мариной убежали в сад и, сев под тяжелыми от плодов ветвями яблонь, наговорились за целый год. Многие они рассказали друг другу, но многое осталось не сказанным, и это надо было угадать. Они перебирали воспоминания о партизанской жизни в лесу, и обе признались, что хорошо бы повоевать еще. Марина чувствовала, что появление Ояра сулит важные перемены: Акментынь и раньше на что-то намекал. Бог знает, какие планы они «высиживают».

А те действительно в это время «высиживали» планы, уткнувшись носами в карту.

— Перейти фронт, это пустяки, — сказал Акментынь. — Вспомни наш старый маршрут, когда мы выходили из Курземе. Им можно

воспользоваться и на этот раз. Вопрос только в том, где зацепиться. Идти на дундагские леса незачем. Чего мы не видали в этой глуши? Мы ведь не скрываться идем, чтобы как-нибудь спастись, пока немцев не прогнали, а дело делать. А это возможно только там, где самое большое движение — в самом муравейнике.

— Верно, Криш, — согласился Ояр. — Дундага не подходит. Но мне кажется, мы напрасно мудрим.

— Как — мудрим? — удивился Акментынь.

— В Айзпутском уезде действует группа Савельева. У меня с нею связь. Сначала доберемся до нее и там посмотрим, с чего начать.

— Гм, пожалуй что так. Очень выгодное местоположение. До Лиепай раз плюнуть, до Кулдиги тоже рукой подать. Мы, как еж, засядем между ними и будем колоть иглами во все стороны.

— Ну, не правда разве? — улыбнулся Ояр. — А какой будет здоровенный еж!

— Тогда нечего и рассуждать. Завтра двинемся.

— Почему завтра, кто нам мешает сделать это сегодня вечером?

— Видишь ли, у меня тут одно дельце. — Акментынь немножко смутился. — Марине обещал... ну, радистке нашей, море показать. И самому чертовски хочется посмотреть, что с ним, родным, стало после таких бурь. Я ведь, знаешь, на море вырос. После трех лет разок бы поплавать в соленой воде. Съездим в Кемери, Ояр.

— Ну, съездим, если уж тебе так хочется, — пожал плечами Ояр.

Предложение Акментыня всем очень понравилось. Наскоро пообедав сытным овощным супом и вишнями с молоком, они поехали в Кемери. Солнце еще стояло высоко, когда машина остановилась у здания гостиницы.

— Цела! Цела! — ликовала Рута. — Вот хорошо! Когда кончится война, будем здесь лечить ревматизмы, которые нажили, сидя в болотах.

Они поднялись на башню. Кругом тянулись леса, и легкая прозрачная дымка, как синеватая вуаль, стлалась над ними. А вдали, за зеленым массивом, открывалась чистая гладь залива. Все было тихо, только редкие орудийные выстрелы и автоматные очереди со стороны Риги напоминали о том, что эту узкую полоску земли с двух сторон обступили вражеские войска.

— Не надо высовываться! — предупредил их сторож гостиницы. — Могут заметить немецкие наблюдатели, тогда жди подарочка. Вчера несколько снарядов совсем близко упало.

— Эльмар, ты раньше когда-нибудь видел море? — спросил Имант.

— В первый раз. Вот, думаю, хорошо, что мы сюда приехали. Красиво!
— Когда я стану моряком, тогда удастся посмотреть на берег с моря, — сказал Имант.

Больше всех радовалась Марина.

— Теперь я понимаю, почему Акментынь так тосковал по нему, — сказала она Руте. — Какая прелесть это море, — безбрежное, свободное... Красиво у тебя на родине, Рута. Мне нравится. Я бы здесь с удовольствием...

Она замолкла и долго-долго смотрела после этого вдаль. Солнце уже садилось, вода у горизонта пламенела, как расплавленное золото.

Исккупаться им не удалось: с обеих сторон за пляжем следили неприятельские снайперы, а он был виден как на ладони.

Они походили еще по парку, попробовали целебную воду из источника и отправились обратно в Тукум. Ояр не жалел, что согласился на эту поездку: не беда, если люди отдохнут немного перед трудной, опасной работой. «Фронт можно перейти и завтра ночью», — подумал он, когда показался раскинувшийся на холме город, уже окутываемый вечерними сумерками.

Шофера с машиной отпустили в тот же вечер в Даугавпилс, потому что в дальнейший путь надо было отправляться пешком.

Тихий, теплый вечер Из сада пахло нагретыми за день яблоками и цветами. Где-то раздавалась песня. И когда город уже уснул, на окраине, в уединенном домике, долго еще горела лампа за затемненными окнами, и почти до самого утра проговорили старые товарищи.

Утром они встали попозже — надо было выспаться хорошенько перед уходом из города; кто знает, удастся ли поспать следующей ночью и в каком уголке леса ждет их подушка из мха.

В десять часов утра Акментынь пошел в уком за газетами. Остальные в это время переоделись в поношенную крестьянскую или рабочую одежду. Пробовали, как ловчее прятать под ней автоматы и ручные гранаты, чтобы случайные прохожие не догадались, кто они такие. Рацию решили взять только одну — и с ней было достаточно хлопот: эта штучка не влезала ни в одну грибную кошелку.

Акментынь вернулся обратно быстрее, чем его ожидали.

— Ну, заваруха! — еще издали крикнул он Ояру, который с видом

незанятого человека прохаживался по саду. — Нам надо моментально уходить отсюда. В городе немцы.

— Немцы? — Ояр не хотел верить своим ушам. — Пленные?

— Какие пленные — моторизованная часть. Вон, слышишь, стреляют. У них и танки есть.

Из центра города действительно стали доноситься оружейные выстрелы.

— А, черт, прорыв... — Ояр покачал головой. Мысленно он уже взвешивал ситуацию. Хорошо, что остановились на окраине, — до леса всего несколько минут ходу. Немцы, очевидно, ворвались в город по главным дорогам и в первую очередь поспешат блокировать центр. — Да, надо уходить. Нехорошо, если они найдут нас здесь. Не знаешь, успел уйти уездный актив?

— Большинство ушло, но кое-кто, кажется, остался. Слишком неожиданно это вышло, не успели всех оповестить. Эй, ребята, девушки!

Подробных объяснений никто не спрашивал. Все схватили свои вещи и, одеваясь на ходу, быстро пошли к лесу. Ояр проверил, все ли на месте, и указал направление.

Двое партизан Акментыня вышли вперед и разведали путь. В ста метрах за ними шли остальные — все время вдоль опушки, параллельно дороге. Благополучно пройдя несколько километров, партизаны заметили впереди женщину. В расстегнутой шинели, с небольшим вещевым мешком за спиной — она быстро шагала по дороге.

— Батюшки, да ведь это Марта! — ахнула Рута. — Она, наверно, еще ничего не знает, Ояр... ее надо предупредить.

— Сейчас. — Ояр сунул в рот два пальца и свистнул.

Марта услышала свист и повернула голову.

— Идите сюда! — негромко крикнул Ояр и помахал рукой.

Марта так и не поняла, кто ее окликает, и недоумевающе глядела на опушку леса, на видневшихся из-за деревьев людей.

— Не узнает нас, потому что мы переоделись, — сказала Рута. — Подожди, я сбегая за ней.

Не дождавшись ответа, она выбежала на дорогу к Марте.

— Идем скорее в лес... Здесь в любую минуту могут показаться немцы.

— Немцы? — Марта вздрогнула.

— Да, да. Они уже в Тукуме. Мы едва успели уйти. Ой, они уже здесь! Видишь? Скорее надо уходить.

Вдали на дороге уже виднелось облако пыли. Мотоциклы, танкетки,

несколько грузовиков с солдатами...

Они побежали в лес. Отойдя немного вглубь, партизаны легли на землю и из-за деревьев наблюдали, как по дороге мимо них проносилась колонна.

— Спешат к побережью, — сказал Акментынь. — Хотят перерезать все дороги. Эх, жалко, стрелять нельзя. Кусок слишком велик — подавимся.

— Ты о драке лучше забудь, — серьезно сказал Ояр. — Могут окружить лес и вычесать нас, как гребешком.

Он обернулся к Марте:

— Вы куда направлялись-то?

— В Берзмуйжу. Уездный исполком послал на работу в волисполком. Там, кажется, еще и председателя нет.

— Неужели вы ничего не знали?

— Откуда же? Утром я еще разговаривала с заместителем председателя. Они думали отправить меня в Берзмуйжу на подводе, а мне не хотелось ждать. Сказала, что дойду пешком. Путь не очень дальний.

— Ваше счастье, что не стали ждать, — сказал Ояр. — Вместо лошади дождались бы немецких танков и «фердинандов».

— А самое большое счастье — это то, что мы тебя увидели, — подхватила Рута. — Ты посмотри на себя.

— Шинель вам надо сейчас же снять и спрятать в кустах, — посоветовал Ояр.

— Да, это можно, погода еще теплая, — согласилась Марта. Вынув из кармана носовой платок и завернутый в газету ломоть хлеба, она сняла шинель, свернула ее и стала оглядываться, ища удобное место.

— Давайте сюда, я вам ее спрячу, — сказал Акментынь.

Они оставили близ дороги двух наблюдателей, а сами ушли поглубже в лес. Там, под старой елью, Ояр Сникер провел совещание.

— С одной стороны, наша задача теперь облегчается, — сказал он. — Линию фронта переходить не надо. Хоть и не вовремя, но мы уже очутились в немецком тылу; остается только воспользоваться этим обстоятельством и готовиться к постоянному житию в лесу.

— Но ведь не здесь же? — удивилась Рута.

— И здесь неплохо, если бы не было места получше.

— А где получше? — спросила Рута.

— У Савельева. Помнишь, ты сама расшифровывала его радиogramмы. Мы направляемся к нему... Подойди сюда, Криш. Маршрут надо всем знать наизусть. Не может разве случиться, что нам придется разбиться на

мелкие группки? Предположим, в каком-нибудь месте рассеют нас немцы или шуцманы, а мы друг друга терять не должны.

— Маршрут ясен, — сказал Акментынь. — По какому пути в сорок первом году выходили из Курземе, по тому надо идти и обратно.

— Нам еще надо выбраться на этот путь, — сказал Ояр. — Мы собирались перейти фронт к северо-западу от Тукума, а где мы сейчас? Хочешь не хочешь — придется сделать крюк, пока не выйдем на Кулдигское шоссе.

— Крюк, это что... — пробормотал Акментынь.

Марта наблюдала за ними и удивлялась тому, как спокойно эти люди обсуждали создавшееся положение, — как будто вражеское окружение было для них самым привычным, обыкновенным делом. Когда она сама об этом думала, ее дрожь брала, хотя никто не мог назвать ее трусихой.

Когда партизаны кончили совещаться, Марта попросила совета, как ей быть:

— В уездном исполкоме думают, что я сегодня буду в Берзмуйже. Они на меня надеются... думают, я начну работать.

Ей ответил Ояр:

— В исполкоме, — если им удалось выбраться из Тукума, — слишком хорошо понимают, что ни в какую Берзмуйжу вы попасть не могли. А когда попадете — это зависит от обстановки на фронте. Не беспокойтесь, вас никто ни в чем упрекать не станет.

— А может быть, Берзмуйжа еще в наших руках? — попробовала спорить Марта. — Тогда мне надо быть там.

Ответ на ее сомнения дал некоторое время спустя вернувшийся с донесением наблюдатель.

— Товарищ командир, со стороны побережья только что проехали по дороге три самоходных орудия, — доложил он Ояру. — Похоже, «фердинанды».

— Вот вам и Берзмуйжа, — сказал Ояр Марте. — Уже «фердинанды» идут оттуда, а вы еще хотите одна отвоевать ее. Нельзя отрицать, задора в вас много. Такие люди пригодятся в нашем отряде.

— Что же мне теперь делать? — Марта, видимо, немного растерялась.

— Побудете пока с нами, — ответил Ояр. — А там поглядим, может быть удастся переправить вас обратно...

Так Марта Пургайлис временно стала членом партизанского отряда. Рута и Марина поделились с ней своей одежкой. Переодевшись, Марта уже ничем не отличалась от любой крестьянки.

Открытые места они переходили ночью, а когда попадали в лес, то шли и днем. Отдохнут несколько часов, забравшись подальше в чащу кустарника или в старую картофельную яму, и опять идут дальше — через всю Курземе на запад.

О еде особенно заботиться не приходилось: на полях было достаточно свежих овощей — картофеля, гороха, — и не было большого греха, если изголодавшиеся люди иногда срывали несколько яблок или лакомились морковью курземцев. В лесах хватало и ягод и грибов, а в одном месте, вдали от дороги и крестьянских дворов, Кришу Акментыню посчастливилось подстрелить самца-козулю.

На четвертый день они достигли одного из тех памятных мест, где летом 1941 года Ояр и Акментынь останавливались на ночлег. И именно здесь надо было случиться несчастью: Марта Пургайлис вывихнула ногу. Общими усилиями Акментыня, Руты и Марины ногу удалось вправить, но опухоль и боль не проходили.

— Наверно, неправильно повернули сухожилие, оно и не может стать на место, — с авторитетным видом рассуждал Акментынь. — Это все пройдет, если дня три полежать, не ходить.

— Тогда вам всем придется делать остановку, а я этого не желаю, — сказала Марта.

— Что ж теперь делать? — взволнованно заговорила Рута. — Нельзя ведь бросить тебя одну в лесу.

Ояр согласился оставить с Мартой несколько партизан.

— После они нас догонят. Место сбора им известно.

— Не надо, товарищ Сникер, — сказала Марта. — Вы идите своей дорогой, а я не малый ребенок. Немного отдохну и через несколько дней пойду за вами. Что мне сделается? В Курземе сейчас полно видземцев. Я тоже могу сказать, что убежала сюда, когда Красная Армия стала подходить к нашей волости.

— А документы?

— Скажу, что потеряла или обокрали. Я найду, что сказать.

— Сначала разведаем, чем пахнет в окрестностях, не очень ли душно? — сказал Акментынь. — Половина видземских кулаков убежала в Курземе, да еще сколько народу немцы насильно пригнали. Ояр, тебе не кажется знакомой вон та усадьба?

— Как будто...

— Помнишь, что со мной однажды случилось? Зашел я во двор попросить чего-нибудь поесть, а там полно немцев. Счастье, что такой сообразительный хозяин попался. Повернул дело так, будто я его батрак, набросился на меня с руганью и сразу погнал в хлев навоз выбрасывать.

— Это я помню, — оживился Ояр. — Я бы не прочь повидать того крестьянина.

— Ничего нет проще. — Акментынь по привычке погладил усы, хотя они в этом не нуждались. — Это и есть та усадьба.

— Неизвестно только, там ли еще хозяин.

— Вот это я и хочу выяснить. Для нее, — он многозначительно кивнул в сторону Марты, — это будет прямо спасением.

— Только, пожалуйста, поосторожнее, — сказал Ояр. — Как бы опять не наскочил на немцев.

— Договорились. — Акментынь скрылся за деревьями. Сначала он сделал порядочный крюк лесом, чтобы в соседних усадьбах не видели, откуда он появился, затем вышел на дорогу и метров триста — четыреста прошагал обратно.

Спокойно, как обыкновенный прохожий, которому захотелось попить, Акментынь вошел в ворота усадьбы. Он пропал почти на полчаса; Ояр уже стал за него беспокоиться, когда в воротах снова показался Акментынь и рядом с ним еще один человек. Они что-то говорили друг другу, потом Акментынь снова зашагал по дороге и тем же манером вернулся в лес.

— Есть такое дело, — молодецвато доложил он. — Сразу узнал, разбойник, даже напоминать не пришлось. Обрадовался, что я жив-здоров и разгуливаю по белу свету. Дома у него сейчас никого из чужих нет, но неизвестно, долго ли удастся отделяться от постояльцев: волостной староста все время нажимает, чтобы принял на постой нескольких кулаков из Видземе. Да, пока в Тукуме немцы, находятся еще такие дураки, что едут сюда с самого севера Латвии. Многих сами немцы пригоняют.

— Ты покороче, — перебил его Ояр. — Договорился о чем-нибудь?

— А как же! Мы, чуть стемнеет, доставим товарища Пургайлис в усадьбу, а там спрячут на повети, в свежем сене. Обещали ухаживать, сколько понадобится.

— Большое вам спасибо, товарищ Акментынь, — сказала Марта. — Теперь все хорошо будет. Через несколько дней я пойду вдогонку за вами.

— Только не спеши, Марта, — предупредила Рута. — Если придешь и через неделю и через две, мы все равно тебя встретим там, где условились.

А встретиться они условились между Кулдигой и Айзпуте, у километрового столба посреди леса — там же, где Ояр должен был ждать

Савельева.

Когда стемнело, Марта Пургайлис попрощалась с партизанами. Акментынь с Эльмаром Аунынем взяли ее под руки и почти донесли до дома. На повети, доверху наполненной сеном, хозяин устроил довольно удобное укромное убежище, куда можно было незаметно пролезать под самой стрехой.

...Спустя четыре дня у километрового столба на шоссе Айзпуте — Кулдига Ояра встретили партизаны капитана Савельева и повели на свою базу. Там произошла еще одна, совсем уже неожиданная встреча: комиссаром партизанской части оказался старый друг Акментыня — кузнец с «Красного металлурга» Жан Звиргзда.

— Жив еще, старый черт? — загоготал боцман и долго-долго хлопал по спине кузнеца. — Лиепайцы так легко не пропадают, верно ведь?

— С чего бы им пропадать, Криш? Мы ведь не спим, а дела делаем.

— И хорошие дела! — поддакнул Ояр. Он тоже рад был встрече с Звиргзой: вместе ведь выходили из Лиепай в июле сорок первого. — За Даугавой слышно, когда работаете.

— В самом деле? — У капитана Савельева заблестели глаза. — Так, значит, все-таки слышно? — повторил он. — Делаем, что можем.

За три года подполья он научился бегло говорить по-латышски, а его учитель Звиргзда в свою очередь усовершенствовался в русском языке.

Прибывших партизан разместили по землянкам и угостили чем бог послал. Ояр Сникер и Акментынь всю ночь просидели с Савельевым и Звиргзой. Хозяева рассказывали о своей деятельности в годы оккупации.

— Сначала приходилось работать от случая к случаю, — рассказывал Савельев. — Прделаешь какой-нибудь серьезный номер, переполошишь весь уезд — и сразу зарываешься, как крот, в землю, пока все уляжется. — Зимы здесь мягкие, но когда выпал снег, пришлось замолкнуть, подождать черной землицы. На операции далеко уходили — за восемьдесят, за сто километров. Позже, когда народу прибавилось, появилось больше связей и больше возможностей маневрировать, стали смелее, или, как про нас говорят немцы, — нахальнее. Заходили даже в города поугатать комендантов. Всего уничтожили тысячи полторы фрицев и их приспешников. Не обошлось, конечно, и без карательных экспедиций, но все они были организованы из рук вон плохо. Вот базу, верно, пришлось несколько раз менять. Эта у нас четвертая. Может, здесь и дождемся конца войны.

— Ох, как хочется побывать разок в Лиепе, — вздохнул Звиргзда. — Ремесло забывается. Заново придется учиться, как молот держать; а кто

меня, такого старика, возьмется учить? Другие там побывали, а мне нельзя показываться, — слишком хорошо знают.

— Тогда тебе ничего неизвестно про мою старушку?

— Кое-что я узнал. Еще жива, держится...

— Так еще держится? — Акментынь заметно разволновался. — Наверно, давно меня оплакивает. Эх, надо бы добраться до Лиепай... Хоть одним глазком взглянуть, как там теперь живет. Не знаешь, цела там моя шаланда?

— Откуда мне знать, — буркнул Звиргзда. — Но если идти в Лиепай, то пойдем оба, чтобы не вышло, как с Натансоном.

— Да, а что с Натансоном? — спросил Ояр. — Ты же его собирался спрятать у своих родных.

— Прятал. Но этот непоседа решил увести из города свою молодую жену и через несколько недель ушел обратно в Лиепай. Как ушел, так и не возвратился. Потом уж я узнал, что его вместе с другими евреями убили. Ведь эти изверги там ужас что делали. Кругом все дюны полны трупами. Так что еще мало мы им мстили. Что там полторы тысячи, когда они наших десятками тысяч убивали?

— Учти, что их на фронте истребляют в довольно значительных количествах, — сказал Акментынь. — Своими глазами видел в Земгалии. Все поля покрыты гитлеровской падалью.

— На фронте — само собой, а у нас свои обязанности, — сказал Савельев. — Иначе, чем оправдать пребывание капитана Красной Армии в немецком тылу? — Только борьбой, постоянной войной с врагом. Эх, жаль, что за эту войну мне так и не пришлось поработать со своей батареей. У наших, слышал я, сейчас чудесное вооружение — как ни у кого. Здесь ведь толком ничего и не узнаешь.

— О, про наше вооружение можно многое рассказать, товарищ Савельев, — сказал Ояр. — Больше всего на свете немцы боятся советской артиллерии.

— То-то, а я артиллерист, — вздохнул Савельев.

— Ну, тебя они боятся и без артиллерии, — засмеялся Звиргзда. — Прошлым летом один озорник пустил слух по Кулдиге, будто Савельев с тремя сотнями партизан вошел в город и попрятал их по домам. Все немецкие власти с комендантом во главе в ту ночь удрали из города и ночевали где-то в кустах, пока из Лиепай не прибыло пополнение для гарнизона. Пугаться-то они умеют!

Незаметно проговорили до утра. Теперь, когда у них было две рации и несколько опытных командиров, савельевское партизанское соединение

можно было разбить на несколько групп и расширить радиус действия. Условились, что Акментынь со своей группой сделает несколько рейдов в направлении Лиепай, Звиргзда с Савельевым останутся в прежнем районе, а Ояр попытается установить связи с несколькими мелкими партизанскими группами, которые действовали в северной части Курземе.

Утром на базу пришли племянники Звиргзды — Жан и Рита — и рассказали, что в их доме разместился штаб немецкого полка, а их самих заставили перейти в баню, так что дяде надо быть осторожнее, если он вздумает навестить их.

— Что поделаешь! — сказал кузнец. — В Курземе с каждым днем становится все теснее, скоро порядочным людям некуда будет деться... Это не беда, крестник, что у вас в доме штаб. Ты присматривайся к ним, может что и узнаешь, а нам это пригодится. Если станут обижать — ты вовремя дай мне знать.

— Теперь мы с Ритой будем приходить сюда чаще, — сказал Жан. Парню исполнилось семнадцать лет, и в его сложении стало уже проявляться нечто от дядиной монументальности; глядя на него, можно было сказать, что пройдет несколько лет, и парень станет что твой дуб.

Партизаны помогли Жану и Рите набрать полные корзины ягод — на случай если немцы заинтересуются, зачем они ходили в лес. Затем гости вернулись домой, а на партизанской базе стали готовиться к очередным рейдам.

Марта Пургайлис уже три дня жила на повети. Нога у нее перестала болеть, опухоль спала, можно было и отправляться в путь. На третий день вечером, когда хозяйка усадьбы Лейниеки принесла ей поесть, Марта сказала:

— Большое вам спасибо за помощь, нога у меня совсем поправилась. Пора и уходить, а то вам от меня одно беспокойство да лишние опасения.

— А куда ты пойдешь, милая? — спросила хозяйка, преждевременно состарившаяся от тяжелой работы женщина. — Есть у тебя в наших краях родственники какие-нибудь?

— Родственников нет, есть только знакомые, которые меня к вам привели.

— Ешь, ешь, милая, — угощала Лейниеце, а сама что-то про себя обдумывала. До того, правда, еще не дошло, чтобы они не управлялись со

своими пятьюдесятью пурвиетами — считая луга и выгоны; опять же эта женщина и не родственница и не свойственница... А все же отпустить не хочется. Такая славная женщина и совсем еще молоденькая... Ведь вся Курземе кишмя-кишит немцами и разным сбродом. Может, и ждать-то недолго осталось, когда их прогонят. Так неужто же в Лейниеках не найдется, где спрятать от немцев и полиции доброго человека? А то, что Марта была одной из тех, кто скрывается от немцев, Лейниеце понимала сама. — Видишь ты, — снова начала она, додумав свою мысль. — Мы с мужем про тебя утром разговаривали. Ты, конечно, делай, как тебе лучше, но только мы бы отсоветовали тебе уходить отсюда. Если будешь сидеть на одном месте, меньше и внимания будут на тебя обращать. Писарь в волостном правлении доводится мужу родственником, кузином вроде или еще чем-то... Может, еще удастся и прописать тебя как жительницу усадьбы. Выдадут какое-нибудь временное удостоверение, волостной печатью припечатают. Будешь жить безо всякой опаски. А если думаешь, что в тягость нам будешь, так это можно устроить, чтобы каждому хорошо было. Ты мне поможешь со скотинкой управиться... немного ее и осталось-то; эта немецкая орава не нажрется досыта, все подавай и подавай им... Ну, известно, разве в хозяйстве когда работа переводится? Все что-нибудь надо сделать. Ты крестьянскую работу знаешь?

— Еще бы не знать.

— Гляди как хорошо. Тогда пускай старик с писарем поговорит.

— Вы только дайте мне еще подумать до завтра, — сказала Марта.

— Подумай, подумай, я не тороплю.

Взвесив все доводы, Марта была вынуждена признать, что предложение Лейниеце вовсе не так безрассудно, как ей показалось сначала. Если удастся прописаться и получить на руки какую-нибудь справку, то можно понемногу помогать и своим попутчикам-партизанам. Что она сейчас явится к ним с пустыми руками, без оружия? Будет больше одним человеком, которого надо охранять и кормить. А здесь — если установить связь — она будет доставать для них продовольствие и сведения, иной раз даже устроит на ночлег.

Утром Марта сказала хозяйке, что согласна остаться.

Лейниек поехал в волостное правление и поговорил с писарем наедине. Тот вначале колебался.

— Если узнают, большие неприятности будут. У немцев в таких случаях расправа короткая.

— Ты сделай так, чтобы не узнали.

— Ведь не что-нибудь — подделывать документы придется.

— Ну и что же такого? Для хорошего дела можно не то что неправильную фамилию нацарапать, можно даже голову оторвать, если она у кого не на месте. Тебе об этом жалеть не придется. Давай пиши, кузын...

И «кузын», побледнев от волнения, взялся за перо. Таким образом Азарта Пургайлис на некоторое время стала Бертой Лудынь, дочерью землевладельца из одной северовидземской волости; вышеуказанная Берта Лудынь отступила вместе с немецкой армией, когда стали подходить советские войска, и в настоящее время является работницей у Лейниеков.

Теперь Марта перешла с повети в маленькую каморку. Каждый раз, когда в усадьбу заходил незнакомый человек, она старалась не показываться ему на глаза Картофель она копала всегда на дальнем конце борозды, а когда в усадьбу к Лейниекам приехала молотилка, хозяйка услала Марту пасти скотину.

Так прошло несколько недель. Однажды ночью заглянул Эльмар Аунынь, которого прислали узнать, что с Мартой. Узнав, как она устроилась, парень сказал, что все в порядке и ей лучше продержаться здесь, пока немцы не уйдут из Курземе.

— У нас иногда будут в этих краях дела. Ояр сказал, чтобы я поговорил с самим Лейниеком — нельзя ли здесь устроить пункт связи. Но я пока об этом говорить не буду. Ты нам поможешь, если нужда припрет?

— Конечно, и спрашивать не надо.

Эльмар ушел. А утром хозяин сказал Марте:

— Ты бы ему дала чего-нибудь поесть на дорогу.

— Да я не знала, можно ли, — ответила Марта и невольно покраснела: «Какой глазастый, все замечает».

Весь этот день Марта копала в поле картофель. Солнце уже садилось, когда она увидела, что во двор к Лейниекам въезжают три огромных воза с имуществом и людьми, — наверное, опять видземцы. Дождавшись сумерек, Марта вернулась в усадьбу, но в дом не зашла, не пошла и двором, так как посреди него, возле своих возов, стояли двое толстых мужчин — один высокого роста и плечистый, с большой бородавкой на щеке, другой поменьше и покруглее. Даже сумерки не помешали Марте узнать старого Вилде и волостного писаря Каупиня.

От неожиданности у нее ноги подкосились: вот если они ее увидят!

Лучше всего было бы уйти из дому, спрятаться в лесу хоть до утра: утром видно будет, что они предпримут, — останутся в Лейниеках на продолжительное время или поедут дальше. Но Марта быстро овладела собой. К тому же она больше трех лет не была дома, и теперь ей захотелось узнать, даже от своих врагов, что там произошло за это время. Марта

обошла кругом фруктовый сад и дом и вошла во двор с другой стороны. Приезжие не видели, как она юркнула в хлев, возле которого стояли их возы... Мешки с зерном, большие кованые сундуки с одеждой и разным добром. Под телегой котел для варки пищи и клетка с курами... Четыре коровы уже были загнаны в загородку.

— Вот чудной человек... — услышала Марта голос старого Вилде. — Как на чужих смотрит.

— Если самим не заговорить, не догадается и в дом на ночь позвать, — добавил Каупинь. — Слышали, господин Вилде, что он женщинам сказал? «Зайдите на минутку погреться». Подумайте только — на минутку...

— Когда сам дойдет до такого положения, тогда поймет, каково это — бросить насиженное гнездо да ехать на край света голову спасать, — ворчал Вилде. — Им, курземцам, не на что жаловаться. Им и во все времена меньше доставалось, чем нам. Какая это справедливость!

Они замолчали: через двор шел Лейниек. Он подошел к приезжим и начал разговор:

— Издалека, что ль, шабры?

— Шестой день в дороге, дорогой соседка, — жалобным голосом ответил Вилде. — Коровы все копыта посбивали, насили идут.

— И самим не легче, — поддакнул Каупинь. — Ноги натерли, а от всего этого расстройство голова совсем одурела. А что поделаешь — такова, видно, судьба. Надо спасти жизнь.

— Или так страшно было? — спросил Лейниек.

— Говорю вам, ужас! — выкрикнул Вилде. — Знали бы вы, что творят сейчас большевики в Латгалии и Видземе... Выкалывают глаза, отрезают языки, на огне живьем жарят.

— Женщинам животы распарывают! — добавил Каупинь. — Ни взрослых, ни детей не щадят. Кто не из их породы — всех изводят.

— Всего и не рассказать, — вздохнул Вилде. — Надо своими глазами видеть. Вначале я сам тоже не верил, думал, люди привирают, а когда увидел — не приведи господи! Поджигают дома, последнюю тряпку отбирают. Кто остается в живых, того — в Сибирь.

— В Даугавпилсе повесили всех учителей и врачей, — сказал Каупинь. — В Мадона всех торговцев согнали в деревянный сарай и сожгли.

— А как же вы уцелели? — спросил Лейниек.

— Вовремя уехали, — объяснил Вилде. — Большевики были еще за сто километров, а мы уже лошадей запрягли У меня дома остался старый батрак. Велел, чтобы за всем присматривал, — его-то, может, не тронут:

голытьба Бог его только знает, как бы старик не начал транжирить. Тогда ничего не соберешь.

— А как же вы могли видеть своими глазами такие ужасы, если уехали вовремя? — ехидно спросил Лейниек.

— Не мы, так другие видели, — сказал Каупинь. — Об этом в газетах писали, с фотографиями, все, как было.

— Все чистая правда, — подтвердил Вилде. — Дойдет до вас, сами увидите.

— Вы думаете, они и сюда придут? Тогда вам не стоило уезжать из дому. Все равно догонят.

— Хоть денек лишний пожить, — сказал Вилде.

— А если иного выхода не останется, попробуем морским путем в Швецию, — сказал Каупинь. — Вот и хотим доехать до самого побережья. Дело верное. Вы тоже подумайте заблаговременно.

Из дальнейшего их разговора с хозяином Марта узнала, что Герман Вилде служит офицером в латышском легионе, что больше всего Вилде боится возвращения бывшего своего батрака.

— Я ведь помогал и вылавливать и ликвидировать этих красных, — бесстыдно объяснял он. — Они теперь меня возненавидят, как лютого пса. И у господина Каупиня положение не лучше. Он тоже постарался, чтобы на свете поменьше было красных. Какой благодарности нам ждатель?

Марта ночевала на прежнем месте, на повети. Утром Вилде и Каупинь запрягли лошадей, привязали коров и, усадив на возы жен, уехали со двора Лейниеков — к побережью. Когда, подводы скрылись за поворотом и улеглась пыль на дороге, Марта вышла во двор.

— Знакомые ночевали? — спросила она после у Лейниека.

— Какие знакомые! Послал бог каких-то шальных, — усмехнулся Лейниек. — Сами перепугались до смерти и других хотят напугать.

— А по-вашему, с чего они так? — Марта посмотрела на хозяина.

— Знает кошка, чье мясо съела, — ответил Лейниек и начал возиться со сбруей. Пора было пахать под зябь.

Глава двенадцатая

— Как мне теперь быть? — спросила Элла Спаре родителей, когда

стало известно, что Красная Армия заняла Крустпилс и Елгаву. О положении на фронте у них было самое смутное представление, так как немцы в своих сообщениях объявляли лишь то, что все равно ни для кого не было тайной.

— Что нам тебе сказать? — пробормотал старый Лиепинь, без всякой надобности возясь с трубкой. — Ты сама не малый ребенок, взрослый человек. Самой лучше знать, как быть.

— Посоветуйся с Фридрихом, — сказала мать. — Он человек серьезный, хороший совет даст.

— Фридрих говорит, чтобы я с ним ехала... — еле слышно сказала Элла. — Все немцы уже отправили свои семьи, пока есть путь через Тукум. А как же с Расмой — в такую тяжелую дорогу...

— Расма останется у нас, — ответила мать. — Неужели они такие безумные, что малых детей будут трогать?

— Меня, может быть, тоже не тронут, — вздохнула Элла. — Самой неудобно. Ведь поймите... если Петер жив, как я ему объясню? Станет ли еще он слушать, что я скажу? Подумает, что я так... ради баловства. Вы сами знаете, как все было. Копиц был такой хороший... Рейнхард еще лучше. Мне хотелось, чтобы и вам было хорошо.

— Ты это, дочка, оставь, — нетерпеливо махнул рукой старый Лиепинь. — Мы тебя не принуждали и не отговаривали. Если бы сама не захотела, ничего и не было бы.

— Выходит, я ради баловства? — Голос Эллы задрожал. — Почему же вы сразу не сказали, что так нельзя?

— Кто же знал, что так будет, — энергично вмешалась в разговор Лиепиниене. — Разве кто думал, что красные вернутся? Мне показалось, что это навсегда. Иначе разве бы мы тебе позволили невеститься за этих немцев? По всему выходило, что надо жить по-новому, зачем же тебе сидеть, как барсук в норе?

— Заварила кашу — теперь расхлебывай, — философски заметил Лиепинь.

— Не беспокойся, отец, тебе за меня расхлебывать не придется, — вскинулась Элла. — Но только я не забуду, как ты получал льготы по налогам. Тогда ты не говорил, что Копиц плох, а Рейнхард ничего хорошего для нас не делает. Тогда ты другое пел. Нет, это я навсегда запомню.

— Доченька милая, не принимай ты к сердцу пустые речи, — примирительно сказала мать. — Старик иной раз и сам не соображает, что говорит. Апостол какой нашелся! — внезапно набросилась она на мужа. — Судья какой! Кого ты трогаешь, старый шут! Свою родную дочь, вот кого

ты грызешь. А сам виноват больше всех. Да, да, лучше не спорь. И ты виноват и я виновата, что дальше своего носа не видела. Все виноваты. Поэтому нечего молоть языком и корчить из себя святого... Лучше подумаем, как помочь Элле, как собрать ее в дорогу.

— Я разве что говорю... — Старый Лиепинь отступил.

Вечером приехал крейсландвирт Фридрих Рейнхард. Старики дипломатично исчезли с горизонта, чтобы «молодые» поговорили без свидетелей.

— Ну? Решила, что делать? — спросил Рейнхард.

— Здесь оставаться мне нельзя.

— Точно так же и я говорил. Тогда начинай собираться. Я уезжаю завтра утром — приказ начальства. За тобой заеду, только чтобы была готова. Не беспокойся, Элла, в Кенигсберге у меня хорошая квартира. Моя мать — славная старушка. Плохо, что малышку нельзя взять. Но мы заведем еще. Ха-ха-ха!

Рано утром во двор усадьбы въехала малолитражная машина, и рядом с чемоданами и мешками крейсландвирта уложили узлы Эллы Спаре.

Элла расцеловалась с родителями, в последний раз подержала на коленях и погладила по головке Расму, потом втиснулась в машину рядом с Рейнхардом — и началось путешествие в Германию. Если бы не было так светло, Элле было бы легче уезжать из родительского дома. А сейчас она стыдилась поднять глаза, смотреть по сторонам. Ей казалось, что каждый человек глядит вслед с укором и стыдит ее. Даже сама земля шепчет вслед:

— Позор... позор...

Когда машина въехала на пригорок, Элла не утерпела и бросила быстрый вороватый взгляд на хибарку Закиса. Там стояла кучка людей — взрослые и дети. Самый высокий — мужчина с большими усами — протянул руку в сторону дороги и показал на машину.

Элла отвернулась.

— Гляди, старуха, вон немецкая невеста уезжает, — сказал Закис своей жене.

— Бог с нею, Индрик, — ответила Закиене. — Какое нам до нее дело.

— Все-таки... Воздух чище будет.

...В тот же день в отцовскую усадьбу приехал Макс Лиепниек. Он недавно кончил курсы «Ягдфербанда» в Скривери и с разрешения начальства прибыл в район своей деятельности, подготовиться к предстоящим диверсиям.

— Вы еще на одном месте топчетесь? — закричал он, застав усадьбу отца в состоянии полного покоя. — Ни один здравомыслящий человек

сейчас не раздумывает. Где лошади, отец? Телеги в исправности? Скорей подалее отсюда, пока тукумские ворота не захлопнулись!

После этого в усадьбе Лиепниеки началась суматоха, как в Юрьев день. Самое ценное — тюки материи, платье, серебро — было уже уложено в большие сундуки. Лошади подъезжали к дверям клетки, мужчины выносили и укладывали на возы мешки с мукой и крупой, копченые окорока. Когда возы были нагружены, на один посадили Лиепниеце, на другой — хозяйскую дочь Розалию; к телегам привязали коров, по три к каждой, — и только тогда хозяин позвал прощаться своего дядю, старого Юкума, и его жену Лиену.

— Приглядывайте тут, чтобы ничего не растащили, — сказал Лиепниеки. — Ты, Юкум, остаешься на правах доверенного. На это время все, что здесь остается, — твоя собственность. Оберегай и храни пуще глаз, пока не вернется хозяин. Большевикам ничего не отдавай. Я с тебя спрошу.

Старый Юкум шамкал беззубым ртом:

— С богом, с богом, путь добрый!

Лошади тронулись. Высокие, как башни, пышные возы, покачиваясь, выехали на шоссе. На первом возу некоторое время правил Макс. Пусть соседи раззвонят на всю округу, что молодой Лиепниеки удрал в Курземе!

Но когда миновали столб, указывающий границу волости, Макс передал вожжи сестре и стал прощаться с родителями.

— Дуйте без остановки до самого моря, — сказал он. — В Дундагской волости вас встретят мои друзья. А обо мне вы скоро услышите разные новости.

Он сел на велосипед и поспешил к своей банде, которая ждала его в небольшом леске, километров на пять дальше усадьбы Лиепниеки.

По указанию немецких властей, они должны были кое-что предпринять в своей волости, где знали каждого человека. Хорошо разве будет, если большевики найдут целехонькими мельницы и народные дома, если люди, которые ждали их три года, выйдут с цветами встречать Красную Армию? Приказ полевого коменданта был краток и ясен: ничего не оставлять в целости. «Кто не с нами — тех уничтожить».

— Ну, попался, Закис... — шептал Макс Лиепниеки, ведя группу эсэсовцев к хибарке Закиса. — Прежде времени радуешься Красной Армии. Не видать тебе ее, как ушей своих. Только старших стоит пристрелить... младших можно побросать в огонь.

Половина эсэсовцев была из немцев, половина — головорезы Макса Лиепниеки, из которых ему поручили организовать целый батальон террористов.

Подойдя к хибарке Закиса, эсэсовцы окружили ее. Макс Лиепниек прикладом автомата постучался в дверь.

— Выйдите на минутку, господин Закис!

Внутри стояла тишина... Лиепниек еще раз постучался в дверь и уже нетерпеливо крикнул;

— Выходи, черт тебя возьми! Все равно вытащим!

Тогда два эсэсовца, с автоматами наизготовку, осторожно отворили дверь, вошли в кухню, в комнату. Макс Лиепниек и другие, оставшиеся снаружи, услышали возглас внезапного разочарования:

— Здесь никого нет! Все удрали!

— Вывернулся, косой!.. — прошипел Макс. — Понял, что его ждет. Ну, ничего... все равно попадешься.

За несколько часов до этого Закис со своей семьей перебрался в лес и теперь сидел в самой чаще, километрах в трех от дороги. Коровенку и домашнюю утварь он переправил туда еще прошлой ночью.

— Здесь и делать нечего — лачуга из щепочек да хлев с навозом, — заметил с сожалением один эсэсовец.

— Нечего рассуждать! — гаркнул Макс Лиепниек. — Поджигайте! Пусть горит большевистское гнездо.

Убедившись, что хибарка догорит и без них, они ушли. В ту ночь банда Макса Лиепниека собиралась поджечь еще шесть домов, перебить их обитателей, если только они не успели скрыться, как Закис.

Когда зарево пожара стало видно в усадьбе Лиепини, старый Лиепинь покачал головой и сказал жене:

— Это они зря. Только рассердят коммунистов.

2

«Кошечку» Никур услал в Курземе в конце июля, когда танки Красной Армии еще не перерезали тукумское шоссе. Вскоре после этого войска 1-го Прибалтийского фронта прорвались к Рижскому заливу, и Никур стал жалеть, что не эвакуировался вместе с женой. Впрочем, это не от него зависело. Лозе был недоволен его работой, а Дрехслер, во время редких аудиенций, отнюдь не старался воздерживаться от ядовитых замечаний:

— Скоро для вас наступит время жатвы. Подумали вы о составе будущего правительства? Скажите, господин Никур, почему упал тираж вашей газеты? Не хотят читать?

После таких замечаний неудобно как-то заводить разговор о новых

ассигнованиях и видах на отъезд. А уехать Никуру очень хотелось. Артиллерийская канонада, которая в тихие вечера была ясно слышна в Риге, и налеты советской авиации пробуждали в сердце нетерпеливое желание быть где-нибудь подальше от этого шума. Поэтому Никур очень обрадовался, когда в конце сентября ему сказали, что его присутствие в Риге больше не является необходимым. Он быстро уложил чемоданы и устроил в своей квартире пожилую родственницу, сын которой служил в полицейском батальоне и был убит в Белоруссии. Знакомый нотариус составил акт купли-продажи, из которого явствовало, что меблировка и все имущество, оставленное в квартире, перешли во владение родственницы.

— Присматривайте хорошенько, чтобы ничего не пропало... В случае если в Ригу придут большевики, усиленно настаивайте, что все это ваше. Я не мелочен, вы это хорошо знаете, но мне будет приятно в день возвращения найти все на своем месте. Ну, будьте здоровы!

Он уехал ночью, чтобы проскочить через узкое место с меньшими опасностями. Только у Слоки он вспомнил о Гуне Парупе. Но эта женщина принесла ему слишком много разочарований. Прошел какой-нибудь месяц после их возвращения из Швеции, а она уже нашла нового покровителя в лице генерала полиции...

«Найду другую...» — подумал он и стал мысленно вглядываться в будущее. Что оно ему сулит? Политический банкрот, он даже в глазах своих единомышленников перестал быть яркой фигурой, он уже не годится для вывески какого-нибудь политического предприятия. За такого ничего не дадут. «Но никто не должен почувствовать, что я побит. Пусть думают, что я еще многое могу. А там найдется какая-нибудь причина, объясняющая все неудачи».

В Курземе его ждала большая неприятность: организация «национального подполья» вкупе с немецкими опекунами предложила Никуру остаться в Латвии даже в том случае, если Красная Армия займет всю страну. Ему обещали главную роль, но Никур поспешил разыграть скромника.

— Это большая честь, господа, слишком большая... Но за последнее время мое здоровье настолько ухудшилось, что необходимо постоянное наблюдение квалифицированного врача.

Нет, остаться он не мог, как ни велика была честь. Другое дело — издали, из-за моря, из какой-нибудь соседней страны посылать оставшимся ценные инструкции...

— Фани, как ты думаешь, долго еще нам придется торчать в этой темной норе? — жалобно спросил Джек Бунте, когда в миске не осталось ни одной крупинки вареного картофеля. — Ох, надоело!

— Молчи, Джек, — шептала Фания. — Как бы не услышали. Они теперь, наверно, ходят с собаками, ищут всех, кто прячется. Всех хотят угнать в Германию.

— А что они с нами будут делать?

— Откуда я знаю, Джек? Наверно, есть какой-нибудь расчет. Может, поставят на черную работу, может, просто так... чтобы здесь никого не осталось.

Уже третий день вся семья Бунте жила в тайном подвале своего дома. Джек провел здесь все лето, а Фания с Дзидрой переселились сюда, когда началась охота за людьми. Постепенно они перетащили в подвал все ценное имущество — одежду, посуду, приданое Фании и кое-какую мебель. Темный угол позади котельной центрального отопления был так заставлен вещами, что людям негде было повернуться. Маленькая Дзидра боялась темноты; Фания не спускала ее с колен и шепотом рассказывала сказки, чтобы девочка не плакала.

На дверь квартиры Фания приколола записку: «Уехали в Курземе».

— Что они со мной сделают, если найдут? — бормотал себе под нос Бунте. За целое лето сиденья в одиночестве у него это бормотанье вошло в привычку. — Определенно пристрелят. Ведь я дезертир.

— Почему ты все время об этом говоришь? — упрекнула его Фания. — Лучше тебе, что ли, от этого?

— Лучше не лучше, но и не хуже. Просто хочется знать.

На некоторое время установилась тишина. Слышалось ровное дыхание уснувшего ребенка. В углу осторожно скреблась мышь.

«Определенно мои сапоги грызет, — подумал Джек. Мысль, что он не может поднять шум и пугнуть зверька, наполнила его бессильной злобой. — Проклятая... так и не оставит их в покое. У-у!»

Но, поощряемая тишиной, мышь продолжала грызть. Где-то за этим мраком раздавались шаги пешеходов, сигналы машин, резкие свистки. Иногда были слышны выстрелы, потом крики, ругань и стоны. Лаяли собаки.

Охота продолжалась. Группы эсэсовцев разгуливали по улицам, заходили в магазины и мастерские, врываются в квартиры и ловили людей.

Им помогали собаки. Повизгивая и лая, они прыгали вокруг подвальных люков, взбегали по лестницам на чердаки и подводили охотников к добыче.

Однажды их шаги слышались совсем рядом с подвалом Бунте. Двое эсэсовцев вошли в котельную и при свете карманного фонаря осмотрели все углы.

— Здесь ничего нет, — сказал один и пошел прочь. Другой порылся железным щупом в куче угля: не спрятался ли кто под ней.

Это посещение длилось не больше минуты, но чего оно стоило Бунте и Фании! Маленькая Дзидра только что проснулась и собиралась зареветь, но успела только пискнуть, и больше ее не было слышно до ухода немцев.

— Как ты заставила ее замолчать, Фани? — спросил Джек, когда опасность миновала. — Зажала рот?

— Что ты, Джек, так можно и задушить ребенка. Дала ей кусочек хлеба, она и замолчала.

— Хорошо еще, что ты хлеб захватила.

Так они просидели в подвале целую неделю.

...Гуго Зандарт метался по городу, одолевая всех своих знакомых стонами и жалобами. Однажды вечером он неожиданно заскочил к Саусуму.

Саусум уже полгода как распростился с редакцией и работал табельщиком на фабрике. Прамниек по-прежнему жил у него на квартире и малевал декорации в плохоньком театрике. Им так и не удалось связаться с партизанским подпольем, а организовать что-нибудь вдвоем они не были способны.

Зандарт вбежал в кабинет Саусума и бросился в кресло. И хозяин и Прамниек молча, недоумевающе смотрели на него: «Зачем он пришел?»

— Ну, теперь можете радоваться, теперь для вас праздник наступил, — возбужденно заговорил он. — Вам что теперь, будете зубоскалить, рассказывать анекдоты про Дрехслера и Лозе. А мне как быть? Прямо дурацкое положение: плохого как будто никому не делал... а если останусь в Риге, то мне крышка.

— А чего вы в таком случае волнуетесь, если никому не делали плохого? — спросил Саусум. Ему было и противно и смешно. «Странное сочетание наивности и подлости», — подумал он.

— Чего волнуюсь... В сорок первом и в сорок втором году шумел немножко больше, чем надо. Ну, там «хайль Гитлер» и тому подобное. Болтал... Водил знакомство с влиятельными особами. А спрашивается, что я видел от этих знакомств? Ни генерал-директором, ни старшиной города, ни префектом я не был... Ничем я не был. Получил, правда, орден за

заслуги. За какие заслуги — ей-богу, сам до сих пор не знаю. Может быть, за хороший кофе? И из-за таких пустяков приходится теперь бросать собственный дом, лошадей и все прочее. Ехать черт-те куда... Теперь с этим отъездом. Сами, как бароны, на хороших пассажирских пароходах, целые возы добра берут, а когда заикнешься, что и тебе местечко бы надо, — регистрируйся, отвечают, тогда посадят на какой-нибудь лихтер^[24]. А этот лихтер — настоящий плавучий гроб. Паулина и слышать не хочет о такой поездке...

Посреди своего монолога он заметил, что его никто не слушает. Саусум внимательно рассматривал какой-то альбом, Прамниек, повернувшись спиной, чистил трубку. Зандарт вдруг пришел в ярость.

— Ах, так! — и выскочил из комнаты.

Он поспешил домой укладывать чемоданы. Работа была нелегкая, так как Паулина помощь отказалась. Собрав свое добро, Зандарт выполнил последнюю служебную обязанность, позвонил по телефону важному лицу и сообщил, что в Риге на такой-то улице в таком-то доме такие-то люди ждут не дождутся большевиков. Таких оставлять в Риге не стоит.

На другой день к Саусуму пришли несколько эсэсовцев и приказали всем обитателям квартиры собраться к отъезду в Германию. В чем были, с одними маленькими чемоданчиками в руках, Саусум и Прамниек вышли из дому. К счастью, мать Саусума была у своей знакомой — иначе увели бы и ее.

— Это работа Зандарта, — сказал Прамниек.

— Верен себе до конца, — спокойно заметил Саусум.

— Нет, неужели нас угонят? На самом деле? Погрузят, как баранов, на пароход и увезут неизвестно куда.

— А мы и так бараны. На нашем месте каждый разумный человек давно бы скрылся.

Их привели во двор таможни и несколько часов держали за проволочной изгородью. Там было уже несколько сот человек. Некоторых забрали прямо на улице или на работе, некоторые попались навстречу колонне, и их прихватывали без разговоров.

Мы, как мухи в чернилах,
Не выбраться нам,—

запел какой-то чужак, но никого не веселила его шутка.

Проходили часы, полные тоски, отчаяния и надежды. Вдруг

отпустят... Вдруг не успеют угнать?

В порт спешит другая толпа. Это те, кому жжет подошвы земля Латвии. У них не хватает терпения дождаться своей очереди. Окруженные горами чемоданов, они толкаются на сходнях и не могут протискаться ни вперед, ни назад.

— Schneller, schneller!^[25] — сердито кричат немецкие чиновники.

Из лимузина выходит стройная брюнетка, Гуна Парупе. Услужливый адъютант идет впереди, освобождая дорогу. Несколько расстроенная, любовница полицейского генерала подымается на палубу и спешит скрыться в каюте.

Старик посыльный подкатывает тележку с вещами писателя Алксниса.

— Как, и вы здесь? — восклицает он, увидев Мелнудриса и Айну Перле.

Здесь же суетится Лина Зивтынь, какой-то балетмейстер и режиссер Букулт. Лица у всех перекошенные, бледные, потные.

Сходни подымают на палубу, и моряки становятся на вахту. Никого не отпускают больше на берег, хотя пароход уйдет только вечером, когда стемнеет.

А вот и Гуго Зандарт со своими чемоданами. Все пароходы уже переполнены, но он не может ждать, когда они возвратятся из рейса, — ему надо уехать сегодня же. Поэтому он не особенно морщится, когда приходится влезать в крытую морскую баржу, где нет ни лавок, ни нар, только темное холодное помещение, где все пропахло селедкой и ржавым железом. Зандарт ставит в угол чемоданы и садится на них. Как пингвины, толпятся здесь несколько сот людей, и все ждут с нетерпением, когда морской буксир возьмет караван лихтеров и поведет к земле обетованной. Как медленно тянутся часы и как быстро приближается к Риге фронт!

...Перед вечером Саусума и Прамниэка вместе со всей толпой вывели на улицу и под охраной погнали к Экспортной гавани.

Возле анатомички Саусум увидел, как от колонны отделился молодой, хорошо одетый человек. Конвойные сделали вид, что ничего не замечают.

У сада Виестура из колонны ушли еще двое, а усатый фельдфебель что-то спрятал в карман.

— Прамниек, приготовься, — шепнул Саусум. — У нас еще есть шанс.

— Какой там шанс! Сейчас будет порт, и нас впихнут в трюм.

— Еще не все пропало, ты только не зевай. Я вижу, что за взятку это можно обделать.

— Мне нечего дать.

— Зато у меня есть.

Саусум отстегнул от жилета золотые часы с цепочкой. В первый же удобный момент он многозначительно подмигнул усатому фельдфебелю и показал ему часы. Фельдфебель тоже моргнул ему и утвердительно кивнул головой.

Через несколько минут золотые часы с цепочкой скользнули в широкую ладонь фельдфебеля, и у ложбины, где начинаются огороды портовых рабочих — немного не доходя до ворот Экспортной гавани, — Саусум с Прамниеком исчезли.

Ночь они просидели на огородах, а утром по узким улочкам пригорода добрались до Саркандаугавы. На следующий вечер они спрятались на Лесном кладбище.

...Всю ночь морской буксир шел с лихтерами по Рижскому заливу. К утру караван достиг открытого моря, и пассажиры сразу заметили это по усиленной качке. У горизонта можно было различить размытые контуры далекого берега, но скоро они пропали, и лихтеры со всех сторон обступил холодный морской простор.

Днем на буксире застопорили машины, убрали трос, и он по очереди подошел ко всем трем лихтерам. Команда лихтеров, захватив свои вещи, перебралась на буксир, затем капитан каравана махнул на прощанье рукой и увел судно в открытое море.

— Что это значит? — волновались пассажиры.

— Они нас оставляют посреди моря!

— Может быть, подводные лодки? Налет?

Да, в воздухе действительно слышался шум моторов, но пассажиры лихтеров вскоре убедились, что это немецкие самолеты. Они успокоились и с интересом стали наблюдать за странным маневром эскадрильи. Самолеты спустились очень низко и, описав грациозный полукруг, один за другим приближались к каравану. Когда первый самолет почти поровнялся с первым лихтером, от него отделилось несколько продолговатых предметов.

Налет продолжался минут пять. Когда эскадрилья улétала, ко дну шел последний лихтер. На волнах еще держалось несколько более сильных пловцов.

Гуго Зандарт отнюдь не был сильным пловцом, но когда все остальные уже исчезли под водой, он еще держался на поверхности, глядел на горизонт и проклинал немцев.

— Свињи... каннибалы... своих жрут!.. Вывезли в море и утопили...
Погоди, Эдит, как сама еще будешь тонуть!

Перед тем как пускаться в опасный морской путь, Гуго предусмотрительно надел под пиджак резиновый надувной жилет, поэтому

он так хорошо и держался на воде.

Октябрь — месяц не из приятных, особенно для человека, который барахтается в море. Зандарт дрожал, синел, обрывки мыслей одна мрачней другой проносились в его голове.

«Вот так и погибают... Все пропадает, что было твоим. Выжали, как лимон, а под конец бросили в море. Тони, тони, верный слуга! Свиньи, свиньи... если бы я знал!.. Ах, лошадки мои...»

Откуда-то донесся стук мотора. Зандарт, насколько мог, высунулся из воды, — неподалеку шла серо-зеленая моторка. Она была полна людей.

— На помощь! Люди милые... тону!

Его услышали. Штурвальный повернул лодку и повел ее прямо на Зандарта.

4

Начиная с августа, Ансис Курмит направлял работу организации по одному руслу: поднять бдительность жителей Риги и сохранить от разграбления хозяйственные и культурные ценности. Организация выпускала новые листовки, которые призывали жителей противиться угону в Германию и заставляли рабочих подумать о том, как спасти свои предприятия в решающий момент, когда немцы начнут разрушать Ригу.

В начале сентября на металлообрабатывающем заводе, где работал Екаб Павулан, получили приказ подготовить продукцию и станки для отправки в Германию. Директор Лоренц вызвал самых старых рабочих — Павулана и Сакнита.

— Что нам теперь делать? — обратился к ним Лоренц. — Станки надо разобрать и упаковать в ящики. Электромоторы отвезти в порт... Одним словом, завод надо ликвидировать. Как вы на это посмотрите?

Старики переглянулись.

— Значит, ничего от завода не останется, — сказал Сакнит. — Одни голые стены.

— Ничего подобного. Стен тоже не останется, — сказал Лоренц. — Когда вывезут продукцию и оборудование, заводские корпуса будут взорваны. Это приказ генерал-комиссариата. На этом месте, где мы с вами сидим, останется куча развалин.

— А потом нам самим же придется все это убирать, — вздохнул Екаб Павулан. — Будем потеть и корпеть годами. Чистое безумие!..

— Я тоже думаю — чистое безумие, — повторил за ним Лоренц. —

Потому-то и позвал вас. Надо решить, как нам это безумие предотвратить... Попытаемся придумать что-нибудь сообща.

— Когда велено начать эвакуацию? — спросил Сакнит.

— Немедленно. Через несколько дней начнут подавать автомашины.

— А разборку, упаковку — это мы сами должны... или как? — спросил Павулан.

— Кто же еще? Сами рабочие.

— Ну, тогда нам можно будет кое-что сделать, — продолжал Павулан. — Только уж тут надо быть всем заодно. Благо немецкие мастера уехали. Неужели старые рижане не столкнутся между собой?

— Надо столкнуться, — сказал директор. — Надо спасти завод. Что нам с вами скажет народ, если мы вернем ему развалины?

— Стыдно будет людям в глаза глядеть, — сказал Сакнит.

— Погодите, я так думаю... — оживленно заговорил Павулан. — Немцы не так уж хорошо соображают. Хватают, что под руки попадет. Вот я думаю... станки ведь будем паковать в ящики? Снаружи не видать, что под досками, так? Главное, чтобы был вес, так?

— Да, нужен порядочный вес, — согласился Лоренц.

— Камень — вещь тяжелая, тяжелее не бывает, — обстоятельно объяснял Павулан. — Наложим мы в эти ящики камней, и пускай везут их с божьей помощью в фатерланд, если у них этого добра в Германии не хватает. А станки мы зароем в землю. Когда придет Красная Армия, опять выроем, и они у нас заработают.

— Отлично, Павулан, — засмеялся Лоренц. — Но так как нам понадобится много камней и довольно большие ямы для станков, надо приступить к делу сейчас же. Я думаю, друзья, вас не стоит предупреждать о том, что каждый из нас рискует головой. Кто боится, пусть лучше не берется за это.

На заводе началась бесшумная, но яростная возня. Рабочие рыли ямы в помещениях, где был земляной пол. Они рыли их и в углах двора и в складе, и каждую ночь часть демонтированных станков, агрегатов и электромоторов уходила под землю. А на дворе завода громоздились большие ящики с надписями:

«Не кантовать! Осторожно! Ставить отдельно!»

У каждого ящика был свой номер, и по особой спецификации можно было определить, какие дорогие и ценные предметы отправляются за этим номером. Как обычно, когда имеют дело с хрупкими механизмами, рабочие с помощью рычагов и талей осторожно поднимали ящики на грузовики и

отчаянно ругались, если кто-нибудь слишком грубо обращался с ценным грузом. Сам Лоренц и Павулан длинно и пространно объясняли шоферам, что ехать надо осторожно да чтобы в порту с ящиками обращались поделикатнее.

Когда на заводе не хватало камней, рабочие выезжали на грузовике за город и собирали их по обочинам дороги.

Постепенно «эвакуация» завода подходила к концу. Так же или немного иначе действовали и на других предприятиях. Рабочие Риги готовы были на все, чтобы сохранить Советской Латвии ее добро.

А когда пришли решающие дни октября, многие заводы, типографии и склады превратились в маленькие крепости. С ручными гранатами и винтовками в руках защищали рижские рабочие свое имущество, когда группы поджигателей и саперов делали набег на какой-нибудь объект. Зоркие глаза следили за каждым шагом врага. Немецкие саперы не могли уложить ни одного килограмма взрывчатки так, чтобы об этом не стало известно жителям. Невидимые руки вовремя перерезали запальные шнуры, обезвреживали мины замедленного действия. Только крупным, хитро подготовленным диверсиям они не могли помешать.

Сердце обливалось кровью, когда в рижском порту стали раздаваться взрывы. Рухнула гордая гранитная набережная, разрушены были холодильники и портовые склады. Погибли все электростанции, новая насосная станция, главный почтамт и мосты через Даугаву. Когда немцам не хватило взрывчатки (нагруженный ею состав до Риги так и не дошел), специальные команды разрушителей обходили предприятия и мастерские и тяжелыми кувалдами разбивали зубчатки машин и другие детали.

Дым пожаров стлался над Ригой.

В эти дни старый Павулан и его товарищи не выходили с завода. Их было около двадцати человек вместе с директором Лоренцем. У них были две винтовки, автомат и полторы дюжины ручных гранат, а у Лоренца пистолет с двумя обоймами патронов. Четверо рабочих все время находились в охране и наблюдали, не приближается ли к заводу группа эсэсовцев. Несколько человек дежурило у пожарных насосов. Ворота завода были закрыты, окна со стороны улицы заделали кирпичом, и только в нескольких местах оставили бойницы.

11 октября, после обеда, появилась первая группа поджигателей: восемь эсэсовцев с засученными рукавами. Деловито осмотрели они завод снаружи, попытались открыть ворота, а когда это не удалось, начали возиться со своими разрушительными аппаратами.

Тогда защитники завода открыли огонь. Два убитых эсэсовца легли на

мостовой; один, хромая, дополз до угла улицы и все время орал, чтобы товарищи его не бросали. Остальные пытались подобрать убитых, но единственный выстрел прогнал их обратно. Немного спустя наблюдатели доложили Лоренцу, что эсэсовцы ушли.

— Эти обратно не придут, — заверил Сакнит. — Это ведь не вояки, а шакалы. Шакалы — звери пугливые.

Когда стемнело, один молодой рабочий выполз на улицу и подобрал оружие убитых эсэсовцев.

...Ночью из города доносились взрывы, в небе стояло зарево пожаров. Пахло гарью. Вместе с осенними листьями на тротуары, на дорожки парков сыпались черные хлопья пепла. Все казалось грязным, закопченным, черным.

12 октября эсэсовцы снова пытались поджечь завод, но рабочие отбили и это наступление. Потеряв четырех солдат, гитлеровцы отступили и с тех пор больше не беспокоили Екаба Павулана и его товарищей.

Десятого октября, когда была освобождена станция Икшкиле, а армия генерал-лейтенанта Романовского в стремительном наступлении достигла устья Гауи, в Риге уже не было ни Лозе, ни Дрехслера. Накануне советская авиация бомбила Экспортную гавань, склады и эшелоны на товарной станции. После этого рижский воздух стал слишком вреден и для Ланге, и он срочно переехал со своим учреждением в один из уездных городов Курземе. Перед отъездом Ланге вызвал к себе нескольких офицеров СС, в том числе и хауптштурмфюрера Освальда Ланку и оберштурмфюрера Кристапа Понте.

— Вам выпадает великая честь последними покинуть Ригу, — объявил им Ланге. — Здесь еще не все сделано. По известным причинам мы не успели разрушить все важнейшие объекты. Многие ненадежные и враждебно настроенные элементы не эвакуированы, не уничтожены. Теперь они подымут голову и будут мешать нашим войскам до конца выполнить свой долг. От имени фюрера можете делать все, что найдете необходимым. Никакого либерализма, никаких сантиментов! Жгите и стреляйте до последнего момента! Желаю успеха. До свиданья в Курземе, господа.

Ланге уехал, а Ланка и Понте взялись за дело. Они объехали тюрьмы и другие места заключения. Убийц и воров-рецидивистов освободили, а

политических перестреляли. Ланка разъезжал по улицам в бронированной штабной машине и проверял работу команд поджигателей. В его присутствии взорвали городскую автоматическую силовую станцию, которая была устроена под землей. Он проверил, правильно ли производят разрушение центральной телефонной станции. На улице он стрелял в каждого прохожего. Понте в поте лица помогал ему.

— Что здесь будет! — радовался Ланка, осматривая развалины. — Большевики останутся без воды и без света. Надвигается зима. Центральное отопление бездействует. Канализация бездействует! Начнутся эпидемии, смертность сразу повысится. А тут еще уголовный элемент — воры, убийцы, проститутки... Картотека уничтожена, — скажи теперь, кто преступник, кто честный человек!

— Замечательно тонко сработано, — восторгался за ним и Понте. — Им даже негде будет хлеб испечь.

— Здесь будет мрак и скрежет зубовный.

Во дворе дома, где жил Ланка, сутками дежурил маленький «мерседес-бенц» на тот случай, если бы Ланка не смог в последний момент заехать за Эдит. В сущности ей уже давно пора было уехать и ждать своего мужа где-нибудь в тихом уголке у самого моря, но она не могла расстаться с квартирой. И пока муж, как волк, рыскал по городу, его белокурая жена с утра до ночи рылась в шкафах, перебирала свои богатства и не могла решиться, что оставить, что взять с собой. Большая часть вещей была отправлена в Германию под охраной дальнего родственника, но сколько еще оставалось!

Что делать? В машину можно поставить только три чемодана — людям тоже надо оставить место. Освальд в свою штабную машину возьмет эти большие узлы. Сколько? Три... четыре? Нищенски мало. И почему Гитлер не шлет резервы? Почему Ригу не удержат еще несколько недель, пока она увезет в безопасное место свою военную добычу? А где это безопасное место? В Курземе? В Германии? А потом?

У нее ум за разум заходил. В таком состоянии застал ее муж.

— Собирайся скорей! — крикнул он ей с порога. — Надо уезжать отсюда.

— У меня еще ничего не упаковано... — бормотала, мечась по комнате, Эдит. — Я ничего не оставлю. Доставай машины.

— Одуревшая баба! — разозлившись, крикнул Освальд. Но именно этот грубый окрик привел в себя Эдит. Она оглянулась на мужа.

— Как ты сказал?

— Я сказал, что ты ведешь себя, как одуревшая баба! — отрубил

Ланка. — Красная Армия может в любой момент ворваться в Ригу, а ты еще гадаешь, какую тряпку засунуть в мешок, какую оставить. У нас времени нет для споров. Через полчаса мы уезжаем.

— Хорошо, не будем спорить. Но эту бабу я тебе не забуду.

— Перестань, Эдит. Иди лучше поддержи чемодан. Быстрее, быстрее!

Эдит что-то прошипела и бросилась ему помогать. И каждую минуту они заводили споры по поводу каждой оставляемой вещи. Освальд не слушал Эдит и делал по-своему. Он брал с собой только самые ценные и притом не требовавшие много места вещи.

— Ковры! — заикнулась Эдит.

— Пусть останутся! Ссыпай золотые вещи в ящичек, все в одну кучу.

— Картины!

— Подари дворнику, пусть истопит ими печь.

— Мой гарнитур рококо!

— Надевай пальто, — я пока позову шоферов и Понте.

Гулко хлопнула дверь подъезда, по лестницам шаркали ноги шоферов, перетаскивавших вещи. У обеих — машин моторы не были выключены, и они слегка вздрагивали, будто испуганные животные.

— Не возитесь столько времени! — прикрикнул Ланка. — Кладите как попало. После переложим.

Эдит посадили в «мерседес-бенц» и со всех сторон обложили узлами и чемоданами. Освальд Ланка сел рядом с шофером, а Понте с прочими вещами устроился в штабной машине.

У Понтонного моста им пришлось подождать полчаса, пока пропустили войсковую часть. Вплоть до Лиелупе ехали очень медленно — вся приморская дорога была запружена машинами, орудиями и солдатами. Только за Лиелупе можно было прибавить скорость. Молча сидели они на своих местах и смотрели в темноту, и хотя машины, выбравшись на свободную дорогу, продолжали прибавлять скорость, им казалось, что они едут слишком медленно.

Глава тринадцатая

До Риги 80 километров!

До Риги 65 километров!

До Риги 50 километров!

До Риги 40 километров!

До Риги 35 километров!

На всех дорогах, по которым продвигались войска трех Прибалтийских фронтов, можно было читать эти надписи. Острия указателей, как стрелка компаса, были направлены в сторону столицы Советской Латвии. С севера, с востока, с юго-востока и юга устремлялись к ней взоры советских воинов. По всем дорогам двигались замаскированные зеленые машины, орудия, грузовики и повозки с боеприпасами. Едва сгущались вечерние сумерки, как нескончаемые войсковые колонны начинали далекие таинственные переходы. Передвижение всех этих войск в действительности имело одну общую цель — освобождение Риги.

Многие нетерпеливые в своем ожидании люди не могли понять, почему командование медлит с началом решающего удара, — им казалось, что Красная Армия уже в августе могла бы вступить в непосредственные бои за освобождение Риги и прямым ударом в лоб овладеть городом. Но в Москве, в Кремле, в тихие ночные часы, когда на короткое время прекращались телефонные звонки и доклады командующих фронтами, — у огромной карты собирались руководители партии и правительства. Они не были такими нетерпеливыми. Их заботы простирались за пределы сегодняшнего дня в дали будущего, и еще тогда, когда на дорогах Латвии, не были установлены указатели «До Риги 100 километров», им было ясно, как действовать, чтобы Ригу не только освободить, но и сохранить. Когда танки генерала армии Баграмяна прорвались к побережью Рижского залива и отрезали пути отступления северной группе немецких войск, завершился первый этап плана освобождения Риги. Когда генерал армии Еременко вел свои дивизии через труднопроходимую Лубанскую низменность и Видземскую возвышенность — это был непосредственный нажим на Ригу, удар в грудь армии генерал-полковника Шернера, которая уже выбивалась из сил. Когда от Пскова до Рижского залива и далее вдоль побережья через болота, озера и реки с бешеной скоростью понеслись на юг дивизии генерала армии Масленникова и генерал-лейтенанта Романовского — это было заключение, то есть то, чего меньше всего ожидал противник.

В конце сентября латышский корпус получил приказ передислоцироваться из района Крустпилса на новый участок фронта к юго-востоку от Риги. У Кокнесе латышские полки переправились по Понтонному мосту через Даугаву и форсированным маршем по левому берегу достигли Яунелгавы. Там части корпуса повернули к югу, вышли на Вецмуйжское шоссе и по нему направились далее к Баллоне.

— Только пятьдесят километров до Риги! — как о каком-то чуде говорили друг другу стрелки, хотя это ни для кого уже не было новостью.

— Чем-то знакомым пахнет! Кажется, березовыми бревнами с фанерной фабрики, что на Баускской улице.

— Нет, это плоты у Заячьего острова!

— Эй, старик, встань на пень, не видать там церковь Мары? Жаль, что старого Петра сожгли — того бы давным-давно увидели.

Сорок пять километров... сорок.-., тридцать пять...

— Если так пойдет, мы сегодня вечером поспеем на бал в Гильдию! — шутила молодежь. — Только сапоги надо будет почистить.

— С кем ты будешь танцевать! Твоя Оттилия, наверно, провальсировала с фрицами до самой Германии.

— Оставь в покое Оттилию, она порядочная девушка и встретит меня ровно в шесть у киоска с колоннами. Смотри, как бы твоя Мелания не выписала тебя из домовой книги. Куда тогда денешься?

Они зубоскалили, поддразнивали друг друга, но за легкомысленной шуткой нередко скрывалась тревога: «Ждут ли меня? Есть ли кому ждать? Что с ними было за эти годы?»

У Балдоне Петер Спаре узнал, что освобождена волость, где находилась усадьба его тестя. Да, ведь и Аустра Закис оттуда родом.

— Плохо, что это за Даугавой, — сказал он ей. — А то бы съездить кому-нибудь из нас, узнать хоть, живы ли они там.

— Поедем втроем — ты, я и Аугуст, — ответила Аустра. — Только не сегодня. После того как освободим Ригу.

— Да, конечно, сначала надо освободить Ригу. С гостинцем приедем.

Они весь вечер ходили как в воду опущенные. Аустра иногда незаметно бросала взгляд на Петера и вздыхала. А у него сердце сжималось от необъяснимой жалости. Хотелось погладить девушку по щеке, сказать ей что-нибудь хорошее. «Ты добрый, верный друг, я хочу, чтобы ты всегда была счастливой...» Но слов не было. Он и сам не знал, кого же ему так жаль. Себя ли, ее ли? Того, что подходит к концу их общая дорога? Или просто он подумал о своем будущем?

...9 октября началось наступление. Латышские стрелки дрались с тем самым врагом, в тех самых местах, где двадцать девять лет тому назад дрались их отцы. Заболоченные луга и торфяные болота у Елгавского и Баускского шоссе. Кекава, Олайне, Остров смерти... Вперед, товарищи, — Рига уже близко!

И пока они прокладывали дорогу к воротам родного города, к северу и северо-западу, начался сказочно быстрый бросок армии Романовского —

через Гаюю, через болота и озера до устья Даугавы, до Киш-озера. Советские войска, не останавливаясь, форсировали Даугаву в самом широком и глубоком месте; на плотках и в рыбацких лодках переправились через реку и очутились в тылу у противника — там, где он менее всего их ожидал. Но еще неожиданнее было появление советских танкеток в Межапарке.

Среди немцев началась паника.

А вечером 13 октября приказ Сталина возвестил советскому народу об освобождении Риги. В Москве гремел салют, и ему вторил несмолкаемый салют на фронте. Стреляли из всякого оружия — из револьверов, пистолетов, винтовок, автоматов, пулеметов.

В ту ночь в Латвии не спал ни один человек, узнавший о совершившемся.

2

В темные октябрьские ночи далеко было видно зловещее пурпурно-красное зарево над Ригой. Глядя издали, можно было подумать, что там свирепствует огромный пожар, что он охватил весь город. Взрывы не прекращались ни днем, ни ночью.

— Что делают, как разрушают! — качая головой, мрачно говорили бойцы. — Останется только куча золы...

14 октября в переполненной людьми грузовой машине Айя Рубенис и Мара Павулан выехали в Ригу.

Дорогой они радовались каждой уцелевшей крестьянской усадьбе, каждой железнодорожной будке, каждому телеграфному столбу. И вот на горизонте показались фабричные трубы, красивый корпус «Квадрата» и ряды домов окраины.

Не доезжая нескольких километров до города, машина свернула вправо от шоссе Рига — Даугавпилс, так как Задвинье еще занимали немцы, — они забрасывали район Московской улицы и набережную минами и артиллерийскими снарядами.

Железнодорожный переезд на Гертрудинской улице... Еще зеленеют липы вдоль нетронутых красивых домов. Улица Свободы... Дворец юстиции, Музей искусств, опера, университет... Что из того, что на улицах зола и сажа, что повсюду висят порванные провода, что город в грязи и копоти, — он закоптился в пламени боев!

— Цела! Все-таки Рига цела!

Потом они увидели разрушения. Пылала гостиница «Рим», еще дымилось выгоревшее здание военного министерства на углу улиц Валдемара и Кирова. Везде стоял запах гари. Из-за Даугавы время от времени долетали зажигательные снаряды: немцы упорно пытались поджечь Центральный универсальный магазин и Дворец финансов, но рижские пожарные вместе с частями Красной Армии успевали вовремя тушить возникающие пожары.

На Эспланаде расположился целый дивизион «катюш», и многие рижане видели их за работой. Реактивные снаряды, как огненные стрелы, неслись через Старый город, падали за Даугаву, где-то в районе Дзегужкална и Илгуциема. После такого залпа там надолго наступала тишина.

Старый город лежал в развалинах. По вечерам над улицами качались темные и безжизненные электрические фонари, в водопроводных трубах не было ни капли воды, все важнейшие нервы города были перерезаны. И все же он был жив! Он был спасен неожиданным и быстрым ударом Красной Армии.

Грязная, израненная, искалеченная Рига — как ты была счастлива в тот день!

Быстро, захлебываясь впечатлениями, Айя и Мара обежали центр города. Им не терпелось попасть скорее к родным. Это было нелегко: трамвай не ходил, не видно было извозчиков.

Обеих ждал грустный вечер. Мара не застала в живых матери; отец Айи давно покоился на Лесном кладбище.

«Какой он старенький, измученный», — думала Мара, поглаживая руку Екаба Павулана и слушая его рассказ о том, как ему с товарищами удалось уберечь свой завод от разрушения.

— А ты, дочка, как будто даже выросла, право, — сказал он улыбаясь. — Ну, я рад, что довелось свидеться. Жалко, что мать не дождалась. А как она ждала; бывало, каждое утро, каждый вечер только и разговоров у нее: «Как там наша Мара?..»

Первые слова, которыми встретила Айю мать, были о Петере:

— Где он, Айя? Ты одна вернулась?

И Айя должна была рассказать, где он, что он все это время делал, здоров ли. Затем последовали подробные расспросы о Юрисе.

Айя чуть не обиделась:

— Скажи, мама, а я тебя совсем не интересую? Обо мне ты не спрашиваешь, только про Петера и Юриса.

— Что мне про тебя спрашивать, — спокойно возразила старушка. —

Своими глазами вижу, что жива-здорова. Еще успеешь все рассказать. А они... — голос ее задрожал, и мамаша Спаре на мгновение замолчала. — А они еще воюют. Бог знает, что их еще ждет.

Занавески на окнах стали серыми, комнаты — словно еще более тесными и низкими, воздух — спертым. Зеркало на комодe как будто заволокло туманом: отражавшиеся в нем предметы казались далекими и расплывчатыми.

И, однако, как здесь было хорошо! Из каждого угла улыбались воспоминания детства и юности. Тот же стол с отломанным углом, та же этажерка, на которой уже не осталось старых книг, та же истоптанная дорожка на полу — все здесь было мило и о многом говорило сердцу.

Мать уже думала о будущем устройстве.

— Вы с Юрисом первое время поживете у меня. Мне хоть будет о ком позаботиться.

— Как живет Элла? — спросила Айя, разглядывая в альбоме фотографию брата и невестки.

— Господь ее знает. За все эти годы Лиепини ни разу про нас не вспомнили. Раз они так, мы тоже оставили их в покое. В трудные времена такая простая родня никому не нужна. Может, Петер им будет больше по душе... он же офицер теперь. Они до почета всегда были падки.

— Так ты не знаешь даже, кто у тебя растет в Лиепинях — внук или внучка! — удивилась Айя. — Ведь уже больше трех лет, если жив.

— Слыхала, будто девочка, а хорошо не знаю, — ответила мать.

Айя с грустью замечала, что мать уже не та сильная, деятельная женщина, которая вырастила их с Петером, которая своим ничтожным заработком помогала мужу учить детей и поддерживать их, когда они были в тюрьме, у которой всегда был свой смелый, ясный взгляд на все события. Дряхлеющая, апатичная старушка, точно одинокое, высохшее дерево. С ней уже нельзя было говорить обо всем, как раньше, она все воспринимала с какой-то старческой ребячливостью. «Рано ты постарела, милая, добрая мамочка, — думала Айя. — Но ты еще должна вынянчить внуков. Может быть, с ними и сама помолодеешь?»

...Несколько дней спустя Айя с Марой встретились на улице. То был незабываемый день цветов, знамен, улыбок и встреч. В Ригу вступал латышский корпус. У Сортировочной станции полки построились в походную колонну, затем двинулись по Лубанскому шоссе и через Московский район направились к центру города.

— Помнишь ночь тридцатого июня? — спросил Жубура Петер Спаре,

когда колонна стала подходить к городу.

Жубур молча кивнул ему. По этим же вот полям он уводил своих рабочегвардейцев в ту страшную ночь.

«Как хорошо вернуться домой большим, сильным, работать на благо народа!»

Любуясь, смотрел он на своих товарищей.

Со строгим юношеским лицом шагает впереди своего батальона майор Закис. Скоро он станет подполковником и начальником штаба полка — приказ уже есть. Капитан Рубенис не старается блеснуть особо бравой выправкой, он улыбается во весь рот, и от этой улыбки искреннего, цельного человека всем становится весело. Капитан Спаре выделяется среди роты своим ростом. Он держится прямо, а сам делает вид, что не замечает, как за его спиной расстраиваются четкие ряды гвардейцев. В строй вливаются с тротуаров мужчины и женщины — братья, сестры, невесты, друзья латышских стрелков. Улыбается полковник Соколов, улыбается генерал: на их глазах нарушен воинский устав, но у командиров не находится резкого повелительного слова.

— Пусть! Ведь это бывает только раз в жизни!

Звенит мостовая, гудит весь город: его сыны вернулись! В их руках самый бесценный дар — победа и свобода! В ритм шагов, в гул приветствий, проникнутых любовью народной, вплетаются сотни рассказов, тысячи радостных и горьких вестей.

Под липами бульвара Свободы стоит человек с костылями. Пустая штанина подвернута и заколота выше колена. На груди у Эвальда Капейки два ордена и медаль партизана Великой Отечественной войны.

— Привет! Привет! — Он машет рукой, с силой опираясь другой на костыль. Друзья тотчас замечают его, хотя вокруг волнуется человеческое море. От колонны отделяются молодой подполковник и два капитана, они подходят к нему, обнимают и отдают ему свои цветы. Гвардейцы сажают его на орудие, и Эвальд Капейка едет вместе с теми, кого чествует сегодня благодарный народ.

В первое воскресенье после прихода в Ригу Петер Спаре, Аугуст Закис и Ауэстра получили на два дня отпуск и собрались съездить к родным. Полковник Соколов сам предложил им свою трофейную легковую машину. Суббота у Аугуста прошла в непривычных хлопотах: ему хотелось повезти

родителям и младшим братьям и сестренкам гостинцев, но ничего подходящего в городе достать не удалось. Тогда он уложил несколько плиток шоколада, бутылку хорошего вина и собранные за время войны вещички, по большей части сделанные руками стрелков: трубку, мундштук, коробку из плексигласа, любительские фотографии; не забыл захватить и все деньги, которые накопились у него за несколько месяцев.

— Не думай о таких мелочах, — говорила брату Аустра. — Мы для них дороже всяких подарков. Особенно ты — подполковник!

Аугуст действительно вчера только надел подполковничьи погоны.

Выехали они до света. Аугуст устроился рядом с шофером, Аустра с Петером сидели сзади. Ветер обжигал их лица, но что он мог им сделать после московских морозов и метелей, после ильменских ветров и туманов. Мимо них скользили рощи, голые поля и темные еще крестьянские дворы. Изредка выскакивал на дорогу пес и удивленно лаял на ранних путешественников; еще реже встречались подводы.

«А мой завод все-таки цел, — думал Петер, когда машина проехала мимо штабеля прошлогодних — бревен. — Хорошо, что Мауринь вернулся. Вначале он приглядит, чтобы все шло как следует, а потом... ох, и дел же! А может быть, меня после демобилизации не пустят на прежнюю работу? Впрочем, это еще видно будет, когда я сниму военный мундир. Повоевать еще придется».

— Тебе не холодно, Аустра?

Погрузившись в мысли, девушка смотрела в сторону.

— Нет, спасибо, — ответила она тихо, не оборачиваясь к Петеру.

— О чем ты все думаешь?

Аустра еще больше отвернулась и стала глядеть на тонкие березки, стоявшие вдоль дороги.

— О тебе, — ответила она наконец. — Ты, наверно, сегодня чувствуешь себя ужасно счастливым. Тебя ожидают любящие люди... ты в первый раз увидишь своего ребенка. А воспоминания об окопах, о тяжелых боях, о виденных за эти годы лицах забросишь в угол, как старые изношенные сапоги, и наденешь мягкие домашние туфли. Ведь, наверно, это очень приятно, правда?

— Почему ты думаешь, что я хочу забыть самые важные годы моей жизни? — сказал Петер. — Нет, Аустра, я не властен сделать это, даже... даже если бы хотел.

И он подумал о том, что ожидание встречи скорее гнетет его, чем радует. Чем ближе к цели, тем больше хотелось думать о том, что происходило за последние три года, а не о том, что его ждет сегодня,

завтра, послезавтра. Суровая красота и мудрость были в той жизни. Если у тебя был друг — он был им на жизнь и на смерть. Что-то большое, просторное наполняло каждый день, каждую минуту. И скоро это кончится. Домашние шлепанцы... теплая постель. «Почему ты никогда не придешь обедать вовремя? Суп остывает... Мне нужны новые туфли... У Рубенисов квартира лучше, чем у нас, ты не умеешь устраиваться».

Неужели все это начинать сначала? От широкого, овеваемого ветрами простора вернуться в тесную, затхлую нору?

Петер посмотрел сбоку на Аустру. «Неужели и ты такая? Суп и туфли, квартира и соседи?»

Нет, ты не такая. Ты не утонешь в утином пруду, отважный мой друг. Если бы нас было только двое, если бы я сейчас был таким, каким вышел в сороковом году из тюрьмы... Но что же в конце концов больше: десять месяцев или три года? Мы встретились в бурю и были три года друзьями, а сегодня между нами встанет другой человек — женщина, жена. Она будет недовольна, она потребует, чтобы я не встречался с тобой. «Далась тебе эта женщина, Петер! Думай больше о семье».

Еще не совсем рассвело, когда машина свернула на усыпанную галькой дорогу, которая заворачивала к усадьбе Лиепиней. Они вышли из машины. В окнах было темно: воскресенье, люди спят дольше, чем в рабочие дни.

— Пусть машина остается здесь, — сказал Аугуст. — Мы дойдем по берегу пешком. Там и не проедешь.

— Хорошо, я потом зайду к вам, — сказал Петер. — Передайте своим привет.

Они обменялись взглядами с Аустрой. Девушка хотела ему улыбнуться, но получилась лишь неловкая, жалобная гримаса. Петер поглядел, как они не спеша шли по тропинке, и ему стало завидно — почему, он и сам не знал. Когда они скрылись за кустарником, Петер взошел на крыльцо и постучался. Ждать пришлось недолго. В окне появился свет, потом скрипнула дверь кухни, и старческий голос неприветливо спросил:

— Кто там?

— Впускайте, не бойтесь... Гости.

Может быть, ему так показалось — горница у Лиепиней была темная, а керосиновая лампа давала мало света, — но Петер увидел в глазах стариков страх. Лиепиниене стояла посредине комнаты, прижимая руки к груди, и молчала, а старый Лиепинь все развязывал и никак не мог развязать кисет из свиного пузыря.

— Здравствуйте, — еще раз поздоровался Петер. — Неужели вы меня не узнаете? Разве уж так сильно изменился? Только вот что в военном...

Наконец теща обрела дар речи. Подбежав мелкими шажками к Петеру, она стала гладить ему руки.

— Петерит, милый мой! Милосердный боже, домой вернулся, живой, здоровый! А нам чего только про тебя не рассказывали. Живого человека похоронили! У мостов будто, Петерит, возле рыночных павильонов... Своими глазами будто видели. А ты все не приходишь — ну, поневоле и поверили. Боже ты мой, боже!.. Снимай шинель, Петерит, жарко здесь. Сейчас завтрак приготовлю. Видел ты кого-нибудь?

Петер снял шинель и обдернул новый, недавно сшитый китель. Широко открытыми глазами Лиепини осматривали его с ног до головы, как что-то невиданное. За три года войны Петер приобрел военную выправку и теперь казался еще выше. Но изменился он мало, только выражение лица стало строже, взгляд острее и серьезнее.

— Что Элла, спит еще? — спросил он.

Старый Лиепинь сделал движение, чтобы шмыгнуть в кухню, но жена властно остановила его.

— Куда?.. Садись, отдохни, Петер, поди ноги устали. Столько дорог исходил, а теперь вон что получается. Человек домой вернулся — жить бы да жить, а что от этой жизни осталось?.. И кто бы подумал? Никто ведь худа не желал... Наверно, судьба такая...

За стеной заплакал ребенок. Лиепиниене воспользовалась этим и перевела свою туманную речь на другое:

— Расма проснулась. Ты поговори, отец, с Петером, а я одену ребенка. Ведь дочка твоя, Петер. Такая хорошенькая да шустрая девочка выросла...

Она вышла в соседнюю комнату и занялась девочкой. Одеда ее в праздничное платьице, причесала светлые волосики и шепотом учила, как надо себя вести:

— Папа приехал. Он тебя еще ни разу не видел, и ты его не видела. Ты не бойся, он хороший папа. Подойди к нему, хлопни ручкой и скажи: «Доброе утро, папа. Я тебя ждала. Возьми меня на колени».

Мужчины сидели за столом и разговаривали о чем придется.

— Осень выдалась хорошая, — рассудительно сказал Лиепинь. — Иначе вряд ли успел бы хлеб убрать.

— Вот как?

— Раньше у меня работали двое пленных, а потом они удрали в лес, — продолжал Лиепинь. — Должно быть, к этим, к партизанам. Теперь опять самим приходится управляться со всеми работами. Мне, как-никак, скоро

стукнет шестьдесят. Мечемся со старухой, как голый в крапиве.

— Разве Элла не помогает вам?

— Помогала, пока могла. Да, так я насчет волостного исполкома хотел сказать. Правда, будто председателем хотят поставить Закиса? Разве такому справиться? Никогда он на большой работе не работал. У самого двор спалили, — лучше бы он дом себе строил, чем чужими делами заниматься.

— Скажите мне ясно, что с Эллой? — прервал его болтовню Петер. — Больна она или еще что случилось? Зачем вы скрываете?

— Эллы здесь больше нет... — пробормотал Лиепинь.

— Где же она?

В этот момент вошла Лиепиниене с маленькой Расмой. Девчурка серьезно и недоверчиво смотрела на чужого.

— Ну, иди, деточка, дай папе ручку, — понукала ее Лиепиниене, — поздоровайся.

Девочка несколько мгновений стояла в нерешительности, затем подошла к Петеру и положила маленькую ручку на его большую ладонь.

— Здравствуй, папа. Я хочу к тебе.

Взволнованный Петер взял на руки дочурку и долго-долго, ничего не говоря, прижимал к груди. Сердце его внезапно наполнилось горячей нежностью. Он осторожно гладил волосы Расмы, перебирал ее пальчики и, сам не сознавая этого, шептал какие-то ласковые бессвязные слова.

Склонив голову на плечо, умиленная Лиепиниене наблюдала за ним.

— Такая славная и послушная девочка, Петер... Вот и нам с отцом утешение на старости лет. Помог бы только господь вырастить. Ну, поговорите, поговорите, а я пока приготовлю завтрак...

Но выйти ей не пришлось: то, чего они с мужем так ловко избегали до сих пор, высказала маленькая Расма.

— Почему ты не приходил, папа? А мамочка говорила, что папа не придет. Сказала, папа умер. Мамочка ушла с немецким дядей... Ту-ту... машина убежала по дороге.

Петер Спаре еще крепче прижал к себе дочь. Через плечо Расмы его взгляд уперся в стариков Лиепиней.

— Что это значит? Почему же вы не сказали правду?

— Так оно и есть, Петер, — вздохнула Лиепиниене. — Не позволили Эллочке остаться, подъехали на машине и приказали собираться. Ослушаться нельзя — знаешь ведь, как немцы поступают. Насильно угнали, и одному богу известно, где она скитается.

— И зачем говорить глупости? — встrepенулcя вдруг старый Лиепинь. — Зачем болтать, чего нет? Все равно Петер узнает.

— Да я разве что плохое... — пролепетала Лиепиниене.

Петер ничего не сказал, рука его машинально гладила головку Расмы.

— Твоя жена тебя обманула... Бросила, — выговорил, наконец, Лиепинь. — Плохая жена была. Жила с немцами и убежала с немцем, — боялась, что ты приедешь. Вот какова она, Петер.

— Да ведь все думали про Петера, что убит, — начала объяснять Лиепиниене. — Иначе разве бы получилось так...

И горечь и облегчение почувствовал Петер. В нем заговорила оскорбленная гордость, и в то же время он понял, что свободен. То, что уже давно стало ему чужим, сейчас само засвидетельствовало это.

Он не донимал стариков расспросами, а им тоже не о чем было больше рассказывать. Они позавтракали вчетвером — Петер попросил накормить и шофера. Через час он надел шинель и ушел к Закисам — сказать, что сегодня же возвращается в Ригу.

4

Янцис и на этот раз первым увидел их, но не узнал, поэтому не спеша подошел к сенному сараю, где жила теперь семья Закиса, и спокойно объявил:

— Там идут два красноармейца, наверно к нам.

Потом он сконфузился: как же это не заметил, что у брата погоня с двумя просветами и с каждой стороны по звездочке. Но сегодня никому не приходило в голову подымать на смех мальчугана. К тому же старший брат держался так просто, обнял его за плечи и разговаривал, как со взрослым. Валдынь, конечно, залез к Аугусту на колени и ощупал все ордена.

Когда Закис увидел старших детей — красивую, веселую АуSTRU и статного, несколько мрачноватого Аугуста, — он отнюдь не поступил так, как его жена, которая с места в карьер пустилась плакать. Но когда Аугуст и АуСтра сняли шинели, когда засияли их ордена, медали и гвардейские значки, — что-то растаяло и в груди Индрика Закиса. Он зашмыгал носом и закусил кончик левого уса, но губы у него дрожали все сильнее и сильнее и, откуда ни возмись, из глаз брызнула соленая влага. Эх, чего уж тут стесняться... пусть видят. Это от радости, от гордости это, что у него такие дети. Стоило растить! Он смахнул тыльной стороной ладони лишнюю мокроту со щек и, взяв сына за плечи, стал поворачивать к свету то лицом, то спиной, пока не осмотрел со всех сторон.

— Ничего, кости довольно крепкие, только мяса могло быть побольше.

Верно, все время на ногах?

— Знаешь ведь, какая у солдат жизнь, — засмеялся Аугуст.

— Какой же ты солдат — с золотыми погонами, целый подполковник.

Слышь, мать, мальчишка почти полковник, а давно ли мы с ним в лесу пилили бревна и пели песню: «Пилу тяну, буду с хлебом». Ну, а ты, егоза? — он обернулся к Аустре. — Поди сюда, дай на тебя посмотреть. Ты что же, тоже воевала?

— Пришлось, отец, — сказала, улыбаясь, Аустра.

— Как же это без родительского позволения? Где это видано? Из чего же ты стреляла? Из винтовки или из другого какого оружия?

— Из настоящей снайперской винтовки. Знаешь, есть такая — с оптическим прицелом. Ее дают только самым лучшим стрелкам.

— У немцев тоже такие были, я видел, — поспешил вставить Янцис.

Гостей негде даже было усадить как следует. В одном углу сарая стоял кухонный стол, несколько скамеек, ящик с посудой. В другом углу на ворохе сена были устроены постели, у двери стоял таган с котелком. Из всех щелей дуло — сарай оставался сараем. Лошадь с коровой стояли под навесом, пристроенным сбоку.

— Как вы дошли до этого и долго ли думаете так жить? — спросила Аустра.

— За это мы должны благодарить Макса Лиепниека, — ответил Закис. — Перед самым уходом немцев пришел с целой бандой и спалил нашу хибарку. Если бы мы вовремя не ушли в лес, не видать бы тебе нас. Всех подряд перебили бы.

— Где сейчас этот зверь? — спросил Аугуст.

— В лесу, наверно, или с немцами в Курземе, — где же еще? — ответил отец. — Старые Лиепниеки тоже удрали. Помчались, как ошпаренные. Сейчас старый Юкум с Лиеной одни разгуливают по усадьбе.

— Слушай, отец, ты что, всю зиму собираешься здесь мерзнуть? — спросил Аугуст. — За какие грехи? За то, что бандит спалил нашу лачугу? Взгляни на Янциса — какой он худущий и бледный. Тебе хочется, чтобы он кашлять начал? Взгляни на Мирдзу, на Валдыня — у них уже сейчас руки синие. А что с ними в декабре будет?

— Уж если только советская власть не отведет какой-нибудь уголок... — пробормотал Закис. — Пока не к кому обратиться, исполком еще не работает.

— Тебе никуда не надо обращаться. — Аугуст каждое слово как топором отрубал. — Сегодня же запряжем лошадь и переедем со всем скарбом на гору. В усадьбу Лиепниеки, черт побери! Старый Юкум с

Лиеной пусть остаются в своей комнате, а вы займете хозяйскую половину. Нехорошо оставлять такую большую усадьбу без хозяина. Вот на некоторое время ты и возьмешь на себя ответственность за Лиепниеки. Вот именно, отец. И пусть кто-нибудь скажет, что это неправильно! Телега в порядке? Выводи лошадь.

— Слишком ты круто берешь, Аугуст.

— Конечно, Аугуст правильно говорит, — присоединилась к брату Ауэстра. — Лиепниеки разорили наше гнездо, так теперь пускай сами ищут крова. Больше ни одного часу не оставайтесь в этом сарае. Довольно уж эти негодяи произдевались над вами.

— А если потом в исполкоме станут спрашивать, кто позволил? — сомневался еще Закис. — Не хочется так, самовольно-то.

— А твою хибарку разве не самовольно спалили? — крикнул Аугуст. — Спрашивать будут, кто разрешил? Хорошо, пусть спрашивают. — Голос у него срывался от волнения. — Разрешил я, гвардии подполковник Аугуст Закис. По моему распоряжению! Ты что же, против Красной Армии идешь?

— Сдаюсь, сынок, сдаюсь! — Закис поднял вверх руки. — Ну, а теперь захотелось и мне покомандовать, хотя я и не полковник и даже в унтер-офицерах не состоял. Твоя мать меня иначе как рядовым и не считает. Слышь, мать, а что будет, если мы петуха — того? Хоть раз пообедаем за все эти годы. Семья опять в сборе, какой еще нужен праздник?

— Я и сама хотела сказать, — зашептала Закиене. — А петуха еще вырастим. Это дело недолгое.

— Сделаю. Позаботься только о клетках.

Когда отец вышел, Ауэстра подошла к матери:

— Мама, а где же у нас Майя? Почему ее не видать?

Закиене снова расплакалась.

— Третий год в земле лежит... истаяла, как свечечка, когда без отца оставались. Даже на кладбище не разрешили похоронить — мол, у пастора не крестили. Пришлось, как собачонку, у ограды зарыть. Хорошо хоть остальные выжили.

Полчаса спустя под таганом уже горели щепки, а в котелке варился разрубленный на куски петух. Янцису поручили следить за огнем. Подложив щепок, он снова и снова вынимал из кармана красивый перочинный нож — подарок Аугуста — и оглядывал его со всех сторон.

Только сейчас матери пришло на ум спросить, как дети добрались до дому.

— Поезда-то не ходят — все рельсы снимали.

— Мы на машине, — сказала Аустра. — Машина осталась на дворе у Лиепиней, с нами Петер Спаре приехал. Да, он ведь велел передать вам всем привет. Наверно, вместе и обратно поедет. Он мой... мой ротный командир.

Старый Закис смущенно крикнул.

— Зря он приехал. Разве из-за ребенка вот.

— А что? — Аустра нетерпеливо глядела на отца. Отсвет огня ложился на ее щеки золотыми бликами.

— Да чего тут говорить, — в сердцах сказала Закиене. — Понять не могу, где была голова у этой Эллы, где разум. Петер такой приличный и приятный человек... и характером хороший и работающий. Она и с самого начала не стоила Петера, а когда немцы пришли... стыдно при детях говорить. Пожила с одним, пожила с другим, под конец бросила ребенка и убежала с немцем в Германию.

— Да, — веско сказал Закис, — там все рухнуло. Вроде как у нас. Но мы-то себе хибарку опять построим, может еще получше прежней, а вот как Петер построит свою жизнь, этого я не знаю.

— Может, и он построит лучше прежней. — Голос Аустры прозвучал так уверенно, что Аугуст невольно оглянулся на сестру.

Все замолчали, потому что снаружи послышались шаги. Аугуст Закис, сидевший на разостланном поверху сена одеяле, встал и подошел к двери.

— А, это ты? — радостно сказал он. — Заходи, заходи, Петер. Мы только что про тебя говорили.

Аустра покраснела, вскочила, как ужаленная, и ушла в самый дальний угол. Этот Аугуст прямо с ума сошел — говорить сейчас о таких вещах! Никакой чуткости.

Петер Спаре вошел в сарай, осмотрелся кругом, покачал головой и стал здороваться со всеми по очереди. Он казался совсем спокойным, будто с ним ничего не произошло.

— И когда ты только, Индрик, покончишь с этой цыганской жизнью?

— По приказу начальства, с сегодняшнего дня, — весело сказал Закис, показав на сына. — Приказано до вечера переселиться в усадьбу Лиепниеки.

— Правильно, — сказал Петер. — И притом справедливо. Довольно ты спину гнул за Лиепниека. Тебе от них законная часть причитается.

— Если хорошенько подумать, так оно и есть, — согласился Закис. — Значит, сегодня устраиваем Юрьев день. Съедем этого старого петуха и — за работу. Шутка ли — перевезти такое большое хозяйство! Хорошо, что сегодня столько толочан наехало. А ты... уже нагостился?

— Хорошего понемножку, — ответил Петер и горько усмехнулся. — Если бы знал... Нет, дочку навестить все равно надо было.

— А ты голову не вешай, Петер, — просто сказал Закис. — Не с тобой одним такая беда. Солома — она солома и есть, и нечего о ней тужить!

— Я и не тужу, — сказал Петер, глядя то на одного, то на другого, словно желая, чтобы все удостоверились в этом. — Только ребенка жаль. Не хочется долго оставлять у Лиепиней. Когда Айя устроится, можно у нее...

Так они незаметно перешагнули через щекотливый вопрос. И больше его уже не касались. Когда петух сварился, Петера тоже заставили сестры ради компании, хотя он недавно завтракал.

После трапезы Закис запряг лошадь и стал укладывать на телегу имущество. Чинно, будто какая процессия, поднялись они на холм и со всем возом остановились перед домом.

— Тебе, Юкум, придется малость потесниться, — сказал Закис старику, когда тот вышел во двор. — Красная Армия делает, чтобы я жил здесь. Погляди сам, сколько здесь офицеров.

Юкум только шамкал и глубокомысленно кивал головой.

— Ну что ж... Если так надо... разве армии можно перечить?

Таким образом крепость Лиепниеков была сдана.

— До чего мне здесь не нравится, — недовольно поджимая губы, повторяла Закиене. — Все не так, как дома.

— А мне очень даже нравится, — поддразнивал ее Закис. — Подумай только — сегодня можно спать разувшись-раздевшись. У Валдыня перестанут зубки болеть. Ничего не скажешь, целые палаты мы Лиепниеку построили. Кто бы мог подумать, что самому в них придется жить.

Аугуст остался еще на один день у родителей, чтобы оформить в законном порядке переезд отца. Петер с Аустрой в тот же вечер уехали обратно в Ригу.

Когда они проехали немного, Аустра заговорила.

— Прости, что я так глупо выразилась... относительно счастья и теплоты. Я ведь не знала, что так выйдет. Как будто в насмешку. Но я ведь, ты же знаешь... мне хочется, чтобы ты действительно был счастливым.

— А почему ты считаешь меня несчастным? — весело возразил Петер. — Или я должен лицемерить и строить печальное лицо потому, что мне не придется возвращаться туда, где я уже давно начал задыхаться? Из чувства долга я бы еще вернулся. И опять бы стал задыхаться... Конечно, это лицемерие, но у меня не хватило бы духу развязать этот узел. Теперь даже не надо этого делать. Понимаешь ты, что я чувствую?

— Если так, то могу вообразить.

— И еще что-нибудь можешь вообразить?

— Не знаю, о чем ты...

— Я думаю, что ты такая хорошая, такая чудесная и — черт возьми! — как раз такой друг, какой мне нужен. Чтобы уж один раз попасть в настоящие руки, из которых не хочется освобождаться. Но ты ведь этого не можешь вообразить, тебе кажется, что все это выдумал. К тому же ты терпеть меня не можешь.

— Почему?

— Потому что я твой ротный командир и тебе кажется, что я всю жизнь буду командовать... даже своей женой.

— Ну, тут ты ошибаешься, — засмеялась Аустра. — Я тоже сумею командовать, если будет необходимо. Надо только найти, кем командовать.

— А ты бы согласилась командовать мною? — тихо спросил он и покраснел, как мальчишка.

— Тобой? — она погладила Петеру руку и, нагнувшись к самому уху, сказала:

— Тобой — нет. Тебя я буду любить.

Глава четырнадцатая

1

Никогда, наверное, за всю историю Курземе не собиралось там столько самого разнообразного люда, как в ту роковую зиму 1944/45 года, когда эта область стала последним полем сражения на советской земле. И опять нетерпеливые не могли понять, почему Красная Армия медлит с освобождением последней оккупированной врагом советской территории, когда в других местах она уже давно перешла государственные границы и сражалась по ту сторону их. Понятно это стало только в мае 1945 года; но недаром гласит народная поговорка, что едучи из суда человек умнее, чем едучи в суд.

Что бы случилось с Курземе, если бы ее освободили силой оружия, когда карающий меч не пронзил еще сердце фашистской Германии? Что дали бы советскому народу развалины Лиепайи и Вентспилса? В целом дело шло ведь не о возвращении территории, а об окончательном разгроме всех вооруженных сил гитлеровской Германии.

...Да, Курземе была полна, как мережа в разлив, когда воды еще мутны и самые осторожные рыбы ничего не видят перед собой. Поэтому в курземской мереже хватало и хищных щук, и скользких угрей, и флегматичных, глупых карасей. Вся эта живность мешала друг другу, дралась между собой за существование.

В том, что исконные курземцы отнюдь не считали своих непрошенных гостей посланцами счастья, старый Вилде и господин Каупинь убедились очень скоро. Уезжая из Лейниеков, они видели, что хозяин усадьбы до смерти рад отделаться от них. То же самое повторялось чуть ли не в каждом месте. Даже самые заядлые айзсарги, бывшие командиры рот и батальонов, не спешили оказать радушный прием попавшим в беду единомышленникам и товарищам по классу. Ни содружества, ни братства — пусть всяк сам о себе думает.

Трудно было различить в этой каше, кто свой, кто чужой; кто покинул свой дом и прибежал в Курземе по доброй воле, а кого пригнали насильно. Среди частных лиц толкались и всякие чиновники, и дезертиры-легионеры, и армейцы. Много разговору было о так называемых курельцах, и никто не мог вразумительно объяснить, что это за публика и чего они хотят. Но гораздо больше говорили о «Красной стреле» — легендарной, неуловимой партизанской организации, которая охватывала несколько курземских уездов и ежедневно доставляла крупные неприятности немецкой армии и тыловым учреждениям. Ни полиция, ни войска ничего не могли с ней поделаться. Но когда по ночам советская авиация прилетала бомбить немецкие военные склады и укрывающиеся в уединенных усадьбах штабы, то бомбы падали с такой точностью, как будто на крышах строений было ясно написано: «Здесь находится склад!», «Здесь находится штаб!» Повсюду были люди, которые помогали Красной Армии.

Безумные дела творились в приморской полосе. Вилде и Каупинь пробрались было к самому побережью, но там действовал особый режим, и предприимчивых путешественников попросили убраться подальше от моря. В море немцы пускали только избранных, у кого были особые заслуги перед оккупационными властями и слишком много грехов перед народом. Остальная мелюзга действовала тишком — пускала в ход и взятки и собственную смекалку или шла на риск. Многие рыбаки, владельцы моторных лодок, зарабатывали хорошие деньги, перевозя в Швецию то того, то другого перепуганного господчика; некоторые довольствовались обыкновенной парусной лодкой, а нередко случалось и так, что под нос владельцу лодки совали дуло пистолета и предлагали на выбор: или тут же выходить в море, или расстаться с жизнью.

Вилде с Каупинем тоже мечтали о поездке в Швецию, но им не везло в поисках лодочника. Кроме того, зимой море неспокойно — легко утонуть. Будь поблизости Герман, он, конечно, сумел бы Доставить свою родню в безопасное место, где не надо отвечать за кое-какие поступки. В Швеции не увидят, что руки у них в крови, — эти славные шведы близоруки и страдают дальтонизмом.

Так постепенно прошла зима. Ох, чего она стоила курземцам и их гостям из Видземе! Хорошо, что крестьяне осенью постарались посеять озимые: зерно из земли не выковыряешь. Иначе немцы сожрали бы все до последнего зернышка. Поборы следовали за поборами: гитлеровские полчища надо было кормить, а советская авиация и подводные лодки зорко следили за морским путем и принимали все меры к тому, чтобы транспорты с продовольствием и боеприпасами не доходили до Лиепайи. Съели весь хлеб, который крестьянин не успел спрятать в ямы, перерезали и сожрали большую часть свиней, овец и коров. Не брезгали и кониной. Таким образом, к весне у Вилде осталась только одна корова и мухортая лошадка; последний мешок муки он прятал в старей бочке из-под сельдей, зарытой под дровяным сараем.

За эти месяцы и Вилде и Каупинь так отощали, что брюки с них падали. Падало и настроение. Дни их проходили в тревогах и треволнениях; и чем дальше, тем сильнее они тревожились: со Швецией ничего не получалось.

А что будет, когда Красная Армия прогонит немцев и спросит: «Из какой вы волости, господа Вилде и Каупинь? Зачем вы забрались в такую даль? Чего домой не едете?» Ох, жизнь, жизнь!..

Оберштурмфюрер Индулис Атауга вытер полотенцем руки и в последний раз окинул взглядом усадьбу, где недавно еще было шумно, как на ярмарке, а сейчас царил кладбищенская тишина. И действительно, похоже было на кладбище: у крыльца лежал расстрелянный хозяин, обоих стариков увели к фруктовому саду и прикончили, хозяйку и троих детей — старшему было лет двенадцать, а младшему не больше двух — убили в комнате, там они и лежали сейчас на полу. Пестрый домотканый половик стал еще пестрее от их крови. Три подозрительных типа, которых при проверке нашли в доме, висели на перекладине качелей, на самом солнцепеке; качели, наверно, были построены к пасхе и оставлены, как

водится, детям на забаву. Вот они и пригодились. У этих типов документы были в порядке, у одного даже за подписью уездного начальника полиции, но они не были прописаны в усадьбе, и для Индулиса Атауги этого оказалось достаточно, чтобы произвести экзекуцию без долгих церемоний. За последнее время в районе не было покоя от партизан. Позавчера убили одного полковника, неделю назад разгромили штаб запасного полка. Ни Шернер, ни Екельн этого не потерпят. Старому Курелю, который разместился здесь со своим «Ягдфербандом», было ясно и недвусмысленно указано, что немецкие власти заставят его отвечать за все чрезвычайные происшествия в Талсинском и Вентспилском уездах.

— Если не найдете виновных и не сумеете предотвращать подобные эксцессы, мы будем считать виновными ваших же людей.

Курелю что говори, что не говори: он слишком стар и ограничен. Другое дело — энергичный и честолюбивый начальник штаба. Для офицеров «Ягдфербанда», которым приходилось с ним сталкиваться, не было секретом, что этот человек лелеет мечту о верховной власти, о первом месте; он почти не считался со старым генералом, распоряжался через голову Куреля. Такие люди нравились Атауге, поэтому он с полной готовностью взялся руководить одной из карательных экспедиций, которые штаб «Ягдфербанда» организовал тотчас после неприятного разговора с Екельном. В его распоряжении было шестьдесят человек: бывшие айзсарги, полицейские и легализованные дезертиры из латышского легиона. Экспедиция Атауги нагрянула с проверкой в одну богатую лесами волость и в двух усадьбах кое-что нашла. Для острастки хозяев усадьбы расстреляли, а тех, кто не мог доказать свою принадлежность к семье, повесили. Эти события вызвали в памяти Индулиса давние картины: расстрелы евреев в начале войны и набеги карательных экспедиций на белорусские села и деревни. Теперь снова можно отвести душу, а то за последнее время особенно развлекаться не приходилось. Скучные месяцы на курсах «Ягдфербанда» в Скривери, в штабе бесконечные размышления на тему: отходить или не отходить. Некоторые группы остались в Видземе, остальные отошли в Курземе. И чем яснее становилась неизбежность разгрома армии Гитлера, тем чаще в штабе «Ягдфербанда» принимались рассуждать о новой тактике и новых перспективах.

С ведома и при прямой поддержке немцев в лесах Курземе строили хорошо замаскированные землянки и тайные склады оружия — готовили базу для «лесных кошек», которые должны были начать свою деятельность после того, как Красная Армия освободит Курземе. Но уже без ведома немцев штаб курельцев обсуждал некий план, по которому несколько

честолюбивых молодых людей должны были стать правителями страны. Что из того, если их руки до локтей обагрены кровью братьев латышей? Меньше всего они пеклись о счастье народа, о его будущем. План свой курельцы строили в расчете на то, что в конце великой войны — как это уже было после прежних империалистических войн — победители передерутся между собой из-за дележа военной добычи. Немедленно начнется новая война между Советским Союзом и его недавними союзниками. Если же будут две воюющие стороны — чего очень желали жадные до власти молодые люди, а желая, и верили в это, — то профессиональные предатели, помогавшие гитлеровцам истреблять и поработать латышский народ во время немецкой оккупации, еще раз станут на сторону новых его врагов и своим прилежанием постараются заслужить подачку. И сегодня уже находились такие, что сулили эту подачку, воодушевляя из-за Балтийского моря своих старых и новых наемников различными предположениями по поводу ожидаемых в скором времени событий. Может быть, великая Швеция объявит Советскому Союзу войну и перебросит сюда огромные десанты. Может быть, в Балтийское море войдет британский военный флот и поспешит оккупировать Курземе, пока Красная Армия не достигла еще моря. Уж что-нибудь обязательно произойдет, и — будьте готовы еще раз предать свой народ! Но что бы ни произошло, «лесным кошкам» хотелось захватить власть хоть на несколько дней, хотя бы в одной приморской волости, — чтобы можно было писать историю, чтобы был повод для рождения легенды о новом «вожде». После этого будут раздавать портфели — кому президента, кому военного министра, кому министра внутренних дел, или финансов, или юстиции. И так же как после фашистского переворота 1934 года, народный пот снова потечет в карманы главных «единоплеменников», превращаясь в золотое зерно, в пятиэтажные дома, в пароходы, фабрики и лимузины... Вот как они представляли себе будущее.

Они видели это и во сне и наяву, они уже заранее облизывались. Началась игра на две стороны. Они улыбались немцам и в то же время кокетливо подмаргивали за море, точь-в-точь как это делает профессиональная проститутка.

Вымыв и вытерев руки, Индулис Атауга передал командование группой молодому лейтенанту айзсаргов-железнодорожников, а сам сел на мотоцикл и поехал в Анахите, близ станции Спаре. Там, в поселке стекольного завода, расположился штаб курельцев. Мотоцикл был с коляской, в нее сел один айзсарг с автоматом. Другой сел позади Индулиса: без охраны ездить по глухим дорогам было небезопасно.

«Интересно, какой пост мне дадут, если удастся? — думал Индулис, искусно ведя машину по перепаханному тягачами и танками шоссе. — Может быть, назначат министром внутренних дел... Арая уже нет, Бангерский и Данкер тоже в Германии... все видные люди давно улизнули в неизвестном направлении. Министерский пост... на меньшее я не соглашусь. Пусть другие поработают с мое! Гетто... Румбула... белорусские села... курземская усадьба и виселица на качелях — сделано много. Если будет нужно, можно еще. Интересно, что мне за это перепадет?»

Крестьянские лошади пугались мотоцикла, съезжали в канавы, а возница, принимая Индулиса и его спутников за немцев, тихо ругался, думая, что те его не понимают.

— Несутся как угорелые. Хоть бы кто шеи вам свернул, подлые псы!..

«Еще посмотрим, кто кому шею свернет... — думал Индулис. — Когда власть будет в наших руках, тогда вы у меня взвоете, бородатые черти! На четвереньках будете ползать, бородами сапоги мне чистить будете, а когда прикажу — приведете ко мне в имение своих жен и дочерей. Вот как это будет».

В тот вечер в Анахите шло веселье. Начальник хозяйственной части привез из Вентспилса два ящика с напитками. Офицеры устроили общий ужин; но пока старый Курель не ушел спать, разговоры не клеились — стесняло присутствие старика. Зато интересно стало в конце ужина, когда молодые офицеры остались одни. Пригласили девиц — машинисток и телефонисток, работавших в штабе «Ягдфербанда». Снова закусили и выпили, затем завели патефон и стали танцевать. Индулис Атауга сначала привередничал и чуть не остался без партнерши. Хорошо, что помощник начальника штаба скоро выбыл из строя — пришлось на руках унести в его комнату — и освободилась пухленькая телефонистка. Будущий министр внутренних дел больше не мешкал и подсел к ней. Девчонка, конечно, не знала, с какой выдающейся особой имеет дело, но оберштурмфюрер с «Железным крестом» и так нравился ей, а потом — в этом лесу можно прямо умереть со скуки.

Они протанцевали фокстрот, потом танго, потом опять фокстрот. В перерывах пили вино. Потом Индулис решил во что бы то ни стало показать телефонистке, как он устроился в своей комнате, во втором этаже

дома.

— Идет, покажите, — звонко выразила она свое согласие. — Мне хочется видеть, как живут офицеры.

Через полчаса они вернулись, и тут Индулис обратил внимание на стройную блондинку, которая осталась без кавалера. Он, не раздумывая, оставил телефонисточку и подошел к блондинке.

— Вы не скучаете, барышня? Пойдемте танцевать...

— Вы очень любезны, господин оберштурмфюрер, — улыбнулась блондинка.

— Зовите меня Индулисом.

— Хорошо, но зачем вы оставили Эрику?

— Она свою порцию получила. Такой маленькой девочке не много надо.

— Все же нехорошо. Что она про меня скажет?

Но танцевать она согласилась, а маленькая Эрика уже вешалась на шею унтер-офицеру, который прислуживал за столом. Потом офицеры со своими дамами вышли на веранду и некоторое время любовались апрельской ночью. Начальнику штаба захотелось березового соку.

— Сходи в лес и принеси мне березового соку, — приказал он унтер-офицеру. — Достань, где хочешь, но сок чтобы был. Что за апрель без соку?

Пока унтер-офицер приготавливал на кухне из воды и сахара «березовый сок», на веранде завязался разговор о политике, и подвыпившие офицеры заговорили о своих сокровенных планах. Стройная блондинка не пропускала мимо ушей ни одного слова. В два часа ночи, когда все разбрелись по своим комнатам, она сослалась на головную боль и не пошла с Индулисом.

— Пригласите Эрику. Она простит вам измену. До свиданья.

В конце концов Индулис увел с собой Эрику, а через полчаса, когда пьяные офицеры храпели по своим комнатам, стройная блондинка вызвала по телефону Талей и велела соединить ее с резиденцией обергруппенфюрера Екельна. Ей надо передать важное сообщение.

Два дня спустя в Анахите прибыли высокие гости — сам Екельн и начальник политической полиции Ланге. Старый Курель в своем усердии тянулся даже перед простым немецким фельдфебелем, а здесь и вовсе не знал, как угодить высокому начальству.

Пока Екельн разговаривал с офицерами штаба о том, как им здесь живется, чем они занимаются, Ланге обошел лагерь и осмотрел хозяйство курельцев, а несколько офицеров войск СС и инструкторов полиции, прибывших вместе с начальством, спрашивали у айзсаргов, не тревожат ли

их партизаны и хорошо ли они подготовлены на случай внезапного нападения. Желая похвастаться своей предусмотрительностью, айзсарги показали, где размещены замаскированные пулеметные точки, где расположены главные силы.

Ничего неприятного не случилось. Екельн довольно любезно распростился с Курелем и штабными офицерами и вместе с Ланге уехал из Анахите.

— Что им здесь понадобилось? — удивлялись офицеры. — У Екельна, видимо, нет больше дел, если он стал разъезжать по лесам и смотреть, что в котлах у каждой роты СС?

— Ох, Ланге... не к добру он приперся, — задумчиво сказал начальник штаба. — Он никогда и никуда без дела не выезжает.

Визит Ланге никому не понравился. И хотя ничего особенного не произошло, в воздухе запахло бедой.

Будущие министры и превосходительства задумчиво ходили по лагерю. Только Индулис Атауга не придавал никакого значения приезду высоких гостей: ведь он несколько лет верой и правдой служил и Екельну и Ланге; его заслуги так велики, что гестапо не может их забыть. «За что же у меня этот „Железный крест“, за что мне дали звание оберштурмфюрера? Нет, все в порядке, — просто он погонял айзсаргов, чтобы не разжирели». Вечером Индулис снова приступил к осаде стройной блондинки и стал уговаривать, чтобы она зашла к нему.

Но она снова отказалась.

— У меня сегодня дежурство на телефонной станции. Его никто не может отменить.

— Ну тогда завтра ночью. Да?

Блондинка посмотрела на него и задумалась.

— Завтра ночью? Да. Может быть.

— Скажите определенно.

— Посмотрим завтра. Завтра вечером. Если у вас еще будет желание говорить об этом, я вам отвечу окончательно.

— Конечно, будет, — уверял он. — Завтра, послезавтра, всегда...

— Поживем, увидим.

Она шутливо погрозила пальцем и, покачиваясь, как змейка, ушла по коридору штаба. Туфли у нее были на каучуке — шагов почти не было слышно.

Спустилась теплая ветреная апрельская ночь. В лесу, где все еще лежал снег, журчали ручейки. Слабая травка буравила земляную корку, пытаюсь выбраться из темноты. Сладкие жизненные соки поднимались по

жилистым стволам берез и кленов, набухшие почки не в силах были сдержать плодоносной силы природы. Могучая весна — пьянящая пора пробуждения. Чувствуешь ли ты, Курземе, что и в твою дверь стучится молодая весна?

И снова рассвело над Анахите. Проснулись будущие министры и их приближенные. Позавтракали и стали рассуждать, в какой бы волости произвести внезапную проверку, кого бы расстрелять или повесить, сейчас, пока это идет за счет немцев. Скучно сидеть у моря и ждать погоды.

Они рассуждали, а по лесным дорогам неслись в это время к Анахите грузовики с эсэсовцами. Они внезапно появились у лагеря, остановились в укромном месте, и в несколько минут главная резиденция «Ягдфербанда» была окружена со всех сторон. Операцией руководил сам Екельн. Действовал он молниеносно, как тигр, и сегодня ничем не напоминал вчерашнего вежливого гостя. Обергруппенфюрер расценил двуличную политику «Ягдфербанда» как оскорбление, нанесенное ему самому, и рассвирепел. Он знал обо всем, что вынашивали в головах честолюбивые офицеры Куреля, и только кровь могла утолить его злобу.

Екельн передал штабу курельцев свой ультиматум: немедленно сдать оружие. Он не грозил, но и не обещал ничего. На его стороне был перевес сил.

После короткого совещания штаб «Ягдфербанда» решил выполнить требование Екельна. Приказ Куреля сообщили ротам, и те стали выходить из своих помещений и сдавать оружие. Эсэсовцы их тотчас окружили и отвели немного подальше от центра лагеря. Началась кровавая расправа. Эсэсовцы открыли огонь из пулеметов и автоматов, затем проверяли, все ли убиты. Кто еще дышал или шевелился, того приканчивали выстрелом в голову. Екельн приказал расстрелять и всех офицеров штаба.

Когда Индулис увидел среди эсэсовских офицеров Освальда Ланку и Кристапа Понте, он был больше чем уверен, что сегодня ему предстоит распить с ними бутылку хорошего коньяку, — почти год не виделись и встречу старых друзей следует отметить рюмочкой. Улыбаясь, он направился к Ланке, но тот моргнул ему и сказал:

— Сдай свой револьвер у стола. Иначе нельзя. Таково условие. Потом поговорим.

— Как прикажете, господин хаупштурмфюрер, — весело отозвался Индулис. Он подмигнул Понте, и тот улыбнулся ему. Сдав свое оружие, Индулис вернулся к Ланке и Понте, но из разговора опять ничего не вышло, так как Ланка махнул рукой двум эсэсовцам и коротко сказал Индулису:

— Иди с ними.

За углом дома уже раздавались короткие автоматные очереди. Там эсэсовцы по одному расстреливали офицеров.

— Куда? Ведь там стреляют.

— А ты иди, иди, — сказал Ланка, а Понте ободрительно кивал головой.

— Что за странные шутки... — пробормотал Индулис, пожимая плечами, и пошел впереди эсэсовцев.

Когда они зашли за угол дома, один из эсэсовцев скомандовал:

— Стой!

А другой освободил предохранитель автомата и, не произнося ни слова, посмотрел на Индулиса.

— Послушайте, да вы с ума сошли? — крикнул Индулис, заметив, что шутка становится угрожающей. — Разве вы не видите, кто я? Как вы смеете, офицера... кавалера «Железного креста». Освальд! — закричал он не своим голосом.

Эсэсовец, даже не приложив автомат к плечу, нажал спусковой крючок. Оберштурмфюрер Атауга замолчал и упал ничком.

В кабинете руководителя «Ягдфербанда» в мягком кресле сидел обергруппенфюрер Екельн и, сморщив лоб, смотрел на генерала Куреля. Тот стоял перед ним на коленях и, плача, хватал его за руки.

— Ваше высокопревосходительство, всемилостивый государь, — всхлипывал Курель. — Будьте милосердны к старику. Я ничего не делал в ущерб немецкой армии... я буду служить вам верой и правдой до конца моей жизни... Я сделаю все, что от меня потребуют. Сжальтесь надо мной. Не расстреливайте меня, дайте мне еще жить и доказать...

Он громко рыдал, целовал руку Екельна и все ближе подползал к своему господину. Тогда Екельн отстранил его и встал.

— Встаньте. Не хнычьте, как старая баба. Я не приговариваю вас к расстрелу. Сегодня же вас отвезут в Лиепаю. Там будет видно, как с вами поступить. Вы ведь ни на что не годитесь, черт вас дери! И какой дурак доверил вам такой высокий пост?

Курель поднялся и еще долго сморкался, а снаружи раздавались последние выстрелы. Весь двор и дорога были покрыты трупами.

Ояр Сникер и его товарищи узнали о взятии Берлина и водружении знамени Победы над берлинским рейхстагом в тот же час, когда об этом

узнал весь советский народ. Они не могли выразить свою радость салютами, потому что вокруг них всюду рыскали враги; но по-своему и они отметили этот торжественный день: на шоссе Айзпуте — Скрудда взлетела машина с немецкими офицерами, а в Кулдигском уезде сгорел дотла военный склад.

В майские праздники на главную базу пришли Акментынь с Мариной.

— Ну, скоро ты попадешь в Лиепаю, Криш, — обрадовал Ояр друга. — Только не забудь и меня взять с собой. Хочу взглянуть, цела ли квартира. Ключ, правда, за эти годы затерялся, боюсь, дворник не впустит.

— О квартире ты не беспокойся. Если негде будет причалить, то сделаем землянку на дюнах. Теперь мы этому научились. Вот только боюсь, что мы проспали что-то очень важное.

— Например?

— В одной из групп «Красной стрелы» поймали маленького Краузе. Ну, того, что был царь и бог в Саласпилском лагере.

— Вот это добыча! — с восхищением сказал Ояр. — Жаль, что не мы его поймали. Имант мог бы узнать, куда этот пес девал его мать.

— Еще бы не жаль! — вздохнул Акментынь. — Но еще больше жаль, что мы — понимаешь, Ояр, мы сами — проворонили Ланге. Несколько дней тому назад промчался в сторону Лиепаи, как будто за ним черти гнались. Когда мы заметили и узнали, было уже поздно.

— Ланге действительно нельзя было выпускать, — огорчился Ояр. — Его-то мы бы сберегли в какой-нибудь землянке до прихода Красной Армии.

— Факт, что сберегли бы. Если иначе нельзя — на лед бы поставили, чтобы не испортился. Хотя этот тип давно прогнил снаружи и изнутри.

— Упущенного не вернешь. Постараемся не проспать в следующий раз. Какой-нибудь сом да попадетсЯ.

После этого они выставили секретЫ на всех большАках и шоссе, которые вели в Лиепаю, и круглыми сутками наблюдали за каждой проезжающей машиной.

Один такой секрет в составе шести человек во главе с Эльмаром Аунынем находился на большАке Айзпуте — Кулдига. Утром 7 мая Эльмар прибежал на базу с расстроенным видом и доложил Ояру:

— Товарищ командир... ужасное невезение!

— Что такое? Самого Екельна упустили? — улыбнулся Ояр.

— Не Екельна, но тоже важные, по-моему, какие-то... — торопливо рассказывал Эльмар. — В штабной машине два эсэсовца, оба офицеры. Пока заметили, они уже далеко были. Машина очень быстро ехала.

— В какую сторону они поехали?

— К Кулдиге.

— О чем ты тужишь? — Ояр хлопнул парня по плечу. — Если бы они уехали в сторону Лиепай, тогда пиши пропало. Из Кулдиги они обязательно поедут обратно. Давай подумаем, как их изловить. Как выглядела машина?

Через час Эльмар Аунынь вернулся к своей группе и разбил ее на две части. Имант Селис, хорошо запомнивший штабную машину, выбрал вместе с другим партизаном наблюдательный пункт в четырехстах метрах от западни в сторону Кулдиги. С ними была ракетница, ракеты, и у каждого автомат. Остальные спрятались в кустарнике за крутым поворотом дороги; у них был заранее заготовлен старый телеграфный столб. Уговор был такой: как только машина проедет мимо наблюдательного пункта, Имант выпустит красную ракету. Тогда Эльмар со своими ребятами выкатят на дорогу столб и подготовятся к нападению. Добычу надо взять живьем; но если случится что-нибудь непредвиденное или во время стычки на дороге появится немецкая машина — тогда пристрелить. Чтобы операция прошла успешнее, Ояр дал Эльмару еще двух партизан.

Эльмар все время глядел на север. Он очень боялся, как бы дело не затянулось до ночи. Правда, немцы не решались ездить в темноте по глухим дорогам — Савельев и Звиргзда их многому научили.

В половине пятого с северной стороны в воздух поднялась красная ракета.

— Берись за столб! — крикнул Эльмар.

Вшестером они выкатили на шоссе телеграфный столб. Положив его поперек дороги, партизаны разделились попарно и снова спрятались в кусты у самого поворота.

Подъезжая к крутому повороту, шофер замедлил ход. Через несколько секунд машина совсем стала, метрах в пятнадцати от положенного на дорогу столба. Шофер, пытаясь переключить на заднюю скорость, нагнулся, нервно переставляя рычаг скоростей. Но было уже поздно: перед шестью дулами у шофера, Освальда Ланки и Понте руки сами потянулись вверх. Эльмар вскочил в машину и освободил перепуганных эсэсовцев от оружия, после чего им связали руки, а затем увели их в кусты. Один из партизан, немного понимавший в автомобильном деле, сел за руль и доехал до ближайшего мостика, а там свернул с дороги и прямо через большой луг въехал в самую чащу. Машину спрятали в густом ельнике и хорошо замаскировали.

— Ну, миляги, шагом марш! — скомандовал Эльмар пленным.

Имант с товарищем уже присоединились к группе, телеграфный столб

был снова убран, и теперь можно было направиться на базу.

...Три часа спустя посредине леса состоялось чрезвычайное заседание партизанского суда.

— Где вы сегодня были? — спросил Ояр по-немецки Ланку.

Ланка стал навтыяжку, пытаясь изобразить военного, и ответил по-латышски:

— Нас вызвали в Кулдигу на совещание к моему начальнику штандартенфюреру Винтеру.

— Какие вопросы там обсуждались и какие задания вы получили?

— Вопрос был один. Штандартенфюрер Винтер сообщил, что в любой ближайший день следует ожидать прекращения военных действий. Возможно, что немецкая армия капитулирует. Руководство гестапо не в состоянии больше брать на себя ответственность за нашу судьбу, поэтому... — Ланка замялся и замолчал.

— Поэтому?

— Поэтому... пусть каждый с этого момента заботится о себе. Разрешили свободу действий.

— И что вы собирались предпринять? — спросил Савельев. — Спрятать свой мундир и притвориться невинным ягненком? Уползти в подполье, пока не удастся удрать из этой страны? Для чего у вас этот паспорт на имя Ансиса Озолина?

— Это на всякий случай, — пробормотал Ланка. — Штандартенфюрер Винтер рекомендовал. Мы хотели добраться до Лиепайи и попасть на какой-нибудь пароход или на моторку.

— С какого времени вы действуете в Латвии в качестве сотрудника гестапо? В начале войны вы в Латвии не были?

— Так точно. — Ланка снова выпрямился. — Я приехал в сорок третьем году. До того работал по сельскому хозяйству в Познани.

— Вас не подводит память? — Ояр взял из груды документов и бумаг, лежащих на столе, пачку фотографий. — Взгляните на эти снимки. Не этой ли лейкой снимали? — Он взял со стола фотоаппарат. На обороте каждого снимка надпись: Август 1941 года — Рижская пересыльная тюрьма. Август 1941 года — Рижская центральная тюрьма. Сентябрь 1941 года — Бикерниекский лес. Октябрь 1941 года — Рижское гетто... Румбульский лес... Дальше. Июнь 1942 года — Саласпилский лагерь... Подойдите сюда, товарищи, посмотрите на эти снимки. Это целая биография. Но какая биография!

Ланка побледнел. Плечи у него опустились. Понуриив голову, смотрел он в землю, и крупные капли пота стекали у него по вискам.

Участвовавшие в заседании суда партизаны подходили к столику, осматривали снимки, на которых можно было видеть и покрытые трупами улицы гетто, и огромный ров среди сосен Румбулы, и повешенных во дворе Саласпилского лагеря, — и возвращались на свои места. На нескольких фотографиях, сделанных в Румбульском лесу, можно было ясно различить лица самого Ланки, Понте и шофера.

Понте и шофера допрашивали еще быстрее, чем Ланку. Достаточно было их документов.

Всех троих повесили в лесу в полукилометре от шоссе и довольно далеко от базы, — если бы в течение оставшихся дней войны немцы обнаружили казненных, им не удалось бы открыть стоянку народных мстителей.

Эдит ждала мужа до полуночи, потом легла. Совецание у Винтера, очевидно, затянулось, и Освальд с Понте остались ночевать. И очень благоразумно поступили: в теперешние времена даже на шоссе нельзя чувствовать себя в безопасности.

Сон долго не шел. Эдит слышала каждый звук в других комнатах, на дворе и на дороге. Остальные чиновники отдела гестапо — сотрудники Освальда — разместились в жилом доме большой усадьбы. Сейчас она была одна среди угрюмых, неразговорчивых людей в этом доме на краю дороги, из окон которого видно было каждого проезжего и прохожего. Когда Эдит показывалась в других комнатах или во дворе, все люди сразу умолкали, ждали, когда она пройдет мимо, и опять принимались шептаться. Освальда и Понте они боялись, а ее остерегались. Может быть, это глупо, но она все время чувствовала себя как в окружении.

Слишком долго работала Эдит агентом разведки, чтобы ей не бросалось в глаза все необычное и подозрительное. Третий день она наблюдала за хозяйкой, когда та заходила в хлев. Как бы эта женщина ни притворялась, она не могла скрыть от взгляда Эдит своего смущения: под фартуком она прятала миску с едой.

«На сеновале кто-то скрывается, и они его кормят, — думала Эдит. — Это или раненый партизан, или какой-нибудь дезертировавший из легиона родственник, а может быть, даже советский парашютист.

Когда приедут Освальд и Понте, надо будет сказать им, чтобы окружили хлев и обыскали все уголки, — непременно что-нибудь найдут.

Нужно проследить, куда уходят каждый вечер хозяйские дети. Чуть стемнеет, мальчишки скрываются за клетью, а возвращаются только поздно ночью. Встречаются с партизанами, доносят им обо всем, что подслушали дома. Переехать бы в другую усадьбу, где люди получше.

Но где эти люди? Берлин пал... По залам рейхстага ходят красные командиры... Где сейчас найдешь таких глупцов, чтобы они любили чиновников гестапо? Сам Гиммлер, может быть, улетел в Португалию или Аргентину. А Лиепая полна всякой мелюзги... важные персоны уже улетели. Где обещанный пароход, подводная лодка, эскадрилья „юнкеров“? Нет Екельна, нет Шернера, которому недавно пожаловали фельдмаршалский жезл... И что сделает курземская армия без этих железных людей?»

Она ворочалась с одного бока на другой. Сон все не шел.

«А вдруг Винтер объявил план эвакуации? Не может быть, чтобы он не подумал о сохранении самых ценных сотрудников. Если не нужны самим, можно передать в распоряжение другого государства. Способные агенты пригодятся всем, а нам все равно кому служить. Только бы платили.

Эрна Озолинь... простое, обыкновенное имя... В Вентспилском уезде среди лесов есть крестьянская усадьба. Хозяин свой. На худой конец можно будет укрыться там. Работницей или родственницей — не важно. Только хозяйка будет ревновать... В Дундагской волости есть лесник еще с баронских времен, но там будет радиостанция — это опасно. Рано или поздно запеленгуют и найдут. „Как вы здесь очутились, гражданка Озолинь?“

Берлин пал...

Где сейчас Гитлер? Где великая мировая держава?»

К утру ей, наконец, удалось уснуть. Разбудил ее настойчивый стук в дверь:

— Госпожа, я принес вам завтрак...

Это был вестовой Освальда, молодой, услужливый Линдеман.

— Войдите. Что, хаупштурмфюрер Ланка еще не вернулся?

— Нет, госпожа.

— Скажите кому-нибудь, чтобы позвонили в Кулдигу, может быть они еще там.

Через час одному из чиновников отдела гестапо удалось соединиться с Кулдигой и поговорить с адъютантом Винтера. Тот сообщил, что совещание кончилось вчера и все участники разъехались. Когда об этом сказали Эдит, она сделала вид, что это для нее не новость.

— Хорошо, спасибо. Хаупштурмфюрер Ланка перед отъездом сказал,

что вернется сегодня. Можете идти.

Когда чиновник ушел, она раскрыла чемоданы и долго рылась в вещах. Драгоценности, золотые вещи, деньги положила в шкатулочку для рукоделья и засунула в брезентовый рюкзак. Потом стала набивать его платьями, чулками, шелковым бельем, сверху сунула пару модных туфель. В карманы рюкзака положила хлеба, кусок сыру и баночку с маслом. Заперла чемоданы и, сев у окна, долго смотрела на дорогу. Сегодня на ней было необычайно оживленно. Взад и вперед проносились легковые машины, грузовики, мотоциклы, неизвестно откуда и куда маршировали группы пехотинцев.

«Где это Освальд так застрял? Может быть, участвует в операции? Опять Винтер придумал новые дела. Впрочем, для этого он и существует».

О Ланке и Понте не было известий и после обеда. Тогда Эдит стала беспокоиться и нервничать. Ей казалось, что каждый прохожий как-то, по-особенному, многозначительно смотрит на ее окно. Еще подозрительнее казались хозяева усадьбы. В их шепоте она слышала сдерживаемый смех. Хозяйка прошла в хлев, и под фартуком у нее опять мисочка. Мальчишки ушли из дому, даже не дождавшись вечера.

Перед вечером у ворот остановился мотоцикл: За спиной водителя сидели два немецких офицера. В прицепе тоже устроились двое — один сидел на коленях у другого. Один из офицеров слез с мотоцикла и пошел к дому. Эдит узнала адъютанта штандартенфюрера Винтера.

— Вы, наверно, к мужу? — спросила она. — Знаете, он еще не вернулся. Как уехал вчера с Понте, так до сих пор и нет.

— Меня прислал штандартенфюрер Винтер, — сказал адъютант. — Сегодня нам отсюда уже звонили и спрашивались о хауптштурмфюрере Ланке. Станный случай, госпожа Ланка. Хауптштурмфюрер Ланка и оберштурмфюрер Понте должны были вернуться вчера, еще до наступления ночи. Уехали они вскоре после обеда. Может быть, машина испортилась? Но тогда бы мы увидели ее на дороге. Кроме того, сегодня везде столько машин, — их кто-нибудь подвез бы. Очевидно, что-то случилось.

— А что могло с ними случиться?

Адъютант оглянулся.

— Видите ли, я должен вам сказать одну вещь. От имени штандартенфюрера. Не зайти ли нам в комнаты?

— Пожалуйста. Почему вы сразу не сказали?

Эдит ввела его в комнату и пригласила сесть. Но он покачал головой:

— Нет времени, госпожа Ланка. Я сейчас должен ехать дальше.

Господин штандартенфюрер велел передать, что, несмотря на все свое желание, он ничем не может помочь вам. Подумайте о себе сами. Вам сегодня же необходимо перебраться в другое место, где вас не знают.

— Почему?

— Потому что завтра вы больше не будете под защитой немецкой армии. — И хотя в комнате, кроме них, никого не было и говорили они тихо, адъютант штандартенфюрера Винтера для верности пригнулся к уху Эдит и чуть слышно шепнул: — Капитуляция. После полуночи наши войска должны сложить оружие. Пока об этом знают только командиры частей. До свиданья, госпожа Ланка!

— Послушайте... куда же вы? — Эдит схватила его за рукав, когда он уже открывал дверь. — Нельзя ли и мне с вами?

— К сожалению, нет, — холодно улыбнулся молодой человек. — Нас уже пятеро. Может ли выдержать мотоцикл? Кроме того, вам не рекомендуется ехать в Лиепаю.

Он поклонился, круто повернулся — только шпоры звякнули — и ушел.

— Свинья... — прошипела она ему вслед. — Разве так ведут себя офицеры, когда дама просит?..

Но она поняла, что ей действительно нечего ждать помощи. Самой надо о себе думать, самой о себе заботиться. Она заперла дверь изнутри и переделалась в самый скромный костюм. Обула туристские ботинки на низком каблуке. Повязала голову простым пестрым платочком, застегнула на все пуговицы серую шерстяную кофточку. Потом стала дожидаться вечера. Когда стемнело, Эдит Ланка вылезла в окно и, никем не замеченная, ушла из усадьбы, где она чувствовала себя, как в окружении. Километра три она шла по шоссе по направлению к Кулдиге, но ей все время приходилось остерегаться встречных легковых машин и грузовиков.

В одном месте лес почти подступал к шоссе.

«Если утро застанет меня на дороге, я не сумею скрыться, — подумала Эдит. — А в лесу меня не найдут».

Она свернула с шоссе и прямо по пашне зашагала к лесу. Войдя в чащу, немного отдохнула, рассчитала, в каком направлении идти, чтобы не отклониться от цели. Теперь можно было двигаться дальше. Ночь была светлая, майская, но здесь, под густыми елями, Эдит лишь с трудом различала очертания кустов и пней. Она шла уже с полчаса, как вдруг наткнулась на какой-то большой предмет. От толчка он подался назад, потом, как часовой маятник, начал качаться взад-вперед. Эдит отпрянула в сторону. «Надо выбраться из этой темной чащи, иначе далеко не уйдешь».

Она нажала кнопку карманного фонарика и осветила странный предмет.

Неестественно вытянувшись, перед ней на еловом суку висел хауптштурмфюрер Ланка. Носки его сапог почти касались земли. В нескольких шагах от него висел Кристап Понте; на той же ели был повешен и шофер.

Эдит закричала и, забыв погасить фонарь, бегом понеслась дальше от этого страшного места. Ветви царапали ей лицо и руки, она несколько раз спотыкалась о корни деревьев, падала, но каждый раз проворно, как кошка, вскакивала и бежала дальше. Бежала и кричала, как охваченный смертельным ужасом зверь.

6

Утром 9 мая 1945 года Ояр Сникер и капитан Савельев собрали своих людей у опушки леса, выходящей на косогор, с которого открывался широкий вид на запад, север и северо-восток. Там, внизу, по зеленеющим просторам протянулось шоссе. По ту сторону его начиналась испещренная кустами можжевельника целина — пастбище ближайших усадеб.

Вначале ничего особенного не было видно, и партизаны не понимали, зачем командиры вывели их сюда. На утреннем солнце искрилась и поблескивала вода в речке и в полевых канавках, теплый, легкий ветерок покачивал ветки деревьев, трепал волосы женщин; как невидимая ласковая рука, скользил он по озимым полям, приглаживая зелень.

— Ояр, взгляни сюда, направо! — закричал Имант. — Немцы!..

В этом возгласе не было и тени тревоги. И партизаны не повскакали с земли, не схватились за оружие, не приготовили его к бою. Медленно повернули они головы в указанном направлении, щурясь от яркого, слепившего глаза света.

Впереди колонны ехал мотоцикл с прицепной коляской, в ней сидел офицер с белым флагом на тонком длинном древке. В каждом конце пехотной колонны развевались такие же белые флаги. Нестройным шагом, соблюдая, однако, равнение в рядах, колонна — батальон или полк — в полном боевом снаряжении прошла мимо поляны и, как серо-зеленая змея, уползла к югу.

Теперь на дороге показались грузовики, тягачи с орудиями, легкие и средние танки. Их появлялось все больше, и перед каждой частью развевался белый флаг — символ покорности и признанного бессилия. И

все эти машины, орудия, тягачи и танки сворачивали с дороги, выезжали по только сегодня построенному временному мостику на целину и там выстраивались в длинные ровные ряды, как для торжественного парада. На дула орудий надевали чехлы, а самые дула направляли вверх. Тогда расчеты каждого орудия складывали свое личное оружие и каски на краю целины и строились в походную колонну, чтобы отправиться за несколько километров — туда, где представители Красной Армии принимали в плен.

В легковых машинах, в последний раз гордо откинувшись на сиденьях, пронеслись мимо пехоты старшие офицеры. Майоры и капитаны ехали на мотоциклах, кое-кто верхом, а большинство шагало впереди своих батальонов и рот. Но не было в этом марше никакой молодцеватости, ни осанки, ни спокойной выправки. Они услужливо отступали на край дороги и поворачивали головы, козыряя каждый раз, когда мимо них проезжал газик с советскими офицерами. Вчерашнее чудовище, в жертву которому была принесена вся Европа, сегодня извивалось в пыли перед победителями.

То была не армия. То были огромные, бесчисленные толпы пленных. Все дороги в Курземе были полны ими. Те, кто еще недавно мечтал о завоевании мира, при знаменах и оружии являлись на указанные пункты, склоняя колени перед победившей правдой, и, разоруженные, с опущенными плечами, с бегущими в смятении взглядами, — уползали серо-зеленой толпой по дорогам Советской Латвии, безоговорочно сдавшись на милость победителя.

Все выше поднималось солнце, и голый косогор, где расположились партизаны, весь был залит светом. Светлые волосы Руты сверкали, как золото. Но еще ярче сверкали ее глаза — сильным душевным светом, который был и во взгляде Ояра и в глазах других партизан.

Им было суждено увидеть своими глазами Победу. Не выразимая словами радость и гордость, что каждый из них приблизил наступление этого дня, наполняли их сердца. Дождались! Добились! Перед ними вереница белых флагов, вороха сложенного оружия, немые ряды заглушенных орудий на обширном поле...

— Что же ты плачешь, Рута, — сказал Ояр Сникер. — Вот мы и дожили до праздника. Это самый большой праздник в нашей жизни!

— Я не плачу, Ояр, — шептала Рута, но все новые и новые капли слез бежали у нее по щекам. — Это от радости... Что делать, если у меня такое странное сердце!

Так же, как в жизни всей страны, в их жизни завершилась важная пора, потому что большая судьба народная была их личной судьбой. Они

вынесли невероятные испытания, но в этих испытаниях окрепли и воспитались их души; они видели и смерть и разрушение, но они убедились в бессмертии человеческого подвига; они знали дни тяжелых поражений, но они узнали радость Победы. Победили силы разума и созидательного труда над силами зла, разрушения, жизнененавистничества!

Но как и все люди Советской страны, они не могли видеть в сегодняшнем дне только завершение дня вчерашнего, — этим днем начиналось завтра, время великих новых дел, новых начинаний.

Орудия умолкли. Не слышно больше винтовочных залпов. Только дороги Курземе курятся пылью — это идут пленные армии.

Высоко, как само знамя Победы, светит майское солнце над советской землей.

И, как всегда, в самые памятные дни жизни страны весь народ, а с ним и Рута, и Ояр, и Имант, и Савельев услышали в этот день голос Сталина.

«Товарищи! Великая Отечественная война завершилась нашей полной победой. Период войны в Европе кончился. Начался период мирного развития.

С победой вас, мои дорогие соотечественники и соотечественницы!

Слава нашей героической Красной Армии, отстоявшей независимость нашей Родины и завоевавшей победу над врагом!

Слава нашему великому народу, народу-победителю!

Вечная слава героям, павшим в боях с врагом и отдавшим свою жизнь за свободу и счастье нашего народа!»

Спасибо, что скачали книгу в [бесплатной электронной библиотеке Royallib.com](http://Royallib.com)

[Оставить отзыв о книге](#)

[Все книги автора](#)

notes

Примечания

«Тевия» («Отечество») — газета, издававшаяся в Латвии гитлеровскими оккупационными властями и их подручными — латышскими буржуазными националистами.

Кайцели — то есть кайцелитовцы — военно-фашистская организация в буржуазной Эстонии.

Остров смерти и Пулеметная гора — места под Ригой, где в годы первой мировой войны латышские стрелковые полки вели кровопролитные сражения с немецкими войсками.

«Единоплеменники» — насмешливое прозвище латышских буржуазных националистов, продажных наемников гитлеровцев. Их «декларации» обычно начинались этим обращением.

«Перконкруст» («Крест Перуна») — фашистская погромная организация. Густав Целминь — гитлеровский агент, главарь перконкрустовцев.

На улице Альберта в Риге помещалась охранка ульманисовской Латвии.

«На эф-эф» — переиначенное немецкое выражение «Fix und fertig» — «совсем готово».

Игра слов. Закис по-латышки — заяц.

9

Вон! (*нем.*).

10

Еврей (*нем.*).

Ремовский путч — подавленный в 1934 году Гитлером и Гиммлером заговор руководителей штурмовых отрядов во главе с их командующим Ремом.

Очищено от евреев (*нем.*).

Бермонт-Авилов — командующий белогвардейской армией, зверски расправлявшейся с трудящимися Латвии и разгромленной в 1919 году.

Игра слов: по-латышски крот — курмис; курмит — кротик.

Доп — дивизионный обменный пункт, одно из важнейших звеньев снабжения армии.

«*Времена землемеров*» — роман классиков латышской литературы семидесятых годов XIX века братьев Матиса и Рейниса Каудзитов.

Судрабу Эджус — латышский поэт и писатель.

Путра — ячневая каша, разбавленная простоквашей.

Генералгебит — гитлеровское наименование оккупированной территории Латвии.

Даугавгривский полк — один из латышских стрелковых полков, участвовавших в первой мировой войне.

Макиавелли, Никколо ди-Бернардо (1469–1527) — итальянский (флорентийский) политический деятель, автор трактата «Князь», в котором цинично оправдываются любые, самые жестокие и коварные средства для захвата и сохранения власти.

Дзот — дерево-земляная огневая точка.

Гастелло Николай Францевич (1907–1941) — Герой Советского Союза. 26 июня 1941 года Н. Ф. Гастелло направил свой загоревшийся в воздушном бою самолет на скопление вражеских танков и автоцистерн.

Талалихин Виктор Васильевич (1918–1944) — Герой Советского Союза. В ночь на 7 августа 1941 года на высоте 2500 метров протаранил в воздушном бою вражеский бомбардировщик «хейнкель-111», осуществив первый ночной таран в истории авиации.

Лихтер — грузовое несамоходное судно типа баржи.

Schneller — быстрее (*нем.*).